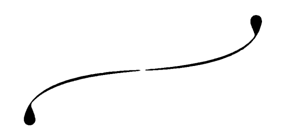
Татьяна
Аксакова-Сиверс

Семейная хроника



ТАТЬЯНА
АКСАКОВА-СИВЕРС

ТАТЬЯНА
АКСАКОВА-СИВЕРС



СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА



ЗАХАРОВ
МОСКВА

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)1
А41

Текст печатается по изданию:
Т.А.Аксакова-Сиверс
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
Atheneum Paris 1988

Благодарим режиссера Игоря Калядина,
автора документального фильма «Аксаковы. Семейные хроники»,
за помощь, оказанную нам в поиске информации.

Аксакова-Сиверс Т.А.
А41 Семейная хроника / Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс. — М. : «Захаров», 2020. — 768 с. : ил.
ISBN 978-5-8159-1575-6

Татьяна Александровна Аксакова (урожденная Сиверс) (1892—1981) — русская аристократка, дочь статского советника, генеалога и нумизмата Александра Александровича Сиверса. В 1914 году вышла замуж за Бориса Сергеевича Аксакова из рода Аксаковых и взяла фамилию мужа. Она прожила тяжелую жизнь, полную лишений и утрат: счастливое петербургское детство и московская юность сменились в 1935 году арестом и приговором к пяти годам ссылки, которую она отбывала в Саратове; в 1937 году вновь была арестована и приговорена к восьми годам исправительно-трудового лагеря; в 1943-м по болезни — досрочно освобождена и выслана в Вятские Поляны, в Кировской области, где и начала писать свою хронику. В 1957 году была полностью реабилитирована и в 1967 году вернулась в Ленинград. Умерла и похоронена в Ижевске на Южном кладбище, могила утрачена.

Ее воспоминания — с конца девятнадцатого века до 60-х годов двадцатого — один из лучших образцов ныне забытого жанра «семейной хроники» и один из лучших мемуаров о том сначала безоблачном, а потом грозовом времени, в котором Татьяне Александровне выпало жить. Вообще судьба «Семейной хроники» несет в себе много непонятного. Она впервые вышла небольшим тиражом в Париже, в издательстве «Atheneum», в 1988 году. В 2005 году — в издательстве «Территория» тиражом в 1000 экз., удивительно маленьким по тем временам. В 2006-м издательство «Индрик» выпустило «Семейные хроники» тиражом еще меньше — 800 экз. Неудивительно, что прочесть эту книгу можно было, только скачав ее из интернета.

Предыстория

В ночь на 1 марта 1821 года в сельце Аладино Козельского уезда Калужской губернии был большой пожар. Дотла сгорел двухэтажный барский дом, построенный сенатором Кожиным для своей дочери Александры Николаевны при выдаче ее замуж за небогатого помещика Афанасия Андреевича Чебышёва. Молва гласила, что виновником пожара был сам владелец Чебышёв, подверженный припадкам безумия. Семейное несчастие — лишение крова — осложнилось тем, что во время пожара Александра Николаевна почувствовала себя плохо. Ее на простынях перенесли в деревню, где и появился на свет мой прадед, будущий участник обороны Севастополя и впоследствии адмирал Петр Афанасьевич Чебышёв. Он был шестым ребенком в семье. Старше были два брата и три сестры.

После пожара Александра Николаевна, будучи женщиной энергичной, взяла бразды правления в свои руки. Ее ненормальный супруг был сначала отстранен от всяких дел, а потом, так как состояние его здоровья все ухудшалось, из села Березничи, под Козельском, был призван на помощь предводитель дворянства князь Оболенский, который определил и даже сам отвез несчастного Афанасия Андреевича в Хлюстинскую больницу в Калуге, где тот в конце концов и умер.

Оправившись от потрясения, Александра Николаевна принялась за постройку нового дома, на этот раз не каменного, а деревянного. В середине 20-х годов был закончен этот столь типичный для средней полосы России помещичий дом с четырьмя белыми колоннами, мезонином, полукруглым окном на фронтоне и террасой, которая широкой лестницей спускалась в сад, обвитая хмелем и диким виноградом. Этот дом простоял сто лет, видел в своих стенах пять поколений одной семьи и погиб в огне, когда, после революции, нас уже там не было. (В доме поселился лесничий, и крестьяне сожгли дом, думая таким образом избавиться от лесной конторы.)

Лишь я, волею судеб, находилась в начале 20-х годов поблизости от родных мест. Живя летом 1922 года в Козельске, я пешком, с рюкзаком за плечами, совершила грустное паломничество в село Субботники на семейное кладбище. Оттуда я прошла в Аладино, посмотрела на обгорелые бревна и трубы, побродила по заглохшим дорожкам сада, посидела на разломанной скамейке под липой, посаженной моим отцом в год моего рождения. От имени всех, выросших в этом месте, я простилась с Аладиным, как с дорогим покойником, но мне еще осталось написать ему некролог. Поэтому я возвращаюсь на сто лет назад и начинаю «историю одной семьи».

Старшая дочь Чебышёвых, Анна Афанасьевна, оказалась для матери незаменимой помощницей. Семейное предание гласит, что она отказалась от весьма желательного брака, чтобы воспитывать младших братьев и сестер. Удивительно, что провинциальная барышня оказалась настолько образованной, что сама подготовила брата Петра к поступлению в Морской корпус. Преподавание велось на французском языке, и мы, дети, много лет спустя находили на чердаке полуистлевшие учебники, с которыми проходили эти занятия.

Вторая дочь Чебышёвых, Евдокия Афанасьевна, была не столь умна, зато отличалась необычайной добротой. Она постоянно ходила на деревню, оказывая помощь нуждающимся, и завещала похоронить себя не в церковной ограде, а на общем кладбище, среди своих деревенских друзей. Эта ее воля была исполнена, и когда в поминальные дни мы ездили в церковь, то после общей панихиды на могилах родственников отправлялись на заросшее бурьяном и крапивой сельское кладбище к тетушке Додо. Третья дочь, Мария Афанасьевна, умерла молодой.

Барышни Чебышёвы были в дружбе с княжнами Шаховскими — между Аладиным и имением Белая Колпь Волоколамского уезда Московской губернии велась оживленная переписка, часть которой сохранилась в аладинском чердачном архиве. Подруги были настроены экзальтированно-патриотически, выражались возвышенным слогом (конечно, по-французски) и мечтали о подвигах самопожертвования.

В мое время в Аладине, рядом со столовой, была небольшая полутемная комната, увешанная портретами работы домашних мастеров. В этой комнате никто не жил, там хранились яблоки, висели охотничьи ружья и стоял жесткий диван, на котором в 1891 году умер прадед Петр Афанасьевич. Простые часы-ходики были остановлены в час его кончины. Нам, детям, запрещали садиться на диван, и всю комнату окружал всяческий пиетет. Среди портретов, висевших на стенах, были изображения двух черноглазых барышень в открытых платьях с красными лентами. Лица их были совершенно одинаковы, только одна смотрела направо, а другая — налево. Это были портреты княжон Шаховских, которые в 20-х годах XIX века иногда приезжали в Аладино. Этими посещениями и ответными визитами сестер Чебышёвых в Белую Колпь и исчерпывались развлечения аладинской жизни того времени.

Когда же старший брат Николай уехал в Петербург на военную службу, а младший — в Морской корпус, в Аладине стало совсем скучно. Соседей было мало, местность была небогатая, Калуга со своими уездами вполне оправдывала название, данное ей императором Николаем I, — «Бесприданная красавица». Суглинистая почва давала скудные урожаи, и единственное богатство края составляли яблоневые сады.

Однако для всех аладинцев эта скромная природа имела неизъяснимую прелесть — обилие зелени всевозможных оттенков, от пепельной ракиты до бархатисто-изумрудной ели, придавало ландшафту разнообразный и приятный колорит. Небольшие речки, пересеченные плотинами с вертящимися колесами водяных мельниц, образовывали тихие пруды, к берегам которых спускались густые коноплянники с покосившимися плетнями. Там всегда было прохладно, заливались лягушки, крякали утки и стоял дурманящий запах конопли.

Екатерининские дороги, усаженные березами, прорезали волнистую долину, связывая Калугу с ее уездами и заштатными городками (таких городов, разжалованных в села, было три: Сухиничи, Воротынск и Серпеск). По этим дорогам на протяжении ста лет с одинаково радостным замиранием сердца подъезжали к Аладину все те,

кому оно было родным. В стенах осажденного Севастополя, на берегах Средиземного моря, на улицах Парижа, на волнах Тихого океана — всюду, куда только судьба их ни закидывала, они чувствовали, что есть кусочек земли, который им дороже всех прекрасных мест на свете.

Мне это настроение было передано моей бабушкой Александрой Петровной, которая, несмотря на свой французский брак, сумела если не все, то многие иностранные влияния подчинить русскому, круто держа, как дочь моряка, курс на Россию и Аладино.

Прадед мой (а ее отец), будучи подготовлен своей сестрой, поступил в Морской корпус в 1831 году. В 1838-м он плавает у абхазских берегов Черного моря, принимает участие в боях против горцев, получает ранение в бок навылет, производится в мичманы в 1840 году и в лейтенанты в 1841-м. В 1847 году он женится на дочери генерал-лейтенанта флота Григория Афанасьевича Польского, Юлии Григорьевне. Судя по портретам и отзывам ее дочерей, Юлия Григорьевна была красива, но следов этой красоты в старости, когда я ее видела, заметить было нельзя.

Родившаяся у Чебышёвых в 1848 году дочь Сашенька в возрасте пяти лет была привезена к бабушке в Аладино, где жил в то время и ее двоюродный брат Коля Чебышёв, сын Николая Афанасьевича, женатого на [Софье] Глинке. Мальчика взяла на воспитание тетушка Анна Афанасьевна, применявшая в этом деле педагогические рецепты Жан-Жака Руссо. Она побуждала десятилетнего Колю, в котором души не чаяла, каждый вечер беседовать со своей совестью и заносить итоги этих бесед в дневник. В результате появлялись такие записи: «J'ai pense a Moise — J'ai vole une pomme» («Размышлял о Моисее. Украл яблоко»). В возрасте двенадцати лет этот мальчик умер, упав с лошади.

Ближайшим к Аладину соседним имением было находившееся в восьми верстах село Колодези. В XVIII веке оно принадлежало сибирскому губернатору Богданову, а потом перешло к его дочерям Кавериной и Щербачевой. Александра Николаевна Чебышёва ездила к соседкам и возила туда внучку Сашеньку. Каверина — красивая

старуха неукротимого нрава — была известна всей округе своим самодурством. Рассказывали, что, когда у нее болели ноги, она посылала крепостную девку в молельную за великомученицей Варварой и заставляла прикладывать икону к ногам. Если наступало улучшение, то святой служили молебен, если улучшения не наступало, давалось распоряжение повесить икону «носом к стенке». Сестра Щербачева, тихая и добрая женщина, очень страдала от подобных выходок.

Приходом Аладина считалось стоявшее в двух верстах село Субботники. В мое время помещичьего дома там не было, но в 80-х годах в Субботниках еще жила помещица Наталия Николаевна Комарова, фрейлина двора. Под конец жизни она была так бедна, что выходила к гостям, завернувшись в старую бархатную портьеру, но имела при этом вид королевы. Рассказывали, что она когда-то пользовалась особым расположением великого князя Михаила Павловича. В память об их совместном пребывании в Италии остались две раскрашенные гравюры Неаполя с дымящимся Везувием, которые были куплены у Комаровой и висели в диванной, самой уютной комнате аладинского дома. В церкви села Субботников находилась икона св. Севастьяна, пронзенного стрелами: у святого были красивые темные глаза и маленький рот. По словам старожилов, моделью для иконописца служила Наталия Николаевна.

Во время Крымской кампании Петр Афанасьевич Чебышёв, как и все моряки Черноморского флота, вошел в состав гарнизона осажденного Севастополя (4-й бастион, 10-я Приморская батарея). Десятого мая 1855 года он был контужен в голову, получил ожог лица и поражение глаза. После этих событий, в феврале 1856 года, Александра Николаевна Чебышёва с внучкой Сашенькой отправилась на богомолье в Мещовский монастырь. Время было тревожное — приходили плохие вести с театра военных действий. В памяти девочки ярко запечатлелось, как бабушке подали газету в траурной рамке и она, закрыв лицо руками, воскликнула: «Боже мой! Петрушу убили!», не сообразив сгоряча, что ради Петруши траурной рамки не поместили бы. Это было известие о смерти императора Николая I.

В том же 1856 году, после окончания войны, Петр Афанасьевич был награжден орденом св. Георгия 4-й степени за восемнадцать морских кампаний и переведен в Кронштадтский порт, а два года спустя назначен командиром корвета «Медведь» в Средиземное море. Семью свою, состоявшую к тому времени из жены и двух дочерей, Александры и Валентины, он перевез во Францию.

В 1858 году Сашенька Чебышёва впервые совершила рейс Аладино — Париж, рейс, который потом стал столь привычным в нашей семье. После привольной жизни у бабушки в деревне она попала в пансион с монастырским уставом и невольно начала идеализировать прошлое. Большая любовь к России сохранилась в ней до последних дней, несмотря на то, что события ее личной жизни должны были бы способствовать уклонению ее с этого русофильского пути.

Четырнадцатилетним подростком она встретила у одной из своих подруг молодого человека из состоятельной патриархальной парижской семьи (бельгийского происхождения) Гастона Александровича Эшена (Euchene). Эшенам принадлежал большой кусок земли на берегу Сены, в Пасси, на котором впоследствии был построен выставочный дворец Трокадеро. Сашенька дала Гастону слово выйти за него замуж и семь лет нерушимо держала это полудетское обещание. Между тем Петр Афанасьевич, переведенный на Дальний Восток, плавал в Японском море и Тихом океане.

Тут уместно сказать несколько слов о создавшейся в то время политической обстановке. В 1863 году президент Североамериканских Штатов Линкольн обратился к императору Александру II с просьбой оказать моральную поддержку Северным Штатам в их войне с рабовладельческим Югом. В ответ на это две русские эскадры — одна с востока, а другая с запада — направились к берегам Америки для устрашения англичан, готовых вступиться за южан. Через Атлантический океан шла эскадра под флагом контр-адмирала Лесовского (причем на борту одного из судов — на «Алмазе» — находился 19-летний мичман Николай Римский-Корсаков), а через Тихий океан шла эскадра под флагом контр-адмирала

Попова. В состав последней входил корвет «Богатырь», командиром которого был Петр Афанасьевич Чебышёв.

Двадцать третьего октября, когда «Богатырь» стоял на рейде Сан-Франциско, в порту возник грандиозный пожар, поглотивший целый квартал, прилегающий к набережной. Команда «Богатыря», числом в двести человек, немедленно явилась к месту катастрофы для оказания помощи, и через несколько дней муниципалитет города Сан-Франциско поднес командиру корабля, офицерам и команде резолюцию благодарности за «ценные, своевременные и энергичные услуги, столь благородно оказанные русскими моряками».

В конце 60-х годов Петр Афанасьевич, отозванный в Петербург, переводится на службу в Адмиралтейство, и его семья покидает Париж. В день своего совершеннолетия Александра Петровна, верная данному ею слову, вызывает своего жениха в Петербург и венчается с ним сначала в сенатской, а потом в католической церкви.

Брак бабушки и дедушки с материнской стороны был самым (чтобы не сказать единственным) счастливым браком, который мне довелось видеть в жизни. Чтобы быть вполне объективной, нужно признать, что согласие достигалось ценою полного подчинения дедушки образу мыслей, вкусам и привычкам жены — он был заранее согласен со всем, что она скажет. Бабушка и дедушка прожили всю жизнь не разлучаясь и не ведая сильных потрясений. Последние годы их жизни в счет не идут, так как тут произошло крушение старого мира. В 1919 году бедные старики остались одни в холодном и голодном Петрограде. Я находилась в Козельске и не могла приехать, ибо железные дороги выбыли из строя. С бабушкой и дедушкой, к счастью, оставались их преданные слуги, а навещал и хоронил их мой отец, разведенный муж их дочери.

Дедушка Гастон Александрович скончался в ноябре 1919 года, а бабушка Александра Петровна пережила его лишь на две недели. Их положили в одну могилу на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, приколотив к деревянному кресту — как практиковалось в те дни — медную дощечку с входной двери их квартиры. Теперь их могилы не существует.

Но я забежала вперед на целых пятьдесят лет!

Поселившись после свадьбы в Париже, супруги Эшен, о печальной кончине которых я только что говорила, пережили в его стенах осаду 1871 года, но гроза пронеслась быстро, и Париж зажил своей обычной жизнью. В 1872 году у Александры Петровны было уже две дочери — беленькая Линочка и темноволосая Сашенька. Линочка была полным кудрявым ребенком, но ее полураскрытый рот не свидетельствовал об особой живости ума. Зато Сашенька была необыкновенно сообразительна, забавна, жизнерадостна и умела добиваться того, чего хотела.

Девочки воспитывались в православной вере, и, чтобы их первым языком был русский, в Париж выписали русскую няню Елену Семеновну, которая за много лет выучила лишь одну французскую фразу «мусью савую» («Monsieur, asseyez-vous», «Присаживайтесь, месье»). В аллеях Булонского леса в то время часто можно было встретить даму с двумя девочками, которые громко практиковались в произношении каких-то невероятных для французского уха слов, вроде «мыло», «рыба», «лыко». Дети всё норовили сказать «мило», «риба», «лико», чем приводили свою мать в негодование.

По воскресеньям вся семья собиралась у бабушки Эшен в Пасси, где для девочек всегда отложено много лакомств. Сашенька, любившая сладости, быстро съедала свою порцию и затевала игру в ворону и лисицу. Сама она всегда изображала «противную, хитрую лису», а Линочка, стоя на стуле, должна была ронять куски шоколада или бисквитов, которые мгновенно, по роли, подхватывались ее сестрой.

Летом семья уезжала на морские купанья в Бретань. Океан с его приливами и отливами имел для детей большую притягательную силу. Все было весело — и купанье из холщовых фургонов-раздевалок, которые выкатывались далеко в море, и ловля креветок, и постройка крепостей из песка. Поэтому, когда Линочку и Сашеньку вместо Бретани однажды повезли набираться русского духа в Аладино, им это не очень понравилось. Прелести Калужской губернии им были еще непонятны (Линочка до конца осталась к ним равнодушной!). Они не могли оценить

возвышенной беседы Анны Афанасьевны и душевной чистоты тетушки Додо, и, пока их мать упивалась радостью пребывания на родине и ела подаваемое в Аладине кушанье «соломату», девочки брезгливо морщили носы и уверяли, что в Аладине можно без опасения есть только яйца вкрутую, картофель в мундирах и апельсины, то есть то, что чистится за столом.

Годы шли, и девочкам настало время учиться. Их определили в класс к парижской учительнице, которая взялась готовить их по всем предметам. Однажды их мать пожелала присутствовать на уроке истории и услышала: «Милые дети! Россия до Петра Великого была только скопищем диких орд». Уроки были прекращены, и домашним преподавателем к девочкам был приглашен живший тогда в эмиграции Лев Иванович Тихомиров. Линочка, хотя и не отличалась блестящими способностями, училась добросовестно, усадить же за книгу Сашеньку, при всей ее природной сообразительности, было делом нелегким. Ей казалось, что в Париже, да и вообще на свете, есть много вещей, гораздо более интересных, чем учебники. С музыкой дело шло гораздо успешнее, и игра Сашеньке доставляла большое удовольствие.

Девочек воспитывали строго и с приложением той не совсем удачной французской системы, которая путем бесконечных разговоров о «долге» (*le devoir*) низводила это понятие до повседневных мелочей и вместо внедрения моральной ответственности достигала обратного: дети пропускали эти внушения мимо ушей, и понятие «долга» совершенно дискредитировалось.

Педагогические методы бабушки Александры Петровны применялись также и двадцать лет спустя к моему поколению и, иногда, в силу изменившихся условий жизни, вызывали среди нас протесты, но там, в Париже, все обходилось очень мирно. В семье царило трогательное единение. По вечерам у круглого стола, под лампой с приятным абажуром, дедушка читал вслух произведения французской литературы (с выпуском фривольных мест, конечно!), и у моей матери сохранилась об этих вечерах память как о символе семейного счастья.

Как я уже говорила, главную роль в семье играла Александра Петровна, но и она, несмотря на ярко выраженную

самобытность, живя в Париже, подверглась постепенному влиянию французской среды, которую никак нельзя упрекнуть в недооценке материальной стороны жизни. (Недаром говорят, что француженка отдаст родине сына, но призадумается, прежде чем отдать сто франков.) За долгие годы, проведенные во Франции, Александра Петровна стала расчетливой и предусмотрительной хозяйкой. Ведение дома у нее было поставлено с точностью часового механизма. Полушутя бабушка говорила, что есть одно место, где она дает простор своей широкой русской натуре, — это ее зеркальный шкаф, где якобы царит беспорядок. Но этот шкаф был всегда заперт, царящего там беспорядка мы не видели, а потому в него не верили.

Материальной стороне жизни дедушки и бабушки Эшен был нанесен тяжелый удар в конце 70-х годов, когда произошел крах Лионского банка и значительно пострадали эшеновские капиталы. Дедушке пришлось поступить на службу в правление нескольких акционерных обществ, и в семье на долгие годы утвердились разговоры о «священном долге экономии». Разговоры эти велись не столь из практической необходимости, сколь «из принципа», и детьми воспринимались как неизбежный ритуал, не портящий, в конце концов, настроения.

Другая сторона воспитания бабушки Александры Петровны была более удачной: девочкам старались привить ту французскую любезность, которая заставляла их быть приветливыми со всеми без различия, уметь в равной степени поддерживать разговор с интересующим их человеком и с какой-нибудь старой глухой дамой, не выказывая при этом никаких признаков скуки.

Много лет спустя, в России, мне встречались люди, которые с недоверием относились к западноевропейской любезности моей матери. «Она слишком приветлива ко всем! Это не может быть искренним», — говорили эти люди, хотя никакой причины для неискренности усмотреть не могли. Такие суждения меня всегда очень удивляли, и я приходила к заключению, что люди охотно дискредитируют то, чем не обладают сами.

В 1888 году сбылась давнишняя мечта Александры Петровны. Дедушка Гастон Александрович получил место в правлении Макеевских металлургических заводов,

финансируемых французским капиталом, и семья, до тех пор бывавшая в России лишь наездами, окончательно переехала в Петербург. На Николаевской улице была нанята большая квартира, с трудом вместившая широкие кровати с балдахинами, наполеоновские шкафы красного дерева с бронзой, мозаичные столики, золоченые кресла, короче, всю ту тяжелую, декоративную мебель, которая десятилетиями стояла в доме в Пасси и теперь была с трудом сдвинута с места и перевезена с берегов Сены на берега Невы.

Переезд в Россию особенно радовал бабушку Александру Петровну потому, что ее отец, Петр Афанасьевич, которого она очень любила, после двухгодичного плавания в Средиземном море на этот раз уже в качестве командующего эскадрой, с половины 80-х годов обосновался в Петербурге. Рассказы об адмирале Чебышёве, некоторых его странностях, его простоте и отваге ходили в то время из уст в уста. Так, однажды он, в своей адмиральской форме, зимой бросился в Неву спасать утопающего и благополучно вытащил его из-под льда. Подбежавшие полицейские и сам пострадавший захотели узнать имя спасителя, но он, весь обледеневший, вскочил в извозчичьи сани и умчался, не сказав ни слова. Когда на следующий день генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу было сообщено о поступке «неизвестного адмирала», тот воскликнул: «Ну кто же это мог быть, как не мой чудак Чебышёв!» Прадед был вызван к великому князю и должен был во всем сознаться.

Как некогда в Сан-Франциско, так и во всех портах, где бы ни стояли корабли под его командой, прадед Петр Афанасьевич оставлял по себе добрую память. Когда русская эскадра покидала Неаполь, местные жители поднесли ему небольшой круглый столик, в доске которого были инкрустированы все корабли, на которых он плавал, числом, кажется, в одиннадцать.

Среди вещей, привезенных прадедом из Италии, была нитка розовато-красных кораллов. Я получила ее в возрасте одиннадцати лет, и эта вещь буквально «красной нитью» проходит через всю мою жизнь. Она украшала мое белое кисейное платье на московских танцклассах,

а через много лет служила четками в наиболее трагические моменты моей жизни.

С половины 80-х годов Петр Афанасьевич, не будучи уже связан с морем, при всяком удобном случае устремлялся в Аладино, где жила его незамужняя сестра Анна Афанасьевна, и проводил там большую часть года, занимаясь разведением яблоневого сада. В Аладине же наступила в 1891 году его скоропостижная кончина от апоплексического удара.

Сыновей у Петра Афанасьевича не было, но морские традиции воспринял его внук Андрей Петрович Штер, сын его дочери Валентины Петровны, который плавал и сражался в 1904 году на знаменитом крейсере «Новик».

Но возвращаюсь к концу 80-х годов. Не прошло и двух лет со времени их переезда в Петербург, как Линочка и Сашенька Эшен были обе помолвлены. Двадцатого октября 1891 года в церкви Пажеского корпуса на Садовой одновременно венчались две пары: Валентина Гастоновна — с сотником лейб-гвардии Казачьего полка Николаем Николаевичем Курнаковым, а Александра Гастоновна (моя мать) — с моим отцом, Александром Александровичем Сиверсом, который незадолго до того стал бывать в доме на правах родственника (бабушка Александры Петровны по матери была урожденная Сиверс).

Отец женился в возрасте двадцати пяти лет. В 1888 году он окончил Петербургский университет и служил в Главном управлении Уделов. Он был очень красив собой (кроме его тещи Александры Петровны, это находили все. Она говорила, что «у Саши слишком грустные глаза») и очень серьезен (это признавала даже теща). К сожалению, это последнее качество было неравномерно распределено между моими родителями: отец обладал им в слишком большой мере, а мама — в то время — в недостаточной. Впоследствии это сказалось и привело к разрыву, но в 1891 году брак заключался по самой искренней привязанности с обеих сторон.

Муж Валентины Гастоновны, Курнаков, ничем не выделялся ни с внешней, ни с внутренней стороны. Это был окончивший Пажеский корпус молодой казачий офицер из известной, как говорили, на Дону фамилии. Тетя

Лина выходила замуж без особой любви, а больше «за компанию» с сестрой. Молодой человек, который ей нравился (Виктор Дандре, впоследствии муж и импресарио знаменитой балерины Анны Павловой) в то время был бедным студентом и в женихи не годился, да и жениться, кажется, не собирался. Еще раньше, во Франции, лейтенант зуавов Дюфан де Шуазине был отвергнут бабушкой, не желавшей иметь зятем француза. Перспектива жить дома без сестры Линочке не улыбалась, и она предпочла выйти замуж.

Несмотря на предпочтение, отдаваемое старшей дочери, Александра Петровна, обладавшая неисчерпаемым чувством юмора, любила над ней посмеяться, подчеркивая ее склонность поддаваться временным влияниям. Если Линочка вдруг начинала принимать неестественно-важные позы, это, по словам ее матери, значило, что она начиталась Вальтера Скотта и воображала себя леди Равеной. Выйдя замуж за Курнакова, Линочка сразу стала лихой казачкой, говорила «у нас на Дону» и с видом знатока судила о джигитовке. Это длилось недолго, но было в достаточной мере смешно.

Через год у Курнаковых родился сын Сергей. Бабушка и дедушка Эшен, под предлогом того, что квартира в лейб-казачьих казармах неудобна для ребенка, взяли внука к себе, сначала на время, а потом он остался у них навсегда и стал предметом самого тщательного «лабораторного» воспитания. Строго оберегаемый от всякого постороннего влияния, к двенадцати годам Сережа приобрел тон вундеркинда. К шестнадцатилетию вундеркинд превратился в веселого, остроумного, даже несколько разбитного малого, которого бабушка Александра Петровна с притворным ужасом называла «garcon de cabaret» («парень из кабака»). Сережу учили многому: живописи, музыке, иностранным языкам, верховой езде. Ждали, что он будет великим математиком, знаменитым строителем, художником, композитором. Но наступила война 1914 года, а за нею революция. Для Дикой дивизии* пригодилось

* «Дикая дивизия» — кавалерийская дивизия, состоявшая из добровольцев-мусульман, уроженцев Северного Кавказа и Закавказья. Многие русские дворяне служили в дивизии офицерами. — *Здесь и далее примечания редактора, если не указано иного.*

уменье ездить верхом, а для последующей деятельности журналиста пошло на пользу владение пятью языками, хлесткое перо и способность к рифмованию, в котором мы с ним соревновались с детских лет. (Я упомянула о двоюродном брате, так как он будет появляться на страницах моих воспоминаний.)

В начале 90-х годов один за другим умерли Петр Афанасьевич и Анна Афанасьевна Чебышёвы. К бабушке Александре Петровне перешло Аладино и земля при соседней деревне Нетесово, всего 250 десятин. Денежные обязательства, лежавшие на этом небольшом владении, немедленно погасили, и через два-три года Аладино нельзя было узнать. Из запущенной усадьбы оно превратилось в благоустроенную дачу, куда вся семья съезжалась на лето в течение двадцати пяти лет.

Пока не была построена Московско-Киево-Воронежская железная дорога, сообщение с Аладином было довольно сложным. До Калуги доезжали поездом, потом 75 верст на перекладных по тракту Андреевское — Перемышль — Козельск. В Козельске обычно ждали свои лошади.

В раннем детстве я два раза совершила такое путешествие с матерью, братом Шуриком, который был на полтора года младше меня, и няней Настасьей. Хотя я была еще очень мала, но отчетливо запомнила некоторые картины того периода моей жизни. Обстоятельства сложились так, что позднее мне целых семь лет не пришлось быть в Аладине. После развода родителей оно стало для меня запретной и потому особенно интересной зоной, и я всеми силами старалась извлечь из своего сознания отрывки воспоминаний. Я закрывала глаза, и мне представлялся балкон с белыми колоннами, липовая аллея среди яблоневого сада и в конце аллеи смешная будка для караульщика. Будка эта стояла на подпорках, как свайная постройка, и в нее вела боковая лесенка. Вспоминался гремучий ключ в парке. На берегу росли незабудки, и девочка в красном сарафане мастерила для меня кузовок из бересты. Эти отрывочные образы так прочно врезались в мою память, что когда я одиннадцатилетней девочкой снова приехала в Аладино, многое мне показалось знакомым. Я узнала и балкон, и будку на сваях, и гремучий ключ.

Но прежде чем перейти к описанию моего вторичного появления в Аладине осенью 1903 года, следует установить, что я представляла собою в возрасте одиннадцати лет. Для этого необходимо вернуться к событиям раннего детства и рассказать о семье моего отца.

Род Сиверсов, из которого происхожу я, принадлежит к лифляндскому матрикулированному дворянству и, по существу, был военным. Прапрадед Иван Христианович Сиверс, приходившийся двоюродным братом екатерининскому наместнику в Твери и Новгороде и послу в Польше Якову Ефимовичу Сиверсу, воспитывался во 2-м кадетском корпусе, откуда был выпущен в Гатчинскую артиллерию цесаревича Павла Петровича и, после воцарения последнего, переведен в лейб-гвардии артиллерийский батальон. С этой поры наша семья тесно связана с гвардейской артиллерией.

В 1799 году Иван Христианович, находясь в Швейцарии в армии [Александра Михайловича] Римского-Корсакова, участвовал в сражении с французами близ Шафгаузена, а в Отечественную войну командовал артиллерией Запасной армии Тормасова. На склоне лет, в чине генерал-лейтенанта, он стал начальником Южного округа Артиллерии в Ахтиаре (так в то время назывался Севастополь) и умер в Севастополе в начале 30-х годов. Женат он был на Марии Марковне Сиверс и имел двух сыновей и трех дочерей. Из последних одна была замужем за флота генерал-лейтенантом Григорием Афанасьевичем Польским (оттуда родство с Чебышёвыми).

Старший сын, Александр Иванович, мой прадед, воспитывался в Пажеском корпусе, причем имя его, как окончившего первым, занесли на мраморную доску. В 1817 году он был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду, а затем, командуя батареей 2-й артиллерийской бригады, за «отличную храбрость», выказанную им в траншеях при осаде турецкой крепости Варна в 1828 году, получил орден Святого Георгия 4-й степени.

После войны Александр Иванович некоторое время состоял при Николаевской военной академии, а затем, в возрасте тридцати трех лет, был произведен в генерал-майоры и, пользуясь репутацией неподкупно честного человека,

назначен начальником Тульских оружейных заводов, где не все было благополучно. Были обнаружены хищения, и молодой генерал с энергией принялся за «выявление зла». Он, видимо, принадлежал к тому сорту людей, по поводу которых либерально настроенный публицист воскликнул: «Хвала стране, где честность дает тебе известность!», а потом, увидев, что сказал неловко, поправился: «Позор стране, где честность дает тебе известность». Для Александра Ивановича Сиверса его честность и порожденная ею известность оказались губительны. Он умер загадочной смертью в начале 40-х годов, как предполагали по некоторым данным, был отравлен.

Его вдова, Елизавета Карловна (урожденная Ольдерогге), оставшись с четырьмя детьми без всяких средств и с небольшой пенсией, являлась примером доблести и добродетели. Дав прекрасное воспитание детям, она умерла в 1899 году в возрасте восьмидесяти девяти лет, окруженная заботой сыновей, находившихся уже в немолодых годах и генеральских чинах.

Из трех сыновей ее двое — Михаил и Николай — были, как и их отец, артиллеристами. Средний же, Александр Александрович, мой дед, не мог поступить в военную службу из-за повреждения ноги. В младенческом возрасте он неудачно выпал из колясочки, всю жизнь страдал хромотой и носил тяжелый протез.

Вспоминая дедушку, я удивляюсь тому, что это несчастие не наложило на него никакого отпечатка мрачности: это был удивительно милый, приветливый человек, любящий жизнь во всех ее проявлениях. Главным пристрастием его были лошади: на конюшне всегда стояло несколько хороших лошадей, а кабинет заполняли конские скульптуры и картины Сверчкова. Кроме лошадей, дедушка любил растения, птиц и рыб. Где бы он ни жил — в Нижнем, в Киеве или в Москве, — его квартира напоминала зимний сад, причем он сам ухаживал за своими цветами и пальмами. Между кадками с тропическими растениями стояли аквариумы с золотыми и серебряными рыбками, а в столовой заливались десятки канареек и других экзотических птичек. Душою всего этого животного и растительного мира был сам дедушка, который, несмотря на все свои многочисленные

служебные дела, находил время, чтобы полить цветы и накормить птиц и рыб.

Более тридцати лет Александр Александрович прослужил в Удельном ведомстве, причем в последние годы был начальником Удельного округа в Нижнем, а затем в Киеве. В конце 90-х годов дедушка и бабушка Сиверс поселились в Москве. Дедушка вышел на пенсию, но, не вынося бездействия, вел дела своего друга, Владимира Федоровича Лугинина, по управлению его большими лесными именьями в Костромской губернии.

Умер Александр Александрович от приступа грудной жабы 21 апреля 1902 года, скоропостижно, на даче под Москвой, окруженный любовью и уважением всех его знавших.

В родословную моего отца по материнской линии вкрадывается некоторая таинственность. Несомненно, что его прабабушка Елизавета Григорьевна Калагеорги, в девичестве Темлицына, была дочерью светлейшего Потёмкина. Кто была ее мать, в точности неизвестно. Апокрифические версии называют императрицу Екатерину II, причем сторонники этой версии указывают на очень большое сходство с императрицей двоюродной тетки моего отца Елизаветы Александровны Стремоуховой, урожденной Калагеорги, внучки таинственной Елизаветы Григорьевны. Во всяком случае, документально известно, что в семье лейб-медика великокняжеских детей Бека воспитывалась дочь светлейшего князя, в судьбе которой императрица принимала большое участие. Известен портрет кисти Боровиковского, изображающий эту особу в восточном тюрбане, облокотившейся на бархатную рампу театральной ложи. (Находится в Третьяковской галерее, причем ошибочно помечен «Е.Г.Тёмкина», тогда как она была Темлицына — смешение фамилий Потемкина и ее крестной матери княгини Голицыной.)

На судьбу Елизаветы Григорьевны косвенным образом повлияли устремления русской политики конца XVIII века. В окружение великого князя Константина Павловича, намечавшегося, как известно, в византийские императоры, по мысли его бабушки, были вызваны из Греции несколько юношей, которым следовало оказывать на него «эллинское влияние». Среди этих молодых греков

находился и Иван Христофорович Калагеорги. Византийскому проекту не суждено было осуществиться, но греческие юноши на родину не вернулись и остались в России. Иван Калагеорги, поступивший на военную службу и женившийся на Елизавете Георгиевне, впоследствии долгие годы пребывал на посту херсонского губернатора.

Младшая дочь четы Калагеорги, Вера Ивановна, вышла замуж за помещика Лохвицкого уезда Полтавской губернии, друга Гоголя, сына известного скульптора Петра Ивановича Мартоса. Умерла она сравнительно молодой. Дочь Веры Ивановны, Надежда Петровна Сиверс, моя бабушка, вспоминая свое детство в обстановке украинской деревни, рассказывала, что крестьяне, когда она с родителями проезжала в экипаже, говорили: «Це Мартос, Мартосиха и Мартосивна».

Теперь, когда я в кратких словах рассказала об истоках семьи и перечислила моих ближайших предков с четырех сторон, я могу приступить к изложению собственных воспоминаний.

Ничуть не страдая самомнением, я все же признаю, что моя жизнь представляет некоторый интерес, поскольку она сплетена с внешними событиями большой важности, участницей и жертвой которых мне пришлось быть.

Потому во мне так сильна обида за утрату того единственного (материального), что остается у человека от его прошлого — писем, дневников и фотографий. Всего этого я была лишена грубо и, главное, бессмысленно.

Часть первая

Детство

Родилась я 12/24 октября 1892 года в Петербурге, на Николаевской улице. Немногим более чем через полтора года родился на Крестовском острове мой единственный брат Александр, «Шурик» нашего детства, «Сашка» его лицейских лет и, наконец, з/к Сиверс А.А. 10-й роты С.Л.О.Н.'а.

Наше детство, вплоть до катастрофы 1898 года, когда уехала наша мать, ничем не отличалось от обычного детства здоровых счастливых детей. То, что я в возрасте четырех лет болела тифом, а потом менингитом и осталась жива, не опровергает, а как раз подтверждает выносливость моего организма.

Первая петербургская квартира, которую я помню, была в Эртелевом переулке. Мы занимали нижний этаж небольшого дома, как раз напротив типографии суворинского «Нового времени». В комнатах было уютно и красиво благодаря парижским вещам моей матери — крупным и мелким. Гостиную карельской березы родители тщательно подобрали у старьевщиков Александровского рынка, положив этим начало увлечению старинными вещами в нашей семье.

Все утверждали, что моя мать очень похорошела после замужества. Что делало ее внешность особенно привлекательной — так это седая прядь на фоне темных вьющихся волос, которая появилась в возрасте 18-19 лет и составляла интересный контраст с ее молодым, подвижным лицом.

Если в школьные годы Сашенька считала, что «Париж имеет много вещей более интересных, чем учебники», то теперь, в Петербурге, для нее оказалось много вещей более интересных, чем сидение в детской. Зато когда

она там появлялась, она была так мила и ласкова, что мы приходили в полный восторг. Представляю себе ранние петербургские сумерки и маму в синем бархатном платье, стоящую перед нами на коленях и прижимающую к груди наши головы, чтобы мы могли послушать, как бьется ее сердце. (Она в это время болела острым воспалением сердечной оболочки.) Иногда мы допускались к рассмотрению ящиков ее зеркального шкафа. Глаза разбегались при виде множества интересных вещей: котильонных украшений, разноцветных лент, искусственных цветов, страусовых перьев. По вечерам мама часто играла на рояле; днем, когда бывала дома, рисовала цветы или прелестные картинки в стиле английской иллюстраторши Kate Greenway. Если все эти занятия и не были особенно значительны по своему содержанию (отец всегда подсмеивался над маминым пренебрежением к печатному слову), то они во всяком случае не оставляли места скуке (мама всегда говорила, что это понятие ей незнакомо).

В первой главе я упоминала, что отец служил в Главном управлении Уделов. Теперь к этому общему указанию могу добавить, что он заведовал Седьмым делопроизводством, то есть отделом, создавшим русское виноделие, русское хлопководство и чайные плантации в Чакви. Слова «Массандра» и «Абрау-Дюрсо» мне были знакомы с детства, а когда после постройки мощных оросительных сооружений Мургабское Государево имение в Закаспийской области перешло на хлопководство и в Байрам-Али был построен хлопкоочистительный завод, отца стали в шутку называть «отцом русского хлопка». Во главе Удельного ведомства в 90-х годах стоял князь Леонид Дмитриевич Вяземский, человек благородной души, но крутого и раздражительного нрава. В 1901 году он находился на площади Казанского собора, когда там проходила студенческая демонстрация. Увидев, как полицейские разгоняют толпу нагайками, он вскипел негодованием, вмешался в действия полиции и приказал городовым немедленно убрать нагайки. Выступление у Казанского собора навлекло на Вяземского опалу.

Главное управление Уделов помещалось на Литейном проспекте, близ Бассейной улицы, в большом доме с фронтоном, поддерживаемом четырьмя кариатидами.

Рядом с этим зданием был сад, куда мы ходили гулять со старушкой няней Настасьей и где встречали детей Вяземских, бывших значительно старше нас. Дети эти назывались «Димка, Лилька и Алешка».

Долгие прогулки по городу, совершаемые «для здоровья» сначала с няней, а потом с воспитательницей Юлией Михайловной, навсегда сроднили нас с Петербургом, заставили ощутить его особенности и красоту как нечто неотделимое от нас самих. Бронзовые кони Аничкова моста, чугунные ограды парков и набережных, завитки которых мы должны были обязательно потрогать пальцем, проходя мимо, мраморные фигуры и вазы Летнего сада, вокруг которых мы играли, и даже петербургские туманы, подчас розоватые от пробивавшегося сквозь них солнца, — все это было неразрывно связано с нашей жизнью. Помню, как мы однажды стояли на Знаменской площади. Лиговская улица терялась перед нами в молочном тумане, среди которого, вследствие непонятной игры солнечных лучей, сверкал золотой купол далекой церкви. Я спросила у няни: «Где кончается Лиговка?» Няня ответила: «Ах — она без конца!» С тех пор представление о бесконечности у меня было связано с видом улицы, уходящей в туман, и золотого сияния где-то наверху.

Были и другие, менее символические впечатления от петербургской уличной жизни того времени. Иллюминация города в царские дни производилась весьма примитивным образом; от фонаря к фонарю протягивалась проволочка, на которой развешивались восьмигранные фонарики из разноцветного стекла со свечою внутри. Это было наивно и мило. Вензеля, короны и надписи из электрических лампочек появились впервые во время пребывания в Петербурге в 1900 году французской эскадры и президента Фальера. В честь этого события на Михайловской улице, против Думы, была поставлена алебастровая группа, изображавшая двух женщин: одну — в кокошнике, а другую — во фригийском колпаке, дружески пожимающих друг другу руки; это была эмблема франко-русского союза.

Как приезжал несколько ранее президент Феликс Фор, я не помню. Знаю только, что петербургское общество долго изощрялось в остротах по поводу дружественного

приема, оказанного царской семьей «торговцу кожами»*. Лейб-гусар Мятлев, только что начавший писать свои сверкающие остроумием эпиграммы, ставшие впоследствии энциклопедией русской придворной и общественной жизни целого периода, так изображал разговор государя с маленькими дочерьми:

Оля, шаркни ножкой,
Таня, сделай книксен:
В гости к нам приехал
Дядюшка Феликс!

В городе насмешливо предполагали, что будущего наследника назовут Ники-Фор в честь царя и его друга президента.

Если детское представление о бесконечности у меня было связано с петербургскими туманами, то представления о торжественности и красоте возникли в связи с воскресными посещениями удельной домовой церкви. Всё, начиная со швейцара в красной придворной ливрее с медной булавой в руках, открывавшего дверь, казалось мне необычным. После того как внизу были оставлены наши шубки, на моей голове поправили бант, а брату одернули его матроску, по красным пушистым коврам мы проходили к лестнице, ведущей во второй этаж. В вестибюле стояли два громадных бронзовых зубра, на которых мы поглядывали с интересом и некоторым страхом.

Уже на лестнице были слышны мощные и нежные звуки хора Архангельского. Мы подымались по ступеням, охваченные настроением торжественности, и, пройдя по галерее, украшенной помпейскими фресками и хрустальными люстрами, вступали на мозаичный паркет большой светлой залы, превращенной в церковь в честь святого Спиридония. Там мы чинно отстаивали обедню и бывали очень рады, если нам удавалось увидеть дядю Коку Муханова (ближайшего друга нашего отца) или толстого маленького заведующего удельной виноторговлей Александра Никандровича Андреева, который любил нас

* В юности Феликс Фор, сын мебельщика, служил помощником у торговца кожами.

и иногда водил осматривать подвалы с громадными стоведерными бочками.

Священник Удельной церкви отец Ветвеницкий обладал аскетической внешностью и неприятным гнусавым голосом. До него был отец Кандидий, который настолько применился к своей великосветской пастве, что назывался «le pere Candide» и был объектом ряда анекдотов. Про него, например, рассказывали, несомненно для красного словца, что, проходя мимо знакомых дам с кадилом, он тихо говорил: «Простите, сударыня, что плохо пахнет, но таков обычай».

Отстояв обедню, выпив «теплоты»* из плоской серебряной чарочки и получив по кусочку просфоры, мы уже менее чинно спускались по лестнице, не забывая заглянуть через окно в маленький внутренний дворик, где рос единственный в Петербурге каштан. Для поддержки это старое дерево было во многих местах охвачено железными обручами; оно казалось нам особенно ценным и напоминало Железного Генриха из сказок братьев Гримм.

Самое лучшее в Петербурге время — апрель — обычно совпадало с Вербной и Пасхальной неделями. Залитые солнцем улицы бывали полны народа. На углах продавались бумажные розаны для куличей, пучки вербы с краснощекими херувимами и специально весенние игрушки: круглые клеточки с конусообразной картонной крышей и сидящей в них восковой птичкой, а также красноклювые стеариновые лебеди, пустые внутри, которые прекрасно плавали в тазу с водой. Витрины магазинов ломились от всевозможных пасхальных эмблем: куличей, баб, барашков с золочеными рогами, а главное — яиц шоколадных, сахарных, стеклянных, атласных, раскрывающихся и нераскрывающихся, с сюрпризами и без сюрпризов. Нас приходилось иногда насильно оттаскивать от подобных витрин, перед которыми мы останавливались в экстазе, не желая идти дальше.

Некоторый интерес в это время представлял для нас также угол Нащекинской и Спасской улиц, откуда была видна каланча Литейной части. По белому флажку

---

* «Теплота» (*церковн.*) — теплая вода с вином, подаваемая после причащения.

на этой каланче мы судили о ходе льда на Неве. Когда флажок исчезал, это значило, что ледоход кончился и мы имели право снять теплое пальто и галоши. Правда, две недели спустя, в мае, наступало похолодание, так как проходил ладожский лед, но этот «чужой» лед в расчет не принимался, и теплые вещи уже лежали в сундуке, пересыпанные нафталином.

Говоря о наших встречах в удельной церкви, я упомянула имя дяди Коки Муханова. Это имя вызывает у меня целый поток нежных чувств, среди которых доминирует благодарность за все хорошее, что он внес в жизнь «двух детей, брошенных матерью» — как мы стали называться с 1898 года. Николай Николаевич Муханов не был нашим родственником и назывался дядей Кокой по дружбе, которая связывала его с детских лет с нашим отцом. Происходил он из старинной дворянской семьи (именье Мухановка находилось в Бугурусланском уезде Самарской губернии, рядом с поместьем славянофилов Аксаковых). Окончив Московский университет, он поступил на службу в Главное управление Уделов, встретился в Петербурге с нашим отцом, тогда еще холостым, и поселился с ним на Шпалерной улице. Третьим их сожителем был, как его тогда называли, «Ванечка» Шипов, который служил в министерстве финансов. Его очень ценил министр Витте, и впоследствии он сделал блестящую карьеру вплоть до директора Государственного банка.

В содружество на Шпалерной улице входил еще Яков Исаевич Элиасберг, служивший, как и Иван Павлович Шипов, в министерстве финансов. Это был человек очень тонкой душевной культуры, настолько милый, что дядя Кока Муханов, стоявший на базе «самодержавие, православие и народность», прощал ему его еврейское происхождение. (Яков Исаевич умер в возрасте сорока лет от приступа аппендицита.)

Когда мой отец женился, его место в товарищеской квартире занял приехавший из Москвы дальний родственник Шипова Николай Борисович Шереметев. О семье Шереметевых, сыгравшей столь важную роль в моей жизни, я буду говорить в следующей главе.

Товарищи и сослуживцы отца постоянно бывали у нас в доме. Мама, веселая и общительная, была склонна

к светским развлечениям; в отце же его страсть к книгам и всяким серьезным занятиям росла не по дням, а по часам. Не желая покидать кабинета, он часто просил кого-нибудь из своих друзей сопровождать маму туда, куда ей хотелось, а ему не хотелось ехать. Это дело кончилось бедой: наступил день, когда его помощник по должности Николай Борисович Шереметев заявил, что любит его жену и просит дать ей развод. Об этом объяснении я знаю только из последующих разговоров, но думаю, что оно было тяжелым для всех его участников.

В результате мои родители сделали попытку сближения и уехали на несколько месяцев за границу, а Николай Борисович перевелся служить в Беловежскую Пущу и уехал из Петербурга.

Мы, то есть брат Шурик и я, были отправлены на лето к бабушке и дедушке Сиверс, которые, живя в Москве зимой, на лето снимали какую-нибудь подмосковную усадьбу. На этот раз они поехали в именье Ново-Теряево Рузского уезда, принадлежавшее обедневшей семье князей Кудашевых.

Теперь, мне кажется, нужно сказать несколько слов о нашем внешнем облике, в значительной мере обусловившем отношение к нам со стороны родных отца. Я была круглолицей, румяной девочкой, с веселыми светлыми глазами, похожей на мать. На голубой радужке моего левого глаза имелось коричневое пятнышко, из-за чего этот глаз назывался «пестрым», но кроме этой метки я в детстве ничем особенным не отличалась. Брат, похожий на отца, был красивее меня, особенно поражали его серые, грустные глаза с пристальным и вместе с тем мягким взглядом и очень красиво очерченный рот. Двадцать лет спустя, когда мои щеки перестали быть круглыми, а глаза — веселыми, сходство между нами увеличилось. Бывали случаи, когда незнакомые люди обращались ко мне со словами: «Вы, несомненно, сестра Александра Александровича!» В детстве это сходство было менее выражено. Любимцем бабушки Сиверс естественно оказался Шурик. Я же, напоминавшая ей «женщину, составившую несчастье ее сына», вызывала в ней неприязненное чувство.

Сколько раз я слышала, как она презрительно говорила: «Вылитая мамаша!»

Впоследствии это породило ряд несправедливостей в отношении меня, но, пока был жив дедушка, а мы были малы, я всегда охотно ехала в Москву и на дачу. О лете в Ново-Теряеве у меня не сохранилось особенно ярких воспоминаний — помню, что место было сырое и я рассказывала брату и няне, что с соседнего болота поднимается «царь-туман» с белой бородой и в белой мантии.

Осенью за нами приехали вернувшиеся из путешествия родители. На маме была маленькая шляпа, вуалетка с мушками, и лицо у нее было грустное. Мы возвратились в Петербург, и началась мучительная зима. Все благие начинания — и поездка родителей за границу, и добровольная ссылка Шереметева в Беловеж не могли остановить хода событий. Начался развод, и в апреле 1898 года мама окончательно уехала из дому.

Отец принял вину на себя, но детей не отдал, и наступил период в пять с половиной лет, когда я ни разу не видела матери.

В семье Эшен известие о разводе было встречено весьма неодобрительно. Бабушка и дедушка сказали, что в Аладине «*разводкам* не место!». (Мой отец, несмотря на то, что был «пострадавшей стороной», никогда не мог простить этого своей теще, которую, как и полагается зятю, недолюбливал.) Маме пришлось принять приглашение одной старинной знакомой семьи (Александры Францевны Флиге) и поехать на все лето к ней в Подольскую губернию.

К нам в качестве воспитательницы была приглашена Юлия Михайловна Гедда, немолодая девица с высшим педагогическим образованием. У первоприсутствующего сенатора Гедда было девять человек детей и никаких средств. В силу этого те из его дочерей, которые не вышли замуж и располагали лишь небольшой пенсией после смерти отца, должны были работать. Старшая и наиболее умная из них, Александра Михайловна, основала на общих с сестрами началах женскую гимназию; гимназия эта была серьезно поставлена, но вскоре оказалась принадлежащей лично Александре Михайловне. Разрыв с сестрой на этой почве заставил Юлию Михайловну

стать городской учительницей. Она долгое время заведовала школой на Петербургской стороне и с гордостью вспоминала потом, как городской голова Ратьков-Рожнов отмечал ее полезную деятельность.

Несмотря на некоторые стародевические причуды, Юлия Михайловна была глубоко порядочным человеком и добросовестно занималась нами пять лет. В деле нашего воспитания она применяла все методы, которым ее учили на Высших курсах. Нас приучали к ручному труду (я вышивала по канве, брат плел корзиночки и платочки из разноцветной бумаги). Общеобразовательные предметы были поставлены серьезно: мы посещали музеи, Ботанический сад, знакомились с историческими достопримечательностями Петербурга. Благодаря заботам Юлии Михайловны в возрасте семи лет я уже видела и египетские мумии нижних зал Эрмитажа, и его Петровскую галерею, и витрины Кунсткамеры на Васильевском острове, и наиболее известные картины музея Александра III. Помню, как нас еще совсем маленькими Юлия Михайловна водила в какую-то школу, чтобы показать прибор с вращающимися вокруг свечи глобусами и дать нам наглядное пояснение о движении Земли вокруг Солнца. Нашего отца она обожала, называла его «мой очаровательный принципал» и по вечерам пыталась заводить с ним долгие разговоры на отвлеченные темы, от которых он вежливо уклонялся.

В зиму, предшествовавшую отъезду матери, я выучилась читать, и с этого времени новые понятия и образы мощным потоком хлынули в мое сознание. Книг в нашем распоряжении было очень много — и детские в красных, тисненных золотом переплетах, и более серьезные из отцовской библиотеки, которые нам выдавались под условием бережного с ними обращения. В числе последних была многотомная «Жизнь животных» Брема.

В ранние годы мы с Шуриком очень любили сказки братьев Гримм. Среди них была одна, имевшая в нашей жизни символическое значение. Это была короткая повесть о дружбе между собакой и воробьем, которые ели из одной кормушки. Воробей часто сидел у своего друга на спине и называл его «песик-братик». Не приводя здесь рассказа о дальнейшей печальной судьбе этих двух существ (имевшей большую аналогию с нашей), скажу только,

что в минуты нежности я называла Шурика «песик-братик». Этим же словом была подписана его последняя открытка ко мне от 24 октября 1929 года.

На предыдущих страницах я говорила о благодетельной роли, которую играл в нашей жизни дядя Кока Муханов. Будучи холостым и не имея своей семьи, он отдал нам много заботы, часами просиживая у наших кроватей, когда мы были больны, и участвуя во всех наших печалях и радостях. Вышло так, что после отъезда мамы дружественные силы в лице дяди Коки и Якова Исаевича тотчас же сплотились вокруг нас, чтобы смягчить горечь утраты. Оба приятеля неизменно обедали у нас по воскресеньям, а вечером в детской устраивался сеанс волшебного фонаря. На стену вешали простыню, на белой поверхности которой последовательно проходили образы Робинзона Крузо и Пятницы, Степки-Растрепки, девочки, сгоревшей от неосторожного обращения со спичками, и мальчика, сошедшего в могилу потому, что он не хотел есть суп.

Случались картины не назидательные, а просто декоративные или смешные: например, слон в мундире и с портфелем под мышкой. При виде его мы кричали: «Это папа идет в департамент!», а потом, чтобы искупить такую непочтительность, со смехом бросались на шею к отцу, обычно принимавшему участие в наших вечерних развлечениях. И Шурик, и я готовы были за него идти в огонь и в воду и окружали его образ ореолом непогрешимости, доходя при этом до глупости. Так, однажды я услышала, как Юлия Михайловна, беседуя со своей знакомой и жалуясь на обремененность хозяйственными заботами, сказала: «Ведь вы знаете, Александр Александрович ни во что не входит. Живет как птица небесная!» В последних словах я усмотрела критику и как лев бросилась на защиту отца, плача и крича: «Не смейте говорить, что папа — птица небесная!»

Возвращаюсь к хронологическому повествованию. Лето 1898 года мы — то есть папа, Юлия Михайловна, няня, Шурик и я — провели на даче в Петергофе. Петергофская удельная гранильная фабрика в то время выполняла большие заказы для строящейся на Екатерининском канале

церкви Воскресения на крови, и, бывая на фабрике, мы видели прекрасные изделия из нефрита, ляпис-лазури и агата. В одно из таких посещений папа, Шурик и я были экспромтом сфотографированы помощником директора фабрики Владимиром Николаевичем Цветковым. Этот очень удачный и трогательный снимок всегда стоял на моем столе, и о пропаже его я сожалею особенно.

Гуляя в Нижнем и Английском парках, мы быстро освоились с их достопримечательностями, и я чувствовала себя в Петергофе как дома. Когда, расположившись на мраморной скамейке Монплезира, я раскрывала книгу и начинала читать вслух, то иногда слышала от проходящих людей похвалы своему уму, и мне это очень нравилось. Книга, которую я в это время читала и даже знала наизусть, была довольно бездарна. Речь шла о кошках, которые устраивали бал и ожидали гостей. На картинках эти кошки были изображены в бальных платьях с веерами в лапах. Я читала с серьезным видом, и однажды, когда дело дошло до того, что появился гость, «кот субтильный и поджарый» — эти странные слова я выговаривала особенно четко, — моя аудитория, состоявшая из кронштадтских моряков, покатилась со смеху и выразила желание меня качать. Только вмешательство няни Настасьи предотвратило столь опасную для ребенка операцию.

Царская семья в это лето жила в Петергофе, и мы часто встречали великих княжон, катающихся в ландо, или государя, проезжавшего верхом и с улыбкой отвечавшего на наш поклон. По аллеям парка ходил сиамский наследный принц Чекрабон, смуглый юноша, учившийся в Пажеском корпусе, а на лужайках Английского парка юнкера и кадеты старших классов производили топографические измерения. Это, по-видимому, были те «съемки примерные, съемки глазомерные», о которых пелось в юнкерских песнях со времен Лермонтова.

Осенью мы переехали на новую квартиру на угол Спасской и Надеждинской улиц. Парижская мебель матери и ее рояль были отправлены в Москву, а отцовский кабинет стал обогащаться все новыми и новыми книжными шкафами. К этому времени относится начало увлечения отца археологией и нумизматикой. Позеленевшие

медные монеты, красивые елизаветинские рубли и бронзовые медали грудами лежали на его письменном столе в ожидании определения и включения в коллекцию.

Недалеко от нас, на Надеждинской улице, жила добрейшая старая дама Екатерина Константиновна Рихтер, связанная с семьей Сиверсов долголетней дружбой. Ее покойный муж, статс-секретарь Петр Александрович Рихтер, был начальником Главного управления Уделов до князя Вяземского. Зная нашего отца с детства и любя его, она перенесла это отношение и на нас. Бывать у «бабушки Рихтер» бывало очень приятно: во-первых, нас там поили шоколадом с бисквитами, а во-вторых, там было множество интересных вещей.

Екатерина Константиновна часть года проводила в Италии, и в ее доме образы этой страны впервые овладели моим воображением. Рассматривая альбомы с видами итальянских городов, я узнала, что такое гондола, какую форму имеет ее гребень, по мозаичному пресс-папье с изображением Колизея получила первое представление о Риме, а по слезницам* из помпейского стекла и паре кастаньет — о Неаполе.

Кроме дяди Коки и Якова Исаевича, наших постоянных посетителей, часто к нам заходил Николай Николаевич Сиверс, двоюродный брат отца, артиллерист, окончивший Академию Генерального штаба (впоследствии начальник штаба генерала Куропаткина). Он был высок, широкоплеч и необычайно добр. Сразу при входе дяди Коли Сиверса в переднюю мы бросались к нему на шею, царапая щеки о его аксельбанты и рыжеватые усы, и вели прямо в детскую. Там он попадал в руки Юлии Михайловны, которая пыталась его женить на своей кузине Ольге Лярской; из этого сватовства в конце концов ничего не вышло. Помню, что за обедом между отцом и дядей Колей велись разговоры о деле Дрейфуса и об англо-бурской войне, причем симпатии обоих были на стороне буров.

Интересной фигурой, известной всему Петербургу, был старший брат Юлии Михайловны — Михаил Михайлович Гедда, служивший в Сенате. Это был старый

---

* Сосуд, в котором хранились слезы, пролитые при чьем-нибудь погребении (*ист.*).

холостяк мрачного вида, затянутый в черный глухой сюртук, глупый и молчаливый. Он имел особую страсть к пожарам. При малейшей тревоге, еще до прибытия пожарных, на месте происшествия появлялся Михаил Михайлович и руководил тушением огня.

В наше пуританское окружение врывался иной мир, когда из Кронштадта приезжала двоюродная сестра отца Лидия Александровна Рубец. Тетя Лида была настоящей красавицей и к тому же не холодной, а преисполненной женского обаяния. Весь Кронштадт, во главе с адмиралом Макаровым, был ею пленен. Высокая, статная, с тонкими чертами лица, прекрасными глазами и золотистыми волосами, она появлялась у нас, принося с собой запах духов и неизменное оживление. За обедом тетя Лида шутила с отцом, высмеивая его научные интересы и отшельнический образ жизни, рассказывала об очередной выходке адмиральши Капочки Макаровой, известной своей глупостью и заносчивостью, вечером рисовала нам картинки, наряжала моих кукол, а на следующее утро, нагруженная покупками, уезжала домой. Она была настолько мила, что бабушка Сиверс, очень строгая к людям, слыша о кронштадтских похождениях своей племянницы (Лида была дочерью ее сестры Веры Петровны), говорила: «Пора Лиде приехать, а то я что-то начинаю на нее сердиться!»

В декабре 1899 года брат заболел скарлатиной. Думая, что я еще не успела заразиться, отец быстро отвез меня в Москву, к своим родителям, которые жили на углу Сивцева Вражка и Старо-Конюшенного переулка в особняке с мезонином, принадлежавшем сестрам Зезивитовым. Одна из этих сестер была жалостлива к животным и собирала бездомных собак и кошек, для которых во дворе выстроили особое помещение.

В первой главе моих воспоминаний я говорила о милом характере моего деда, о его лошадях, птицах, рыбах и комнатных растениях. В своих личных потребностях дедушка Александр Александрович был очень скромен, и в центре внимания всего дома находилась бабушка Надежда Петровна. В молодые годы врачи констатировали у нее туберкулез легких, и с тех пор вокруг ее здоровья был создан целый культ. Бабушка принадлежала к тому

роду людей, которые, причислив себя раз навсегда к натурам избранным, умеют внушить эту идею окружающим. Единственно, кого бабушка любила больше самой себя, был ее сын Саша, мой отец, и эта привязанность оставалась очень сильной. Я еще нигде не упоминала, что у отца была сестра Елизавета Александровна, на пять лет моложе его. По окончании Нижегородского института тетя Лиля вышла замуж за папиного товарища по университету Николая Николаевича Чебышёва, имевшего лишь отдаленное отношение к аладинским Чебышёвым, и жила в городе Владимире, где ее муж был товарищем прокурора.

Когда в декабре 1899 года папа привез меня в Москву, тетя Лиля гостила у родителей. За столом я слышала ее рассказы о прелестях владимирской жизни, о том, что у них составился приятный круг знакомых, среди которых самые приятные Маклаковы (управляющий Казенной палатой и его жена), о том, что во Владимире часто устраиваются вечера, на которых Маклаков* имеет большой успех, копируя всех присутствующих. О своей семейной жизни тетя Лиля умалчивала, так как, по-видимому, путь этой жизни не был «усыпан розами»: ее муж (который будет дальше мною именоваться «дядя Никс»), человек блестящего ума и способностей, обладал тяжелым характером.

Первая неделя моего пребывания в Москве оказалась очень приятна: утром дедушка брал меня с собою, когда ехал в город по делам или бабушкиным поручениям. Прежде всего мы отправлялись в аптеку Феррейна на Никольской. Пока дедушка заказывал лекарства, я сидела в санях, беседовала с кучером Спиридоном и смотрела на шумную, суетливую московскую толпу. С Никольской, мимо бесчисленных церквей и часовен, мы обычно ехали в Столешников переулок, в посудный магазин Бодри за какими-нибудь хозяйственными принадлежностями, оттуда в Охотный ряд за фруктами и возвращались домой, купив по дороге корму для рыб и птиц.

---

* Николай Алексеевич Маклаков, впоследствии министр внутренних дел.

После завтрака я переходила от одного аквариума к другому, накачивая воздух резиновыми баллонами в зеленых шелковых сетках и наблюдая, как золотистые вуалехвосты и телескопы медленно движутся между водорослями, или лежала на большом ковре-медведе в бабушкиной гостиной, читая «Топтыгина» и «Мазая». В сумерки бабушка, которая никогда не выходила зимой на улицу, опасаясь простуды, начинала хождение по анфиладе комнат для моциона. Вечером в столовой на большом столе раскладывали пасьянсы, в чем я принимала живейшее участие. Бабушка вынимала красивые швейцарские карты, которые затем ложились рядами по законам ее любимых пасьянсов «Капризная дама» и «Министерские дела».

На десятый день столь приятный образ жизни был прерван. Перечитывая вечером в столовой книгу «Дети капитана Гранта», я почувствовала боль в горле. Ночью начался жар и бред: Жак Паганель, лорд Гленарван, новозеландские дикари на пирогах — все это смешалось в какой-то хаос, я кричала «Табу!», словом, заболела скарлатиной.

Болезнь моя протекала благополучно, без осложнений, но все же наделала много хлопот. Пришлось выделить для меня большую комнату в мезонине и пригласить сестру милосердия из общины «Утоли моя печали». В полной изоляции провела я ровно месяц. Моим главным развлечением было смотреть в окно, выходящее на Сивцев Вражек. В дни Рождества и Нового года этот тихий переулок заметно оживлялся. Бабушкина горничная Поля заранее поставила меня в известность, что по законам московского света на первый день праздника ездят с поздравительными визитами только мужчины, а на второй день начинают разъезжать дамы. Так оно и оказалось: 25 декабря и 1 января мимо моего окна мелькали военные шинели, бобровые воротники и даже цилиндры, а на следующий день появились кареты с дамами и барышнями.

Когда я из своего карантинного помещения с интересом смотрела на улицу, я никак не могла предполагать, что совсем близко, на Пречистенском бульваре, в который упирается Сивцев Вражек, живет моя мать, Александра Гастоновна Шереметева, уже прочно вошедшая

в то московское общество, которое дефилировало перед моими окнами. Мне потом часто приходило в голову, что, может быть, в те дни она проезжала по Сивцеву Вражку, направляясь с визитом к какой-нибудь баронессе Бистром или Голицыным-Сумским, и не знала, что ее Таня, которую она считала такой далекой и недостижимой, находится тут и смотрит на нее сквозь замерзшие зимние рамы.

Ограничиваюсь здесь лишь беглым упоминанием о моей матери, так как я буду говорить о ней в другом месте, и возвращаюсь в дом Зезивитовых. Пока я болела скарлатиной, дедушка Александр Александрович чуть не умер от первого и очень сильного припадка грудной жабы. Когда я, похудевшая, выросшая и остриженная под машинку, спустилась из своего мезонина, то услышала рассказы об ужасных часах удушья, едва не сведших дедушку в могилу. Однако на этот раз все обошлось благополучно.

Во второй половине января за мной приехал папа и отвез меня в Петербург. Шурик к тому времени тоже поправился, и наша жизнь вошла в обычную колею.

В течение нескольких лет наши зимы мало отличались друг от друга — зато каждое лето было своеобразно, так как весною мы неизменно уезжали в какую-нибудь новую местность. Так, лето 1899 года мы провели в двенадцати верстах от Тарусы. Тетя Лиля Чебышёва, которая жила это лето с нами, очень любила природу, причем эта любовь была не созерцательной, а деятельной. Под ее руководством мы собирали гербарий, в картонных коробочках выводили бабочек и воспитывали зайчат и тушканчиков. Когда же тетя Лиля, надев широкополую шляпу, взяв с собой большой парусиновый зонт, мольберт и складную скамеечку, отправлялась писать пейзажи, мы увязывались за ней, помогая нести ее художественные принадлежности. Из Москвы иногда приезжал ее учитель живописи Николай Авенирович Мартынов, благообразный старик с большой белой бородой. Дедушка Александр Александрович высоко ценил творчество Мартынова, который, как я потом поняла, был более трудолюбив и добросовестен, чем талантлив (хотя два его больших

полотна «Ледоход» и «Лесной пожар» были куплены Румянцевским музеем).

В следующем году наше семейство в том же составе (бабушка и дедушка Сиверс, тетя Лиля и мы) жило на берегу Клязьмы в имении члена Московской городской управы Николая Николаевича Щепкина. Тут же отдельный домик занимала мать владельца Александра Владимировна, урожденная Станкевич (сестра писателя Станкевича и жена сына знаменитого актера Щепкина). Эти подробности я узнала позднее, а в то время воспринимала нашу соседку лишь как строгую старушку, имевшую трех совершенно черных кошек.

К нашему приезду в Тимонино дедушка приготовил нам с братом сюрприз. Нас ждала лошадка-пони и маленький шарабан. Радуясь подарку, мы не подозревали, что это последнее лето, которое мы проводим с дедушкой. Полтора года спустя, в апреле 1902-го, в день Вознесения, дедушка скончался от второго приступа грудной жабы. Произошло это близ Малого Ярославца Калужской губернии. Папа и дядя Никс Чебышёв поспели только к похоронам, которые состоялись в Москве, на кладбище Введенские горы.

Смерть дедушки, кроме горя утраты, принесла большие осложнения материального характера: квартира в Сивцевом Вражке подлежала ликвидации, дедушкины лошади, птицы, рыбы и пальмы были распроданы, и бабушка Надежда Петровна переехала в небольшую квартиру в Штатном переулке. Вскоре пришло и другое печальное известие: в Калуге внезапно умерла сестра Юлии Михайловны — Александра Михайловна Полторацкая; Юлия Михайловна должна была нас покинуть, чтобы воспитывать племянников.

На семейном совете решили, что осенью я не вернусь с дачи в Петербург, а останусь с бабушкой и тетей Лилей в Москве и поступлю в первый класс Арсеньевской гимназии.

В конце августа 1902 года я рассталась с отцом и Шуриком и начался мрачный год моей жизни, воспоминание о котором до сих пор мне тягостно. Моя судьба в этот период напоминала судьбу тех «сироток», которые описываются в сентиментальных английских повестях.

Эти девочки попадают во власть недоброжелательных родственников, терпят преследования каких-то злодеев, находятся в состоянии уничижения, но потом все выясняется, правда торжествует и наступает счастливая развязка. Роль «злодеев» при мне исполнялась горничной Полей, имевшей влияние на бабушку, и офицером одного из стоявших во Владимире полков Петром Ивановичем Поляковым, имевшим влияние на тетю Лилю. Горничная Поля воспитывалась при монастыре, дискантом пела «Гора Афон, гора святая» и представляла собою законченный тип ханжи, приживалки с тонкими губами и змеиной душой. Учитывая ситуацию, она всячески клеветала на меня перед бабушкой, причем перечень моих недостатков сопровождался обычно глубоким вздохом и словами: «Яблочко от яблони недалеко падает!»

Петр Иванович Поляков появился в доме только после смерти дедушки, от которого скрывали, что тетя Лиля разводится с Чебышёвым и собирается вторично выходить замуж. Бабушка не очень любила дядю Никса, но когда она увидела нового будущего зятя, то поняла, что вторая беда будет хуже первой. Однако тетя Лиля не поддавалась никаким уговорам, ради любви жертвовала всем и порывала с людьми, которые (как например, Маклаковы) не одобряли ее выбора.

Поляков происходил из простой семьи, но слово «мезальянс» не только не останавливало, но даже подзадоривало тетю Лилю, которая была и оставалась до конца дней человеком больших чувств.

Отрицательных черт Петра Ивановича она в ту пору не видела и была всецело подчинена его воле. Сказав, что Поляков выполнял при мне роль злодея, я употребила это слово очень точно: он был злодеем по существу (конечно, в рамках, возможных для бедного армейского офицера). Денщики перед ним дрожали. Имея прекрасного сенбернара, Петр Иванович хвастался, что ударами плетки может заставить его съесть лимон. Культ «воли» Поляков ставил выше всего и умел добиваться цели. Женясь на моей тетке, он решил создать себе какое-то положение в жизни и выдержать экзамен в Академию Генерального штаба, что было нелегко, поэтому зимою 1902—1903 года, пока шел развод с Чебышёвым, вечера

в Штатном переулке проходили так: тетя Лиля вышивала на пяльцах (она была прекрасная рукодельница), а Поляков читал вслух лекции по фортификации.

Внешне он был неприятен: небольшого роста, плотный, с бесцветным, тронутым оспой лицом, серыми холодными глазами и светлыми волосами ежиком. Меня он возненавидел с первого взгляда, и я все время жила под гнетом его презрения, которое он не давал себе труда скрывать.

За зиму, проведенную в Москве, характер мой резко изменился: из веселой общительной девочки я стала замкнутой, забитой, потеряла веру в себя. Одевали меня преднамеренно скверно, желая в корне пресечь любовь к нарядам, которую я могла унаследовать от матери; я жила в одной комнате с Полей, которая меня ненавидела. Отдушиной в этой тяжелой домашней атмосфере явились новые, захватившие меня, гимназические впечатления. (О гимназии Арсеньевой я буду говорить в особой главе.)

Ввиду того что бабушка была в глубоком трауре, в Штатном переулке она почти никого не принимала. По воскресеньям подавали коляску, и она ехала на могилу к дедушке, где был уже поставлен большой черный мраморный крест. К обеду появлялась ее дальняя родственница Калагеорги, называвшаяся просто «генеральша», и приносила все городские новости. Бездетная вдова лет пятидесяти, генеральша (Евгения Николаевна Бурдукова) жила в «Лоскутной» гостинице и была страстной поклонницей Малого театра вообще и Александра Ивановича Южина-Сумбатова в частности. Она не пропускала ни одной премьеры, неизменно сидела во втором ряду партера и подносила венки юбилярам.

Когда генеральша, шурша тяжелым шелковым платьем, появлялась у нас в гостиной, разговор сразу переходил на театральные темы. Ермолова, Лешковская и, главным образом, Южин не сходили у нее с языка, и сумбатовские пьесы «Измена», «Джентльмен» и «Мисс Гобс» комментировались на все лады. Когда я много лет спустя напомнила Александру Ивановичу о его поклоннице «генеральше», он, смеясь, сказал, что из всех психопаток она была самой постоянной и самой бескорыстной. И вот

этой смешной особе пришлось сыграть благодетельную роль в моей судьбе (но об этом несколько позднее).

Единственный мой выезд в свет в эпоху Штатного переулка принес мне и радость, и муку, длившиеся целый год. Когда я, еще маленькой девочкой, бывала в Москве, отец возил меня к Мартыновым. (Виктор Николаевич Мартынов, инспектор кавказских и крымских удельных имений, был его большим приятелем.) Коренная московская семья эта родственными или дружескими узами была связана с целым рядом прогрессивно-дворянских семейств: Толстыми, Сухотиными, Трубецкими, Соллогубами. Софья Михайловна Мартынова (урожденная Катенина) была, несомненно, умна и гордилась дружбой со многими знаменитостями, среди которых были Лев Толстой и Владимир Соловьев.

Когда я в первый раз побывала у Мартыновых, они занимали особняк в Неопалимовском переулке. Через два дома от них жил Николай Авенирович Мартынов, художник, о котором я уже упоминала и который рассказывал, что его скромные посетители очень пугаются, когда звонят к другим Мартыновым и им отворяет дверь черкес с газырями и кинжалами.

Детей Мартыновых было много: Георгий и Дмитрий, в том 1902 году — студенты, Надя, серьезная барышня лет шестнадцати, Вера на год старше меня, Маруся — на два года моложе и совсем маленький Борис. Кроме своих детей, Мартыновы воспитывали троих детей Шереметевых, опекуном которых был Виктор Николаевич.

У Мартыновых всегда бывало весело, и потому я очень обрадовалась, когда в Штатном переулке появилась горничная Софии Михайловны Маша с письмом к бабушке, в котором меня приглашали на целый день по поводу чьих-то именин. Меня отпустили, хотя и не очень охотно, и я отправилась с Машей на Малую Дмитровку в дом Катковых, куда к этому времени переехали Мартыновы. Маша была старой девой, но не в пример нашей Поле отличалась добродушием. По дороге она мне говорила: «Знаете, барышня, нет на свете несноснее мухи да девушки-вековухи», но мне она казалась совсем не несносной, а даже очень милой.

Когда двери нам открыл тот же черкес, что был в Неопалимовском переулке, и я поднялась во второй этаж, то увидела вещь дотоле мне незнакомую: зимний сад. Пока я рассматривала пальмы и каменный бассейн, вбежали Вера Мартынова и Марина Шереметева и, как старые знакомые, повели меня в свои комнаты, находившиеся на антресолях. Двенадцатилетняя Марина была рослой круглолицей румяной девочкой с прекрасными, совершенно круглыми карими глазами, за что ее называли «толстый мопс». Вера, худая и бесцветная, напоминала свою мать монгольским складом глаз и скул. Характер этих двух девочек был так же различен, как и их внешность. Марина была порывиста, бескорыстна, склонна ко всяким экстравагантностям, Вера — умна, хитра и уже в детские годы проявляла снобизм, который неожиданно проглядывал из-под общего тона простоты, принятого в семье.

На Марининым столе стоял портрет красивой молодой женщины — это была ее мать, сестра генерала Скобелева, умершая молодой. Другая рамка из красного сафьяна в виде ширмы вмещала две детские фотографии. Это были Марина и ее сестра, снятые в Италии.

На антресолях Марина и Вера принялись показывать мне полученные ими в подарок японские игрушки, которые имели вид палочек, но, будучи брошены в воду, распускались в различные фигуры-цветы. Вскоре нас позвали вниз, где уже начали собираться гости, и я впервые увидела миловидную девочку с вьющимися волосами, Верочку Базилевскую, а также трех хорошеньких сестер в одинаковых темно-красных бархатных платьях — это были Тата, Элла и Ольга Клейнмихель. Несколько позднее появилась Татя Трубецкая, с живым, умным личиком, ни минуты не сидевшая на месте, а потом пришли ее двоюродные братья Саша Глебов и Толя Кристи и еще много мальчиков и девочек.

После чая была устроена детская лотерея. Помню, как мне хотелось выиграть банку с черносмородиновым вареньем и подарить ее бабушке в пику Петру Ивановичу, которого она несколько раз безрезультатно просила достать ей такое варенье; однако этой банки я не выиграла. После обеда, за которым к супу подавались

очень вкусные жареные пирожки в виде шариков и Софья Михайловна читала вслух письмо, полученное от кого-то из Толстых из Ясной Поляны, я в сопровождении Маши вернулась домой.

Мои восторженные рассказы обо всем виденном и слышанном встретили у бабушки очень холодный прием; я же напряженно стала ждать, когда Мартыновы снова за мной пришлют. Однако проходили недели, а потом и месяцы, а никто не появлялся. Тут начались мои терзания: Петр Иванович Поляков, презрительно сощурив глаза, сказал за столом: «Таня, наверное, так вела себя у Мартыновых, что ее больше не хотят приглашать!» Эта обида легла на дно моей души и разъедала ее как ржавчина железо вплоть до того дня, когда, много времени спустя, Софья Михайловна Мартынова сказала при мне маме: «Мы бы всегда рады были видеть у себя Таню, но Надежда Петровна с такой неохотой ее к нам отпускала, что я не решалась настаивать!» Тут наконец я сочла себя реабилитированной.

Зима 1902—1903 годов наконец миновала, и весной бабушка наняла дачу в совсем неинтересном месте, которое называлось Храброво и принадлежало каким-то Болошевым.

В деревне мое положение еще ухудшилось: из Петербурга приехал Шурик, и предпочтение, оказываемое ему, было настолько явным, что я дошла до полного отчаяния и собиралась бежать, рассчитывая в пути продать черные часики, подаренные мне Екатериной Константиновной Рихтер. В середине лета Поляков появился уже в качестве мужа тети Лили; он заискивал перед Шуриком и по-прежнему ненавидел меня.

Нервы мои были напряжены до крайности, и я чувствовала, что долго так продолжаться не может. Из обрывков разговоров между бабушкой и тетей Лилей можно было уловить, что в моей судьбе намечаются какие-то изменения. До меня долетали фразы, что кто-то им «отплатил черной неблагодарностью» и они «пригрели змею на груди». Больше я ничего понять не могла, но потом узнала, что «генеральша», встретив маму в Малом театре, рассказала о моем печальном положении, и та написала отцу, прося и настаивая на передаче меня ей.

В конце августа мы вернулись в Москву. Из Петербурга приехал папа и 25 августа на могиле дедушки на Введенских горах объявил мне, что я перехожу к матери. Тут я впервые увидела слезы на его глазах. Душа моя разрывалась от самых противоречивых чувств, я просила его взять меня в Петербург, отдать в Институт, словом, я была в полном смятении, так как образ матери являлся для меня чем-то очень неясным и расплывчатым. А когда вечером того же дня мама приехала за мною в гостиницу «Дрезден», где остановилась бабушка (квартира в Штатном была ликвидирована), этот образ сразу принял в моем сознании те очаровательные формы, которые он сохраняет и по сей день.

Бабушка встретила взволнованную и растроганную маму с холодным достоинством, а выплывшая откуда-то Поля успела съехидничать, сказав: «А Танечка все равно от Вас убежит!» Однако я не убежала, и началась моя счастливая и интересная жизнь на Пречистенском бульваре.

В семье Шереметевых

Борис Сергеевич и Ольга Николаевна Шереметевы, родители моего отчима дяди Коли, жили в Москве у Сухаревой башни, занимая большой двухэтажный флигель в саду Странноприимного дома графа Шереметева, или, как просто говорилось, Шереметевской больницы.

Борис Сергеевич родился в 1822 году, служил в Преображенском полку, за свою красоту был прозван в Петербурге Адонисом, отличался большой музыкальностью, написал известный романс на слова Пушкина «Я вас любил», выйдя из полка, служил по выборам, промотал и свое состояние, и состояние жены и, под конец дней, жил на покое в должности главного смотрителя Странноприимного дома, попечителем и, по существу, хозяином которого был его родной племянник (сын сестры) граф Сергей Дмитриевич Шереметев.

Чувство родственности было чрезвычайно развито в семье Шереметевых. Глава богатой и «вельможной» линии, граф Сергей Дмитриевич, человек очень своеобразного и подчас крутого нрава, нигде и ни в ком не допускавший и не встречавший противоречий, с неизменным почтением приезжал на поклон к дяде Борису Сергеевичу, а к своим бедным родственникам Алмазовым относился так, будто между ними не было никакой разницы ни в общественном, ни в материальном плане. Щедрость, благородство и широта натуры были настолько признаны за родом Шереметевых, что появилось выражение «на Шереметевский счет».

Одновременно отмечалось, что Шереметевы, в большинстве случаев, более благородны, чем умны, и что многих из них в конце концов губит наследственная склонность к вину. В подтверждение первого суждения указывалось на то, что в конце 80-х годов в громадной семье Шереметевых только двое — мой отчим Николай Борисович и граф Павел Сергеевич — окончили высшие учебные заведения. Все остальные учились «чему-нибудь

и как-нибудь» и выходили на военную службу. В полку и в обществе громкое имя, благородная внешность и присущая всем Шереметевым музыкальность возмещали некоторую примитивность мышления.

Понять и запомнить родословное дерево Шереметевых довольно трудно, потому что две сестры Бориса Сергеевича внесли путаницу, выйдя за Шереметевых же: Анна Сергеевна — за графа Дмитрия Николаевича, а Екатерина Сергеевна — за Алексея Васильевича. Сыновья Екатерины Сергеевны: Василий, Владимир, так называемый «конвойный», и Сергей (старше Владимира) — наместник на Кавказе.

Особенно интересны две женские судьбы, причастные к этой семье: судьба дочери фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, графини Натальи Борисовны, жены князя Ивана Алексеевича Долгорукова, доблестно поехавшей за мужем в ссылку в эпоху гораздо более жестокую, чем времена декабристов, и кончившей жизнь схимонахиней Нектарией, и судьба крепостной актрисы Шереметевского театра Прасковьи Ивановны Жемчуговой, ставшей в 1801 году женою графа Николая Петровича Шереметева. Последний случай нашел несколько видоизмененное отражение в русской народной песне «Вечер поздно из лесочка» (крепостная девушка встречает барина, проезжающего в коляске — «две собачки впереди, два лакея позади». Барин ее останавливает, спрашивает, какого она села, и, в конце концов, женится на ней).

Линия Шереметевых, к которой принадлежал дядя Коля, была когда-то богата. Прадед его владел 35 тысячами десятин земли при селе Волочанове Волоколамского уезда, но состояние быстро таяло в руках расточительных владельцев. После блестящей и бурно проведенной молодости Борис Сергеевич вынужден был жениться по расчету на дочери богатого московского помещика Николая Павловича Шипова. Невеста оказалась сильно некрасива, и брак этот, несомненно, не мог считаться счастливым. Однако Ольга Николаевна, будучи очень религиозной и обладая покладистым, неунывающим характером, стойко переносила все невзгоды и с детской наивностью утешалась теми небольшими радостями, которые судьба посылала на ее долю. Старший сын Шереметевых, названный

по традиции в честь деда с отцовской стороны Сергеем, умер маленьким. Второй сын, названный в честь дедушки Шипова Николаем, и был моим отчимом. За ним следовали братья Борис и Василий и сестра Дарья. Лучшие воспоминания детей Шереметевых были связаны с поместьем Волочановым, где семья проводила большую часть года до тех пор, пока именье в 80-х годах не было продано на покрытие карточных долгов. (Борис Сергеевич все вечера проводил в Английском клубе за игрой.)

Мальчики учились в Катковском лицее, но в учении не очень преуспевали. Лет с четырнадцати Николай так пристрастился к охоте и к театру, что эти склонности красной нитью прошли через всю его жизнь. В своих вкусах он был крайне демократичен и прост, так же как и в обхождении с людьми. Он ненавидел всякую неестественность, напыщенность, светскость. Друзьями его юности были Саша Обухов (Александр Трофимович), сын помощника отца по управлению Шереметевской больницей, и Саша Федотов (Александр Александрович), сын знаменитой артистки Гликерии Николаевны Федотовой.

Постоянные спектакли, в которых он участвовал, отвлекали его от учения, однако он сознавал, что без службы ему не обойтись, а для того чтобы служить, надо иметь законченное образование. Эти соображения заставили Николая Борисовича покинуть Москву и поступить в Демидовский лицей в Ярославле, где сдать выпускные экзамены было легче, чем при Московском университете. Бывая в то время в Москве наездами, он вступил в созданное Станиславским «Общество искусства и литературы», играл в нескольких постановках и сошелся с третьим другом юности — Владимиром Михайловичем Лопатиным.

Внешность Николая Борисовича была очень сценична: прекрасные голубые глаза, высокий лоб, волнистые, откинутые назад волосы. Несколько неправильный нос, унаследованный от матери, не портил в ту пору его красивого лица. Присущая всем Шереметевым музыкальность сказалась и в нем. Он прекрасно пел цыганские романсы, аккомпанируя себе на гитаре.

Таким был Николай Борисович, когда в 1895 году приехал в Петербург и поступил на службу в Главное

управление Уделов. Когда через три года он объявил о своем намерении жениться на разводившейся женщине, имеющей двоих детей, это известие разразилось как удар грома. Полагаю, что между родителями и сыном произошел не один тяжелый разговор с цитатами из Священного Писания, увещеваниями и угрозами. Однако Николай Борисович был непреклонен и впоследствии никогда не вспоминал о том, чего ему стоили эти дни.

В конце концов победа его оказалась полной: осенью 1898 года мама получила приглашение от родителей Шереметевых поселиться у них, пока не закончится развод. Ее появление у Сухаревой башни растопило лед. Она сумела очаровать всех, вплоть до прислуги. Экономка Груша, жившая в доме сорок лет, сказала: «Ах, Александра Гастоновна — настоящий бюст!», видимо, желая сравнить маму с мраморной статуей.

Читая позже о появлении при мадридском дворе, исполненном вековых условностей и незыблемых правил этикета, веселых французских принцесс, я всегда вспоминала приезд мамы в семью Шереметевых. В Испании несчастная принцесса неизменно погибала под гнетом этикета. Здесь же такого не произошло, и французская общительность полностью восторжествовала. Новая *belle-fille* имела дар оживлять общество, в котором находилась. Она говорила с собеседником о том, что интересовало его, а не ее самое, и это элементарное правило светскости пленило Москву, которая всегда была большой, милой, но неповоротливой провинцией.

К началу 1899 года развод завершился, и мама тут же венчалась с Николаем Борисовичем в домовой церкви Шереметевского странноприимного дома. На свадьбе были только свои, семья. Из Петербурга приехали сменившие гнев на милость бабушка и дедушка. Мама венчалась в светло-сером суконном платье с белыми розами. После свадьбы молодые поселились на Пречистенском бульваре в казенной квартире Удельного ведомства, куда к этому времени были доставлены из Петербурга мамины вещи. Среди них находился ее рояль и прекрасная столовая цельного красного дерева. В спинках и сиденьях обеденных стульев, в английской манере, были вделаны соломенные сетки, и в одной из таких сеток двухлетний

Шурик карандашом провернул небольшую дырочку. Этот стул пользовался у мамы особым почетом. Она говорила, что пролила над ним немало слез, когда в продолжение пяти лет нас не видела. Скептики при этом, может быть, пожимали плечами и замечали: «Tu l'as voulu, Georges Dandin!», но я не принадлежу к их числу и по опыту знаю, что страдание, в котором мы сами виноваты, ничуть не легче стихийных бедствий*.

Вполне веря, что мама нас часто вспоминала, я все же должна отметить, что первые годы ее замужества были очень счастливыми. Я еще застала тот золотой век, когда, расставаясь на два-три часа, дядя Коля так крестил и целовал маму, как будто она уезжала на Северный полюс. Это делалось при всем честном народе, в любой фешенебельной гостиной, и подчас вызывало добродушную усмешку присутствовавших; но дядя Коля не выносил никаких чужих норм, и всякое подлаживание под мнение света было для него неприемлемым. Маму он в ту пору очень любил и не считал нужным это скрывать.

Приступы бунтарства против светских условностей находили на дядю Колю совершенно неожиданно, и маме, не разделявшей этого образа мыслей, всегда приходилось его сдерживать. Не могу забыть случая в Венеции во время одной из наших заграничных поездок. Мы обедали в общем зале «Hotel d'Europe». Лепные потолки с фресками, обед из семи блюд с очень маленькими порциями, хрустальные рюмки на высоких ножках, вместимостью с наперсток, и, главное, пара англичан, чопорно сидевших против нас — он в смокинге, она в декольтированном платье, — столь раздражающе действовали дяде Коле на нервы, что он среди обеда бросил салфетку, выскочил из-за стола и отправился дообедывать в тратторию с гондольерами, откуда пришел через час в полном восторге. Такие демократические вкусы совершенно не мешали ему обладать благородством манер и речи, которые, в силу наследственности и воспитания, были неотделимы от его существа.

Светское московское общество в конце 1890-х, в начале 1900-х годов группировалось вокруг генерал-губернатора

---

* «Ты этого хотел, Жорж Данден!» — слова главного героя одноименной пьесы Мольера, подразумевающие, что герой сам виноват в своих бедах.

великого князя Сергея Александровича и его жены, бывшей в расцвете своей красоты.

В доме на Тверской и в Нескучном они давали блестящие (по московским масштабам) приемы, получив приглашение на которые, маме стоило больших трудов уговорить дядю Колю ими воспользоваться. Дядя Коля не любил балов, скучал на них, не танцевал и, найдя какого-нибудь приятеля, сидел с ним у крюшона. Мама же веселилась и имела неизменный успех.

Самыми блестящими кавалерами в Москве, за отсутствием гвардии, считались адъютанты великого князя и его чиновники особых поручений по должности генерал-губернатора. Среди первых выделялся своим красивым лицом и неприятным характером Владимир Сергеевич Гадон.

Но я уклонилась в сторону и снова возвращаюсь к семье Шереметевых. Как я уже говорила, у дяди Коли были два брата и одна сестра. Борис Борисович Шереметев отличался необычайно высоким ростом и назывался в Москве *le grand Boris.* Держался он очень прямо, что еще более подчеркивало его громадность. Однажды, когда он сидел в первом ряду на каком-то концерте, сзади раздались возгласы: «Сядьте, сядьте!» Чтобы успокоить публику, Борис Борисович, улыбаясь, встал во весь рост, что вызвало аплодисменты. Женился он поздно. В описываемое время он был холостым и жил с родителями, занимая отдельный домик в саду.

Борис Борисович был красив собою, но лицо его было неподвижным и маловыразительным. Всегда сдержанный и молчаливый, он мог быть подчас удивительно остроумным. Помню, как однажды все спускались по большой лестнице к обеду. Борис Сергеевич уже не выходил к общему столу и обедал у себя. Его камердинер, старичок Александр, неся наверх прибор, уронил вилку. Борис Борисович совершенно спокойно ему заметил: «Александр! Сегодня папа́ на лестнице кушать не будет!» Это было сказано в тоне дельного указания, глуховатый Александр никак не мог понять, в чем дело, а мы умирали от смеха.

Второй брат, Василий Борисович, был некрасив собою, но прост и приятен в обращении. Пользуясь расположением Владимира Федоровича Джунковского, он был

его помощником по попечительству о народной трезвости. С женитьбой Василия Борисовича дело тоже обошлось не совсем гладко. Когда он заявил, что собирается жениться на дочери начальника станции Вешняки, родители, считая, что невеста не подходит к общему тону семьи, воспротивились этому браку. По их настоянию митрополит запретил священникам Московской епархии венчать Василия Борисовича с девицей Евгенией Алексеевной Романович. Препятствие это было обойдено тем, что Василий Борисович обвенчался в полковой церкви у военного священника и поставил своих родителей перед совершившимся фактом.

Жена дяди Васи умерла молодой, оставив четырех детей на попечение бонны Марии Николаевны Ивашёвой, которая доблестно выполняла возложенную на нее судьбой миссию. Василий Борисович собирался на ней жениться, но этого не удалось осуществить, так как Мария Николаевна трагически погибла от воспламенившегося в ее руках примуса. В продолжение целого ряда лет дядя Вася с детьми летом жил в Кускове, в Оранжерейном доме, который предоставлял в его пользование граф Сергей Дмитриевич.

Единственная дочь Бориса Сергеевича и Ольги Николаевны Дарья (тетя Даня) не отличалась красотой, но сочетание благородства натуры с детской простотой составляло невыразимую прелесть. Дарья Борисовна уже считалась в Москве старой девой (ей было 27 лет), когда в качестве жениха появился приехавший из Петербурга Александр Сергеевич Федоров. По внешности и внутренним данным он представлял собой полную противоположность намеченной им невесты. Это был красивый, холеный мужчина сорока пяти лет — то, что французы называют «un beau»*, очень поживший, очень занятый своей карьерой. На нем лежал отпечаток чиновного Петербурга, отпечаток, который был всегда так чужд Москве. Окончив Александровский лицей, он служил по министерству внутренних дел. Денежные обстоятельства его были запутаны, но Александр Сергеевич умел выходить из положения с ловкостью виртуоза и вел широкий образ жизни.

---

* Щеголь, денди (*франц.*).

Женитьба на Дарье Борисовне, не принося ему материальных благ, давала блестящие связи и обеспечивала продвижение по службе. В сватовстве Федорова значительную роль сыграл схимник Троице-Сергиевской Лавры отец Варнава, к советам которого часто прибегала Ольга Николаевна. Старец не только благословил брак Дарьи Борисовны, но, кажется, даже указал на Федорова как на желательного жениха.

Ольга Николаевна была в восторге от будущего зятя. Особенно ценила она его религиозность и качества примерного сына. Александр Сергеевич действительно прекрасно относился к своей матери, жившей в принадлежащем ей домике в Никольском переулке, на Арбате.

Борис Сергеевич проявлял меньше энтузиазма по поводу брака дочери, однако предложение Федорова было принято, и свадьба состоялась в июне 1900 года. Получив незадолго до этого назначение на должность чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, Александр Сергеевич нанял меблированную квартиру в доме Варгина на Тверской и перевез туда жену. Справедливость требует отметить, что к своим семейным обязанностям Александр Сергеевич относился очень добросовестно. Дарья Борисовна была окружена заботой и комфортом. Ее требования, подчас даже деспотические, выполнялись беспрекословно.

В первые годы, пока не было детей, в центре внимания Дарьи Борисовны было здоровье мужа, страдавшего диабетом. Она настаивала на самой строгой диете. Во время обеда у Сухаревой я с состраданием наблюдала, как Александр Сергеевич безропотно ел подаваемые ему на отдельном подносе картофельное пюре без масла и кислые печеные яблоки без сахара. Злые языки говорили, что в других местах он вознаграждал себя за эти диетические рационы, но если это и делалось, то так, что семейный мир не был нарушен.

В 1903 году у тети Дани родилась дочь Екатерина и полтора года спустя — сын Сергей. Примерно в это же время Александр Сергеевич был назначен московским вице-губернатором, но пробыл на этом посту недолго. В 1908 году он заболел душевным расстройством на почве прогрессивного паралича и умер ненормальным в 1910 году.

В конце 1903 года, в момент моего переселения на Пречистенский бульвар, Николая Борисовича не было дома. Он находился в служебной командировке — на ревизии удельных имений, и я ждала его возвращения с некоторым волнением. Но когда он, в болотных сапогах, с охотничьим ружьем за плечами, приехал с поезда, я увидела, что он растроган и взволнован не менее, чем я, и между нами сразу установились те прекрасные отношения, которые не дали ни одной трещины за одиннадцать лет совместной жизни. Характер у дяди Коли был нелегкий, он был подвержен приступам гнева, которых следовало избегать, но я чувствовала, что он раз и навсегда включил меня в свою душу, и эта уверенность меня никогда не покидала. Иногда мама предлагала не брать меня среди зимы в заграничную поездку, чтобы не прерывать школьных занятий, но дядя Коля неизменно категорически заявлял: «Если не поедет Таташа — я тоже не еду!» И я, конечно, ехала.

У стариков Шереметевых я встретила исключительно теплый прием. Вначале это отношение, может быть, было обусловлено этическими причинами, сознанием какой-то доли вины передо мною, но впоследствии вся семья меня просто полюбила, без всяких моральных предпосылок, что было гораздо лучше.

По воскресеньям у Сухаревой садилось за стол не менее двадцати человек; съезжались все родственники и много посторонних. Ежедневно обедал дежурный врач больницы. Ольга Николаевна, проявлявшая ко мне большую нежность, часто просила отпустить меня к ней с утра. В таких случаях я, в сопровождении горничной Даши, сестры жившей у Ольги Николаевны Дуняши, приезжала к девяти часам, отстаивала обедню в домовой церкви, пила с Ольгой Николаевной кофе в ее маленькой столовой наверху (большая столовая была внизу) и шла гулять в сад, который занимал десятину, простираясь от террасы дома до каких-то переулочков, выходивших на Первую Мещанскую. Весной этот сад покрывался несметным количеством подснежников, образовывавших сплошной голубой ковер. Перед балконом бил фонтан, а в заднем конце находились грядки с клубникой.

К завтраку из своего флигеля приходил Борис Борисович, которого я гордо называла своим другом. Он был

ко мне удивительно мил в те годы, играл со мной на китайском биллиарде, водил в цирк. За обедом я всегда старалась сесть с ним рядом. В нашем конце стола обычно группировались врачи больницы: приятель Бориса Борисовича Борис Глебович Лебедев, приятель дяди Коли профессор Голубинский, мой приятель хирург Аркадий Александрович, который лечил меня от всех болезней: вырезал гланды в горле, оперировал аппендикс и с детских лет внушил мне интерес к хирургии. Аркадий Александрович был красив, симпатичен и все его любили. Наша с ним единственная размолвка произошла в тот день, когда он прочитал этикетку на стоящей перед ним бутылке кюрасо по-латыни «куракао», а я возмутилась тем, что он не учел «с».

Хозяина дома Бориса Сергеевича до обеда, подававшегося в 6 часов, никто, кроме его камердинера, не видел. Его распорядок дня был весьма своеобразен: он вставал не ранее 4-5 часов дня, долго совершал свой туалет, обедал, принимал рапорт делопроизводителя больницы Ильи Семеновича Петухова, вечером играл в винт или пикет с кем-нибудь из гостей. Когда все расходились, он читал «Московские ведомости», просматривал отчеты по больнице и, страдая бессонницей, принимался бродить по дому, ища какого-нибудь собеседника.

Ольга Николаевна, всю жизнь страдавшая мигренями, жаловалась, что иногда во время этих ночных странствований Борис Сергеевич подходил к ее кровати, будил ее и спрашивал: «Оленька! Не болит ли у тебя голова?» — на что она вполне резонно отвечала: «До сих пор не болела, но теперь, несомненно, заболит!»

Лицо Бориса Сергеевича до последних дней хранило следы красоты. На всей его внешности, на манере говорить лежал отпечаток *d'un grand seigneur* минувших времен. Все в доме его побаивались и шепотом передавали друг другу, в каком настроении он находится, в духе или не в духе. Гостеприимный по природе, Борис Сергеевич любил, когда у него собиралось много народу, но в последние годы сам уже не выходил к столу. Он страдал подагрой, передвигался с трудом и постоянно сидел в гостиной с ногами, укутанными клетчатым пледом.

Тем более неожиданным было, когда незадолго до своей смерти он вдруг вышел в залу, сел к роялю и заиграл

свой романс «Я вас любил». Все его дети были тут и подхватили мелодию. Я слушала, затаив дыхание. И слова, и музыка казались мне непревзойденной красоты. Много лет спустя, в глухую морозную ночь, на краю света, я услышала те же звуки по радио. Надя Обухова пела романс Бориса Сергеевича. В ту пору я совершенно разучилась плакать. Чувствующий аппарат моей души был как бы выключен действием защитных сил, что давало возможность какого-то существования. Но тут, при первой фразе, я остолбенела, потом мгновенно осознала действительность, прелесть прошлого, ужас настоящего, горечь обид. Томящая боль дошла до предельных глубин, и хлынули слезы, заливая подушку.

Я уже говорила, что Ольга Николаевна видела много тяжелого на своем веку, но вкуса к жизни не потеряла; она была общительна, легка на подъем. Не отнимая лорнета от своих подслеповатых глаз, она любезно принимала гостей и с удовольствием играла по маленькой в карты. Ходила она быстро, легко, напевая про себя фразу из вальса «Louis XV», если была в хорошем настроении.

Осенью и весной наступали периоды, которые она называла «перелетом птиц». Петербургские родственники — Тимашевы, Мирские, Голицыны, Шереметевы, Булыгины — ехали в южные именья, останавливались на несколько дней в Москве и заезжали к Сухаревой. В один из таких «перелетов» я увидела чету Булыгиных — Александра Григорьевича, грузного человека с бакенбардами, и его жену Ольгу Николаевну, худую, «как рыбья кость». Так как я в это время учила басни Лафонтена, то тихо сказала маме, когда они вошли в гостиную: «Le Chene et le Roseau»*. Кто-то это услышал и передал Булыгину, который пришел в восторг и торжественно повел меня под руку к столу, жалуясь, что Таня назвала его «дубиной».

Часто к обеду приезжал Дмитрий Сергеевич Трепов на известной всему городу «серой пристяжной». Иногда он бывал со своей красавицей женой Софьей Сергеевной, урожденной Блохиной, но чаще один.

---

* «Дуб и тростник».

Однажды мы опаздывали к обеду. Мама волновалась, так как Борис Сергеевич любил садиться за стол ровно в 6 часов. Дорога была скверная, снегу выпало мало, полозья наших саней скрипели по трамвайным рельсам, и мы бесконечно долго тащились по Большой Лубянке и Сретенке. Около Сухаревой, где по воскресеньям шла большая торговля, нас вдобавок задержал какой-то уличный скандал. За столом, вся под впечатлением этого переезда, я обратилась к Трепову со словами: «Вам, как градоначальнику, должно быть интересно узнать, что Ваши городовые поймали вора. Мы видели, как они тащили какого-то ребенка, впрочем, не совсем ребенка, ему было лет сорок...» Тут я зарапортовалась, и взрыв хохота не дал мне договорить.

Это было перед рождественскими каникулами. Вскоре я должна была получить отметки за 2-ю четверть и ехать в Петербург к папе, о чем с восторгом рассказывала за обедом. Каково же было мое удивление, когда на следующий день, возвратившись домой из гимназии и с бальником под мышкой, гордая наполнявшими его пятерками, я увидела ждущего меня городового. Этот городовой вручил мне бумагу, в которой значилось, что «девице Татьяне Сиверс воспрещается выезд из Москвы, так как она должна фигурировать в качестве свидетельницы по делу о поимке "сорокалетнего ребенка"». Трепов и Борис Шереметев решили меня разыграть.

По воскресеньям днем к Ольге Николаевне иногда заезжала вторая дочь Трепова, Таня. Ей было лет восемнадцать, она была прелестной и подарила мне свою карточку с трогательной надписью. Думается, я была тут для отвода глаз и истинной причиной ее посещений Сухаревой и нежности ко мне был Борис Борисович. Ольга Николаевна думала то же самое. Ей нравилась мысль иметь Таню Т. в качестве *belle-fille*. Мы обе старались помочь делу, уходили из комнаты, «чтобы не мешать», но наши труды не увенчались успехом. Борис Борисович молчал как убитый или, вернее, как старый холостяк, которым он уже становился, если не по внешности (он был очень моложав), то по годам.

Своеобразной фигурой у Сухаревой был дальний родственник Шереметевых Константин Борисович Алмазов — молчаливый скромный человек лет пятидесяти,

бедно одетый, часто небритый. Он вдруг исчезал на некоторое время, потом снова появлялся. Никто точно не знал, где он живет. Говорили, что он страдает запоем и несколько раз даже сидел в сумасшедшем доме. Один раз мы встретили его, идущего без шапки по Сретенке и во весь голос распевающего псалмы. По существу же Константин Борисович был очень достойным человеком — большим знатоком русского языка и старинных русских обычаев. Иногда он нарушал молчание и изрекал какую-нибудь цитату или своеобразное стихотворение собственного сочинения на совершенно неожиданную тему, например о тарифах в бане.

Ежегодно 21 февраля в Странноприимном доме происходило своеобразное торжество. После заупокойной литургии по его основателям — воспетой в народной песне графине Прасковье Ивановне и ее муже — устраивалась беспроигрышная денежная лотерея в пользу неимущих невест. Затем следовал грандиозный поминальный обед. Гостей принимали граф Сергей Дмитриевич и графиня Екатерина Павловна, которые приезжали к этому дню из Петербурга со всей семьей.

В 1904 году я впервые присутствовала на этом торжестве. Домовая церковь и прилегающие залы были полны народу. Золото военных и придворных мундиров и светлые платья дам придавали этому сборищу весьма колоритный вид. К началу богослужения, совершаемого митрополитом при участии протодиакона Розова и синодального хора, прибыли великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна: он — высокий, худой, с неприятным, маловыразительным лицом, она — стройная, красивая, приветливая. После обедни, когда все перешли в соседний зал, где стояли столы с кулебяками, икрой и всякими подходящими для духовенства закусками, я попала в окружение почетных гостей и, по указанию Ольги Николаевны, принялась занимать разговором преосвященного Анастасия. Узнав, что меня зовут Татьяной, митрополит спросил, как я провела бывший недавно свой день именин. Я принялась с увлечением рассказывать, что получила в подарок жаровню и маленький медный таз для варки варенья.

Подошедший великий князь Сергей Александрович тут же осведомился, какое варенье я больше всего люблю, и разговор продолжался еще некоторое время в таких же наивных тонах; потом все перешли в актовый зал, где на возвышении стояли «неимущие невесты». Эти девушки были должны по очереди подходить к урне и брать билетик, на котором была обозначена сумма от 50 до 200 рублей. По выходе замуж, согласно завещанию Прасковьи Ивановны, эти девушки получали павшую на их долю сумму с шереметевского счета.

По окончании официальной части великий князь и его жена уехали, и начался бесконечный поминальный обед, причем тут уж я сидела на дальнем конце с докторами больницы и чувствовала себя просто и весело.

Меньше чем через год после описанного мною дня в Кремле разорвалась бомба Каляева, которой был убит великий князь Сергей Александрович. Елизавета Федоровна, находившаяся в Николаевском дворце, услышала взрыв, выбежала на площадь и увидела тело мужа, разорванное на куски. По общим отзывам, брак ее с великим князем не был удачным, а наоборот, таил в себе большую драму, но картина взрыва оказалась так ужасна, что великая княгиня резко порвала со светом и ушла в круг духовных интересов. Много толков, и в большинстве своем недоброжелательных, вызвало в московском обществе ее посещение Каляева. В чем состояла беседа, длившаяся два часа, осталось неизвестным, но по выходе из тюрьмы Елизавета Федоровна подала царю ходатайство о помиловании. Люди называли этот ее поступок позой, исканием популярности и всячески осуждали женщину, у которой, по евангельскому изречению, недостойны были развязывать ремешки на обуви.

Из всех петербургских Шереметевых, проводивших день 21 февраля 1904 года в Москве, ярче всех мне запомнилась старая графиня Екатерина Павловна, урожденная княжна Вяземская, внучка друга Пушкина, и две молодые дамы, которые на первый взгляд показались мне похожими друг на друга. Я тихо спросила у мамы: «Две сестры?» — на что мама ответила: «Нет, две красивые сестры!» Это были: старшая дочь графа Шереметева Анна

Сергеевна Сабурова и жена его сына Петра Елена Богдановна, урожденная баронесса Мейендорф.

Графине Екатерине Павловне в ту пору было за пятьдесят, и она одевалась уже по-старушечьи. Я всегда видела ее в костюме английского покроя, цвет которого менялся в зависимости от случая. Безупречно красивые черты ее лица, высокая, плотная, несколько сутуловатая фигура и спокойные без всякой аффектации манеры производили впечатление благородства и простоты. Из разговоров у Сухаревой башни можно было понять, что роль Екатерины Павловны в семье оставалась пассивной и воля ее в большинстве случаев подавлялась бурным и деспотическим нравом мужа. Припоминаю рассказ о мелком, но характерном эпизоде на Фонтанке или в Михайловском. Вздумав как-то проверить счета буфетчика и увидав, что на стол тратится ежедневно более пуда сливочного масла, графиня Екатерина Павловна нашла это количество чрезмерным и попросила его сократить. Домовая челядь отомстила ей самым коварным образом: на следующий день графу Сергею Дмитриевичу не был подан тот кружочек масла, который он привык есть за утренним чаем. На вопрос: «Что это значит?!» — дворецкий ответил: «Графиня приказали экономить масло». Последовавшая гроза навсегда отшибла у Екатерины Павловны охоту нарушать установившиеся порядки.

Не знаю почему, мне показалось в церкви, что Анна Сергеевна Сабурова и ее *belle-soeur* Елена Богдановна похожи между собою. Я, вероятно, была введена в заблуждение их одинаковыми белыми кружевными платьями и черными шляпами со страусовыми перьями. В 1904 году Елена Богдановна была очень молода. Ее большие голубые глаза поражали своей красотой, но за ними чувствовалась какая-то простоватость и даже примитивность. Анна Сергеевна же представляла собой полную противоположность понятиям «простота» и «примитивность». Она была утонченно обаятельна внешне и очень своеобразна внутренне. Принадлежа к тому типу женщин, из-за которых спокон веков лилось «много крови, много песней», она сознавала свою силу и, очаровав собеседника ослепительной улыбкой, любила озадачить его каким-нибудь совершенно неожиданным вопросом или

суждением. Склонная к мистицизму, Анна Сергеевна ощущала в себе свойства древних сибилл — вплоть до ясновидения. Эти сибиллические черты возвышали ее в собственных глазах над общим уровнем, и она действовала в этом ключе, подчиняя своей воле очарованных окружающих.

Брак Анны Сергеевны Шереметевой, одной из первых невест в России, с ничем не выдающимся кавалергардом Сабуровым был заключен по ее личному желанию и вопреки воле родителей. Судя по рассказам, которые я слышала у Сухаревой, граф Сергей Дмитриевич, видя, что «нашла коса на камень», пожал плечами, сказал: «Твой вкус не мой вкус» — и дал свое согласие. Много лет спустя, в Калуге, вспоминая прошлое, Анна Сергеевна со свойственным ей неожиданным озорством вдруг сказала: «Выдавая меня замуж, родители были очень довольны от меня отделаться, они чувствовали, что со мной можно ждать всяких неприятностей, не то что с сестрой Марьей, которая всегда была кроткой и покорной».

Брак Сабуровых, по-видимому, оказался удачным. Александр Петрович благоговел перед женой и со страхом подходил к дверям ее комнаты, предварительно узнавая у ее любимого сына Бориса, в каком она настроении. Московские Шереметевы говорили: «Алик Сабуров очень недалекий», однако мой отец, который с ним впоследствии сталкивался по делам архивным и генеалогическим, ничего подобного не находил. Может быть, слишком яркая индивидуальность Анны Сергеевны была причиной того, что он производил впечатление «мужа королевы».

Революция застала Сабурова на посту петроградского губернатора. Из позднейших отзывов его подчиненного Александра Сергеевича Иваненко, служившего шлиссельбургским исправником, я могла заключить, что особыми административными талантами Сабуров не отличался. Во всех сколько-нибудь сложных случаях он прибегал к советам своего *beau-rere**. Павла Сергеевича, наиболее просвещенного члена семьи Шереметевых.

Упомянутый мной Александр Сергеевич Иваненко происходил из обедневших курских помещиков, был человеком добродушным, медлительным и не лишенным

---

* Шурин (*франц.*).

некоторой хохлацкой хитрости. Зная о повышенном интересе своего начальника к родословным изысканиям, он, после очередного доклада, решил завести с губернатором разговор на генеалогические темы и посмотреть, «какое у того будет выражение лица». Содержание разговора было таково:

Иваненко: — А ведь мы с вами, Ваше превосходительство, находимся в некотором родстве или, вернее говоря, в свойстве.

Сабуров (*высокомерно*): — То есть как это так?

Иваненко: — Ведь вы изволите быть женатым на графине Шереметевой?

Сабуров (*еще более высокомерно*): — Ну и что из этого?

Иваненко (*не торопится с объяснением, чтобы понаблюдать, как нарастает гнев на лице его собеседника, и наконец изрекает*): — Вот, изволите ли видеть, Шереметевы находятся в родстве с Тютчевыми, а моя мать, урожденная Тютчева... (За этим следует обстоятельное доказательство дальнего, но несомненного родства.)

Стрелка барометра, отмечавшего настроение Сабурова, мгновенно с деления «буря» перескакивает на «ясно». Доказанное родство, хотя бы самое дальнее, это своего рода тотем, священное понятие, с которым не шутят. Поэтому Александр Петрович, довольный тем, что не стал жертвой мистификации, примирительно подает Иваненко руку и говорит: «Так что же вы сразу не сказали, что это через Тютчевых?»

Возвращаюсь к 1904 году. Двадцать шестого января неожиданным порт-артурским нападением японцев заканчивается мирный период российского бытия и страна входит в полосу внешних и внутренних потрясений. С начала войны на Дальнем Востоке на улицах Москвы появились военные в косматых папахах, стены и заборы украсились лубочными картинками патриотического содержания, а в домах люди передавали друг другу пущенную кем-то остроту: «Воюют макаки и коекаки». Однако, в силу того что война между этими двумя породами людей велась где-то за тридевять земель и из семьи

Шереметевых никто не находился в действующей армии и во флоте, заметных изменений в укладе жизни окружавших меня людей не произошло. Великая княгиня открыла в Большом Кремлевском дворце склад Красного Креста, где московские дамы ревностно, хотя и не совсем умело, шили солдатское белье. (Мама предпочитала брать работу на дом, причем я была приставлена к изготовлению кисетов.) Вот и все.

Совершенно иначе мною стали восприниматься военные события, когда весною мы переехали в Аладино. Бабушка, для которой патриотизм не был внешне обязательной этикеткой, а составлял сущность ее цельной и горячей натуры, жила вестями с фронта. Кровно связанная через отца с русским флотом, она переживала морские неудачи с такой болью и вместе с тем с такой верой в конечную победу Андреевского флага, что мы все заразились этими настроениями. Помыслы всех аладинцев были направлены к Тихому океану, где на знаменитом «Новике» плавал и сражался бабушкин любимый племянник Андрей Штер. Мы, то есть Сережа, Ника и я, пели «Варяга», знали наизусть имена всех русских и японских кораблей и восторгались подвигом «Стерегущего», а трагедия Цусимы была воспринята в Аладине как личное, незабываемое горе.

Осенью 1904 года был заключен Портсмутский мир и Россия вступила в полосу революционных событий. Все слои русского общества оказались вовлеченными в борьбу если не активную, то во всяком случае словесную. О политике говорили всюду. Различие политических убеждений стало тем мечом, который рассекал семьи на два непримиримых лагеря, порывая наилучшие отношения. При полном неумении русских людей корректно спорить, малейшее расхождение во взглядах переходило на личную почву. Летели фразы вроде «Только одни подлецы могут так думать!», и люди расходились врагами.

В силу своего уклада и вековых традиций, семья Шереметевых стояла на правом фланге этого идеологического фронта. Исключение составлял дядя Коля, либерально-демократические взгляды которого считались многими недопустимо левыми и приписывались влиянию его любимого дяди с материнской стороны Дмитрия Николаевича Шипова.

Однажды на уроке истории Степан Федорович Фортунатов, знакомя нас с выдающимися деятелями земства, поднял палец и сказал: «О! Дмитрий Николаевич Шипов — это историческая личность». Гостя в Ботове, я рассказала об этом, и дядя Митя смеялся, узнав, что уже попал на страницы учебника. Не знаю, насколько сбудется прогноз Фортунатова о Дмитрии Николаевиче, но я вспоминаю о нем как о человеке исключительной души и большого ума.

В 60-х годах прошлого века состояние Николая Павловича Шипова (отца) состояло из большого дома на Лубянке, имений в Рузском и Волоколамском уездах и железных заводов в Нижегородской губернии. Кроме дочери у него было три сына: старший из них, Николай Николаевич, по окончании в 1865 году Александровского лицея вышел в кавалергарды, и вся его дальнейшая карьера была придворно-военной. С 1881 по 1884 годы он командовал кавалергардами, в силу чего сам он и его семья пользовались неизменным расположением императрицы Марии Федоровны (шефа полка) и были близки к Аничкину дворцу. Николай Николаевич женился на дочери Наталии Николаевны Гончаровой от ее второго брака с генералом Ланским. Софья Петровна не унаследовала красоты матери. У нее было правильное, но тяжелое, несколько одутловатое лицо.

Второй сын Николая Павловича — Филипп Николаевич — после недолгой военной службы вышел в отставку, женился на вдове Лидии Васильевне Хомутовой, через несколько лет разошелся с ней и поселился сначала в Нижнем, а потом в Москве, представляя собой тот тип неисправимо легкомысленного бонвивана, который описан Толстым в лице Стивы Облонского.

Младший из сыновей Шиповых — Дмитрий Николаевич, — сдав экстерном кандидатские экзамены в Петербургском университете, двадцати двух лет женился на Надежде Александровне Эйлер, правнучке знаменитого математика Леонарда Эйлера, и в полном согласии прожил с ней всю жизнь вплоть до 1920 года, даты смерти обоих супругов.

Если в 60-х годах шиповское состояние исчислялось в 9 миллионов, то за двадцать лет оно значительно пошло

на убыль. В конце 70-х годов дела были уже запутаны. Николай Павлович понес крупные потери из-за краха одного из московских банков, во главе которого стоял некто Струсберг. Сыновья — Николай Николаевич и, главным образом, Филипп Николаевич — тратили много денег. За Филиппа Николаевича два раза отец платил крупные долги. Самый же сильный удар по шиповскому состоянию был нанесен, как ни странно, серьезным и скромным Дмитрием Николаевичем, который, имея доверенность отца, во время отсутствия последнего, по неопытности, субсидировал своего дядю Дмитрия Павловича Шипова суммой в миллион рублей. Деньги эти безвозвратно погибли, так же как и заводы Дмитрия Павловича, под которые они были даны.

В 1881 году Николай Павлович решил при жизни произвести раздел имущества между своими сыновьями. Дом на Лубянке продали Российскому страховому обществу. (И теперь там штаб-квартира КГБ. — *Прим. ред.*). Главная часть состояния — нижегородские заводы — досталась Николаю Николаевичу, который вместе с тем принял на себя погашение всех отцовских обязательств (в том числе выплату 200 тысяч рублей сестре Ольге Николаевне). Филипп Николаевич, после того как из денег, реализованных от продажи дома, в третий раз оплатили его долги, получил в пользование имение Осташево (без права продажи), а Дмитрий Николаевич — имение Ботово, где и поселился, занявшись сельским хозяйством и земской деятельностью (он был вскоре выбран председателем Волоколамской уездной управы, а впоследствии — Московской губернской управы).

Войдя во владение нижегородскими заводами, Николай Николаевич учредил при них нечто вроде опекунского совета, ведающего выплатой обязательств, но с проведением выплаты как будто не торопился. Я слышала, что Ольга Николаевна была даже вынуждена написать императору Александру III письмо, в котором всеподданнейше просила воздействовать на ее брата, который не платит долгов.

В начале 80-х годов у Николая Николаевича Шипова было пятеро детей (четыре дочери и один сын). Он был командиром кавалергардского полка. Все это требовало

больших средств, а с деньгами бывало подчас так туго, что дело доходило до сдачи в заклад бриллиантов. Об этом знала императрица Мария Федоровна и, когда на торжественных приемах она не усматривала на плече Софьи Николаевны фрейлинского шифра, то укоризненно качала головой и говорила: «Софи! Что, опять?!» Эти подробности я знаю от второй дочери Шиповых — Дарьи Николаевны, с которой я стала очень близка лет с шестнадцати. Если в силу материальных недоразумений между Шереметевыми и семьей Николая Николаевича и произошло некоторое охлаждение, то оно отнюдь не распространилось на племянницу Довочку, которую любили у Сухаревой за ее доброту, веселый характер и за то, что «в ней нет ничего петербургского» (в устах московских Шереметевых это было большой похвалой).

В первый раз я увидела Довочку, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, на обеде у Филиппа Николаевича Шипова, который в то время был управляющим московским отделением Дворянского банка и жил в казенной банковской квартире на Садовой-Спасской. Дарья Николаевна вместе со своим мужем Петром Николаевичем Давыдовым (внуком партизана) остановилась на несколько дней в Москве, проездом из своего саратовского имения за границу, и объезжала родственников. Когда она, очень высокая, стройная, в черном гладком бархатном платье с высоким воротом, с крупными бриллиантами в ушах и улыбающимися глазами вошла в столовую, я почувствовала в ней если не петербургский, то во всяком случае и не московский тон. В ту пору Довочка была очень *lady-like*.

Петр Николаевич, шумный, говорливый, подвижной, был на полголовы ниже жены. За столом он покрывал все голоса своими громкими и блестящими французскими фразами, произносимыми с большим апломбом. После обеда, оглушив нас столь же громкой, бравурной игрой на фортепьяно, он уехал в клуб, где его ждала карточная игра. (Давыдов был страстным игроком и одним из основателей Нового клуба в Петербурге на Дворцовой набережной. В этом клубе произошел большой скандал, когда Давыдов уличил генерала Галла в нечестной игре.)

Дарья Николаевна относилась к мужу дружески-спокойно. На обеде у дяди Филиппа она после его отъезда

весело продолжала шутить с окружавшими ее двоюродными братьями Шиповыми и Шереметевыми и как будто не замечала его отсутствия. В 1910 году Давыдов скоропостижно умер, сравнительно молодым человеком. Дарья Николаевна осталась независимою, богатою вдовой. Детей у нее не было. Я не знаю, как это случилось, но в 1912 году мы с ней, несмотря на разницу лет, оказались большими друзьями, причем Довочка меня всячески баловала. Широкая и добрая по натуре, она относилась ко мне с детской непосредственностью и прямолинейностью. Прямолинейность мышления доходила у нее до маниачества, а маниачество с годами развивалось по одной строго определенной линии. К сорока годам Довочка казалась уже не совсем нормальной, и люди невольно вспоминали, что ее мать, Софья Петровна, несколько раз заболевала серьезным душевным расстройством.

Idée fixe Довочки была крайне своеобразна: выросшая в эпоху Александра III и близкая к его двору, Дарья Николаевна привыкла ставить Россию превыше всего, любить Францию и ненавидеть Германию. Ее ненависть к Германии впоследствии перешла на персону Вильгельма II и отчасти на императрицу Александру Федоровну. Повсюду ей мерещились германские козни, и даже мелкие личные неудачи она приписывала действию «темных немецких сил». Спорить на эту тему было бесполезно. Вильгельм подкупал ее горничных, которые, по его заданию, доставляли ей всевозможные неприятности: чаще всего рвали новые чулки. Лекарства из аптеки тоже в любой момент могли быть «им» подменены какой-нибудь отравой. Дарья Николаевна торжествовала, когда разразившаяся в 1914 году война как будто оправдала ее предвидения германской опасности.

Но я забежала на целое десятилетие вперед. О том, как мы с Девочкой отмечали столетие Отечественной войны на Бородинском поле, я буду говорить позднее, а пока, в виде компенсации за устремление вперед, хочу повернуть лет на пятнадцать назад и перенестись в обстановку придворных балов времен Довочкиной юности и вспомнить два экспромта, записанные Мятлевым в ее *carnet de bal.* Отнюдь не преследуя цели щеголять в своих записках чужим остроумием, я привожу эти стихи, которые запомнила со слов Дарьи Николаевны, только

на тот случай, если сам автор о них забыл и они не будут помещены в полном собрании сочинений в разделе «юношеские произведения».

И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой
Когда-то Пушкин воспевал;
Но рост такой большой, как Довочки Шиповой,
Он вероятно не встречал.
Тогда бы навсегда порвал он струны лиры,
Отбросил далеко пастушечью свирель
И, пробку сняв с своей прадедовской рапиры,
Голицына бы вызвал на дуэль.*

Осенью 1905 года грянули первые революционные раскаты; необходимость реформ висела в воздухе. К власти призвали князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского, который в качестве министра внутренних дел должен был объявить «политическую весну». В семье Шереметевых (за исключением дяди Коли) его деятельность (или, вернее, намерения) не вызывали никакого энтузиазма. Говорили: «Пепка Мирский — прекрасный человек, но какой же это государственный ум?!» Видя, как рушатся незыблемые устои русской жизни, Борис Сергеевич моральную ответственность за этот беспорядок крайне наивно возлагал на отдельных «левонастроенных» лиц своего же класса, вроде Дмитрия Николаевича Шипова, Георгия Евгеньевича Львова, Павла Долгорукова.

Большие толки вызвало в то время «либеральничанье» графа Нессельроде, который творил в Саратове какие-то невообразимые вещи, вплоть до раздачи земли крестьянам, и, что еще хуже, отправился с Павлом Долгоруковым в Париж с целью уговорить французов не давать денег русскому правительству. За это последнее Нессельроде был лишен придворного звания.

Когда эта весть дошла до Москвы, она явилась поводом к бурной сцене в семье Шереметевых, в центре которой совершенно случайно оказалась мама. У Сухаревой обедал проездом через Москву граф Сергей Дмитриевич Шереметев. После обеда все поднялись, как

---

* Какой это был Голицын, я точно не знаю. Знаю только, что он был моряком и что его звали Борисом. — *Прим. автора.*

всегда, в гостиную к Борису Сергеевичу, и мама, без всякой задней мысли, спросила: «Не знаете ли вы, за что снято придворное звание с графа Нессельроде?» (Она действительно ничего не знала ни о самом Нессельроде, ни о его деятельности и никак не могла предполагать, что десять лет спустя Шурик женится на его внучке.) Граф, будучи с утра разъярен новым примером деградации дворянства, усмотрел в маминой вопросе сомнение в справедливости постигшей Нессельроде кары. Кроме того, он вероятно (и совершенно ошибочно) приписывал маминому влиянию либеральный образ мыслей своего двоюродного брата, считая, что спокон веков всякое вольнодумство исходит из Парижа. Во всяком случае, охваченный приступом неукротимого гнева, он закричал: «Как за что?! Неужели предательство Нессельроде — недостаточная к тому причина? Это ваши революционные взгляды губят Россию!» и т.д. и т.п.

Дядя Коля, который был подвержен таким же приступам гнева, как и его двоюродный брат, не заставил себя долго ждать и закричал не менее громко, что он запрещает говорить со своей женой в подобном тоне. До меня, находившейся в зале, доходили раскаты весьма крупного разговора. Тут же, не дожидаясь чая, мы уехали к себе на Пречистенский бульвар. На следующий день родители Шереметевы, крайне недовольные происшедшей накануне ссорой и обеспокоенные возможными неприятными последствиями (они находились в материальной зависимости от племянника), вызвали к себе сына и предложили ему написать Сергею Дмитриевичу извинительное письмо. Два дня дядя Коля ходил взад и вперед по кабинету, крутя спадавшую на лоб прядь волос, что было признаком глубокого раздумья, но письма не написал.

Опасения стариков Шереметевых были напрасны. Переводить моральное недовольство в область денежных отношений было совершенно не в стиле графа Сергея Дмитриевича — он был выше этого. Единственным следствием вышеописанной размолвки стало то, что на целый ряд лет отношения между дядей Колей и им были порваны. Только в 1912 году, когда мы оказались на хорах Дворянского собрания по поводу какого-то торжественного заседания, посвященного Бородинской битве, Сергей Дмитриевич первый подошел к нам,

поздоровался и потом сказал кому-то из окружающих его родственников, настолько громко, что я слышала: «Какая у Саши милая дочь!»

В конце декабря 1906 года умер Борис Сергеевич, и с его смертью закрылась красочная страница моих отроческих воспоминаний, связанная с жизнью Шереметевых у Сухаревой башни. Уже с осени Борис Сергеевич стал заметно слабеть, а с декабря начал заговариваться. И наяву, и в бреду главной думой его были революционные события в России, с которыми он никак не мог примириться. Когда кто-то пожаловался в его присутствии, что на улицах Москвы развелось много хулиганов, он вздохнул и сказал: «Вокруг престола много хулиганов, вот что нехорошо! — Потом посмотрел на портреты предков и добавил: — Если бы они сошли со стен, что бы они сказали!»

Похороны в Ново-Спасском монастыре были очень торжественные. Преосвященный Трифон (Туркестанов) произнес надгробное слово, могилу покрыли грудой венков: от «преображенцев», от дворян Московской губернии, от служащих Странноприимного дома. День был ясный, морозный. Возвращаясь с похорон, я была грустна и печально глядела сквозь сетку закрывавшего мне лицо оренбургского платка на сверкающие купола Кремля и Замоскворечья. Я вспоминала, как Борис Сергеевич встречал меня после некоторого перерыва (болезнь, летние каникулы), ласково трепал по щеке, говорил, что я выросла, и тут же добавлял стереотипную немецкую фразу: «Сорняки всегда растут». Мне представлялось, что эти слова он уже тысячу раз говорил всем детям семьи, что это был тот милый ритуал, через который прошли в свое время и дядя Коля, и дядя Борис (доросший до 2 аршин 14 вершков*), и мне нравилось быть сопричастной всей этой детской компании давно минувших дней.

С такими грустно лирическими мыслями я села за поминальный обед, накрытый в зале Странноприимного дома, и была буквально ошеломлена, когда между жареной осетриной и дрожащим на блюде бланманже сильно подвыпившее духовенство затянуло «Вечную память». Относясь с большим уважением к старорусским обычаям,

---

* 213 см.

я никогда не могла привыкнуть к этому пережитку языческой тризны — поминкам, которые мне всегда казались чем-то неприличным. И теперь, когда русский народ с такой легкостью отрекся от прежних традиций, я с удивлением вижу, что обычай коллективной еды и питья у открытой могилы остался во всей его неприкосновенности.

Летом 1905 года дядя Коля отказался от двухмесячного отпуска, чтобы использовать его зимой на заграничную поездку. План этого путешествия разрабатывался с осени, и заранее были заказаны круговые билеты, что было удобнее и дешевле. По настоянию дяди Коли я была включена как непременная участница этой поездки. Наше отсутствие из Москвы должно было захватить рождественские каникулы и январь месяц; даже разразившееся в Москве вооруженное восстание не могло разбить этих планов. Моя первая поездка по Европе вспоминается как веселая интермедия в эпоху, полную тревоги и напряженной борьбы, потому я посвящаю ей отдельную главу, выключенную из общего хода повествования, а здесь хочу сказать лишь несколько слов о нашем отъезде из Москвы, описание которого не совсем подходит для «веселой интермедии».

Все железные дороги бастовали, за исключением Николаевской, охраняемой войсками; решили ехать на Петербург, где к нам должны были присоединиться бабушка, дедушка и Сережа. На вокзал мы пробирались окольными путями, так как через центр города не пропускали. У дверей вокзала стояли две пушки, все залы были заняты солдатами, со стороны Пресни доносилась стрельба. Дядю Колю и маму смущала мысль, что наш отъезд могут принять за «бегство с тонущего корабля», и они усиленно подчеркивали, что поездка наша была решена задолго до революционных событий и никакого отношения к ним не имеет.

В Петербурге политическое напряжение ощущалось не так сильно, но все же одиннадцатилетний Шурик, вернувшись из Тенишевского училища, показал мне тетрадь, где было записано «Отречемся от старого мира» и «Вы жертвою пали». Под Двинском кто-то обстрелял наш поезд из пулемета, но на этом все злоключения кончились, и мы перешли в сферу «веселой интермедии».

Первая поездка за границу

Когда наша семья, путешествуя по Европе в составе шести человек, принадлежавших к трем поколениям, занимала места в вагоне, это сопровождалось значительным шумом: *grand-maman* суетилась, дядя Коля ругался на заграничные порядки, Сережа пытался смешить публику каламбурами, мама просила своих спутников не напоминать «наших за границей» из книги Лейкина и только *grand-papa* сохранял невозмутимое спокойствие.

Покинув Москву в декабрьские дни вооруженного восстания, мы прибыли в Варшаву как раз на праздник католического Рождества. Все музеи и магазины оказались закрытыми, и мы, прокатившись по центру города и переночевав в гостинице, двинулись дальше. Мои первые впечатления от Вены были чисто обывательскими: в окнах не полагалось двойных рам и потому дуло из всех щелей, и Дунай, который я, согласно карте, ожидала увидеть в центре города, оказался где-то на окраине. Только побывав в соборе Святого Стефана и увидев скульптуру Кановы на гробнице одного из Габсбургов, я согласилась, что Вена — хороший город.

По дороге из Вены на Венецию я не отходила от окна. Проносившиеся мимо тирольские ландшафты казались мне картинками из волшебного фонаря. Развалины замков на скалах, долины с высокими черепичными крышами, остроконечные колокольни, крутые арки мостов, перекинутые через бурные речки, — все это напоминало иллюстрации к старой германской сказке, и в моей душе уже намечалось то приподнято-романтическое настроение, которое овладело мною полностью ко времени прибытия в Венецию. Ни разу мне не случалось приезжать туда днем, поэтому резкий переход от грохота поезда и суеты вокзала в тишину ночных каналов всегда производил на меня очень сильное впечатление. Даже самое слово «лагуна» таило в себе, на мой взгляд, какое-то очарование.

Помню, как в мой первый приезд в Венецию, с трудом отбившись от целой толпы носильщиков, гидов и нищих, мы спустились к воде и заняли места в большой черной гондоле с обитыми потертым бархатом скамьями, бронзовыми уключинами и традиционным гребцом на носу. Была лунная ночь, сначала мы вышли на *Canal Grande*, но вскоре, для сокращения пути, свернули в лабиринт мелких каналов. Гондола бесшумно двигалась по темной воде между отвесными каменными стенами, проскальзывала под легкими чугунными мостиками, скупо освещенными старинными решетчатыми фонарями. На все предметы ложились резкие черные тени. Тишина нарушалась всплесками воды, звуками гитары, окликами гондольеров, за перилами мостов и балконов мелькали таинственные фигуры, и мое двенадцатилетнее сердце таяло от избытка красоты и романтики.

Очарование значительно уменьшилось, когда, выбравшись снова на Большой канал в его нижнем конце, мы подъехали к «Hotel Danieli» и узнали, что там нет ни одного свободного номера. Гондольер повез нас в другую гостиницу, но и там нас ждал такой же ответ. В продолжение целого часа мы качались на волнах, тщетно ища пристанища. Портье неизменно говорил нам, что, ввиду наплыва туристов, все помещения заняты. С воды поднимался пронизывающий туман, всем хотелось спать. Дедушка беспокоился, что бабушка простудится.

В это время откуда-то с кормы раздался голос Сережи: «Eh bien! nous n'avons qu'y aller au Lido. Le lit sera d'eau, mais il y aura un lit quand même!» Этот неожиданный каламбур* в столь трагический момент вызвал бурю негодования. Теперь Сережа оказался в устах бабушки не только *vil plaisantin*, но и *garçon de cabaret*. Все эти эпитеты на Сережу мало действовали.

После долгих уговоров удалось наконец получить комнаты в «Hotel d'Europe» — гостинице на Большом канале, в двух шагах от площади Святого Марка.

Когда я проснулась на следующее утро, светило яркое солнце и Венеция предстала во всем своем блеске. Мы с мамой пешком направились к собору. В небольших

---

* «Что ж, нам только и надо, что поехать на Лидо. Постель будет из воды, но все же это будет постель!» Игра слов: *lit d'eau* (*франц.*) — «водяная постель».

магазинах под аркадами площади Святого Марка шла бойкая торговля местными товарами для иностранцев. Тут же я купила брошку из розового коралла, вазочку венецианского стекла в форме дельфина и двух бронзовых голубей. Живые ручные голуби стаями разгуливали по площади, садясь на плечи прохожим и нахально вырывая у них из рук пакетики с кукурузой, которые тут же продавали черномазые мальчишки.

По случаю хорошей погоды все кафе выставили столики наружу, и мы пили шоколад на улице. Когда, выйдя на Пьяцетту, я увидела сверкающее широкое водное пространство, белый купол Santa Maria della Salute, остров San Giorgio — всё то, что я с детства знала по гравюрам, меня охватил такой же восторг, как накануне ночью. Со второго дня пребывания в Венеции мы с бедекером* в руках приступили к осмотру достопримечательностей и добросовестно посетили все места, отмеченные в указателе как наиболее интересные (что не мешало этому осмотру носить чисто обывательский характер). Мама уже ранее бывала в Венеции с моим отцом и признавала, что «Саша путешествует иначе: он уделяет больше времени музеям и меньше магазинам и кондитерским». С моей точки зрения, последнее было тоже нехорошо, однако впоследствии я убедилась в преимуществе папиного метода: ровно через год Шурик вернулся из заграничной поездки с отцом с такими солидными знаниями по искусству, о которых я не могла и мечтать.

Ко второму путешествию в Италию зимой 1908—1909 года я была несколько более подготовлена: по совету папы я прочла заранее «Камни Венеции» Джона Рёскина и «Образы Италии» Павла Муратова. В 1913 году (дата третьей поездки) я уже училась в Строгановском училище и ходила по картинным галереям с видом знатока (правда, это был только «вид»). Но первые полудетские впечатления были, пожалуй, самыми яркими. В описываемую пору я могла равнодушно пройти мимо Тициана и Тинторетто, долго стоять посреди залы, где высоко под потолком располагались портреты дожей в порядке их преемственности, и со страхом смотреть на раму,

* Бéдекер — путеводитель, названный так по имени издателя Карла Бедекера (1801—1859).

предназначенную для изображения Марино Фальера, в которой вместо портрета чернела доска с надписью «Казнен за заговор против Республики»*, а потом проникаться еще большим страхом, глядя на круглые отверстия в каменном полу Моста Вздохов, через которые кровь казнимых стекала прямо в воды канала (так, по крайней мере, уверял наш чичероне).

Дядя Коля в музеях скучал и часто справлялся на часах, не время ли идти обедать. Так как он терпеть не мог фешенебельных табльдотов, то нашел маленький ресторан под названием «Bella Venezia», куда мы и отправлялись два раза в день. Дядя Коля неизменно заказывал себе «спагетти романа» и кьянти в большом количестве, но специалитетом ресторана были *frutti di mare*: фритюр из маленьких рыбок, крабов, ракушек и всяких «морских червей», как их называла мама, относившаяся к этому блюду с предубеждением. Хозяин ресторана подарил дяде Коле на память белую фаянсовую пепельницу с надписью «Bella Venezia». Это вещичка всегда стояла у дяди Коли на столе и уцелела (вероятно, по причине своей малой ценности) до конца его жизни.

Из Венеции наш маршрут лежал на французскую Ривьеру. Мы должны были прямым путем ехать к старинной приятельнице бабушки m-me Bariquand (тете Шарля Альфана, впоследствии французского посланника в СССР), у которой была вилла в Ментоне. *Grands-parents* устали от переездов, дядя Коля спешил проверить свою теорию игры в рулетку, и поэтому мы, не останавливаясь в Милане, должны были там только пересесть с одного поезда на другой (багаж был отправлен прямо в Ментону).

Однако судьба решила иначе: подъезжая к Милану, мы узнали, что наш поезд опаздывает и на пересадку почти нет времени. Когда вагон остановился под громадным стеклянным куполом миланского вокзала, на нас набросилась ватага носильщиков с криками и жестикуляцией,

---

* В 1365 году был издан указ, согласно которому имя Марино Фальера стерли с фриза в зале Большого совета, где выбиты имена всех дожей, и заменили надписью: «На этом месте было имя Марино Фальера, обезглавленного за совершенные преступления». Марино Фальер (1274—1355) — венецианский дож, в 80-летнем возрасте устроивший заговор с целью узурпации власти и казненный за это.

из которых мы с трудом поняли, что поезд на Францию сейчас отойдет, что надо спешить и они поведут нас кратчайшим путем через рельсы. Носильщики схватили наши чемоданы и побежали, мы — за ними. В результате этой гонки мы все потерялись. Дедушка и я оказались вдвоем на главной платформе, а все остальные спутники, чемоданы и носильщики исчезли. Дедушка, у которого были документы, билеты и деньги, совершенно правильно решил, что надо ждать в Милане, пока все остальные не отыщутся. Он заявил о своем местонахождении начальнику станции, и мы отправились в ближайший к вокзалу отель «Кавур», где я улеглась спать, а он стал ждать дальнейших событий.

Пока мы так спокойно реагировали на создавшееся положение, с нашими спутниками произошло следующее: после стремительного бега по подъездным путям носильщики посадили их в какой-то отходящий поезд, бросили им вслед чемоданы, захлопнули дверцы вагона, и поезд помчался. Каков же был их ужас, когда обнаружилось, что, во-первых, дедушки и меня нет, во-вторых, поезд идет не на французскую, а на швейцарскую границу, и, в-третьих, багаж, не выгруженный в Милане, ушел на Турин. Стоя в проходе вагона, бросаемые от стенки к стенке, бабушка и дядя Коля упрекали друг друга: «Коленька, это всё вы!» — «Нет, Александра Петровна, это вы!» Поезд несся во мраке ночи в неизвестном направлении, и кондуктор утверждал, что первая остановка будет не ранее чем через два часа. Положение создалось неприятное.

Наконец поезд подошел к станции, которая оказалась историческим местом: это была Павия. Мама, дядя Коля, бабушка и Сережа вышли на перрон, увитый плющом и виноградом. Поезд угрохотал дальше, и наступила полная тишина. Начальник станции мирно спал, и стоило больших трудов добиться у него аудиенции, а еще бóльших — объяснить ему, в чем дело. Перебивая друг друга, все четыре путешественника говорили: «Signor barba bianca con Signorina perdita Milano — les bagages aussi!»*

* «Синьор с белой бородой и синьорина остались в Милане, и весь багаж тоже!» (*искаж. итал.*).

Итальянец был сильно выпивши, но слушал их с добродушной улыбкой. Затем он долго думал и наконец, на ломаном французском языке, произнес незабываемую фразу: «Старый джентльмен встретится, может быть, с девицей... — Жест неуверенности. — С багажом... — Категорический жест отрицания. — Никогда!» Это было так мило, что, забыв все распри и тревоги, все покатились со смеху.

При помощи благодушного начальника станции Павия, усадившего их в обратный поезд, бабушка, мама, дядя Коля и Сережа уже к утру были с нами в отеле «Кавур». Багаж тоже нашелся.

Вилла m-me Bariquand «Le Paradou» — конечная цель нашего путешествия — находилась в той части Ментоны, которая непосредственно прилегает к итальянской границе. Гостя там, мы с Сережей часто ходили к мосту St. Louis, соединявшему две страны в местечке Вентимилья. (С этого моста, как нам рассказывали, имели обыкновение бросаться в пропасть проигравшиеся жертвы рулетки.) Был январь месяц, и Ривьера в это время находится во всей своей красе: лазурное небо, лазурное море, стены, увитые цветущими растениями, апельсиновые деревья со спелыми плодами — но всё так хорошо известно, что не нуждается в описании.

Вилла, где мы жили, стояла на возвышенности среди чудесного сада; тут были и куртины, засаженные различными породами кактусов, и небольшие бассейны, обложенные туфом, на поверхности которых плавали водные растения, и мандариновые рощи, и так называемые *pergola* — решетчатые беседки, со стен которых свешивались вьющиеся розы. Над вторым этажом дома возвышалась башня, с верхней площадки которой открывался прекрасный вид. Помню, как однажды нас спешно созвали наверх: на горизонте ясно вырисовывались очертания Корсики.

Овдовевшая незадолго до нашего приезда, хозяйка дома своим высоким ростом и авторитетным тоном напоминала жандарма. С бабушкой и дедушкой ее связывала долголетняя дружба — она была искренне рада их приезду, а мы все проходили в виде «обязательной добавочной нагрузки». Самой беспокойной частью этой нагрузки был,

конечно, дядя Коля, по всему виду которого ясно было, что тон дома «Бариканши» ему не нравится. Он был корректен, учтив, но за обедом демонстративно брал обыкновенную человеческую порцию, а не кошачью, и, подставив к себе поближе графин с красным вином, пил это вино в неразбавленном виде, вместо того чтобы подкрашивать им воду, как это, по-видимому, полагалось. Во всяком случае, удивленная хозяйка дома однажды спросила у *grand-maman*: «А с вашим зятем все в порядке?»

Для нас с Сережей очень приятным оказалось пребывание здесь трех барышень de Gerus, которые гостили одновременно с нами на правах бедных родственников и были очень милы — как сами по себе, так и по отношению к нам. Игра дяди Коли в Монте-Карло была неудачна — система себя не оправдала, — и его потянуло домой. В конце января он распрощался с *grands-parents*, оставшимися на Ривьере на более долгий срок, и мы направились в обратный путь через Париж и Берлин.

После ослепительных образов Венеции и ярких красок побережья зимний Париж с его пасмурным небом и мокрыми тротуарами показался мне тусклым. Я еще не доросла до понимания этого единственного в мире города. Зато мама чувствовала себя в Париже как рыба в воде, всё ей было мило, знакомо, и она старалась показать мне как можно больше интересного. В моих отношениях с матерью уже намечался тот легкий оттенок *camaraderie*, который с годами еще более усилился и был мне очень приятен. Мы понимали друг друга с полуслова, и мне ни с кем не бывало так весело, как с ней.

Раза два или три мы ездили из Парижа на семейные обеды к oncle Albert'у, брату дедушки, жившему в Сен-Клу. Это был высокий сухой старик, горный инженер по образованию. Дядя Альберт рано овдовел и имел единственную дочь Fanny, которую очень любил, но держал в большой строгости. Незадолго до нашего приезда Фанни Эшен вышла замуж за офицера Генерального штаба Шарля Конде, который при знакомстве поцеловал мне руку и назвал меня *ma petite cousine*. Кроме Фанни, на семейных обедах я видела другую мамину двоюродную сестру, Элизу Марсильяк, и трех ее дочерей, с детства известных нам

с Шуриком по фотографии как «Ивон, Симон и Лимон» (на самом деле они были Ivone, Simone и Suzanne).

Кульминационным пунктом семейного обеда обычно становилась прекрасная индейка, начиненная каштанами, которую сам хозяин мастерски разрезал тут же за столом. Барышни Марсильяк, подставляя тарелки, восклицали: «Oh! que c'est gros!», но потом прекрасно справлялись со своими порциями. Разговоры на этих семейных сборищах не блистали разнообразием, обычно вертелись вокруг подаваемых блюд или состояния здоровья присутствующих. В продолжение целого часа могли также обсуждаться подробности расписания поездов и маршруты дилижансов.

Все же дядя Коля чувствовал себя в Сен-Клу лучше, чем у Бариканши, и когда дядя Альберт, выходя из-за стола, хлопал его по плечу и говорил: «Коля! Маленький стакан кирша», он находил, что старик очень мил.

Но время шло, срок, назначенный для нашего путешествия, истекал, и в начале февраля 1906 года, почти не задерживаясь в Берлине, мы вернулись в усмиренную Москву. Начался период русской жизни, который потом стал именоваться «годы реакции».

Гимназические годы

В семидесятых годах прошлого века двумя выдающимися педагогами того времени — Софьей Александровной Арсеньевой и Львом Ивановичем Поливановым — были учреждены в Москве в районе Пречистенки две гимназии: Арсеньевская и Поливановская. Связь между этими школами была самая тесная; если сыновья учились у Поливанова, то дочерей отдавали к Арсеньевой. Преподавание было в большинстве случаев общее, почти все учащиеся знали друг друга, и, начиная с 6-го класса, между ними возникали юношеские романы. Бывали случаи пересылки записок в карманах пальто математика Игнатова, который, переходя с урока на урок, не подозревал, что играет роль почтового голубя.

Поливановцы не имели казенной формы, носили штатские пальто, мягкие шляпы и черные куртки с ременным поясом без бляхи*, что нам казалось очень элегантным.

Когда я в 1902 году поступила в 1-й класс, Софья Александровна Арсеньева была уже стара и отошла от непосредственного руководства школой**. Она жила в левом крыле большого особняка барона Шоппинга***, занимаемого гимназией, и появлялась, только когда случалась какая-нибудь неприятность и требовалось ее воздействие. Быть вызванной на «ту половину», как мы называли апартаменты начальницы, не предвещало ничего хорошего.

Арсеньева была дочерью архитектора Александра Андреевича Витберга, друга Герцена по вятской ссылке. Приходя на «ту половину», мы видели на стене гостиной созданный отцом Софьи Александровны проект прекрасного, но неосуществленного храма Спасителя на Воробьевых горах.

---

* Без форменной бляхи, но с вороненой бляхой, с 5-го класса — котелок. — *Прим. автора.*

** После потери зрения почти полностью. — *Прим. автора.*

*** Улица Пречистенка, 17. — *Прим. автора.*

Непосредственное ведение гимназических дел было в руках племянниц Софьи Александровны: Марии Николаевны и особенно Александры Николаевны Дриневич. Злые языки отмечали некоторую семейственность в управлении школой, но беды от этого никакой не было; все родственники начальницы — Арсеньевы, Дриневичи, Витберги — были людьми высокой порядочности и эрудиции. Классной наставницей моей в продолжение восьми лет была тоже родственница Софьи Александровны — Надежда Николаевна Сагинова (урожденная Мерчанская), отличавшаяся мягкостью и женственностью. Коса, спускавшаяся до колен и собранная в узел на затылке, так оттягивала ей голову, что она должна была иногда распускать узел и становилась в такие минуты очень моложавой.

Ко мне Надежда Николаевна относилась хорошо и только в старших классах, когда моя «непосредственность» стала бить ключом и я, не умея сдерживать натиска обуревавших меня впечатлений, постоянно собирала вокруг себя род веча, прозвала меня «кумой».

Мой день, когда я была в младших классах, протекал так: без четверти восемь в мою комнату входила Даша, красивая каширская крестьянка, сестра служившей у Ольги Николаевны Шереметевой Дуняши, и будила меня словами: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» Даша жила у нас десять лет, и я была с ней в большой дружбе. Третья ее сестра, Наташа, впоследствии перешла к нам от Тютчевых. Она считалась маминой горничной, и Даша говорила: «У меня и у сестры Наташи по трое господ. У нее Александра Гастоновна, Николай Борисович и Альфа, а у меня — барышня и два голубя» (в большой клетке на Пречистенском бульваре жили две египетские горлинки, подаренные мне Шуриком).

«Рабочий народ» в моем лице вставал очень туго. Без десяти девять я, опаздывая, вылетала с книжками на крыльцо Удельного дома, сбегала по лесенке на Пречистенский бульвар и мчалась по Пречистенке. Ежась от холода и глядя на багровый диск солнца, я говорила едва поспевавшей за мной Даше: «Сегодня мороз», на что Даша неизменно отвечала: «Мороз, барышня, а денежки тают!»

Гимназия находилась как раз напротив пожарной части с каланчой. Из ворот со звоном иногда выезжала пожарная команда, и в санях проносился, козыряя мне, московский брандмейстер Гартье с лихо закрученными усами на умном лице французского склада. В низкой просторной передней меня встречали швейцар Александр, маленький толстый старик, топтавшийся на месте, как медвежонок, и его жена, дельная быстрая старушка Наталья, ведавшая больше тридцати лет и вешалками, и кипяченой водой, и подаванием звонков.

Мой класс насчитывал около сорока человек, учился хорошо, но был какой-то разношерстный, менее блестящий, чем предыдущий. В классе выпуска 1909 года, куда в 1906 году поступили уже упоминавшиеся в моих записках Вера Мартынова и Марина Шереметева, был более яркий состав учащихся: Наташа Векстерн, Соня Гиацинтова, Таня Дольник, Ляля Кишкина не только хорошо учились, но и обладали разными талантами. В младших классах я дружила с Верочкой Матвеевой, милой, бледной девочкой с толстой белокурой косой и нервным тиком глаз. Ее отец был членом суда. Матвеевы жили в Кречетниковском переулке (около Собачьей площадки), я у них с удовольствием бывала, так как вся семья была очень радушна.

У Матвеевых я встречала двоюродных братьев Верочки Ладыженских (наших сверстников) и трех студентов, братьев Бом. Младший из них, медик 1-го курса Георгий Бом, был очень мил, но застенчив. На подбородке у него была ямка, в честь чего я, подозревая Верочку в склонности к Георгию Бому, вырезала на ее парте слово «ямочка». (Месяц тому назад я прочла в газетах, что известный ортопед профессор Бом скоропостижно скончался на пятьдесят шестом году жизни.) Младший брат Верочки, Ваня, как и полагалось, учился у Поливанова. Когда я была в 4-м классе, к нам поступила новенькая, Наташа Вострякова, высокая, гладко причесанная девочка с правильными чертами лица и умным выражением глаз. Наташины глаза, если строго рассуждать, могли бы быть побольше, а нос, сам по себе красивый, немного поменьше, но и так Наташа выделялась своей внешностью. Очень быстро выяснилось, что наши матери немного

знакомы, и с этих пор завязалась моя дружба с Востряковыми — сначала с Наташей, а потом с Таней, — исчисляющаяся десятилетиями.

Ученье мне давалось без всякого труда и никогда не составляло предмета забот моих родителей. Начиная со 2-го класса и до самого конца, я шла на круглых пятерках, но должна признать, что пятерки по физике и математике доставались только за счет хорошей памяти, тогда как гуманитарные науки проникали несколько глубже.

Возвращаюсь к описанию своего школьного дня. После трех утренних уроков и завтрака мы отправлялись парами гулять по улицам (это называлось «крокодилом»). Маршрут был всегда один и тот же: по Пречистенке до Зубовского бульвара и обратно, мимо Лицея, по Остоженке. Если в кармане лежала плитка шоколада, купленного за пять копеек в мелочной лавке гимназического поставщика Капустина, то гулять было не так скучно. (Кроме того, с годами выяснилось, что я унаследовала от матери способность извлекать интерес из всех жизненных положений.) В три часа, к концу занятий, за мной иногда заходила мама. Когда она, в коротеньком каракулевом жакете, такая элегантная и не похожая на других мамаш, ожидала меня внизу лестницы, по которой мы шумной лавиной сходили после звонка, я видела, что все девочки смотрят на нее с нескрываемым любопытством. Еще больший интерес возбуждала мама, когда с ней была охотничья собака Альфа. Альфа, или, как я ее называла, Бубочка, появилась на Пречистенском бульваре маленьким щенком одновременно со мной и прожила двенадцать лет как член семьи. И мама, и я одинаково ее любили, причем обе находили, что для простой собаки Бубочка слишком умна и что, наверное, она — заколдованная принцесса.

Первые годы после свадьбы мама и дядя Коля жили не в большом Удельном доме, а в первом этаже двухэтажного флигеля, находившегося рядом с церковью Ржевской Божьей Матери. В главном здании с шестью колоннами и надписью на фронтоне «Московский Удельный округ 1835 г.», куда мы переехали несколько позднее, в то время жили Вельяминовы. Начальник Удельного

округа Григорий Николаевич Вельяминов был женат на Ольге Федоровне (урожденной Беклемишевой) и имел троих детей — Марусю, Олю и Диму. Девочки были значительно старше меня, а с Димой, моим сверстником, у меня завязалась такая крепкая дружба, что большой Удельный дом стал для меня своим еще задолго до того, как мы в него переехали. Ольга Федоровна была одна из тех приятных женщин, которые сочетают ум и сердечность с большой скромностью.

С Вельяминовыми жила также тетушка Григория Николаевича, воспитавшая своего другого племянника, князя Леонида Дмитриевича Вяземского, о котором я упоминала в главе «Детство». Проезжая через Москву, все Вяземские являлись на поклон к тетушке Марии Николаевне.

Когда мы с ним познакомились, Дима (Владимир) Вельяминов был одиннадцатилетним мальчиком, таким же милым и немного застенчивым, как его мать. Страдая врожденным пороком сердца, он с детства был окружен заботой всего дома, и другой ребенок в таких условиях стал бы избалованным. Ничего подобного с Димой не случилось, и, вспоминая друга моих детских лет, я представляю себе тихого мальчика в матроске, со смуглым лицом, смешливого, иногда мило заикающегося, но всегда утонченно деликатного.

В продолжение трех лет, приготовив уроки, я отправлялась через двор к Вельяминовым, которые занимали два этажа большого дома, причем все комнаты, включая кабинет Григория Николаевича, предоставлялись для наших игр. Излюбленным местом была парадная лестница, внизу которой стояли алебастровые египтяне, поддерживавшие потолок своими головами. Покрытые красным ковром ступени вели на площадку второго этажа, где располагались несколько колонн и маленький, совершенно незаметный чуланчик для хранения щеток и метелок — это было прекрасное место для пряток.

В наших играх принимал участие гувернер Димы Mr. Boyle, который бегал с нами как равный. Спасаясь от погони, мы в исступлении кричали ему: «The hand! The hand!», мистер Бойль подавал нам руку и с ловкостью спортсмена перекидывал нас на другой конец комнаты, спасая от преследователя. После беготни всегда

хотелось пить. Зная, что я люблю апельсины, Дима отправлялся в буфетную и заказывал старшему лакею Сурову апельсинное питье, которое торжественно приносил мне на серебряном подносе.

Одно время мы с Димой и его сестрами брали уроки рисования у известного художника Федора Ивановича Рерберга, а по воскресеньям отправлялись на Поварскую к Диминой бабушке Дарье Александровне Беклемишевой, урожденной Кошелевой, где нас встречали очень приветливо. Дарья Александровна давала Диме уроки Закона Божия, и, для лучшего усвоения, мы играли в особую игру ее изобретения. На карточках были наклеены имена пророков и царей иудейских. Эти карточки мы должны были передавать друг другу, подбирая их по сериям в хронологическом порядке.

За домом на Поварской был большой сад. В этом саду мы прощались, когда весной 1907 года Вельяминовы уезжали в Петербург. Дима передал мне письмо, в котором детским почерком отмечал все этапы нашей дружбы и обещал никогда не забыть меня. Это письмо, каким-то чудом уцелевшее, я переслала несколько лет назад через маму за границу.

Вещественная память о нашей детской дружбе, может быть, сохранилась у мистера Бойля. При расставании мы подарили ему золотые запонки, на задней стороне которых было вырезано: на одной *Dima*, а на другой — *Tiny* (как я называлась в ту пору на английском).

Осенью 1904 года в Дворянском собрании происходили торжественные проводы на войну генерала Куропаткина, причем московское дворянство вручало ему стяг. На хорах собралось много народу, в том числе и детей. Рядом с нами оказалась семья Трубецких, среди них я увидела девочку Татю, которую встречала у Мартыновых. Немного далее сидела великая княжна Мария Павловна, девочка лет четырнадцати, и ее брат Дмитрий Павлович, моложе года на два. Эти дети воспитывались у великой княгини Елизаветы Федоровны.

Все мы были преисполнены патриотического подъема, били в ладоши и кричали «ура!». Помню, как Александра Владимировна Трубецкая говорила маме, что ее старший

сын Володя в первый раз находится внизу со взрослыми. Вскоре появился высокий молодой человек англинизированного типа; я мысленно отожествила его с лордом Карльстоном из английского романа «Квичи», героем которым была очарована.

Княгиня Александра Владимировна сказала маме, что по средам у них предполагаются танцклассы, и попросила отпускать меня к ним в эти дни. Трубецкие жили на Знаменке в доме Бутурлиных. В первый раз появившись на танцклассах, я чувствовала себя очень смущенной. Матери и гувернантки сидели по стенам зала и смотрели, как дети выделывают различные па под руководством балетмейстера Шокорова. К счастью, среди танцующих оказался Дима Вельяминов, и это меня ободрило. Кроме младших детей Трубецких, Колюшки и Тати, тут были Мира, Буля и Гаврилка Бобринские, Саша Глебов, Ника и Лиля Граббе, три княжны Львовы, Маня Самарина, мальчик Бутурлин, Костя Родионов и Владимир Трубецкой (сын Сергея Николаевича).

В зале, где мы танцевали, стояла большая бронзовая группа работы скульптора Паоло Трубецкого, изображающая в импрессионистической манере этого самого Владимира и его старшего брата Котю, который в наших уроках танцев не участвовал. Владимир (Сергеевич) Трубецкой был в ту пору высоким белокурым мальчиком, лет тринадцати с длинной шеей и каким-то обалделым взглядом. В нем, безусловно, присутствовали какие-то странности. Так, на одном из «четвергов» у Николая Васильевича Давыдова, постоянными посетителями которых были мама и дядя Коля, Сергей Николаевич Трубецкой незадолго до своей смерти с огорчением рассказывал, что его младший сын Владимир наделал больших хлопот: услышав, что в доме говорят о необходимости реформ, он тайно отправил государю письмо, в котором предупреждал, что у него «много врагов». Пришлось ехать срочно в Петербург, чтобы, использовав связи, перехватить это письмо*.

* По другой версии, сообщенной мне двоюродными братьями Владимира Сергеевича Трубецкого Н.Г.Лермонтовым и П.Г.Трубецким, письмо дошло по назначению: Николай II собственноручно поблагодарил своего корреспондента за преданность и много лет спустя, на морском параде, увидев Трубецкого в ряду юнкеров флота, вспомнил этот случай и сказал: «Мне такие люди нужны!» — *Прим. автора.*

Но возвращаюсь к урокам танцев. Девочки Львовы своим внешним видом напоминали парижских кукол: на них были чрезвычайно короткие нарядные платья, шелковые белые чулки и черные туфельки; волосы их были завиты в букли, а умственный уровень не соответствовал возрасту. Злые языки говорили, что их мать, княгиня Мариэтта Львова, в планы которой не входило иметь взрослых дочерей, насильственно задерживает их в состоянии инфантильности.

В дверях танцевальной залы иногда появлялся князь Алексей Евгеньевич Львов, бывший в то время директором Училища живописи и ваяния. Это был высокий немолодой человек благородного обличия, всегда в черной шелковой шапочке. Он терпеливо дожидался момента, когда его дочки «остынут» после танцев, и увозил их домой на Мясницкую. Княгиня Мариэтта имела эффектную внешность: громадная шляпа со страусовыми перьями, грудь колесом и масса апломба. С чисто мужской деловитостью она трудилась над устройством материального благополучия своей семьи, и, пока ее муж меценатствовал на Мясницкой, поощряя русские таланты (среди художников Алексей Евгеньевич пользовался уважением и любовью), княгиня Мариэтта обивала министерские пороги, добиваясь каких-то концессий и субсидий.

Мать Бобринских (урожденная Львова, не княжна) была дамой в совершенно ином стиле: она носила мужскую шапку, называлась в Москве «товарищ Варвара» и состояла попечительницей Хитрова рынка. Деятельность ее была, вероятно, очень полезна, но не распространялась на собственных детей. Мира и Буля (сами по себе очень милые девочки) приходили измазанные чернилами, а девятилетний Гаврилка был просто плохо воспитан.

Маня Самарина производила впечатление саксонской статуэтки; вся точеная, с неподвижным, как будто удивленным лицом и высоко поднятыми бровями, она была то, что называют «породиста». Взрослой я ее увидела в необычайной обстановке. В 1920 году, недалеко от Козельска, на дороге в Оптину пустынь мне повстречалась женщина-богомолка, покрытая беленьким платочком. В ней я узнала Маню Самарину, которая была так же очаровательна и еще более трогательна. С ней был ее муж,

[Сергей Павлович] Мансуров, который, кажется, пошел в священники.

По окончании танцкласса дети шли в столовую пить чай. По старинной русской манере, в середине стола стоял большой серебряный поднос с пряниками, орехами, изюмом и пастилой. Саша Глебов и Гаврилка Бобринский тут же принимались набивать себе карманы сладостями, что не нравилось девочкам и Диме Вельяминову. После чая играли в прятки, в «море волнуется», в «телефон» и в семь часов расходились домой.

Эти уроки танцев продолжались две зимы. В 1907 году Трубецкие, по примеру других семейств, имевших дочерей-невест, переехали в Петербург. За ними двинулись и Вельяминовы. Женихов в Москве было мало — здесь можно было выйти за какого-нибудь родственника или друга детства (что иногда и происходило), но блестящие партии встречались только в Петербурге.

Старшие дочери Трубецких мне очень нравились. Высокая, полная, похожая на отца Люба была безусловно красива. Соня, не обладая красотой сестры, имела в лице больше ума и тонкости. В Москве Соня считалась невестою Владимира Рафаиловича Писарева, но этот брак родственного типа почему-то не состоялся. Соня отказала жениху, и он потом женился на ее двоюродной сестре Мане Глебовой (старшей сестре уже упоминавшегося Саши).

Старший сын Трубецких Владимир Петрович, которому в эпоху танцклассов было около двадцати лет и в которого я была молчаливо и преждевременно (ввиду своих тринадцати) влюблена, женился молодым по принципу родственного брака на Марии Сергеевне Лопухиной. Помню, как мама собиралась на эту свадьбу: венчание совершалось в церкви Александровского военного училища на Знаменке. В этот день я тихонько вынула из альбома у Вельяминовых любительскую карточку, которая изображала Володю Трубецкого играющим в теннис с мистером Бойлем на Байгоре (имение Вельяминовых), и положила ее в самый потайной ящик своего стола (эта карточка погибла только в 1937 году). Мне кажется, Маруся Вельяминова грустила в этот день больше, чем я. Для меня Володя Трубецкой был лишь образом, воплощающим всех

обаятельных героев прочитанных мною книг, тогда как для Маруси он был явлением вполне реальным.

Осенью 1911 года в семье Трубецких произошла драма, ставшая известной всей стране. В Новочеркасске, по случаю перенесения тела графа Орлова-Денисова, собрались все потомки покойного: Трубецкие, Кристи, Глебовы, Орловы-Денисовы. Вагон князя Петра Николаевича стоял на запасных путях вокзала. Четвертого сентября Владимир Григорьевич Кристи, ворвавшись в купе этого вагона и найдя там свою жену Марицу (урожденную Михалкову) и своего дядю Петра Николаевича, выстрелил из револьвера и наповал убил последнего. Скандал разразился ужасный. Трубецкие объяснили всё ненормальностью Кристи. Говорили о том, что Петр Николаевич пригласил к себе племянницу, чтобы дать ей несколько советов и предостеречь от явного увлечения другим его племянником Петей Глебовым (старшим братом Саши). Что бы там ни было, но московский предводитель дворянства Трубецкой был убит, убивший его Кристи не понес серьезного наказания (ограничились церковным покаянием), а Мария Николаевна Михалкова-Кристи, разведясь с мужем, вышла за его двоюродного брата Глебова.

Эта «роковая женщина» имела, что называется, «le physique de l'emploi»*. В годы своей юности я видела Марицу Глебову лишь один раз в Большом театре. Она проходила в первый ряд партера с такой стремительностью, что два ее спутника едва за ней поспевали. Ее гордо откинутая голова была украшена «паради»**, в глазах плескалась какая-то доля безумия. Высокая, стройная, одетая во все черное, она напоминала сказочную, красивую, но отнюдь не добрую фею.

Я выше говорила, что когда в мой класс поступила Наташа Вострякова, наши матери, уже немного знакомые, обменялись визитами, и я стала бывать у них в доме. Мать Наташи — Елена Кирилловна, урожденная Мамонтова, — так же как и ее сестра Маргарита Кирилловна,

---

* «Внешность, соответствующую роли» (*франц.*).

** Модное в конце XIX, начале XX века украшение для шляп и бальных причесок в виде пучка перьев.

обе в юном возрасте были выданы замуж за представителей богатого купечества — Родиона Дмитриевича Вострякова и Михаила Абрамовича Морозова (последний выведен Сумбатовым в комедии «Джентльмен»).

Благодаря своей красоте, уму и богатству эти дамы сразу заняли видное и несколько своеобразное положение в московском обществе. Семейная жизнь их сложилась неудачно, особенно у Елены Кирилловны, которая в возрасте двадцати трех лет была покинута своим мужем. После шести лет прожигания жизни во всех увеселительных заведениях России и Европы Родион Дмитриевич Востряков бросил семью, чтобы жениться на танцовщице Шарпантье. В ту пору, к которой относятся мои воспоминания, Елена Кирилловна жила с дочерьми и компаньонкой Раисой Захаровной в небольшом особняке с мезонином между Арбатом и Поварской. Больших средств уже не было: жили на сравнительно скромные деньги, выданные Востряковым при разводе, и проценты с капитала, положенные на имя внучек бабушкой Востряковой (Хлудовой) в размере ста тысяч на каждую.

Сестры Маргарита и Елена были признанными московскими красавицами; они прекрасно одевались, с них писали портреты знаменитые художники, они блистали на всех выдающихся спектаклях и концертах, словом, вели образ жизни московского меценатствующего купечества начала XX века. Внешность сестер была различна: в Елене Кирилловне преобладала красота линий, при некоторой вялости красок; Маргарита Кирилловна была хороша своим колоритом и напоминала тициановских женщин.

Как только Маргарита Кирилловна овдовела, а Елена Кирилловна разошлась с мужем (это случилось почти одновременно), сестры почувствовали возможность направить жизнь по тому руслу, которое соответствовало их вкусам. Маргарита Кирилловна была гораздо богаче, и ей это сделать оказалось легче. Под влиянием князя Евгения Николаевича Трубецкого (или вернее ради него) она стала интересоваться общественно-политическими вопросами. Ее дом на Смоленском бульваре стал местом встречи многих выдающихся людей того времени, чем-то вроде либерально-политического салона. Там же в 1906 году

происходили редакционные собрания издаваемого Трубецким и субсидируемого Маргаритой Кирилловной журнала «Московский еженедельник» (журнал этот пропагандировал идеи партии «мирного обновления»).

Весной 1917 года один из друзей Маргариты Кирилловны, Иван Леонтьевич Томашевский, вспоминая ее деятельность того времени, ядовито сказал: «Как жаль, что существует Брешко-Брешковская! Иначе это Маргоша стала бы бабушкой русской революции».

Разойдясь с Востряковым, Елена Кирилловна стала вести замкнутый образ жизни. Она уделяла достаточное внимание воспитанию своих дочерей (без особо хороших результатов) и много внимания — «Пресненскому попечительству о бедных». В этом комитете, пользовавшемся в Москве заслуженной славой, Елена Кирилловна завела дружественные отношения с Лидией Павловной Княжевич и другими дамами-патронессами, а через них — с великой княгиней Елизаветой Федоровной. В числе адъютантов великого князя Сергея Александровича был в то время бывший преображенец Владимир Сергеевич Гадон, отличавшийся очень красивым лицом и столь же неприятным характером. Он и его друг Владимир Федорович Джунковский постоянно бывали в обществе Маргариты и Елены и явно за ними ухаживали.

Великая княгиня, в интересы которой входило поскорее женить адъютантов мужа, принялась устраивать свадьбу Гадона с Еленой Кирилловной. («Эта женщина такая молодая, такая красивая и такая одинокая».) Перед Гадоном стала дилемма: получить бригаду в Москве и жениться на Востряковой или принять Преображенский полк, который, в свою очередь, не мог принять Востряковой в качестве полковой дамы. Честолюбие взяло верх: Гадон выбрал Преображенский полк и поехал залечивать сердечные раны (если таковые имелись) у ног Анны Сергеевны Сабуровой.

Судьба отомстила за Елену Кирилловну, которая, как ибсеновская Сольвейг, пронесла эту любовь через всю жизнь*: в 1907 году в Преображенском полку вспыхнул бунт, и карьера Гадона была сломана. Десятого июня 1-й батальон, прибыв из Красного Села в Петербург,

* После революции Гадон к ней вернулся. — *Прим. автора.*

отказался вступить на смену караула, пока не будут приняты его политические требования, тогдашнее содержание которых, исходившее от лиц, ведущих пропаганду в солдатской среде, общеизвестно. Несмотря на уговоры начальствующих лиц, батальон так и не вступил в караул и в тот же день, вместе с офицерами, был исключен из гвардии и под конвоем лейб-гвардии Финляндского полка отправлен в село Медведь Новгородской губернии на штрафное положение. Одновременно начальник дивизии Озеров и командир полка генерал-майор Гадон были исключены из службы. После этого события вплоть до своей реабилитации в 1911 году Гадон прожил в Воронове (имении Сабуровых Подольского уезда Московской губернии), откуда не выезжал круглый год.

Моя подруга Наташа ни физически, ни внутренне не походила на мать. Она унаследовала и внешность, и быстрый ум, и бурную кровь своей бабушки по отцу Хлудовой. По своим вкусам и идеологии Наташа принадлежала к купечеству, и все старания матери привить ей более утонченный образ мыслей терпели неудачу. Наташа была умна, насмешлива и упорна. В особняке, где жили Востряковы, существовало два мира. Внизу, у Елены Кирилловны, царили изящная простота и хороший тон. Наверху, в мезонине, где жили девочки, этот тон считался скучным и высмеивался. Наташа прекрасно владела французским языком. Помню, как однажды она, показывая мне фотографию, на которой Елена Кирилловна была изображена с цветком лилии в руках и фероньеркой лилиеобразной формы на лбу, сделала хитрый вид и сказала: «Глядя на портрет, я вижу, что мама, которая проповедует простоту и естественность, не всегда точно следует своим принципам!» Таня Вострякова, девочка с прекрасными голубыми глазами, годом моложе Наташи, была более похожа на мать и считалась ее любимицей. Однако в ранней юности она находилась под влиянием сестры и всецело подчинялась ее установкам.

Большинство класса не одобряло моей дружбы с Наташей, и за меня велась даже некоторая борьба. Однако я и в те годы, несмотря на свою впечатлительность, никогда не поддавалась чужим влияниям. Допуская временные, незначительные уклонения в ту или иную

сторону, я инстинктивно и без всякого труда возвращалась на свои исходные позиции. Впоследствии это мое свойство еще яснее определилось (некоторые люди даже называли меня моральным Ванькой-Встанькой). С Наташей мне было весело, и я дружила с ней несколько лет, ничуть не разделяя ее вкусов и не скрывая этого. В подтверждение моих слов приведу выдержку из Наташиного письма, написанного летом 1910 года из Гунтербурга мне в Аладино, объявлявшего о ее решении выйти замуж за некоего «Ал. Ал. Шредера», с которым она познакомилась на курорте. Наташа пишет (как всегда, переходя на французский язык при выражении сложных чувств): «Я знаю, что мой жених не в твоем и не в мамином вкусе, но это то, что мне надо». Вкус ее оказался плохим. Александр Александрович Шредер, ставший после женитьбы профессиональным беговым наездником, просадил Наташины сто тысяч на лошадей и после трех лет супружеской жизни в маленькой квартире на Можайской улице в Петербурге, единственным преимуществом которой было то, что она находилась рядом с беговой дорожкой, пустил себе пулю в лоб, оставив Наташу молодой и бедной вдовой.

Но я забежала на много лет вперед и возвращаюсь к описываемой эпохе. Когда я в первый раз появилась у Востряковых в «Трубниках», там были: двоюродный брат Тани и Наташи Юра Морозов, наш сверстник, и Костя Мазурин, года на три старше нас. Костя был сыном приятельницы Елены Кирилловны — Елизаветы Григорьевны Рябушинской, по первому браку Мазуриной (урожденной Голиковой), и учился в старших классах Поливановской гимназии. У него было некрасивое, но умное лицо армянского типа. Об уме Кости Мазурина все были очень высокого мнения, и я к этому мнению присоединилась после того, как Костя спросил меня, кого я больше люблю: Пушкина или Лермонтова. Я ответила — Лермонтова, а Костя покровительственно изрек: «Это естественно! Но пройдет несколько лет, и вы оцените Пушкина!»

Юра Морозов, рослый мальчик с тяжелым взглядом красивых темных глаз, тоже учился у Поливанова. Его портрет

кисти Серова (в более раннем возрасте) можно видеть в Третьяковской галерее*. В день нашего знакомства Юра пригласил меня посещать их «субботы» (по субботам у детей Морозовых собирались гости). В смущении я задала глупый вопрос: «А у вас бывает весело?», на что обычно мрачный Юра неожиданно ответил: «Вообще не знаю, но если станете бывать вы, то, несомненно, будет весело!» Все были поражены такой учтивостью, я же еще больше устыдилась глупости своего вопроса.

На морозовских «субботах» общество распадалось на два кружка, между которыми чувствовалась неприязнь. Так как я появилась в качестве подруги Наташи, то должна была держаться их клана. Иногда мне казалось, что компания сестер Богриновских, к которой примыкали Шершеневич, Петровские и еще какие-то юноши, интереснее, но я молчала, так как Наташа никогда не простила бы мне такого ренегатства. Шершеневич** декламировал стихи (свои или чужие, я не помню); специальностью Феди Петровского был Козьма Прутков. Наш клан мог только выставить фортепьянную игру Сергея Сергеевича Аксакова (прямого потомка Сергея Тимофеевича). Братья Сергей и Константин Аксаковы тоже учились у Поливанова, причем Константин, вследствие детского паралича, который он в шутку приписывал «гимназическим волнениям», плохо владел ногой и рукой. Несмотря на этот физический недостаток, он любил танцевать, а резко выраженное заикание не мешало ему выступать с декламацией. Из-за его плохой дикции я в ту пору не оценила стихов Александра Блока.

У Сергея Аксакова было круглое лицо с тупым носом и очень маленьким ртом. Он отличался серьезностью, медлительностью и с важным видом говорил: «Мы очень древнего рода!» Ухаживая за Наташей Востряковой, он называл ее «Феей с Собачьей площадки» и на Новый 1908 год прислал ей странное поздравление. На визитной карточке своего деда, где было напечатано

---

* Не Юры, а его младшего брата Михаила (профессора-шекспироведа Михаила Михайловича Морозова). Портрет называется «Мика Морозов».

** Вадим Габриэлевич, сын профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. — *Прим. автора.*

«Григорий Сергеевич Аксаков, Самарский губернатор», он зачеркнул тонким штрихом имя и добавил «внук его». На обратной стороне было новогоднее поздравление и стихи:

Тронься, тронься, пробудись,
Дивный мрамор, оживись!
Образ сладостный, спеши
Пламенеть огнем души!

Кроме Аксаковых, Мазурина и Юры Морозова, к нашей компании принадлежал Коля Львов, сын Николая Николаевича Львова, члена Государственной Думы от Балашовского уезда и племянник упоминавшейся ранее Варвары Николаевны Бобринской («товарища Варвары»). Это был довольно высокий юноша с девичьим лицом и какими-то приторными манерами. Несмотря на то, что мать его была крестьянка (или как раз по этой причине), Коля был чрезвычайно аффектирован и совсем не прост. Он любил переводить на французский язык и по всякому поводу вспоминал *son oncle Grabbe.*

Помню, как, танцуя со мной в первый раз, он задал мне вопрос: «Мадемуазель, вы любите хорошо воспитанных юношей?» — и тут же поскользнулся на полированных плитах Египетского вестибюля, через который мы проходили полонезом под музыку из «Жизни за царя», и чуть не увлек меня в своем падении. После этого танца он пожал мне руку и сказал: «Я надеюсь, что вы позволите мне называть вас Татьяна Александровна!» Я раскрыла глаза, так как не знала, что на это требуется особое разрешение.

Несмотря на все его фокусы, Коля Львов мне очень нравился. Каждую субботу, сидя на низких диванах круглой Восточной комнаты, мы вели с ним долгие разговоры, сводившиеся к «переливанию из пустого в порожнее». Коля в шестнадцать лет изображал из себя пресыщенного жизнью денди, ищущего спасения в чистой любви, а я вела морализаторские речи.

На Рождество Маргарита Кирилловна устроила для своих детей костюмированный бал. Я была одета китаянкой и имела забавный вид в расшитом золотом и яркими

цветами кимоно. На высоко зачесанных волосах дребезжали приделанные к пружинкам серебряные украшения (все эти аксессуары были привезены Васей Оболенским, мужем маминой двоюродной сестры Наты, из Китая и одолжены мне по случаю маскарада). На Наташе был не очень удачный — домашнего изготовления — костюм средневековой дамы, и она была не в духе. Таня изображала онегинскую Ольгу. Юра Морозов нарядился очень декоративно — тирольцем. Младшие Морозовы, Леля и Мика, в этот день тоже выступили в свет: Леля в качестве боярышни, а Мика — Дмитрия Самозванца. Оба были очень хороши, но в центре внимания оставался сын художника Серова, превращенный своим отцом в патагонца. Татуированный, украшенный разноцветными перьями, увешанный амулетами, с луком и стрелами в руках, он представлял собою законченный образ из Фенимора Купера.

В половине вечера, заставив себя ждать, появился Коля Львов в образе Гамлета. На черном бархатном колете выделялась массивная золотая цепь. На боку висела шпага. Он был строен и изящен. Выглядывавшее из-под берета с пером румяное девичье личико не совсем соответствовало моему представлению о принце Датском, но все же я была в восторге и с особым удовольствием выслушивала его претенциозные комплименты.

Следствием всего этого стал необычайный случай, о котором я теперь, за давностью лет, могу чистосердечно рассказать. От горничной Даши я слышала, что часовня Ивана Воина на Каменном мосту имеет чудодейственную силу. Если подать за здравие того или иного лица во время молебна в этой часовне, любовь этого лица обеспечена за подающим. Я решила попробовать это средство, но надо было выждать подходящего случая. Однажды мама поручила мне быстро сходить на Арбат в магазин Рихтера и купить кофе особого состава. Чтобы не перепутать сорта, я записала на бумажке: «Мокко, Ливанский, Аравийский, Мартиник». На другом листке у меня уже давно было заготовлено: «О здравии Николая».

Я выскочила на улицу и помчалась к Каменному мосту. Стояли зимние сумерки. Когда я, запыхавшись от быстрой ходьбы, вошла в часовню, служба там не шла.

За свечным ящиком стоял монах. Ждать я не могла. Высыпав на ящик целую горсть медяков и положив на них записку, я настоятельно попросила монаха помянуть по ней за здравие на следующем же молебне и помчалась на Арбат. Каков же был мой ужас, когда, войдя в ярко освещенный магазин Рихтера, я вытащила из муфты записку, на которой стояло: «О здравии Николая». Что было в часовне, когда священник начал поминать все сорта кофе, я никогда не узнала и боялась об этом думать!

Во всяком случае, мое увлечение Колей Львовым быстро пошло на убыль. На следующий год я уже открыто высмеивала его хвастовство и французские словечки. Года два спустя мы вместе с Колей Львовым участвовали в любительском спектакле. На обратной стороне фотографии группы он написал: «На память о хорошем прошлом — будущее не в нашем ведении!» О печальном будущем Коли Львова я буду говорить позднее, пока же ограничусь упоминанием, что по окончании Поливановской гимназии он поступил в Петербургский университет и мы с ним никогда больше не виделись.

Теперь, чтобы не нарушать хронологической последовательности моего повествования, я должна сказать несколько слов о нашем переезде в большой Удельный дом и о том, что этому переезду предшествовало и сопутствовало. Весной 1907 года выяснилось, что Григорий Николаевич Вельяминов уходит в отставку и вся их семья переезжает в Петербург. Естественным кандидатом на его должность начальника Московского удельного округа был его помощник Николай Борисович Шереметев.

Обсуждение вопроса принять или не принять возможное назначение вызвало первый серьезный раскол между ним и мамой. Отказаться от должности, дававшей большие преимущества, было безрассудно, хотя бы потому, что дяде Коле оставалось семь лет до пенсии, размер которой зависел от последнего оклада. Дядя Коля в душе сознавал правильность этих доводов, но каждый раз, когда слышал их из маминых уст, вставал на дыбы, упрекал ее в честолюбии, говорил, что не хочет ответственности, официального положения, большой квартиры,

что мечтает жить в маленьком домике с «геранью на окнах» и если кто-нибудь — не дай бог! — представит его к придворному званию, он от него откажется и не станет тратить деньги на шитый золотом мундир.

Мама ничуть не настаивала на придворном звании (которого, кстати, никто и не предлагал), но горячо советовала принять должность начальника округа. Этого делать не следовало. Мама была плохим дипломатом и передала мне по наследству неумение учитывать обстановку и ждать, когда желаемое, как спелое яблоко, само упадет в руки. Мы обе всегда кидались в бой, начинали доказывать то, что само собой разумелось, и тратили на это много лишних сил.

Когда, наконец, Николаю Борисовичу предложили новый пост, он согласился промучиться семь лет, но «ни одного часа более», и весь этот срок терзал маму, доказывая, что мучается из-за нее. Никаких «мучений», по существу, удельная служба ему не причиняла, с подчиненными у него были прекрасные отношения, дело было ему хорошо знакомо, а большая квартира давала возможность устраивать любимые им спектакли и приглашать друзей-актеров, которые широким потоком хлынули в анфилады Удельного дома. Тут были и знаменитости — Ермолова, Садовская, Южин, — и рядовые «труженики сцены»: режиссеры, бутафоры, суфлеры. Всякий, кто имел лишь малейшее отношение к Малому театру (Художественный театр он не любил), был у Николая Борисовича почетным гостем.

Будучи человеком скромным и не имея преувеличенно-высокого мнения о своих актерских способностях, он все же считал своим истинным призванием сцену. Некоторые актеры льстили любезному хозяину, говорили, что считают его «своим», и этим еще более забивали ему голову. Примером такой беззастенчивой лести была стихотворная надпись, сделанная Осипом Андреевичем Правдиным при вручении им своего портрета. Привожу стихи, посвященные Николаю Борисовичу, дословно:

Позволь сказать по дружбе, беспристрастно,
Театр — вот настоящий твой удел,
А ведомство твое желает ежечасно
Связать тебя у дел.

Актеры же друзья давно то видят ясно,
Что если бы у их стоял бы ты у дел,
Сумел бы ты вернуть, традициям согласно,
Театру — старый блеск, себе же — свой удел!

Дядя Коля был явно смущен и сказал: «Ну, уж это слишком!» И все же правдинская лесть подлила масла в огонь негодования против судьбы, закрывавшей ему пути к сцене. Как мог прямодушный и бескорыстный Николай Борисович предполагать в ту пору, что через несколько лет, когда он порвет с «уделами» и станет «у их дел», все эти друзья-актеры повернут ему спину. (Все, за исключением Александра Ивановича Южина, который раньше не льстил, а потом не отвернулся.)

Но возвращаюсь к весне 1907 года. Переезжая в Большой дом, мама плакала и говорила, что это переселение далось ей большой ценой, что она не ждет для себя ничего хорошего на новом месте. Одна я была довольна: во-первых, я не чувствовала никакого влечения к «домикам с геранью», а во-вторых, ежедневно бывая у Вельяминовых, уже привыкла к Удельному дому, любила красоту его фасада, доминирующего над всем Пречистенским бульваром, его закоулки, лесенки, антресоли. У Вельяминовых, живших большой семьей, квартира была переполнена вещами; наша же мебель, очутившись в обширном помещении, показалась мне странно уменьшившейся в размерах. Мамин кабинетный рояль, например, затерялся в углу центральной залы. В некоторых комнатах оставалась казенная обстановка. Так, в гостиной, примыкавшей к зале, стояла штофная мебель цвета терракота, пол был затянут ковром такого же цвета; во всех парадных комнатах висели бронзовые люстры.

Я очень любила главную лестницу, место наших с Димой игр; внизу, как я уже описывала, два египтянина подпирали головой входную арку; во втором этаже лестница расходилась на две стороны и с площадки открывался вид на просторные дворы, на одном из которых работала электрическая станция, снабжавшая током удельные здания. Справа возвышался золотой купол храма Христа Спасителя, а еще ближе стояла небольшая церковь Ржевской Божьей Матери, позади которой прятался проход в Большой Знаменский переулок.

Мои апартаменты находились в двух этажах: небольшая спальня с квадратными окнами находилась наверху и к ней вела винтовая лестница; классная занимала самую уютную, угловую комнату бельэтажа, окна которой выходили на террасу, заколоченную досками и покрытую снегом зимой, но оживавшую весной, во время цветения сирени и подготовки к экзаменам. Каменные ступеньки вели в небольшой, но тенистый сад, отделенный от Пречистенского бульвара глухой стеной, но с балкона было видно все, что делается на улице до самой Арбатской площади. Готовясь к экзаменам, я там часто сидела и, как владетельная дама, с высоты стены посылала приветствия и пожелания экзаменационных успехов стоявшим внизу поливановцам. Один из них, Владимир Долгоруков, даже говорил своему товарищу Вовке Матвееву: «Люди ходят перед экзаменами к Иверской, а ты — к Сиверской».

В предыдущей главе я упоминала, что у Николая Борисовича, кроме главной страсти к театру, была вторая страсть — к охоте; основной же чертой его характера было желать того, чего в данный момент у него не было. Так, летом он тосковал о театре, а зимой — о лесах, болотах, диких утках и тетеревах. Удельной службы он не любил, но к своим обязанностям относился чрезвычайно добросовестно и во время ревизии неутомимо обследовал удельные лесные угодья на таратайке и пешком, имея при себе ружье на случай, если из кустов вылетит рябчик или вальдшнеп.

Охотничьи интересы связывали его с тремя управляющими удельными имениями — Николаем Александровичем Прохоровым, Кондратием Соколовским и графом Николаем Алексеевичем Толстым.

Старший из них своей длинной, тощей фигурой напоминал Дон Кихота, был молчалив и ничем не замечателен. Зато Соколовский обладал талантом художника-карикатуриста, и в один из годов «реакции» создал интересное графическое произведение «Похороны Земского дела Московской губернии».

История этой карикатуры такова: по своей должности дядя Коля должен был принимать участие в земских

собраниях (как представитель самого крупного землевладельца Московской губернии — Удельного ведомства). Вместо себя он иногда посылал на заседания Соколовского, который, не теряя даром времени, делал зарисовки и собрал целую галерею силуэтов земских деятелей. Эти отдельные наброски он потом объединил в интересную композицию, экземпляр которой я бережно хранила до 1937 года. Теперь, не имея рисунка перед глазами, я вряд ли смогу по памяти назвать всех изображенных на нем лиц. Вот что я помню: траурные дроги везут гроб с надписью «Земское дело Московской губернии», а персонажи вокруг колесницы делятся на «угробляющих» и «оплакивающих» («правые» и «левые»). Первые предшествуют гробу. Это: факельщик Бартенев, конный жандарм князь Черкасский и хор певчих, впереди которого во фраке с развевающимися фалдами на цыпочках порхает регент Петр Александрович Базилевский. С камертоном в руках он внимательно вслушивается, кто, где и как поет. Певчие изображены в кафтанах Синодального хора. Среди них высокий силуэт молодого Петра Владимировича Глебова, горбоносый профиль Павла Александровича Тучкова, приземистая фигура Ломакина, завитки длинных усов барона Черкасова. Позади катафалка идут «оплакивающие»: Павел Долгоруков, Головин, Шипов, Челноков, Мартынов, Грузинов и за ними толпа крестьян.

Граф Толстой выдающимися способностями не обладал, но не нравиться не мог. Его открытое лицо, облагороженно-монгольского типа, было очень привлекательно. Толстой вырос в степном Борисоглебском уезде Тамбовской губернии, немного занимался хозяйством, много охотился, рано женился, был плохим мужем и хорошим сыном. Материальные дела его были далеко не блестящие. Имение Бурнак, где жила старая графиня с младшим сыном Никитою, заложили, пришлось поступить на службу. В 1905 году Николая Толстого назначили управляющим Быковским удельным имением, и он стал бывать на Пречистенском бульваре. С женой в то время он разошелся, и случайная встреча у нас в доме с Татьяной Константиновной Котляревской изменила ход жизни обоих.

Тут в мое повествование входит новое лицо, заслуживающее обстоятельного описания: в кругах дворянско-цыганской богемы послереформенной Москвы большой известностью пользовался Константин Степанович Шиловский, человек очень талантливый и столь же беспутный. Под конец жизни он сделался актером и под фамилией Лашивского играл сначала у Корша, а потом (в 1888—1893 годах) в Малом театре.

Женат он был на светлейшей княжне Имеретинской и имел трех детей (Тюлю, Сашку и Вовку), но бросил семью, увлекшись некоей Марией Порфирьевной Савельской (урожденной Веретенниковой), на которой и женился, предварительно посвятив ей модный в 80-х годах романс «Тигренок». Трудно себе представить женщину более некрасивую лицом, чем Мария Порфирьевна, но она была хорошо сложена, и ей одной известные чары сделали так, что после Шиловского она вышла замуж за Дмитрия Константиновича Сементовского-Курилло, а затем, после смерти последнего, в 1911 году похитила у той же Марии Константиновны Шиловской ее второго мужа Остроградского, за которого вышла замуж четвертым браком. (О моей встрече с Марией Порфирьевной в Висбадене в 1924 году и ее трагической смерти я буду говорить в свое время.)

Дочь Константина Степановича Шиловского Татьяна Константиновна (Тюля), живя с матерью в Петербурге, училась в одном пансионе с маминой двоюродной сестрой Натой Штер — оттуда давнишнее ее знакомство с нашей семьей. Лет двадцати она вышла замуж за лейб-гусара Петра Михайловича Котляревского.

Трудно представить себе людей более разных, чем эти супруги: Татьяна Константиновна, высокая, грузная, спокойная и даже медлительная, с изумительными по красоте и выразительности глазами, темным пушком на верхней губе и прелестной улыбкой, не была красивой в полном смысле этого слова, но ей сопутствовало какое-то своеобразное очарование. Когда же она брала в руки гитару (а без гитары я ее себе не представляю), тут уж было «все отдай, да мало!».

Пепа Котляревский внешне напоминал игрушечного гусара. Он был невелик ростом, складен фигурой и лицом, не очень умен, очень богат и еще более тщеславен.

Из-за своего фанфаронства он умудрился в несколько лет спустить все состояние на устраиваемые с большой пышностью приемы для офицеров гусарского полка с великим князем Николаем Николаевичем во главе. У Котляревского все должно было быть лучше, чем у других, а это стоило больших денег. Не довольствуясь обедами и вечерами в Петербурге, он от времени до времени заказывал экстренный поезд и вез всех гостей на пикник в свое имение в Полтавской губернии. Туда же одновременно ехал и хор цыган. Но никто, по мнению знатоков, не мог соперничать в цыганском пении с хозяйкой дома, которая унаследовала от отца необычайную музыкальность и вкладывала в каждый романс что-то свое, поэтическое и облагораживающее.

Особого единения между супругами Котляревскими, кажется, никогда не было, а как только по причине нехватки денег кончился вечный праздник, отношения дали трещину. Как раз в это время Татьяна Константиновна встретила у нас Николая Толстого, а Котляревский, со своей стороны, сильно увлекся венгеркой по имени Эрмина. (Я это знаю потому, что, рассматривая его портсигар, украшенный монограммами и эмблемами, я обнаружила среди них золотого горностая и с любопытством, свойственным подростку, постаралась узнать, что это значит: Ermine — горностай.)

По причине всего вышеизложенного Котляревские решили разойтись полюбовно, без скандала, без шума, без слез. Из остатков своего состояния Петр Михайлович купил жене небольшое именьице в Звенигородском уезде при селе Бабкино (известное по пребыванию там Чехова), и, как только закончился развод, Тюля обвенчалась с Толстым и переехала на удельную дачу в Быково. Счастье было полное. Я это подчеркиваю, опасаясь, чтобы читатель не вынес превратного заключения из приводимой ниже оценки, весьма незначительной, но все же очень характерной:

Тема для размышления: Русские мужья.

Время действия: Осень 1906 года.

Место действия: Площадь перед московским Манежем, где происходит выставка собак, на которой Тюлины

бульдоги Ванька и Оку только что получили все призы. Александра Гастоновна Шереметева и граф и графиня Толстые выходят из помещения и видят, что, вследствие неожиданного проливного дождя, вся площадь от Кремля до Воздвиженки представляет собою один бушующий поток. Извозчиков нет. На Александре Гастоновне тонкие ботинки.

Толстой (*обращаясь к ней*): — Ах! Боже мой! Как же Вы пойдете? Тюля! Снимай галоши, отдавай Александре Гастоновне!

Конец.

Чем объяснит иностранец это движение загадочной для него «славянской души»? Всякие побуждения «романтического» характера в данном случае явно отсутствуют. Что же это такое? Мой отец, при котором я недавно вспомнила эту едва не канувшую в вечность фразу, скептически улыбнулся и сказал: «Ну конечно! Жена начальника!» Зная Толстого, я отвергаю эту версию и вижу в словах то залихватское наследие Степана Разина, «всё отдам, не пожалею», то компанейское бахвальство, которое вместе с некоторыми другими чертами русского характера породило французскую пословицу: «Поскребите русского — и найдете татарина». Толстой, в сущности, мало чем рисковал: он был уверен, что мама не согласится надеть Тюлины галоши, и его широкий жест был хотя и смешон, но безобиден. Гораздо хуже поступают те выдержанные светские западноевропейские люди, которые, не будучи татарами, считают, что пренебрежительное отношение к близким, находящимся с ними в обществе, является компенсацией за улыбки и поклоны, расточаемые ими посторонним. С уверенностью могу сказать, что положение близких этих людей весьма неприятно.

Совместная жизнь Толстых длилась только полгода и закончилась катастрофой. Новый 1907 год они встречали у себя в Быкове. В гостях у них были брат Татьяны Константиновны Владимир Шиловский, [Степан Сергеевич] Перфильев, двоюродная сестра Толстого Алина Кодынец и его младший брат Никита. Засиделись поздно, хорошо выпили. Крепко уснули. Утром прислуга,

растапливая печки, неосторожно плеснула в огонь керосину. Вспыхнул пожар. Прежде всего загорелась лестница, ведущая во второй этаж. Когда хозяева и гости проснулись и поняли, в чем дело, путь вниз был отрезан. Пришлось прыгать через окна. Пораненная разбитыми стеклами, Татьяна Константиновна оказалась на снегу и видела, как ее муж и брат, спустившись таким же образом, распоряжались тушением пожара. Вдруг Толстой крикнул Шиловскому: «Вовка! У меня под кроватью сундук с казенными деньгами! Надо спасать!» Оба они бросились в горящий дом — и никогда не вернулись. Крыша обрушилась, похоронив под собою шесть человек (погибли Толстой, Шиловский, Перфильев, Алина Кодынец, лакей и горничная). Живыми остались Татьяна Константиновна и Никита Толстой, спавший в нижнем этаже.

Мы с мамой узнали о Быковском пожаре из газет, так как проводили каникулы в Петербурге. Вернувшись в Москву, мы увидели Тюлю в глубоком трауре, но сдержанной. Она никогда не выносила свои переживания на широкую публику, и многие принимали ее спокойствие за бесчувственность. Я этого не думала и не думаю.

После смерти Толстого Татьяна Константиновна поселилась в небольшой квартирке в Настасьинском переулке (близ Малой Дмитровки). Часть года она проводила в Бурнаке, иногда гостила у своей матери в Петербурге или у великого князя Николая Николаевича в Першине, но с большим удовольствием сидела у себя дома, окруженная собаками и небольшим кругом друзей, среди которых превалировал тип охотника: они свободнее чувствовали себя в поддевке, чем в английском костюме. Постоянным посетителем Настасьинского переулка был ветеринарный врач Тоболкин, который так часто лечил Тюлиных собак, что стал другом дома. В небольшой комнате, сразу из передней, жил вместе со своим приятелем Ваней Пустоваловым Никита Толстой, ставший после окончания гимназии вечным студентом. К Татьяне Константиновне часто заходили цыгане из Стрельнинского хора вспомнить с нею какой-нибудь старинный напев или спросить совета относительно того или иного аккомпанемента; на диване в столовой постоянно ночевал приехавший из провинции приятель или родственник, словом обстановка

была самая безалаберная. И среди всего этого беспорядка и порою даже убожества восседала Татьяна Константиновна, как царица Семирамида, которая всегда остается сама собой и над которой внешняя обстановка не имеет никакой власти.

Богемный стиль был ей приятен и даже необходим, как питательная среда, но я не могу представить себе, чтобы Тюля могла опуститься и позволить себе жест или интонацию, которые были бы, как говорят англичане «не совсем то, что надо». Я вернусь еще к Татьяне Константиновне, а теперь продолжаю в хронологическом порядке.

С переездом в большой Удельный дом я стала считать себя более или менее взрослой и почувствовала, что мои детские годы закончились. В маленьком удельном доме мама, уезжая с дядей Колей в театр или в гости, обычно приходила со мной прощаться, когда я уже лежала в кровати. Выдуманный мною ритуал требовал, чтобы, прежде чем перекрестить и поцеловать меня, мама вытащила из-за моей спины косу и положила ее на подушку так, чтобы коса лежала над моей головой наподобие «хвоста скорпиона». При этом я брала с мамы слово, что наутро она мне расскажет подробно все, что было в гостях.

В Большом Удельном доме прощание с ритуалом «скорпиона» прекратилось, так как я категорически отказывалась ложиться спать в 9 часов и мама уезжала до моего укладывания в постель, но привычка делиться со мной всеми впечатлениями осталась у мамы до конца, и благодаря этому я была осведомлена о таких сторонах московской жизни, о которых, по младости лет, могла бы и не знать.

Одним из самых интересных домов в Москве считался дом Николая Васильевича Давыдова. В течение долгих лет ученые, а подчас и знаменитые люди Москвы еженедельно собирались в маленьком флигельке на углу Левшинского и Денежного переулков, и каждый Давыдовский четверг был чем-нибудь примечателен. Там можно было услышать шуточные стихи Владимира Соловьева в чтении его друга Льва Михайловича Лопатина,

который замогильным голосом, поглаживая свою апостольскую бороду и поблескивая очками, изрекал:

На небесах горят паникадила,
А снизу тьма.
Ходила ль ты к нему иль не ходила,
Скажи сама!

Или можно было увидеть тетради с неизданными произведениями графа Соллогуба, например, серию рисунков «Зверинец», снабженных литературными комментариями — под изображением кенгуру, в частности, стояли слова:

Природы странную игру
Собой являет кенгуру,
У ней при полной наготе
Мешочек есть на животе.

Хозяин дома знакомил присутствующих со страницами своих воспоминаний, Сергей Львович Толстой играл на рояле, Василий Осипович Ключевский разъяснял исторические вопросы, имеющие отношение к современности, Гликерия Николаевна Федотова, тряхнув стариной, произносила какой-нибудь монолог, создавший ей славу.

Иногда устраивался небольшой спектакль. Так, еще до моего появления в Москве, у Давыдовых был поставлен стихотворный шарж Соллогуба «Честь и месть» (играли Николай Борисович, Николай Васильевич Давыдов и Александр Александрович Федотов). К моменту создания этого произведения, явившегося реакцией на всеобщее увлечение «испанщиной» (в 90-х годах), относится письмо Соллогуба, написанное Николаю Васильевичу Давыдову, бывшему в то время председателем Тульского окружного суда*. Начав письмо в самом обычном тоне, автор затем признается, что низменная проза его не удовлетворяет, и обращается к своему корреспонденту, именовавшемуся в семейном кругу Кокошей и ничего

* Давыдов дал своему другу, Льву Толстому, сюжет «Живого трупа» — действительный случай из судебной практики. — *Прим. автора.*

испанского в своем облике не имевшему, со следующим бравурным призывом:

Дон Кокон! Навесив шпаги,
Мы по тульским площадям
Станем, полные отваги,
Оскорблять прохожих дам!

Я всегда ощущаю неловкость, приводя в своих записках чужие произведения, могущие быть известными читателю и без моего непрошеного посредничества. Поэтому с особым удовольствием размещаю свои собственные стихи, имеющие отношение к одному из завсегдатаев Давыдовских четвергов — ректору Московского университета Александру Аполлоновичу Мануйлову. Обнародование этого произведения 16-летнего автора требует некоторого предисловия.

Мне кажется, я не погрешу против объективности, если скажу, что появление моей матери на «четвергах» производило весьма приятное впечатление и ученые мужи в большинстве случаев не оставались равнодушными к ее обаянию. Сергей Львович садился играть ее любимые вещи Годара, профессор хирургии Спижарный находил слова, совершенно не соответствовавшие его грубоватой наружности, но крепче других был пленен профессор Мануйлов.

Пасхальные каникулы 1908 года мы с мамой проводили в Петербурге и, случайно встретив Мануйлова на Невском, узнали, что он приехал из Москвы на сессию Государственного совета, членом которого состоял (от Университета). Александр Аполлонович поспешил пригласить маму на ближайшее заседание Государственной Думы, добавив, что ожидаются интересные дебаты по еврейскому вопросу, и на следующий день в гостиной моей тетки Валентины Гастоновны, у которой мы на этот раз остановились, появилась грузная фигура (и львиная голова) Мануйлова, заехавшего за мамой, чтобы сопровождать ее в Таврический дворец. Этого факта и последующих разговоров о думских дебатах было достаточно, чтобы в моем дневнике появились следующие строки:

*Кто эта дама с accroche-coeur'ом**
Сидит в парламенте с recteur'ом?
Заметно всем, что муж науки
С ней не испытывает скуки.
Под обаяньем светской встречи
Он не внимает бурной речи
Антисемитов, юдофилов.
Погиб профессор Мануйлов!

В конце 1913 года в давыдовском кружке возникла мысль поставить в домашней обстановке пародию на античную трагедию Венкстерна и Гиацинтова (тоже членов кружка) «Тезей». Руководить спектаклем взялся Южин. Постановка была осуществлена у нас в доме в начале января 1913 года. К описанию этого спектакля я вернусь в свое время, а теперь хочу коснуться одного лица, уже появлявшегося на страницах моих воспоминаний и также принадлежавшего к давыдовскому кружку — Софьи Михайловны Мартыновой.

В ее доме зимой 1902—1903 годов (когда я была еще в обличии Золушки) произошло мое первое соприкосновение с московским обществом. Впоследствии я стала часто бывать у Мартыновых, особенно с тех пор, как Марина и Вера поступили в Арсеньевскую гимназию, одним классом старше моего. Как я уже говорила, Софья Михайловна (как ее называли в Москве — Сафо Мартынова) принадлежала к типу *femme savante* и носила английские костюмы, гладкие прически и туфли без каблуков, много курила, прекрасно ездила верхом и культивировала тон простоты. В ее кабинете лежала зеленая суконная скатерть, испещренная автографами людей, посещавших ее салон. (Эти автографы были зафиксированы вышивкой шелком и принадлежали людям чем-то знаменитым; других Софья Михайловна к своей скатерти не допустила бы.) Эти знаменитые люди окружали С.М. по причине ее всеми признанного ума и вопреки ее некрасивому лицу монгольского типа; отношения с некоторыми из них как будто выходили за пределы «чистой дружбы». Я не совершу большой нескромности, если

---

* *Accroche-coeur*'ом называли прядь, спадающую на лоб (таковая была у моей матери). — *Прим. автора.*

скажу, что ее любимая дочь Вера была дочерью Сухотина. Об этом знала вся Москва, за исключением, может быть, самой Веры, да и то это неведение продолжалось до поры до времени.

Сыновья Сухотина от его первого брака с дочерью барона Боде (второй раз он был женат на Татьяне Львовне Толстой), часто бывали у Мартыновых, и в Москве и в Знаменском, особенно Сергей. Вера рассказывала, что их новая англичанка, слыша, как во всех концах дома раздается имя «Сережа», вообразила, что он англичанин. На вопрос, почему она так думает, она ответила: «But you call him Sir Roger!»

Вера Мартынова училась очень хорошо, но все же находила, что мальчики лучше, чем уроки. Она так пропела мне уши Сережей Сухотиным, что он оказался упомянут в моих стихах. Дело было так: я добросовестно трудилась над сочинением о финансах древних Афин, когда мне принесли записку от Веры, в которой она просила прислать ей какую-то книгу и попутно сообщала, что Сережа Сухотин куда-то уезжает и пришел проститься. Я отправила требуемую книгу и вложила в нее следующее послание:

Я отрываюсь на мгновенье
От демократии Афин;
Хочу поведать сожаленье,
Что уезжает Сухотин.
Сережу я почти не знаю,
Его видала только раз,
Но за тебя, мой друг, страдаю,
Нам всем тяжел разлуки час!

Моя записка попала в руки Сухотина, и через час я получила клочок бумаги, на котором было написано: «Браво, браво! 5+! Сергей Сухотин». (О том, как и каким я увидела этого своего корреспондента пятнадцать лет спустя, речь будет впереди.)

Узнав или догадавшись, насколько ее виды на Сухотина были *mal placés**, Вера направила свои помыслы по другому, но столь же неудачному руслу. Она не на шутку

---
* Здесь: неуместны (*франц.*).

увлеклась артистом Владимиром Васильевичем Максимовым, который, спускаясь иногда с театральных подмостков, появлялся на московских балах, оставляя неизгладимый след в сердцах девиц моего поколения. Увлечение Максимовым было какой-то эпидемией, видом «детской болезни», которой переболели все мои сверстницы в период 1908—1912 годов. Болезнь «максимизма» протекала бурно, но не таила в себе ничего опасного. Владимир Васильевич был ко всем нам мило-равнодушен. Только по отношению к Вере он вышел из этого состояния равнодушия в мало благоприятную для нее сторону.

Зимой 1908 года Софья Михайловна внезапно заболела приступом острого аппендицита. Операция была неудачной, и Софья Михайловна умерла 23 декабря 1908 года. Смерть эта поразила всех, но положение Веры было особенно трагично: в семье ее не любили, а теперь она уже не могла опираться на предпочтение перед другими детьми, оказываемое ей матерью, предпочтение, которым она не совсем благородно пользовалась. Находясь в смятении чувств, Вера сделала опрометчивый шаг: она написала Максимову, которого видела три или четыре раза в жизни, отчаянное письмо со словами вроде: «Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает!» Письмо это встретило холодный прием. Ответа не последовало, но, приехав на Пречистенский бульвар, он с возмущением говорил о Вере, способной писать любовные письма у гроба матери. (Сам он был примерным сыном.) К Максимову я еще вернусь, а теперь расскажу о человеке, очень милом моему сердцу — о Марине Шереметевой.

Вопреки требованиям хронологической последовательности, я хочу рассечь будущее на двадцать лет вперед и довести историю Марины до конца, иначе рассказ мой, пойдя по другому руслу, может ее больше не коснуться. Повторяю те сведения о Марине, которые я дала в главе, относящейся к 1902 году: в доме Мартыновых воспитывалась опекаемая Виктором Николаевичем богатая наследница Марина Шереметева (очень дальняя родственница московских Шереметевых). Мать ее, сестра генерала Скобелева, умерла сравнительно молодой. Смерть этой красивой (судя по портретам) женщины была окутана

романтической тайной, завесу которой я едва не приоткрыла, встретив в совершенно необычайной обстановке старушку-крестьянку из села Юрина на Волге, много лет служившую в доме Шереметевых. В качестве сестры я пришла к умирающей больной (это было в лагере, на реке Вычегде) и, разговорившись, поняла, что имею дело с няней Марины. Последние дни эта старушка не отпускала меня от себя, желая напоследок наговориться о своих господах, но в чем была драма Марининой матери, я толком так и не поняла.

После смерти родителей дети Шереметевых (три дочери и сын) оказались обладателями обширных лесных угодий в Нижегородской губернии. Старших сестер я не знала, брата видела один раз студентом (он умер молодым), Марину же очень любила. К шестнадцати годам Марина несоразмерно выросла, но округлое лицо ее с прекрасными светло-карими глазами и немного вздернутым носом сохранило свое детское и немного даже кукольное выражение. Разговаривая, она широко раскрывала глаза и почти не шевелила губами, и говор у нее был очень своеобразный — она сильно, «по-аристократически», картавила, и это не вязалось с ее внешностью русской матрешки.

В описываемое мною время избыток физических сил и наплыв самых разнообразных чувств, переливаясь через край, делали Марину способной на самые эксцентрические поступки и суждения. Она любила ошеломлять публику, но всегда была бескорыстна и чистосердечна. Так как семья Мартыновых била на демократическую простоту, девочек одевали очень скромно. Марина от этого не страдала и весело отмеряла сажеными шагами расстояние, отделявшее Николо-Песковский переулок от Арсеньевской гимназии, одетая в какую-то неуклюжую куртку, сшитую домашней портнихой, с книжками, засунутыми за пояс, и в кепке, надвинутой на гладко зачесанные волосы.

Весною 1907 года я гостила у Мартыновых в Знаменском (Клинский уезд). Днем жизнь вращалась вокруг теннисной площадки: все дети Мартыновых были спортивными, а Георгий и Надя считались чемпионами Москвы по теннису и постоянно тренировались. Ночью же,

когда все расходились по своим комнатам и в доме все затихало, Марина босиком и в длинной ночной рубашке являлась ко мне, садилась на кровать, и начиналась бесконечная беседа. Марина выкладывала все свои секреты, говорила, что не любит Веру за хитрость, с уважением относится к Наде и безнадежно влюблена в Георгия. Свои страдания она пыталась излить в стихах, которые начинались словами: «Все кончилось, когда не начиналось, ты не любил, любила я одна...» Потом шли сумбурные планы на будущее: прижав к груди свои красивые руки, Марина говорила: «Танька, пойми, я люблю тебя как сестру и тебе одной скажу, что чувствую в себе такие силы, такие силы! Мне надо их куда-то девать, я могу или уехать в Париж и начать вести такую жизнь, как Нана, или раздать всё и уйти в революцию». Испуганная «Танька» начинала доказывать, что не надо делать ни того ни другого, и это продолжалось до тех пор, пока замерзшая в одной рубашке Марина не возвращалась восвояси.

Весной 1908 года княгиня Белосельская (сестра Марининой матери), вспомнив, что у нее есть племянница, которая зря пропадает в Москве, а также, может быть, учтя, что пребывание в доме родственницы, состояние которой исчисляется в миллион, не лишено известных выгод, решила затребовать Марину в Петербург, чтобы представить ее ко двору и создать ей положение, более соответствующее ее богатству и родственным связям. Марина уехала, и, когда меньше чем через год появилась в Москве на похоронах Софьи Михайловны Мартыновой, я ее не узнала — это была одетая по последней парижской моде и увешанная драгоценностями дама. Встреча наша была мимолетной и незначительной.

Через два-три года я услышала, что Марина вышла замуж за молодого красивого офицера гусарского полка Михаила Петровича Кауфман-Туркестанского. Их портрет появился в журнале «Столица и усадьба» под заголовком «Великосветская свадьба», а еще пару лет спустя в том же журнале я увидела сына Марины — Петушка. В 1914 году разразилась война, и Михаил Кауфман был убит в ту роковую для российской гвардии осень 1914 года. Ходили слухи, что, провожая мужа, Марина купила ему

за 15 тысяч только что изобретенный в Англии непроницаемый для пуль панцирь. Что собою представляла эта вещь, я знаю неточно; обладание панцирем держалось в тайне, так как считалось несовместным с офицерской доблестью; но я слышала, что такие кольчуги стоили очень дорого, были эластичны и надевались под мундир. Не ручаюсь за достоверность, но привожу слышанные мною предположения, что этот панцирь и явился причиной смерти Кауфмана, который был верхом на лошади. Пуля, ударившись в плечо, не пробила панцирной ткани, соскользнула вниз и причинила смертельное ранение живота.

Отчаянию Марины не было границ. Она предавалась ему со свойственной ей эксцентричностью, срезала косы, положила их в гроб и уехала сначала на фронт сестрой, а потом, через нейтральные страны, за границу.

В продолжение долгих лет я ничего о Марине не слышала, только почему-то часто видела ее во сне, особенно когда жила в Козельске (1919—1921 годы).

Летом 1925 года мы с Димой приехали в Ниццу, и в первый же день мама мне с восторгом сказала: «Ты знаешь, кто тебя здесь с нетерпением ждет? Марина, которая теперь замужем за Гагариным и, по-видимому, очень счастлива. Продав свои бриллианты, она купила небольшой участок земли около Грасса (в 40 км от Ниццы) и ведет там жизнь простой фермерши: разводит птицу и сажает цветы, которые потом сдает на парфюмерную фабрику. Марина стала копией Наташи Ростовой из эпилога "Войны и мира". Теперь снова ожидает ребенка. Впрочем, сама скоро увидишь!»

Через несколько дней к нашему дому, дребезжа, подъехал небольшой грузовой автомобиль (камьонетка), и из кабины вышла Марина, ничуть не похожая на Марину из «Столицы и усадьбы». Это была Марина московского периода, без всякой претензии на шик, одетая в широкий макинтош, имеющий целью скрыть беременность. Когда мы обнялись и я услышала ее милый голос: «Танька! Если бы ты знала, как я тебя ждала» — меня охватила большая радость. Года 1906 и 1926 сомкнулись, и разделяющие их двадцать лет выпали, точно их никогда и не было.

Марина сняла свой головной убор, сильно напоминавший кепку гимназических лет, пригладила рукой остриженные, торчащие во все стороны волосы и сказала: «Ну, вот видишь, на что я стала похожа!» Я почувствовала, что она это говорит для проформы, а в душе ничуть не тяготится своим не элегантным видом, что элегантность ей не нужна, так как она обрела нечто большее, тот «неразменный рубль», который ее вполне удовлетворяет. Желание иметь детей, как можно больше и любой ценой, сквозило во всех ее словах. «Вот доктора утверждают, что для меня это страшный риск, — говорила Марина, — напоминают, что каждый уже имеющийся ребенок едва не стоил мне жизни. Это правда, но я их не слушаю! Они не понимают, сколько радости доставляют такие пупсы!» И она с улыбкой поглядела на приехавшего с нею шестилетнего мальчика, своего единственного сына от Гагарина (другие дети умерли).

Из того, как часто и с какой интонацией она произносила слово «Одик» (имя мужа), я поняла, что вижу редкое явление — счастливую женщину. Установив этот факт, мы перешли к воспоминаниям. В связи с извлеченной мною из недр моей памяти фразой: «Все кончилось, когда не начиналось!» — Марина сообщила мне, что Георгий Мартынов умер от разрыва сердца на теннисной площадке в Париже (он работал платным инструктором по спорту). Вера умерла в Константинополе, но не от туберкулеза, от которого ее лечили всю жизнь, а от небольшого фурункула на верхней губе.

Расстались мы с Мариной, условившись, что в следующее воскресенье я доеду поездом до станции Кань-сюр-Мер, где она будет меня ждать со своей камьонеткой. Мы решили провести два-три дня вместе и досказать друг другу все, что не успели за первое свидание. Усаживаясь в грузовик, Марина говорила: «Как раз в воскресенье будет дома Петушок, который учится в лицее в Антибах, и ты его увидишь. Должна тебе сказать, что здешний пошлый тон на нем немного отразился. На днях я слышала, как он говорил про какого-то товарища: “Il a de la galette*”, причем можно было понять, что эта *galette* ему импонирует. Что бы сказала на это тетя Соня Мартынова!»

---

* «Он — галета». (*Galette* — на французском жаргоне — деньги.)

В следующее воскресенье лил дождь как из ведра, а у меня была повышенная температура. Мама воспротивилась моей поездке. Я металась в нерешительности, не имея возможности предупредить Марину, и в конце концов совершила непоправимый поступок — не поехала. Через день или два Марину срочно доставили в хирургическую лечебницу профессора Алексинского, находившуюся на авеню Гамбетта через несколько домов от нас. Я бросилась туда. Марина встретила меня ласковым укором: «Ах, Танька, я пять поездов пропустила, ожидая тебя на станции, вся промокла, а ты не приехала!» Я провела с ней в палате часа два. Она ходила по комнате, потом ложилась. Видимо, были какие-то тревожные симптомы, заставившие врачей насторожиться. На следующее утро пришла весть, что на рассвете Марина умерла от того неудержимого кровотечения, которого доктора так опасались. Ребенок тоже погиб. Похоронили Марину в Ницце на кладбище Cocagne. Стоя у ее могилы, я смотрела сквозь слезы на расстилавшееся внизу Средиземное море, такое прекрасное и такое чужое, и думала: судьба привела меня из глубины почти недосягаемой для Запада России для того, чтобы я могла проститься с Мариной, а я этим не сумела воспользоваться в полной мере. Теперь это исправить уже невозможно — пришла смерть, человеческие усилия стали бесполезными, счеты закончились, но осталось самое неизменное, самое таинственное, что есть в человеке, — воспоминание.

Когда я слышу, что в XIX веке Малый театр был филиалом Московского университета, я с улыбкой думаю, что в начале XX века он был также филиалом Арсеньевской гимназии. Председатель педагогического совета Лев Михайлович Лопатин раз навсегда разрешил мне пропускать уроки в те дни, когда я шла на генеральную репетицию той или иной новой постановки Малого театра. Эти генеральные репетиции начинались в 12 часов дня. Сам Лев Михайлович и Николай Васильевич Давыдов, как члены репертуарного совета, сидели в 1-й ложе бенуара справа. Напротив них обычно сидела Мария Николаевна Ермолова с дочерью и Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник. Партер, где находились мама, Николай Борисович и я,

в качестве «друзей Малого театра», был заполнен актерами, не занятыми в пьесе. Почти все присутствующие были знакомы между собою и вслух делились мнениями о пьесе и постановке.

В первый раз я попала на закрытый спектакль весною 1906 года, когда в труппу поступали Пашенная, Найденова и Максимов. Это было нечто вроде экзамена. Пашенная только что окончила театральное училище по классу Федотова, а Максимова принимали без школы, «со стороны». Найденова (не очень удачно) играла 1-й акт из «Норы» Ибсена; Пашенная выступала в одной из комедий Шекспира (не помню, какой). Максимов, который любил браться за совершенно не подходящие к нему роли и считал свой артистический диапазон гораздо более широким, чем он был на самом деле, для своего дебюта выбрал роль аскета-проповедника в пьесе «Коринфское чудо». В рубище, с всклокоченными волосами, он воздевал руки к небу, призывая проклятия на нечестивцев, и, конечно, провалился. Заведующий труппой, Александр Павлович Ленский, принял его, но в дальнейшем не выпускал за пределы ролей светских молодых людей или второстепенных персонажей шекспировских пьес, для которых нужна стройная фигура и красивый голос.

Моему знакомству с Художественным театром, который у дяди Коли был не в чести, способствовало следующее обстоятельство: в начале 1907 года градоначальник Рейнбот приехал на Пречистенский бульвар с визитом со своей новой женой — он только что вступил в брак с известной всей Москве вдовой Саввы Морозова — Зинаидой Григорьевной. Это была женщина бальзаковского возраста, прекрасно одевавшаяся и умевшая быть приятной, когда хотела; при этом она была всегда довольно бесцеремонна, говорила нараспев с оттенком беззаботности и с места в карьер пожаловалась маме на заботившее ее обстоятельство: «Рейнботовские дети»* заболели скарлатиной, в доме карантин, и ее детям, Морозовым, пришлось переехать на фабрику в Орехово-Зуево. Сын Тимофей из-за этого принужден пропускать лекции

---

* У генерала Рейнбота было два сына от первого брака — Анатолий и Георгий. Анатолий потом учился в лицее вместе с Шуриком. — *Прим. автора.*

в университете, а дочь Маша — уроки у балерины Гельцер и скульптора Андреева. Увидев, что в Удельном доме много места, Зинаида Григорьевна попросила у мамы разрешения для Тимоши и Маши ночевать у нас в те дни, когда они приезжают в Москву, на что последовало согласие.

Тимофей Морозов был худощавым юношей со скуластым простоватым лицом, бесцветными глазами, гладко зачесанными назад волосами и несомненными странностями в обращении; ходил он в потертой студенческой тужурке и обтрепанных брюках. На Пречистенском бульваре он всегда появлялся с черного хода и на вопрос, почему он так делает, неизменно отвечал, застенчиво улыбаясь и глядя куда-то в сторону: «Да уж я лучше по простенькому!» Учился он на математическом факультете и приятелей имел самых скромных. По воскресеньям Тимоша ходил к бабушке Марии Федоровне Морозовой в Трехсвятительский переулок, надевал подрясник и читал Апостола по старообрядческому чину в ее молельне.

Маша Морозова бралась за все виды искусства: она лепила, танцевала, играла на арфе и всем занималась поверхностно. Если приход в дом Тимофея был тих и незаметен, то с появлением Маши стены начинали содрогаться от ее громкого смеха и возгласов. Говорила она преимущественно о самой себе и фраза «не правда ли я мила?» вошла у нее в поговорку. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы Маша была напыщенна и самоуверенна — этого в ней не было; ее ужимки и прыжки объяснялись повышенной нервностью.

Младшие Морозовы, Саввичи — Люлюта и Саввушка, — на Пречистенском не бывали. Они в ту пору напоминали буддийских божков и страдали явным нарушением обмена веществ.

Дом Зинаиды Григорьевны на Спиридоновке считался одним из самых красивых новых домов в Москве. Стоял он в саду, и архитектор, строивший его, несомненно, копировал мотивы парижского Нотр-Дам. Но это указывали прямоугольные башни, стрельчатые окна и небольшие химеры у водосточных труб. Внутри имелась красивая дубовая лестница с бронзовой группой кружащихся в хороводе женщин, выполненной по рисунку

Врубеля, но жизнь в этом доме, несмотря на его внешнее великолепие, шла самая безалаберная. По анфиладам комнат, как гость и подчеркивая свою отчужденность от всего морозовского, проходил статный, моложавый генерал Рейнбот, уже озабоченный надвигающимся следствием сенатской комиссии в связи с обнаруженной у него растратой. (Его имя связывали с именем опереточной примадонны Легар, которая даже фигурировала на процессе.)

Когда началась война 1914 года, некоторые из носивших немецкие фамилии людей пожелали переменить их на русские. Рейнбот подал на Высочайшее имя прошение о присвоении ему фамилии матери, Резвой. Ходатайство было удовлетворено. В связи с этим ходила история о том, что начальник Санитарной части империи принц Александр Петрович Ольденбургский, при котором состоял Рейнбот, в минуту свойственной ему запальчивости кричал: «Подайте мне сюда этого урожденного Рейнбота!»

Зинаида Григорьевна, осложнившая свою жизнь нелепым браком, не забывала о своем здоровье и заботилась о сохранении уходящей молодости. Дети, обожавшие мать, были в конце концов предоставлены самим себе; хозяйственными делами ведал преданный семье черкес Николай, на руках которого умер Савва Тимофеевич. Года за два до войны Зинаида Григорьевна продала дом на Спиридоновке Рябушинскому и купила олсуфьевское имение Горки, ставшее потом известным благодаря пребыванию там В.И.Ленина.

Два раза я бывала в Горках, но главным преимуществом знакомства с Морозовыми оказалось то, что через них для меня открылись двери в Художественный театр. В благодарность за пожертвованный Саввой Тимофеевичем театру миллион рублей, его семье была предоставлена бесплатная литерная ложа с левой стороны от сцены. Надо было до 12 часов дня предупредить кассу от имени Морозовых, что ложа будет занята, и она уже не шла в продажу. Зинаида Григорьевна часто отдавала ложу в наше распоряжение, и мне удалось увидеть многие спектакли этого замечательного театра.

Тридцатого сентября 1908 года Москва впервые смотрела в постановке Станиславского «Синюю птицу» Метерлинка — зрелище поистине великолепное. Критика считала

скучноватой постановку ибсеновского «Росмерсгольма» (все действие состояло в долгих разговорах на одном и том же диване) и ругала исполнение Самозванца Москвиным в «Борисе Годунове». Этим исчерпывались неудачи: все остальное было так хорошо, что дядя Коля не переступал порога Художественного театра, чтобы не быть принужденным признать его превосходство и этим изменить традициям Малого театра.

В своей ортодоксальности Николай Борисович был «plus royaliste que le roi»*. Руководители Малого театра — Ленский, а потом Южин — восприняли многое из новаторств Художественного театра: стали более требовательны к вопросам мизансцены, начали включать в репертуар пьесы новых авторов и приглашать в труппу талантливых актеров со стороны. Большой удачей Малого театра на этом пути была сложнейшая постановка «Цезаря и Клеопатры» Бернарда Шоу с Бравичем и Гзовской в заглавных ролях. Как известно, Клеопатра изображена в этой пьесе пятнадцатилетней девочкой, своевольной и трусливой, хищной и вкрадчивой, преисполненной мистических суеверий Древнего Египта, а Цезарь — стоящим на вершине своей славы старым полководцем. Сцена первой встречи этих двух лиц в ночной пустыне, когда Клеопатра, убежавшая из дворца, спит, свернувшись клубочком между лапами громадного, озаренного луной сфинкса, потом просыпается и видит перед собой незнакомца в римской тоге с лавровым венком на голове (Цезарь, осадив войсками Александрию, вышел из лагеря в тишину ночи и набрел на Клеопатру), — была великолепна.

Вскоре после этой постановки Бравич умер, а Гзовская перешла в Художественный театр, где играла и Офелию в крегеровской постановке «Гамлета», и хозяйку гостиницы Гольдони, и Катерину Ивановну в «Братьях Карамазовых»; все три роли — прекрасно. Об уходе из Малого театра этой артистки Николай Борисович не сожалел, так как без всяких на то оснований считал ее конкуренткой своей любимицы Елизаветы Ивановны Найденовой и подозревал в интригах, особенно после того, как Гзовская вышла замуж за Владимира Александровича

---

* «Больший роялист, чем король» (*франц.*).

Нелидова, чиновника особых поручений при директоре Императорских театров Теляковском. Нелидов был сыном бывшего посла в Париже и типичным петербургским чиновником, что для Николая Борисовича являлось одиозным фактом.

Вполне возможно, что Гзовскую отличали честолюбие и даже хитрость, но считать ее соперницей Найденовой было смешно. Удельный вес этих актрис был слишком разный. Найденова могла быть хороша в пьесах Островского, но ни общей культурой, ни техникой Гзовской она не обладала и оставалась рядом с ней безнадежно провинциальной.

Кометой из другого мира промелькнула в Малом театре Екатерина Николаевна Рощина-Инсарова (дочь известного провинциального актера Рощина-Инсарова и сестра Веры Пашенной). Проиграв один сезон, она перешла в качестве примадонны к Незлобину. Вот ее уж никак нельзя было назвать «провинциальной». По технике и по внешности она являлась актрисой французского типа. Небольшого роста, худая до пределов возможного и как бы «невесомая», она обладала необычайно сильным, порой даже истерическим темпераментом, прекрасным голосом и большой выразительностью лица и жеста.

Все упомянутые мною актеры (за исключением Гзовской) и многие другие (среди них и самые знаменитые) бывали на Пречистенском бульваре — некоторые часто и запросто, а другие раз в год, 5 декабря, когда праздновался канун именин Николая Борисовича и за ужином пела Татьяна Константиновна Толстая с «капеллой», состоявшей из представителей семейства Шереметевых и Обуховых. Главным гитаристом капеллы был Павел Сергеевич Архипов, тихий человек с грустными глазами, молчаливо влюбленный в Надю Обухову.

Празднование именин назначалось не 6 декабря, в Николин день, а накануне, потому что в этот вечер, по случаю торжественной Всенощной, спектаклей в Императорских театрах не полагалось и все актеры оказывались свободны. Съезжаться начинали в 11 часов вечера, когда в зале уже стояли столы с холодным ужином. Расходились гости не раньше рассвета. Попасть на этот вечер было нелегко, так как Николай Борисович сам составлял

списки приглашенных. Им охотно допускались все деятели театра и посетители Давыдовских четвергов. Мне обычно удавалось протащить несколько человек своих сверстников, но маминых «светских» знакомых дядя Коля подвергал строгому отбору, что иногда порождало обиды.

С половины ужина начинали раздаваться звуки гитарных аккордов, Татьяна Константиновна отставляла в сторону рюмку с «кроновской» (ссылку давать или бог с ним?) мадерой (единственное вино, которое она пила), сама брала в руки гитару и запевала «Снова слышу голос твой, слышу и бледнею». По правую руку от нее обычно садился Александр Трофимович Обухов и с большой музыкальностью вторил ей своим высоким, несколько сдавленным тенором.

Татьяна Константиновна пела много и не заставляла себя просить. Лишь изредка она просила дать ей передышку, и тогда выступали «канарейки» — так звал Александр Трофимович своих племянниц Надю и Аню. Они пели дуэтом неаполитанские песни и романсы сочинения их дядюшки, из которых наибольшим успехом пользовалась «Калитка». Надя Обухова в ту пору училась в Консерватории по классу профессора Мазетти. Доказывать, что у нее был чудесный меццо-сопрано, — это ломиться в открытые двери. Теперь об этом знает вся страна и — благодаря радио — весь мир. Я же, когда слышу ее пение (тоже, к сожалению, лишь по радио), «слышу и бледнею» от наплыва воспоминаний.

Пока пела Татьяна Константиновна, я наблюдала, как все присутствующие поддавались постепенно очарованию ее исполнения и как это выражалось на их лицах. Лопатин одобрительно качал головой, поглаживал бороду, Ключевский в восторге закрывал глаза, а Иван Михайлович Москвин, подперев по-бабьи свою широкую щеку, повторял: «Да! Вот это настоящее!» В конце ужина, когда бывали пропеты величания имениннику, хозяйке дома и знатным гостям вроде Ермоловой, все просили сплясать Алексея Викторовича Ладыженского: помню его узкое, смуглое, породистое лицо охотника и лошадника, он ходил всегда в поддевке и с серебряной серьгой в ухе. Ладыженский был близким другом Татьяны Константиновны, друзья звали его «заяц», и ни один цыган не мог

соперничать с ним в цыганской пляске. Благодаря исключительному чувству ритма и четкости движений он на пространстве в два-три метра добивался огромного эффекта, и его выступление всегда вызывало овацию.

Вспоминая вечера на Пречистенском бульваре и сравнивая их с «пиршествами» последующих времен, я удивлялась, насколько чинно и благопристойно люди тогда умели веселиться. Публика была самая разнообразная, вино текло рекой (особенно шереметевский «Карданах»), и все же самым шокирующим инцидентом, о котором с ужасом вспоминали долгое время, оказалось то, что суфлер Зайцев, в ответ на просьбу актера Васенина передать ему сыр, отрезал кусок сыра, положил себе на ладонь, подбросил в воздухе и только потом передал приятелю. Теперь мне кажется, что это преступление против хорошего тона было совсем безобидным.

Помню, как однажды часов в 6 утра Татьяна Константиновна решила наконец ехать домой, а Борис Борисович Шереметев, находя, что расходиться еще рано, встал во весь свой саженый рост, сделал повелительный жест рукой и тоном, не допускающим возражений, произнес: «Tulon! chantez!» Тюля со смехом подчинилась и пела еще час.

Из всех гостей, бывавших на Пречистенском бульваре в канун Николина дня, меня особенно радовал своим появлением дядя Никс Чебышёв. Он мне был мил, как университетский товарищ отца и как человек, с которым у меня были связаны детские воспоминания (неодолимую тягу к прошлому я ощущала с ранних лет).

С тех пор, как я в последний раз видела дядю Никса на похоронах дедушки Сиверса в 1902 году, прошло много лет. После службы в Смоленске он в 1908 году был назначен товарищем прокурора в Москву и пришел повидать меня. Я сидела на ступеньках террасы и усердно готовилась к экзамену по истории. Дядя Никс был поражен, когда «маленькая Танюша» (которая успела вырасти) с места в карьер сообщила ему, что жирондисты были за местное самоуправление, а монтаньяры — за централизованное. Этими умными словами я завоевала его дружбу. Мою дружбу и восхищение он завоевал, когда на следующий день, проходя со мной по Борисоглебскому переулку,

указал на дом, в котором поселился со своим приятелем Иваном Леонтьевичем Томашевским, и сказал: «А вот здесь находится хижина дяди Тома-Шевского!»

Дядя Никс, как мне теперь кажется, был очень умен, но никогда не говорил заведомо умных вещей и был склонен к шутке, подчас злой. Внешне Чебышёв был некрасив лицом (заметно косил на один глаз), но высок, широкоплеч и, по моим наблюдениям, имел успех у женщин (после развода с тетей Лилей он уже больше не женился). В юридическом мире дядя Никс считался блестящим оратором с явно либеральным уклоном. Его обвинительные речи были изданы отдельной брошюрой. Среди них выделялась речь по обвинению убийцыВаймана (дело слушалось в Московском окружном суде) и позднее выступление на процессе представителя кутящей купеческой молодежи Прасолова, застрелившего в ресторане Стрельны свою жену. Имя Николая Николаевича еще встретится на страницах моих воспоминаний, а пока я с ним расстаюсь и перехожу к другим сторонам моей жизни в гимназические годы, позволяя себе предварительно небольшой экскурс в область социологии (в порядке дискуссии!).

Когда я слышу, что Россия пережила, наподобие западноевропейских стран, период «господства буржуазии», это мне кажется малоубедительным. Во всяком случае, этот период был очень кратковременным. Известные мне три поколения торгово-промышленного класса — смекалистые стяжатели, их дети, уже ничего не приобретающие, и их внуки с явными признаками вырождения — никак не могут быть поставлены в один ряд с организованным и вполне осознавшим себя классом западноевропейской буржуазии, которая, как у Голсуорси или Пруста, настойчиво атакует самые неприступные цитадели аристократии и постепенно проникает в них.

Период существования русского торгово-промышленного класса был слишком коротким, чтобы процесс слияния буржуазии с дворянством мог совершиться в сколько-нибудь значительных размерах, и, несмотря на то, что русская аристократия была далеко не так неприступна, как, скажем, английская, и что в послереформенные годы

многие представители дворянства сами брались за промышленные дела, расстояние между этими классами в культурном отношении оставалось значительным вплоть до начала XX века, когда между дворянством, купечеством и буржуазией (вернее ее столичными кругами) перебросился золотой мост — блистательно расцветшее в то время русское искусство. Выставки «Союза русских художников» и «Мира искусств», московские симфонические концерты, Художественный театр, Балиевская «Летучая мышь», Рахманинов, Скрябин, Шаляпин, русский балет, Александр Блок, Гумилев — вот что наметило пути объединения двух классов, создало общность интересов. Одни зрители являлись ценителями по существу, другие восхищались потому, что это модно, но никто не оставался равнодушным к этим поистине чудесным явлениям русской жизни. Совершенно различные люди находили общий язык, когда речь шла о портретах Серова или тургеневских пьесах на сцене Художественного театра.

Я вдалась в эти, совсем не подлежащие моей компетенции, рассуждения, чтобы перейти к частному случаю — дому Харитоненко, где благодаря художественному чутью хозяина происходил весьма удачный сплав разнообразных человеческих элементов. За время с 1904 по 1914 годы я видела в доме на Софийской набережной так много красивого и интересного, что «эстетической зарядки» хватает по сей день.

В Москве говорили: «Хари — тоненьки, но карманы — толстеньки». Карманы были действительно толстеньки, но и овалы лиц милейших Павла Ивановича и Веры Андреевны были скорее округлыми, чем тонкими. Это не мешало Павлу Ивановичу иметь свой приятный стиль, и когда он, небольшого роста, плотный, с пушистыми усами, седыми волосами «щеточкой» и выпуклыми глазами стоял во фраке у подножья своей знаменитой обитой гобеленами темно-дубовой лестницы и радушно принимал всю Москву, я всегда вспоминала Кота в сапогах, который тоже принимал когда-то короля и маркиза Карабаса в вестибюле средневекового замка.

Вера Андреевна Харитоненко, несмотря на свое дворянское происхождение (она была дочерью курского помещика Бакеева), производила простоватое впечатление.

Ходила она переваливаясь с боку на бок и заводила долгие тягучие разговоры, которые неизменно заканчивались словами: «Ну, что Вы на это скажете?» Собеседник обычно ничего не мог сказать, так как плохо следил за нитью разговора, и последний вопрос ставил его в тупик.

У супругов Харитоненко было две дочери (замужем в Петербурге) и сын Ваня, мой сверстник, добродушный мальчик с одутловатым бледным лицом и не по росту длинными руками. Сестры этого юноши были значительно старше. По окончании Московского Екатерининского института они вышли замуж за гвардейских офицеров, пожелавших «позолотить герб». Оба эти брака оказались недолговечны. В одном случае даже произошла бескровная дуэль. Муж Елены Павловны, бывший кавалергард, адъютант военного министра Урусов, прострелил сюртук своего однополчанина Михаила Сергеевича Олива. После этой дуэли последовал развод и Елена Павловна вышла замуж за Олива. Внешность ее запечатлена на портрете Серова, находящемся в Русском музее, но ни один вид искусства не мог увековечить ее главной черты — необычайной неестественности. Елена Павловна говорила по-русски с сильным иностранным акцентом. Когда я слышала ее англизированное «зджасте» вместо русского «здравствуйте», оно мне казалось очень странным в устах урожденной Харитоненко. Елена Павловна, несмотря на это, считалась умной и владела прекрасной коллекцией икон и фарфора. (Собрание это постоянно упоминалось искусствоведами.) Наталья Павловна, вышедшая вторым браком за князя Горчакова, казалась мне более симпатичной.

В возрасте двенадцати лет я довольно часто бывала у Харитоненко по воскресеньям, бегала по всему дому, играя в мяч с Ваней и его двоюродным братом Борисом Бакеевым, мальчиком нашего возраста с пепельными волосами, ярко-голубыми глазами и тонкими поджатыми губами. Борис был замкнут, самолюбив и, как мне казалось, тяготился своим положением бедного родственника. Он мне нравился, и его судьба, о которой я ничего не знаю, меня интересует. И Ваня, и Борис учились у Поливанова.

Несколькими годами позднее в доме Харитоненко образовалась компания молодежи, в которую я прочно вошла;

для этой-то зеленой молодежи устраивались спектакли под режиссерством Москвина, пела Варя Панина, танцевала Гельцер, индийские факиры показывали умопомрачительные фокусы, на Рождество давались балы с цветами из Ниццы, а на Масленицу устраивались блины и катанья на тройках.

Харитоненко горячо откликались на все события русской жизни. В начале 1912 года капитан Седов приехал в Москву собирать средства на свою экспедицию к Северному полюсу. Павел Иванович первым подписал крупную сумму на оснащение «Святого Фоки». В честь Седова был устроен завтрак. Я сидела с входившим в нашу компанию Владимиром Долгоруковым и смеялась над его предположениями, будто благодарный Седов назовет вновь открытые земли — «Пашин нос», «Верина губа» и «Ванин перешеек».

Владимир Долгоруков, несмотря на свой юный возраст, отличался спокойствием пресыщенного жизнью сибарита. Избалованный матерью, он не считал нужным себя чем-то утруждать. Провалившись весною 1910 года на выпускных экзаменах у Поливанова, он, по совету Харитоненко, тут же отправился в их «вассальный» город Сумы*, чтобы выдержать там испытания в более благожелательной к нему обстановке (слово «блат» в дореволюционное время употреблялось только в значении «болот», как например, в прологе к «Медному всаднику»).

Для реабилитации Владимира Долгорукова следует отметить, что в отдельных отраслях его знания значительно превосходили гимназические требования: так, он прекрасно знал французский язык, что объяснялось долголетним пребыванием в доме его воспитателя *mr. Portier*, человека образованного и остроумного. От времени до времени Долгоруков поражал нас какой-нибудь фразой сложной грамматической конструкции вроде: «Я должен любить тебя, чтобы ты убил меня?!» и звал старика буфетчика Лаврентия, на которого была возложена тяжелая обязанность поднимать молодого князя с постели и снаряжать в гимназию, «Laurent le Magnifique»**.

* Сумы были благоустроены и субсидировались за счет Харитоненко. — *Прим. автора.*

** Речь идет о Лоренцо Медичи Великолепном (Lorenzo di Piero de Medici il Magnifico).

Жили Харитоненко в большом особняке из серого камня с подъездом внутри асфальтированного двора, отделенного от набережной Москвы-реки чугунной решеткой. Такой дом мог стоять и в Париже, и в Лондоне, но вид, открывавшийся из зеркальных окон его фасада, был неповторим. Прямо против окон развертывалась панорама Кремля. Торжественные контуры соборов, башен, зубчатых стен — все то, что мы привыкли видеть в некотором отдалении, — являлось тут «как на ладони».

Внутреннее убранство дома было роскошным. Особенно славилась уже упомянутая мною широкая, отлогая лестница темного дуба в стиле английской готики. Поднималась она из обширного вестибюля, причем под ее первым пролетом находился самый уютный в доме закоулок — нечто вроде маленькой полутемной гостиной с низкими мягкими диванами, парчовыми подушками и оправленными в темную бронзу зеркалами.

Свет на лестницу проникал через два больших витро: левое изображало охоту на дикого кабана, а правое — въезд рыцарей на площадь средневекового города. На верхней площадке по бокам большого камина стояли два достойных леди Макбет седалища под бархатными балдахинами, с плоскими подушками, отделанными золотым галуном. Пол, стены и ступени — все было затянуто гобеленами и старинными тканями. В большой столовой нижнего этажа висели картины Сурикова, Нестерова и Сергея Виноградова. Особенно хорош был нестеровский летний вечер на реке с двумя схимниками, удящими рыбу на двух совершенно одинаковых лодочках (находится теперь в Третьяковской галерее). В той же столовой я встречалась и с Суриковым, и с Нестеровым, и с Виноградовым. Из столовой дверь вела в библиотечную комнату с мягкой кожаной мебелью. Книги в одинаковых переплетах находились в полном порядке, и я не думаю, чтобы члены семьи Харитоненко, за исключением, может быть, Елены Павловны, их часто выводили из состояния покоя.

Кабинет Павла Ивановича был средоточием самых разнообразных предметов: тут имелись и бронза, и майолика, и изделия из яшмы, и оружие, и картины, но, так как все эти вещи фильтровались, и не только хозяином,

но и компетентными его советниками, ни одна вещь сомнительного качества не проникала в этот кабинет. Парадные комнаты верхнего этажа — гостиная в стиле Людовика XV и ампирная зала — были эффектны, но более или менее трафаретны. Жилые комнаты выходили в отделанные светлым деревом коридоры. Кроме членов семьи Харитоненко, в доме жили обучавшие Ваню иностранным языкам *mademoiselle* — француженка средних лет — и молодой приятный англичанин *mr. Benson.*

В Рождественский сочельник у Харитоненко устраивалась елка. В 9 часов вечера подавался ужин, причем под скатертью, по малороссийскому обычаю, лежал тонкий слой сена, поверх же скатерти — букеты фиалок и ветки мимозы. Под салфеткой приглашенные находили какой-нибудь рождественский подарок. Девочки Клейнмихель и я, как наиболее любимые, находили обычно на тарелках замшевый футляр с какой-нибудь драгоценной безделушкой — чаще всего брошкой из мелких бриллиантиков или уральских камней. В 1908 году я получила на елку золотой браслет с подвешенной к нему медалькой святой Цецилии, покровительницы музыки, работы парижского ювелира Бушерона. Этот браслет я носила до 1915 года, пока его у меня не украли, но святая Цецилия не была ко мне благосклонна и музыкальными талантами меня не наделила. Петь я никогда не решалась, так как сведущие люди говорили, что я детонирую, но в цыганском пении разбиралась с ранних лет и страшно его любила. У тех же Харитоненко мне пришлось много раз слышать запросто Варю Панину; ее привозил брат Веры Андреевны Сергей Андреевич Бакеев, у которого была с нею старая связь. Варвару Васильевну обычно сопровождал ее аккомпаниатор Ганс с большой цитрой. Грузная и очень некрасивая, она садилась у стола, облокачивалась на него и начинала петь своим низким грудным голосом так, что у вас не оставалось в душе ни одного уголка, не затронутого этими звуками. Ее коронными романсами были «Я вам не говорю» и «Жалобно стонет». Татьяна Константиновна Толстая, ввиду этого, избегала их петь, и, в свою очередь, Варя Панина не пела Тюлиных романсов, например: «Я гордо в мире шел» на слова Мятлева.

Я уже мельком говорила, что участвовала в доме Харитоненко в двух любительских спектаклях. Первый был в 1908 году, а второй — в 1910-м, причем оба раза в качестве режиссера приглашался Иван Михайлович Москвин. Думаю, что хозяевам эти затеи стоили очень дорого, так как иначе вряд ли Москвин согласился бы возиться с 16-летними актерами, не умевшими ни ступить, ни сесть на сцене.

В те дни, когда я пишу эти строки, мне приходится часто возмущаться властью, которую имеет рутина общепринятых канонов над вкусами и суждениями лиц, находящихся на невысокой ступени развития. Вспоминая свою юность, вижу, что и я не всегда была свободна от греха «провинциализма». Так, отдавая должное всему интересному, что видела у Харитоненко, я чувствовала, что мне (как и многим моим сверстникам) по-настоящему импонируют те, может быть, более скромные балы, которые носили отпечаток традиционных балов XIX века.

Арбитром чистоты этих канонов оставалась Вера Мартынова, начинавшая все более и более походить на грибоедовскую графиню-внучку. Под ее влиянием мы требовали, чтобы Москва веселилась по правилам, соблюдавшимся у Фамусова или в том доме, куда так радостно ехала на бал Кити Щербацкая. Нам хотелось, чтобы карета подъезжала к крыльцу, затянутому по случаю приема тиковой палаткой, чтобы в зале висели ампирные люстры, у стен стояли нетанцующие штатские молодые люди, которые в пушкинские времена назывались «архивными юношами», а рядом с залой находился открытый буфет с прохладительным питьем, фруктами и конфетами, чтобы, наконец, сначала шли три кадрили, перемежающиеся легкими танцами, но центром бала была мазурка-котильон с лентами, бубенчиками и бумажными орденами. После мазурки в залу должны вноситься столы для ужина с лежащими на приборах карточками-меню.

Карточки эти входили в ритуал московских балов и к концу ужина оказывались испещрены самыми разнообразными надписями, остроумными и неостроумными, любезными и нелюбезными. Привожу образец и предоставляю читателю решать, к какой категории отнести два нижеследующих экспромта.

Ах, в тебя я не влюблюся,
Шеппинг Туся!

Сергей Сухотин

Может кто-нибудь полюбит,
приласкает, приголубит,
и уж не такой кретин,
как Сережа Сухотин.

Наталья Шеппинг

В Москве был дом, который по стилю своих приемов не только отвечал всем требованиям молодых ревнительниц старых традиций, но и проводил в жизнь московские каноны с необычайной для Москвы пышностью. Это был дом Клейнмихелей. Все то, что я буду говорить об этой семье, состоявшей из графа Константина Петровича, графини Екатерины Николаевны, их сына Владимира и четырех дочерей — Клеопатры, Натальи, Елены и Ольги, — имеет два источника: достоверный — мои личные наблюдения, и апокрифический — рассказы Веры Андреевны Харитоненко о событиях, выходивших из поля моего зрения и являющихся анналами, чтобы не сказать сплетнями, Курской губернии.

В мое время граф Константин Петрович был какой-то мифической личностью, прикованной к постели подагрой или ревматизмом, однако деспотический гнет его ощущался и на графине, жизнь которой вряд ли была очень легкой, и на детях. Отчетливо помню, как в разгар бала девочки поочередно подходили друг к другу, делали какой-то знак и одна из них исчезала из зала. Это была «смена караула» у постели отца, который требовал, чтобы кто-нибудь из дочерей сидел с ним и рассказывал, что происходит в парадных комнатах. Вряд ли это было приятно девочкам, но они делали это безропотно, так как были очень хорошо воспитаны.

Несмотря на внешний блеск жизни Клейнмихелей, мне всегда казалось, что эта семья глубоко несчастна. С одной стороны, среди ее членов чувствовался какой-то разлад, тщательно маскируемый, с другой — вопреки всем как будто благоприятным данным, Клейнмихелям «не везло». Та туча роковой обреченности, которая надвинулась

на всех нас впоследствии, захватила своим краем семью Клейнмихель на несколько лет раньше общего срока.

Граф Константин Петрович был сыном известного любимца Николая I, получившего графское достоинство за восстановление Зимнего дворца после пожара 1839 года и строившего потом железную дорогу из Петербурга в Москву. Когда я смотрела на герб Клейнмихелей, тисненый на карточках бальных меню, то его девиз «Усердие все превозмогает» казался мне лишенным всякой рыцарской романтики и более подходящим для ученической тетради, чем для геральдического щита. Николай I установил за семьей Клейнмихель майорат — свойственный Западной Европе, но чуждый России вид землевладения, который оставлял все земли* в руках старшего в роде, не дробя их на части. Вот это обстоятельство и послужило причиною семейной драмы, глухие и, может быть, искаженные отзвуки которой дошли до меня.

Граф Клейнмихель был женат первым браком на графине Канкриной, имел от нее сына, овдовел и женился на хорошенькой 16-летней дочери курского помещика Богданова. Молва гласит, что молодая мачеха, у которой вскоре родился собственный сын, невзлюбила пасынка и пыталась выдать его за ненормального, чтобы отстранить от владения майоратом. Такие действия не согласуются с представлением, которое я составила себе о графине Екатерине Николаевне, однако достоверно известно, что Канкрины подавали прошение на Высочайшее имя и, по указу Александра III, мальчика Клейнмихеля изъяли у отца и передали на воспитание старикам Канкриным. Владеть майоратом ему все же не пришлось: вскоре после производства в офицеры он скоропостижно и как-то таинственно умер, гостя у отца в Ивне. Эта смерть вызвала нехорошие толки.

Сына от второго брака, Диму (Владимира Константиновича) я знала мало. Воспитываясь в Пажеском корпусе и потом служа в лейб-гусарском полку, он лишь наездами появлялся в Москве. Это был видный, молчаливый и, вероятно, не очень умный молодой человек, нелюбимый матерью, но связанный крепкой дружбой со своей сестрой

---

* В данном случае — имение Курской губернии Ивню. — *Прим. автора.*

Еленой. Незадолго до войны 1914 года, в эскадроне, его ранила в живот копытами лошадь, он остался жив, но надежда иметь наследника рокового майората была потеряна. О трагической смерти Димы Клейнмихеля на глазах его сестры Эллы я буду говорить позднее.

Если две средние дочери Клейнмихель были красивы, то грацией и пластичностью отличались все четыре. Их хореографические таланты были известны всей Москве. Под руководством балетмейстера Большого театра Манохина барышни Клейнмихель подготавливали к каждому зимнему сезону ряд балетных выступлений, настолько интересных, что я о них буду говорить несколько ниже.

Старшая из сестер, Клера, выполняла свои светские обязанности (включая и балетные выступления) добросовестно, но явно ими тяготилась. В ранней юности ее объявили невестой кавалергарда Хвощинского, прекрасного музыканта и композитора. Помолвка эта почему-то разошлась, и на Клеру Клейнмихель лег отпечаток грусти. Говорили, что она хотела вступить в учрежденную великой княгиней Елизаветой Федоровной Марфо-Мариинскую общину, однако это ее желание не осуществилось, и несколько лет спустя она, к всеобщему удовлетворению, вышла замуж за Георгия Мартынова, уже появлявшегося на страницах моих записок в связи с юношеской любовью к нему Марины Шереметевой («Все кончилось, когда не начиналось»). Брак этот оказался удачным, но первые несколько лет совместной жизни Мартыновых оказались лишь короткой передышкой в общей трагической цепочке событий. В 1920 году, во время эвакуации из Крыма, Клера потеряла двоих детей. Потом началась материально тяжелая жизнь в Париже. Георгий поступил инструктором на теннисную площадку и умер скоропостижно во время игры. Дальнейшее мне неизвестно. Но возвращаюсь к годам моей юности.

Девочки Клейнмихель были дружны с детьми великого князя Павла Александровича — Марией Павловной и Дмитрием Павловичем — и часто бывали у них в Николаевском дворце. На Масленицу 1908 года по поводу помолвки великой княжны со шведским принцем Вильгельмом Зюдерманландским Клейнмихели дали большой костюмированный бал. Хотя я училась в 6-м классе

гимназии и официально еще не выезжала, ради такого случая сделали исключение и мне стали собирать подлинный старорусский костюм. Графиня Елена Федоровна Соллогуб дала из собрания своего отца, которое находилось в доме на Поварской, парчовый сарафан цвета давленой малины и ярко-синюю, отороченную соболями, душегрейку. Шитый золотом кокошник с доходящими до бровей подвесками из кафимского жемчуга одолжил мне музей при Строгановском училище.

Кисейную рубашку сшили дома, и я, в виде боярышни, появилась на первом виденном мною настоящем бале, с лестницей, устланной красным ковром и уставленной тропическими растениями, с лакеями в красных камзолах и белых чулках, с оркестром на хорах и членами императорской фамилии в зале. Мне было очень жарко в тяжелой парче и кокошнике, но я мужественно всё сносила, считая, что костюм мне к лицу, и с удовольствием слушала, как Павел Иванович Харитоненко громогласно намеревается заказать Сурикову мой портрет в этом наряде. (Дальше разговоров дело, конечно, не пошло!)

Триумф мой завершился тем, что увивавшийся вокруг моей матери шведский полковник из свиты принца Вильгельма сказал ей на ломаном французском: «У вашей дочери красивые глаза!» Несколько позднее поговорка: «Кто хочет завоевать сердце матери, тот хвалит ее ребенка!» — весьма разумно умерила мою гордость.

Бал начался балетным дивертисментом. Первой выступила Мария Павловна, одетая, как и я, боярышней. Она плясала русскую одна, без кавалера, ни хорошо, ни плохо: все выполняла по правилам, пожимала плечом, помахивала платком и закончила танец поясным поклоном сидевшему в первом ряду жениху. Затем следовал менуэт. Младшая из Клейнмихелей, Ольга, в пудреном парике и фижмах появилась в паре с Владимиром Касаткиным, тогда еще катковским лицеистом. Оба были очень стильны и прекрасно танцевали. Третьим номером шла лезгинка — Тата Клейнмихель, в расцвете своей красоты, смуглая, с прекрасными черными глазами и косами, строгим профилем и темным пушком на верхней губе, была очаровательна в грузинском наряде. Плясала она не как любительница, а как законченная балерина,

зато ее партнер, Федя Плещеев, красивый малый и неисправимый повеса, числившийся в то время Татиным женихом, не имел в себе ничего грузинского. Танцевал он неважно и мучительно не мог попасть кинжалом в ножны, после того как потрясал им в ходе лезгинки. Забегая несколько вперед, скажу, что Плещеев так плохо вел себя во время жениховства, что ему пришлось отказать от дома. Тата так и осталась незамужней.

Плещеевы жили в Трубниковском переулке рядом с Востряковыми. Знаю, что весною того же года (1908) Наташа и ее легкомысленный сосед проводили долгие часы во дворе или даже на крыше дома под предлогом наблюдения над появившейся на небе кометой Галлея. (Это, кажется, было наиболее безобидное из похождений Плещеева.)

Но возвращаюсь к костюмированному балу на Малой Никитской. После лезгинки старшая из сестер, Клера, исполняла соло танец баядерки — технически очень хорошо, но с таким скорбным выражением лица, что ее становилось жаль. Последним балетным номером следовала тарантелла (Элла Клейнмихель и Митя Спечинский). Если меня спросят, кого я считаю наиболее интересной женщиной моего поколения, я, кажется, назову Эллу Клейнмихель-Пущину-Трубецкую. В подтверждение моего столь лестного мнения о ее внешности, я упомяну, что через восемнадцать лет после описываемого мною вечера я встретила Эллу служащей в парижском ателье «Irfe» манекенщицей, а надо думать, что в таких учреждениях знают толк в женской элегантности. Так как эта специальность не дает еще патента на моральные доблести, спешу добавить, что Элла была умна и благородна. Некоторая взбалмошность роднила ее с Мариной Шереметевой, но Элла была более «европеизирована». Графиня Екатерина Николаевна часто говорила маме, что считает Елену наиболее трудновоспитуемой из своих детей.

Особенно остро Екатерина Николаевна это почувствовала, когда, овдовев перед войной 1914 года, она решила выйти замуж за петербургского профессора гинеколога Якобсона* (ассистента Отта), а дочь Елена стала

* Во время войны он стал Яковцевым. — *Прим. автора.*

во главе оппозиции. Летом 1926 года, встретившись со мной в Ницце, Элла сожалела о своей первоначальной непримиримости в отношении этого брака; она уже была всецело на стороне Якобсона, которого оценила как человека.

Мне не хочется расставаться с Эллой Клейнмихель, не упомянув о незначительном, но, как мне кажется, показательном разговоре, происшедшем в том же 1926 году и в сравнительно малознакомом нам доме. Речь зашла о Ване Харитоненко, которого уже не было в живых. Кончил он нехорошо (как и полагалось представителю третьего поколения русской буржуазии!). Кто-то из присутствующих отозвался о нем с пренебрежением. Не знаю, насколько справедливым было его суждение в данном случае, но злословие, граничащее с клеветой, настолько вошло в обиход эмигрантских кругов, что писательница Тэффи вывела в одном из своих рассказов иностранца, считавшего, что слово «вор» есть не что иное, как приставка к русским фамилиям, вроде «мака» у ирландцев: так часто этот иностранец слышал в эмигрантской среде «вор такой-то». (И это в отношении своих товарищей по несчастью!) Ваня Харитоненко уже по существу никого не интересовал, его имя было упомянуто мельком, но Элла как тигр кинулась на его защиту. Она говорила, что бедный Харитоненко был больным человеком, что его нельзя осуждать, что все психиатры Мюнхена признали его ненормальным и т.п. Я любовалась Эллой, когда она горячо и бескорыстно спасала от поругания прошлое, такое далекое и все же налагающее известные обязательства.

На балу у Клейнмихелей в 1908 году присутствовала принцесса Ирена Прусская, некрасивая рыжеватая особа, мало напоминающая своих сестер Александру и Елизавету. Пребывание принцессы в зале отмечалось тем, что нам приходилось следить за ее движениями. Этикет не позволял сидеть в то время, когда сестра императрицы стояла или танцевала. Я и так изнывала под тяжестью парчи и жемчугов, а внимание мое было направлено на молодого Бернадота, который, как раньше Владимир Петрович Трубецкой, показался мне похожим на героя английского романа «Квичи». Это был очень высокий, тонкий юноша в простом морском мундире, с длинным

лицом и оттопыренными ушами. Последнее я заметила только позднее, рассматривая его фотографию, попавшую в мои руки следующим образом: в 1907 году московским градоначальником был уже упоминавшийся мною Рейнбот. В обязанности градоначальника входило чествование знатных иностранцев, и для шведского принца организовали несколько охот на волков. Большая фотография изображала охотников в подмосковном лесу. Тут были и Рейнбот, и принц Вильгельм, и его приближенные шведы, и мой старый знакомый брандмейстер Гартье. У ног их лежало семь убитых волков. Даря мне эту живописную группу, Зинаида Григорьевна Рейнбот со свойственным ей купеческим пренебрежением к малоимущим людям сказала: «Генералу столько возни с этими гостями! В конце концов, их охоты очень дорого стоят! Нищие принцы ни за что не платят и генерал отдувается за всех».

Зимою 1908—1909 года барышни Клейнмихель выступали на московских балах с новыми номерами. Элла появлялась в образе Шамаханской царицы, а Тата — в образе Жанны д'Арк. Танец Эллы не встречал никакой критики, но только прелестный облик Таты в виде девы-воительницы, ее сверкающая кольчуга, шлем, из-под которого выбивались темные кудри, частично искупали нелепость замысла. На балу у Голицыных-Сумских, в Мертвом переулке, когда Тата с копьем наперевес металась по эстраде, до меня донеслось насмешливое замечание из задних рядов: «Удивительное дело! Никогда до сих пор не слышал, чтобы Орлеанская дева танцевала!»

Следующей зимою граф и графиня праздновали серебряную свадьбу. Предполагался большой бал, были уже разосланы приглашения. Дочери разучили только появившийся балет Глазунова «Четыре времени года». В зале построили эстраду с вензелями «XXV», и все было готово, как вдруг в Петербурге умер великий князь Алексей Александрович. На двор наложили траур, и Клейнмихели сочли своим долгом наложить траур и на себя. Бал отменили, и «Времена года» исполнялись в самой интимной обстановке. Екатерина Николаевна, вся жизнь которой проходила в «согласовании несогласуемого», с виноватым видом говорила свободомыслящим москвичам: «Конечно, все это неприятно, но иначе нельзя, поскольку

муж состоит в должности церемониймейстера, а Клера — фрейлина!» Через год Константин Петрович умер, Клера вышла замуж за Мартынова, а Екатерина Николаевна с тремя дочерьми переселилась из Москвы в Царское Село.

На нашем горизонте Клейнмихели появились еще один раз. Незадолго до войны Элла приехала венчаться у Большого Вознесения с конногвардейцем Пущиным. Свадьба была парадная и, по своему стилю, вероятно, напоминала другую свадьбу, совершившуюся восемьюдесятью годами ранее под куполом той же церкви — свадьбу Пушкина с Гончаровой. В одном из первых же сражений осенью 1914 года Пущин был убит. До Москвы дошли слухи, что Элла в порыве отчаяния отправилась в какой-то из монастырей Курской губернии, надела подрясник, подпоясалась веревкой и некоторое время пребывала в ранге послушницы. Сколь долго это продолжалось, я не знаю, но Февральская революция захватила ее под Петроградом, а в Гатчине она оказалась свидетельницей смерти своего любимого брата Димы. Девять лет спустя я встретила Эллу при других условиях и под другими небесами, за это время она уже успела выйти замуж за Николая Петровича Трубецкого (участника наших танцклассов на Знаменке) и разойтись с ним. О моей встрече с ней я уже говорила, и потому возвращаюсь к хронологическому описанию событий, относящихся к гимназическому периоду моей жизни.

Весною 1909 года Москва отмечала столетие со дня рождения Гоголя. На этот юбилей парижская Академия направила двух своих членов: литератора Мельхиора де Вогюэ и астронома Бигурдана. На Давыдовских четвергах обсуждался вопрос о размещении французских гостей. Маргарита Кирилловна Морозова брала к себе де Вогюэ, с которым уже была знакома, а Бигурдан оставался без пристанища. Николай Васильевич Давыдов, входивший в состав Гоголевского комитета, воззвал к маминым профранцузским чувствам и уговорил ее оказать гостеприимство ученому; на Пречистенском бульваре появился маленький человек лет пятидесяти, оставивший по себе самое приятное воспоминание. Месье Бигурдан оказался очень скромным и только в тот день, когда, собираясь

на открытие памятника, он облачился в одежды, расшитые зелеными пальмовыми листьями, и надел треуголку со страусовыми перьями, я поверила в его «бессмертие»*.

Месье Бигурдан провел меня вперед, и я отчетливо запомнила яркий весенний день, громадную толпу народа, наводнившую Пречистенский бульвар в ту минуту, когда зеленое полотно, скрывавшее скульптуру Андреева, упало на землю и нашим взорам предстала возвышающаяся над кубическим цоколем унылая фигура Николая Васильевича. Трактовка сюжета была для того времени новаторской, и памятник встретил весьма неблагоприятный прием у широкой публики. Фигуру, закутанную в плащ, сравнивали с летучей мышью, с вороной — словом, насмешкам не было конца. Отдельные голоса критиковали местоположение памятника и доказывали, что, если бы тыл скульптуры был защищен каким-нибудь зданием, впечатление было бы иным. Красота барельефов, изображающих гоголевских персонажей, никем не оспаривалась, но лишь немногие тонкие ценители считали, что это, быть может, не совсем удачное произведение Андреева в целом значительно превосходит остальные бездарные московские памятники, череда которых завершилась в 1911 году опекушинским памятником Александру III.

С годами памятник Гоголю стал неотъемлемой принадлежностью Пречистенского бульвара, «вошел в быт», все к нему привыкли и перестали замечать то, что казалось странным в весенний день 1909 года. Благодетельная, смягчающая острые углы жизни, но и притупляющая сознание сила привычки примирила противоречия и... сдала дело в архив.

* Членов Французской академии называют «бессмертными».

Вторая поездка за границу

Зима 1908—1909 годов отметила мою вторую поездку за границу. Наш «клан» в том же составе, как и в 1905 году, покинул на два месяца пределы отечества, следуя по пути Берлин — Мюнхен — Флоренция — Рим — Неаполь и обратно через Францию. Мне только что исполнилось пятнадцать лет, я и Сережа были в 7-м классе, я нацеливалась на золотую медаль. Пропустить два месяца занятий было известным риском, но я понадеялась на свои силы и убедила всех, что легко нагоню пропущенное.

В Петербурге, куда мы приехали, чтобы соединиться с бабушкой и дедушкой, Сережа поспешил показать мне новую достопримечательность города — открывшийся на Марсовом поле Скетинг-ринг, большой круглый балаган, где с утра до ночи под звуки оркестра, попеременно играющего «Шуми, Марица» (дань Балканской войне 1908 года) и «Mariette, ma p'tite Mariette», катался на роликах весь веселящийся Петербург. На галерее вокруг асфальтированной площадки стояли чайные столики, за линию которых я не рискнула спуститься, не будучи уверена в своих спортивных способностях.

Годом раньше у меня возникли поползновения покататься на коньках, но были пресечены. История этого предприятия такова: три раза в неделю за мной в гимназию заходила молодая англичанка miss Keefer. Мы должны были гулять, разговаривая по-английски, и иногда заходили на каток Александровского военного училища. Как только сын директора катковский лицеист Ванечка Лачинов замечал из окон своей квартиры наше появление, он надевал коньки, спускался на лед и, шепнув мне на ухо: «Невольно к этим берегам меня влечет неведомая сила», принимался давать мне уроки катанья на коньках или возить меня в кресле на полозьях.

Обнаружив сие, мама посмотрела на дело с практической точки зрения и сказала: «Пока затрачиваются

деньги на то, чтобы Таня изучала английский язык, miss Keefer бездействует на скамейке, а Таня болтает с Лачиновым по-русски! Никаких катков больше не будет!» Так закончилась моя конькобежная карьера, не имевшая, кстати говоря, хороших перспектив. Я унаследовала от матери слабость связок в коленных суставах: правый сустав имел склонность сдвигаться с места (привычный вывих), причиняя нестерпимую боль.

Все вышесказанное не имеет никакого отношения к нашей поездке за границу, но поскольку была упомянута «неведомая сила», влекущая людей на каток, можно упомянуть и то, что незадолго до отъезда Сережа влюбился в какую-то сомнительную особу со скетинга и отравлял мне жизнь картинами «страданий молодого Вертера». Внешний вид Сережи на этом этапе его жизни был довольно смешной. При переезде границы он сменил гимназическую форму на серенький костюмчик, а фуражку — на котелок. Если добавить, что и то и другое он носить не умел, а для защиты глаз на нем красовались дымчатые очки, можно воссоздать образ, смахивающий на Мурзилку. Бабушка его высмеивала, но в ее самых безжалостных замечаниях сквозила уверенность, что этот гадкий утенок превратится со временем в лебедя.

Миновав быстро Берлин, мы остановились в Нюрнберге. Гостиница «Bairischer Hof» помещалась в старинном мрачном доме с узкими извилистыми коридорами, толстыми стенами и решетками на окнах. Моя комната находилась на верхнем этаже, и, прежде чем лечь спать, я долго смотрела на озаренные луной шиферные остроконечные крыши с целым лесом вздымающихся в светлое небо шпилей и завитков. Ночью мне приснился такой страшный сон, что я опрометью помчалась в мамину комнату и просидела там до утра. Сон этот представлял вариант сказки о Щелкунчике (в детстве я боялась этой сказки). Щелкунчик, сопровождаемый крысами, наступал на меня и говорил: «Я нюрнбергская заводная игрушка!» И весь страх заключался в том, что он был автоматом.

На следующий день я оскандалилась еще больше: после посещения дома-музея Дюрера мы отправились

в замок, стоявший на горе за чертой города. Осмотрев залы и дворы и подивившись пробитому в скале необычайно глубокому колодцу (вода летит до дна более двух минут), мы зашли в башню с различными орудиями пыток. Словоохотливый гид, показывая нам свои жуткие экспонаты, подвел нас к знаменитой Железной Деве — подобию женской фигуры, в недра которой заключалась жертва, после чего в эту жертву со всех сторон вонзались узкие длинные ножи. В то время как гид описывал действие этого механизма, раздался глухой звук: это я без сознания упала — сначала на подоконник, а потом к подножию Железной Девы. После чего была вытащена во двор и полита водой из исторического колодца.

Мрачные впечатления от Нюрнберга сгладились двухдневным пребыванием в приветливом Мюнхене. Проходя по залам Пинакотеки, мы старались не задерживаться перед средневековыми лубками, изображающими злых духов с толстыми животами, перепончатыми крыльями, когтями и хвостами, искушающих или мучающих грешников, и поскорее переходили к трогательным мадоннам и прекрасным дамам Возрождения. Очень мне понравился парк, длинной полоской идущий вдоль изумрудного Изара, и я оценила искусство немцев в использовании плакучих деревьев, различных кустарников и водных пространств для создания прелестных парковых ландшафтов.

Ослепительным солнечным утром мы пересекли швейцарскую границу в Куфштейне. Помню необычайно чистый воздух и горки красных апельсинов-корольков в буфете станции, оповещающих о близости Италии.

Подъезжая к Симплону, мы жадно всматривались в очертания снежных гор, но, откровенно говоря, самые величественные картины природы в ее чистом виде, когда в эти картины не вмешается ни один штрих человеческого творчества, оставляют меня равнодушной. Мысль эта так хорошо выражена Гоголем при описании плюшкинского сада, что мне на эту тему распространяться не приходится!

На итальянской границе меня ожидал сюрприз: когда нас окружили носильщики и таможенные чиновники, из уст Сережи полилась итальянская речь. Оказывается,

помня, какие неприятности нам доставило незнание этого языка в прошлую поездку, когда мы растерялись на Миланском вокзале, бабушка пригласила служащего итальянского посольства синьора Нардучи в качестве учителя, и Сережа, весьма способный к языкам, в несколько месяцев овладел итальянской разговорной речью. Свои познания он скрывал от меня до поры до времени, чтобы ошеломить на итальянской границе.

Знакомая мне по первому путешествию Венеция вновь очаровала меня. Примерно в то же время у Львиного Столба стоял очарованный, как и я, Александр Блок и слагал в честь Прекрасной Дамы Венеции достойные ее красоты стихи:

На башне с песнею чугунной
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

Из Венеции мы произвели кратковременную вылазку в Павию, прелестный городок, место упокоения святого Антония, помогающего людям находить потерянные вещи и утраченные привязанности. Сережа и дядя Коля съездили, кроме того, в Верону и привезли оттуда изображение гробницы Ромео и Джульетты. Существование этой гробницы приводит мне на память вопрос, заданный мне однажды в лагере: «Не встречали ли вы в Петербурге Анну Каренину, а если не вы, то, может быть, ваша мать?»

Маршрут нашего путешествия вел нас на юг. На одной из маленьких станций, вроде Орвието или Оспедалетто, в наше купе вошел молодой итальянец, бережно несший футляр со скрипкой. Через четверть часа мы уже знали, что этот юноша только что закончил консерваторию и теперь, перед началом своей музыкальной карьеры, как добрый католик, едет в Болонью испросить благословение святой Цецилии, покровительницы музыкантов. Рассказав все это, молодой человек задремал. Над его головой, на багажной сетке, лежал дедушкин портплед. Поезд шел быстро, и вагон бросало из стороны в сторону.

На каком-то резком толчке ремешок, стягивающий боковой карман портпледа, лопнул и на музыканта посыпался дождь тонких листов бумаги «особого назначения». Сережа и я покатились со смеху, а бабушка тут же уверила музыканта, что это предвестники лавров, которые будут сыпаться на него во время его концертов.

Если Венеция сразу поражает воображение, как нечто необычайное и неповторимое, то Флоренция завоевывает сердце постепенно и навсегда. Каждый день, проведенный в этой цветущей котловине, содержащей бесценные сокровища искусства, открывает что-то новое, причем это новое воспринимается легко, как бы само собою. Тут нет нагромождения разных культур, которое подавляет в Риме. Здесь все единообразно, легко и красиво.

Остановились мы в небольшой гостинице на via Porta Rossa. Чтобы выйти на площадь Сеньории, надо было миновать небольшой рынок *Mercato Nuovo* со стоящим на низком цоколе бронзовым кабаном. Я хорошо знала этого зверя и постаралась, проходя мимо, похлопать его по морде, поэтому впоследствии была рада увидеть его копию в открывшемся на средства Нечаева-Мальцева Музее изящных искусств в Москве.

Утро мы проводили, осматривая дворцы и церкви, а к завтраку собирались под парусиновым тентом маленького ресторана на via Calzaioli. В этом ресторане подавались неизменные *spaghetti*, колбаса *mortadella* и сыры: моцарелла, горгонзола и пармезан. На сладкое приносили сбитый в пену соус сабайон в высоких стеклянных бокалах. Дядя Коля все это щедро поливал терпким кьянти, продававшимся в оплетенных соломой бутылках.

Здесь следует сказать, что «золотой век» отношений между мамой и Николаем Борисовичем ко времени нашей второй поездки за границу закончился. Недоразумения происходили большей частью за столом. В известные моменты мама говорила или показывала глазами, что надо прекратить пить. В ответ на это дядя Коля, злобно глядя на нее в упор, заявлял, что не нуждается в опеке, и наливал себе еще стакан вина. Мама обычно сдерживалась, но видно было, как горячая волна крови заливает ее лицо. (Эта способность краснеть и бледнеть

при душевных волнениях передалась и мне.) Неприятный инцидент такого рода произошел во время экскурсии во Фьезоле — селение, расположенное на одном из холмов, окружающих Флоренцию. Выйдя в раздражении из-за стола, Николай Борисович отказался осматривать келью уроженца Фьезоле прерафаэлита Фра-Анжелико и пошел допивать с шоферами привезших нас автобусов, повторив тем самым выходку 1905 года. Изменилось только то, что тогда его собутыльниками были венецианские гондольеры, а теперь флорентийские шоферы.

Когда мы, покинув Флоренцию и двигаясь по направлению к Риму, пересекали пустынные равнины Кампаньи, нам сопутствовали однообразные линии древнеримских акведуков: то подходя к полотну железной дороги, то уходя к горизонту, эти нескончаемые аркады поражали своей мощью и напоминали тяжелую поступь легионов.

Говорить о Риме — задача очень трудная, и я ограничусь лишь отрывочными впечатлениями попавшей в него 16-летней туристки. Впечатления эти были все же достаточно сильны, чтобы тридцать лет спустя найти отражение в строках, написанных очень далеко от Рима и в не совсем обычных условиях. Это произошло на реке Вычегде, за стенами и проволоками Локчимлага. Я заболевала глубоким лимфоаденитом левого бедра, закончившимся потом общим заражением крови. Болезнь только начиналась, но сознание под действием повышенной температуры уже было сдвинуто с нормальных позиций. Лежа с закрытыми глазами в душном больничном бараке, я заставляла себя уходить от действительности, и тут на помощь приходили образы Италии. Толчком к этому, может быть, послужило то, что главный врач нашего лагпункта, доктор Готлиб, своим внешним видом напомнил мне высокого упитанного кардинала, которого я когда-то видела в соборе Святого Петра.

Однажды я всю ночь бредила Римом и наутро, когда температура спала и ко мне вновь вернулась способность управлять рифмами, я посмотрела на вещи с юмористической стороны (это тоже очень помогает!) и написала следующие, посвященные нашему врачу, строфы:

Я не вижу Вас в белом халате
На сплавной отдаленной реке,
Вижу Вас в ватиканской палате
С кардинальским кольцом на руке.

Вы со стен Бельведера украдкой
Наблюдаете женскую тень,
И одежды пурпурные складки
Ниспадают на мрамор ступень.

Закрывается церкви ограда,
Запираются ставни домов,
И ложится ночная прохлада
На все семь знаменитых холмов.

На больших площадях и на малых
Бьют фонтаны немолчной струей.
В Риме плохо ли быть в кардиналах
И земным не судиться судьей!

Здесь же Ваши так слабы гарантии,
Так сильна предержащая власть!
Вам нужна кардинальская мантия —
Вам же только вверяют санчасть!

Остановились мы в Риме в небольшой гостинице на via del Quatra Fontana, близ Квиринала. Не в пример прочим весьма мощным и декоративным римским фонтанам, те четыре фонтана, которым была обязана названием наша улица, представляли собою тонкие струйки воды, падающие из львиных пастей в стоящие под ними раковины. Наша гостиница была интересна лишь тем, что по узкой лестнице, ведшей на чердак, можно было выйти на крышу и увидеть все семь холмов. Мы с Сережей, обнаружив небольшую площадку под крышей, часто сидели там на закате, изможденные целым днем осмотра достопримечательностей.

А осматривали мы всё, что положено осмотреть в Риме. Перед нами, как в калейдоскопе, промелькнули и Колизей, и Форум, и Капитолий с конной статуей Марка Аврелия и бронзовой волчицей, и колонна Траяна, и развалины многочисленных терм. Все это было, несомненно, интересно, но казалось слишком давно прошедшим,

чтобы не быть реставрированным, и потому не внушало полного доверия. Папский Рим произвел на меня более сильное впечатление, может быть, потому, что архитектурные памятники эпохи Возрождения еще не полностью стали музейными экспонатами и в них происходила та самая жизнь, для которой они были предназначены — жизнь католической церкви.

Слушая мессу в соборе Святого Петра, осматривая Сикстинскую капеллу, я находилась в том сосредоточенном настроении, которое подходит к подобным моментам; когда же мы перешли к осмотру замка Святого Ангела — круглого здания на берегу Тибра с фигурой ангела на крыше, — всякая серьезность нас с Сережей почему-то покинула и мы со смехом бегали по кольцеобразным коридорам этой мрачной постройки, служившей некогда тюрьмой, пока не наткнулись на брата шведского короля, принца Карла (дядю Вильгельма Зюдерманландского) — высокого худого человека чопорного вида, сопутствуемого адъютантом и гидом. Сережа присел от неожиданности и с комическим испугом воскликнул: «Ничего себе!» Бабушка только всплеснула руками.

Неаполь произвел на меня менее сильное впечатление, чем другие города Италии. Совершенно исключительный интерес представляет собою Помпея и все то, что было найдено при ее раскопках и хранится в Неаполитанском национальном музее, но панорама залива, «увидя которую, остается только умереть» («Vedi Napoli e poi muori!»), была мне хорошо знакома по гравюре, висевшей в аладинской диванной, и действительность к этому ничего не прибавила.

Из Неаполя, самой южной точки нашего путешествия, мы стали быстро двигаться по направлению к дому. В окнах вагона промелькнула склоненная Пизанская башня. В Генуе, между поездами, мы успели посмотреть Кампо-Санто с монументами Кановы и возвышающийся в порту памятник генуэзцу Колумбу, а через двенадцать часов были уже в пределах *belle France*. Наша недельная остановка в Ницце имела целью дать дяде Коле возможность проверить вновь изобретенную им систему игры в рулетку и оставить в Монте-Карло ассигнованную на это сумму.

Пока он играл, мы с мамой, как всегда дружно и весело, бегали по залитым солнцем улицам Ниццы, покупая цветы, духи, апельсины и всякие прелестные мелочи, которыми так богата Франция. Во время одного из походов с нами увязался Сережа. Сначала все шло хорошо, но под конец вид лент, кружев и батиста ему наскучил, и, когда мы заколебались в выборе между двумя блузками, он начал выражать признаки нетерпения и демонстративно сел на стул около входной двери. Хозяйка магазина, чрезвычайно манерная дама, всячески старалась продать нам более дорогую блузку с открытым воротом, а мама склонялась к покупке более дешевой с воротом закрытым. Хозяйка решила обрести союзника в лице Сережи и обратилась к нему со словами: «Хорошо! Мы спросим у этого юного рыцаря!» На что Сережа, который в это время, как я уже говорила, более походил на Мурзилку, чем на «рыцаря», лаконически ответил: «Мадам, я за закрытые!» Хозяйка опустила глаза и, с тем манерно-лукавым видом, на который способны только француженки, заметила: «О! Скромный рыцарь!» Это прозвище осталось за Сережей даже и тогда, когда уже давно перестало соответствовать действительности.

Проигравшись в Монте-Карло, дядя Коля стал неудержимо стремиться домой. Мысли его теперь были всецело заняты предстоящим в Москве любительским спектаклем «Бесприданница» с Найденовой в заглавной роли. Желая доставить ему удовольствие (а я этого всегда желала), я предлагала ему спросить роль Карандышева и подавала реплики, пока он репетировал. Так, в стенах заграничных отелей раздавались тексты Островского.

Пятидневное пребывание в Париже отметили семейным обедом у дяди Альберта и осмотром Версаля. Не останавливаясь в Берлине, через Вержболово мы вернулись на родину, и московская жизнь вошла в свою колею.

Мои гимназические занятия пошли усиленным темпом. Мне нужно было быстро догнать класс, чтобы не упустить сверкавшей перед моими честолюбивыми взорами золотой медали. Тем не менее случались дни, когда я бросала всё и после звонка быстро мчалась домой,

чтобы привести себя в порядок и успеть на репетицию того или иного любительского спектакля, в котором участвовал Николай Борисович. Спектакли эти обычно давались на сцене Охотничьего клуба на Воздвиженке, но репетиции происходили у нас дома. Режиссировал почти всегда Иван Николаевич Худолеев из Малого театра. В 1908 году у нас репетировали водевиль «Тайна женщины» в таком составе: лирический студент — Максимов, комический студент — Массалитинов, их прелестная соседка Сезарина — Найденова, привратник л'Алуэтт — дядя Коля. Максимов блистал во всем своем очаровании.

Я уже говорила, что он нарушил покой московских барышень, выступив тогда же на сцене Малого театра в роли Клавдио в «Много шума из ничего». То, что он бывал запросто у нас в доме, вызывало зависть моих сверстниц, зависть, как я уже говорила, совершенно необоснованную.

Золотую медаль я получила. Не совсем понимаю, как мне удалось перескочить барьер математики — области, в которой я не проявляла никаких талантов. Думаю, что на письменном экзамене не обошлось без какой-нибудь шпаргалки, а устно меня экзаменовал почетный ассистент, профессор Московского университета Млодзиевский, посетитель Давыдовских четвергов, ценивший очарование моей матери и, вероятно, не пожелавший топить ее дочь казуистическими вопросами.

В 8-м классе моя средняя отметка «5» была уже вполне законна, так как математика отпала, а в гуманитарных науках я преуспевала. К сожалению, дух дилетантства был во мне достаточно силен, и, закончив гимназию, я погналась за двумя зайцами: поступила в Строгановское училище прикладного искусства и записалась вольнослушательницей на историческое отделение университета Шанявского. Но об этом я буду говорить по мере хронологического развертывания повествования, которое, кстати говоря, несколько задержится следующей главой, посвященной летним впечатлениям школьного периода.

Четвертую часть года, с конца мая по 1 сентября я проводила не в Москве, а в деревне — в тех милых калужских краях, упоминанием о которых я начала свои записки.

Летние впечатления

Каждую весну, как только кончались школьные занятия, мы с мамой и собакой Альфой садились в поезд Московско-Киевской железной дороги и ехали до станции Сухиничи, где нас ждали лошади. Под привычный звон бубенчиков-глухарей мы проезжали 15 верст, отделявшие Аладино от станции, и начиналась та размеренная, несколько однообразная аладинская жизнь, в которой и мама, и я находили большую прелесть, тогда как мамина сестра Валентина Гастоновна скучала в Аладине и никогда туда не стремилась.

Наши комнаты располагались во флигеле, но мы там только спали, а весь день проводили в большом доме. Утро начиналось с прогулки в парке, который тянулся на 35 десятинах вдоль течения реки Аладинки и изобиловал мостиками, скамейками, заброшенными колодцами, гремучими ручьями, сырыми папоротниковыми чащами и солнечными, поросшими высокой травой лужайками. Самой ценной частью парка был неприкосновенный сосенник с мачтовыми деревьями, сквозь верхушки которых едва просвечивало голубое небо и у корней которых оседающий грунт образовывал песчаные пещеры. В сосеннике росли белые грибы, в чищеном ельнике — красные, а на полянке — березовики.

В половине первого все сходились в столовой большого дома к завтраку. Тут уже следовало подтянуться в смысле манер. Жизнь в Аладине вращалась вокруг бабушки, властная рука которой чувствовалась повсюду. О воспитательных ее методах я говорила, упоминая о том, что низведение понятия «долга» до самых мелких вопросов доходило иногда до гротеска, но удивительным было другое: нравоучения бабушки могли вызывать протест, но никогда не вызывали скуки. Самые неприемлемые для нас тезисы преподавались так умно и даже талантливо, что мы их проглатывали как пилюли, благодаря какой-то еле уловимой частице юмора, которая скрывалась в бабушкиных

категорических требованиях. Получалось так, будто она сама в душе немного смеется над жизненными правилами, которые проповедует.

С ранних лет нам, например, повторялось, что дети никогда не должны противоречить взрослым, что бы те ни говорили. «Запомните раз и навсегда, что если я скажу средь бела дня, что это ночь, вам просто нужно промолчать или, что еще лучше, сказать: "А вот и Луна!" У меня могут быть свои причины так говорить, и не ваше дело — мне противоречить!» С тех пор, когда кто-нибудь грешил против истины, мы толкали друг друга и говорили «А вот и Луна!» Бедная бабушка не могла предвидеть в то время, что один из ее внуков так прочно усвоит это правило, что впоследствии систематически будет указывать на луну при полном мраке!

Если даже педагогические эклоги бабушки Александры Петровны оказывались живы и остроумны, то ее рассказы о прошлом, ее суждения о людях и событиях были тем более блестящи. Она умела схватывать все характерное, существенное, не закрывая глаза на недостатки самых близких людей и не щадя этих людей для красного словца. Сережу она очень любила, но постоянно его одергивала и высмеивала так, что жизнь этого любимца имела неприятные стороны. Ко мне, поскольку ответственность за мое воспитание лежала не на ней, бабушка относилась менее требовательно (в силу этого я даже получила от Сережи прозвище «помпадурши»).

После завтрака часа два мы посвящали занятиям. К Сереже из села Субботники приезжал отец Тимофей, обучавший его катехизису. Ника занимался с Эммой Александровной немецким, а я с мамой — французским. В 4 часа все сходились с рукоделием в диванной. Дедушка откладывал в сторону получаемую им из Парижа газету «Le Temps» и принимался за чтение вслух, причем его французский язык и манера читать были прекрасны. Дедушка имел терпение прочитать нам семь томов «Отверженных» Гюго и многие романы Бальзака.

После обеда прибывала почта, просматривались газеты, обсуждались политические новости. Бабушка получала «Новое время», а мама — «Русское слово». По вечерам иногда собирались у крыльца аладинские или нетесовские

крестьяне (так называемое «общество»), и бабушка вела с ними какие-то хозяйственные разговоры, в конце которых обычно появлялись четверть водки и чарочка.

Бабушка любила беседы со стариками, знавшими ее отца и теток — они ей напоминали «доброе старое время». Однажды, когда нетесовский Мишка-кузнец забрел во двор с гармоникой в руках (этот инструмент был под строгим запретом в усадьбе) и запел во все горло: «Ах ты, гой еси, матушка Александра Петровна, уж как я тебя люблю!» — ему за это «гой еси» простили нарушение правил и даже дали, кажется, опохмелиться.

Вечером взрослые сидели на балконе, где было прохладно и пахло цветущим на клумбах табаком, мы же бегали по двору, играя в палочку-выручалочку.

Такой порядок дня нарушался редко. Старшие представители семьи довольствовались обществом друг друга и легко обходились без визитов деревенских соседей, зато дети (во всяком случае я) приходили в восторг, заслышав бубенцы приближающейся тройки. Чаще других нас посещали наши ближайшие соседи Запольские, именье которых, Радождево, находилось в семи верстах от Аладина по направлению к Сухиничам. По своему месторасположению Радождево не было живописным, усадьба стояла в низине, но неотъемлемыми его качествами были обширный яблоневый сад, большой, обсаженный ракитами пруд, извилистая, изобилующая раками речка, грядки с клубникой и та большая свобода, которой там пользовались дети (по сравнению с Аладиным).

В XIX веке Радождево принадлежало отставному военному Александру Павловичу Запольскому, женатому вторым браком на Прасковье Алексеевне Бибиковой. Семья Бибиковых владела сравнительно крупным (по масштабам Калужской губернии) поместьем при селе Попелеве, в другом конце уезда, которое перешло к старшей дочери Бибиковых Александре Алексеевне, бывшей замужем за Василием Владимировичем Воейковым. В описываемое мною время старика Запольского уже не было в живых. Сильно заложенное Радождево унаследовал его сын от первого брака Николай Александрович, наш земский начальник, человек очень симпатичный и столь же беззаботный, а находящееся близ Козельска Попелево

было куплено у разорившегося Воейкова князем Алексеем Алексеевичем Вяземским.

Слыша, что Радождево два раза в год систематически назначается на торги за неуплату процентов в Дворянский банк, дедушка укоризненно качал головой и удивлялся легкомыслию Запольского. Однако, может быть, потому, что последний принадлежал к тем незлобивым птицам небесным, которые не пекутся о завтрашнем дне, судьба его хранила: всегда находились люди, которые его выручали в последнюю минуту, и Радождево уцелело до 1915 года, когда было благополучно продано полковнику Кирьякову.

В бытность свою на военной службе в Харькове, Николай Александрович женился на вдове своего однополчанина, носившей не легко произносимую польскую фамилию Вржец. Поселившись в Радождеве, Мария Аркадьевна быстро привыкла к деревенской жизни, стала хорошей хозяйкой, целый день наводила в доме чистоту, лишь изредка вспоминая родную Хохляндию, вечера в Харьковском офицерском собрании и то, как ловко она умела отваживать местных донжуанов. Бабушке особенно нравился один ее рассказ: «Иду это я с двумя приятельницами по улице. Стоят два офицера и бросают нам вслед: "Три грации!", а я не задумываясь: "Два дурака!"»

Дочь Марии Аркадьевны от первого брака, Валя Вржец, по окончании Николаевского института должна была поступить учительницей в Радождевскую церковно-приходскую школу, так как получаемая ею за отца незначительная пенсия никак не могла покрыть ее бюджета и не давала возможности хотя бы изредка выписывать какой-нибудь соблазнительный предмет из отдела дамских мод каталога фирмы «Мюр и Мерелиз». Несмотря на большую разницу лет, между мною и Валей существовал какой-то антагонизм — меня раздражали и ее претенциозный тон, и ее гортанное произношение буквы «г», и, главным образом, начальственный тон в отношении младших сестер — моих приятельниц.

Однажды (это было в начале 1907 года), вернувшись с уездного земского собрания, Николай Александрович Запольский сказал, что определил свою падчерицу в гувернантки к младшим детям княгини Марии Владимировны

Вяземской и ей предстоит переехать в имение Отрада в десяти верстах от Козельска. Уже давно наше любопытство возбуждала неведомая нам веселая богемная жизнь, которая шла в окрестностях этого города. Молва доносила до Аладина имя неотразимой княгини Марии Владимировны, урожденной Блохиной, прозванной Захват, потому что к ее ногам поочередно слагали сердца все окрестные помещики, по странной случайности носившие как на подбор имя Алексей (князь Алексей Алексеевич Вяземский, князь Алексей Дмитриевич Оболенский, Алексей Николаевич Домогацкий, Алексей Николаевич Ергольский).

И вот в эту запретную для нас зону должна была проникнуть Валя. Мы надеялись, что край завесы приоткроется и мы узнаем что-нибудь интересное. (Под словом «мы» я подразумеваю себя, девочек Запольских и отчасти двоюродного брата Сережу.) К семье Вяземских я вернусь позднее, а сейчас скажу несколько слов о своих радождевских приятельницах, главным образом о старшей из них — Ляле (Ольге), с которой меня связывает многолетняя дружба.

В описываемое мною время она напоминала годовалого жеребенка-стригуна — худенькая, голенастая, резкая в движениях. Глаза у Ляли были серые, с темными кругами, прямой нос и яркие губы на бледном лице. Она была молчалива, может быть, немного упряма. Поверхностные наблюдатели, вроде аладинских взрослых, называли ее «рыбой», но я с ними не соглашалась и даже в очень юные годы признавала в Ляле лежавшие «в потенциале» сильные черты благородства и прямоты. Катя Запольская — милая, веселая, похожая на китаяночку девочка, была года на четыре моложе нас, но неизменно принимала участие в наших предприятиях, увлечениях и спорах.

Дядя Коля Шереметев был связан с Николаем Александровичем охотничьей дружбой. В десяти верстах от Аладина по берегам Жиздры тянулись обширные леса, принадлежавшие Розалии Ивановне фон Шлиппе, урожденной Фальц-Фейн. Леса эти изобиловали озерами и юго-западным своим краем сливались с так называемыми Брынскими лесами. Вот в эти-то места часто устремлялись

дядя Коля, Запольский, радождевский садовник Кирилл и аладинский садовник Гаврила в сопровождении собак Альфы и Дьянки.

Дядя Коля особенно любил осеннюю охоту на рябчиков с пищиком и на тетеревов. Добросовестно исходив десятки верст, охотники устраивали привал в сторожке какого-нибудь лесного сторожа (сторожа эти носили на западноевропейский манер каскетки с инициалами РФШ и называли хозяйку, которой никогда не видали, «Лазорь Ивановна»).

На привалах открывались корзинки с провизией, откупоривались охотничьи фляги и начинались удивительные рассказы радождевского Кирилла, великого мастера новеллы (его рассказ «О бесстрашном дворянине» опубликован, со слов дяди Коли, Николаем Васильевичем Давыдовым в книге воспоминаний).

Отправляя дядю Колю на охоту, мама строго контролировала содержание его фляжки, но упускала из виду, что во всяком населенном пункте имеется предприимчивая шинкарка, при содействии которой «брынские стрелки» могли удвоить выданную им дома дозу.

Однажды (это было, кажется, летом 1904 года) Николай Александрович привез в Аладино своего крестника, сына своего друга Сергея Николаевича Аксакова — Бориса, который должен был принять участие в охоте. Борис Аксаков в то время был кадетом старшего класса 2-го кадетского корпуса. Это был складный юноша лет восемнадцати с продолговатым лицом, умными глазами и маленьким ртом. Про него было известно, что он прекрасно учится и «подает большие надежды».

Позавтракав в Аладине, охотники уехали, и Борис Аксаков исчез из моего поля зрения до 1906 года. Через Запольских доходили слухи, что он вышел в Павловское юнкерское училище, как первый ученик получил нашивки фельдфебеля, но перед самыми выпускными экзаменами заболел тяжелой формой тифа, задержавшей его выпуск на целый год.

Семейная жизнь его родителей была весьма своеобразна. В 1912 году говорили: Сергей Николаевич Аксаков уже двенадцать лет не разговаривает со своей женой,

живя с ней в одном доме. Желая получить стакан чая от сидящей за самоваром Марии Ипполитовны, он приказывает кому-нибудь из детей: «Скажи своей матери, чтоб она налила мне стакан чая». Если так говорили в 1912 году, значит, в описываемое мною время супруги Аксаковы молчали уже пять лет. Местом, где развертывались эти странные отношения, было сельцо Антипово, расположенное на высоком берегу извилистой реки Серёны, притока Жиздры. Антипово было последним куском воейковских владений в Козельском уезде, оставшимся в семье. Мать Сергея Николаевича Аксакова, Юлия Владимировна, была сестрой Василия Владимировича Воейкова, владельца Попелева. Она унаследовала небольшой кусок земли, на котором не было усадьбы. В старину в Антипове процветала ореховая ферма, там давили масло из плодов росшего на берегах Серёны орешника.

Зиму и лето Юлия Владимировна жила в Калуге, в своем доме на Нижней Садовой улице, а именье при жизни отдала любимому старшему сыну Сергею, который после военной службы перешел на службу в земство и нуждался в земельном цензе.

Даже люди, страдавшие от «аксаковского характера» (в Козельском уезде его считали синонимом чего-то очень неприятного), не отрицали того, что Сергей Николаевич был умным человеком. Скверный характер его к тому же проявлялся только в семье и отчасти на службе, в обществе же Сергей Николаевич был неузнаваем и внешность имел приятную. Он был, как говорили провинциальные дамы, «жгучий брюнет», высокого роста, худощавый, с откинутыми назад густыми волосами.

Теоретические рассуждения его о сельском хозяйстве, политике, экономике были умны, но все практические мероприятия не удавались. Войдя во владение Антиповым, Аксаков принялся строить дом. Строительный материал оказался пораженным грибком, балки разрушались, грозили обвалом, и дом требовал постоянного ремонта. В 1906 году ему вздумалось варить в Антипове яблочную пастилу, чтобы коммерчески использовать урожай фруктового сада. Закупили оборудование для производства яблочного теста, но предприятие оказалось нерентабельным и было прикрыто. В один из последующих годов

ячмень с площади в 5 десятин, собранный с поля сырым, пророс в амбаре. Сергей Николаевич выписал за 900 руб. громадную американскую сушилку, которая не поместилась ни в одном сарае. Для машины пришлось построить особый навес, где она стояла без употребления и ржавела много лет, вплоть до того времени, когда перешла вместе со всем остальным в народное достояние.

Прежде чем отклониться от темы об Аксаковых, добавлю, что, кроме Бориса, у Сергея Николаевича было четверо детей: дочери Ксения, Нина и Вера и младший сын Сергей, смуглый, черноглазый, похожий на отца мальчик, родившийся незадолго до того, как Сергей Николаевич перестал разговаривать с женой. Девочки учились в Калужской гимназии; летом я их иногда встречала у Запольских.

Все эти лица еще появятся на страницах моих воспоминаний. Сейчас же я хочу упомянуть о личности, поистине архаической, вошедшей в XX век непосредственно из гоголевских времен — помещице села Брынцы Елизавете Петровне Бабушкиной.

К крыльцу аладинского дома подъезжал иногда рыдван, обитый внутри полосатым тиком. К рессорам этого рыдвана был приделан ларь для вещей, так как экипаж этот относился еще к тем временам, когда люди путешествовали на перекладных. Из рыдвана выходила старушка в чепце, кринолине и в черных митенках. Это была приятельница давно умерших тетушек Чебышёвых Елизавета Петровна Бабушкина, дожившая в девичестве до глубокой старости и сохранившая в неприкосновенности главные черты своего характера: наивность и деликатность. Затерявшаяся в черных оборках, она мне казалась невесомой, и личико у нее было маленькое, с большими выпученными глазами и выдающейся нижней губой.

Жила Елизавета Петровна бедно. В парадных комнатах ее довольно большого и запущенного дома было ссыпано зерно, лежали яблоки, на окнах сушились пучки лекарственных трав, с потолка свешивалась паутина, а в спальне у хозяйки неизменно стояла корзина с наседкой. Единственной роскошью, которую дозволяла себе

эта милая старушка, была летняя варка варенья. В этом искусстве она считалась непревзойденной и к чайному столу в Брынцах подавалось по меньшей мере десять сортов варенья и смоквы. Двое слуг из местных крестьян — Дуняша и ее муж Федор — покровительственно-грубовато обслуживали барышню Елизавету Петровну до 1909 года, когда она умерла так же тихо и кротко, как и прожила свою жизнь.

С Елизаветой Петровной у меня связано воспоминание о богомолье, которое нами было предпринято в село Спас-Чекряк. В этом селе жил чтимый далеко за пределами своей округи священник, отец Георгий Коссов. К отцу Егору, считавшемуся прозорливым, люди шли за сотни верст, прося его советов и молитв. Дорога в Спас-Чекряк лежала на город Белев Тульской губернии, славившийся на всю страну яблочной пастилой братьев Прохоровых. Из Белева надо было ехать 30 верст на лошадях.

Два раза, вместе со старшими, я совершила такое паломничество; от первой поездки у меня осталось смутное воспоминание: помню только аскетическую внешность и проникновенный голос отца Георгия, служившего молебен в старой церкви (новая — только еще строилась) и сильную грозу, разразившуюся во время нашего пребывания в Спас-Чекряке. Молния ударила в нескольких шагах от меня и сбила с ног. К вечеру я стала совершенно желтая, поднялась тошнота и две недели меня лечили от желтухи, вызванной испугом.

В чем состояла беседа бабушки и мамы с отцом Егором, я достоверно не знаю (хотя имела на этот счет некоторые предположения), но когда через несколько лет в подобную поездку включились Сережа, Шурик и Ника, из отрывочных фраз я поняла, что отец Егор усмотрел что-то страшное в судьбе одного из младших мальчиков. Думаю теперь, что это касалось Ники, так как с точки зрения отца Егора «страшное» произошло именно с ним, а отнюдь не с Шуриком.

Мои догадки о предмете беседы бабушки и мамы с отцом Егором были основаны на том, что в то время аладинские умы волновало пришедшее из Петербурга известие: Валентина Гастоновна разводится с Курнаковым, чтобы выйти замуж за графа де Герна, скучноватого,

но очень благопристойного француза более чем средних лет. Второй развод в семье? Это становилось уже чем-то хроническим! Позицию непримиримости занял на этот раз дедушка, с которым на почве возмущения случилось даже несколько сердечных припадков. Бабушка отнеслась к делу более спокойно; с одной стороны, тетя Лина всегда была ее любимицей, с другой — против Курнакова было выдвинуто вполне обоснованное обвинение в пристрастии к алкоголю.

Николай Николаевич, уйдя из военной службы, поступил в правление одного из частных петербургских банков, и обществом тети Лины стали финансовые круги столицы. В доме Курнаковых, где когда-то звучали донские имена Граббе, Иловайские, Жеребцовы, теперь упоминали Варшавских, Гинзбургов и даже Митьку Рубинштейна. Я говорила о легкости, с которой моя тетка поддавалась внешним влияниям. Ее суждения часто грешили непоследовательностью, зато всегда выражались во весь голос и с большим апломбом.

Увлечением петербургского периода ее жизни стал балет. Толчком, направившим интересы тети Лины к этому виду искусства, было, я полагаю, то обстоятельство, что Виктор Дандре, с которым ее связывала старая, а следовательно нержавеющая любовь, из бедного студента превратился в небедного члена городской думы и женился на знаменитой Павловой 2-й. В квартире Курнаковых появился большой портрет этой поистине изумительной балерины. Тетя Лина абонировала ложу бельэтажа Мариинского театра и стала судить о тонкостях хореографического искусства с присущим ей апломбом. Особенно смешно было, когда слова матери о балете повторял хорошенький белокурый Ника, с большой тщательностью и любовью воспитываемый милейшей Эммой Александровной Бекман, много лет жившей в нашей семье в качестве гувернантки. В детские годы Ника посещал находившуюся на Литейном образцовую подготовительную школу «Kaiserschule», а потом автоматически перешел в среднюю «Annenschule». (И тут и там преподавание велось на немецком языке.)

Когда в 1906 году на орбиту тетилининой жизни попал граф де Герн, с ним вместе проникли новые и очень

сильные влияния. Граф был типичным представителем провинциального французского дворянства и ревностным католиком. Последнее обстоятельство отразилось на всем дальнейшем ходе жизни тети Лины, а пока что значительно осложнило ситуацию, поставив на ее пути к графской короне препятствия почти непреодолимые. Первое из них заключалось в том, что граф де Герн с давних пор был обвенчан с дочерью маркиза де Сегюра, а католическая церковь не признает развода, вернее, признает в самых исключительных случаях. К счастью для успеха данного дела, случай графа де Герна оказался как раз редчайшим и исключительным. Насколько я могла понять из ведшихся в моем присутствии разговоров, молодая супруга графа, именуемая моей теткой «cette horrible femme», выйдя из церкви, пожелала мужу всего хорошего и отправилась на квартиру к своему брату графу де Сегюру, с которым и прожила всю жизнь, появляясь в свете и фигурируя в заметках парижской хроники под именем графини де Герн.

Оставшись в одиночестве, граф удалился в родовое имение на севере Франции (около Дуэ) и зажил там, деля свои досуги между церковью и охотой. Вся его семья была клерикальной: две сестры постриглись в монахини, причем одна приняла такой строгий постриг, что видеть ее можно было очень редко и только через решетку. Семейные портреты, которые мне довелось видеть много позже в Париже, демонстрировали почтенные лица в одеждах католического духовенства или в мантиях высших чинов магистратуры. Рыцарские доспехи отсутствовали.

О материальных ресурсах семьи де Герн я ничего не знаю, слышала только, что граф потерпел финансовую катастрофу, отдав крупную сумму денег некоему Элидуасселю, прожектеру плантаций сахарного тростника на Кубе, и не получив ни франка обратно. Следствием потери личных средств стало то, что граф появился в Петербурге в качестве представителя французского капитала, вложенного в Макеевские металлургические заводы на юге России. Тут он познакомился с Валентиной Гастоновной, пленился ею и стал хлопотать о разводе.

Приняв в соображение исключительные обстоятельства дела, Ватикан удовлетворил прошение графа де Герна и расторг его фиктивный брак с *m-lle de Segur.* Главное препятствие было устранено, но оставалось второе, не менее серьезное. Католическая церковь, признавая православный брак, ни во что не ставит наш развод. Для того чтобы граф мог венчаться с разведенной православной церковью тетей Линой, нужно было получить *dispense du Pape*, то есть особое разрешение Святейшего престола. У ксендзов церкви святой Екатерины в Петербурге должен был состояться суд, и к моему отцу обратились от заинтересованных сторон с просьбой выступить в качестве свидетеля. Он должен был удостоверить, что, «самодурка-мать заставила бедную Лину, из соображений оголтелого национализма и лжепатриотизма, выйти по принуждению за казака Курнакова и забыть о храбром французе Дюфане де Шуазине». На эту просьбу папа смеясь сказал: «Когда речь заходит о том, чтобы рассказывать ужасы о моей невестке, я на всё готов!».

Ксендзы вняли столь убедительным доводам. *Dispense du Pape* была получена, и свадьба тети Лины с графом де Герном состоялась 19 августа 1906 года.

Против дяди Альберта ничего нельзя было возразить, кроме того, что он скучноват, и его добродетель сводилась к отсутствию крупных недостатков. С тетей Линой они ужились прекрасно. Бурная жизненная реакция моей тетки уравновешивалась равнодушием ее супруга ко всему, что выходило за узкий круг его интересов. Вместе с тем, граф не был лишен здравого смысла: слыша, как его жена с жаром ломает словесные копья по пустякам, он, пожимая плечами, говорил: «Tout ca ce sont des *razgovors*»*. (Слово «разговор» было единственным, которому граф научился за двенадцать лет жизни в России.) А в ответ на попытки тети Лины играть в молодоженов граф говорил: «Но Лина, моя дорогая подруга, не глупи. Я не Ромео — я старый джентльмен!»

Чтобы неприятные перипетии бракоразводного процесса не проходили у них на глазах, весною 1906 года бабушка и дедушка уехали за границу. Официальной причиной

* «Всё это razgovors».

назвали необходимость укрепить здоровье Сережи морскими купаниями. Аладино было предоставлено нам.

Нашему отъезду из Москвы предшествовало следующее событие: в конце мая, когда я перешла в 5-й класс, вещи были уже отправлены на вокзал и Альфа, чувствуя сборы, в ажиотаже бегала по комнатам, я почувствовала боль в том месте, где у людей находится аппендикс. Градусник показывал 39°, немедленно вызвали Аркадия Александровича, который констатировал приступ аппендицита и сказал, что осенью меня необходимо оперировать. В то время операция по поводу аппендицита считалась чем-то очень серьезным, и, хотя Аркадий Александрович с жаром рассказывал о блестящих достижениях в этой области хирурга Дуайена, меня очень смущала мысль жить все лето в предвидении операции. К тому же меня заставили дать слово, что я за лето не съем ни одной ягоды. Считалось, что косточка малины и даже зернышко земляники могут вызвать третий, и уже смертельный, приступ аппендицита.

Я честно выполняла все обязательства. Это было скучно, но, в конце концов, не нарушило летнего отдыха. Без бабушки и дедушки мы чувствовали себя свободнее, связь с Радождевым стала более тесной. Пятнадцатого августа там ежегодно праздновались именины хозяйки. Еще накануне съезжались гости из нашего конца уезда и из-под самого Козельска. На этот раз мы отправились в Радождево вдвоем с дядей Колей (мама была в Петербурге по случаю свадьбы сестры), и он явно чувствовал ответственность, вывозя в свет «молодую девицу».

У Запольских собралось человек двадцать гостей и среди них Сергей Николаевич Аксаков с сыном Борисом и дочерью Ксенией. В центре всеобщего внимания находилась впервые приехавшая в наши края в сопровождении своего дяди Петра Владимировича Блохина княжна Надежда Алексеевна Вяземская. Ей было лет двадцать пять. Красивою ее никак нельзя было назвать, но она не могла остаться незаметной. В ее лице с темными глазами, носом с горбинкой и большим ртом было что-то нерусское. Когда же Надя Вяземская под конец вечера выступила в цыганской пляске (а плясала она прекрасно!), я подумала, что через несколько лет она станет типичной

старой цыганкой. (Надежда Алексеевна Вахтина не дожила до этого и умерла в 1915 году от туберкулеза.)

К словам о том, что в центре внимания была Надя Вяземская, я должна внести небольшую поправку. Часам к девяти в центре моего внимания оказался Борис Аксаков, а часам к двенадцати он же оказался в центре внимания Нади Вяземской.

Именины прошли очень весело — танцевали, играли в шарады, ужинали на террасе. Предполагалось, что празднование продолжится до рассвета, когда подадут лошадей и Борис Аксаков поедет на станцию, чтобы вовремя быть в Красносельских лагерях. С ним вместе должна была ехать родственница Запольских и Аксаковых Анастасия Васильевна Воейкова.

Я находилась в самом веселом настроении, когда ровно в десять передо мной предстал дядя Коля и голосом, не допускающим возражений, предложил мне идти спать. Делать было нечего. Я удалилась, кляня свою судьбу, но решила перехитрить всех: бодрствовать до рассвета и, когда будет уезжать Борис Аксаков, выйти на крыльцо под предлогом проводов Анастасии Васильевны. Как всегда бывает в подобных случаях, перед самым рассветом я крепко уснула и проснулась только от звона бубенцов у подъезда. Когда я поспешно выскочила на крыльцо, отъезжающие уже сидели в экипаже. Борис Аксаков удивленно спросил меня: «Почему вы так рано встали?» Пробормотав что-то не очень связное, я пожала ему руку, подождала на крыльце, пока за прудом не замолкнут бубенцы, и пошла спать.

Наутро моросил дождь. Я грустно бродила по двору, обвиняя дядю Колю, когда разбитная веселая скотница Меланья нанесла мне сокрушительный удар словами: «Ах, барышня, что же вы так рано ушли! Как весело-то было. Я всё в окошко смотрела: и пели, и танцевали, а молодой Аксаков барышням всё ручки целовал!»

Через неделю вернулась мама, и мы поехали в Москву. Пятого сентября я лежала на операционном столе в хирургической лечебнице Ошмана на Арбате, а когда поправилась, решила, что хлороформ излечил меня от моей несчастной «любви».

Аркадий Александрович в период моего выздоровления подробно рассказывал мне ход операции и вложил в мою душу крупицу энтузиазма в отношении хирургии. Со свойственной мне непосредственностью я направо и налево читала лекции об аппендектомии.

Но возвращаюсь к Козельскому уезду. В восьми верстах от Аладина находилась деревушка Опаленки. Там стоял невзрачный дом, принадлежавший Марионелле Моисеевне Кашкаровой (в округе ее называли Мандриллой Моисеевной). Этой уже пожилой особе молва приписывала магическую способность заговаривать. Крестьянки ходили к ней гадать на картах, неся кур, яйца и холсты, и как огня боялись ее «плохого глаза». Кроме даров магии, у Марионеллы была еще хорошенькой дочь Анета, у которой были темные глазки, невероятно яркий румянец во всю щеку, столь же невероятно тонкая талия и крутые бока. Зимой мать и дочь жили в городе Козлове Тамбовской губернии, а летом приезжали в Опаленки. (В Козлове у Кашкаровых жила в прислугах девушка, сделавшая столь блестящую карьеру, что ей будет посвящена целая глава моего повествования. Но об этом в свое время!)

Знакомство между Аладиным и Опаленками не велось. Когда-то, в незапамятные времена, бабушка отправилась отдать визит соседке, но обстановка (колода засаленных карт на столе и груда столь же «чистых» подушек в розовых наволочках на кровати) ей не понравилась, и на этом отношения с Кашкаровой закончились.

Пришел, однако, день, когда за завтраком бабушка окинула всех грозным взглядом и внушительно сказала: «Сашенька и Эмма Александровна! Прошу вас, чтобы дети теперь одни в парк не ходили. Там бывает Вяземский с Кашкаровой!»

Дело в том, что накануне аладинская управительница Соня (бывшая горничная, вышедшая замуж за арендатора-мельника) прибежала с известием, что молодой князь Вяземский (брат упоминавшейся Нади) и девица Кашкарова приехали верхом в сосенник, привязали лошадей и стали гулять по дорожкам, попирая суверенные права владелицы.

Замечаю, что течение моего рассказа снова подводит меня к семье Вяземских, и попытаюсь здесь сообщить то, что я знаю о ее членах, отчасти со слов других, отчасти по собственным наблюдениям.

Купивший у Воейкова Попелево князь Алексей Алексеевич Вяземский был тихий человек очень высокого роста, любивший сидеть дома и трудиться за токарным станком. О его жене, Марии Владимировне, я уже говорила, добавлю только, что эта по природе своей умная, властная и взбалмошная женщина имела способность создавать вокруг себя цыганский табор: постоянные поклонники, гости и приживальщики составляли пеструю и шумную ее свиту.

В конце 80-х годов в списке поклонников Марии Владимировны числился сосед по имению князь Алексей Дмитриевич Оболенский, впоследствии обер-прокурор Священного Синода. Село Березичи, принадлежащее Оболенским, стояло на берегу Жиздры по другую сторону Козельска и упоминалось мною в связи с тем, что его владелец, дед Алексея Дмитриевича, был дружен с Чебышёвыми и, как предводитель дворянства, содействовал помещению сумасшедшего Афанасия Григорьевича в Калужскую больницу. Тетушки Анна и Авдотья Афанасьевны еще поддерживали отношения с Дарьей Петровной, матерью Алексея Дмитриевича, но впоследствии отношения между Березичами и Аладиным заглохли.

Сыновья Дарьи Петровны сделали блестящую служебную и придворную карьеру благодаря выгодным женитьбам и близкой дружбе младшего из них, Николая Дмитриевича (так называемого Котика Оболенского), с наследником, впоследствии Николаем II. Это породило светскую поговорку о том, что «Оболенские живут котиковым промыслом».

Алексей Дмитриевич был человек небольшого роста с лицом монгольского склада, умный и весьма осторожный. В губернии его называли «лукавый царедворец». Собираясь жениться на княжне Салтыковой, он, во избежание всяких конфликтов, исхлопотал Алексею Алексеевичу место могилевского вице-губернатора, и Мария Владимировна вместе с окружавшим ее табором на несколько лет перекочевала в Могилев.

Детей у Вяземских было двое: Надежда и Владимир. Воспитание они получили довольно беспорядочное: Надя почему-то училась в Могилевском епархиальном училище, а Володя был отдан в Орловский корпус, откуда его исключили потом за какую-то шалость.

В конце 90-х годов Алексей Алексеевич ушел в отставку и поселился в Попелеве — с Надей и Володей, тогда как Мария Владимировна, забрав младших своих детей, Прасковью и Николая, переехала к их фактическому отцу Алексею Николаевичу Ергольскому. Именье Ергольских Клюксы стояло на левом берегу Жиздры, немного выше Березичей. Деревни к югу от Козельска до сих пор хранят в своих названиях следы татарского нашествия — первая же в этом направлении деревушка, где в 1332 году стояла осаждавшая Козельск рать, так и называется Орденки.

Клюксы унаследовал неженатый Андрей Николаевич Ергольский. Алексей же Николаевич, получив лесной участок на правом берегу реки, построил там дачу под названием «Отрада». Туда-то и поехала старшая дочь Марии Аркадьевны Запольской в качестве гувернантки.

В ближайшем окружении Марии Владимировны постоянно присутствовали два ее брата Петр и Алексей Блохины. Первый в молодости служил в каком-то кавалерийском полку, в каком именно выяснить было трудно, так как он постоянно менял околыши своей фуражки, а рассказы его были сбивчивы; он оказывался то «павлоградцем», то «глуховцем». Представляясь, Петр Владимирович говорил: «штаб-ротмистр Государя моего!»

У Петра Владимировича было небольшое имение на берегу Серёны, где он жил со своей многочисленной, но не совсем «оформленной» семьей. Семья эта состояла из Надежды Васильевны, по первому мужу Заседателевой, и многочисленных детей, которых Петр Владимирович постепенно «оформлял». Часть зимы Петр Владимирович проводил в Москве. Он знал толк в лошадях и до самой революции служил стартером на бегах. Вращаясь в обществе коннозаводчиков, Петр Владимирович обладал некоторым светским лоском, чего никак нельзя было сказать о его брате Алексее; последний, покинув свою жену (которая была дочерью дьячка) и ее многочисленное

потомство на попечение сестры, Марии Владимировны, сошелся с попелевской крестьянкой Фионой и поселился в деревне, отличаясь от остальных мужиков только тем, что больше дрался и требовал к себе некоторого почтения как к барину. Вместе с тем он был умнее брата Петра, не предавался фантастике и трезво смотрел на вещи. В 1902 году Алексей Алексеевич умер и был похоронен в ограде попелевской церкви. По его завещанию, младшие дети не только унаследовали его имя, но получили наиболее ценную часть имущества — имение Церлево в Темниковском уезде Тамбовской губернии. За сыном Владимиром осталось Попелево; Надежде Алексеевне было выделено небольшое поместье Плюсково на реке Серёне, стоявшее против аксаковского Антипова, но жить она временно осталась с братом в Попелеве.

После смерти отца Владимир Вяземский всецело подпал под влияние дядюшек Блохиных, что отнюдь не способствовало упорядочению его жизни. По комнатам попелевского дома бродили собаки, повсюду валялись уздечки, нагайки и охотничьи принадлежности. Главное богатство Попелева — сорокадесятинный фруктовый сад — был весьма невыгодно сдан в долгосрочную аренду. Остальное хозяйство перешло в руки Алексея Владимировича, а молодой хозяин проводил время на охоте у матери в «Отраде» и в разъездах по округе. На деревне ни одна свадьба, ни один престольный праздник не обходился без него. Крестьяне любили «простого» барина, шли к нему и за веревкой, и за бороной, как в собственный сарай, и не обижались, если он, по пьяному делу, давал кому-нибудь по шее.

Внешне Вяземский в ту пору был типичным «добрым молодцем». Громадного роста — всегда на полголовы выше самых высоких окружающих, с волосами, расчесанными на прямой пробор, низким лбом, круглым лицом, серыми, оттененными темными ресницами глазами, он не мог назваться красивым, но был во всяком случае видным малым.

Летом 1907 года мама и тетя Лина сидели в ожидании поезда на станции Сухиничи-Узловые. В зал шумно вломились два пассажира: Владимир Вяземский в белой поддевке и дворянской фуражке (той самой, которая

называлась «не бей меня») и Илья Львович Толстой. Мама и ее сестра в то время были с ними не знакомы, но из разговоров вновь прибывших можно было понять, что они едут из «Отрады» в Калугу. Оба находились в приподнятом настроении. Калужский поезд опаздывал. Ждать было скучно, и оба путешественника, еще раз подкрепившись в буфете, принялись вымещать свой гнев на дежурном по станции, причем это делалось способами не только не соответствующими теории непротивления злу, но переносившими в эпоху пушкинских станционных смотрителей и нетерпеливых фельдъегерей. Мама рассказывала об этой сцене с порицанием, а более радикально настроенная тетя Лина — с ярым возмущением.

Возвращаюсь на полгода назад. Когда Борис Аксаков осенью 1906 года вернулся в училище, оказалось, что перенесенный им тиф дал осложнение — потерю памяти. Принимая во внимание, что в корпусе и в училище Аксаков шел первым, начальство и доктора направили его на отдых в деревню. Борис поселился на зиму в Антипове, где в то время жили его мать и сестра Ксения, работавшая учительницей в местной школе. Отец приставил Бориса к хозяйству и, в частности, к варке яблочного теста, а мать закармливала печеньем и окружала чрезмерными заботами, которые встречали с его стороны довольно холодный прием. Угодливость матери ему не импонировала; еще будучи кадетом, он проявлял какую-то странную нелюбовь к внешнему проявлению чувств. Когда весь год ожидавшая его приезда на вакации мать выбегала на крыльцо, чтобы его обнять, он спешил ее отстранить под предлогом, что запылился в дороге, что ему надо умыться, прежде чем здороваться, словом, сразу окатывал ее ведром холодной воды. Эта черта осталась в нем на всю жизнь.

Соседство двух ничем по существу не занятых молодых людей, какими были в ту пору Вяземский и Аксаков, привело к тому, что их жизнь превратилась в сплошные разъезды и развлечения. Своего апогея веселье в Козельском уезде достигло на святках, когда молодежь под предводительством Марии Владимировны Вяземской организовала группу ряженых, которые под видом колоды карт разъезжали по соседям, распевая тут же сочиненные на злобу дня стихи, объединенные в поэму «Козелиаду».

Внимание, которое Надя Вяземская начала уделять Борису Аксакову на именинах у Запольских, перешло в нечто более серьезное; произошел разговор, после которого Борис, уезжая в Петербург, написал Наде письмо следующего содержания: «Если Вы переведете значение Вашего имени на французский язык (*Espérance*), то в том слове Вы найдете то, что является препятствием для достижения Вашей или нашей /я не знаю, как точно было написано/ цели (*Père*)»*.

Весною Борис был выпущен из училища в Московский полк. Надя Вяземская (*par dépit*)** вышла замуж за ничем не примечательного офицера Бахтина, вскоре умершего от туберкулеза, и переселилась в Плюсково. На этом я покидаю Вяземских, Блохиных и Аксаковых, чтобы снова встретиться с ними шестью годами позднее, то есть в 1913 году.

В 1907 году большой аладинский дом подвергся капитальному ремонту. Бабушка и дедушка переселились во флигель, а мы провели лето в Радождево, что еще более укрепило мою дружбу с Лялей и Катей Запольскими, которых я аккуратно посещала зимой в московском Дворянском институте (после того как маме удалось определить их обеих в это вновь открывшееся первоклассное учебное заведение на стипендии).

В Дворянском институте, поместившемся в Запасном дворце у Красных ворот, все было поставлено на широкую ногу. Достаточно сказать, что инспектором музыки был Рахманинов, зубы институткам лечил лучший московский дантист Янковский, французскую литературу преподавал гувернер Владимира Долгорукова mr. Portier, начальницей была большая умница и великий дипломат Ольга Анатольевна Талызина и даже классные дамы, все как на подбор, оказались красивы и приятны (у Кати Запольской классной дамой была прелестная Ольга Михайловна Глебова, мать Сергея Михалкова, обладавшая неисчерпаемой фантазией и славившаяся среди институток как великий мастер новеллы).

* *Père* — отец (*франц.*).

** С досады (*франц.*).

Поднимаясь в воскресные дни по широкой мраморной лестнице, я читала слова, начертанные золотыми буквами на мраморной доске: «Отцы и матери да потщатся воспитать детей своих, будущий род дворянства Российского...» — и проходила в двухсветный зал. Неслышно скользя по блестящему паркету, ко мне подбегали Катя и Ляля в белых пелеринках и рукавчиках, мы чинно садились и беседовали вплоть до звонка, возвещавшего конец приема.

Среди институток я видела много знакомых лиц, например, девочек Львовых, с которыми танцевала у Трубецких, Вареньку Ланскую, сестер Туркестановых. В зале слышался гул от приглушенных разговоров, звон шпор какого-нибудь военного отца или брата и шуршанье шелкового платья проходящей классной дамы. Все было чинно, но в Дворянском институте не чувствовалось той казенщины и рутины, которые неизменно встречались в описании закрытых учебных заведений прошлого века. Воспитанницы получали очень много, как в смысле материальных забот, так и в смысле умственного развития, и вполне понятно, что в дальнейшей жизни многие из них вспоминали о доме у Красных ворот как о «потерянном рае».

Спохватившись, что настоящая часть моих воспоминаний носит название «Летние впечатления», а воспоминания о Дворянском институте являются «не летними», а исключительно «зимними», — я быстро меняю тему своего рассказа.

Имение Розалии Ивановны Шлиппе Колодези, в продолжение нескольких лет находилось в ведении управляющего барона Мирбаха. До Аладина доходили слухи, что барон этот пьянствует и народ им очень недоволен. Колодези считались наиболее революционно настроенным селом Козельского уезда, и при Мирбахе были случаи намеренного поджога помещичьего хлеба.

В 1908 году Шлиппе, жившие зимой в Риге, а летом в имении Немерзкое Мещевского уезда, уволили Мирбаха, и в Колодези отправился их третий сын Николай Густавович. Бабушка и дедушка давно знали Колю Шлиппе, который в бытность свою в Морском корпусе ходил к ним в отпуск. Бабушка имела к нему предвзятую склонность,

как к моряку, но и вполне объективные наблюдения заставляли ее и дедушку говорить: «Николай Шлиппе — ценный юноша». Служа мичманом на броненосце «Петропавловск», Шлиппе был на борту вместе с Макаровым и Верещагиным в момент трагической гибели этого судна от японской мины 31 марта 1904 года. Из всей команды осталось семь человек: великий князь Кирилл Владимирович, мичман Шлиппе и пять матросов. Когда летом 1908 года вышедший в запас флота Николай Густавович поселился в Колодезях, мы, то есть девочки Запольские и я, окружили его ореолом славы, с почтением смотрели на шрам за его ухом — след ранения во время взрыва, и даже сложили песню, начинавшуюся словами: «Коля Шлиппе появился как звезда на небесах».

Окидывая прошлое беспристрастным взглядом, я теперь вижу, что в Николае Густавовиче не было ничего романтического и его образ принимал романтические черты только будучи пропущен через призму нашего воображения. Это был молодой человек высокого роста, не очень красивый, с рыжими усами, благовоспитанный и добродетельный.

В 1909 году родители Шлиппе решили строить в другом своем имении, Чернышине Жиздренского уезда, фанерный завод и приставили к этому делу Николая, Колодези же отдали в пользование и управление сыну Льву, художнику, только что приехавшему со своей молодой женой из Флоренции. С их приездом на стенах обширного и пустоватого колодезского дома засверкали яркие краски итальянских пейзажей кисти хозяина. Юная Ингеборг внешне напоминала рафаэлевскую мадонну.

Лев Густавович писал картины в импрессионистической манере и, насколько я могу судить теперь, был безусловно талантлив. К стыду моего семейства, бабушка, мама, а за ними и я недооценивали прекрасного колорита многих его полотен и высказывали довольно устарелые или, вернее, безграмотные суждения, которые милейший Левушка выслушивал с великим терпением и кротостью. Тем более он был поражен, когда приехавший в 1911 году в Колодези 16-летний Шурик проявил тонкий художественный вкус. Помню, как мельком взглянув на висевшую на стене гравюру, он сразу определил,

что это Гойя, чем привел в восторг хозяина, никак не ожидавшего таких познаний в юном лицеисте.

Хозяйство Лев Густавович вел старательно, но, по доброте и простодушию, бывал часто обманут. К пьянствовавшим и обкрадывающим его людям он применял «нравственное воздействие», как повар в крыловской басне. В исключительно тяжелых случаях он грозил занести виновного в какую-то «черную книгу», которой вообще не существовало. В рижской школе, где учился Лев Густавович, вероятно, была такая мера воздействия на учеников: занесение в «черную книгу», но на колодезских жителей она не действовала.

Когда я приезжала в Колодези, хозяин, проводив меня по усадьбе, любезно показывал мне выписанную из Риги сиверскую сушилку, хотя я к ней никакого отношения не имела. Вообще, я замечала, что на рижан моя фамилия производила гораздо большее впечатление, чем на жителей других мест. Рекорд в этом отношении был побит в 1935 году женой саратовского профессора Попова, женщиной добродушной, но малокультурной. Находясь в ссылке, я брала заказы на бисерные работы и вышивки. В числе моих заказчиц была вышеупомянутая профессорша, которая, не зная моей девичьей фамилии, пришла мне сообщить: «Ах, Татьяна Александровна! Говорят, у нас есть высланные ленинградцы до того важные, до того знатные, что я даже передать не могу! Под Ленинградом есть станция Сиверская, так что думали?! Говорят, что Сиверская сама здесь!»

Профессорша никак не могла понять, что «Сиверская» — это я, а также ее трудно было убедить, что милый, скромный Николай Михайлович Ланской, у которого она покупала акварельные виды Ленинграда, — тоже «станция».

Заканчиваю на этом главу «Летние впечатления», из которой я порой вырывалась на целые десятилетия вперед, чтобы в следующей главе сказать несколько слов о московском Строгановском училище прикладного искусства, куда я поступила по окончании Арсеньевской гимназии.

Строгановское училище

В 1900-х годах в Москве заметно возрос интерес к русской старине. Выражением этого была строго выдержанная в стиле эпохи постановка «Царя Федора Иоанновича» в Художественном театре, имевшая громадный успех.

Старорусские обычаи, жилища, одежда, утварь — все это становится предметом тщательного изучения. Отбросив псевдорусский стиль Александра III с его бревенчатыми избами и петушками на полотенцах, искусствоведы широко знакомят публику с древнерусским зодчеством, северной резьбой и росписью по дереву, образцами иконописного, чеканного и керамического мастерства. Щусев строит на Большой Ордынке церковь по древнепсковским образцам (для Марфо-Мариинской общины), а Нестеров украшает ее чудесными фресками на тему «Просветленная христианская Русь». И наряду с этими мастерами большого искусства к старорусским образцам тянется множество художников прикладного искусства, объединяющихся вокруг Строгановского училища.

Об этой школе я услышала от поступившей в 8-й класс нашей гимназии Нины Адриановой, отец которой, военный юрист по образованию, с 1909 года был назначен московским градоначальником. Семья Адриановых состояла из родителей, дочери и сына. По отзывам знавших его людей, генерал был умным и скромным человеком. Генеральша же при всех ее добродетелях умом не отличалась, и посетителю ее приемных дней казалось, что он попал в гостиную какой-нибудь губернаторши гоголевских времен. Томно закатывая глаза и изрекая общеизвестные истины, Анастасия Андреевна строго следила за ритуалом своих журфиксов и движением бровей указывала чиновнику особых поручений Пестову, кого и как надо встретить и проводить.

Хорошенькая дочь Адриановых Нина (по-настоящему Анна), подобно матери была заражена чиновничьей спесью, но в противовес матери была, безусловно, умна.

В Нине чувствовалась холодная рассудочность, совершенно исключавшая свойственную мне «московскую непосредственность».

В гимназии она держала себя гордо и поддерживала отношения только с Верой Мартыновой, бывшей с ней в одном классе, и со мной, бывшей на один класс моложе. На переменах она говорила нам, что по окончании восьми классов собирается поступить в Строгановское училище (которым особенно интересуется великая княгиня Елизавета Федоровна), и убеждала меня последовать ее примеру.

Не признавая в себе художественных талантов, я все же решила, что для прикладного искусства моих возможностей хватит, и весною 1910 года мы с мамой отправились на Рождественку к директору училища Николаю Васильевичу Глобе, чтобы узнать условия приема и занятий.

Ведущая роль в художественной жизни города принадлежала Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, давшему России Левитана, Поленова, Саврасова и многих других прекрасных художников. Директором там был князь Алексей Евгеньевич Львов, человек просвещенный, мягкий, никогда не оказывающий начальственного давления на преподавателей и учащихся и пользующийся их уважением. Строгановское училище, поскольку оно было лишь «художественно-промышленным», должно было держать себя значительно скромнее, но «великий рекламист» Глоба, вступив на пост директора, сумел создать вокруг своего учреждения большую шумиху. Он был плохим художником, но прекрасным организатором, человеком властным, любящим слушать свои собственные речи. В результате его руководства Строгановское училище в короткий срок покинули многие талантливые преподаватели (в том числе архитектор Жолтовский), не желавшие подчиняться деспотической воле и подчас бездарным (в художественном смысле) указаниям; но зато широкой рекой потекли министерские дотации и выгодные заказы. Строгановское училище стало неизменно получать павильоны на всех отечественных и международных выставках.

Когда мама и я вошли в директорский кабинет, заваленный рисунками, чертежами и образцами продукции

двенадцати мастерских училища, нас весьма любезно встретил высокий, смуглый человек лет сорока пяти. Я сразу же решила, что если на директора надеть «венец и бармы Мономаха», он будет прекрасным типажом для Бориса Годунова. Николай Васильевич Глоба высоко держал голову с зачесанными назад, слегка седеющими волосами. У него был острый живой взгляд, нос с горбинкой и небольшая темная борода. Говорил он много, громко и сам себя слушал.

Приветственно отнесясь к моему желанию заняться прикладным искусством, он сразу сел на своего любимого конька — заговорил о низком уровне художественного вкуса русской интеллигенции. Далее последовал рассказ о том, что в Париже якобы производится особый вид низкосортных товаров «для негров и русских дам», любящих все заграничное и не ценящих народное искусство. Этот рассказ я слышала потом всякий раз, когда Глоба проводил по помещениям школы посторонних посетителей, а это бывало очень часто.

Прослушав директорскую вступительную речь, я узнала, что в училище, кроме прохождения обязательных предметов — рисования, черчения, стилизации, истории искусств, — необходимо избрать какую-нибудь мастерскую и ежедневно работать в ней сначала по чужим, а потом по своим рисункам. Николай Васильевич особенно расхваливал керамическую мастерскую, которая действительно была гордостью школы. Майоликовые вазы с отливом и «с морозом» были очень красивы, так же как и выпускаемые керамической мастерской фигуры русских баб в самых разнообразных кокошниках и сарафанах. Кроме того, имелись мастерские: чеканная, резьбы по дереву, витражная, тиснения по коже, ткацкая, литографская, макетная (театральные декорации), ювелирная и вышивальная, которую в конце концов избрала я.

Все, что производили мастерские, можно было видеть в прекрасно оформленной витрине магазина училища, и не только видеть, но и купить (по очень высоким ценам).

Курс обучения состоял из приготовительного (вернее, испытательного) класса и пяти основных. На Мясницкой улице помещалось, кроме того, общеобразовательное отделение для мальчиков-подростков, которые должны были

учиться восемь лет. Они носили черные тужурки с красными кантами и вензелями И.С.У. (Императорское Строгановское училище) и, несмотря на попытки Глобы устроить для них строгий режим, живя под эгидой полковника Вишневского, представляли собой довольно буйную ватагу. В классы на Рождественке они переходили уже взрослыми юношами, более или менее усмиренными и дающими нам себя эксплуатировать по части точения карандашей, натягивания пялец и даже выполнения заданий.

Несомненной ценностью Строгановского училища были музеи русского и китайского искусства, занимавшие весь первый этаж и располагавшиеся по правую и левую руку от вестибюля, куда также выходил и кабинет директора. Во второй этаж вела широкая чугунная лестница с литыми решетчатыми ступенями и большим зеркалом на первой площадке. Стены коридоров второго этажа были увешаны лучшими рисунками учащихся за истекший период учебного года. Тут, во втором этаже, находилась богатейшая библиотека.

Часы работы в музее и библиотеке я вспоминаю с особым удовольствием. Забрав к себе на стол «Бобринского»*, Солнцева** или «Ровинского»***, я старалась сделать в своем альбоме как можно больше зарисовок (это называлось «сдирать»), в твердом убеждении, что все равно лучше старых образцов я ничего не выдумаю и все мастерство композиции заключается в грамотном сочетании уже имеющегося в природе или в искусстве материала. Для того чтобы создать что-нибудь совсем новое — надо быть гением, да и гении, в конце концов, только перерабатывают полученные ими извне впечатления!

Поступив, как полагалось, в приготовительный класс, где занятия велись в вечерние часы, я пробыла в нем лишь два-три месяца и была зачислена на основной курс. Труднее всего мне давалось рисование с натуры. На середину класса выносили клетку с живым кроликом, лисой

---

* Знаменитый портрет Рокотова «Алексей Бобринский в детстве».

** Федор Григорьевич Солнцев (1801—1892) — создатель альбома рисунков «Древности Российского государства».

*** Речь идет, по всей видимости, об одном из знаменитых справочников по русским портретам и гравюре Дмитрия Александровича Ровинского (1824—1895).

или петухом, и мы должны были делать с этого зверя, который не желал сидеть спокойно, наброски во всех его позах и аспектах. Мои наброски были далеко не блестящи.

На уроках стилизации я чувствовала себя лучше. Тут вместо зверя перед нами ставили букет цветов или ветку какого-нибудь растения и предлагали перерабатывать то, что мы видим, в орнаментальную форму. Уже в приготовительном классе я узнала: для того чтобы служить декоративным целям, элементы, встречающиеся в природе, должны быть так или иначе переработаны художником. Их отнюдь нельзя подавать «в сыром виде», и для рисунка ткани или вышивки нет хуже комплимента, как: «Ах, какие чудные цветы! Совсем как живые!» Листья в растительном орнаменте не должны быть обязательно зелеными, и цветы нильского лотоса, превращаясь в капители египетских колонн, совсем не оставались «как живые».

Как мне кажется теперь, преподавание в Строгановском училище имело тот недостаток, что вновь поступающие не получали достаточно продуманного руководства. Предоставленные самим себе, они должны были на свой страх и риск разбираться во всем, что их окружало. Необходимые сведения они получали от старших товарищей и, главным образом, путем личного опыта.

Особенно ярко это сказывалось при работе в вышивальной мастерской, где не было никакого инструмента. Помню, сколь беспомощной я себя почувствовала в первый день, когда мне нужно было за какими-то пыльными шкафами разыскать пяльцы, натянуть на них материал, выбрать рисунок и приступить к работе, причем единственным указанием служило: «Чтоб было красиво!» Материал для вышивок выдавался довольно щедро: холсты, всевозможных оттенков мишура, парча, золотые и серебряные шнуры, шелковые и льняные нитки — всё это имелось в большом количестве, на материале не экономили, и «новенькие» губили его в большом количестве, за что их по существу нельзя было винить.

Мастерская производила вышивки декоративного характера. Мы вышивали панно, занавеси, экраны, подушки, скатерти, оклады для икон и церковное облачение. Ученицы старших классов работали прекрасно и создавали

подчас исключительно красивые вещи. Бывали, однако, случаи, когда директором овладевала какая-нибудь неудачная идея, которую он со свойственной ему энергией начинал проводить в жизнь. Тогда получалось плохо. На втором или даже на третьем году моего обучения я стала жертвой такой неудачной мысли Николая Васильевича. Он вызвал меня в кабинет и поручил мне вышивку большой декоративной скатерти, на кайме которой должно было быть изображено морское дно с водорослями, русалками, ракушками и рыбками. Приблизительный эскиз для этой галиматьи он мне дал и для довершения моего ужаса потребовал, чтобы рыбки были выдавлены из латуни, кое-где покрыты эмалью и нашиты на холст. Над этой скатертью я просидела полгода, сознавая всю безвкусицу того, что делаю.

В 1912 году Строгановское училище получило золотую медаль на Всероссийской выставке, а годом раньше пожинало лавры на выставке в Киеве. Я объясняю это тем, что мои работы там не участвовали.

В год моего поступления в училище Нина Адрианова стала реже посещать занятия, так как была объявлена невестой служившего при ее отце Николая Александровича Шуберта. Это был высокий, красивый молодой человек с темными бархатными глазами, производивший впечатление карьериста. Мамаша Адрианова преувеличенно умилялась, глядя на жениха и невесту, но резко перестала умиляться после их свадьбы. Создалось впечатление, что она замалчивает какую-то драму, сущность которой я до сих пор не знаю. Шуберты вскоре переехали из Москвы в Ялту.

С воспоминаниями о Строгановском училище у меня связан образ его двух «жемчужин» (говоря высоким стилем) — Сони Балашовой и Насти Солдаткиной. Обе они поступили раньше меня и всегда были для меня авторитетами в смысле вкуса и мастерства. Но что еще важнее — они мне нравились сами по себе (хотя были очень различны), и я понимала учеников Уткина и Плешакова, которые пропадали около их пялец. Соня Балашова как будто сошла с гравюры 40-х годов: мелкие и тонкие черты лица, прекрасные грустные глаза, гладко причесанные

на прямой пробор волосы и какая-то врожденная «отшельность» делали ее на мой взгляд очаровательной.

Неразлучная с ней Настя Солдаткина была рослой, красивой девушкой, несколько порывистой и сумбурной. В ней не было Сониной «законченности», но она была преисполнена благородных порывов, и мне нравилось, когда в ее глазах появлялась искра какого-то милого озорства. Соне и Насте поручались наиболее ответственные заказы. Они обладали прекрасной техникой, и никогда я не видела в их руках работ подобных моей скатерти с рыбками. Они умели давать отпор Глобе, который с ними пререкался, но в конце концов считался.

Три года, связанные с пребыванием в Строгановском училище, мне кажутся теперь если не самыми счастливыми, то, во всяком случае, самыми безмятежными годами моей жизни.

Закончить училище мне не пришлось — я ушла из 3-го класса, выйдя замуж, — но приобретенная специальность по вышивке очень мне пригодилась в дальнейшем. Помню, как в 1921 году в Калуге ко мне впервые пришли две барышни и попросили вышить им «винивьетки» на платье. За этой первой «винивьеткой» последовали многие другие, которые неизменно выручали меня в трудные дни и заставляли добром поминать Строгановское училище.

Лето 1912 года — Штеры. Бородинская годовщина

Если с разводом моих родителей наша семья раскололась на две части и раскол был так глубок, что я, оставшись у отца, пять лет не видела мамы, то с передачей меня ей отношения в семье наладились. Два или три раза в год мы с мамой ездили в Петербург, причем папа всегда встречал нас на вокзале. Шурика отец брал с собой только тогда, когда у него не было занятий. Брат воспитывался в строгости и в свои детские и юношеские годы получил максимум того, что было необходимо для его развития.

Восьми лет он был помещен в приготовительный класс очень модного в то время Тенишевского реального училища. Под влиянием отца, желавшего, чтобы он приспособился к какому-нибудь инженерному ремеслу, десятилетний Шурик болтал, что обязательно будет горным инженером, и собирал коллекцию минералов. Громадное значение для брата имело то, что в промежутках между 1905 и 1909 годами он неизменно сопровождал отца в его поездках по Европе и изъездил ее вдоль и поперек — отсюда его большая осведомленность в делах искусства.

Учась в Тенишевском училище, Шурик не носил формы, что служило к его украшению. Форма никогда ему не шла, так как мундир обезличивал присущую ему элегантность. В возрасте 10—12 лет Шурик был очень красивым мальчиком, и его фотография в матроске не без основания выставлялась в витрине фотографии Буассона на Невском.

Лето 1906 года папа и Шурик проводили на даче в Петергофе, причем при брате в виде ментора состоял студент Технологического института Вилли Кониц, которого потом сменил его товарищ Сергей Петров. Оба они, как бывшие ученики «Annenschule», прекрасно знали немецкий язык, и под их воздействием Шурик в возрасте

тринадцати лет уже произносил длинные тирады из Шиллера и Гете. Немецкие стихи, в которых я была тоже сведуща, меня, в конце концов, поражали мало, но когда в один из моих приездов в Петербург я услышала, как Шурик в подражание граммофонным пластинкам поет оперные арии, я была крайне удивлена. Пел он полушутливо, но так приятно, что я приходила в восторг и чувствовала себя членом утиной семьи, в которой вывелся лебедь. (У нас кроме Шурика никто не пел.)

В 1908 году, будучи неудовлетворен постановкой учебного дела в Тенишевском училище и убедившись в отсутствии у Шурика склонности к точным наукам, отец перевел его в Шестую гимназию, находившуюся у Чернышова моста, где брат доучился до 8-го класса. По моим наблюдениям, гимназические годы были каким-то глухим периодом его жизни и ничего выдающегося ему не дали.

В 1911 году наступили крупные изменения. Папу назначили начальником Самарского удельного округа, и ему предстояло на несколько лет покинуть Петербург. Шурика надо было поместить в закрытое учебное заведение, и, по его настоятельной просьбе, папа остановился на Александровском лицее.

Весною 1911 года брат прекрасно выдержал вступительный экзамен в 4-й (последний гимназический) класс лицея. Заминка вышла только с английским языком, который он никогда раньше не изучал, и по этому предмету была дана переэкзаменовка на осень. Решили направить Шурика в Аладино, а мне вменялось в обязанность за лето натаскать его по-английски. Перед окончательным переселением в Самару папа поехал лечиться в Карлсбад, а Шурик, впервые со времени раннего детства, появился в Аладине.

Если в семье Сиверсов Шурик был признанным любимцем, то в семье матери он не находил столь восторженной оценки. Только одна тетя Лина Штер, сестра бабушки, встретив его в Ялте (Шурик гостил у папиных друзей Качаловых, ехал верхом и соскочил с лошади, чтобы ее приветствовать) говорила: «Вы все не понимаете, насколько Шурик очарователен!»

В Аладине на первом месте стоял Сережа, на втором я, на третьем Ника, а затем уже шел Шурик, которого, кстати говоря, это ничуть не огорчало. Он относился к этому вопросу с полным равнодушием, облеченным в милую форму, и, не находя нужным «бороться с ветряными мельницами», почему и считался в Аладине *jemenfich*'истом и эгоистом*. (Определение, не лишенное некоторой доли правды).

Летом 1911 года мама, Шурик и я жили во флигеле, заднее крыльцо которого выходило в липовую аллею. В особой пристройке стояли большие пяльцы, за которыми я расшивала холщовую скатерть украинско-строгановским узором. В 1926 году я отвезла эту скатерть в Ниццу, где ее купили как «образец русского искусства».

Я уже говорила, что в мои обязанности входило заниматься с Шуриком английским. Впоследствии, проведя два лета подряд в Англии, он обогнал меня в знаниях, но в память этих первых уроков, благодаря которым он поступил в лицей, я стала называться *darling teacher*. В моем альбоме, погибшем в 1937 году, имелась запись Шурика с таким обращением. Далее шло: «В те дни, когда в стенах лицея я безмятежно расцветал, писал я эти строки моей дорогой Таташе».

Не всегда, однако, наши отношения носили столь идиллический характер: бывали и ссоры, и все они падают, насколько я помню, на лето 1912 года, когда нас отпустили в самостоятельное путешествие по Волге.

Весною Шурик переехал в Москву, перейдя в 3-й (первый студенческий) класс лицея, с золотым шитьем на воротнике и духом лицейского патриотизма в сердце. Он бредил лицейскими традициями, лицейской дружбой, 19 Октября. Из его рассказов я узнала, что в сквере на Каменноостровском, лицом к училищу, стоит памятник Александру I с надписью «Он создал наш лицей», а позади здания, в саду — другой памятник — Пушкину, с надписью «Genio Loci» («Гению места»). Мне было поведано, что все лицеисты между собой на «ты» (даже с теми, кому восемьдесят лет), что бывшим лицеистам не принято оставлять визитную карточку — у них надо

* Je m'en fiche (*франц.*) — наплевать.

«расписываться», что колокол, возвещавший уроки, будет в день окончания разбит на куски и каждый лицеист будет всю жизнь носить его осколок на часовой цепочке, что 71-й курс очень любит своего классного наставника Николая Александровича Колоколова, который почему-то называется «ананас», и что расшалившиеся воспитанники окружают его кольцом и поют: «Все мы любим ананас, ананас не любит нас!», что французский язык преподает виконт де Мирандоль, что самые приятные товарищи — это Ермолов по прозванию Брикита и Коля Муравьев по прозванию Мурка и что брат называется в классе иногда «Сивка-Бурка» (производное от Сиверс), но чаще «мальчик Сашка».

Обо всем этом мы с увлечением говорили на борту «самолетского» парохода*, спускаясь по Волге от Ярославля до Хвалынска и осматривая попутно все, что попадало в поле нашего зрения. Конечной целью поездки было навестить отца в Самаре и погостить в деревне у Довочки Давыдовой.

Материальная сторона поездки лежала на мне: у меня были деньги, билеты, документы. Я, может быть, слишком педантично понимала свои обязанности и ограничивала Шурика в тратах на вкусные вещи. В обычное время на этой почве между нами не могло бы произойти конфликтов, так как вкусности я любила тоже, но тут я боялась не уложиться в бюджет. Первая стычка у нас произошла в Нижнем. Осматривая город, мы зашли в гастрономический магазин, и Шурик попросил меня купить шоколаду, дорогого печенья и еще что-то. Я отказала. Тогда он, не входя в бой с ветряными мельницами, с самой очаровательной улыбкой подошел к продавщице и попросил завернуть то, что он хотел. Мне оставалось идти к кассе и платить. Объяснение произошло в каюте. Шурик терпеливо выслушивал мои упреки, подъедая шоколад.

Приближаясь к Казани, я решила быть умнее и в магазин с Шуриком не ходить. Все же ему удалось выпросить у меня копеек 50 мелочью, и он исчез в толпе

---

* «Самолет» — одно из трех крупнейших российских дореволюционных пароходств на Волге.

татар, окружавших пристань. (В город, отстоящий в восьми верстах, мы заехать не успели.)

Войдя через час после отбытия от пристани в каюту, я увидела странную картину: Шурик катался по койке, смеясь и издавая нечленораздельные звуки. У него происходила борьба с какой-то замазкой, в которую он впился зубами и от которой уже не мог освободиться. Это была купленная у татар сладость, называемая кос-халвой. Эту кос-халву следовало разбить на куски молотком, но никак не впиваться в нее зубами.

Таким образом, минуя Самару (отец был в отсутствии — объезжал свой округ), мы спустились до Хвалынска. На пристани нас ждала тройка. Кучер передал мне записку, в которой Довочка советовала дождаться утра в специально заказанном для нас номере гостиницы, так как проезд ночью через место, именуемое «Таши» — небезопасен. (Давыдовское имение Благодатное отстояло в 25 верстах от Хвалынска.) Мы последовали этой рекомендации и провели мучительную ночь в гостинице, где на нас напали какие-то необыкновенные москиты: от их укусов кожа покрывалась багровыми пятнами и пузырями.

На утро мы, с попорченными лицами, сели в прекрасную рессорную коляску и покатили по ровным полям, показавшимся мне после пересеченного ландшафта средней России очень скучными. Усадьба Благодатное стояла на краю села на плоском месте. Тут же в низких берегах извивалась река Терешка. Вокруг двухэтажного, очень комфортабельного, но лишенного всякого архитектурного стиля дома был разбит сад с акациевыми аллеями и цветниками. Сад этот казался зеленым островом среди безбрежных, засеянных пшеницей полей. Благодатное было или куплено Давыдовым, или получено с материнской стороны, так как родовое поместье Дениса Васильевича находилось в Сызранском уезде и принадлежало *beau frère*'у Довочки, Николаю Николаевичу.

Дарья Николаевна встретила нас более чем радушно. Незадолго до этого она овдовела, чувствовала себя одинокой, и наш приезд был для нее некоторым развлечением. Меня же, кроме того, она, видимо, искренне любила и всячески баловала. Мой день начинался с того,

что я заказывала знаменитому на весь Петербург повару Алексею Ивановичу свои любимые блюда (курицу с рисом и мороженое). Потом мы с Дарьей Николаевной шли купаться на Терешку. В 12 часов раздавался звон колокола, и все отправлялись на широкую площадку между усадьбой и сельской церковью, где за длинными столами обедали дети из окрестных деревень (предыдущий год был неурожайный, и Дарья Николаевна организовала за свой счет детское питание, при раздаче которого почти ежедневно присутствовала).

Когда спадал дневной жар, мы ехали кататься и останавливались иногда на высоком берегу Волги. Глядя на пустынную, перерезанную островами и отмелями реку, расстилающуюся на десятки верст к северу и югу, на бескрайние заволжские степи, я испытывала щемящую тоску. Может быть, это было предчувствием тех горестей, которые мне суждено было перенести впоследствии на тех же волжских берегах, в тех же саратовских краях.

Верстах в двенадцати от Благодатного находилось имение Медемов, и мы раза два были у них в гостях. Семейство состояло из графа Александра Оттоновича, человека энергичного, занимающегося земской деятельностью, его жены, урожденной Чертковой, молчаливой дамы с красивыми темными глазами, двух дочерей, не представлявших для меня интереса по молодости лет, и брата хозяина Юрия, молодого человека с умным лицом, ходившего в поддевке, но собирающегося с осени служить в Кавалергардском полку.

Третий брат Медем (кажется, Дмитрий), которого я один раз видела в Благодатном, «опростился», женился на крестьянке и жил на мельнице, расположенной по течению реки Терешки, вследствие чего он шутливо назывался «фон-цурмюллен»*.

Летом 1912 года у Медемов гостили брат и сестра Нарышкины, которые, оставшись сиротами, воспитывались у их родственницы княгини Голицыной (жены известного своими чудачествами князя Льва Сергеевича, пионера русского виноделия, владельца имения «Новый Свет»

* В честь Христиана Фердинанда фон Цурмилена (1788—1837) — ветерана Войны 1812 года, написавшего ряд сочинений по сельскому хозяйству.

в Крыму). У этих детей Нарышкиных была какая-то сомнительность в законности происхождения, и петербургский свет, допустив их в свою среду, все же называл их «Нарышкины-дворняжки».

Любочка Нарышкина была очень недурна собой и преисполнена «петербургского тона», тогда как ее брат Вадька считался неисправимым шалопаем. (Он учился во Второй гимназии вместе с двоюродным братом Сережей.) За обедом в Благодатном Шурик и Вадька Нарышкин подчас так расходились, что Довочка грозила им пальцем, говорила «Прекратите!», но сама не могла удержаться от смеха, глядя на их выходки.

Проведя у Дарьи Николаевны две недели, мы распрощались с милой хозяйкой, условившись, что во второй половине августа она приедет в Москву на торжества по случаю столетия Бородинской битвы и остановится у нас на Пречистенском бульваре.

Очередной пароход компании «Самолет» повез нас вверх по Волге до Самары, где нас ждал папа, вернувшийся к тому времени из служебных поездок по своему округу (так называемых «ревизий»).

Удельный дом, где находилась квартира отца, стоял немного ниже главной, так называемой Дворянской улицы, шедшей параллельно Волге. С балкона открывался прекрасный вид на реку, но в комнатах было пустовато. Зная, что его пребывание в Самаре носит временный характер, папа перевез из Петербурга только часть своей библиотеки и самые необходимые вещи. Хлопотами по переезду и налаживанием хозяйства ведала жившая уже более пяти лет в доме домоправительница Александра Ивановна, человек очень преданный отцу, но доставлявший Шурику неприятные минуты своими многословными и не всегда удачными наставлениями. Александра Ивановна была родом из деревни с берегов Волхова и в полном соответствии с этим говорила: «Я своим глазам видела евонные проделки». Из ее уст можно было услышать фразы вроде «ваша мамаша бросила вас, как котят». Говорилось это без желания нас обидеть, как простая констатация факта, но такие слова были не совсем приятны для «котят».

Впоследствии Александра Ивановна покрыла себя неувядаемой славой, показав большую преданность отцу

в первые тяжелые годы революции, а мне — в 1935 году. Но об этом я буду говорить в свое время.

В Самаре я провела две недели. Днем мы с Шуриком ходили на теннисную площадку, находившуюся позади театра, гуляли в Струковском саду, вечером катались по Волге на моторной лодке или посещали кинематограф «Триумф», куда иногда нам удавалось затащить и отца, с большим трудом оторвав его от рукописей и родословных карточек, представлявших для него значительно больший интерес, чем Аста Нильсен и Макс Линдер. Свое пребывание в Самаре папа использовал для работы в архивах. К самарскому периоду относятся напечатанные им в 1912 году «Генеалогические разведки».

В половине июля истек срок моего житья в Самаре. Я должна была по Сызрано-Вяземской дороге доехать до Калуги, а там пересесть на Сухиничи, чтобы остаток лета провести в Аладине. На платформе вокзала я увидела, что провожающий меня Шурик попал в объятия долговязого юноши в пенсне, оказавшегося лицеистом 70-го курса Вильгельмом Леммерманном. Брат познакомил меня с ним и тут же тихо объяснил мне, что лицеисты всегда обнимаются при встрече в память того, как Пушкин и Горчаков обнялись на проселочной дороге.

Леммерманн гостил у своего товарища Сергея Аксакова в Самарской губернии (того самого, который в бытность свою учеником Поливановской гимназии описан в моих воспоминаниях ранее). Теперь же Леммерманн ехал в Берлин оперироваться по поводу аппендицита и (ах! какой приятный случай!..) в одном вагоне со мной до самой Калуги.

Когда поезд тронулся, я выразила мысль, что странно ехать в Берлин для аппендектомии и что я прекрасно живу без аппендикса, вырезанного в Москве. Через два часа пути я усмотрела в своем спутнике упорное желание «сделать карьеру» и не без насмешки рисовала картину, как я на склоне лет являюсь к нему, прося оказать протекцию моему сыну.

В Туле, где поезд стоял два часа, мы поехали осматривать город. Леммерманн купил открытку с изображением Тульского Кремля и написал: «Ах! Зачем Москва не Питер, а Калуга не Берлин!»

Дальнейшая судьба моего случайного попутчика осталась мне неизвестной, но можно с уверенностью сказать, что его мечта о блестящей карьере не осуществилась!

Двадцать шестого августа 1912 года исполнилось сто лет со дня Бородинской битвы, и торжественное празднование этого юбилея должно было происходить на поле сражения в присутствии всего двора и многочисленных иностранных представителей, среди которых наиболее почетное место отводилось французам. Всем надлежало видеть, что «военной брани и обиды забыт и стерт кровавый след» (Александр Блок) и союзная страна вместе с нами отдает дань подвигам своих и наших героев.

Бородинское поле и Бородинский дворец (ничем не отличающийся от обычного помещичьего дома) входили в состав Бородинского удельного имения, которое, в свою очередь, входило в состав Московского удельного округа, то есть находилось в непосредственном ведении Николая Борисовича. Задолго до «торжеств» дядя Коля, ненавидевший всякое представительство, уже подумывал, куда бы ему на это время скрыться, тем более что управляющий имением, бывший «преображенец» Мещеринов мог сам справиться с ролью хозяина. Скрыться дяде Коле не удалось, но гроза прошла стороной: царская семья ночевала в поезде, а не в Бородинском дворце.

Дарья Николаевна Давыдова, как и предполагала, приехала в десятых числах августа в Москву, поселилась у нас и объявила маме, что на все дни торжеств берет надо мной шефство, будет меня всюду возить, всё мне рассказывать и показывать.

Двадцать пятого августа в Кремлевском дворце был «выход». Я уже присутствовала на подобной церемонии весною того же года, когда двор приезжал на открытие памятника Александру III, и поездка на Бородинское поле обещала быть более интересной. Однако все началось с неудачи. Двадцать шестого августа к подъезду Удельного дома подали коляску, заказанную с вечера в каретном заведении братьев Ечкиных (что у Пречистенских ворот), и мы с Довочкой, обе в белых костюмах и белых шляпах — она со страусовыми перьями, а я с тюлем — направились на Александровский вокзал.

По дороге я занялась рассматриванием замечательной ручки зонтика Дарьи Николаевны, изображавшей вырезанную из слоновой кости померанцевую ветку и легкомысленно положила сумку, в которой находились пригласительные билеты (они же пропуска) на Бородинское поле, в кузов коляски. Когда коляска отъехала от вокзала, а мы уже собирались садиться в поезд, я с ужасом обнаружила, что сумки нет. Мысль, что Довочка, по своей маниакальности, может усмотреть в моей оплошности козни Вильгельма II, не желавшего допустить присутствия вдовы внука партизана Давыдова на всероссийском торжестве, промелькнула в моем сознании, и я, крикнув: «Приеду со следующим поездом!», помчалась обратно в каретное заведение братьев Ечкиных. На мое счастье, злополучная сумка преспокойно лежала в кузове вернувшейся с вокзала коляски. Схватив ее, я опрометью бросилась на вокзал, села в первый отходящий поезд и с опозданием на два часа прибыла на станцию Бородино, где царила необычная суматоха. Всюду висели указатели маршрутов, подписанные камер-фурьер частью* и начинавшиеся словами: «Особы и лица, прибывшие на юбилей, да благоволят проследовать» и т.д. Я была не «особа» и даже не лицо, а запыхавшаяся девица, метавшаяся по платформе, как угорелая кошка, и совершенно не знавшая, куда ей надлежит «следовать». Наконец я увидела Дарью Николаевну в окружении блиставших касками и кирасами офицеров и помчалась к ним, высоко держа над головой сумку с пригласительными билетами. Довочка и ее окружение бурно приветствовали проявленную мною энергию, а я радовалась, что сумела искупить свое ротозейство.

Потерянные на это «искупление» два часа все же смешали ритуал нашего следования к центру поля, и надо было торопиться. Брат Дарьи Николаевны кавалергард Николай Николаевич Шипов (младший) сумел использовать проезжающий мимо придворный экипаж, и мы поехали к воздвигнутым против редута Раевского трибунам, откуда можно было видеть всё поле и парад войск.

---

* Камер-фурьер — должность помощника обер-церемониймейстера при Высочайшем дворе.

По дороге к нам подсаживались спешившие к трибунам пешеходы. Так, на подножке, с разрешения Дарьи Николаевны, уселся граф Дмитрий Адамович Олсуфьев, и ветер колыхал у моих ног страусовые перья его треуголки.

На трибунах в непосредственной близости к нам оказались великие княгини Виктория Федоровна и Елена Владимировна, обе красивые, нарядные, в кружевных платьях, больших шляпах и с биноклями, направленными в то место горизонта, откуда ожидался шедший из Смоленска крестный ход с чудотворной иконой Смоленской Божьей Матери, сопутствовавшей русским войскам при Бородинской битве. Когда процессия показалась, великие княгини заволновались и защебетали: «Voila l'Odigitrie», чем вызвали негодование московского нотариуса Павла Алексеевича Соколова, контора которого находилась около ресторана Тестова и который дома потом говорил: «Эти иностранки могли бы знать, что Смоленская икона называется не Одижитрия, а Одигитрия!»*

День 26 августа 1912 года выдался чудесным. С трибун как на ладони видны были восстановленные фортификации: бастион Раевского, Семеновские флеши. Налево, на фоне синего неба, вырисовывался Тучков монастырь, а в центре поля, выстроенные громадным каре, стояли войска с развернутыми знаменами и гремело раскатистое «ура!». Государь объезжал войска верхом, а императрица с детьми следовала в коляске, запряженной шестью белыми лошадьми. Все это я наблюдала с высоты птичьего полета, так как трибуны были очень высокие.

По окончании парада мы с Дарьей Николаевной очутились перед каким-то маленьким домиком, у крыльца которого государь беседовал с четырьмя столетними старцами. Одному из них было, кажется, 120 лет, и он был очевидцем нашествия Наполеона. Самой беседы я не слышала, зато при мне кто-то, знакомя Довочку с французским представителем, сказал про нее: «Вдова партизана». Дарье Николаевне это не понравилось, и она отвела сердце, заявив тут же немецкому представителю Дона-Шлобиттену, что терпеть не может Берлина. Мне очень хотелось

* Одигитрия — одно из наиболее распространенных изображений Богоматери с младенцем, в переводе с греческого — «Путеводительница».

увидеть маму, Шурика и Сережу Курнакова, находившихся где-то в районе Бородинского дворца, но при таком скоплении народа найти их было невозможно.

Наступал вечер, и мы с Довочкой решили искать пристанища на станции. Мы были голодны, и нам было весьма прохладно в наших белых платьях. На Бородинском вокзале мы увидели «оборотную сторону медали» — сутолоку и неразбериху. На путях стояли сверкающие огнями поезда, составленные из одних салон-вагонов, но они были недоступны. Станционные помещения оказались забиты народом. Кроме того, мы постоянно натыкались на оцепления охраны и нигде не могли найти места отдохновения. Я вновь почувствовала угрызения совести — из-за меня нарушен распорядок дня! — и металась по платформе, ища выхода из положения.

Вдруг я услышала: «Танечка, что вы здесь делаете?» Это был знавший меня с детства Владимир Николаевич Коковцов, который, покончив со своими официальными делами, со скучающим и утомленным видом возвращался в свой вагон-салон. Выслушав мой рассказ, он тотчас же направился к Дарье Николаевне с предложением приютить нас до утра. Через полчаса мы уже сидели в столовой министерского вагона, и Коковцов, сменив расшитый золотом мундир на обыкновенный пиджак, угощал нас ужином. В честь Бородинской годовщины была подана бутылка шампанского; мы обсуждали события минувшего дня, и Довочка благосклонно принимала радушие Коковцова, считая его министром не немецкой, а французской ориентации. После ужина нам был предоставлен ночлег в запасном четырехместном купе. На следующее утро, когда наше приключение получило широкую огласку, пришли к выводу, что никто не провел эту ночь на Бородинском поле с таким комфортом, как мы.

Двадцать восьмого августа в зале Благородного собрания русское дворянство подносило царю стяг, который должен был знаменовать собою готовность, как в 1812 году, встать на защиту отечества. Честь вручения стяга была поручена старейшему из губернских предводителей, 90-летнему князю Челокаеву (князь Челокаев был женат на сестре Николая Васильевича Давыдова, и как раз накануне летом мама и дядя Коля гостили вместе с Давыдовыми

у него в деревне под Моршанском). В момент вручения стяга я находилась в зале очень близко от главного места действия, так что все хорошо видела и слышала, а Шурик и Сережа, как учащиеся, не могли быть в зале и сидели на хорах.

С трудом удерживая древко тяжелого, шитого золотом, бархатного стяга, старик Челокаев произнес соответствующую моменту речь, на которую государь, принимая стяг, ответил соответствующими моменту словами. Говорил он четко и ясно, но в его внешности не было ничего торжественного — он был похож на простого армейского офицера.

Царские слова покрыло громкое «ура!». Присутствующие в патриотическом экстазе инстинктивно двинулись вперед. Я обернулась, чтобы посмотреть на хоры, и увидела Шурика и Сережу с раскрытыми в крике «ура!» ртами. Пока я вертела головой, моя украшенная незабудками соломенная шляпа зацепилась за тюрбан напиравшей сзади начальницы Дворянского института Ольги Анатольевны Талызиной и сдвинула его с места. Это было неприятно. Негодующий возглас Талызиной и мои приглушенные извинения потонули в звуках гимна.

В конце августа двор уехал, и Москва вернулась к своей обычной жизни до следующей весны, когда снова была взбудоражена новыми юбилейными торжествами по поводу трехсотлетия дома Романовых.

Штеры

В первой главе своих записок я вскользь упомянула, что у моего прадеда с материнской стороны, Петра Афанасьевича Чебышёва, кроме моей бабушки Александры Петровны, была вторая дочь Валентина Петровна (мужского потомства не было).

Теперь мне предстоит более подробно рассказать об этой ветви моей семьи. Валентина Петровна, несколькими годами моложе сестры, была невысока ростом, но красива лицом. Точеные черты, тяжелые золотистые косы и прекрасное здоровье она сохранила до последних дней, а умерла она семидесяти лет от случайной простуды.

Воспитание, полученное сначала в парижском пансионе, а потом в Петербурге у мадам Труба́*, дало ей прекрасное знание французского языка и, может быть, способствовало развитию того упрощенного взгляда на жизнь (черты не русской), который помог ей в перенесении тягот неудачного брака. Муж Валентины Петровны, Петр Петрович Штер, принадлежал к бюрократическому, веселящемуся слою петербургского общества. Сын цензора С.-Петербургского почтамта, он окончил Александровский лицей, служил по ведомству Государственных имуществ, а потом состоял предводителем дворянства по назначению в Кобринском уезде Гродненской губернии, где у него было имение. Петр Петрович претендовал на звание щеголя-денди. Тон его был резок и неприятен. Все немодное, нефешенебельное вызывало в нем презрение, которое он не считал нужным скрывать. Так, если радушная хозяйка за чаем угощала его печеньем, добавляя: «Возьмите, пожалуйста, это домашнее», Петр Петрович холодно отвечал: «Очень жаль! Покупное наверное было бы вкуснее», — чем повергал хозяйку сначала в недоумение, а потом в смущение.

---

* Анжелика Осиповна Труба́ — наставница дочерей вел. кн. Михаила Павловича, содержательница модного пансиона.

Семейными добродетелями, как и все люди этого склада, Петр Петрович не отличался, и жизнь его жены могла бы быть трагичной, если бы Валентина Петровна имела склонность к трагическому восприятию действительности. В ранней молодости она напоминала пеструю порхающую бабочку, а потом перенесла свою любовь на детей и была «матерью-тигрицей», что давало бабушке повод говорить: «Преувеличенная любовь к детям свойственна несчастным в браке женщинам».

Чтобы не возвращаться больше к Петру Петровичу, скажу, что старость его была незавидной. Лет за десять до смерти он совершенно ослеп. Я помню его высоким, чрезвычайно гибким стариком с невидящими глазами и тщательно расчесанными бакенбардами. Интересы его были сосредоточены на тонкости подаваемых к столу блюд.

Детей Штер было трое: Наталья, Андрей и Николай. Метод их воспитания вызывал осуждение бабушки, которая говорила: «Valentine fait de ses enfants des jouisseurs»*.

Андрюша, как это показало будущее, устоял против коррупции среды и материнского баловства и был безупречен. Одним из первых он окончил Морской корпус, доблестно сражался на знаменитом «Новике», раненный в голову, пешком пересек Сахалин и трагически погиб 17 октября 1907 года, командуя миноносцем «Скорый». Привлекательный внешне, он оставил о себе прекрасную память. (Эпизодически выведен под своей фамилией в романе Степанова «Порт-Артур», в главе о гибели «Новика».)

Ната и Котя, с точки зрения бабушки, были *jouisseur*'ами**. Ната в меньшей, а Котя, как любимец матери, в бóльшей степени. С непокорностью и свободолюбием Наты бабушка впервые столкнулась, когда тетя Лина Штер, отправившись в 1899 году вместе со своей матерью Юлией Григорьевной Чебышёвой на Всемирную парижскую выставку, оставила детей на попечение сестры. Перемена воспитательного режима вызвала у 12-летней Наты столь бурный протест, что в ходе какого-то скандала она вскочила на подоконник раскрытого окна (дело было на Николаевской улице) и закричала: «Вот сейчас брошусь вниз, и Вы будете отвечать перед моей матерью!»

---

* «Валентина делает своих детей сластолюбцами!» (*франц.*).

** *Jouisseur* — сластолюбец (*франц.*).

Впоследствии резкость характера Наты сгладилась, и годам к шестнадцати она стала хорошенькой, веселой барышней (тысяча слов в одну минуту!), имевшей большой успех в обществе. Даже заядлый холостяк дядя Кока Муханов не устоял против ее чар: встретив Нату в нашей детской, он подумал: «Не посвататься ли?»

В нашей семье считалось, что «Штеры любят дешевые удовольствия» и что в их вкусах и развлечениях мало «солидности». Бабушка также не одобряла того, что тетя Лина при жизни отдала свою часть бриллиантов, доставшихся от Юлии Григорьевны, Нате. Бабушка никогда не шла по пути безрассудства короля Лира, и ее вещи, во славу принципа, целиком погибли в недрах Волжско-Камского банка.

Нату мало тревожила та или иная оценка ее образа жизни. Подобно стрекозе из басни, она «без души» пела, танцевала, играла в спектаклях, участвовала в загородных поездках, получая цветы, конфеты, стихи, романсы и прочие знаки внимания петербургской военно-морской молодежи.

Я уже говорила, что мамина двоюродная сестра Ната училась вместе с Татьяной Константиновной (Тюлей) Шиловской, что Тюля вышла замуж за гусара Котляревского, который с размахом, достойным менее меркантильной эпохи, заказывал от времени до времени экстренный поезд и вез своих знакомых «на пикник» в Полтавскую губернию. В одной из таких поездок участвовали Ната и братья хозяйки дома: похожий на цыгана Саша Шиловский и недавно женившийся на княжне Елизавете Васильевне Оболенской его младший брат Владимир. На правах родственника последнего приехал также и его *beau-frère* князь Василий Васильевич Оболенский, один из сыновей многочисленной, но обедневшей семьи московских Оболенских (так называемых «кореневских»).

Вася Оболенский, поручик артиллерии в запасе, был крупным, плотным, добродушным малым с коротко остриженными волосами и розовым лицом, что придавало ему вид новорожденного ребенка, рассматриваемого в микроскоп (появившись однажды на костюмированном балу в чепчике и с соской, он имел бурный успех!).

Встреча Наточки Штер с Васей Оболенским закончилась свадьбой, состоявшейся в Москве в апреле 1899 года. Семья Оболенских приняла новую невестку очень благожелательно. Василий Васильевич получил место земского начальника в Московской губернии, и жизнь Штеров переключилась в орбиту Москвы.

В начале 1900-х годов было продано гродненское имение и куплена усадьба Овсянниково в 80 километрах от Москвы по Николаевской дороге. В Овсянникове стоял поместительный двухэтажный дом, куда и переехала вся семья, за исключением Андрея, бывшего на Дальнем Востоке, и Коти, служившего в Преображенском полку.

Младший сын Валентины Петровны, Николай, не проявлявший склонности к науке, пятнадцати лет был отдан в Пажеский корпус, но и там продвигался с трудом. Вспоминая впоследствии годы учения, он рассказывал о каком-то легендарном паже (с которым, несомненно, имел много общего). Будучи спрошен на экзамене о Семилетней войне, этот паж мог ответить только, что она длилась семь лет и была кровопролитна. О Тридцатилетней войне он знал, что она длилась тридцать лет и была еще более кровопролитной. Когда же преподаватель задал вопрос о войне Алой и Белой Розы, паж обиделся и заявил: «Вы можете поставить мне единицу, но я старый паж и издеваться над собой не позволю. Причем тут цветы?»

Внешне Котя был строен, ловок и даже, может быть, красив. От бабушки Юлии Григорьевны (если верить ее портретам в молодости) он унаследовал миндалевидный разрез глаз, черты лица у него были тонкие, рот капризный и во всем облике — что-то польское. Такими я представляла себе хлыщеватых шляхтичей-конфедератов. В августе 1902 года он был произведен в подпоручики, вышел в Преображенский полк и прослужил там шесть лет.

В первый раз я увидела Котю Штера, когда мне было лет двенадцать. Мы с мамой как-то на Невском зашли под вечер в ярко освещенный магазин хозяйственных принадлежностей Цвернера. У прилавка, к нам спиной, стоял офицер в шинели с бобровым воротником и рассматривал сверкающие никелевые кастрюли особой конструкции. Его вид и осанка почему-то поразили меня, и я даже выразила предположение, что это «великий

князь». Мама поспешила меня разуверить словами: «Во-первых, это не великий князь, а во-вторых... — Тут офицер обернулся. — Это Котя!» Последовали приветственные возгласы.

Странность нахождения преображенского офицера в посудном магазине объясняется пристрастием Коти Штера к кулинарии. Он слыл мастером в этом деле и, ужиная у Кюба, спускался, говорят, в кухню, чтобы перенять у поваров секрет приготовления того или иного блюда и потом блеснуть своим искусством в кругу знатоков. За годы петербургской жизни он еще обучился дирижировать танцами. Непревзойденным дирижером придворных балов много лет подряд был лейб-улан Михаил Евгеньевич Маслов. Потом его начал сменять стрелок барон Притвиц. Котя Штер, знавший толк в балете и танцах, наблюдал приемы и, обосновавшись в 1908 году в Москве, получил признание опытного дирижера с петербургским стажем.

Эта если не вполне счастливая, то, во всяком случае, беспечная атмосфера штеровской жизни была внезапно нарушена. Семнадцатого октября 1907 года как удар грома пришла весть о гибели Андрея. Двумя неделями позднее из Владивостока прибыл на станцию Сухиничи цинковый гроб с его телом, для погребения в Субботниках, рядом с дедом Чебышёвым. При гробе был серебряный лавровый венок от команды «Новика». Первой на серебряной ленте стояла подпись командира Эссена.

Получив известие о смерти сына, тетя Лина была очень близка к помешательству, от которого ее спасло сближение со спиритическим кружком Бобровой, а также беседы с Львом Михайловичем Лопатиным, другом Владимира Соловьева. Эти влияния направили ее помыслы в некое спиритуалистическое русло и заставили поверить в то, что «надо плакать над колыбелью и радоваться над могилой».

Вера эта еще более упрочилась после того, как она обнаружила в себе способность к автоматическому писанию. Я не знаю, какими видами рефлексов объясняет наука это явление, но я была свидетельницей того, как тетя Лина в темноте, совершенно бессознательно исписывала целые тетради философскими изречениями. Помню такой

случай: весь день тетя Лина провела у нотариуса и вечером села за свои тетради. Чувствует, что ее рука выводит «Not», и с досадой думает: «Ну вот, отражается то, что я была у нотариуса!» Старается удержать руку, но рука помимо ее воли выводит фразу: «Наш долг — сказать вам: остерегайтесь обманчивых прелестей обычных духов!» Впоследствии она отошла от спиритизма и стала ревностной прихожанкой церкви Покрова в Левшине.

Через год после смерти брата Котя вышел из полка, перевелся на какую-то должность при московском губернаторе Джунковском и женился на единственной дочери помощника управляющего московской конторой Императорских театров Сергея Трофимовича Обухова (управляющим в то время был Николай Константинович фон Бооль, тот самый, про которого Шаляпин во время одной из своих «молодецких» выходок кричал: «Я сотру ему весь "фон" и останется одна боль!»).

Сергей Трофимович был старшим представителем многочисленного и не раз уже мною упоминавшегося семейства Обуховых. В молодости он готовился стать оперным певцом, и из этого ничего не вышло, но, будучи знатоком теории пения, он руководил музыкальным образованием своей племянницы Нади, у которой, безусловно, «вышло» стать украшением Большого театра.

Бывая у Востряковых, я всегда с интересом рассматривала висевшую на стене фотографию: молодой Сергей Трофимович в обстановке Итальянского возрождения и в обличии Отелло, стоя в живописной позе, повествует восемнадцатилетней красавице Дездемоне — Елене Кирилловне Востряковой — о своих похождениях. Эта фотография была воспоминанием о живых картинах, поставленных в Москве в 90-х годах.

В мое время Обухов был высоким грузным человеком мрачного вида. Он и его брат Александр Трофимович были женаты на родных сестрах Хвощинских. Надежда Николаевна и Вера Николаевна были рослыми, спокойными женщинами с приятными лицами русского склада. Такую же внешность унаследовала и дочь Надежды Николаевны, Лиля, бывшая к тому же очень молчаливой. Увидев в первый раз племянницу, бабушка довольно метко сравнила ее с мраморной кариатидой (чтоб не сказать «каменной бабой»), сошедшей с фасада здания.

Николай Штер и его невеста мало подходили друг к другу и по внешности и по внутреннему складу, что позволяло думать, что брак совершается если не по расчету, то по разуму. Венчание, на котором я присутствовала, устроили в домовой церкви Большого Кремлевского дворца. Молодые поселились в Малом Власьевском переулке, но тесная связь Елизаветы Сергеевны с родителями не порвалась. Когда же родился ее первый и единственный сын Николенька, немедленно попавший в центр внимания, Котя оказался как бы за флагом, на что, кстати говоря, ничуть не жаловался. Не имея склонности к «пеленкам» и прочим «тихим радостям», он вполне довольствовался ролью второстепенного члена семьи.

Крестной матерью Николеньки была приятельница обуховской семьи княгиня Лобанова-Ростовская. Выходивший на Собачью площадку дом этой оригинальной особы почти всегда стоял заколоченным, так как хозяйка странствовала по Европе (в последние годы по следам тенора Смирнова). Один раз мне пришлось видеть эту меценатку в ложе Большого театра — это была немолодая, сверкающая бриллиантами женщина в открытом платье и рыжем парике. И вот, по завещанию этой умершей за границей международной дамы, маленький Штер унаследовал некоторую сумму денег в швейцарских франках. Упоминаю об этом факте, так как он сыграл известную роль в дальнейшей судьбе семьи.

С отъездом из Москвы Николай Петрович Джунковский перешел на открывшуюся вакансию полицеймейстера Императорских театров, на которой и пребывал до 1917 года. Должность эта была необременительна и давала постоянное место в третьем ряду партера. Став лицом так или иначе причастным к театральной жизни Москвы, Котя Штер более интересовался делами балета, чем делами «дома Щепкина», однако сумел создать дружелюбное к себе отношение. Столь нелюбимый москвичами «петербургский тон» он применял лишь в умеренном количестве, и, сравнивая его с ненавистным Нелидовым, актеры находили, что Штер «хотя и бывший гвардеец, но веселый и безобидный малый».

На этом я заканчиваю главу о Штерах, а если они и будут входить в мое повествование, то уже как знакомые лица.

Андрей Гравес. Весна 1913 года

Давыдовские четверги, о которых я говорила в одной из предыдущих глав, происходили в маленьком домике на углу Денежного и Большого Левшинского переулков, как раз напротив церкви Покрова, что в Левшине. Домик этот представлял собою флигель главного дома, отделенного от Левшинского переулка палисадником и принадлежавшего семье Загоскиных. Дмитрий Николаевич Загоскин и его жена Алевтина Владимировна (урожденная Пржевальская) бывали на Давыдовских четвергах в качестве домохозяев и ближайших соседей, встречались там с мамой, и от времени до времени я получала приглашение на вечера, устраиваемые для дочерей Кати и Веры. Девочек Загоскиных я знала мало, но с 1911 года сохраняла приятное воспоминание о первом посещении их дома, когда после танцев я ужинала в новой для меня компании Дмитрия (Пути) Попова, его сестры Нади, двоюродной сестры Таточки Дрентельн и двух его товарищей по Катковскому лицею: Андрея Гравеса и Михаила Лангена. В ящике моего письменного стола с тех пор лежало меню с подписями всех вышепоименованных лиц, причем после подписи Попова значились слова: «Надолго сохраню память о первом бале, на котором мне было весело!»*

Поповы жили против Загоскиных и рядом с Наточкой Оболенской, в длинном, мрачного вида особняке. После смерти отца и матери (дочери князя Сергея Михайловича Голицына, женатого на цыганке) дети — Путя, Надя, Сережа и Анночка — воспитывались у дедушки Попова. Впоследствии оказалось, что этот дедушка был председателем суда в Киеве в то время, когда мой дедушка Сиверс был там же начальником Удельного округа, так что папа, будучи студентом, был знаком и с ним,

* Дмитрий Дмитриевич Попов служил в 4-м лейб-гвардейском полку и был убит осенью 1914 года. — *Прим. автора.*

и с его дочерью Анночкой, вышедшей впоследствии замуж за Дрентельна, а потом за Волоцкого.

Но все это я узнала значительно позднее, а с первого взгляда могла только заметить, что в Путе Попове и его товарищах совершенно не было того неприятного тона, который был свойствен многим «катковцам». Они были очень милы и просты.

В ноябре 1912 года я снова получила приглашение к Загоскиным по поводу именин Кати. О платье, которое было на мне в тот вечер, надо сказать несколько слов. Осенью 1912 года парижский дом моделей «Пуаре» устроил в Москве демонстрацию своих новинок. Надежда Петровна Ламанова* предоставила «Пуаре» целый этаж своего дома на Тверском бульваре для экспозиции, и я, по знакомству, могла видеть, как торжественно выступают манекенщицы-парижанки (это было новшеством!), демонстрируя модели самых необычайных форм и смелых цветосочетаний.

Ламановской мастерице, которая шила на меня частным образом, удалось скопировать одно из платьев Поля Пуаре, а мне ничего не стоило по памяти воспроизвести на нем вышивку. Не скажу, чтобы я это платье очень любила, но оно было, безусловно, интересно. Сделано оно было из лимонно-желтого шифона, с левого плеча до пояса наискось шла вышитая гирлянда полевых цветов самых ярких тонов, заканчивающаяся широким синим кушаком.

Вечер у Загоскиных был не парадным, так что я отправилась без мамы. До ужина я много танцевала, а за ужином мне пришлось сидеть с каким-то иностранным инженером, работавшим на Прохоровской фабрике (Прохоровы состояли в каком-то родстве с Загоскиными и бывали на их вечерах). Через стол от меня сидела Надя Попова, хорошенькая девушка с темными цыганскими глазами и какой-то непонятной в ее возрасте грустью и даже трагичностью во взгляде. Рядом с ней — уже знакомый мне лицеист Андрей Гравес. У него было правильное, очень юное, даже немного девичье лицо, чуть

---

* Знаменитая портниха-художница, которая была замужем за присяжным поверенным Каютовым, приятелем Николая Борисовича. — *Прим. автора.*

пробивающиеся усы и гладко зачесанные на боковой пробор светлые волосы.

Чтобы быть объективной в описании его облика, сошлюсь на слова Сергея Дмитриевича Попова (брата Пути), сказанные через много лет после описываемого мною вечера. В ответ на мой вопрос, каким стал Андрей Гравес после возвращения из германского плена в 1918 году и нескольких лет жизни на Урале, он сказал: «Вы помните Андрюшу, он был Гретхен, а стал Фридрихом I». Про «Фридриха» было сказано, несомненно, для красного словца, но насчет Гретхен — правда!

Так как разговор с соседом-инженером не представлял для меня особого интереса, я глядела по сторонам и заметила, что беседа между моими *vis-a-vis* тоже не особенно клеится и белокурый лицеист на меня пристально смотрит. Последнее я отнесла за счет пестрой гирлянды на моем платье.

Протанцевав два-три тура вальса после ужина, я стала собираться домой, Гравес — тоже, и вышло так, что хозяйка дома сама потребовала, чтобы он меня проводил, иначе она бы волновалась. Помню, как мы вышли из ярко освещенного дома в пустынный Левшинский переулок и пошли к церкви Успения на Могильцах. Ночь была сухая и не очень темная.

Оставшись вдвоем, мы вдруг стали очень серьезными и стали знакомиться друг с другом, разговаривая на общие темы. Гравес говорил, что учится в лицее потому, что его отец состоит там преподавателем немецкого языка и инспектором младших классов, что о моем Строгановском училище он знает от своего товарища Балашова (брата Сони). Потом оказалось, что предыдущее лето мы проводили не очень далеко друг от друга — я в Козельском, а он в смежном с ним Жиздренском уезде у Каншиных, где он жил в качестве репетитора их сына Димы. Когда же выяснилось, что он знает Николая Густавовича Шлиппе, я не могла удержаться, чтобы не похвастаться своими стихами о деревенских соседях. Стихи имели успех, и мне пришлось их повторить два раза.

В конце концов мы все же вышли на Пречистенский бульвар, хотя и не кратчайшим путем. (Все москвичи знают, что арбатско-пречистенские переулки в районе

церкви Успения на Могильцах образуют сложный лабиринт, в котором путаются даже самые опытные извозчики!)

Через неделю я получила от Гравеса письмо, в котором он проявлял большой интерес к работам Строгановского училища и просил его уведомить, когда откроется ученическая выставка. В конце письма говорилось, что в Историческом музее выставлена для обозрения новая картина Виктора Васнецова, которую мне, наверное, будет интересно посмотреть. Я ответила, что наша выставка откроется на Рождество и что картина Васнецова меня, конечно, очень интересует.

В результате этого обмена письмами в ближайшее воскресенье мы сидели на красном плюшевом диванчике в Историческом музее перед громадной и не очень интересной картиной, изображавшей древнерусскую тризну. Посмотрев картину и сочтя, что все прелюдии соблюдены, мы не стали очень долго задерживаться в залах музея и, миновав Василия Блаженного, в первый раз отправились бродить по Москве.

Эти прогулки, для которых мы, естественно, выбирали «дальние закоулки», имели большую прелесть. Мы открывали новые для нас места, находили какие-то проходные церковные дворы, слушали колокольный звон, спускались на лед Москвы-реки. И все это сопровождалось неиссякаемыми разговорами на самые разнообразные темы. Как мне кажется, тон задавала я и постоянно старалась вывести моего спутника из области туманной лирики и мучительных душевных конфликтов в более реальную область шутливой нежности.

Основной чертой характера Андрюши Гравеса в ту пору была большая деликатность к людям и повышенная чувствительность ко всякой неделикатности извне. Мне казалось, что этот постоянный рефлекс подрывает в нем веру в свои силы, обесцвечивает его психологию. Короче говоря, его «геттингенские рацеи» мне иногда казались скучными. Зато он встречал на этом пути полное сочувствие и понимание Таточки Дрентельн, очень милой, но несколько экзальтированной молодой особы, о которой речь еще будет впереди.

Итак, первая половина зимы 1912—1913 годов прошла в прогулках по Москве и обмене письмами по городской

почте. (Это было как раз то, что девочки Востряковы насмешливо называли «поиграть в настоящую любовь».) В декабре на Давыдовских четвергах возник проект поставить у нас шутливую пародию на античную трагедию, сочиненную профессорами Векстерном и Гиацинтовым в дни их молодости и носившую название «Тезей». Оба автора, посетители четвергов, очень заинтересовались этим делом, тем более что состав исполнителей намечался блестящий и режиссировать спектакль взялся Александр Иванович Южин.

«Тезей», поставленный на Пречистенском бульваре 5 января 1913 года, шел без декораций, «в сукнах» (или, вернее, «в полотнах»), с небольшим количеством самых необходимых аксессуаров. Постановку запечатлели на нескольких прекрасных фотографиях, которые висели у дяди Коли до конца его жизни (куда они потом исчезли — я не знаю). Проходившая при весьма ограниченном числе зрителей, она имела громадный успех. В первом ряду сидели авторы со своими дочерьми, моими однокашницами по гимназии, Соней Гиацинтовой и Наташей Векстерн.

Мама и дядя Коля собирались в половине января ехать на полтора месяца за границу. Сначала предполагалось, что я останусь в Москве и перееду на это время к Нате Оболенской. Однако когда мама заметила «ухаживание какого-то мальчишки», решено было меня оградить от «глупых увлечений» и везти с собою. Я узнала об этом незадолго до 5 января и решила воспользоваться суматохой, вызванной спектаклем, чтобы исчезнуть из дома и объявить «другой заинтересованной стороне» о предстоящей разлуке. Минуя парадный ход, заваленный шубами и шапками, я через заднюю лестницу вышла на бульвар, оглянулась на освещенный фасад Удельного дома и быстро повернула налево, к Остоженке и ее спускавшимся к Москве-реке переулкам. У какого-то заранее намеченного столба меня ждал Андрюша Гравес, взял под руку, и мы спустились по береговому скату на лед. В этот час никто не ходил по реке и не мог помешать нам при всестороннем обсуждении наших личных дел.

Был крещенский вечер и соответственный крещенский мороз, от которого дух захватывало. Однако меня ничуть

не пленяли картины Италии и Ривьеры, которые мне предстояло увидеть в скором времени. Стоя посреди реки, залитой лунным светом, я проливала горькие слезы, прижавшись щекой к рыжему башлыку, накинутому поверх лицейской шинели по случаю мороза. После многих милых и ласковых слов было вынесено решение — венчаться, как только будут преодолены все препятствия. А препятствий было много. Ближайшими, хотя и не самыми трудными задачами были: окончание лицея и отбытие воинской повинности.

Двенадцатое января старого стиля, как известно, Татьянин день и мои именины.

Днем я, сидя за чайным столом, принимала поздравления и угощала поздравляющих шоколадом, а в половине седьмого должна была обедать у Востряковых. Вечером обеих именинниц, Таню Вострякову и меня, Мария Федоровна Якунчикова пригласила на премьеру в ложу в «Летучей мыши» Балиева. («Летучая мышь» была в зените своей славы.)

Днем Андрей Гравес в мундире и при шпаге пришел меня поздравить. Провожая его, я успела сказать, что в 6 часов пойду к Востряковым. В результате этого сговора по пути в Трубники я задержалась в одном из церковных дворов (это было наше место для свиданий) и опоздала к обеду минут на двадцать. Когда я вошла, все уже сидели за столом, и, по устремленным на меня насмешливым взглядам, я поняла, что произошло что-то неладное. Оказывается, от Востряковых обо мне справлялись по телефону. Подошла мама и с удивлением сказала, что я вышла час тому назад. Сплетая какие-то невразумительные объяснения, я села за стол и принялась с трудом глотать суп, в то время как остальные уже ели пудинг с сабайоном. Больше всего меня смущало присутствие Ивана Леонтьевича Томашевского, приятеля дяди Никса Чебышёва.

Но это были лишь цветочки! Ягодки наступили, когда лакей Евгений, среди обеда, подал мне на подносе записку. Записка была от дяди Коли и гласила: «Таня! твоя мать в отчаянии от твоего поведения! Если в тебе есть доля совести, ты поймешь, что тебе осталось делать!» (Это буквальный текст!)

Моя совесть была в недоумении: надо ли мне сразу покончить с собой или идти просить прощения. Я выбрала второе и, не дожидаясь пудинга, вышла из-за стола, записав на всякий случай номер ложи в «Летучей мыши». Дома разговор был короткий, но вразумительный. В результате этого разговора и последующих рыданий мое лицо стало совсем неподходящим для выезда в театр, однако мама царственным жестом приказала мне умыться холодной водой и немедленно отправляться в «Летучую мышь», дабы не нарушать светских приличий (по французской пословице «нужно пить вино, пока оно не прокисло», иначе говоря, «будет неловко, если твое место пропадет: Якунчикова могла пригласить кого-нибудь другого»).

Путь до Милютинского переулка, где в то время помещалась «Летучая мышь», я совершила в очень плохом настроении. Однако к чести Балиева должна признать, что после второго номера программы я уже забыла о своих горестях и с жадностью смотрела на сцену, где происходили очень интересные вещи. Помню понравившуюся мне пастораль в старофранцузском духе, шедшую под звуки гавота, где фигурировали какие-то «прекрасная Suzon» и «графиня Montbason». Но не только это, а всё, и особенно конферанс Балиева, не преминувшего поздравить всех московских Татьян, было настолько остроумно, что мои едва сдерживаемые слезы перешли сначала в улыбку, а потом в смех.

Отпраздновав таким образом незабываемый день своих именин 1913 года, я 14 января вместе с мамой, дядей Колей и его приятелем Николаем Александровичем Прохоровым отправилась в свою третью заграничную поездку. Маршрут был почти тот же, что и раньше: Италия — Французская Ривьера — Париж. В Берлине я получила первое письмо *poste restante**, причем мне удалось сделать это незаметно: мы с мамой получали корреспонденцию у разных окошечек почтамта: она — на букву С, а я — на букву S.

Помню, как при свете уличного фонаря я распечатала конверт и с жадностью стала читать написанные мелким,

---

* До востребования (*франц.*).

ровным почерком строки. Содержание письма меня удивило. Оно было столь же туманно, как окружающие меня зимние сумерки. На двух листах проходил лейтмотив скорби о царящей на земле неправде. На третьем листе эта тема разрешалась заключительным аккордом: «Жизнь есть позолоченный орех!»

Мне показалось, что эта истина не стоит тех усилий, которые я затратила на берлинском почтамте для ее обретения. Сунув письмо в карман, я решила в нем разобраться на досуге. «На досуге» оказалось, что во всем виноват Леонид Андреев! Письмо писалось по возвращении из Художественного театра, со спектакля «Екатерина Ивановна». Пьеса эта начинается выстрелом из револьвера. Затем, на протяжении четырех актов, Леонид Андреев при содействии прекрасных актеров Художественного театра треплет зрителям нервы. И вот, в результате этой нервотрепки, выстрел, прозвучавший на сцене в Москве, пройдя через «геттингенскую душу» Андрея Гравеса, рикошетом попал в Берлин и отразился на мне в виде «позолоченного ореха». (Этот «орех» с тех пор стал именем нарицательным. Совсем недавно я получила от А.Ф.Г. письмо, в котором он сравнивает свою жизнь на Северном Урале с пресловутым орехом, но уже отнюдь не позолоченным.)

Во время третьей заграничной поездки оживились мои прежние итальянские впечатления и к ним присоединились новые — незабываемая поездка вдвоем с мамой в Сиену. Небольшой средневековый город с его покатой площадью, пестрым черно-белым собором, мрачным дворцом, в котором на протяжении веков совершались вероломства и предательства, картины Тосканской школы, «где коварные мадонны щурят длинные глаза» — всё это произвело на нас чарующее впечатление и заставило забыть о тяготах передвижения по итальянским железным дорогам, долгом ожидании поезда в Эмполи и назойливой любезности ехавшего с нами тосканского помещика.

В Монте-Карло я впервые попала в казино и поставила скромный пятифранковик на номер 30 (дело было 30 января старого стиля, и я, конечно, решила рискнуть на то число, когда я в первый раз подошла к столу с рулеткой). Каково же было мое удивление, когда я услышала:

«Тридцать, красное, нечет и пасс!» — и крупье деревянной лопаточкой пододвинул к моей пятифранковой монете еще 35 франков. Первой удачи было достаточно, чтобы породить во мне некоторое пристрастие к азартной игре, которое потенциально так и лежит на дне моей души, но которому моя дальнейшая судьба не предоставила благоприятных условий для развития.

Спустив значительную долю выигрыша на менее рискованных ставках, я все же в 1913 году покинула Монте-Карло с барышом (который с избытком отдала в 1926 году!) и накупила всяких *souvenirs de Nice* себе и своим друзьям.

Пребывание в Париже на этот раз не оставило во мне ярких воспоминаний — я спешила в Москву, которая встретила меня великопостным звоном, потемневшим снегом на улицах и капелью с крыш. Свидание с Андрюшей Гравесом в Екатерининском парке на Самотеке было очень радостным, и разговоры о «позолоченном орехе» уже не мешали!

Надзор за мною по возвращении из-за границы заметно ослабел. Думаю, мама убедилась в «благонадежности» моих отношений с А.Г. и приняла формулу физиократов: «*Laissez faire, feaissez passer!*»*

На первой неделе Великого поста, решив выполнять всё, что полагается православным христианам, мы с Андрюшей два раза отстояли мефимоны**: один раз в церкви святого Варсонофия поблизости от Строгановского училища, а другой раз — у Троицы в Полях за Китай-городской стеной. Тишина полупустынных сводов, черные ризы, покаянные напевы «помилуй мя Боже, помилуй мя», канон святого Андрея Критского: «Душа моя, душа моя, восстани, что спиши! Конец приближается!», мерцание свечей, молящиеся старушки — всё это нас умиляло, но не печалило. Мы никак не могли проникнуться мыслью, что «конец приближается»! Конец нам казался таким далеким, что о нем не стоило думать,

---

* «Пусть всё идет, как идет!» (*франц.*) — слова французского экономиста Венсана де Гурнэ (1712—1759) из речи, которую он произнес на собрании экономистов-физиократов, сторонников свободной торговли.

** Мефимон — церковная служба, отправляемая вечером в понедельник, вторник, среду и четверг первой недели Великого поста.

и мы чинно стояли рядом, крестясь, и становились на колени в положенные моменты, изредка обмениваясь взглядами искоса, в которых светилась контрастирующая с великопостной службой радость.

Из церкви мы шли на Грибной рынок — традиционное торжище, развертывавшееся ежегодно на первой неделе Великого поста между Москворецким и Устьинским мостами. Набережная Москвы-реки была буквально завалена рыбой, грибами всех видов, бочками с капустой, брусникой и мочеными яблоками, лотками с пряниками, орехами, рожками с черносливом. Среди толпы сновали продавцы горячих «площадных» пирожков и гречишников. Гжельские мастера вывозили на Грибной рынок свои причудливые поделки: кувшины, жбаны, подсвечники из поливной глины самых различных форм и оттенков.

Нам нравилось толкаться в рыночной толпе и, жуя коврижку, воображать себя живущими во времена Хованщины. Я говорю «нам», но в душе думаю, что главным заводилой была все-таки я, а Андрей был только «умиленным» свидетелем. Впрочем, я, может быть, ошибаюсь!

С моего согласия он написал о наших проектах Таточке Дрентельн, которая в то время была уже не Дрентельн, а Воейкова и жила в Царском Селе. Дружеские отношения между Андрюшей и Таточкой сложились на протяжении нескольких лет, когда они гостили у Поповых в Пятницком (Калужской губернии): она — в качестве внучки хозяйки, а он в качестве товарища ее двоюродных братьев.

Осенью 1912 года, заходя с мамой на примерку к Ламановой (у Ламановой одевалась, конечно, не я, а мама), я видела, как мастерицы проносили вороха каких-то кружев и говорили, что это «приданое барышни Волоцкой» (мать Танечки была за Волоцким), которая выходит замуж за красавца Воейкова. Воейков был действительно красив, но не имел никаких средств. Он и его брат, брошенные отцом, воспитывались баронессой Менгден, урожденной Воейковой, приятельницей моей бабушки Александры Петровны. По окончании Пажеского корпуса Николай Сергеевич вышел в стрелки и сделал предложение Таточке Дрентельн. С его стороны это был явно брак по расчету — если не ради денег, которых,

кажется, не было, то ради карьеры. (Генерал Дрентельн, очень милый и порядочный человек, был близким другом государя, когда тот был еще наследником, и сопровождал его в поездке на Дальний Восток.)

В описываемое мною время брак Таточки уже совершился, и Воейковы жили в той части Царского Села, которая называлась София и где были расположены казармы 4-го стрелкового полка. На письмо Андрюши Таточка ответила восторженным посланием, в котором обещала всячески содействовать, приглашала меня к себе и под конец рисовала картину дружественного союза, который должен был навеки объединить Андрюшу, меня, ее и... Воейкова. Я была очень тронута, но присущий мне здравый смысл восстал против проекта этой «квадратуры». Я знала, что попытка создания таких надуманных отношений потерпела фиаско в 30-х годах XIX века (Герцен, Огарев и их жены). В XX веке она была бы совершенно абсурдна.

Тем не менее, гостя на Пасхе у отца, вернувшегося в 1913 году из Самары в Петербург, я отправилась в Царское, где меня встретили с распростертыми объятиями. Во время визита к Воейковым мой хваленый «здравый смысл» явно бездействовал: я наивно верила в возможность появления *Deux ex machina**, когда Таточка утверждала, что в нужный момент ее отец скажет два слова государю, тот умилится над судьбой «Германа и Доротеи» и окажет им помощь. Какую и в чем?.. Это было очень туманно, но я все же покинула Царское Село, окрыленная радужными надеждами.

Суровая действительность не замедлила о себе напомнить. На первый день Пасхи я получила письмо, где тема «ореха» звучала очень ясно и вполне конкретно: в газетах появился указ о продлении срока военной службы для вольноопределяющихся с одиннадцати месяцев до двух лет. Это значительно осложняло ситуацию и подвергало мое чувство испытаниям.

---

* Бога из машины (*лат.*). Калька с греческого, выражение, означающее неожиданную развязку какого-то события благодаря привлечению внешних сил.

Весной 1913 года в Москве праздновалось трехсотлетие дома Романовых. Самая дата избрания на царство Михаила Федоровича приходилась на 18 января и была отпразднована в Петербурге и Костроме. Монетный двор отчеканил неудачно оформленные юбилейные медали и рубли с изображением первого и последнего представителей династии, появились нагрудные значки с изображением грифона (герб дома Романовых), но по существу празднование ограничилось стенами Зимнего дворца.

В мае двор прибыл в Москву, чтобы отметить юбилей в Первопрестольной более широко и всенародно. Несмотря на пышные приготовления, «всенародности» не получилось. Многие считали юбилей делом династическим, а не общегосударственным. К тому же невольно приходила в голову мысль, что династия уже не Романовская, а Голштинская.

В связи с готовящимися торжествами Строгановское училище получило крупные заказы по вышивке, чеканке, керамике. Мотив двуглавого орла широко использовался в орнаментовке: тут были курицеподобные орлы первых Романовых, красивые, широко распластанные александровские орлы и современный государственный герб, приводивший на память казенную печать или монету.

Николай Васильевич Глоба был, как я уже говорила, великим рекламистом. Заручившись содействием великой княгини Елизаветы Федоровны, он решил устроить выставку работ училища в той части Грановитой палаты, которая примыкает к жилым помещениям Кремлевского дворца. Таким образом он рассчитывал показать нашу продукцию членам императорской фамилии и тем лицам, от которых можно было получить субсидию. (Как раз в то время начали строиться корпуса по Звонарному переулку и требовалось много денег.)

Небольшую по размерам выставку устроили удачно. Особенно хороши были тканые ковры и керамика. Мое творчество было представлено диванной подушкой, вышитой в блеклых тонах французских гобеленов. (Я к тому времени уже отошла от увлечения русско-строгановским стилем.)

При выставке находились, кроме Николая Васильевича, Нина Адрианова, Соня Балашова, Настя Солдаткина и я.

В день открытия к нам пришли четыре великих княжны: проще и милее всех держала себя маленькая Анастасия. Ясно помню княжну Ирину Александровну (впоследствии Юсупову) с красивым, но неприятным лицом, и уже немолодую великую княжну Марию Александровну (Кобург-Готскую), которая пленилась моей подушкой и купила ее за 50 рублей. По окончании выставки я получила 40 рублей: 10 рублей было удержано за казенный материал, причем сороковой рубль был выдан мне юбилейной монетой, которая долгое время хранилась на дне моей рабочей коробки.

Официальное торжество начиналось, как всегда, с царского выхода через Красное крыльцо в Успенском соборе. В это утро я была не на выставке, а в залах дворца вместе с мамой. Когда царская фамилия в строгом церемониале прошла мимо нас по всем залам (наследника нес на руках дядька матрос Деревенько) и стала спускаться по наружной лестнице к Красному крыльцу, я оказалась стоящей на подоконнике вместе с Татой Трубецкой, которую не видела со времени танцклассов. Вид с нашего подоконника открывался очень интересный: море голов, сверкающее облачение духовенства и царский кортеж, медленно движущийся по ковровой дорожке к Успенскому собору. К этому надо добавить яркий солнечный свет и несмолкаемый гул колоколов. От моего внимания не ускользнуло, что от Спасских ворот до Николаевского дворца шеренгой стояли катковские лицеисты.

Двадцать третьего мая московское дворянство давало бал в том зале, который теперь называется Колонным. (Тогда он так не назывался.) Непривычно было собираться на бал не темной зимней ночью, а светлым весенним вечером. Помню, как я, уже одетая в декольтированное платье, вышла на балкон Удельного дома и проходившие по бульвару люди смотрели на меня с некоторым удивлением. Мое бледно-розовое платье, украшенное гирляндой из лепестков роз, было перехвачено широким поясом цвета *pervenche** — такое сочетание было модным в 1913 году. Это было мило, но не могло идти в сравнение с нарядом моей матери. В платье из серебристой

---

* Перванш (*франц.*) — бледно-голубой с сиреневым оттенком.

мягкой парчи, отделанном брюссельскими кружевами, и с букетом каких-то стилизованных цветов у пояса, мама в этот день имела определенно «маркизистый» вид.

В вестибюле Дворянского собрания мы увидели Лидочку Шлиппе (младшую сестру Николая Густавовича) всю в слезах: она оказалась одетой не по форме для бала, носившего характер «придворного». Вырез ее платья был слишком мал, и церемониймейстер ее не пропустил.

В ожидании прибытия императорской фамилии приглашенные группировались за колоннами и в боковых залах. Я сразу попала в дружеские объятия Таточки Воейковой, которая вместе с мужем приехала из Царского Села — он по наряду, а она за компанию.

Наконец раздались звуки полонеза. В первой паре шел государь с Александрой Владимировной Базилевской (женой губернского предводителя), за ними Александра Федоровна с Базилевским и далее одиннадцать уездных предводителей в паре с кем-нибудь из великих княгинь и княжон. Больше всех меня поразила Александра Владимировна Базилевская. Мы привыкли видеть ее рыжеватой шатенкой, а тут она вдруг появилась с серебристо-пепёльными волосами, что ей, кстати говоря, очень шло.

Обойдя зал под звуки полонеза, царь и царица сели в приготовленные для них под сенью цветущих кустов и деревьев кресла и попросили начинать танцы. Дирижировали Притвиц и Штер. Во время полонеза я стояла с Воейковыми у колонн и Таточка, как бывшая фрейлина знавшая в лицо всех великих князей и княгинь, называла мне незнакомых.

Между тем середина зала опустела. Котя Штер, получив распоряжение открыть бал, быстрыми шагами направился в мою сторону и склонился передо мною в почтительном поклоне. Я была поражена. Котя со мной очень редко танцевал, а теперь — такое внимание! Несколько секунд я находилась в замешательстве и вдруг услышала тихие, но веские слова, мало гармонирующие с почтительным поклоном: «Не жеманься, как поповна!» Тут вмешались Воейковы, одобряюще вытолкнув меня немного вперед; я положила руку на плечо Коти и, не смотря по сторонам, двинулась в вальсе по необъятным просторам зала.

Когда полный круг был пройден, я поблагодарила своего кавалера, который вернулся к своим дирижерским обязанностям, и сразу была окружена калужанами. Иван Анатолиевич Каншин, успевший, видимо, побывать в буфете, бурно приветствовал в моем лице «калужанку, на которую пала честь открыть столь знаменательный бал!». Николай Густавович Шлиппе, несколько огорченный неудачей, постигшей его сестру Лидочку, повел меня к ужину и покинул лишь для того, чтобы подойти к Кириллу Владимировичу и напомнить ему, как они вместе плыли на бревне после взрыва «Петропавловска».

После ужина старшая часть императорской фамилии отбыла и веселье стало более непринужденным. Мария Павловна младшая, для которой (судя по запискам А.А.Игнатьева) нарушение правил этикета было явлением хроническим, перекинула шлейф через руку и так бойко отплясывала со своим братом Дмитрием Павловичем, что на следующий день (по слухам) ей было поставлено на вид, что так танцуют только в кафешантанах, а не на официальных балах.

В то время как я «торжествовала» по поводу трехсотлетия, Андрюша Гравес готовился к выпускным экзаменам. Мне думается, что подготовка была не очень усердной. Во всяком случае, она часто прерывалась поездками в Петровское-Разумовское или Сокольники. В одну из таких поездок на мне был светло-серый костюм со стальными пуговицами, чем-то напоминавшими артиллерийские снаряды. Вид этих пуговиц навел нас на мысль, что вместо беззаботных блужданий по окрестностям Москвы следовало бы съездить на Ходынское поле в казармы 2-й гренадерской артиллерийской бригады и зачислиться там на отбытие воинской повинности. Это было сделано, но, увы, слишком поздно. В канцелярии бригады сказали, что прием вольноопределяющихся давно закончен, а для ротозеев есть пехота и, в частности, Перновский полк. Это была катастрофа. Я мобилизовала всю свою энергию и решила спасать положение «своею собственной рукой».

На Пречистенке жила сестра Довочки Наталья Николаевна, муж ее был начальником штаба Московского военного округа. Из гостиной Натальи Николаевны я проникла в кабинет генерала и геройски изложила ему свое

ходатайство о приеме во 2-ю артиллерийскую бригаду одного вольноопределяющегося сверх комплекта. Выполнение моей просьбы оказалось совсем не так сложно, как я себе представляла. Это была «стрельба из пушек по воробьям». Генерал взял телефонную трубку, сказал кому-то несколько слов и с улыбкой заверил меня, что все устроено. В эти несколько минут завязался узел судьбы — Андрюша Гравес на горе или на радость себе стал артиллеристом. На расстоянии года и двух месяцев от нас стояла война, но мы тогда ее не видели.

На этом кончается моя глава, посвященная Андрюше Гравесу и связанным с ним милым дням. В конце мая я уехала в Аладино, он — в лагеря в Клементьево. Дальнейшее будет изложено в следующей главе.

Лето 1913 года

Желая, чтобы Шурик хорошо изучил английский язык, весной 1913 года папа посадил его на пароход и отправил на летние каникулы в Англию. В городе Бат (Bath) проживало почтенное семейство Моджеров, которое принимало на пансион молодых людей, снабженных столь ценимыми в этой стране рекомендательными письмами.

У Шурика была счастливая способность: где бы он ни находился, он всюду был «у места». В Англии брат быстро освоился, подружился с моджеровской молодежью, участвовал в теннисных соревнованиях и вернулся осенью, говоря, что насколько англичане несносны вне пределов своей страны, настолько они приятны у себя дома.

Из вышесказанного видно, что летом 1913 года Шурика в Аладине не было. Жизнь там текла скучновато. Письма от «молодого солдата», затерявшегося на просторах Клементьевских лагерей, поступали редко и были переполнены неинтересными подробностями военной жизни. В середине лета на однообразном горизонте нашей деревенской жизни наметилось событие: в Радождеве готовилась свадьба — старшая дочь Марии Аркадьевны Валя, покинув «Отраду» Вяземских, поселилась в Калуге и поступила в акушерско-фельдшерскую школу. Главной притягательной силой Калуги был стоявший там 10-й пехотный Новоингерманландский полк. Расчет оказался правильным, и 11 июля, на Ольгин день, в Радождеве готовилась свадьба Вали с капитаном Е.Г.В., добродушным, но недалеким уроженцем Бессарабии.

Ожидался большой съезд соседей и офицеров из Калуги. Наша семья была представлена мамой, Сережей и мною. В 2 часа дня 11 июля в Радождеве в липовой аллее уже стояли длинные накрытые столы, за кустами располагался духовой оркестр сухинической пожарной команды, на дворе раздавался звон бубенцов подъезжающих троек.

Когда мы приехали, невеста была уже одета и Сереже, как первому шаферу, оставалось только, по старинному обычаю, положить ей в туфлю золотую монету, что он и сделал. Удивлялись отсутствию Бориса Аксакова, который незадолго до того приехал из Петербурга в отпуск и обещался быть шафером. На золотую монету с его стороны не рассчитывали, но он сам расценивался как до известной степени блестящее явление на общеармейском фоне и должен был украсить свадьбу.

Слыша его имя, я вспоминала, как в дни ранней юности целый месяц была в него молчаливо влюблена. Теперь меня интересовало, какие перемены произошли в нем за шесть лет. Попутно до меня доходили разговоры о том, что «Сергей Николаевич Аксаков очень недоволен сыном». С умом и способностями Бориса надо было идти в Академию, а он попал в кутящую компанию, наделал долгов. Теперь ему надо выходить в запас и приниматься за дело! Так как я еще не отучилась мыслить литературными штампами, то сразу представила себе образ наподобие Дубровского (до того времени, когда он стал разбойником): сын небогатого помещика, умный и гордый, выходит в гвардейский полк не из самых шикарных, но все же слишком дорогой для его средств. Отсюда все конфликты.

Когда свадебный кортеж двинулся в церковь, к крыльцу подкатила взмыленная тройка. Из экипажа вышли, извиняясь за опоздание, Володя Вяземский и Борис Аксаков: один — в дворянском мундире, другой — в военном сюртуке и фуражке нахимовского образца, которая ему шла и фасона которой он всегда придерживался. Первый взгляд принес мне некоторое разочарование: я заметила утрату свежести юнкерских лет и появление натянутости в обращении, прежняя веселость заменилась желанием «фигурять». Я тихо сказала Сереже: «А ведь Аксаков стал хуже!», на что тот с жаром возразил: «Ничего подобного! Он очень мил!»

Не зная о таком заступничестве и, главное, не подозревая, что Сережа окупил свое право первого шафера золотой монетой, Борис по прибытии в церковь преспокойно взял из Сережиных рук венец и стал непосредственно за невестой. Сережа своих прав не оспаривал.

Если на 14-летнего подростка Борис Аксаков не обращал никакого внимания, то теперь его поведение в отношении меня резко изменилось. По выходе из-за свадебного стола мы гуляли по залитым лунным светом аллеям, сидели во многих беседках и на многих скамейках. Вокруг нас шло самое непринужденное веселье, оркестр пожарной команды неумолчно играл марш «Дни нашей жизни», бравые ингерманландцы изрядно выпили и держали себя развязно. Борис в тот день наложил на себя пост и был весьма воздержан в смысле вина.

И все же прогулки по саду не прошли нам даром! Под конец вечера мы стали замечать косые взгляды хозяев и некоторых гостей, которые решили, что мы из «снобизма» отдаляемся от остального общества. Небольшая доля правды в этом была, так как на следующий день, в результате коллективного творчества Бориса, Сережи и моего, появилось стихотворное описание свадьбы, начинавшееся словами: «Зазуля пьян, а Эсик дерзок...» (Зазуля и Эсик — офицеры Ингерманландского полка).

Через два дня после радождевской свадьбы Вяземский и Аксаков приехали в Аладино и внесли в наш размеренный уклад жизни элемент того бесшабашного веселья, который царил в восточной части уезда и был несвойственен нашим краям. За обедом Сережа изощрялся в остроумии, описывая самые забавные эпизоды свадебного пира. Бабушка смеялась вместе с нами, и только дедушка держался сдержанно, вспоминая, вероятно, что еще не так давно слово «Вяземские» в Аладине было равносильно «Вавилону». В отместку за это, выйдя из-за стола, мы сразу сочинили:

Тут же с миною брезгливой
Средь компании шумливой,
Отвечая всем не в тон,
За столом сидел Гастон.

Что касается бабушки, то при всей ее властности, она никогда не имела узких взглядов и с ней можно было договориться. В конце обеда она, вздохнув, сказала: «Вот мы посмеялись над Эсиками и Зазулями, а если грянет война, то ведь это они будут защищать

родину, а не благовоспитанная гвардия». Она судила по Японской войне и не могла предвидеть, что ровно через год благовоспитанная гвардия первой поляжет на полях сражений.

День именин Бориса Аксакова (24 июля) решили ознаменовать коллективной поездкой в Оптину пустынь. Сергей Николаевич Аксаков, недовольным сыном, не давал ему лошадей для увеселительных поездок, особенно во время уборки хлебов, зато тройка Володи Вяземского и он сам всегда были в распоряжении Бориса.

Во время двухдневного пребывания в Оптиной пустыни между мною и Борисом Аксаковым начались «иносказательные» разговоры такого рода: он рисовал картины своего беспросветно-одинокого житья в глуши, где он получит место начальника после ухода с военной службы. Я завершала эту печальную повесть фантастическим рассказом о том, как, одевшись соответственным образом, приду наниматься в письмоводители (вариант «Барышни-крестьянки»). Он сначала меня не узна́ет, а потом это будет «луч света в темном царстве». Последнее уже говорилось Борисом, а не мною, конечно!

В начале августа мама сделала макиавеллический шаг — приехав в Москву, она вызвала к себе Андрея Гравеса (который к тому времени вернулся из лагерей) и сказала ему приблизительно следующее: «Я знаю, что Вы любите мою дочь и что Вы хороший молодой человек. В силу последнего, Вы должны на время отстраниться и не оказывать на Таню влияния своими письмами. За ней в настоящее время ухаживает один наш сосед по имению, и ее выбор должен быть совершенно свободным. Дайте мне слово, что вы до нашего возвращения в город не будете ей писать!» Слово было дано, а я об этой беседе ничего не узнала. Впрочем, это особой роли уже не сыграло.

В середине августа мы с мамой неожиданно оказались в «Отраде». Нам давно надо было поехать к Оболенским в восточную часть уезда, и Володя Вяземский уговорил по пути заехать к его матери. Я была рада увидеть «запретную зону», о которой ходило так много преувеличенных слухов. Мария Владимировна, которую я до этого

видела у Запольских, приняла нас более чем любезно. Гладко причесанная и просто одетая, она совсем не имела вида молодящейся женщины, но в ее манерах чувствовалась привычка властвовать над своими поклонниками и тем «цыганским табором», который ее всегда окружал. Она была очень нервна, может быть, даже истерична. Это сказывалось в повышенном эмоциональном тоне ее разговора и в небольшом дрожании головы.

«Отрада», как я уже говорила, принадлежала Алексею Николаевичу Ергольскому, фактическому отцу ее младших детей Прасковьи и Николая. Мария Владимировна жила там полной хозяйкой, окруженная целым странноприимным домом. Обломки всевозможных жизненных крушений приплывали в «Отраду» и задерживались там на долгие годы. В описываемое мною время, несмотря на некоторое материальное оскудение, за стол садилось обедать не менее 20-25 человек. Тут же присутствовала брошенная братом хозяйки Алексеем Владимировичем семья, состоявшая из его безгласной жены и четырех девочек (старший сын Борис был уже юнкером и приезжал только на каникулы). Всех этих детей Мария Владимировна кормила, поила и одевала.

Весьма своеобразной и непонятной фигурой на «отрадинском» горизонте был Митя Краснопольский — человек средних лет, приличной внешности, бывший правовед. (Кстати, он оказался моим дальним родственником через Калагеорги.) Как он попал в «Отраду» и почему он там жил, осталось для меня неясным. (После революции Краснопольский женился на старшей девочке Блохиной и, уже разбитый параличом, несколько лет жил в Козельске.)

Другим не совсем обычным обитателем «Отрады» был молодой француз Валентин Девойод, сын известного певца-баритона, приехавшего на гастроли в Россию и скоропостижно умершего. Круглый сирота, Валентин воспитывался в Московской французской школе святого Людовика и в возрасте одиннадцати-двенадцати лет был взят Марией Владимировной на лето в качестве товарища к младшему сыну Коке. Привольная и бездумная жизнь в «Отраде» оказала свое действие: Девойод не пожелал вернуться в школу, забыл французский язык,

опростился и остался жить у Марии Владимировны наподобие Тарзана, занимаясь охотой и рыбной ловлей. (Впоследствии он все же, кажется, репатриировался.)

Наследственное имение Ергольских Клюксы было расположено на левом берегу Жиздры. «Отрада» же представляла собою дачу, построенную сравнительно недавно на правом, лесистом берегу реки. С открытой террасы открывался широкий вид на заливные луга. В хорошую погоду можно было различать отстоявшие в 12 верстах купола козельских церквей.

Завершив краткое описание «Отрады» с внешней и внутренней стороны, я возвращаюсь к своему жизнеописанию. От аксаковского Антипова до «Отрады» считалось примерно 35 верст. Узнав, что мы туда собираемся, Борис после неприятного разговора с отцом вывел из конюшни лучшую лошадь, запряг ее в беговые дрожки и помчался туда же. Всякий, кто направлялся из Антипова в сторону Козельска, неизбежно должен был переезжать реку Серёну по плотине у Плюскова. В Плюскове жила Надя Вахтина, которая за пять лет, что не появлялась на страницах моих воспоминаний, успела выйти замуж, овдоветь, заболеть туберкулезом легких и поселиться вместе с двухлетним сыном Ростиславом в доставшемся ей по разделу имении. Так как в большинстве случаев радости одних создаются за счет печалей других, то я допускаю, что Надя с болью в сердце наблюдала из окон своего дома, как Борис Аксаков проезжает мимо ее околицы неизвестно куда и неизвестно зачем. Во всяком случае, таковы мои предположения теперь — тогда я об этом не думала. (Надежда Алексеевна Вахтина, урожденная Вяземская, умерла через год и похоронена в ограде попелевской церкви, рядом со своим отцом.)

Борис приехал в «Отраду» под вечер. Его ухаживания за мной принимали открытый характер. Все отрадинские жители — великие специалисты в подобных вопросах — навострили уши и стали ждать, что будет дальше. Зная, что я интересуюсь русской стариной, Борис наутро следующего дня предложил мне показать достопримечательность — церковь местной архитектуры — в селе Волосово-Дудино, куда мы и отправились в предоставленном

нам хозяевами шарабане. Погода была чудесная, дорога шла лесом, церковь оказалась запертой, и мы могли ее осмотреть только снаружи, но не особенно об этом сокрушались.

По возвращении нашем из этой поездки произошло «событие», которого ждали все кумушки — между мамой и Борисом состоялся разговор, который можно подвести под рубрику «официальное предложение». Мама была озадачена: она никак не ожидала, что дела пойдут с такой головокружительной быстротой, и была далеко не в восторге от принятого нами решения. Я помню ее первое возражение: «Борис! Простите, что я затрагиваю этот вопрос, но Вы знаете, какой славой пользуется во всей округе "аксаковский характер". Я боюсь, что Вы его унаследовали». На это Борис очень умно и с большим достоинством сказал: «Я сам так много от него пострадал, что гарантирован от повторения ошибок моего отца!»

Я в смущении ожидала, что мама, с полным на то основанием, скажет мне: «А ты что же, матушка, так быстро меняешь свои привязанности! У тебя семь пятниц на неделе» Но мама этого не сказала, так как сама косвенно содействовала моей «измене». К Борису она относилась хорошо до самого конца. Мама обладала неоценимым качеством: она умела быть верным другом, а с Борисом она была, безусловно, дружна, хотя всегда видела его недостатки и первый из них — плохой характер, который он все-таки унаследовал и не преодолел.

Следует добавить еще, что осенью 1913 года мама сама находилась в «смятении чувств»: намечались изменения ее собственной судьбы и потому моя судьба пошла «самотеком».

Что касается отца, то он, как в отношении меня, так и в отношении брата, придерживался теории невмешательства. Он говорил: «Вам жить, а не мне — решайте сами, тем более что запреты в таких делах обычно ни к чему не приводят!» Бориса он сначала не знал, а потом не любил.

Женитьба не приносила Борису никаких материальных выгод, так как я была «бесприданницей», но моральные выгоды она ему, несомненно, принесла: из «сына, не оправдавшего надежд семьи», он вдруг превращался

в счастливого жениха, которому все, словно сговорившись, стали помогать на его новом жизненном пути. Началось с того, что его крестный отец Николай Александрович Запольский дал ему денег на оплату самых неотложных долгов. (Как раз в это время он запродал Радождево полковнику Кирьякову.)

В аксаковской семье весть о нашей помолвке была встречена восторженно, причем Сергей Николаевич торжественно заявил: «Имейте в виду, что если между вами когда-нибудь возникнет размолвка, я всегда буду на стороне Тани». В сентябре 1934 года Борис и я оформляли развод в Ленинградском ЗАГСе. Регистраторша, следуя правилам, спросила Бориса: «Не возражаете ли вы против того, что ваша бывшая жена и впредь будет носить вашу фамилию?» Борис встал, поклонившись в мою сторону, и сказал: «Это будет для меня честью!» Регистраторша, не привыкшая к такому рыцарству, широко раскрыла глаза, а я вспомнила Сергея Николаевича, которого давно уже не было в живых, и подумала: «Тень Грозного меня усыновила».

При оценке отношения Бориса ко мне, которое было очень сложным, я никогда не забываю отдельных моментов высокого напряжения и благородства, и, между прочим, того, как он плакал (да, плакал, самыми настоящими слезами!), когда мы шли по Вознесенскому проспекту в этот самый загс. Наши жизненные дороги давно разошлись, эти слезы, вероятно, были вызваны наплывом воспоминаний молодости, но все же они были, и я их помню!

Свадьба

Когда весною 1913 года мы вернулись из Аладина в Москву, начались приготовления к свадьбе, назначенной на конец января. Борис съездил в Петербург, представился моему отцу и уволился с военной службы. В ноябре, когда я встречала его на вокзале, он уже был в штатском и в паспорте у него значилось: «запаса гвардии поручик».

До этого у меня произошло тяжелое объяснение с Андрюшей Гравесом: он пришел под вечер, мы сидели в гостиной, я сквозь слезы говорила какие-то невразумительные слова. Он был сдержан и, как всегда, деликатен. В моей теперешней переписке с А.Ф.Г. значительное место занимают воспоминания, и письма, циркулирующие между нашими местами ссылки, уподобляются зеркалам, на которых мы ловим отблески прошлого.

Не так давно он написал мне: «Напомните мне, пожалуйста, подробно сцену нашего расставания, когда я пришел в форме артиллериста в Удельный дом, и скажите, ошибаюсь ли я, представляя ее себе так. Я сидел на диване, передо мной был стол. Мебель мне представляется золоченой с красной обивкой. Мне кажется, что я шашку снял и положил на стол. А вот что при этом говорилось, я уже не помню». Внешнюю обстановку он произвел точно, а слова... хорошо, что он их забыл!

Но возвращаюсь к Борису Аксакову. Если бы я была более вдумчива и менее юношески самоуверенна (то есть менее верила во «всеисправляющую силу любви»), я бы придала большее значение тревожным симптомам в характере моего жениха. Наряду с немного деланной любезностью (особенно с посторонними) он мог допускать довольно дерзкий тон с людьми, которые ему не нравились. Часто создавалась неприятная атмосфера, которую я старалась разряжать, являясь «амортизатором» между Борисом и внешним миром. Теперь мне кажется, что я недоучитывала скрытой причины его раздражительности:

«перепил» или «недопил». Борис так привык к вину, что оно почти не оказывало на него заметного действия. Однако под влиянием этих «перепил» или «недопил» какие-то центры его мышления сдвигались в сторону и он становился неприятным.

Что касается его отношения ко мне, то ни в то время, ни потом разногласий по серьезным вопросам между нами не было, однако Борис неизменно хотел бы видеть во мне поменьше «московской непосредственности» и побольше «петербургского снобизма». Может быть, он, до известной степени, был прав. Я считала, что простота в обращении — это мой стиль, и совершенно не желала меняться и направлять свои действия по руслу, не свойственному моим склонностям. В конце концов, дело моего «перевоспитания» было далеко не безнадежным. В моем характере имелась струна, на которой можно было играть, — поощрение и ласка. Борис это понимал, но проявлял странное упорство. «Я знаю, — говорил он в минуты раздражения, — что из тебя комплиментами можно веревки вить, но ты этого от меня не дождешься!» В этих словах я усматривала жестокость — черту, которой я никогда не прощаю, — и становилась на дыбы.

Но я забежала вперед. Этот психологический конфликт проявился значительно позднее. До свадьбы попадались лишь едва заметные намеки, которые заглушались развивающимся ходом событий. Я уже носила на руке кольцо — шевальеру* с аксаковским гербом, Борис получил разрешение на брак с последующим отпуском от калужского губернатора (формальность, необходимая в связи с тем, что он был назначен земским начальником четвертого участка Тарусского уезда), из Парижа прибыли два сундука с приданым, которым занималась тетя Лина де Герн. Благодаря ей эти сундуки прошли границу с дипломатической почтой без вскрытия на таможне. Свадьбу назначили на 26 января 1914 года.

Недели за три до этой даты я совершила «триумфальный» рейс в Калугу, где была обласкана аксаковской семьей. Сергей Николаевич в это время служил по выборам и, как член губернской земской управы, ведал

---

* Шевальера (от франц. *chevalière*) — широкий перстень.

Хлюстинской больницей, занимавшей обширную территорию на восточной окраине города. Главным врачом там был известный русский хирург Василий Алексеевич Красинцев.

Я уже говорила, что семейная жизнь родителей Бориса являлась образцом высокомерного деспотизма с одной стороны и приниженного попустительства — с другой. Года за два до моей помолвки эта давно проржавевшая цепь распалась. Оформили развод, и Сергей Николаевич женился на вдове военного Елизавете Ивановне Ивановской. Это была маленькая, кругленькая женщина с бледным, слегка одутловатым лицом, немного слезливая и любившая читать стихи из сборника «Чтец-декламатор». У Елизаветы Ивановны был небольшой капиталец и шестнадцатилетняя дочка от первого брака.

Пока она независимо проживала в домике у Успенья за Верхом и благосклонно принимала сдержанные ухаживанья Сергея Николаевича, дети Аксаковы ей симпатизировали и даже, в силу какого-то очень отдаленного родства, называли «тетей Лизой». Когда же Елизавета Ивановна, плененная «сдержанным ухаживаньем», сделала великую глупость и появилась в роли мачехи, они сомкнулись против нее объединенным фронтом, во главе которого стал Борис. (Это также служило причиной его размолвки с отцом.) Положение «тети Лизы» было незавидным: не говоря уже о моральных неприятностях, ей приходилось грудью отстаивать неприкосновенность своих денег каждый раз, когда наступал срок оплаты процентов в Дворянский банк за заложенное Антипово. В еще худшем положении оказалась Мария Ипполитовна. Совершенно больная (в той же Хлюстинской больнице ей была сделана операция рака груди), она была принуждена поступить на работу в городскую аптеку, где ей отвели комнату. С матерью жила Нина Сергеевна, учившаяся в музыкальной школе и дававшая уроки фортепьяно.

Борис в душе любил и отца, и мать, но отец ему больше «импонировал».

На углу Пушкинской и Нижней Садовой стоял двухэтажный аксаковский дом, где жила бабушка Бориса Юлия Владимировна, урожденная Воейкова, с дочерью, престарелой девицей Ольгой Николаевной. Красивая в молодости,

Юлия Владимировна, по слухам, отличалась весьма крутым характером и держала своего мужа в полном повиновении. Дети у нее делились на любимых и нелюбимых. К любимым принадлежали Сергей Николаевич и Ольга Николаевна. Нелюбимые же, числом в шесть человек, подвергались всяким «ущемлениям», вплоть до изгнания из дому.

Но все это происходило задолго до моего появления в Калуге, и я застала в лице Юлии Владимировны очень приятную старушку, благословившую нас специально заказанной иконой наших святых. Она умерла в начале революции, тетя Оля же и аксаковский дом будут еще упоминаться на страницах моих воспоминаний, как элементы, входящие в милое для меня понятие «Калуга».

Когда я вспоминаю дни, предшествовавшие моей свадьбе, они мне представляются какими-то «бездумными»*.

У всех нас головы были забиты мелочами, казавшимися очень важными: визиты, подарки, примерка платьев, рассылка приглашений. Под этим суетливо-праздничным поверхностным слоем события неслись никем не управляемые, как санки, пущенные под гору.

Я видела, что жизнь на Пречистенском бульваре разваливается на куски. Отношения между мамой и Николаем Борисовичем дали непоправимую трещину. Дядя Коля категорически заявил, что весною уходит в отставку и поступает на сцену. Мама уже не боролась — ей было все равно. К этому времени ее увлечение Вяземским перешло в ту всепоглощающую любовь, с которой она в течение тридцати дальнейших лет охраняла его от всяких напастей и беспомощного, ослепшего похоронила в 1945 году в Париже.

Но возвращаюсь к началу 1914 года или, вернее, к концу 1913-го. Войдя как-то раз в гостиную, Борис и я увидели сидевшую у мамы знаменитую актрису Александринского театра Марию Гавриловну Савину, муж которой,

---

* За исключением того момента, когда я поступила на шестинедельные курсы кулинарии при «Обществе распространения практических знаний среди образованных женщин» на Никитском бульваре и научилась там делать всякие вкусные вещи. Это было совсем «не бездумно», а очень умно, и пригодилось мне впоследствии. — *Прим. автора.*

Молчанов, был директором «Русского общества пароходства и торговли» (суда этого пароходства совершали рейсы между Одессой и портами Средиземного моря). Поздравив жениха и невесту и расписав им все прелести путешествия на Ближний Восток, Мария Гавриловна любезно предложила выслать из Петербурга, где находилось правление общества, бесплатные билеты 1-го класса из Одессы до Александрии и обратно. Так возник проект нашей поездки в Египет.

Мария Гавриловна выполнила свое обещание — билеты были получены. По своей наивности, мы не знали, что билеты на проезд на морских судах — это капля в море по сравнению с другими расходами и администрация охотно предоставляет бесплатные билеты, возмещая их стоимость другими суммами, которые пассажиры тратят во время путешествия в кают-компании. Мы решили ехать к пирамидам.

За несколько дней до свадьбы рассыльный от Фаберже доставил мне подарок от Харитоненко. Это был ящик со столовым серебром на 24 персоны. Серебро было в строгом английском стиле, без всяких украшений, кроме моего девического вензеля. Упоминаю об этом серебре, так как оно будет фигурировать в дальнейшем.

Венчаться решили в церкви Ржевской Божьей Матери, которая непосредственно примыкала к удельным домам. В день свадьбы я постановила строго выполнить старинные обычаи: ничего не есть и не видеть жениха до венца. Утром, в самом скромном платье и в сосредоточенном настроении, я вышла из дому, где уже началась суматоха, и отправилась к обедне в церковь Бориса и Глеба, что у Арбатских ворот. Отстояв службу, я вернулась в свою комнату и увидела, что приехавшие из Петербурга Шурик и Сережа сидят на сундуках, с которыми я должна была уехать из Удельного дома навсегда, и едят рябчиков. Я преодолела искушение к ним присоединиться, соблюла пост, но после веселых разговоров с мальчиками утреннее торжественно-сосредоточенное настроение меня покинуло и я стала «бездумно» выполнять ритуалы, с любопытством наблюдая, что делается по сторонам.

В два часа меня начали одевать. Мама отдала мне на подвенечное платье те самые брюссельские кружева,

в которых она была так хороша на балу предыдущей весной. Платье мое было удачным. Кое-где подхваченный гирляндами флердоранжа шлейф тянулся на два с половиной аршина*. Фату Довочка обязательно хотела приколоть на свой манер, но это дело у нее не ладилось. Фата несколько раз перекалывалась, и когда Вяземский, первый шафер Бориса, явился с букетом и сказал, что пора ехать в церковь, пришлось прекратить манипуляции с фатой, которая так и осталась приколотой по моде 90-х годов, окружая мою голову в виде сияния.

Все пространство от Удельного дома до церкви было запружено экипажами и автомобилями. Съезд оказался очень большой, и церковь была переполнена. Под раскаты приветствовавшего меня хора я передала букет Тане Востряковой и под руку с отцом, прибывшим на этот день из Петербурга, проследовала к аналою, где стоял Борис, бледный и взволнованный. За мной шеренгой стояли мои шесть шаферов: Шурик, Дима Вельяминов, Никита Толстой, Вовка Матвеев, Ваня Харитоненко и Петя Шипов.

Несмотря на торжественность момента, я старалась не упустить ничего, что попадалось в поле моего зрения, и заметила, что внимание присутствующих занято не столько молодыми, сколько стоявшими у левого клироса моими разведенными родителями. Они оба были очень хороши: папа в шитом золотом придворном мундире, мама в кружевной шляпе на немного склоненной влево голове (ее привычка, унаследованная и мною, и Шуриком). Папа возбуждал тем большее любопытство, что до того времени московское общество о нем только слышало, но никогда не видело.

Тут же у левого клироса стоял голубоглазый десятилетний Николай Миллер (мой мальчик с образом) и черноглазая его сверстница Катя Федорова (дочь Дарьи Борисовны). Из всей остальной нарядной толпы я смогла выделить Татьяну Константиновну Толстую и Николая Васильевича Глобу, стоявшего вместе с моими друзьями по Строгановскому училищу — Соней Балашовой, Настей Солдаткиной и Ниной Адриановой. Дяди Коли на моей

* Почти на полтора метра.

свадьбе не было. Он находился после операции в хирургической лечебнице Натанзона и Ратнера в Трубниковском переулке. Потом, вернувшись из церкви, между раутом, поздравлениями и обедом в Удельном доме, мы с Борисом выбрали полчаса, чтобы съездить попрощаться с ним в больнице.

Подробностей того, что говорилось во время поздравления и во время обеда, я теперь не могу восстановить. Помню, что было много шампанского и что я переходила из одних дружеских объятий в другие. Последнее раздражало Бориса, который хотел, чтобы я соблюдала церемониал и стояла рядом с ним, принимая поздравления, а не кидалась из стороны в сторону. С точки зрения организационной это было, может быть, справедливо, но когда Борис недовольно меня одернул, я вспомнила песню, которую пели все шарманщики. В этой песне, описывающей свадьбу, были слова: «Я слышал, в толпе говорили: жених неприятный какой». И мне подумалось: «А вдруг такая фраза ходит в толпе и сегодня?»

После обеда Борис и я переоделись в дорожное платье и, провожаемые родными и шаферами, отбыли с Брянского вокзала на Киев — Одессу — Каир.

Пароход «Николай I», на котором мы должны были отплыть из Одесского порта в Константинополь, нарушая расписание, почему-то не отплывал. На пристани заметна была служебная суета, виднелись генеральские мундиры. Опоздание с отъездом удивляло и нервировало пассажиров. Недоумение перешло в явное недовольство, когда ожидаемая с таким почетом персона оказалась m-me Сухомлиновой: жена военного министра ехала лечить больные почки египетским солнцем, и одесские власти сочли нужным устроить ей торжественные проводы. Как только эта дама в сопровождении свиты, в которой состояли один из братьев Монташевых и полковник Назимов (организатор «рот потешных») ступила на борт, якорь был поднят, и мы пустились в путь.

В числе пассажиров оказался Иван Михайлович Москвин с женой. Вплоть до Каира мы обедали с ними за одним столиком, вместе осматривали встречавшиеся

на пути города и сообща возмущались развязно-самодовольным тоном сухомлиновской компании. До 1937 года у меня хранилась карточка, изображающая нас с Москвиным на улице Константинополя.

Переход через Черное море мы совершили при пасмурной погоде, но Босфор встретил нас потоками солнечного света. Предосторожности, принимаемые турецким правительством перед входом в пролив, говорили о напряженности международного положения. После тщательной проверки документов у пассажиров были отобраны фотографические аппараты, и на протяжении 60 километров пути по Босфору люди в военной форме следили за тем, чтобы туристы не фиксировали на фотопленках береговые укрепления.

Мои сведения о современном Константинополе ограничивались тем, что я почерпнула из нашумевшего в то время романа Клода Фаррера «Человек, который убил», и надо сказать, мое трехдневное пребывание в этом городе ничего не прибавило к этим сведениям. Мы любовались панорамой Золотого Рога с высоты Галатской башни, переезжали из одного знаменитого места в другое, толкались под арками громадного базара, смотрели, как варится халва, покупали на улицах баранки, посыпанные кунжутом, — словом, делали все то, что рекомендовали нам осаждавшие палубу парохода проводники-греки.

В Эгейском море стало совсем тепло. Борис в сером костюме и красной феске стоял у борта и, прищурив глаза, следил за очертаниями островов Греческого архипелага. При этом он по аналогии напевал куплеты из «Гейши»: «Однажды поплыл на восток храбрый бритт — его звали Том Якки. Взял с собой всё, что мог, и табак свой, и грог...» Табак Борису был не очень нужен, так как курил он мало, но вот грогу было, пожалуй, маловато!

Борис в феске — с этим еще можно было согласиться, но Москвин с его квадратным лицом был совершенно невыносим в турецком головном уборе.

Следуя дальше, прекрасным солнечным полднем мы стали на якорь в Смирнской бухте. Был час завтрака, смуглый мальчик внес в кают-компанию связку цветущих веток миндаля. M-me Сухомлинова сказала: «Покажите мне!» Борис, думая, что цветы продаются, резко добавил:

«А потом — мне!» Оказалось, что русский консул приветствовал букетом жену военного министра.

В прекрасной четырехместной коляске мы с Москвиными совершили поездку по Смирне и ее окрестностям. Вид этих спокойных мест воскрешал в памяти евангельский ландшафт, таким, как представляешь его себе в детстве: невысокие холмы, каменистые дороги, круглые колодцы с архаическими блоками, оливковые деревья, навьюченные ослики и — кое-где — скопления белых домиков с плоскими крышами. С центральной площади Смирны при нас отправлялся караван в Мекку. Во главе каравана шествовал маленький, увешанный бубенчиками ослик. Шея этого вожака была украшена ожерельем из крупных бус небесно-голубого цвета. (Такое ожерелье, купленное нами в числе других курьезов магометанского Востока, я потом носила в качестве пояса к летним платьям.)

Претерпев небольшую качку около Крита, мы благополучно высадились в Александрии и тут же отправились в Каир. Четыре часа поезд шел по земле дельты Нила, с которой, судя по словам наших случайных спутников, собирают по четыре урожая в год, и всюду мы видели допотопные колодцы с ходящими вокруг них по приводу буйволами.

Момент появления на горизонте трех пирамид Гизы был волнующим, но Нил меня разочаровал. В Каире это самая обыкновенная река, даже не очень широкая, разделенная на два русла островом. Правую его сторону обрамляет обычная набережная с европейскими гостиницами, среди которых выделяется «Semiramis Hôtel». На левом берегу километрах в трех от Нила стоят три пирамиды и рядом с ними засыпанный по плечи сфинкс.

Когда мы осматривали эту группу пирамид и Каирский национальный музей с его богатейшим собранием египетских древностей — и среди них лежащую в стеклянном ящике мумию Рамзеса II, высохшего человека с коричневым лицом, — я обязательно захотела увидеть Нил в его естественном, неприкрашенном виде. Для поездки в Луксор или Ассуан у нас не было времени, и мы решили провести несколько дней в Гелуане, небольшом курортном местечке, расположенном немного выше

Каира по течению Нила, в санатории очень обходительной одесской еврейки Доры Кушнир.

Гелуан, куда мы отправились поездом, оказался довольно скучным местом, но в 80 минутах ходьбы от санатория росла прибрежная пальмовая роща с ярко-зеленой травой, и там протекал Нил, ничем не отгороженный и такой доступный, что можно было наклониться и зачерпнуть из него воды. Это необходимо было сделать, чтобы выполнить заказ брата Бориса, Сережи, которому в ту пору было 13 лет и который просил привезти ему воды из Нила и песку из Сахары. К этим «дарам Африки» мы еще прибавили какое-то колючее растение, росшее на песках, окружающих Гелуан.

В Каире я получила письмо от мамы. Между нею и Николаем Борисовичем произошло окончательное объяснение, после которого мама уехала в Петербург к сестре. Начался второй ее развод. Хотя я должна была ожидать подобной развязки, мамино письмо меня потрясло, и я почувствовала ненужность своего пребывания в Африке в то время, когда на Пречистенском бульваре происходят великие события. Я вспомнила и «золотой век» отношений дяди Коли и мамы, который я еще застала, и крушение этого «золотого века» с переездом в Большой удельный дом, их частые размолвки во время совместной жизни и покаянные, полные самобичевания письма дяди Коли, как только мама куда-нибудь уезжала.

И в эти неустойчивые отношения за последние годы влился новый элемент: увлечение дяди Коли Елизаветой Ивановной Найденовой, увлечение платоническое, им самим, может быть, в первый период не осознанное, но перешедшее впоследствии в нечто маниакальное. Этой несчастной любви Николай Борисович остался верен до самой смерти, может быть потому, что Найденова была к нему вполне равнодушна, а все несбыточное имело для дяди Коли особую ценность. Но об этом речь будет впереди!

Гелуан, самая южная точка нашего путешествия, был достигнут; время отпуска Бориса истекало, надо было тем же путем возвращаться домой. Я ехала домой с тяжелым чувством — будущее представлялось мне туманным.

Удельный дом для меня уже не существовал, а главное, отношения с Борисом вызывали во мне какое-то недоумение; вспомнились дети из сказки Метерлинка, в руках которых Синяя Птица, символизирующая счастье, — вдруг поблекла.

В Москве меня очень трогательно встретил дядя Коля, осунувшийся, нервный, жалкий. Борис сразу уехал по служебным делам в Калугу, я же прожила с дядей Колей несколько печальных дней в опустевшем Удельном доме, куда скоро должен был переехать новый начальник округа Голенко. Николай Борисович подал в отставку, снял небольшой домик из трех комнат на Собачьей площадке (принадлежавший Александру Трофимовичу Обухову) и собирался переехать туда с нашей старой прислугой Наташей, взявшейся вести его хозяйство. С осени 1914 года он, при содействии Александра Ивановича Южина, был включен в труппу Малого театра под своим неизменным псевдонимом Юрин.

Спешиловка

В 1914 году калужским губернатором состоял князь Сергей Дмитриевич Горчаков, дальний родственник Шереметевых, женатый на графине Анне Евграфовне Комаровской. Горчаков был тяжеловесным, добродушным человеком, тогда как его жена, похожая на мышку, была женщина бойкая и в обращении признавала только мужское общество.

Ее сестра, [Наталья] Ван Зон, была известной наездницей и брала призы на конских соревнованиях. Брат ее [Павел] Комаровский оказался жертвой Тарновской — центральной фигуры прогремевшего на весь мир в 1910 году венецианского процесса*.

Зимой 1912 года мама и я приезжали в Калугу, где с большим размахом отмечались выборы губернского предводителя дворянства (Николая Ивановича Булычева). Из Москвы даже выписали хор цыган с Шурой Христофоровой во главе. На балу в Дворянском собрании блистала бриллиантами Тёкла Орлова-Давыдова, а Сергей Дмитриевич Горчаков, взяв меня под руку, представлял почтенным гостям как свою «племянницу». Родство было приклеено для красного словца, но знакомство с Горчаковыми, во всяком случае, состоялось, и в 1914 году я надеялась, что Бориса не зашлют в самый медвежий угол Калужской губернии.

Дело, однако, сложилось само собой без всяких хлопот. Земский начальник четвертого участка Тарусского уезда Владимир Владимирович Бэр был в 1914 году избран уездным предводителем, его место оказалось вакантным, и Борис получил назначение в самый хороший район — как по природным условиям, так и по близости к Москве.

---

* Мария Тарновская (1877—1944) — роковая женщина, «черный ангел», как ее называли, которая склоняла к самоубийству своих многочисленных любовников.

Ранней весной мы с Борисом вышли из вагона на станции Ферзиково Сызрано-Вяземской железной дороги и в наемной таратайке, запряженной парой тощих лошадей, поехали по уезду в поисках квартиры. Проехав верст восемь, мы очутились в небольшом поселке Росляково, где сдавался домик в четыре комнаты. Теперь мне кажется, что этот дом был не так уж плох, но тогда мы были более избалованы и помещение в Рослякове нам не понравилось.

С тех пор прошло много лет, но когда я смотрю на картину Левитана «Март», я вспоминаю поездку в Росляково: хлюпающая под копытами лошадей непросохшая земля, кое-где островки снега, ослепительно синее небо и прозрачная сетка деревьев с едва набухшими почками. Может быть, домик показался мне таким убогим и потому, что вокруг него вместо зелени стояли голые прутики...

На следующий день мы сошли с поезда уже не в Ферзикове (наша база была в Калуге), а на станции Средняя (половина пути между Калугой и Тулой), наняли возницу, проехали версты три и увидели довольно большой дом с мезонином, стоявший на берегу реки Мышеги, притока Оки. Дом этот, находящийся при деревне Спешиловке, принадлежал помещику Гореву, служившему в Новгороде, и сдавался внаймы вместе с маленьким флигелем, пригодным для канцелярии.

Спешиловка мне понравилась: во-первых, это место было описано в только что появившихся воспоминаниях Сабанеевой*, во-вторых, в саду стоял очень красивый и большой кедр — явление редкое в Калужской губернии. Теперь я понимаю, насколько было легкомысленно на первых порах жизни и при наших скромных средствах снять дом в семь комнат и тут же начать его ремонтировать и обставлять. Но мы еще не были умудрены жизненным опытом и, кроме того, никак не могли предвидеть, что через три месяца начнется война и все наше устройство рухнет как карточный домик. Вообще же с пребыванием в Спешиловке у меня связано воспоминание о ряде совершенных Борисом и мною ошибок.

---

* Екатерина Алексеевна Сабанеева (1829—1889) оставила интересные воспоминания, охватывающие вторую половину XVIII — первую треть XIX века.

Как только мы сняли спешиловский дом на три года, на станцию Средняя стали поступать ящики с подаренным мне моими родственниками и друзьями имуществом. В конце концов, из Воронежской губернии прибыла красавица-корова симментальской породы, подаренная Клочковым.

В мае в Спешиловке появилась хозяйка имения с двумя дочерьми и поселилась на лето во втором небольшом доме, отстоящем от главного шагах в двухстах. Это была женщина лет тридцати пяти, неглупая, но очень мелочная и завистливая, которая никак не могла простить нам нашего «широкого» (с ее точки зрения) образа жизни. Когда же к нам приехали на автомобиле гости из Москвы, ее злость дошла до белого каления. С коровой она еще могла как-нибудь примириться, но с гостями на автомобиле — нет!

Тем не менее сам дом был неплох. Когда закончился внутренний ремонт комнат и все вещи были расставлены и развешаны, получилось довольно уютно. Недостатком спешиловской усадьбы было то, что она стояла в низине, из окон не открывалось никакого вида на окрестности, но зато сад, спускавшийся от дома к реке, имел большую прелесть.

Весна в Спешиловке наступала неторопливо и с большой выразительностью, приводя на память прочитанные в детстве северные сказки Андерсена и Топелиуса. Сначала у подножья развесистого кедра во влажном мху замелькали подснежники и фиалки, потом из земли неожиданно поднялись кем-то когда-то посаженные тюльпаны, нарциссы и ирисы. В мае зацвела сирень, вслед за ней — шиповник, жимолость и жасмин, а речные заводи покрылись лилиями и желтыми кувшинками. По вечерам с реки поднимался туман, осенью это, может быть, было бы неприятно, но летом туман воспринимался не как сырость, а как вечерняя прохлада. Осени же в Спешиловке я не дождалась! Но возвращаюсь к весне.

Вскоре по приезде мы начали знакомиться с местными жителями и в первую очередь направились в Петровское, к Бэрам. Тут я должна оговориться: знакомство с Бэрами нельзя считать «новым». С Владимиром Владимировичем я встречалась года два назад на дворянском

балу в Калуге, и во время кадрили он вспоминал, как ребенком бывал в Самаре у бабушки и дедушки Сиверс. Марию Михайловну Бэр я не знала лично, но она была родной теткой Вовки Матвеева, а о Петровском, прекрасном имении на берегу Оки в 40 верстах от Калуги, я постоянно слышала от нашей воспитательницы Юлии Михайловны Гедды, сестра которой была замужем за одним из Ромейко-Гурко, владельцем Петровского. Бэры купили Петровское у разорившихся Гурко незадолго до 1914 года. Каменный двухэтажный дом с ротондой и ампирными колоннами они занимали сами, а все надворные постройки и даже садовые беседки сдавали под дачи москвичам, преимущественно поэтам и художникам, влюбленным в тарусско-алексинские края. (Среди этих дачников был известный поэт Юргис Балтрушайтис, про которого ходил следующий анекдот. Хозяйка дома представляет вошедшего гостя: «Балтрушайтис», — на что тот, с кем она его знакомит (кажется, дядя Никс Чебышёв) с поклоном говорит: «Благодарю Вас, я уже балтрушался!»*)

Представляет несомненный интерес семья Кашкиных, коренным образом связанная с Козельским уездом. В семи верстах от Козельска путнику, идущему по Калужскому тракту, открывался вид на усадьбу, по своим размерам значительно превышающую обычные размеры дворянских усадеб тех мест. Из-за деревьев очень искусно разбитого небольшого парка, спускавшегося к дороге, с павильоном, беседками и гротом, виднелся дом дворцового типа, насчитывавший около сорока комнат. Дом этот был построен во второй половине XVIII века екатерининским наместником в Сибири, прадедом последнего владельца Нижних Прысков Николая Сергеевича Кашкина.

В описываемое мною время, то есть в 1914 году, Николай Сергеевич доживал свою долгую и полную событий жизнь в Калуге в качестве члена-консультанта при министерстве юстиции. Он был старым лицеистом

* Ср. отрывок у Андрея Белого в «Начале века»: «Куприна, уже выпившего, раз подвели к Балтрушайтису, чтобы представить: "Знакомьтесь: Куприн, Балтрушайтис". Куприн же: "Спасибо: уже балтрушался". Ему показалося спьяну глагол "бал-трушайте-с" — в значении понятном весьма: "Угощайтесь". Но — невозмутимый Балтрушайтис: "Еще со мной, рюмочку!"»

(6-го курса 1847 года), замешанным в деле Петрашевского, и мировым посредником первого призыва. Первым браком Кашкин был женат на Нарышкиной, имел от нее сына Николая и дочь, вышедшую замуж за орловского помещика Цурикова. Его вторая жена, женщина более простого происхождения, драматическая актриса [Павла] Щекина была матерью Ольги Николаевны Колосовской.

Николай Николаевич, как и его отец, окончил Александровский лицей и занимался историей и генеалогией: в частности, разработал труд «Род Кашкиных», изданный посмертно Модзалевским с портретами и гравюрами, откуда я и почерпнула сведения о сибирском наместнике. Николай Николаевич бывал в Аладине, где его считали человеком умным, воспитанным, но немного «позером». Дядю Колю явно раздражал его «петербургский» тон и длинные отполированные ногти.

Будучи уже не первой молодости и страдая горловой чахоткой, Николай Николаевич в 1907 году женился на сверстнице, графине Марии Дмитриевне Бутурлиной. Для новобрачных было отделано правое крыло прысковского дома. В их комнатах мне, по странному стечению обстоятельств, пришлось жить в революционную пору 1918—1919 годов в качестве «делопроизводителя» расположившейся в Прысках молочной фермы Козельского земотдела. Некоторые из старых прысковских служащих рассказывали о бурных размолвках, происходивших между супругами Кашкиными, и — может быть, для красного словца — добавляли, что дело доходило до пистолетов. Это семейное «счастье» продолжалось недолго: Николай Николаевич умер от своего неизлечимого недуга. Марию Дмитриевну я потом довольно близко знала по Калуге. Это была женщина энергичная и в обиду себя не дававшая.

Однако возвращаюсь к Тарусскому уезду. В порядке официальных визитов нам пришлось заехать в село Сашкино к помещице Клавдии Николаевне Дювериц, женщине немолодой, но очень энергичной, всецело поглощенной делами организованной ею школы с сельскохозяйственным уклоном. Ее два взрослых и довольно красивых сына с ней не жили и считались в уезде «не вполне

удачными». Про Владимира слышно было, что он «пьет», а Илья представлял собою своеобразную фигуру интеллигентного бродяги. Он появлялся то тут то там, в самых неожиданных аспектах. Иногда его можно было встретить в «Отраде» в свите княгини Вяземской, а в описываемое мною время он принял постриг в Оптиной пустыни.

После Дювериц мы посетили в селе Колосове известного своими ультрамонархическими взглядами старика Пасхалова, одиноко жившего в замкоподобном доме на высоком берегу Оки, но самое прекрасное впечатление на меня произвело знакомство с сестрами Ртищевыми.

Если только на свете существует понятие «тургеневские девушки», включающее в себя благородство натуры, полное отсутствие рисовки и что-то неразрывно связанное с русским бытом и природою, то его с успехом можно применить при описании наших новых знакомых, особенно Татьяны.

Ртищевское Жуково находилось в 10 верстах от Спешиловки по направлению к Алексину и принадлежало двум незамужним, сравнительно молодым сестрам, жившим там круглый год, и брату-инженеру, служившему в Туле. Родители Ртищевы рано умерли. Обсаженный тенистыми липами деревянный двухэтажный дом с пристройками и антресолями, так же как и его хозяйки, по своему стилю принадлежал эпохе патриархальных, но отнюдь не капиталистических отношений. На антресолях жила заботливо опекаемая бабушка, а весь дом был настолько переполнен кузинами, племянницами и прочей молодежью, что за их шумной толпой хозяйки, по причине большой скромности и некоторой застенчивости, преднамеренно оставались в тени.

Стоустая молва, донесшая до моих ушей печальную повесть об увлечении Владимира Владимировича Бэра (объектом этого увлечения была как раз одна из ртищевских кузин), следующим образом комментировала отношения Ртищевых друг к другу и к внешнему миру: «Узнав, что у них в роду есть какое-то наследственное психическое заболевание, сестры и брат Ртищевы дали друг другу слово никогда не выходить замуж и не жениться. Они строго выполняют свой обет, связаны друг с другом крепкой дружбой и очень отзывчивы к окружающим».

Так гласила молва и, вопреки своему обыкновению, на этот раз не добавила «к бочке меда ни одной ложки дегтя».

Внешность обеих сестер вполне подходила к их нравственному облику — это были высокие, широкоплечие девушки с чисто русскими спокойными и приветливыми лицами. Татьяна Дмитриевна к тому же была красива и талантлива. Говорили, что она экстерном окончила Московскую консерваторию и прекрасно играла на рояле, но почему-то тщательно это скрывала. Один лишь раз я слышала игру ее, но это было десять лет спустя, а я воздерживаюсь от слишком частых забеганий вперед и возвращаюсь к 1914 году.

В Жукове я познакомилась с дальним родственником Ртищевых, выросшим у них в доме, Дмитрием Владимировичем Гомулецким, человеком, показавшимся мне интересным и внешне, и внутренне, хотя с обывательской точки зрения он мог считаться «опустившимся интеллигентом». Мите Гомулецкому, как звали его в Тарусском уезде люди, знавшие его с детства, было тогда около сорока лет. Он был высок, очень худ, но широкоплеч, держался прямо, голова его была высоко закинута, точеное лицо сильно потрепано, но хранило следы красоты. По профессии он был актером и режиссером, вероятно, талантливым и, во всяком случае, умным. Он много скитался по свету, не женился, много пил, но имел в душе один «неразменный рубль» — привязанность к тарусским местам и семье Ртищевых. О том, сколь он оказался рыцарски верным девизу, я расскажу в свое время, теперь же перейду к описанию еще одного знакомства, которое мы завели за период четырехмесячного пребывания в Спешиловке.

В один прекрасный день в нашей ограде появилась амазонка на отличной гнедой лошади и в сопровождении берейтора. Легко спрыгнув с седла, незнакомая дама направилась к домику, где помещалась канцелярия земского начальника четвертого участка, и обратилась к Борису за разрешением какого-то незначительного вопроса, настолько незначительного, что он мог быть принят за предлог завести знакомство. Знакомство действительно состоялось, и дама, оказавшаяся Екатериной Ивановной Турчиной, дочерью владельца «Окского пароходства»

Цыпулина, через час уже сидела у нас на балконе. Мне понравилась ее высокая тонкая фигура и строгий стиль одежды — я и впредь никогда не видела Екатерины Ивановны иначе, как в амазонке, в форме сестры милосердия или в костюме *tailleur**. Лицом она не была красива, унаследовав от отца широкие скулы и узкие глаза, но главным ее недостатком являлось заикание, настолько сильное, что часть слов она выпаливала скороговоркой, а на других — надолго застревала, закидывая голову и сотрясаясь всем телом. Уезжая из Спешиловки, Екатерина Ивановна взяла с нас слово, что в самом недалеком будущем мы приедем в Красное, где она жила у своих родителей.

За время пребывания в Тарусском уезде, мы не успели обзавестись собственной лошадью и для обеспечения разъездов, как Борисовых служебных, так и наших частных, договаривались с извозчиком станции Средняя по фамилии Жиндарев, который почти ежедневно подавал к крыльцу лошадь и тележку-корзиночку. Вот в таком экипаже, без кучера, мы отправились к Цыпулиным. Их дом стоял на крутом берегу Оки, верстах в пяти выше бэровского Петровского.

Имение само по себе (с моей точки зрения) интереса не представляло. Дом был довольно большой, солидной, купеческой постройки. За тенистой группой деревьев вокруг дома раскинулся на 25 десятинах образцовый фруктовый сад, без романтики, без зарослей одичалых груш, китайки или тёрна, без тенистых уголков под сросшимися кронами старых деревьев с корявыми ветками — это был сад эпохи капитализма, отвечавший всем требованиям современной агронауки. От дома к пристани на реке шла крутая деревянная лестница в 120 ступеней. Проезжей дороги не было, и, чтобы попасть на берег иначе как пешком, приходилось делать значительный крюк.

На противоположном берегу Оки виднелось село Любецкое. Это название мне было знакомо с детства: бабушка Надежда Петровна и тетя Лиля жили там на даче в 1898 году. Это было то лето, которое, после отъезда мамы,

---

* Tailleur (*франц.*) — портной. Здесь: строгий английский дамский костюм.

мы проводили с отцом в Петергофе, и потому Любецкого я раньше не видала, но слышала о красоте этого места, а также о том, что владелец имения Палицын был влюблен в тетю Лилю, рыдал и хотел стреляться с Чебышёвым. Дальше рыданий дело, конечно, не пошло. К описываемому мною времени Палицыны успели, подобно Гурко, разориться и продать имение военному ведомству.

Летом 1914 года в Любецком стояли лагерем московские саперные части, а помещичий дом был занят командным составом.

Завидев наш «тильбюри», навстречу нам поспешила Екатерина Ивановна. Следом за ней шел ее отец Иван Иванович Цыпулин, по виду человек лет шестидесяти. На нем красовался белый в синюю полоску люстриновый костюм, но поддевка ему, вероятно, шла бы больше. Вид у него был простоватый и, во всяком случае, не одухотворенный. Его жена, немолодая женщина со спокойными манерами и благообразным лицом, страдала глухотой.

Мне понадобилось совсем не много времени, чтобы почувствовать в семье Цыпулиных какую-то достоевщину. Отец с Екатериной Ивановной не разговаривал и совершенно ее присутствие игнорировал. С ней также не разговаривал и ее бывший муж, капитан Турчин, один из офицеров расположенной в Любецком воинской части, который, живя в лагере, пришел предложить своему бывшему тестю силами саперного батальона в короткий срок проложить зигзагообразный спуск с вершины горы к Оке. Солдаты во время маневров должны были выполнять с учебной целью какие-нибудь земельно-дорожные работы, а тут можно было соединить «приятное с полезным». «Приятное» заключалось в том, что Цыпулин обещал поставить саперам хорошее угощение. Работа должна была быть произведена в сорок восемь часов и закончена 10 июля.

Капитан Турчин оказался смуглым мужчиной лет тридцати двух с умным, но жестким лицом. В чем заключалась драма, приведшая к его разводу с Екатериной Ивановной, я не знаю. Родители Цыпулины были на его стороне. Отец казнил Екатерину Ивановну своим презрением, мать — сокрушенно жалела.

Для меня Екатерина Ивановна так и осталась не совсем понятной. В ней чувствовался под внешне строгим обличием какой-то неуловимый оттенок авантюризма. В дореволюционные годы она била на английскую наездницу, потом, в 1914 году, пошла на фронт сестрой милосердия, после революции жила в одной из келий Калужского монастыря, была близка к высшим церковным кругам и всегда знала, что делает Святейший. Меня она с первого дня знакомства окружала самым нежным вниманием и называла «милушкой», но, несомненно, более интересовалась Борисом, которого называла «милейший» и с которым постоянно пикировалась.

Кроме Екатерины Ивановны у Цыпулиных были еще две незамужние девицы: довольно красивая лицом Татьяна Ивановна, вечно лечащаяся от каких-то надуманных болезней, и только что окончившая калужскую гимназию простая и милая Лидочка.

Брат Владимир учился где-то по технической части и впоследствии стал одним из первых советских инженеров, превративших замоскворецкие ремонтные мастерские в Московский автомобильный завод.

Первый наш визит к Цыпулиным закончился поездкой по Оке на случайно стоявшем у пристани их пароходе и осмотром старинной церкви близ Любецкого. Второй визит совпал с празднованием открытия зигзагообразного спуска, на которое мы были приглашены. Когда мы приехали в Красное, солнце уже клонилось к западу. Там, где несколько дней тому назад был крутой спуск, поросший орешником, теперь извивалась широкая шоссейная дорога. Кое-где группы саперов в белых рубашках и бескозырках довершали последние работы. На вершине горы собрались хозяева, гости и офицеры. Священник отслужил краткое молебствие, и Владимир Иванович на своем автомобиле медленно спустился по новой дороге к пристани.

Несколько левее на поляне раскинули палатки, расставили столы с угощением. Играл военный оркестр, потом с наступлением темноты горнисты протрубили зарю, построенные в каре солдаты пропели молитву, и все затихло. Кто мог думать, что это одна из последних ночей Российской империи!.. Через пять дней в Любецком

стало пусто: после объявления всеобщей мобилизации саперные части молниеносно свернулись и походным маршем тронулись в Москву.

С необычайной отчетливостью помню возвращение этой тихой теплой ночью из Красного в Спешиловку. Никогда — ни раньше, ни позже — я не видела такого количества падающих звезд: они пересекали небо во всех направлениях, катились огненным потоком и невольно наводили на мысль о «знамении небесном». И Борис, и я молчали. Нам обоим было грустно: ему, может быть, потому, что вид палаток и звуки отбоя напомнили ему юношеские годы, а мне — потому что в первый раз в жизни, под этим звездным небом, я испытала чувство одиночества. Мне вдруг показалось странным, что я еду по незнакомым ночным дорогам, где-то на полпути между Тулой и Калугой, тогда как папа — в Карлсбаде, Шурик — в Англии, а мама, о которой я все время думала, — в Петербурге. Из маминых писем я знала, что, живя на Каменноостровском у Гернов, она не дает ни отдыха, ни срока отцам из Синода, торопя их закончить дело с ее разводом так, чтобы она могла венчаться с Вяземским до наступления Успенского поста.

Она была права. Надо было спешить. События мирового значения надвигались с ужасающей быстротой и могли раскидать людей в разные стороны, не дав им возможности урегулировать свои личные дела. Политическая атмосфера была крайне напряжена. Визит французской эскадры с президентом Пуанкаре расценивался как вызов Германии. Внутри шептались о Распутине, требовали ответственного правительства и на всё это отзывался стихами придворный сатирик-зубоскал Мятлев. В его небольшой «поэме», относящейся к тому времени, Пуанкаре едет в «татарскую» страну посмотреть «...ее союз». Описана торжественная встреча в Петергофе, яхта «Александрия», банкет с участием фрейлин Вырубовой и Восиковской, минеральная вода «Куваки», случай на Литейном мосту, когда казаки налетели с нагайками на французских матросов, певших «Марсельезу», и все заканчивается строками:

Он уехал. Стало тише.
В Петергофе тот же сплин.
Хуже раненному Грише,
Очень сердится Берлин.
А во внутреннем режиме
Непроглядней, чем в дыре.
Помоги мне, Серафиме,
Не оставь, Пуанкаре!

И вот в этой накаленной атмосфере раздался сараевский выстрел, породивший цепную реакцию выстрелов и кровопролитий. Эта цепная реакция охватила весь мир и не утихла по сей день.

Начало войны 1914 года

Так как описание момента объявления войны в его политическом и общественном значении не входит в мои задачи, я буду говорить о событиях лета 1914 года лишь в той мере, в какой они коснулись нашей семьи.

Когда стали ходить слухи о надвигающейся войне, Борис сказал мне, что по всей России в воинских присутствиях лежат секретные красные пакеты с директивами на случай мобилизации, что эти пакеты будут вскрыты в надлежащий момент и что на него ляжет обязанность провести мобилизацию по своему участку.

Восемнадцатого июля он срочно выехал в Тарусу, где собирались вскрывать красные пакеты, а затем три дня я его почти не видела: он проводил мобилизацию в своих четырех волостях. По его словам, у волостных правлений были слышны традиционные песни («Последний нонешний денечек...»), бабьи причитания, кое-где пьяные возгласы, но в общем мобилизация протекала гладко и организованно.

Сам Борис, согласно директивам красного пакета, должен был снова надеть военную форму и стать комендантом одного из трех формирующихся в Калуге санитарных поездов. Мне совсем не хотелось сидеть одной в Спешиловке, когда вокруг меня совершались такие необычайные дела, и я не замедлила также приехать в Калугу, где царило несвойственное этому тихому городу оживление: на вокзал нескончаемым потоком шли маршевые роты, на площадях обучались новобранцы, по улицам сновали офицеры в походном снаряжении, все говорили о политике и ждали вестей. Из всего мною виденного и слышанного я могла заключить, что война с Германией в ее начальном периоде была популярной (во всяком случае, среди интеллигенции) и не вступи в нее Россия, раздались бы возмущенные речи о том, что государь под влиянием Александры Федоровны «договорился» в шхерах со своим кузеном Вильгельмом II.

Остановилась я в доме Сергея Николаевича Аксакова. Борис все время пропадал на вокзале, где оборудовали три санитарных поезда, комендантами которых были, кроме Бориса, офицеры запаса Степанов и Чертов. Степанов, сын управляющего синодальной конторой, был земским начальником в Мещевском уезде, Чертов занимал ту же должность в городе Ельце. По окончании формирования, поезда должны были разойтись в разные стороны, но в продолжение двух недель я постоянно видела Степанова и Чертова на вокзале, где было их «рабочее место», и в тех калужских домах, где наперебой старались чествовать уходящих на фронт.

Шестого августа по старому стилю мы всей компанией наблюдали солнечное затмение, которое было особенно хорошо видно с висящей над Окой террасы городского сада. Лето 1914 года оказалось насыщено «знамениями небесными». Когда поезд Чертова ушел на запад, я стала получать пространные и довольно сильные описания безрадостных картин, которые можно было наблюдать из окна вагона, стоящего на железнодорожных путях прифронтовой полосы. Это были «задворки войны» без ее героики. Затем переписка прекратилась.

Но возвращаюсь к августу 1914-го. Поезд Бориса направили на базу в город Орел. Жизнь в Спешиловке теряла для меня всякий смысл, и мы решили ее ликвидировать, благо все призванные в армию освобождались от контрактов по съему помещения.

С большой поспешностью я стала укладывать в ящики и зашивать в рогожи все то, что так недавно распаковывалось, расшивалось, расстанавливалось и развешивалось.

Былим-Колосовские предложили поставить мебель и наиболее громоздкие вещи к ним в сарай (железные дороги перевозили войска и частных грузов не принимали, да и дома у меня в то время не было, везти вещи было некуда, а я собиралась временно переехать к Востряковым в «Трубники» и ждать там дальнейших событий). При перевозке вещей в Богимово допустили практическую ошибку — ящики и мебель поставили не в сарай, а в хлебный амбар, где водилось много крыс. Когда через год мы послали Аришу привезти кое-что из нашего имущества, оказалось, что значительная его часть

съедена. Ариша суеверно увидела в этом плохое предзнаменование, я же вполне реалистически сожалела о превращенном в лохмотья константинопольском ковре и многих других хороших вещах. Книги детского, юношеского и взрослого периодов моей жизни (каким-то чудом), а также ящики с хрусталем и фарфором (вполне естественно) от нашествия крыс уцелели, но, не будучи вывезены из Богимова вплоть до революции, подверглись реквизиции вместе с имуществом Колосовских и были направлены в Тарусу для пополнения фондов народной читальни и общественной столовой (если только не разошлись по рукам в промежуточных инстанциях).

Развязавшись с мебелью и продав корову-симменталку помещику Филатову, я захватила шкатулку с серебром и сундук с наиболее необходимыми вещами и поехала в Москву, где сразу оказалась в курсе всех волнующих страну событий. Приходили вести о первых боях, в которых полегла значительная часть гвардии. Говорили о том, как Врангель, командуя эскадроном конногвардейцев, с безрассудной отвагой повел его в атаку и положил много людей. Впоследствии я слышала, что, подписывая награждение Врангеля Георгиевским крестом по статуту, государь сказал: «Никогда я не подписывал приказа с такой неохотой. Не погорячись Врангель, те же результаты могли быть достигнуты стоящей за ним артиллерией Крузенштерна, которая уже начала действовать. И люди были бы целы!»

У Востряковых я чувствовала себя очень хорошо. Жила на антресолях в бывшей Наташиной комнате и как бы вернулась к девичьим годам. Помню, как ночью ко мне вбежала Таня с возгласом: «Да что же ты спишь! Львов занят!» Я, думая, что речь идет о герое наших гимназических лет Коле Львове, в полусне ответила: «Ну что же, всех берут, почему же ему не идти?!» Речь шла о взятии города Львова. Однако бедного Колю Львова тоже «взяли», и он поступил вольноопределяющимся в Преображенский полк. В один из первых боев его убило осколком, попавшим в затылок. Гроб с телом был доставлен в Петербург, и, по слухам, когда в Преображенском соборе открыли крышку, раздались возгласы: «Он жив!» Коля лежал с румяными щеками, что явилось

следствием какого-то подкожного кровоизлияния. Похоронили его в Москве, на Новодевичьем кладбище, недалеко от Дениса Давыдова. Теперь его могилы не существует, во всяком случае, я ее не нашла.

Шестого августа, в один день, в Конногвардейском полку были убиты Михаил и Андрей Катковы. Последний (участник спектаклей у Харитоненко) перед самой войной женился на Наде Поповой, той самой барышне с грустными темными глазами, с которой сидел Андрюша Гравес за ужином на балу 1912 года. Вскоре в 4-м стрелковом полку был убит и брат ее, Дмитрий Попов. Андрея я в Москве не застала — будучи произведен в офицеры в первые же дни войны, он отправился на фронт со своей артиллерийской бригадой, вошедшей в состав 20-го корпуса. Но о нем и о 20-м корпусе речь будет дальше.

Еще в Спешиловке я получила успокоившее меня известие, что папе удалось вернуться в Россию с последним поездом, пропущенным через русско-германскую границу. Помогло этому случайное стечение обстоятельств. Закончив курс лечения в Карлсбаде, он проехал в Цюрих для свидания со своей теткой Елизаветой Александровной Стремоуховой (той самой, которая была очень похожа на Екатерину II). В день сараевского выстрела тетушка пошла к своему банкиру получить очередную сумму на прожитие, и банкир ей сказал: «Мадам, я советую вам немедленно обменять ваши русские вклады, так как вполне возможно, через несколько дней я буду вынужден отказаться от их обмена». Услышав это, папа отправился тем же ходом в «Wagons-Lits» и заказал себе билет на Берлин. Прибыв на место, он застал Берлин неузнаваемым, однако получил необходимую сумму по аккредитиву золотом, сделал кое-какие покупки и в тот же день, в 12 часов ночи, с трудом, но все же в отдельном купе, выехал на Вержболово.

Как я уже говорила, это был последний поезд, пропущенный через Эйдкунен. На всех мостах стояли часовые в походной форме. В Ковно в поезд ворвалась толпа эвакуированных из крепости, все коридоры оказались забитыми, но все же 18 августа утром отец благополучно

прибыл в Петербург, был радостно встречен своим начальством князем [Виктором Сергеевичем] Кочубеем и всеми сослуживцами, а вечером отправился обедать в Английский клуб. После обеда он сидел на балконе, смотрел на Петропавловскую крепость (не думая, что ему придется побывать в Трубецком бастионе) и вдруг с волнением услышал, как пришедший из Министерства иностранных дел его сочлен по клубу говорит: «Полчаса тому назад Пурталес вручил Сазонову ноту об объявлении войны». Лавина человеческих горестей тронулась с места.

Шурик, которого война застала в Англии у Моджеров, вернулся домой только в конце сентября через Берген. Он был бодр, весел, заражен виденным им в Англии патриотическим подъемом, пел «Tipperary»* и сразу объявил отцу, что желает идти добровольцем на фронт. Папа не стал выдвигать принципиальных возражений, но потребовал, чтобы до ухода на фронт был окончен лицей. На это требовалось полтора года, и вопрос отложили в долгий ящик.

Просмотрев последние страницы моих воспоминаний, я заметила упущение. Не ясно, каким образом мой отец, которого я покинула летом 1912 года в Самаре, очутился в Петербурге. При восполнении этого пробела мне придется ввести в свой рассказ новые персонажи, которые двумя совершенно разными гранями соприкоснулись с моей семьей. Если бы такой «узор судьбы» был выведен в киносценарии, его сочли бы «надуманным», но, как гласит английская пословица, «Life is stranger then fiction»**.

Пятнадцатого ноября 1912 года в Вене великий князь Михаил Александрович обвенчался у сербского священника (подчинявшегося не Святейшему Синоду, а константинопольскому патриарху) с Наталией Сергеевной Шереметевской-Мамонтовой-Вульферт, нарушив тем самым честное слово, данное старшему брату при отъезде за границу***. (Синод распорядился по всем церквам не венчать

* Маршевая песня британской армии.

** «Жизнь удивительнее вымысла».

*** Биографическая книга Дональда и Розмари Кроуфордов «Михаил и Наталья» издана в «Захаров» в 2008 году.

его в России.) Некоторое время этот брак оставался тайной, но в начале 1913 года на Михаила Александровича обрушились репрессии: ему воспретили въезд в Россию, а все его имущество отдавалось под опеку Удельного ведомства. В комитет по опеке, официально возглавлявшийся старшим братом провинившегося, были включены три лица: князь Кочубей (докладчик по всем делам Верховному опекуну), флигель-адъютант Мордвинов, бывший адъютант великого князя, поссорившийся с ним из-за Наталии Сергеевны (по личным делам) и камергер Сиверс (по имущественным делам).

В силу всего вышеизложенного папа был вызван из Самары в Петербург для получения нового назначения. Он и Мордвинов, с которым у отца сразу установились добрые отношения, заседали, как два консула, в конторе управления делами Михаила Александровича на Шпалерной улице. Отцу, кроме того, приходилось выезжать с ревизиями на места.

Имущество Михаила Александровича состояло, главным образом, из больших земельных участков в Орловской губернии с имением «Брасово» и «Дервошно» и сахарными заводами, а также имения «Остров» близ германской границы, где были построены заводы эмалированной посуды. Михаил Александрович считался самым богатым из великих князей, во-первых, потому, что унаследовал часть своего умершего молодым брата Георгия Александровича, во-вторых, потому, что, отличаясь примерным поведением и скромными вкусами, он вплоть до своей женитьбы очень мало на себя тратил.

Летом 1913 года князь Кочубей получил от Михаила Александровича следующую телеграмму: «Узнав, что заведование имущественными делами поручено А.А.Сиверсу, прошу командировать его ко мне в Канны для выяснения моего положения по этой части». Но что последовал ответ: «Благоволите о Ваших *desiderata** сообщать Вашему Высшему опекуну, от которого Уделы получают высшие указания». В результате, отец в Канны не поехал, а Наталия Сергеевна Брасова (ей была присвоена эта фамилия) затаила против него неприязнь.

* Пожелание (*итал.*).

Имя Мордвинова было для нее совсем одиозным. Об упомянутых лицах я буду говорить в менее официальном тоне по «линии моей матери». Теперь же возвращаюсь к линии отца.

Когда после объявления войны Михаилу Александровичу был разрешен въезд на родину и опеку сняли, отец получил назначение на освободившееся место помощника начальника Главного управления Уделов (князя Кочубея) и переехал в полагавшуюся ему по должности квартиру в Удельном доме, выходившем на Моховую улицу (дом № 40). Квартира эта занимала целый этаж и была обставлена прекрасными казенными вещами: бронзовые люстры, висевшие в парадной анфиладе, и малахитовые обелиски, украшавшие камин Шуриковой комнаты, можно в настоящее время видеть в Русском музее. Для меня выделили прекрасную комнату, где я и остановилась, когда приехала в октябре в Петербург. Моя встреча с отцом и Шуриком, только вернувшимся из Англии, оказалась очень радостной. Война могла нас надолго раскидать в разные стороны, и теперь, собравшись все вместе, мы наперебой рассказывали друг другу обо всем виденном, слышанном и испытанном.

Во время моего двухнедельного пребывания в Петербурге я узнала из газет, что убит ближайший товарищ Бориса по полку Владимир Леонтьевич Черносвитов. В письме из Орла Борис просил меня обязательно быть в полковой церкви на его отпевании и возложить от его имени венок. Это я исполнила и вернулась в Москву, где после полугодовой разлуки вновь увидела маму. Тут следует рассказать, что случилось за это время «по ее линии».

Развод с Николаем Борисовичем завершился сравнительно быстро, и 15 июля в церкви Николая Морского она обвенчалась с князем Владимиром Алексеевичем Вяземским. Для того чтобы характеристика действующих лиц была беспристрастной, я хочу упомянуть об одном красивом жесте, имевшем место незадолго до этой свадьбы.

Тетя Лина де Герн, у которой мама жила во время развода, неоднократно предостерегала сестру от рискованного шага, каковым она считала ее брак с Вяземским. Предостережения эти велись, главным образом,

с материальных позиций и сводились к тому, что «он тебя бросит, и ты останешься на улице». Как только эти слова дошли до Вяземского, он перевел Попелево — свое единственное имущество — на мамино имя и заявил Валентине Гастоновне: «Теперь Ваша сестра может меня выгнать, а уж никак не я — ее!»

После свадьбы Вяземские поехали в деревню, где Владимир Алексеевич незамедлительно получил повестку о мобилизации с направлением в Острогожскую школу прапорщиков в Воронежской губернии. (Будучи в свое время исключен из корпуса за какую-то шалость, он отбывал повинность в Московском драгунском полку, но офицерского чина не имел.) Проводив мужа, мама принялась за устройство попелевского дома. Как и при первом разводе, за ней поехали ее рояль и столовая красного дерева с тем стулом, в соломенной сетке которого трехлетний Шурик провертел дырочку. Теперь этот стул вызывал уже не слезы, а лишь легкую улыбку умиления. За короткий срок маме удалось превратить запущенный дом в комфортабельное жилище. Однако все омрачалось для нее разлукой, и уже через месяц мама оказалась в Острогожске.

Обстановка, которую она там застала, была мало привлекательна. Вяземский находился в компании грубых, кутящих военных, напоминавших ремонтеров прежних лет, и, что самое главное, чувствовал себя среди них совсем неплохо. Мама с ужасом увидела, что ее культурно-воспитательная работа (вплоть до применения зубной щетки) рискует пойти насмарку, и с тревогой в сердце отправилась обратно в Москву, оставив Вяземского добывать себе погоны прапорщика среди всех соблазнов острогожской «клоаки».

Задача вырвать Вяземского из железных когтей войны была совсем не проста, и главные трудности заключались не во внешних, а во внутренних сферах. Воспитанный на идеях неглубокого, но весьма шумного патриотизма, Вяземский никогда не согласился бы остаться в тылу на какой-нибудь маленькой должности и стать предметом насмешек подобных ему фарлафов*.

* Фарлаф — «крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный» («Руслан и Людмила»).

И вот, в то время когда мама начинала чувствовать бесплодность своих усилий, в доме Надежды Петровны Ламановой-Каютовой она познакомилась с вернувшейся из заграничного изгнания Наталией Сергеевной Брасовой. Это обстоятельство самым неожиданным образом разрешило, казалось бы, неразрешимую проблему: чтобы Вяземский был «и на войне, и без войны». Почувствовав расположение к моей матери и узнав о ее тревогах, Наталья Сергеевна предложила устроить Вяземского ординарцем к своему мужу, который как раз в это время получил командование формирующейся «Дикой» дивизией. В такой комбинации чести было много, а риску мало, и мама, которая никогда не забывала то хорошее, что делали для нее люди, руководствовалась этим чувством благодарности в своих дальнейших многолетних отношениях с Брасовой.

Поскольку великий князь Михаил Александрович и Наталия Сергеевна появились на «линии моей матери» в менее официальном аспекте, чем на «линии моего отца», мне кажется возможным поместить на этих страницах то, что я о них знаю со слов мамы и по собственным наблюдениям.

У известного московского присяжного поверенного Сергея Александровича Шереметевского было три дочери. Младшая из них, Наталия Сергеевна, была очень недурна собою и училась в 4-й женской гимназии. Однако в те годы о красоте Наташи говорили гораздо меньше, чем о ее капризном характере. С родителями (особенно с матерью) у нее были постоянные ссоры, и это вынудило ее довольно рано выйти замуж за Сергея Мамонтова, принадлежавшего к семье московских меценатов, но не имевшего личных средств. Мамонтов, кажется, был музыкантом и играл на фортепиано в оркестре Большого театра.

После замужества характер Наталии Сергеевны отнюдь не исправился, и, как гласит молва, в один прекрасный день Мамонтов погрузил на подводу свой рояль и уехал из дома, покинув жену с маленькой дочкой Татой. Положение Наталии Сергеевны было незавидным, но тут появился ухаживавший за ней раньше офицер Кирасирского полка Владимир Владимирович Вульферт, с которым

она после окончания развода и вступила во второй брак. Позднее я встречала Вульферта в обществе. Это был неприятный, суховатый, но неглупый человек. Наталия Сергеевна при мне впоследствии говорила, что он оказал несомненное влияние на ее развитие, особенно в смысле художественного и музыкального вкуса.

Выйдя вторично замуж, Наталия Сергеевна переехала в Гатчину и стала появляться в собрании Кирасирского полка. Там же часто бывала великая княгиня Ольга Александровна, обычно приезжая в сопровождении брата Михаила. Дело было летом, и, пока Ольга Александровна флиртовала со своим будущим мужем — однополчанином Вульферта Куликовским, — ее скромный и простодушный брат терпеливо гулял по аллеям Гатчинского парка. Наталия Сергеевна решила им заняться и, как умная женщина, сразу взяла верный тон. Она говорила с ним о природе, о цветах, о птичках, о музыке. Михаил Александрович сводил ее на могилы своих любимых собак (его детство протекало главным образом в Гатчине), рассказал, что учится играть на балалайке, и незаметно для себя влюбился.

Узнав про это, императрица Мария Федоровна выразила желание навестить в Копенгагене своих родственников и увезла с собою своего 25-летнего, но весьма покорного младшего сына. Тогда Наталия Сергеевна, следуя пословице «Кто не рискует, тот не выигрывает», решилась на смелый шаг — тоже очутилась в Копенгагене.

Пребывание за границей, где не соблюдался строгий этикет, где императрица Мария Федоровна (по словам Игнатьева) с увлечением бегала по магазинам, а Михаила Александровича считали удаленным от всяких соблазнов, давало широкие возможности встреч. Наталия Сергеевна выиграла ставку и оказалась «кузнецом своего счастья». Ее власть над Михаилом Александровичем утвердилась до последнего дня его жизни. По прибытии в Россию, она к Вульферту не вернулась, а поселилась в Москве, на Петербургском шоссе, на даче Эриксон.

После того как связь Михаила Александровича стала явной, он попал в почти незавуалированную ссылку в Орел, получив командование стоявшим там полком черниговских гусар. Бригадному генералу Блохину строго

наказали не отпускать великого князя в Москву без уважительных причин.

Вспоминая потом орловский период своей жизни, Михаил Александрович рассказывал маме, что уважительной причиной для поездки в Москву он обычно выдвигал посещения дантиста и подавал рапорт Блохину о кратковременной отлучке, мотивируя ее зубной болью.

Бывая в те годы по субботам в «Художественном» кинематографе на Арбатской площади, я раза два видела в ложе высокого офицера с элегантной дамой. Они старались не афишировать свое присутствие, но среди публики быстро распространялся слух, что в зале великий князь, и военные, встречаясь с ним в проходе, становились во фронт.

Не будучи красивым, Михаил Александрович имел приятную внешность: он был строен, выражение его больших, немного выпуклых глаз было мягким, а когда фуражка скрывала его высокий, рано начавший лысеть лоб, можно было сказать, что он даже совсем хорош собою.

Наталия Сергеевна не обладала яркой, бросающейся в глаза красотой, но внешний облик ее отличался исключительной элегантностью. Она знала свой стиль и умела преподнести свои природные данные в наиболее выгодном аспекте. Черты лица ее были правильны, некрупны, глаза грустные, рот капризный. Довольно заметный шрам на правой щеке не портил ее лица, и она вполне соответствовала бы данному ей Мятлевым эпитету «красотка», если бы к этому понятию не примешивалось представление о чем-то жизнерадостном и веселом. У Наталии Сергеевны же был такой вид, как будто она постоянно чем-то недовольна. Осенью 1914 года, когда я познакомилась с Брасовой на обеде у Ламановой-Каютовой, в ее темных волнистых волосах, причесанных на прямой пробор, было много преждевременной седины.

Таково было мое впечатление о внешнем облике Наталии Сергеевны. О ее внутреннем облике я буду говорить по мере развертывания событий, черпая сведения из слов моей матери (источник вполне достоверный), а также из некоторых личных наблюдений.

Но возвращаюсь к более раннему периоду. Десятого июля 1910 года у Наталии Сергеевны родился сын Георгий. Ребенка крестил преподаватель Арсеньевской гимназии (он же настоятель церкви святого Василия Кесарийского, что на Тверской) отец Петр Поспелов, в приход которого входила дача Эриксон. Я об этом узнала случайно, увидев в альбоме фотографий, снятых Михаилом Александровичем, изображение моего законоучителя.

К концу 1910 года Михаилу Александровичу удалось развязаться с Орлом, так как этот город не оправдал возлагавшихся на него надежд семьи. Возвратившись в Петербург, он командовал недолгое время кавалергардами, а затем стал хлопотать об отпуске за границу. Отпуска он добился ценою данного им брату честного слова не венчаться с m-me Вульферт. Как я уже говорила, слова Михаил Александрович не сдержал, подвергся репрессиям и три года прожил с Наталией Сергеевной и маленьким «Джорджи» сначала в Каннах, а потом в арендованном им близ Лондона замке.

Когда грянула война, он написал брату письмо примерно такого содержания: «Меня можно в наказание лишить прав и имущества, связанных с моим рождением, но никто не может лишить меня права пролить кровь за Родину!» Такое обращение было вполне созвучно моменту патриотического подъема, и в ответ последовало разрешение вернуться в Россию *avec Madame et Bébé*.

Какова была встреча Михаила Александровича с родными, я, конечно, не знаю, но Наталия Сергеевна, оставив его на короткое время в Петербурге, проследовала прямо в Москву, так как в столице ее игнорировали. Известную роль в этом, наверное, сыграло ее собственное поведение, которое не содействовало установлению и того «плохого мира, который лучше доброй ссоры». Совершенно не щадя чувств мужа, она демонстративно называла императрицу Марию Федоровну «маменька», а на обеде, когда был предложен тост за государя, поставила бокал на стол, сказав: «За людей мне незнакомых и притом несимпатичных я не пью!» Вся эта фронда плохого тона быстро становилась известной в Петербурге, и там ограничились тем, что, не предоставив аудиенции, дали ей и ребенку фамилию «Брасовы» без всякого титула. («Ведь надо же им как-нибудь называться!»)

Таково было положение вещей, когда между мамой и Наталией Сергеевной произошла *entente cordiale**, имевшая для обеих сторон большие выгоды: мама спасала Вяземского от огня и меча, а Брасова приобретала в мамином лице подходящую статс-даму «морганатического двора» (формулировка моего отца). Брасова приобретала, в сущности, гораздо большее — человека, который из чувства благодарности не покинул ее в самые тяжелые минуты жизни (но тогда она об этом еще не знала, а впоследствии, кажется, не вполне оценила).

Туземная дивизия, командиром которой был назначен Михаил Александрович, состояла не из восьми (как обычно) полков, а из шести: Дагестанского, Кабардинского, Черкесского, Чеченского, Ингушского и Татарского. Рядовые всадники были соответствующих названиям полков национальностей, командиры — частью туземцы, частью вышедшие в запас офицеры гвардейских полков. Все, начиная с командира, носили черкеску и папаху. Полки различались по цвету башлыков: так, например, в Дагестанском полку башлыки были белые, в Кабардинском — красные.

Дивизия формировалась на Украине, в Жмеринке, где Вяземский, получивший к тому времени погоны прапорщика, и был представлен великому князю в качестве ординарца. Формально Вяземского зачислили в Кабардинский полк, но все последующие годы он находился при штабе дивизии, вернее, при ее командире, с которым у него сразу установились прекрасные отношения. Кавказское одеяние Вяземского ему не шло — он был слишком громоздок (всегда на полголовы выше окружающих), — но он хорошо сидел на лошади, а этого было достаточно для выполнения его несложных обязанностей.

Не могу удержаться, чтобы не вспомнить один забавный случай, происшедший весною 1924 года (то есть десять лет спустя) на одной из улиц немецкого города Висбадена, находившегося в ту пору в зоне французской оккупации. К маме постоянно обращались люди с просьбой помочь им устроиться на работу. Время было

---

* Сердечное согласие (*франц.*).

полуголодное, и лучшим местом работы считались французские закрытые кооперативы. Я не помню случая, чтобы мама кому-нибудь отказала в помощи, и, после долгих хлопот у французского коменданта, ей удалось устроить двух совершенно незнакомых ей кавказцев рабочими на продовольственный склад. Кавказцы быстро поссорились между собою и, когда мы с мамой однажды шли по *Wilhelm Strasse*, они кинулись к ней с просьбою их рассудить, причем громко кричали, перебивая друг друга: «Мы обращаемся к вам как к кабардинке!» Я была ошеломлена.

Пока Дикая дивизия находилась в стадии формирования, в Жмеринку съехалось многочисленное и довольно блестящее общество. Среди провожающих «жен» были мама и Брасова. За день до отбытия дивизии на Галицийский фронт, отслужили молебствие и состоялся обед, на котором объединились русские и кавказские элементы этой не совсем обычной воинской части. Мама потом со смехом рассказывала, как один из командиров полков, Заид-хан, поднял бокал и, обращаясь к своей соседке по столу, петербургской светской даме княгине Ольге Павловне Путятиной, провозгласил: «Итак, княгиня, живите с кем хотите и как хотите, и так всю жизнь!» Он, несомненно, хотел ей посоветовать жизни по своим собственным убеждениям, не считаясь с чужим мнением.

Перейдя в назначенный день австрийскую границу, Дикая дивизия безудержной лавиной кинулась в Галицию, занимая город за городом и устрашая население. Мозгом дивизии был начальник штаба Яков Давидович Юзефович. Фронтом командовал Брусилов.

Но я замечаю, что уже долгое время описываю события, в которых не принимала непосредственного участия. Поэтому я ставлю точку и в следующей главе перехожу к своим личным делам.

Снова в Москве. Рождение Димы

В начале ноября, когда санитарный поезд № 39 (главный врач — доктор Полубогатов, по слухам, переименованный из Хальбрейха, комендант — поручик Аксаков), совершив несколько рейсов между фронтом и тылом, направился на свою базу, Борис попросил меня приехать к назначенному сроку в Орел. (Беспристрастный наблюдатель, к которому попала бы в руки наша переписка того периода, сказал бы: «Вот люди, которым вместе тесно, а врозь — скучно!»)

Среди русских губернских городов Орел славится своей поставленной на европейский лад гостиницей «Берлин», переименованной из патриотических чувств в «Белград». Тут же находился хороший ресторан, куда Борис, по-видимому, часто наведывался с молодыми врачами своего поезда Киреевским и Шекиным, составлявшим, как и он, оппозицию главному врачу Полубогатову. К моему приезду в «Белграде» был заказан хороший номер, и меня встретили со всеми онёрами*.

Как и Калуга, Орел за три с половиной военных месяца очень изменился. От тихого провинциального города, где еще не так давно пребывал «августейший невидимка», не осталось и следа: не было ни генерала Блохина, ни черниговских гусар, губернатора Андреевского сменил вице-губернатор Николай Павлович Галахов. Проходя с Борисом по орловским улицам в поисках тургеневских мест или сидя с ним за столиком ресторана в «Белграде» (вино лилось рекой!), я видела множество чуждых Орлу людей. Сдвинутые со своих мест, они с тайной тревогой, скрытой под явным воодушевлением, спешили к новым местам, где их вряд ли ждало что-либо хорошее.

Я тоже испытывала беспокойство, предвидя, что Борис недолго усидит в осточертевшем ему поезде. Он ежедневно ссорился с Полубогатовым и писал куда-то

---

* От франц. *honneur* — почести, знаки внимания.

рапорта, прося о переводе в какое-нибудь другое место. К тому же кочевой образ жизни (при полном неумении Бориса обращаться с деньгами) пагубно отражался на нашем бюджете, в котором возникали неожиданные бреши. Бреши эти восполнялись, как только управление материальными делами переходило ко мне, и образовывались вновь, как только деньги попадали в руки Бориса.

По тому времени, когда золотые монеты едва только начали выходить из обращения, нам вполне могло хватать нашего ежемесячного денежного рациона, который слагался из: 170 рублей сохранившегося за Борисом жалованья по Тарусе; 135 рублей, аккуратно высылаемых мне родными; того, что получал Борис по военной должности, и еще какой-то небольшой суммы, которую получала я в московских Крутицких казармах как жена мобилизованного офицера.

Но для этого следовало прекратить разъезды и привести жизнь к одному знаменателю. Это и случилось, когда в поезде № 39 получили приказ о том, что «гвардии поручик Аксаков переводится в распоряжение Московского военного округа». Дальнейшие действия Московского военного округа выразились в назначении поручика Аксакова командиром одной из рот 56-го запасного полка, 1-й батальон которого стоял в Кремле, а три остальных — в казармах ушедшего на фронт Самогитского гренадерского полка на Покровском бульваре.

Все складывалось прекрасно (во всяком случае, с моей точки зрения!), и жизнь приводилась к одному знаменателю. Сознавая важность положения людей военнообязанных, мы решили до весны не обзаводиться постоянной квартирой и поселились в меблированных комнатах «Княжий двор» на Волхонке. Это местожительство оказалось удобно тем, что находилось близко от кремлевских казарм, места службы Бориса. Я тоже была некоторым образом связана с Кремлем, так как с момента прибытия в Москву начала работать на складе Красного Креста, организованном великой княгиней Елизаветой Федоровной в Николаевском дворце. Отдел, в котором я числилась, ведал раздачей в пошивку скроенного белья и приемом готовой продукции.

Как мне теперь кажется, серьезно работали только заведующие отделом (Княжевич и Вельяминова), рядовой же состав был текуч и малопродуктивен (дань современной терминологии!). Около дам вертелись молодые люди в форме уполномоченных Красного Креста — среди них катковский лицеист Бартенев, внук известного издателя «Русского Архива» (юноша с дегенеративной формой лба, незаурядными умственными способностями — в семнадцать лет он уже вел все дела издательства — и громадным честолюбием). Я с ним была очень мало знакома, но это не помешало ему предпринять шаг, потребовавший больших затрат энергии и не оправдавший возложенных на него надежд.

В описываемое мною время мама находилась одна в Попелеве. Темным ненастным вечером раздается стук в ворота и... появляется Бартенев, которого она видела раза два в жизни. Разговор он начинает с того, что «имеет удовольствие встречать Татьяну Александровну на складе, где Татьяна Александровна пользуется всеобщим уважением, настолько всеобщим, что появились даже стихи: "И любовью одинаковой все сердца горят к Аксаковой"». (Думаю, что это сочинено было самим Бартеневым по дороге.) На этом кончилась прелюдия. Главная часть заключалась в том, что, «зная об имеющихся прекрасных отношениях с Михаилом Александровичем, он решил просить матушку "прелестной Татьяны Александровны" дать ему рекомендательное письмо к великому князю для устройства при нем в качестве...» Я не помню теперь, в качестве чего!

При всей своей нелюбви отказывать людям в их просьбах, мама была возмущена подобным нахальством, и Бартенев уехал не солоно хлебавши.

Тут мне хочется сказать о том, что делали зимою 1914—1915 года те члены нашей семьи, которые находились в допризывном состоянии.

1. Шурик под влиянием отца умерил свой патриотический пыл и кончал курс лицея.

2. Сережа Курнаков, к ужасу бабушки и дедушки, бросил Институт путей сообщения и пошел в армию. Для начала он был направлен в автомобильную часть, которая стояла в Луге, и обучался там всю зиму под

начальством некоего Маттисона (знаю об этом потому, что Сережа сочинил песню «Лужских автомобилистов», начинающуюся хором «Славься ты, славься, наш Маттисон! Все вольноперы поют в унисон»). Сдав экзамен на прапорщика, Сережа, при мамином содействии, летом 1915 года был зачислен в Черкесский полк Дикой дивизии.

3. Ника Курнаков, второй сын тети Лины, обучался в гардемаринских классах Морского корпуса.

4. Сережа Аксаков, младший брат Бориса, которому в ту пору было 15 лет, успешно сдал экзамен в 5-ю роту того же Морского корпуса.

Что касается меня, то примерно с конца декабря я стала плохо себя чувствовать. Теперь я знаю, что такое состояние называется «токсикозом беременности» и в нем нет ничего из ряда вон выходящего. Тогда же я понимала только, что это очень мучительно: все время тошнит и Божий свет не мил. Когда Борис, прозанимавшись все утро с солдатами на морозе, приходил завтракать в «Княжий двор» и находил меня лежащей в прострации, он имел все основания еще более усомниться в теории «рая в шалаше».

Ближе к весне я стала чувствовать себя лучше, из «Княжьего двора» мы переехали в Софийское подворье. Этажом ниже в той же гостинице жила Довочка Давыдова, с которой мы посещали курсы сестер милосердия Иверской общины. Начальницей там была Ольга Михайловна Веселкина, и лекции читали лучшие московские профессора с Алексинским во главе. В то время, однако, мои занятия медициной практического применения не нашли: в конце апреля я уехала на три месяца к маме в Попелево. (Вяземский был на Галицийском фронте.)

Оказавшись после полутора лет разлуки снова под одной кровлей, в деревенской обстановке, имеющей какой-то облик оседлости среди общей, порожденной войной, зыбкости, и мама, и я испытывали одинаковую радость. Та кровная, неповторимая близость, которая всегда существовала между нами, проявилась тут с особой силой — мы понимали друг друга с полслова, и это давало особую легкость и теплоту. Надо сказать, что мамина любовь к Вяземскому воспринималась мною как нечто,

не имеющее касательства к нашим отношениям, и не вызывала с моей стороны никакой реакции.

В связи с ожиданием ребенка, который должен был родиться в первой половине августа, мне было предписано побольше гулять. Иногда я сопровождала маму в ее походах по хозяйству (со свойственной ей энергией она отстранила от этого дела дядюшку Блохина и занялась им сама), иногда отправлялась одна в поля, куда на закате дня доносился гул оптинских колоколов — недалеко от дороги было сельское кладбище, над воротами его какой-то деревенский философ написал «Дом наш». Эти слова наводили меня на мысль, что я могу умереть от родов, как Лиза Болконская в «Войне и мире». Мысль эта была грустной, но не страшной, потому что я находилась в состоянии душевного равновесия и жила «со всей природой в лад».

Физически я чувствовала себя хорошо. Дни текли так мирно, что я не торопилась с возвращением в Москву, где для меня заказали палату в лечебнице Натанзона и Ратнера (той самой, где в 1914 года был оперирован дядя Коля). И вдруг 20 июля от Бориса пришла телеграмма, гласившая, что умерла Ольга Николаевна Шереметева и мне необходимо быть на похоронах 22-го числа. Я в тот же день выехала. Дорога в условиях военного времени и при наличии пересадки в Сухиничах представляла большие неудобства и даже некоторый риск, однако я благополучно прибыла в Москву в 10 часов утра 22 июля.

Встречавший меня на вокзале Борис, как мне показалось, был гораздо более обеспокоен тем, что я могу опоздать на отпевание, чем состоянием моего здоровья. Он сказал, что прямо с вокзала я должна ехать в церковь, так как у него заседание военной комиссии и он освободится не ранее чем через четыре часа, а наше отсутствие было бы крайне неприлично. Меня это слегка покоробило, но я покорно отправилась на Воздвиженку. Заупокойную литургию служил митрополит Трифон в шереметевской домовой церкви, которая обычно не действовала и оберегалась как памятник русского барокко, но в этот день была открыта для богослужения.

Обедня длилась не менее четырех часов. Оттуда все, в том числе и я, отправились на Новоспасское кладбище. Когда могилу забрасывали землей, приехал Борис. Филипп Николаевич Шипов стал приглашать на обед — неудобно было отказаться, — в результате я попала домой лишь в 8 часов вечера. «Дом» этот был на углу Малого и Большого Левшинских переулков в квартире Наты Оболенской, уехавшей на лето из Москвы и любезно предоставившей его в наше распоряжение до тех пор, пока мы не подыщем собственного жилища. С утра 23 июля мы пошли его подыскивать, осмотрели 3-4 квартиры, сдававшиеся в районе Арбата, а в три часа дня я, не выдержав такой нагрузки, почувствовала себя плохо. Под вечер Борис проводил меня на консультацию к Натанзону и Ратнеру, откуда меня уже не выпустили.

Всеми, кажется, признано, что самая глупая на свете роль бывает у отцов рождающихся младенцев: они ничем помочь не могут и их отовсюду гонят. Борис испытал это, когда, утром 24-го явившись в больницу, увидел меня ходящей по палате с почерневшим лицом и искусанными от боли губами. Из палаты его быстро выпроводили, и он отправился в Кремлевские казармы, сел у телефона и стал ждать вестей (это был как раз день его именин). В 5 часов вечера раздался звонок: дежурная сестра просила передать поручику Аксакову, что у него родился сын. Когда Борис (на этот раз весьма растроганный) приехал в больницу, я уже чувствовала себя хорошо, просила есть и смотрела на спеленутого ребенка с недоумением и страхом, как на «инородное тело», к которому еще надо привыкнуть. (Теперь мне это кажется несколько странным: ребенок родился в глубокой асфиксии, его долго поливали горячей и холодной водой, прежде чем он подал голос, но ни Натанзон, ни Ратнер так и не появились. Со всем справлялась акушерка Софья Михайловна. А это была частная и дорогостоящая лечебница.)

Намучившись за день, я всю ночь видела один и тот же сон: лесная поляна, поросшая мелким березняком, сплошь уставлена треножниками-жаровнями, на которых кипят в прозрачном сиропе крупные антоновские яблоки. Проснувшись, я подумала: это надо запомнить, но вещий смысл этого сна остался мне непонятен. Вернее, никакого смысла не было вообще.

Борис провел эту ночь веселее: Таня Вострякова, ее кузина Леля Клочкова с мужем и еще кто-то из их компании затащили его праздновать рождение сына в «Мавританию». Теперь я не нахожу в этом ничего особенного, тогда же моя теория «рая в шалаше» требовала, чтобы он провел этот вечер в созерцательном настроении дома, а не в ресторанном зале. Когда назавтра я высказала это со слезами на глазах, Борис был несколько удивлен, но признал мою «высшую правоту». На следующий день ребенок получил от его собутыльников по «Мавритании» прекрасную лакированную коляску.

Двадцать четвертого июля мама, извещенная телеграммой о преждевременном рождении внука, была уже в Москве. Она всегда любила грудных детей и потому обнаружила в нем прелести, которые я оценила значительное позднее, хотя соглашалась с тем, что он «аккуратненький ребенок».

При мамином содействии мы нашли квартиру в новом доходном доме Обухова, фасад которого выходил на Большую Молчановку, а двор — на Собачью площадку. Со стороны последней был еще особняк, который занимали сами Обуховы, и маленький флигель в три окошка, где жил дядя Коля.

Наша квартира состояла из трех комнат с ванной и кухней, и существенным ее недостатком являлось то, что она находилась в полуподвальном этаже, светлой была только спальня (она же детская), которая выходила во двор. Жившую с нами в Спешиловке Аришу вновь приняли на роль няни и сразу командировали в Богимово за вещами. Как я уже говорила, многое оказалось съедено крысами, но кое-что Ариша все-таки привезла, и квартиру мы обставили.

Мама не могла оставаться со мною более десяти дней и уехала в Попелево, где шла уборка урожая, но на крестины прибыл из Петербурга папа — он же и был крестным отцом, а крестную мать — Довочку Давыдову — замещала Елена Кирилловна Вострякова, носившая Димитрия вокруг купели. Так как мы поселились в приходе Николы на Курьих Ножках, то крестины совершал причт этой церкви и на Диминой метрике фигурировала большая печать, где «Курьи Ножки» упоминались уже совершенно официально. За чаем после крестин священник

объяснил мне происхождение этого названия: в царствование Алексея Михайловича причт церкви подал царю челобитную о выделении куска земли «хотя бы с курью ножку». Земля была дана, а за церковью так и осталось название «Николы, что на Курьих Ножках».

Зима 1915—1916 года не отметилась в моей жизни какими-либо выдающимися событиями. До половины января я кормила ребенка, а потом решила, что «довольно», и Дима перешел на коровье молоко и манную кашу.

Стоявшая в Кремле рота Бориса считалась образцовой и несла караулы по Москве. Один из постов был у Красного Крыльца (в подвалах Грановитой палаты во время войны хранился золотой фонд Российской империи), другие — на окраинах города. В те дни, когда Борис бывал дежурным по караулам, за ним приезжала лошадь, и, если погода была хорошая, он приглашал меня ехать с ним на пороховые склады в Лефортово или в Бутырскую тюрьму. Пока Борис заходил в караульное помещение на поверку, я сидела в санях у ворот и беседовала с солдатом-кучером.

С дядей Колей Шереметевым, жившим с нами в одном дворе, мы виделись часто. Надо сказать, что его карьера в Малом театре началась с неудачи. Южин совершил неосторожность и дал ему дебютировать в большой костюмной роли в пьесе Гнедича «Самоуправцы». Партнерами дяди Коли были Ермолова, Рыбаков и еще кто-то из знаменитостей, и на их фоне актер Юрин казался любителем. Не было ни жеста, ни уменья носить костюм. Роль передали кому-то другому, а дядя Коля перешел на второстепенные или даже третьестепенные амплуа. Его любовь к Малому театру от этого не уменьшилась. Тяжело было видеть, как те самые актеры (за исключением безупречного в этом отношении Александра Ивановича), которые льстили ему на Пречистенском бульваре, резко изменили свое отношение, когда он стал с ними на одни подмостки, да еще потерпел неудачу.

О маме дядя Коля никогда не говорил и, как мне кажется, уже не вспоминал. Давно тлевшее в глубине его души увлечение Елизаветой Ивановной Найденовой перешло теперь в какую-то манию.

Женитьба Шурика

Весною 1915 года состоялся выпуск 71-го курса Александровского лицея, и Шурик, воинственный пыл которого к тому времени остыл и который никогда по существу не готовился к военной службе, попал в Министерство иностранных дел, прямо в канцелярию министра, что было большим достижением и открывало блестящие перспективы для службы.

Тут следует упомянуть, что, будучи еще в лицее, он и его ближайший товарищ Коля Муравьев (Мурка) через их однокурсника Сабурова познакомились с семьей Юматовых и стали бывать у них в Саперном переулке.

Основным местожительством Юматовых в ту пору было имение Царевщина Вольского уезда Саратовской губернии, но зиму 1915 года Лидия Анатолиевна и ее 17-летняя дочь Лиза проводили в Петербурге, тогда как 15-летняя Таня оставалась в деревне. От Шурика я слышала о Лизе Юматовой как о девице по крайней мере оригинальной, а когда увидела фотографию, изображающую ее стоящей на карнизе пятиэтажного дома, вполне этому поверила. Внешность Лизы Юматовой была полумальчишеская, полуцыганская: большие темные глаза, бледный цвет лица, несколько расширенные ноздри и большой рот. К этому надо добавить, что она хорошо рисовала (главным образом карикатуры), ездила верхом, пела под гитару и свободно говорила по-итальянски (Юматовы несколько лет жили во Флоренции). Этого было достаточно, чтобы иметь шумный успех у молодежи, хотя в данном случае этот успех смахивал на *camaraderie*.

За Лизой ухаживал Мурка, а Шурик просто находил, что у Юматовых бывает весело, и летом оба друга, воспользовавшись приглашением Лидии Анатолиевны, отправились в Царевщину, где были встречены с распростертыми объятиями, отчасти потому, что в доме Юматовых всегда царил дух гостеприимства, а отчасти потому, что «женихам везде рады». Половину большого царевщинского дома — прекрасной постройки с куполообразной

центральной частью крыши — занимал организованный Лидией Анатолиевной лазарет для раненых. В другой же половине дома, уставленной красивыми старинными вещами, текла привольная и несколько своеобразная жизнь. Вместе с барышнями под наблюдением гувернантки росли восемь-десять девочек — дочерей крестьян и дворовых служащих, в большинстве случаев крестниц Лидии Анатолиевны. Среди них была довольно красивая белокурая Зина, обладавшая хорошим голосом. Лидия Анатолиевна собиралась направить ее учиться в консерваторию.

Приезд в Царевщину двух друзей, несомненно, произвел девичий переполох. Ожидая гостей, молодые хозяйки и их подружки гадали, где они находятся, приговаривая: «На дороге, на пороге, на постели, за столом». Двухнедельное пребывание Шурика и Мурки в Царевщине прошло во всякого рода деревенских увеселениях: катались верхом, ездили на ярмарку в отстоящее за 18 верст село Балтай, а по вечерам пели под доморощенный струнный оркестр местные приволжские частушки. Зина обычно запевала: «Вы скажите Николаю, Жигули вы, Жигули, что любить его желаю, до чего ж вы довели!»

Вот тут в поле зрения Шурика и попала Таня Юматова, 15-летняя хорошенькая девочка с карими глазами и каштановыми локонами. Она совсем не походила на сестру: насколько Лиза была стремительна и бойка, настолько Таня была тиха. Она как-то медленно и с трудом выходила из ребяческого состояния, и личико у нее было немного застывшее, как у куклы. Образование обе сестры получили «домашнее» и весьма «беспорядочное». Лиза, благодаря живости своего ума, умела скрыть пробел в знаниях. Таня же, не претендуя на «блеск», восполняла пробелы эти своим поистине золотым сердцем.

Не знаю, оценил ли Шурик это золотое сердце, был ли он пленен Таниным хорошеньким личиком или решил не отставать от Мурки, который осенью был объявлен женихом Лизы, но, возвращаясь зимой через Москву из второй поездки в Царевщину, он сказал мне, что будет говорить с отцом о своем намерении жениться на Тане Юматовой.

Папа, верный своему принципу невмешательства в подобного рода дела, сказал: «Это твое дело — решай сам!»,

что практически было равносильно согласию, и отдал Шурику три лучшие комнаты по фасаду своей квартиры.

Из Царевщины стали прибывать на Моховую карельская береза, красное дерево и саксонский фарфор. В феврале Юматовы приехали в Петербург заказывать приданое. Свадьбу назначили на апрель месяц.

Тут мне кажется уместным сказать несколько слов о семье Юматовых в перспективах трех поколений: дед моей *belle-soeur* Татьяны Николаевны был тот самый граф Анатолий Дмитриевич Нессельроде (внук канцлера), который, окончив в 70-х годах Гейдельбергский университет, служил некоторое время в Петербурге, потом был последовательно вольским уездным и саратовским губернским предводителем дворянства. (Он-то и послужил в 1906 году причиной ссоры между Николаем Борисовичем и графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым, о которой я в свое время упоминала.)

У графа Анатолия Дмитриевича были две внебрачные дочери, которых он впоследствии узаконил. В результате прошения, поданного на Высочайшее имя, обеим сестрам была присвоена фамилии Нессельроде. Старшая из них, Лидия Анатолиевна, в то время уже была замужем за «синим» кирасиром* и саратовским помещиком Николаем Дмитриевичем Юматовым, так что этим правом воспользовалась лишь девица Нина Анатолиевна, вышедшая впоследствии замуж за сына профессора зоологии Московского университета С.А.Усова.

Граф вплоть до своей эмиграции, официально оставался холостяком и лишь в Париже, под старость лет, женился на какой-то француженке, которую дети Юматовы для приличия называли «бабушка *Blanche*». Дедушку они любили, и он любил их. Если судить по фотографии, на которой Анатолий Дмитриевич изображен с Таней на коленях и Колей и Лизой по бокам, внешность он имел самую приятную. Насколько я знаю, он был обходителен в обращении, обладал живым умом и даже писал стихи.

В деньгах граф дочерям и внукам не отказывал, но Лидия Анатолиевна, овдовев, сумела изрядно запутать

---

* То есть гатчинским (по цвету сукна).

свои материальные дела. После смерти мужа она с детьми, как я уже говорила, несколько лет жила во Флоренции. В результате все ее драгоценности оказались заложенными, и я слышала о переписке с каким-то адвокатом *del Soldato*, который должен был выкупить бриллианты и переслать их в Петербург по случаю свадьбы Лизы и Тани. Однако дальше разговоров дело не пошло, и драгоценности из Италии получены не были.

Говоря о знакомстве Шурика с Юматовыми, я ни разу не упомянула о брате Лизы и Тани — Николае. Объясняется это тем, что в ту пору его в России не было. В возрасте пятнадцати лет этот юноша совершил весьма сумасбродный поступок: поссорившись с матерью, он ушел из дома, нанялся кочегаром на какое-то судно и отплыл в Америку. В конце концов беглеца удалось водворить к дедушке в Париж. Там его застала война. Зимою 1915—1916 годов окружным путем он вернулся в Россию и поступил в Николаевское кавалерийское училище, намереваясь по окончании выйти, по примеру своего отца, в Кирасирский полк. Внешне Коля Юматов был похож на мать, унаследовав ее небольшой рост, довольно красивые зеленоватые глаза, острый выдающийся нос и срезанный подбородок, что придавало лицу птичье выражение.

Я уже говорила, что свадьба Шурика и Татьянки была назначена на 17 апреля. Одновременно со мною в Петербург приехала мама, принявшая весть о Шуриковой женитьбе без всякого энтузиазма. Во-первых, она не видела в своем сыне задатков семейных добродетелей (в чем была права!) и, во-вторых, «фыркала» на Лидию Анатолиевну (в чем была не права!).

Лидия Анатолиевна Юматова была недалекой (вернее, пустой), слабохарактерной, но очень доброй женщиной. (Мне иногда кажется, что Чехов с нее писал Раневскую из «Вишневого сада».) После смерти мужа она подчас ставила себя в «глупое положение», но ведь не всех природа наделяет одинаковым умом, и не все встречают на пути таких благородных людей, которые не ставят женщину в «глупое положение»!

Надо заметить, что мамино «фырканье», в сущности, носило чисто академический характер и практического

влияния на ход событий не имело. С четырехлетнего возраста Шурик был для нее отрезанным ломтем, который ей «очень нравился», но жизнь которого шла помимо нее. Да и «фыркала» она больше под влиянием своей сестры — этого олицетворения французского буржуазного апломба. Тетя Лина одевалась у одной с Юматовыми портнихи (m-me Berthe на Мойке), откуда и исходили сплетни. Тетка, кроме того, не любила Шурика. В тех редких случаях, когда она его видела, она сразу заводила разговор о том, что все лицеисты позеры, дураки и бездельники. Даже неизменно приводился пример каких-то братьев Свентицких, которые якобы обладали всеми этими пороками. Шурик воспринимал теткины нападки с полным спокойствием. Склонив привычно голову немного набок, он иногда только насмешливо щурил глаза, но воздерживался от дискуссий (и слыл *jemenfiche*'истом, как я уже говорила). Ко мне тетя Лина относилась лучше, но и то только потому, что меня любила бабушка, мнение которой имело значение для обеих ее дочерей.

Но я уклонилась от главной темы: описания свадьбы — последнего внешне блестящего впечатления, полученного мною в жизни. Петербург, столь привлекательный в апреле, утопал в весенних лучах. На улицах царило оживление. Наличие проходившего где-то фронта заметно было только по большому количеству военных в защитном обмундировании. В витринах магазинов пестрели пасхальные эмблемы.

За день до свадьбы Довочка, жившая в то время в купленной ею незадолго до того даче в Царском Селе и знавшая по Саратову и Юматовых, и еще более дедушку Нессельроде, заехала за мною, чтобы выбрать небольшой подарок для молодых. Отчетливо помню, как мы проезжали в коляске по Морской мимо нарядной, по-весеннему настроенной толпы, как глухо постукивали по торцам копыта лошадей (этот звук был специфически петербургским). На углу Морской и Невского, у входа в цветочный магазин, с группой друзей стоял Коля Юматов. Он был в длинной кавалерийской шинели и держал в руках громадный букет белых цветов, который, как первый шафер, должен был вручить сестре перед венчанием.

Вернувшись на Моховую, где заканчивалось устройство апартаментов и царила суматоха, от которой папа скрылся в служебном кабинете, я услышала, что Лиза, которая была замужем за Муркой и жила вместе с родителями Муравьевыми, опасно заболела и даже «умирает». Возникло опасение, что свадьбу придется отложить, и я под предлогом визита соболезнования отправилась на разведку. Муравьевы жили на нечетной стороне Моховой, в доме страхового общества «Россия», известном петербургским жителям потому, что в его палисаднике в виде обелиска возвышался довольно нелепый большой градусник Реомюр, увенчанный круглыми часами.

В полумраке спальни с завешенными портьерами, на широкой кровати под шелковым темно-лиловым одеялом и ворохом кружев с лиловыми бантами, я увидела Лизу. Глаза ее лихорадочно блестели, на лбу лежал холодный компресс, тут же в тревоге суетились медики. Уловив произнесенное кем-то «fausse couche»*, я тихонько удалилась.

Каково же было мое удивление, когда, вернувшись домой, я услышала веселый смех и увидела мирную картину: Шурик и Мурка (муж «умирающей» жены), которым удалось выудить из приготовленных к свадьбе запасов бисквитный торт с жидким ромовым кремом, известный под названием «Arc-en-ciel»**, сидели за столом и серебряными ложками уписывали этот торт, по временам с громким хохотом, выхватывая друг у друга лучшие куски. Когда я вошла, они принесли третью ложку и пригласили меня к ним присоединиться, обещав у меня кусков не выбивать. Это была очень поучительная картина для сторонников ранних браков!

На следующее утро выяснилось, что Лизе стало лучше, и венчанье, назначенное на три часа дня в Удельной церкви, может состояться, хотя и без Лизиного присутствия.

И вот 17 апреля мы с Шуриком подымались по той самой лестнице с бронзовыми зубрами внизу и помпейскими фресками наверху, по которой в детские годы проходили к обедне в сопровождении Юлии Михайловны.

---

* Выкидыш (*франц.*).

** Радуга (*франц.*).

Теперь мы были взрослыми, но обладали счастливым детским неведением того, что нас ожидало впереди!

Съезд карет и автомобилей перед Главным управлением Уделов был так велик, что на некоторое время прекратилось трамвайное движение. От Кирочной улицы до Литейного моста недвижной цепью стояли вагоны, подавая безнадежные звонки, пока задние не пошли к своей конечной цели окружным путем.

Лестница и вестибюль были уставлены тропическими растениями из красносельских удельных оранжерей. Как и в былые дни, венчанье совершал совсем уже состарившийся отец Ветвеницкий, пел хор Архангельского и похожую на дворцовый зал церковь заполняла элегантная сдержанно-любезная петербургская светская толпа, которая на этот раз оказалась выведена из привычного равнодушия видом юной венчающейся пары, воскрешавшей трогательные и всем знакомые образы Ромео и Джульетты, Дафниса и Хлои и им подобных. Дамы поднимали глаза к небу и говорили: «Они так трогательны!» Не имея склонности к штампам, я все же находила, что жених и невеста очень милы.

Шурик, которого я в первый раз видела во фраке, стоял перед аналоем с присущей ему свободной элегантностью, а рядом Татьянка — в фате и не доходящем до пола белом платье — напоминала идущую к первому причастию девочку-католичку. Юматовы, следуя последней моде укороченных платьев, отказались от традиционного венчального платья с треном. Короткое платье было менее декоративно, но на 16-летней Татьянке имело свой стиль.

На Лидии Анатолиевне эта мода, к которой еще не привык глаз, выглядела менее удачно. В большой черной шляпе и стоящем наподобие колокола «укороченном» платье из светло-серой тафты, Лидия Анатолиевна была похожа на абажур. (Довольно меткое сравнение, пущенное не то мамой, не то ее сестрой.)

Я уже хотела добавить, что и тут мои родители выглядели лучше всех, но боюсь, что буду заподозрена в недостаточной объективности, и умолкаю.

Когда молодые выпили из одной чарки и поцеловались, начались поздравления, происходившие в одной

из примыкающих к церкви зал. По стенам стояли открытые буфеты, и лакеи разносили на подносах шампанское, сандвичи, чашки с шоколадом, всевозможные торты, конфеты и фрукты. В 9 часов вечера мы уже провожали молодых, уезжавших с Николаевского вокзала в Царевщину. Когда поезд отошел, заплаканная Лидия Анатолиевна стала усиленно приглашать меня поехать ужинать в ресторан с ее знакомыми, но папа быстро наложил *veto* на этот проект, сказав: «Тебе нечего там делать», и повез меня на Моховую, откуда я через два дня вернулась к московским пенатам.

В Кремле

В один из своих приездов в Попелево летом 1916 года Борис сказал, что у него есть возможность получить казенную квартиру в Кремле, чему я, конечно, была очень рада. Хлопоты по переезду с Молчановки взял на себя он, так что осенью, возвращаясь в город, мы с Димой приехали уже на новое место.

Квартира наша находилась в так называемом офицерском флигеле, старинном здании, стоявшем как раз напротив Троицких ворот и являвшемся продолжением петровского Потешного дворца. Занимаемые нами три комнаты располагались веерообразно в верхнем этаже этой фундаментальной постройки. Средняя комната, столовая, имела почти треугольную форму, потому что окна ее выходили на ребро срезанного угла дома. Из квадратных окон первой комнаты — гостиной — открывался вид на Кутафью башню, Манежную площадь и Воздвиженку. Широкий коридор вел в кухню. По коридору налево была небольшая комната, где жила Ариша (теперь в роли Диминой няни) с шестилетней дочкой Шурой. В кухне распоряжался денщик Бохонько-Глаз — сорокалетний уроженец города Кобеляки Полтавской губернии, мнивший себя прекрасным поваром. Днем на подмогу приходил из роты солдат Сергей Ефимов, стоявший на значительно более высокой ступени развития, чем Василий Глаз. Это был высокий плоскогрудый человек с впалыми щеками и умными глазами. Я часто заводила с ним беседы на различные темы и всегда старалась предотвратить его конфликты с Борисом (Ефимов иногда манкировал по службе).

Пребывание у нас денщика Сергея имело следствием то, что в одну прекрасную ночь мне пришлось отвезти Аришу в родильный дом и через некоторое время у нас в квартире запищал еще один младенец. Это было среди зимы, весной наступила революция, и мы покинули Кремль. Ариша с детьми уехала в Тульскую губернию,

Сергея мы потеряли из виду, но значительно позднее оказалось, что еще в бытность свою у нас он был связан с революционными организациями.

Дима ознаменовал свой приезд в Кремль тем, что стал ходить и самостоятельно пересек гостиную из угла в угол. Ему пошел второй год, у него отрасли мягкие льняные волосы и в пикейном платье он походил на девочку. В раннем возрасте он мало болел, но был бледен. Я в душе обвиняла себя в том, что слишком рано бросила его кормить, и, чтобы нагулять ему румянец, добросовестно катала его в коляске по Кремлю. В теплую погоду мы с ним сидели иногда на постаменте Царь-пушки, как раз напротив маленького окошечка в стене Чудова монастыря, где под вывеской «Просфорня» продавались известные всей Москве теплые и мягкие просфоры.

Вспоминаю забавный случай, вызвавший переполох в кремлевских казармах. Проездом с фронта в Гатчину или обратно «морганатический двор» находился в Москве, и мама приехала на свидание с мужем, сопровождавшим великого князя. Все жили в гостинице «Националь». Наталия Сергеевна ни на шаг не отпускала от себя маму, с которой ей, по-видимому, было весело и приятно. (Моя мать обладала исключительным даром создавать уют для окружающих.) Двенадцатого октября мама, однако, сказала: «Ну, сегодня Танин день рождения, и я вас покидаю». После чего Михаил Александрович предложил всем вместе ехать поздравлять новорожденную, а Наталия Сергеевна напомнила, что сначала надо запастись подарком. Двумя часами позднее автомобиль с императорским штандартом остановился у подъезда офицерского флигеля кремлевских казарм. Из него вышли великий князь, Наталия Сергеевна с подарком в руках (это была вышитая чайная скатерть), мама, Вяземский и Николай Николаевич Джонсон*. Наша квартира огласилась смехом и приветствиями в мою честь. Михаил Александрович подхватил на руки Димку, стал подбрасывать его к потолку, Димка радостно визжал, в коридоре толпились ошеломленные этим зрелищем солдаты, а я поила всех чаем.

---

* Последний личный секретарь и друг великого князя.

Все шло прекрасно до тех пор, пока мама не сказала, что Михаил Александрович любит чай с лимоном, и денщик Сергей не подал на стол половину лимона, забыв срезать верхний подсохший слой. Увидев такой «ужас», Борис бросил на меня и Сергея негодующий взгляд. Его настроение бесповоротно испортилось, и даже много лет спустя, вспоминая этот случай, он с чувством самого искреннего страдания закрывал лицо руками и говорил: «Ах, это было ужасно!» Когда я говорила, смеясь, что никто, кроме хозяина дома, этого злосчастного лимона не заметил, он поражался моему «верхоглядству».

На следующий день Бориса вызвал к телефону командир 56-го запасного полка полковник Кевнарский, который озабоченным тоном «осведомился»: «Поручик, до меня дошли слухи, что вчера в Кремле был великий князь Михаил Александрович, а Вы до сих пор меня не поставили в известность, с какой целью он приезжал». Узнав, что мотивы посещения были не служебные, а частные, начальство успокоилось.

Хотя в моих писаниях о прошлом я могу надеяться только на собственную память (ни писем, ни дневников у меня не сохранилось), но не ошибусь, если скажу, что в Кремле я уже отрешилась от повышенных притязаний к жизни и обрела некоторое душевное равновесие. Отношения с Борисом наладились — размолвки происходили лишь по мало существенным поводам. В крупных вопросах Борис считался с моим мнением, и я даже чувствовала свою доминанту.

Время, однако, было тревожное. Борис тяготился пребыванием в тылу (которое, кстати сказать, сложилось без всяких хлопот с его стороны) и в любой момент, под влиянием тех или иных импульсов, мог нарушить естественный ход событий и попроситься на фронт. Как раз в это время я узнала силу пропаганды: в английском журнале появился плакат с изображением сидящего в кресле джентльмена. Перед ним стоял мальчик лет двенадцати и спрашивал: «Папа! Что ты делал во время войны 1914 года?» Этот рисунок произвел на Бориса очень сильное впечатление. Представив себе, как Дима через несколько лет задает ему подобный вопрос, он подал

рапорт о зачислении его в маршевую роту. Рапорт этот, к моему удовлетворению, начальство отклонило. (Я всегда была противницей насилования судьбы, так же как никогда не верила в то, что люди — «кузнецы своего счастья».)

Зимой 1916 года у нас в доме произошло прискорбное событие. Играя в винт и прихлебывая кахетинское вино, дядя Коля вдруг упал со стула и потерял сознание. Отвезенный на Собачью площадку, он в себя не пришел. На следующий день брат Борис и Александр Тимофеевич Обухов поместили его в лечебницу Гралевского на Поварской улице. Врачи определили какое-то мозговое заболевание типа «белой горячки».

Первое время он буйствовал, никого не узнавал, потом успокоился. Проведя в больнице два месяца, он выписался якобы выздоровевшим, но уже не тем, каким был раньше. Играть на сцене стало трудно, и Южин предоставил ему место заведующего библиотекой Малого театра, которая находилась тут же, около кулис, так что дядя Коля не потерял связи со столь любимым им «Домом Островского».

Летом он иногда присоединялся к компании актеров, едущих на гастроли в провинцию, и даже выступал с ними на сцене. Так он с восторгом рассказывал о поездке в старинный город Яранск Вятской губернии, где, несмотря на удаленность от железной дороги, имелся настоящий театр и жители были любителями и знатоками театрального искусства. Одна из последующих гастрольных поездок (в Харьков) оказалась менее удачной. Шло «Горе от ума». Дядя Коля играл князя Тугоуховского, и на сцене с ним произошел легкий паралич. Участники спектакля кое-как вывели его за кулисы, а зрители ничего не заметили, думая, что так надо по роли.

После этого дядю Колю поместили в убежище для престарелых артистов Большого и Малого театров в Измайлове (на окраине Москвы). Так печально закончилась его театральная карьера, принесшая ему ряд разочарований, но имевшая, как почти всё в жизни, и свои хорошие стороны: если Николай Борисович Шереметев мог подвергнуться в революционные годы каким-нибудь репрессиям, то актера Юрина они не коснулись. Я еще

вернусь к некоторым подробностям жизни дяди Коли на ее последнем этапе, а пока замечаю, что забежала вперед, и возвращаюсь к 1916 году.

По причудливому стечению обстоятельств, моим ближайшим соседом в Кремле оказался дядя Никс Чебышёв. Назначенный во время войны прокурором Московской судебной палаты, он поселился в здании Судебных установлений, и мне стоило только перейти площадь и подняться в третий этаж этой монументальной постройки с куполом, чтобы очутиться в его большой и довольно мрачной квартире*. Дядя Никс жил один (после развода с тетей Лилей он больше не женился), был всегда рад моему появлению, усаживая меня на диван, поил чаем, и мы с ним принимались за обсуждение текущих событий.

В декабре 1916 года я к нему примчалась с газетой, сообщавшей о сенсационном убийстве «известного лица» какими-то, по-видимому, высокопоставленными «лицами». Несмотря на всю таинственность этого сообщения, можно было понять, что речь идет о Распутине. Через два-три дня начали выясняться обстоятельства дела: труп убитого был найден подо льдом в Малой Невке, газеты далее печатали, что молодой князь Юсупов высылается из Петрограда в орловское имение, а великий князь Дмитрий Павлович отправляется на персидский фронт. Не помню того, что говорил по этому поводу дядя Никс, но многие расценивали убийство на Мойке как первый революционный шаг — попытку вывести Россию — вернее, царствующую династию — из тупика путем дворцового переворота.

О роли Распутина при дворе и о его убийстве так много говорено и писано (как достоверного, так и явно недостоверного**), что я ограничусь приведением лишь некоторых слышанных мною высказываний по этому вопросу.

Начиная с 1912 года, стали распространяться толки о мистической власти этого «старца» на императрицу Александру Федоровну. Обладая, по всеобщим отзывам,

---

* Сенатский дворец на территории Кремля.

** Особенно много низкопробной литературы на эту тему появилось при Керенском. — *Прим. автора.*

большой гипнотической силой, Распутин сумел убедить ее, что благополучие царской семьи и, главным образом, здоровье наследника, зависит от его молитв. Он говорил: «Меня с вами не будет — и вас не будет». В глазах императрицы он олицетворял ту «сермяжную, но чистую сердцем и преданную престолу» Русь, на которую им следовало опираться через головы «кадетствующего» дворянства и, главным образом, Государственной Думы.

Юродствуя во дворце, Распутин бесчинствовал вне дворца. Направо и налево он хвастался тем, что носит рубашки, вышитые самой царицей, и может по своему усмотрению назначать и смещать министров. Вокруг «Григория Ефимовича» образовался круг почитателей и почитательниц. Имя его стало все чаще и чаще появляться в сатирических стихах Мятлева. Так, в 1915 году он писал:

Была война, была Россия,
И был салон графини И,
Где новоявленный Мессия,
Смеясь, потягивал «Аи».

Далее автор описывает, сколь непринужденно чувствует себя этот «мессия» в салоне графини, и заканчивает словами:

И даже толстому амуру
Смотреть противно с потолка
На титулованную дуру
И на пройдоху-мужика.

Отдельные лица пытались открыть царю и царице глаза на создавшееся положение. Воспитательница царских дочерей Софья Ивановна Тютчева (внучка поэта) официально заявила государю, что считает неудобным приходы Распутина в спальню великих княжон, на что получила ответ: «Если императрица это допускает, в этом ничего не может быть плохого». Тютчева подала в отставку, и ее отставку приняли. После чего в Царское, с целью вразумления, поехала великая княгиня Елизавета Федоровна. Разговор между сестрами закончился тем, что Александра Федоровна указала Елизавете

Федоровне на дверь и крикнула: «Out!» (Так, во всяком случае, говорили в окружении великой княгини.)

Владимир Федорович Джунковский (московский губернатор) был смещен только за то, что подал рапорт о безобразном поведении Распутина в зале ресторана «Стрельна».

Случались даже моменты, когда под давлением общественного мнения Распутина приходилось удалять от двора, но как только он уезжал, наследник Алексей, страдавший гемофилией, по каким-то непонятным причинам начинал истекать кровью. Распутина срочно вызывали из родной Тюмени, наследник поправлялся, и вера в святого «старца» еще более укреплялась.

В 1916 году западноевропейская пресса уже открыто говорила, что на русскую политику влияет какой-то проходимец, и в недрах императорской фамилии возникло решение положить конец этому позору. Во главе заговора стали великий князь Дмитрий Павлович, женатый на его двоюродной сестре молодой князь Юсупов и члены Государственной думы Пуришкевич и Маклаков.

Зная, что Распутин мечтает познакомиться с княгиней Ириной Александровной (женой Юсупова), заговорщики заманили его в дом Юсуповых на Мойке. В ожидании молодой хозяйки (которая, конечно, и не должна была появиться) гостю предложили чай с пирожными буше, в крем некоторых из них был подмешан доставленный Маклаковым цианистый калий. Отравленные пирожные были розового цвета, а не отравленные — белого. Несколько лет спустя в Париже великий князь Дмитрий Павлович рассказывал маме и Наталии Сергеевне Брасовой о подробностях этой ночи и о том ужасе, который охватил всех присутствующих, когда они увидели, что Распутин ест одно розовое пирожное за другим, не испытывая никакого недомогания.

Поняв, что цианистый калий почему-то не действует, Юсупов выстрелил из револьвера. Распутин упал на пол. Считая его мертвым, Дмитрий Павлович и Юсупов вышли на минуту из столовой. Когда они вернулись, Распутина на полу не оказалось. Двери в вестибюль и дальше во двор были открыты. Выскочив из дому, Юсупов увидел,

что какая-то фигура быстро убегает на четвереньках («как медведь»), оставляя на снегу кровавый след.

Юсупов выстрелил еще два раза, заговорщики втащили тело в автомобиль (машину вел Сергей Сухотин) и повезли на острова, чтобы там спустить под лед. Вскрытие найденного через два дня в Малой Невке трупа показало, что подо льдом еще продолжалось дыхание.

Городовой, стоявший на набережной Мойки, услышав выстрелы во дворе Юсуповского дворца, вошел в дом и спросил: «Кто здесь стрелял?» Юсупов объяснил, что он убил взбесившуюся собаку. Однако это, по-видимому, показалось не совсем убедительным, и, когда обнаружилось исчезновение Распутина, полиция сразу напала на верный след.

Перечитав последние страницы, я подумала: мой отец совершенно правильно рекомендует мне писать только о том, что имеет непосредственное отношение к моей жизни, и советует в этом смысле брать за образец «Семейную хронику» Сергея Тимофеевича Аксакова. Я же постоянно впадаю в искушение и пишу не только о том, что лежало на моем пути, но и о том, что находилось по сторонам, говорю не только о том, что видела собственными глазами, но и о том, о чем слышала (правда, почти всегда из первоисточников). В свое оправдание я ссылаюсь на Герцена, который более либерально смотрел на права мемуариста. Что же касается моей собственной, разорванной на клочки семейной хроники, то она интересна более как точка приложения внешних сил, чем сама по себе (с чем мой отец не вполне согласен!). Вот почему я позволяю себе расширять тематику своего повествования за пределы личного опыта, стараясь все же не грешить против правды.

Двадцать пятого февраля 1917 года произошла Февральская революция. Началась она, как известно, в Петрограде. Когда же революционные события перекинулись в Москву, мы, живя в Кремле, оказались в самом их центре. Неся ответственность за лежащий под Грановитой палатой золотой фонд, кремлевский гарнизон закрыл ворота и никого не впускал. Несколько дней мы были отрезаны от мира — телефоны не работали. Борис почти

все время находился с солдатами, а я, ошеломленная событиями, искала ответов на возникшие вопросы у дяди Никса, делившего с нами осаду. Его прогнозы были довольно туманны, он успокаивал меня только непреложной истиной, что «всякая анархия сама себя съедает».

После трех дней выжидания под кремлевскую стену со стороны Манежа прибыла с Ходынки 1-я артиллерийская бригада, на Троицкие ворота (и на наши окна) навели пушки и революционные войска потребовали «сдачи Кремля», которая в конце концов и была санкционирована совершенно растерявшимся высшим командованием. В Кремль хлынула беспорядочная толпа народа, Димка вернулся с прогулки с прицепленным кем-то красным бантом, но никаких эксцессов не произошло. На следующий день мы, поднявшись на Спасскую башню, наблюдали происходивший на Красной площади парад революционных войск. Парад принимал мешковато сидевший на лошади комиссар Временного правительства Грузинов, штаб-квартира которого находилась в Московской думе.

Поглядев на этот парад, Борис махнул рукой и решил немедленно ехать в армию.

Наши вещи через месяц были перевезены на Поварскую к близким друзьям того времени Клочковым, и мы покинули Москву. Борис отправился на румынский фронт, а я, забрав Димку, поехала к маме в Попелево.

Прежде чем закончить главу, я хочу сказать несколько слов о том, как, будучи еще в Кремле, услышала от мамы о событиях, происходящих тем временем в Петрограде.

Февральская революция и отречение государя, как известно, совершились незадолго до Пасхи. Вне всякой зависимости от грядущих дней, которых он не мог предвидеть, великий князь Михаил Александрович приехал с фронта в праздничный отпуск. Сопровождавший его Вяземский, не доезжая до Москвы, свернул на Попелево, а Михаил Александрович направился в Гатчину. Еще зимою государь обещал брату к Пасхе дать его жене графский титул, и Наталия Сергеевна, которой совсем не хотелось, чтобы это обещание было забыто, не давала великому князю покоя, требуя, чтобы он «продвинул дело» — миссия, которая по присущей Михаилу Александровичу скромности, несомненно, его тяготила.

Монархия не дожила до Пасхи, указ о графском титуле остался неподписанным, но история поставила Наталию Сергеевну на край других, гораздо бо́льших возможностей, которым тоже не суждено было осуществиться. После отречения Николая II за себя и за сына великий князь Михаил Александрович, совершенно того не ожидая, должен был воспринять корону Российской империи. Сопровождаемый Джонсоном, он выехал из Гатчины в Петербург. На Дворцовой площади его автомобиль попал в водоворот бушующей толпы. Джонсон рекомендовал пробиться на Миллионную, где жили его друзья Путятины, пока народ не опознал великого князя (последнее могло дать повод к манифестациям *pro et contra*).

И вот на Миллионной 12, в квартире той самой княгини Путятиной, к которой Заид-хан два с половиной года назад обратился с описанным мною курьезным тостом, великому князю пришлось принимать делегацию Временного правительства. Там же он подписал манифест, в котором отказывался вступить на престол до решения по этому вопросу Учредительного собрания. Летом 1926 года, будучи во Франции, я читала в «Revue des Deux Mondes» статью Ольги Павловны Путятиной, в которой она описывает трехдневное пребывание Михаила Александровича у нее в доме в момент революции. Статья эта была (вероятно, для большей сенсационности) неправильно озаглавлена «Les derniers jours du grand duc Mich. Alex.», но содержала подробный и, по-видимому, точный рассказ о происходившем.

Новоявленные министры (кроме Керенского) находились в состоянии полной растерянности. Шульгин, по словам Путятиной, все время боялся, что упоенный своей славой Керенский начнет «хамить», однако этого не произошло. А великий князь держал себя просто и с достоинством.

В десяти минутах ходьбы от Миллионной совершались в это же время другие, уже совсем не исторические события. Восьмого марта 1917 года (нового стиля) на Моховой улице родился мой племянник Алик Сиверс. Папина квартира, часть которой, как я уже говорила, отдали Шурику и Татьянке, находилась над подвалом, где хранили удельные вина. Десятого марта толпа начала разбивать

подвалы, бочки выкатывались на улицу, вино текло по земле, любители его припадали к винным лужам, лежа на животе. К вечеру в пьяной толпе, запрудившей Моховую улицу, стали раздаваться крики о том, что дом надо поджечь. Началась перестрелка, и, когда пуля пробила окно комнаты, где лежала Татьянка, Шурик решил эвакуировать свое семейство к Муравьевым. Алика завернули в одеяло, Татьянка, вопреки всем медицинским срокам, была поднята с постели на второй день после родов, и Шурику удалось вывести их в безопасное место. Папа категорически отказался покинуть свой кабинет и, с присущим ему стоицизмом, дождался момента, когда последняя бутылка удельного вина была выпита и толпа разошлась.

Как только в городе наступило некоторое успокоение, Шурик отправил Татьянку в Царевщину, сам же остался на лето с папой в Петрограде, наблюдая, как еще при Временном правительстве давали трещину и затем рушились все учреждения Российской империи. К осени, ввиду реорганизации Министерства иностранных дел, брат оказался безработным дипломатом и направился в спасительную Царевщину, где грозные события амортизировались патриархальными отношениями, сохранившимися между крестьянами и помещиками. (Как я уже говорила, всю землю еще в 1905 году Нессельроде продал крестьянам на весьма льготных условиях.)

Летом 1917 года Главное управление Уделов перестало существовать как таковое. Отец переехал на частную квартиру на Большой Конюшенной и поступил на службу сначала в Главархив, а потом в Эрмитаж.

Обо всем этом я говорю кратко, так как петроградские события развертывались вне моего наблюдения и я знала о них только из писем. Первые годы революции связаны у меня с калужскими краями и, отчасти, с Москвой. Отца я снова увидела лишь в декабре 1921 года, а брата — летом 1923-го. Тут только я во всех подробностях узнала, что с ними произошло за период нашей разлуки. Об этом я постараюсь рассказать в другом месте.

Часть вторая

Предисловие

Приступая ко второй части своих записок, в которой должны быть отражены послереволюционные годы, я заранее вижу все трудности этой задачи. Хотя я старалась ограничить себя рамками «истории одной семьи» и писать, не вдаваясь в излишние рассуждения, но сознаю, что в наших судьбах, как в капле воды, отразились события мирового значения, и это обязывает меня быть точной и беспристрастной.

Незаменимую помощь оказывал мне мой отец, под контролем которого написана первая часть. С уходом его из жизни 24 сентября 1964 года я чувствую себя как бы потерянной. Я привыкла к тому, что все мною написанное проходит через фильтр его критики, и была спокойна и за точность сообщаемых дат, и за достоверность приводимых фактов, и за форму изложения. Обладая тонким литературным вкусом, отец бывал ко мне требователен, но в этой требовательности я видела большой интерес к моим писаниям, которые он завещал довести до конца. Помня это, я после полугодового перерыва вновь берусь за перо, теперь уже на свой страх и риск, и никто меня не исправит, и никто не напишет на полях: «Возражений не имею».

В годы крушения Российской империи

События лета и осени 1917 года воспринимались мною в «отраженном виде». О происходящем в России мы с мамой узнавали из сообщений печати и по самым разноречивым слухам, доходившим сначала до Козельска, а затем до Попелева. Но не только нам, находившимся в деревне, было трудно ориентироваться в том, что творится в стране, — период между февральской и октябрьской революциями представляется мне какой-то чудовищной неразберихой, причем никто (во всяком случае, в моем окружении) не давал себе отчета в грандиозности совершающихся сдвигов.

С весны стало ясно, что князь Львов не справляется с ролью главы Временного правительства, демагогия Керенского опротивела всем, выступления «бабушки русской революции» Брешко-Брешковской — стали смешны. Летнее наступление по всему фронту стоило больших жертв и не принесло положительных результатов. В Козельске периодически появлялись какие-то прапорщики, именовавшие себя «эмиссарами Временного правительства». Они много говорили о «войне до победного конца», но уклонялись от ответов на вопросы о правах и обязанностях граждан внутри страны.

В середине лета неожиданно, в возрасте пятидесяти пяти лет умер в Калуге Сергей Николаевич Аксаков. Смерть его была вызвана каким-то острым кишечным заболеванием. Любивший отца Борис поспел только на похороны. Приехав из Калуги на три дня, он должен был срочно вернуться на фронт (будучи в это время комендантом 26-го корпуса, расположенного недалеко от Черновиц).

Возник вопрос о входе во владение Антиповым. Этот клочок земли был так основательно заложен, что брать на себя какие-либо обязательства представлялось рискованным, а разбираться — не было времени. По просьбе Бориса, впредь до его возвращения с фронта, Антипово

перешло в ведение так называемой дворянской опеки, причем опекунами были назначены я и Алексей Владимирович Блохин. Наша миссия заключалась в том, что от времени до времени мы наезжали в Антипово, беседовали с паном Венцеславским, приказчиком, и уезжали обратно.

Но, в сентябре из Дворянского банка посыпались грозные напоминания об уплате процентов. В случае неуплаты банк в начале октября ставил Антипово на торги. В моем представлении Дворянский банк был чем-то незыблемым. Убедив в этом своего соопекуна, я стала спешно продавать скот, собрала нужную сумму и внесла ее в банк за три недели до октябрьской революции. Думаю, что банковские чиновники, писавшие угрожающие напоминания об уплате процентов, были весьма удивлены моей наивностью.

Дворянские усадьбы доживали последние дни. С середины лета маму стали вызывать в волость на собрания, посвященные вопросу отчуждения помещичьей земли. Крестьяне были настроены выжидательно, но приезжие ораторы уже прохаживались насчет «волков в овечьих шкурах», что мама, несомненно, должна была принимать на свой счет.

Однако, несмотря на эти подземные толчки, летом жизнь еще текла в привычных формах. Урожай был убран на прежних основаниях. Как и прежде, мы с мамой два раза в неделю ходили в Козельск за письмами и покупками (Вяземский был на Галицийском фронте: командование 5-м кавалерийским корпусом великий князь принял со времени Февральской революции). Начальник штаба Михаила Александровича генерал Юзефович, насколько мне помнится, лето 1917 года жил «частным лицом» на своей небольшой даче в Гатчине. Наталия Сергеевна проживала с ним, а сына, которому в ту пору было семь лет, они отправили с англичанкой, мисс Ним, к датским родственникам.

В августе мы с мамой предприняли поездку в Аладино к бабушке и дедушке, взяв с собой Димку. Это дало мне право сказать в начале моих воспоминаний, что аладинский дом видел в своих стенах пять поколений нашей семьи — Дима и был пятым поколением. В Аладине революционные настроения чувствовались гораздо меньше, чем в Попелеве. С одной стороны, оно было

дальше от бурлящего уездного центра, с другой — не представляло собой интереса в смысле земли и даже построек, так как было по существу только дачей.

Бабушка и дедушка решили не ехать на зиму в Петроград, а, заперев, как всегда в сентябре, аладинский дом, поселились в Москве у тети Лины Штер и Наточки Оболенской, которые жили вдвоем (Ната к тому времени разошлась с мужем) и уступили им две комнаты в своей квартире на углу Малого и Большого Левшинских переулков. Таким образом, в Аладине не происходило того «изгнания хозяев», которое нам пришлось испытать в Попелеве в начале декабря 1917 года.

Незадолго до того, как приехавшие из Козельска «комитетчики» назначили маме окончательный срок выезда из дома, вернулся Борис (фронт как таковой уже перестал существовать). Решили снимать квартиру в Козельске, и выбор пал на дом, принадлежавший владельцу небольшого кирпичного завода Собенникову. Дом этот стоял особняком на выезде из города, недалеко от больницы. При нем имелись обширные конюшни — до революции у Собенникова стоял отряд стражников.

На вывоз домашних вещей запрета не накладывали, поэтому из Попелева в Козельск на тридцати пяти подводах потянулось «движимое имущество». Наиболее громоздкие вещи, в том числе мамин рояль, были поставлены в склады местных купцов Самариных.

Изгоняемым помещикам полагалось взять одну лошадь и одну корову. Помню, как Борис запряг в санки молодую гнедую лошадку Блудницу, посадил меня и Диму, и мы помчались в Козельск. Мама ехала в других санях, держа на коленях старинную икону Федоровской Божьей Матери. По ее лицу текли слезы: на жизнь в Попелеве она возлагала большие надежды и многим пожертвовала для ее устройства.

И все же я поражаюсь, с какой красивой легкостью мы (я говорю о дворянстве) расставались с материальными ценностями. Очень тонко это отметил Есенин в поэме «Анна Снегина». Он с позиции кулачества задает Анне вопрос:

Вам очень обидно, Анна,
За ваш хуторской раззор?
Но как-то печально и странно
Она отвела свой взор.

(Иначе говоря: «Нашел о чем спрашивать кулацкий сынок, расставаясь навеки».) Причина «красивой легкости», может быть, была та, что жизнь ежеминутно выдвигала другие, более важные проблемы, от которых «дух захватывало», и среди них — проблему «родины», слова, звучавшего в ту пору достаточно сильно.

Но возвращаюсь к Козельску. Вскоре после нас в другую половину дома Собенникова приехала из «Отрады» княгиня Мария Владимировна Вяземская (уже совсем больная) с младшими детьми Прасковьей (Патей) и Николаем (Кокой). Вслед за ними потянулся в Козельск кое-кто из их окружения, но связь с «Отрадой» не оборвалась столь резко и бесповоротно, как мамина с Попелевым. Отрадинская жизнь сходила «на тормозах» — благодаря тому, что в доме оставалась Патина кормилица и ее сожитель Виктор Васильевич Немвродов, тут же поступивший на должность лесничего объездчика (это давало ему право на «жилплощадь»). Таким образом, через полгода, когда Мария Владимировна умерла от рака, дети Вяземские смогли хотя бы временно вернуться в «Отраду». И до 1922 года в каком-то шалаше на берегу Жиздры, промышляя охотой и рыбной ловлей, жил отрадинский «Тарзан» Валентин Девойод. (Попутно не могу умолчать о том, как я была поражена, когда в 1923 году, явившись во французское посольство для наложения визы на свой заграничный паспорт, я увидела Девойода, хлопотавшего о репатриации. Когда я выразила — по-русски — свое удивление, он сделал вид, что не понимает, и демонстративно перешел на плохой французский. Как он решился расстаться с козельскими лесами и какова его дальнейшая судьба — осталось для меня неизвестным.)

Незадолго до нового, 1918 года в Козельск с бывшего Юго-Западного, теперь уже несуществующего фронта приехал Вяземский. Атмосфера, между тем, с каждым днем накалялась. Сложившийся веками уклад жизни давал трещины по всем направлениям, и даже такой

маленький пункт, как Козельск, постепенно втягивался в стихию ломки и разрушения. До отказа переполненные солдатами поезда катились с запада на восток. Железнодорожное начальство пряталось от этой лавины, с офицеров срывали погоны, начинал ощущаться недостаток продовольствия. И все же мало кто в моем окружении понимал всю грандиозность происходящего. Хозяин снятого нами дома Собенников совсем не предполагал в ту пору, что печальная судьба дворян-помещиков может когда-нибудь стать и его судьбой. (Этот молчаливый козельчанин запомнился мне тем, что, отправляясь вечером домой, вполне серьезно заявлял: «Иду в объятия Нептуна!»)

В описываемое мною тревожное время состоялось примирение между мамой и Марией Владимировной Вяземской, а так как последняя была женщиной экзальтированной и легко впадающей в крайности, то лучше мамы вдруг не оказалось никого на свете. (Мария Владимировна была уже безнадежно больна и не отпускала маму от своей постели.)

Борис, который наиболее разумно из всех нас смотрел на происходящие события, был очень недоволен соседством отрадинских Вяземских, перенесших постоянно окружавшую их шумиху в Козельск. Баловень матери, кадет старших классов Кока собирал вокруг себя каких-то подобных ему мальчиков, бегал по Козельску, задирал других мальчишек и вечером возвращался с карманами полными каких-то ужасных пряников. Его сестра Патя — девица разумная — не без ехидства замечала, что Кока из корыстных целей ухаживает за еврейскими девицами Шляпоберскими, отец которых открыл производство пряников из ржаной муки на патоке. (Вопрос питания уже заполнял все умы.) В детстве Кока обещал быть красивым, но осложнившаяся корь роковым образом испортила форму его носа — получился профиль, отдаленно напоминающий Павла I. Ростом он был не так исключительно высок, как его старший брат, сложен был прекрасно и имел способность остроумно высмеивать не только других, но и самого себя.

В январе к отрадинским Вяземским приехал с фронта Борис Блохин (сын Алексея Владимировича), пополнив общее число фарлафов. Я получила приглашение

из отдела народного образования преподавать немецкий язык в учительской семинарии. Первый урок оказался для меня мучительным — увидев громадное число устремленных на меня глаз, я вдруг забыла, на каком месте в латинском алфавите стоит буква «О» и чуть было не отправила ее в самый конец. Однако кто-то меня доброжелательно поправил, а второй урок прошел уже вполне благополучно. Третьему уроку не суждено было состояться.

Революционная волна нарастала, и «дворянское гнездо», обосновавшееся в доме Собенникова, стало привлекать внимание комиссаров. У нас начались обыски, не дававшие результатов, но трепавшие нервы. Слухи, один страшнее другого, докатывались до нашей «цитадели».

В начале февраля весь Козельск заговорил о «Варфоломеевской ночи», когда все дворяне и буржуи будут уничтожены. Неясен был только вопрос об участи детей до четырех лет. По одной версии, им предстояло быть убитыми, по другой — нет.

Решили срочно ехать в Москву. Тут мне следует ввести в рассказ новое лицо, принявшее деятельное участие в этом отъезде или, вернее сказать, бегстве, Льва Михайловича Кавелина.

Примерно на половине пути между Попелевым и Антиповым, в необычайно живописном месте, именуемом Гривенская Горка, стоял помещичий дом средней руки, принадлежавший семье Кавелиных. Один из Кавелиных, Лев Михайлович, будучи одиноким, в описываемое мною время жил со своей матерью в Гриве и каким-то образом проникся ко мне совершенно необычными для XX века рыцарскими чувствами. Внешность милейшего Льва Михайловича не имела в себе ничего поэтического — это был грузный человек лет тридцати пяти, с лицом Тараса Бульбы под копною курчавых волос, сильно прихрамывающий на одну ногу и под нарочито грубоватой речью скрывавший мягкость своей натуры. Услыхав о готовящейся в Козельске «Еремеевской ночи», он примчался спасать свою «Прекрасную Даму» и предоставил в распоряжение ее и ее семьи мезонин своей московской квартиры, находившейся в одном из тихих переулков Замоскворечья.

В бегстве из Козельска, совершенном под покровом ночи, принимали участие мама, Вяземский, Борис, я и Дима. Нас сопровождал Лев Михайлович. Путешествие по железной дороге представляло большие трудности. Особенно мучительной оказалась пересадка в Сухиничах. Помню, что Диму передавали в вагон через разбитое окно и его белая шубка сразу утратила всякую свежесть.

И все же мы сравнительно благополучно прибыли в Москву. С вокзала мама и Вяземский, в силу дружеских отношений, отправились к Каютовым, которые к тому времени уже были выселены из своего дома на Тверском бульваре и переехали в довольно поместительный особняк Чинсовых в Еропкинском переулке на Пречистенке. Нас же — Бориса, Диму и меня — Лев Михайлович повез в свое Замоскворечье и с искренним радушием водворил в две небольшие комнаты, находившиеся на антресолях занимаемой им квартиры.

Там было очень тихо, но стоило только выйти за пределы Монетного переулка или повидать кого-либо из знакомых, как становилось ясно, что Москва изменилась до неузнаваемости. Ломка старого мира шла здесь гораздо интенсивнее, чем в Козельске, однако как там, так и здесь на поверхности захлестнувшего Россию бурного потока еще крутились отдельными льдинами прежние отношения, за которые люди цеплялись, чтобы не пойти ко дну. Льдины эти быстро таяли и представляли собою довольно зыбкую опору, но то, что они в разных местах таяли в разное время, давало некоторую передышку.

Для нас передышка заключалась в том, что в Москве таких, как мы, было очень много, да и о «Еремеевской ночи» здесь не слышали. Вопрос, значит, шел не о смерти, а о жизни. Это было приятнее, но все же доставляло немало хлопот. Жить значило пить, есть, платить за квартиру и т.п., тогда как деньги быстро падали в цене и ниоткуда не поступали. Это положение касалось не только нас, оно было всеобщим. Наступило время стихийной распродажи вещей, которые в другое время никогда не были бы проданы. На рынок выкидывались самые разнообразные предметы. Крестьяне же стали требовать за продукты не денег, а чего-то более реального. Помню, что, оказавшись, как и мы, в Москве, Довочка

искала покупателя на соболью шубу и изумрудные серьги, а Дима Вельяминов продавал пишущую машинку. Кроме людей, ликвидировавших свое личное имущество ради хлеба насущного, появилось много лиц, спекулировавших какими-то отвлеченными понятиями, например, «накладной на идущий в Москву вагон дров». Мелкие дельцы спекулировали на вошедшем в моду сахарине.

Что касается меня, то, несмотря на материальные трудности и то, что я впервые осталась «за одну прислугу», я довольно удачно справлялась с хозяйственными делами. Готовить я умела и один только раз оскандалилась, когда принесла с Полянского рынка судака и не могла очистить его от чешуи и внутренностей. Поранив руку колючками, я беспомощно стояла над рыбой, пока наш хозяин не выручил меня из беды и не привел судака в надлежащий вид.

Левушка Кавелин продолжал окружать меня заботами и попечением, с Борисом был сдержанно вежлив (не более!), находя, может быть, что тот недостаточно ревностно служит его «Прекрасной Даме». К Димке, часто остававшемуся на его попечении, относился трогательно, хотя допускал любимые им простонародные словечки вроде: «Ну, Митька, скидовай портки, я тебя сейчас нашлепаю!» На Димку такие угрозы ничуть не действовали, да он их в ту пору и не заслуживал, находясь в периоде «расцвета». Не могу забыть, как в возрасте трех лет он, захлебываясь от удовольствия, сыпал на кавелинских антресолях наизусть отрывки «Онегина» и «Бородина». Единственная допускаемая им вольность заключалась в том, что, не понимая слов «денди лондонский», он утверждал, что Евгений Онегин был «день-деньской одет».

Недели за две до Пасхи, которая в тот год падала на первые числа мая, оказалось, что наши продовольственные ресурсы совсем иссякли. Мне казалось, что из всей нашей компании я наименее одиозна в глазах революционных масс, потому решила сама поехать в Козельск за продуктами. Предварительно я написала жившей там молодой тетушке Бориса Марии Михайловне (вдове Юрия Николаевича Аксакова) письмо, в котором полушутливо спрашивала, «продолжаю ли состоять в списке лиц,

подлежащих уничтожению». Письмо это, как выяснилось потом, доставило ей неприятности. На основании моих слов у нее усиленно допытывались, «какие списки лиц, подлежащих уничтожению, она составляет?»

Но это я узнала *post factum*. Оценив по достоинству мое самопожертвование, Борис проводил меня на Брянский вокзал и усадил в товарный вагон (пассажирских не было). Помню, что он был в штатском пальто и серой шляпе, что дало повод ехавшим в теплушке матросам всю дорогу приставать ко мне с вопросами, какое отношение ко мне имеет провожавший меня «пижон».

В Козельске никто меня не «уничтожил» и даже не обидел, но я узнала, что все наши вещи, находившиеся в самаринских складах, кем-то вывезены, а лошадь Блудница уведена. Мамин рояль оказался потом в детском доме, открытом в монашеских кельях Оптиной пустыни. Так как рояль был разобран и ножек и педалей не нашли, его поставили на три табурета, а вместо педали на двух веревках подвесили доску. Когда я впоследствии увидела этот несчастный инструмент, оглашавший монастырские сараи звуками «Собачьего вальса», его клавиши были сплошь изрезаны ножом.

За короткое пребывание в Козельске я с честью выполнила свою снабженческую миссию и в четверг на Страстной неделе подъезжала к Москве с окороком ветчины, корзиной яиц и горшком топленого масла. Но тут меня ждало потрясение: Лев Михайлович открыл дверь и, увидев меня, пришел в замешательство. Дима был налицо, так что с этой стороны все было благополучно. Но когда я спросила: «Где Борис?», Левушка не вполне убедительно стал мне доказывать, что он уехал в Ярославль за продуктами. Когда же через несколько минут, спутавшись, он сказал, что Борис уехал не в Ярославль, а в Рославль, я поняла, что это неправда. Оказалось, что в день моего отъезда в Козельск Бориса арестовали. Несколько дней я его искала — сначала в каком-то арестном доме на Серпуховской площади, потом в Таганской тюрьме и, наконец, недели через две, нашла в Бутырской тюрьме и получила свидание. Я узнала, что Борис арестован по делу «о спекуляции» или, вернее, за нарушение декрета «о продаже золота в слитках». Звучало это

крайне парадоксально, так как золота у нас ни в каком виде, а тем более в слитках, не было.

Случилось же вот что: у Михалкова (отца поэта Сергея Михалкова) был знакомый Лапин, человек очень богатый и имевший золотые прииски в Сибири. Лапин хотел продать слиток золота. Встретив Бориса у Михалковых, он попросил найти ему покупателя. Борис об этом сказал племяннику Елизаветы Ивановны Найденовой Бакланову, а Бакланов сказал, что у него есть покупатель, и Лапин пообещал дать какой-то процент с суммы тому, кто поможет ему в этом деле (куртаж).

В тот самый час, когда Борис провожал меня на Брянском вокзале, в нашу замоскворецкую мансарду пришли Лапин со слитком под мышкой и Бакланов с «покупателем», который оказался агентом ЧК по вылавливанию золота. Когда Борис вернулся с вокзала, слиток уже конфисковали, Лапина и Бакланова увели в тюрьму, а милиционер дожидался хозяина комнаты, в которой совершилась столь незаконная сделка.

Находиться в Бутырках в 1918 году было весьма неприятно, и я принялась делать все, что было в моих силах, чтобы извлечь оттуда Бориса. К сожалению, в моих силах было очень мало. Я могла только ходить за справками и подавать заявления в канцелярию Верховного трибунала, находившуюся на Солянке. Соседи по очереди советовали мне обратиться к правозаступнику Якулову, который был связан с председателем трибунала Цевцевадзе по прежней революционной работе и многим помогал. Однако сделать этого я не могла (так как денег на адвокатов не было) и вид имела, по всей вероятности, печальный.

Тут случилась странная вещь: в приемной трибунала ко мне подошел невысокий мужчина армянского типа с красным лицом и сказал: «Я Якулов. Вы, кажется, желаете, чтобы я взялся вести дело Вашего мужа. В таком случае Вы должны мне обещать, что между нами никогда не будет речи о гонораре. Иначе я делать ничего не буду!» Удивлению моему не было границ, и я с радостью приняла столь необычно предложенную помощь.

Два раза потом я заходила в приемную к Якулову, где всегда было много народу (жил он в одном из Кисловских

переулков), и была даже приглашена к завтраку, во время которого мы говорили с ним об Уолте Уитмене и современной живописи. (Брат Якулова был модный в то время художник-футурист и расписывал невероятными фресками артистические кафе.)

Помощь Якулова оказалась эффективной. Бориса выпустили под его поручительство до суда. На суде, состоявшемся в начале августа, Якулов произнес защитительную речь, и дело Лапина-Аксакова было прекращено. (Золотой слиток Лапина, конечно, остался в пользу государства.)

С тех пор я никогда и ничего не слыхала о Якулове. Встреча с ним постепенно затушевалась в моей памяти, и лишь теперь, когда я произвожу последовательную ревизию всей жизни, она вновь возникает в моем сознании, как нечто не совсем обыденное, напоминающее *Deus ex machina* из античной трагедии.

Большой поддержкой для меня стало присутствие в Москве мамы, которая часто заходила в кавелинскую мансарду. Лишь приезд в конце мая Брасовой, втянувшей ее в свою орбиту, нарушил наше постоянное общение.

Дело в том, что великий князь Михаил Александрович за это время был сослан в Пермь. За ним добровольно последовал Николай Николаевич Джонсон. Жили они в гостинице, и великий князь периодически должен был являться на отметку в ЧК. Наталия Сергеевна, которой ссылка не коснулась, сначала поехала с мужем, но недолго усидела в Перми. Не знаю, какие дела ее привели в Москву, но она не спешила ее покинуть; как всегда элегантно одетая, она разъезжала на предоставленной ей датским посланником машине и в конце концов уговорила Вяземских ехать вместе с ней в Гатчину. Провожая маму, я не знала, что это разлука на долгие годы!

Бабушка и дедушка Эшен, как я уже говорила, с осени 1917 года временно поселились у тети Лины Штер и Наточки Оболенской, так что летом 1918 года я застала их в Москве, в той самой квартире, где мы с Димой провели три недели между лечебницей Натанзона и домом Обухова на Молчановке. Живая и энергичная Наточка, которая всегда была отзывчива к людским несчастьям, в условиях первых лет революции нашла обширное поле деятельности. Работая еще со времени войны

в эвакопункте «Пленбежа»*, она неутомимо старалась облегчить судьбу перемещенных и обездоленных, а вернувшись домой со службы, кормила обедами одиноких и потерявшихся в непривычной ситуации друзей.

Среди них был уже появлявшийся на страницах моих воспоминаний (как приятель дяди Никса Чебышёва и посетитель дома Востряковых) Иван Леонтьевич Томашевский. Так как я о нем упоминала лишь вскользь, мне хочется теперь посвятить ему несколько слов и даже сделать небольшой экскурс на двадцать лет назад (считая от революционного 1918 года).

Иван Леонтьевич был чрезвычайно декоративной фигурой на фоне Москвы, не привыкшей к декоративности. Поляк по отцу и англичанин по матери, он был воплощением хорошего тона в сочетании с некоторой напыщенностью. Томашевский высоко нес голову, гордясь своей безупречной фигурой, говорил громко и авторитетно. Я часто встречала его у Елены Кирилловны Востряковой, которой он «отдавал дань восхищения», принося цветы в торжественные дни и иногда играя в рамс с ее компаньонкой Раисой Захаровной.

Началу карьеры Томашевского в значительной мере способствовала его женитьба. Тут я не могу удержаться, чтобы не привести отрывок из стихотворения столь часто цитируемого мною Мятлева. Стихи относятся к 90-м годам XIX века.

В России всем и каждому известны обстоятельства.
Есть Петербург. В нем вертятся бояре и сиятельства
Вокруг Его Величества, вокруг Его Высочества.
А те же, кто не вертятся, — те жертвы одиночества.

А я, теперь отверженный влиятельными тетками
И признанный одними лишь парижскими кокотками,
Себе еще напакостил лирическими бреднями.
И, бывши между первыми — попал в последние.

Так вот на дочери одной из упоминаемых тут «влиятельных теток» — Варвары Ильиничны Мятлевой — и женился Томашевский. Из рассказов Довочки Давыдовой

* Комитет по оказанию помощи пленным и беженцам.

я вывела заключение, что мать ее Софья Петровна Шипова и многие другие петербургские дамы считали нежелательным, чтобы их дочери проводили время в обществе молодых великих князей. Ничего дельного из этого выйти не могло, а только забивало головы и отпугивало настоящих женихов.

Дочь Варвары Ильиничны (по словам бывшей с ней в родстве Довочки) слушала эти увещевания, но им не следовала. Марина Мятлева была *enfant terrible* придворного круга, вела дружбу с Владимировичами и упускала одну хорошую партию за другой. Следствием такого безрассудства стал *mésalliance* (с точки зрения «влиятельных кругов») с Томашевским, человеком без средств, без громкого имени, незадолго до того окончившим лицей и начинавшим службу по Министерству юстиции.

Брак этот оказался недолговечным. Марина Владимировна вскоре покинула мужа и, забрав маленькую дочь, уехала за границу. Общественное мнение было всецело на стороне Томашевского, который «достойно» жил на холостом положении, поддерживал отношения со своей *belle-mère* и преуспевал по службе. В 1910—1912 годах он был директором 1-го судебного департамента и получил звание камергера. Именно в придворном мундире «Дядя Том-Шевский» и был особенно декоративен. Таким же *doré sur tranches** помню его на моей свадьбе 1914 года.

Когда же я снова встретила Ивана Леонтьевича зимой 1918—1919 годов в Москве, то заметила, что позолота с него в значительной мере сошла. Явление это носило всеобщий характер, но в Томашевском перемена была особенно заметна. Похудевший, часто небритый и злой, он ходил по сугробам арбатских переулков, везя за собой санки с дровами или «пайками». «Дань восхищения» он перенес с Елены Кирилловны на Наточку Оболенскую, у которой одно время столовался. Бабушка юмористически описывала сцену за обедом: «Все сидят за столом и с нетерпением ждут миски с супом. Наконец Ната начинает разливать жидкий бульон с плавающими в нем редкими крупинками пшена и одной вареной луковицей. Ее мать протягивает тарелку, говоря: "Дай мне этот лук. Я так его люблю!" Тут раздается протестующий голос

* Богатей (*франц.*, *разг.*).

Томашевского: "Но мадам, я люблю его тоже!" Ната примирительно делит луковицу на две части».

Я не отвечаю за безусловную точность этой сцены, но в условиях 1918 года считаю ее вполне возможной.

Впоследствии Томашевский оптировал польское подданство* и уехал в Варшаву. Дальнейшее мне неизвестно.

В середине лета у нас на кавелинских антресолях неожиданно появился Вяземский в обличии железнодорожного проводника. Дело в том, что дня за два до этого в газетах появилось туманное извещение об исчезновении великого князя Михаила Александровича. При этом говорилось, что к гостинице, в которой он жил в Перми, подъехала тройка с неизвестными людьми, люди эти попросили великого князя и его секретаря следовать за ними и куда-то их увезли. Узнав об этом в Гатчине, Вяземский сказал, что его место — при Михаиле Александровиче, где бы тот ни находился, в особенности если великий князь в опасности. На такие слова маме нечего было возразить, и наступила разлука. Вяземский поехал на восток разыскивать Михаила Александровича, что было делом трудным, так как по Волге проходил фронт восставших чехов и шли бои, мама же осталась с Брасовой в Гатчине.

Как я уже говорила, при переезде через Москву Вяземский был одет в какое-то потрепанное пальто. На голове у него была железнодорожная фуражка; в одной руке он держал фонарь, а в другой — прекрасный кожаный чемодан с бельем великого князя, которое он хотел ему «подвезти на всякий случай». Борис сразу заметил несообразность такого багажа (рубашки были помечены инициалами с коронами). Вяземский с этим согласился, бросил чемодан на кавелинском чердаке и поехал с одним фонарем, исчезнув с нашего горизонта на несколько лет. Я же сначала вырезала короны, а потом нашила из брошенных рубашек Димке костюмов. Эти костюмы из прекрасного белого полотна с синими полосками, Димка носил до шестилетнего возраста и был в них очень наряден, особенно когда к ним пристегивался воротничок из ирландских кружев.

---

* Здесь: выбрать гражданство.

В июле мы, поблагодарив Левочку Кавелина за гостеприимство, переехали в «Трубники» к Востряковым, у которых освободились две комнаты. Весной 1919 года дом Маргариты Кирилловны Морозовой в Мертвом переулке, построенный незадолго до революции архитектором Желтовским, реквизировали под посольство Норвегии. В подвале этого дома из хозяйственных помещений выделили три комнаты для бывшей владелицы дома и ее младших детей Мики и Маруси. В одну из этих комнат переехала также Елена Кирилловна Вострякова. Старшая дочь Маргариты Кирилловны Леля Клочкова с мужем и Таня Вострякова твердо решили ехать за границу.

Что касается старшего из детей Морозовых — Юрия, который упоминался мною в главе «Гимназические годы» и был так хорош в костюме тирольца на детском балу, то он уже не нуждался в жилплощади. Судьба его сложилась трагически. Замечая в сыне некоторые странности и боясь роковой обреченности третьего поколения российской буржуазии, Маргарита Кирилловна настояла, чтобы он по окончании Поливановской гимназии, поступил в Гардемаринские классы Морского корпуса. Этим она его отделяла от компании московских богатых бездельников и вполне разумно надеялась, что новая среда, строгий режим и физическая закалка окажут благотворное действие на его психику.

Сначала так оно и было. Присутствуя на празднике Морского корпуса в 1912 году, я с хоров наблюдала, как Юра Морозов маршировал со своей ротой в качестве правофлангового по необъятному, самому большому в России залу старинного здания у Николаевского моста и выправкой ничем не отличался от товарищей.

Через два года началась война, и мичман Морозов был направлен сторожить какой-то маяк на пустынном острове Балтийского моря. Такой нагрузки его психика не выдержала, и случилось то, что над ним давно тяготело: он лишился рассудка. Вылечить его не удалось, и бедный Юра умер, предварительно проведя несколько мрачных лет на Канатчиковой даче.

Его тетушка, Елена Кирилловна Вострякова, с первых лет революции поступила на работу в управление Фанерного треста. Там она познакомилась с давно известным

ей по моим рассказам Николаем Густавовичем Шлиппе, который от времени до времени появлялся у нее на службе в качестве временного директора раньше своего, а теперь народного Чернышевского фанерного завода.

Необходимость работать ничуть не удручала Елену Кирилловну, и она, выражаясь современным языком, быстро «приобрела авторитет» в своем учреждении. Но это было далеко не главное, что «дала ей революция». Главное заключалось в том, что «неисповедимыми путями» к ней вернулся Владимир Сергеевич Гадон. По-прежнему красивый, но совершенно седой и философски настроенный, сменивший военную форму на толстовку и черную крылатку*, он скромно жил со своей сестрой на Пречистенке, а вечера проводил у Елены Кирилловны. Лишь раз в неделю, по субботам, он наносил визит семье Сабуровых, да в торжественные дни, вроде 6 августа (праздник Преображенского полка) ужинал у Наточки Оболенской вместе с Джунковским и Котей Штером.

Так Елена Кирилловна, образ которой у меня всегда сочетался с образом ибсеновской Сольвейг, обрела своего Пер Гюнта — Гадона и была счастлива до 1932 года, когда Владимира Сергеевича сослали в Вологду. Елена Кирилловна продолжала о нем трогательно заботиться, навещая в изгнании, высылала посылки. В 1937-м посылки стали возвращаться «за выбытием адресата в неизвестном направлении и без права переписки».

Но возвращаюсь к лету 1918 года. С июля настроение в Москве стало крайне напряженным. Очень страшен был приказ, по которому все находившиеся в Москве офицеры должны были собраться в манеже Алексеевского военного училища в Лефортове. Шли туда как на смерть, но, вопреки ожиданиям, вышли живыми, проведя четыре дня под надзором латышей и китайцев. Борис Борисович Шереметев за эти четыре дня приобрел болезнь сердца, которая и явилась причиной его смерти в феврале 1919 года. Он заразился сыпным тифом, и сердце сразу сдало.

Охваченная паникой буржуазия устремилась на Украину в надежде уехать оттуда за границу. Проходя по

---

* Мужское пальто без рукавов из драпа с прорезями для рук.

Рождественскому бульвару, я видела длинные очереди людей, ходатайствующих о разрешении на выезд, — кому и на каких основаниях эти разрешения выдавались, я не знаю. Вместе с тем в старинных дворянских семьях оставались люди, считавшие, что неблагородно «бежать с тонущего корабля», что надо умирать на родной земле. Такие воззрения господствовали и на Воздвиженке у Шереметевых. К старому графу Сергею Дмитриевичу судьба была милостива: он умер 17 февраля 1918 года, когда пришли его арестовывать. Но оба мужа его дочерей — Сабуров и Гудович — были увезены и никогда не возвратились.

Остальных членов семьи «уплотнили» на самом верхнем этаже воздвиженского дома, где образовалось женское и детское царство: сама Екатерина Павловна, Анна Сергеевна Сабурова с тремя детьми, Мария Сергеевна Гудович с четырьмя и вдова Петра Сергеевича Шереметева Елена Богдановна с шестью детьми. Если принять во внимание, что во флигеле шереметевского дома жила жена Бориса Борисовича Шереметева* со своими четырьмя детьми, то можно сказать, что на углу улиц Коминтерна и Грановского (так стали называться Воздвиженка и Шереметевский переулок) юные отпрыски одного из старейших родов российских были представлены в большом количестве.

Ко всем этим лицам я еще вернусь, а теперь хочу привести еще один пример человека, желавшего умереть на родной земле. Летом 1918 года Довочка Давыдова, приехав в Москву, поселилась у своих знакомых, Нарышкиных. Семья эта состояла из старого дипломата — бывшего посланника при Ватикане, а затем в Стокгольме Кирилла Михайловича Нарышкина, — его жены и двух дочерей, из которых старшая была, по традиции, Наталья Кирилловна. Помню, что дамы Нарышкины выражали нетерпение уехать за границу, где у них, по-видимому, имелись и связи и средства, и только Кирилл Михайлович сидел, нахохлившись, как птица, и говорил, что никуда из России не поедет.

---

* В 1908 году Шереметев женился на Ольге Геннадиевне Чубатовой, которая через свою мать была в родстве с Шиповыми. — *Прим. автора.*

Недавно в мемуарах Алексея Алексеевича Игнатьева я прочла несколько страниц, посвященных Кириллу Михайловичу Нарышкину. Привожу дословную выдержку. «При знакомстве с этим оригиналом прежде всего бросалась в глаза его неприглядная внешность: заросшее волосами лицо, подслеповатые глаза. Но с первых же слов в нем чувствовался высоко культурный человек, гордящийся своей родиной, своим происхождением, тонко воспитанный дипломатией. Когда началась война 1914 года, Нарышкин, постоянно живший в Париже, сказал: "Я обязан ехать домой", а когда произошла революция и его семья собралась вернуться за границу, Кирилл Михайлович не пожелал ее сопровождать. Поняв гибель своего класса, он не хотел стать эмигрантом, взял свою любимую трость и вышел пешком из Москвы в неизвестном направлении. Он, видимо, хотел умереть на родной земле. Так кончил жизнь старый русский дипломат».

Не знаю, откуда почерпнул Игнатьев сведения о конце жизни Кирилла Михайловича, но эта версия находится в полном соответствии с тем, что я слышала из его уст летом 1918 года.

Ярым и последовательным сторонником теории непокидания родины был также мой отец, доказывавший, что эмиграция никогда не давала благих результатов.

В конце августа пришли из Козельска вести о том, что снятый нами под квартиру дом Собенникова реквизирован и в него въезжает молочная ферма земотдела. Надо было принимать решительные меры для спасения наших вещей, и меры эти выразились в том, что, забрав Димку, я помчалась в Козельск, поступила на должность делопроизводителя молочной фермы и снова внедрилась в свою квартиру. Таким образом остатки нашего быстро тающего имущества были временно спасены. О том, что меня ожидало на новом поприще, я буду говорить в следующей главе, посвященной козельскому периоду моей жизни, теперь же перейду к гораздо более значительным событиям, происходившим тем временем в Петрограде с моими родителями.

Вскоре после окутанного в ту пору завесой таинственности исчезновения великого князя Михаила Александровича Наталия Сергеевна Брасова была арестована на своей

гатчинской даче и отвезена на Гороховую. Находившаяся с нею моя мать, со свойственной ей доблестью, бросилась на ее выручку, часами простаивала у самых страшных порогов с передачами и наконец добилась свидания.

Никогда мама не идеализировала характер Наталии Сергеевны, но то, что она услышала тут, превзошло ее ожидания. Все десять минут Брасова капризным тоном упрекала маму за то, что она не сумела раздобыть бисерную сумочку, которую та оставила в кабинете Урицкого во время допроса. (Об этой сумочке она просила в первой записке из тюрьмы.) «Ах, Саша! — говорила Наталия Сергеевна. — Какая ты невнимательная! Ты же знаешь, как я любила эту сумочку!..»

У мамы просто руки опустились! За сумочкой она, конечно, никуда не пошла, но продолжала ежедневно совершать поездки в Петроград из Гатчины, где на ее попечении осталась 15-летняя Тата Мамонтова, хлопоча о передачах и наводя справки. С Гороховой мама часто заходила к отцу, который только что переехал на Миллионную 17 и поступил на службу в Главархив. Переезд его совершился под руководством верной Александры Ивановны, которая до последнего дня своей жизни старалась оберечь отца от материальных невзгод. Шурик еще в середине лета уехал в Царевщину.

Так обстояли дела, когда эсер Канегиссер выстрелом из револьвера убил председателя ЧК Урицкого. Начался массовый террор, и тут, в минуты смертельной опасности, судьбы моих родителей соприкоснулись еще раз самым фантастическим образом, чтобы потом разойтись навсегда. Постараюсь в хронологическом порядке воспроизвести все, что случилось на протяжении пяти-шести дней.

Студент Канегиссер, произведя свой выстрел в здании на Дворцовой площади, побежал, скрываясь от погони, по Миллионной улице, завернул во двор дома № 17, вбежал по черной лестнице в третий этаж и отстреливался с площадки. Все проживающие в доме оказались на подозрении, которое в отношении отца усугубилось следующим обстоятельством: переезжая в небольшую квартиру, папа поставил часть мебели на продажу в комиссионный магазин на Караванной улице. Магазин этот принадлежал его знакомому Бурнашеву. Телефонный номер магазина оказался в записной книжке Канегиссера.

У Бурнашева устроили засаду. Когда Александра Ивановна явилась узнать, не продалась ли мебель, ее задержали, и папу в ту же ночь заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Вряд ли кто-нибудь мог серьезно подозревать, что отец знает о существовании Канегиссера — но это в ту пору не имело значения.

Камеры были переполнены. Среди арестованных папа увидел своего знакомого, Сергея Алексеевича Дельсаля. Тут же сидели несколько англичан. На третий день людей из камеры стали партиями куда-то уводить. Когда осталось лишь несколько человек, старший из англичан сказал: «Мы люди разных национальностей, друг друга не знаем, но у нас есть одно общее — молитва "Отче Наш". Давайте же споем ее вместе!» Молитву спели, обнялись и через полчаса были выведены на мол, врезающийся в Неву. Перед молом стояли баржи, в которые грузили людей для отправки в Кронштадт. С залива дул пронизывающий ветер — люди часами стояли на молу в ожидании погрузки. Вдруг раздалась команда: «Те, кто невоенные, отойдите в сторону!» Оказалось, что баржи переполнены до отказа и начали тонуть. Папа и Дельсаль отошли в сторону и вскоре были возвращены в камеру.

Тем временем мама, узнав от Александры Ивановны о случившемся, металась по городу, повторяя: «Саша в опасности, надо его спасать!» И, в свойственной ей целеустремленности, ее осенила счастливая мысль: обратиться в Остзейский комитет, сыграв на принадлежности Сиверсов к лифляндскому дворянству. Мысль оказалась поистине счастливой, так как это был тот короткий политический период, когда после заключения Брестского мира германский посол имел большой вес. Считались также и с Остзейским комитетом. О том, как мама пробилась в здание комитета, двор которого был заполнен толпой просителей, как сумела получить от председателя, барона Вольфа, нужную бумагу и вручить ее по назначению — я узнала только пять лет спустя, во время моего пребывания у мамы в Висбадене, но до сих пор мне все это кажется какой-то сказкой.

Ровно через сутки папа был вызван из крепости в кабинет председателя ЧК Бокии, где произошел примерно такой разговор:

Бокий: Скажите, Александр Александрович, где вы родились?

Отец: В Нижнем Новгороде.

Бокий: Почему же тогда за вас хлопочут Остзейский комитет и германский посол?

Отец: Меня это очень удивляет, но я допускаю, что кто-нибудь из моих близких предпринимал все возможные шаги для моего освобождения. Сам бы я за помощью не обратился.

Бокий: Во всяком случае, все вышло удачно. Я слышал о вашей научной деятельности. Нам такие люди нужны. Желаю успеха в ваших трудах!

Наутро отец был дома. В продолжение многих лет он с умилением и благодарностью вспоминал о том, как мама его выручила, и только перед самой смертью эти чувства почему-то заслонили воспоминания об обидах «доисторического периода», то есть времени развода.

Узнав, что ее хлопоты увенчались успехом, повидав отца на Миллионной и отвезя очередную передачу Брасовой, мама поездом возвращалась из Петрограда в Гатчину. Против нее в вагоне сидела женщина средних лет, которую мама не раз уже видела во время своих поездок. Возник ни к чему не обязывающий разговор о том, как утомительно ездить в поездах в революционное время. И вдруг дама сказала: «Да! Я знаю, что вы ежедневно совершаете такие поездки, и, более того, знаю, зачем и ради кого вы это делаете. Ну так слушайте! Вам пора подумать о самой себе, тем более что особа, о которой вы заботитесь, мало это ценит и не стоит риска, которому вы подвергаетесь. Мне вас жаль, и поэтому я вас предупреждаю: немедленно возвращайтесь в город — на даче Брасовой вас ждут с ордером об аресте. Вы не знаете и никогда не узнаете, кто я, скажу одно: я приставлена за вами следить и я хочу вас спасти — немедленно уезжайте!»

Мама тут же, не заходя домой, повернула обратно и поехала к жившей в то время на Николаевской улице Рощиной-Инсаровой. Екатерина Николаевна решила, что маме необходимо прежде всего изменить свою слишком приметную внешность — седые волосы при молодом лице, — и надела на нее рыжий парик из своего

театрального реквизита. В таком виде мама где-то под Оршей пересекла границу советских владений и добралась до Киева.

На гатчинской даче между тем отряд вооруженных людей несколько дней тщетно ждал ее возвращения. Тата Мамонтова была подвергнута домашнему аресту, но держалась доблестно и даже умудрилась переслать к Рощиной-Инсаровой чемодан с мамиными вещами.

В судьбе Брасовой тем временем наступило прояснение. Благодаря тому, что были нажаты все пружины (главным образом материальные), ее сначала перевели с Гороховой в лечебницу Герзони, а затем, под видом сестры милосердия, отправили в санитарном поезде вместе с дочерью на Украину, где она и встретилась с мамой.

О положении вещей в Киеве времен Скоропадского можно составить себе некоторое понятие по стихотворению Мятлева, но следует оговориться, что в этих строках события изложены с юмористических или даже «зубоскальских» позиций. Более глубокую и правильную картину дают «Дни Турбиных» Булгакова.

В момент прибытия Брасовой в Киев военные действия между Россией и Германией были уже прекращены. Война велась только на Западе, и Наталия Сергеевна решила испросить у императора Вильгельма разрешения для себя и мамы на проезд через Германию в Копенгаген. Обеим едущим надо было подписать официальное заявление. Мама подписала «Кн. Вяземская». Наталия Сергеевна воскликнула: «А как же подпишу я?! Государь обещал брату на Пасху дать мне графский титул — царское слово свято. Не моя вина, что обещание не успело быть оформлено!» И подписала: «Графиня Брасова». Вскоре из германского главного штаба пришел пропуск на княгиню Вяземскую и графиню Брасову. Вышло так, будто Наталия Сергеевна получила титул от императора Вильгельма!

Воспользоваться этим пропуском не пришлось. Буквально через несколько дней — 9 ноября — в Берлине произошла революция и пропуск стал недействительным. Тут же вскоре Киев был занят петлюровцами, и мама с Брасовой направились в Одессу. На Одесском рейде зимою 1918—1919 годов стояла англо-французская эскадра. И вот в один прекрасный день, к удивлению всех,

броненосец «Адамант» принял на борт двух дам — маму и Брасову — и отошел с ними к берегам Англии. (Говорю «к удивлению всех», потому что на английских военных кораблях женщинам быть не полагается.) Не знаю, через кого и как получили разрешение, но путешествие совершилось в самых благоприятных условиях, и капитан, расставаясь с пассажирками в Лондоне, преподнес им на память ленточки с написанным на них золотом названием корабля. Эту ленточку, подаренную ему мамой в 1923 году в Висбадене, Димка носил на берете несколько лет, и никто в Калуге не догадывался, что значит надпись «Адамант» и какое значение этот «Адамант» имел для нашей семьи.

Приехав в Англию, Наталия Сергеевна поселилась в том поместье, которое они занимали с Михаилом Александровичем до их возвращения в Россию и где в качестве домоправительницы жила миссис Джонсон, мать не покинувшего великого князя до последнего дня Николая Николаевича Джонсона.

Когда мама очутилась вне опасности и в спокойных условиях, она почувствовала, что не выдержит вынужденного бездействия. Продав имевшиеся у нее более или менее ценные вещи и прибегнув к займам, она собрала сумму, необходимую для дальнего путешествия, и через Гибралтар, Суэц, Цейлон, Сингапур и Японию поехала в Сибирь на розыски своего мужа.

О том, что ждало ее на этом пути, я буду говорить позднее, сейчас же скажу несколько слов о Шурике, который весною 1918 года, покинув Петроград, устремился под спасительный кров Царевщины. Существовавшие там патриархальные отношения между крестьянами и помещиками, как я уже говорила, отодвинули срок изгнания последних на целый год. До весны 1918 года половину дома все еще занимал лазарет, которым ведала большой друг семьи Юматовых врач-хирург Васильева* и жизнь шла в прежних, хотя и более скромных рамках.

---

* О последующей трагической судьбе доктора Васильевой я узнала, когда попала в ссылку в Саратов в 1935 году. Сделав неудачную операцию своему ближайшему другу врачу Алмазовой (ассистенту профессора Спасокукоцкого), Васильева не смогла этого перенести и в день смерти Алмазовой отравилась цианистым калием. Саратовские жители с волнением мне рассказывали, как хоронили двух врачей-подруг. — *Прим. автора.*

Но летом Приволжье стало ареной боев и восстаний, и уездные власти потребовали, чтобы юматовская молодежь покинула Царевщину. Лидию Анатолиевну и ее воспитанницу Зину, которая незадолго до этого венчалась с Николаем Юматовым, крестьяне взяли на свое иждивение, выделив для них избу на деревне, а Лиза, переодевшись в брюки и гимнастерку, вместе с мужем ушла на Дон. Коля ушел на восток, а Шурик, не желая никуда «уходить», поступил на место лесного объездчика в селе Черкасском на берегу Волги.

Зима 1918—1919 годов оказалась для него и для Татьянки очень трудной — жили в избе у грубых людей. Татьянка безропотно полоскала белье в проруби, отчего руки у нее покрылись трещинами, но хозяйничала неумело. Шурик на работе простудился, заболел фурункулезом, стал раздражительным и, к стыду его надо признать, подчас вымещал свое плохое настроение на жене. Татьяна кротко переносила тяготы жизни и, будучи от природы хорошей матерью, уделяла много забот Алику, росшему хорошеньким, но слабым ребенком.

В 1919 году Шурику предложили должность заведующего музеем в Вольске. Это было ступенью к улучшению положения, но тут наступил голод 1921 года, который особенно ощутили в Поволжье. Когда и это кое-как пережили, сказалась естественная тяга к Петрограду, и весной 1922 года можно было видеть, как Шурик, наш элегантный Шурик, в ватной фуфайке шагает по пустынному Невскому и толкает ручную тележку с вещами и сидящим поверх них Аликом.

Приехали молодые Сиверсы сначала на Миллионную к отцу, но вскоре нашли на Большой Дворянской квартиру, которую удалось обставить частью сохранившихся от «периода расцвета» вещей. О том, как я встретилась с братом летом 1923 года и что представлял собой Петроград того времени, я буду говорить позднее. Теперь же мне предстоит вкратце описать, как я провела козельский период своей жизни.

В Козельске

Заведующим фермой Козельского земотдела, делопроизводителем которой мне предстояло быть, оказался некто Федор Федорович Телегин, бесцветный человек небольшого роста, одетый в русскую рубашку и синюю поддевку. Это был «не совсем удачный» сын бывшего управляющего хозяйством Оптиной пустыни Телегина-старшего, жившего в ту пору на покое у своей «вполне удачной» дочери Анны Федоровны, о которой речь будет впереди.

Первым делом моего начальника стало заказать в Калуге приходно-расходную книгу и ордера, на которых по его требованию напечатали: «Козельская молочная фирма». Эта «фирма» стала и первым поводом для разногласий: Федор Федорович утверждал, что написано правильно, а я демонстративно исправляла «и» на «е». В общем же, Телегин-младший, который был типичным «никудышником», относился ко мне почтительно, а обязанности делопроизводителя были несложны, так как ферма, состоявшая из шестнадцати заморенных бывших помещичьих коров, продукции почти не давала.

Во второй половине октября Борис, завершив свои московские дела, приехал в Козельск, чтобы в скором времени расстаться со мной и Димой на неопределенное время. И он, и я шли на это вполне сознательно. Иначе Борис поступить не мог и не должен был.

И вот, с уходом его в октябре 1918 года на Унечу, между мною и всеми моими родными возникла преграда, которая впоследствии получила название «железного занавеса» и состояла в полной неизвестности друг о друге и в столь же полной невозможности помочь друг другу в случае, если эта помощь понадобилась бы. Для меня и Димы весь мир оказался замкнутым в черте города Козельска, где мы должны были черпать все свои ресурсы, моральные и материальные. Но, может быть, как раз по причине нашей беззащитности (которой я,

кстати говоря, в ту пору благодаря молодости лет и унаследованному от матери оптимизму в полной мере не ощущала), рядом с нами постоянно оказывались дружественные силы, которые отводили от нас всякого рода неприятности.

Таким образом, рассказ о нашем житье в Козельске по существу сводится к рассказу о тех милых людях, которые нас охраняли и о которых я, по совету Жуковского, с благодарностью говорю: «Они были»!*

Теперь, после «лирического отступления», я могу перейти к более конкретному описанию жизни города Козельска в 1918—1919 годах. Характерной особенностью первых лет революции было всеобщее увлечение театральным искусством, которое, будучи поощряемо властью, переживало период расцвета если не в качественном, то, во всяком случае, в количественном отношении. Козельск не отставал от моды. На фасаде одного из зданий главной улицы вместо вывески «Торговля братьев Гайдуковых» появилась надпись «Народный дом имени Луначарского». Организовалась неплохая труппа, возглавляемая супругами Россовыми, которые принадлежали к цвету местной интеллигенции. В число актеров, кроме Россовых, входили: сын священника, работник аптеки Коля Лебедев под громкой фамилией Созвездовского, две козельские девицы Шепиловы, подхватившие самых завидных женихов — бухгалтеров райпродкома, — и двоюродный брат Льва Михайловича Кавелина — способный, но беспутный дилетант Валентин Козлов, проведший свою юность в свите Марии Владимировны Вяземской.

Б.А.Россов и его жена с успехом исполняли главные роли в пьесах самого разнообразного содержания. Репертуар «Дома Луначарского» привлекал толпы зрителей, но подчас вызывал недовольство начальства. Так, зимою 1918—1919 годов был поставлен водевиль «Тетушка из Глухова». M-me Россова в роли гимназистки очень мило пела куплеты о Москве, заканчивавшиеся словами:

---

* *О милых спутниках, которые наш свет*
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

И в целом мире нету краше
Московских женщин и девиц.
Вот почему, на радость нашу,
Москва — столица всех столиц!

Двадцатью пятью годами позднее эти слова были бы вполне уместны, но в ту пору, когда «Родиной был весь мир», восхваление одного какого-либо географического пункта считалось недопустимым. Председатель Ревкома матрос Семенов стукнул кулаком по столу и закричал: «Это не дом Луначарского — это дом Рябушинского»! «Тетушка из Глухова» и имевшая бурный успех комедия «Тетка Чарлея» были сняты с репертуара.

На главной улице, против входа в городской сад, с террасы которого открывается столь прекрасный вид на заливные луга, реку Жиздру, тянущиеся за ней леса и стоящий на опушке Оптин монастырь, в двухэтажном здании помещалось учреждение, вокруг которого в годы Гражданской войны вращалась вся жизнь города — Военный комиссариат. Возглавляли его: сначала упомянутый мной неистовый матрос Семенов, а потом более спокойный и симпатичный комиссар Краснощеков. И при том, и при другом военруком оставался троюродный брат Бориса Вадим Александрович Влодзимирский, имя которого я, пожалуй, назову первым, вспоминая моих «ангелов-хранителей» того времени. Это был высокий человек лет тридцати пяти со смуглым, правильным, но утомленным лицом. Из-за отсутствия левого глаза, утраченного на охоте, он всегда носил черную повязку. Скользившая по губам то и дело чуть заметная улыбка сбивала людей с толку — трудно было понять, шутит он или говорит серьезно.

По своей матери, урожденной Ергольской, Вадим Влодзимирский был связан с Козельским уездом, где провел детство и юность. Потом, выйдя в офицеры, он служил на Дальнем Востоке и вернулся в родные края лишь после революции вместе со взбалмошной женой еврейского происхождения и тремя дочками восьми, шести и четырех лет. Вряд ли семейная жизнь Влодзимирских была очень счастливой, но Вадим Александрович

переносил эксцентричные выходки жены с полным спокойствием и очень любил девочек.

Иногда шторы на окнах в их квартире, несмотря на дневные часы, бывали спущены. Это означало, что Раиса Борисовна лежит с головной болью после очередного скандала, в ходе которого она неизменно грозила «бросить всё и уехать на Дальний Восток к любящему ее капитану Чеснокову». Открывая на стук посетителя дверь, Вадим Александрович с той же полунасмешливой улыбкой говорил: «У барыни нервы». Вечером «барыня» появлялась с обвязанной полотенцем головой, и жизнь входила в обычную колею.

Между Борисом и Вадимом Влодзимирским когда-то была тесная юношеская дружба. Вадим это помнил и теперь перенес на меня и Диму то теплое дружеское чувство, в искренности которого я ни разу не имела случая усомниться.

Дом Влодзимирских считался самым «открытым» в Козельске. В комнатах было светло и тепло, в 8 часов подавался настоящий, а не морковный, чай с сахаром, а в 12 — большое блюдо вареного картофеля с маслом (и это встречалось далеко не везде)! В промежутках между чаем и ужином хозяева и гости (и я в том числе) с увлечением играли в «девятку», что и было воспето в частушке:

Процвели азарты,
Все играют в карты.
Даже милый военрук
Так проводит свой досуг!

У Влодзимирских я познакомилась со многими представителями козельского общества и, в первую очередь, с сотрудниками Вадима Александровича по комиссариату. Чаще других я встречала заведующего отделом кадров Владимира Алексеевича Глебова и завотделом снабжения Ивана Андреевича Короткова. Владимир Алексеевич был высокий белокурый молодой человек с университетским значком, юрист по образованию, сын почтенных родителей, владельцев дома в приходе Благовещения, то есть на противоположном краю Козельска (и я, и Влодзимирские

жили в приходе Богоявления). В Володе Глебове чувствовалась порядочность, деликатность, но, чтобы меня не упрекнули в чрезмерной идеализации персонажей, добавлю, что он был немного «размазня».

Иван Андреевич Коротков более десяти лет прослужил на Северном Кавказе. Его облик и манера одеваться были таковы, что его легко можно было принять за коренного жителя тех мест: смуглое лицо с серыми глазами, темные густые брови, высокий лоб и седеющие виски. Используя эти природные данные, одеваясь под казака и находя все это крайне романтичным, он долгое время мистифицировал меня, выдавая себя за природного джигита, и был огорчен, когда я в конце концов дозналась, что он родом из села Ивановского в 15 верстах от Козельска. Эта маленькая слабость не мешала ему быть очень милым человеком и состоять в числе охраняющих меня друзей.

В Военном комиссариате остался служить бывший воинский начальник Тер-Маруков — маленький армянин с длинным носом. В компании Влодзимирских он не бывал — его считали интриганом, — и я с ним не была знакома. А вот когда встречала на улице человека лет сорока пяти в поношенной, но аккуратно застегнутой на все пуговицы офицерской шинели, то склоняла голову. Это был бывший помощник воинского начальника* капитан Матусевич. Тяжело раненный во время войны, он говорил хриплым голосом, так как в горло ему вставили серебряную трубку. Капитан считал, что всякая служба в современных условиях есть нарушение данной им когда-то присяги. Одинокий и больной, он жил в Малом Заречье, зарабатывая на кусок хлеба вытачиванием деревянных каблуков для туфель, и, как и подобает истинному подвижнику, делал это тихо, без лишних слов и с большим достоинством.

Теперь мне надлежит ввести в рассказ новое лицо. Возвращаюсь на несколько лет назад. Еще до революции в Козельске существовала типография, принадлежавшая семье Сагалович. В этой семье, среди других детей, была дочь Женя, которая после окончания гимназии поехала

---

* Воинский начальник возглавлял губернское военное управление.

в Калугу на фармацевтические курсы. Там она встретила молодого офицера Павла Васильевича Рожкова. Возникла любовь, потребовавшая жертв с обеих сторон. Невзирая на проклятия родных, Женя крестилась и обвенчалась с Рожковым. Через год родился сын Всеволод, и все шло хорошо до тех пор, пока летом 1917 года не пришло известие, что подпоручик Рожков убит на Галицийском фронте. В описываемое мною время Евгения Моисеевна Рожкова жила во флигеле дома, занимаемого Влодзимирскими, и работала в козельской аптеке. (Родительское проклятие с нее сняли.)

Не помню точно, как мы с ней познакомились. Думаю, что это было у Влодзимирских, но вскоре наши отношения из обычного знакомства превратились в дружбу. В Евгении Моисеевне меня привлекала способность моментально отзываться на все происходящее вокруг — она не могла оставаться равнодушной к чужой судьбе: всякое несчастие или просто затруднение сразу вызывало в ней желание помочь, устроить, облегчить. Эта активная доброта сочеталась к тому же с трезвым умом и деловитостью. Заведовать аптекой — этим источником всегда соблазнительного спирта и жизненно необходимых медикаментов — было нелегко; однако Евгения Моисеевна с честью выходила из положения, проявляя в одних случаях твердость, в других — мягкость и заботливость.

И вот, в то время, когда вокруг меня начала создаваться благоприятная обстановка, когда ко мне с разных сторон протянулись дружественные нити, пришло распоряжение о переводе молочной фермы из Козельска в Нижние Прыски. Отрываться от места работы было страшновато. Приходилось расставаться с Козельском. В ранние декабрьские сумерки вдоль бесконечной «Нивалидной»* улицы, соединявшей город с деревней Стенино, в свою очередь почти соединявшейся с Прысками, протянулось не совсем обычное шествие: несколько розвальней, окруженных двумя десятками тощих коров. Телегина я в это время не помню: вероятно, он ожидал нас в Прысках, а переселением руководили два молодца

* Искаженное «Инвалидная». — *Прим. автора.*

из села Дешовки, поступивших незадолго до того на должность скотников. Это были Иван Иванович Галкин, степенный и очень вежливый человек лет тридцати, и более молодой Глебка Кретов, высокий парень с тронутым рябинами лицом, всегда веселый и находчивый.

Я ехала на розвальнях, на облучке которых примостился Глебка. Одной рукой он держал вожжи, а другой — завернутого в тулуп Диму. Встречные, заинтересованные видом нашего каравана, то и дело задавали вопросы: «Куда же это вы коровушек-то гоните?» Глебке это надоело. Он наклонился к Димке и стал ему что-то шептать, после чего раздался Димкин голос: «Знаем куда, не в первый раз!» Любопытная старушка осталась в полном недоумении, а Глебка был очень доволен своей выдумкой.

Но вот из темноты вынырнула мрачная громада прысковского дома и несколько освещенных окон правого его крыла, где должна была поместиться контора «фирмы» и ее персонал.

В одной из предыдущих глав я упоминала о кашкинских Нижних Прысках. Эта усадьба, построенная во второй половине XVIII века, по своим масштабам не имела себе равных в Козельском уезде. Дом дворцового типа, насчитывающий около сорока комнат, уже до революции находился в состоянии некоторого запустения. Теперь же это была подковообразная руина, мрачно возвышавшаяся над парком, который уступами сходил к проезжей дороге, еще храня под своими вековыми деревьями жалкие остатки двух прелестных павильонов-беседок и декоративной арки из дикого камня. Правый флигель, отремонтированный в 1909 году стариком Кашкиным для сына Николая, при женитьбе последнего на графине Марии Дмитриевне Бутурлиной, был еще пригоден для жилья.

Во втором этаже этого помещения, в столовой и спальне Кашкиных, где еще сохранились кое-какие их вещи красного дерева, поселились мы с Димой. Тут же по коридору была комната Телегина, который, кстати говоря, не обременял нас своим присутствием, часто уезжая к себе на хутор и увозя попутно что-нибудь «плохо лежавшее». Внизу помещались скотники и доярки, из которых одна была дочерью попелевского садовника и частично меня обслуживала.

Жизнь потекла тоскливо и однообразно. Утром и вечером я присутствовала при дойке коров, которые давали очень мало молока, потом отправляла это молоко в козельскую больницу. Этим мои обязанности исчерпывались. Однажды я попросила Глебку Кретова открыть забитую досками дверь главного входа и вместе с ним прошлась по третьему этажу большого дома; увидела сваленные в углы портреты, поломанную мебель, остатки перегородок в стиле ложной готики, разбросанные книги и много паутины. Среди книг валялся составленный и прекрасно изданный последним из прысковских владельцев альбом «Род Кашкиных»*, и я узнала интересные подробности о том месте, куда меня забросила судьба.

Согласно преданию, в давно минувшие времена в лесах по берегам реки Жиздры, притока Оки, жили два разбойника: Опта и Трубила. Опта покаялся в грехах и основал Оптин монастырь. Трубила же со своим потомством поселился на левом берегу Жиздры на месте Прысков. Не знаю, сколь все это достоверно исторически, но могу засвидетельствовать, что половина прысковских крестьян носит фамилию Трубилины.

В 1918—1919 годах жизнь православной церкви еще не была нарушена и шла своим установленным порядком. Из Оптиной пустыни регулярно доносился колокольный звон, совершалась служба в Прысковской церкви. Помню, как однажды в зимние сумерки мы с Димой отправились на прогулку и зашли в церковную ограду. К моему большому удивлению, я увидела памятник с надписью: «Младенец Валентина Сергеевна Аксакова». Тут я вспомнила, что родители Бориса когда-то жили в Верхних Прысках (имение Россет) — по-видимому, тут была похоронена умершая маленькой сестра Бориса. И от вида этой запушенной снегом и всеми забытой могилки в моей душе прошла какая-то теплая волна.

Вскоре я познакомилась с семьей прысковского священника отца Преображенского. Когда я впервые пришла в их дом, мне показалось, что я вижу сцену из Диккенса.

* Этот труд вышел под редакцией ближайшего друга моего отца Модзалевского. — *Прим. автора.*

«Матушка» — миловидная белокурая женщина, имевшая вид старшей сестры своих шести детей, — дирижировала домашним хором. Все дети, начиная с подростков Саши и Коли и кончая четырехлетней девочкой, стройно пели «Буря мглою небо кроет» и «Вечерний звон». Двадцать лет спустя я совершенно неожиданно встретилась с Анной Васильевной Преображенской в Саратовской тюрьме. Она была все так же мила. Саша, Коля и девочки, ставшие взрослыми, проявляли большую заботу о матери. Анна Васильевна часто получала передачи, которыми щедро делилась с неимущими, и очень любила вспоминать наше первое знакомство.

Но возвращаюсь к 1919 году. С переездом в Прыски моя связь с Козельском не совсем прервалась. От времени до времени я появлялась в городе и по делам, и без дела. Несколько раз меня навещал Вадим Александрович Влодзимирский. Верхом приезжал Коротков, держа под полою своей кавказской бурки килограмм сахара или гречневой крупы.

Однако не всё вокруг меня было благополучно: наряду с дружественными силами существовали враждебные, воплощаясь в лице заведующего земотделом товарища Кострикова, непосредственного начальника молочной фермы.

Это был высокий мужик с маленькими, злыми глазками на обветренном грубом лице. Теперь мне кажется, что он частенько бывал «выпивши», но тогда я еще не умела хорошо диагностировать это состояние. Я замечала только, что, когда я прихожу в земотдел с отчетами, Костриков меня преднамеренно не замечает. Это было то, что теперь называется «дискриминацией» (в ту пору термин этот, вероятно, существовал в словарях, но широкого хождения не имел). Я чувствовала, что Костриков с нетерпением ждет случая, чтобы от меня отделаться, но случай этот представился только в мае.

Зиму и крайне запоздавшую в 1919 году весну мы с Димой провели в Прысках. Разлив был необычайный. В продолжение долгого времени мы были отрезаны от мира. Прысковский дом и парк возвышались над необозримым водным пространством, поверх глади которого неслись звуки оптинских колоколов. Дима собирал во мху

бледные, едва распустившиеся фиалки, я же, сидя в полуразрушенной беседке, слагала патриотические стихи. А в мае произошло следующее: начали телиться коровы, Федор Федорович Телегин без моего ведома и какого-либо участия увез лучшего теленка к себе на хутор. Об этом стало известно в земотделе. Костриков рассвирепел, однако в отношении Телегина дело «отрегулировалось путем переговоров». Пострадала только я. Под предлогом того, что «на ферме делаются безобразия» и «пора отделаться от этой дворянки», Костриков издал приказ о том, что «Аксакова Т.А. снимается с работы делопроизводителя фермы».

Получив такую бумажку, я пешком помчалась в Козельск. Влодзимирских дома не оказалось. Я бросилась в городской сад, где увидела Короткова, гуляющего с барышнями. По выражению моего лица он понял, что случилась какая-то катастрофа, великодушно покинул своих барышень и принял участие в обсуждении планов моих дальнейших действий.

Так как я испытывала перед Костриковым мистический страх, то категорически отказалась вступать с ним в единоборство и решила возвратиться в Козельск. Возникал вопрос о квартире, однако и он быстро разрешился. Сестра Телегина, Анна Федоровна, предложила мне жить в комнате, занимавшей почти весь нижний этаж ее дома, который располагался в непосредственной близости от двух учреждений с большим удельным весом: тюрьмы и больницы. Туда мы с Димой и переехали, собрав по всему городу розданные на хранение остатки нашей мебели.

Анна Федоровна Косникова, урожденная Телегина, была тем, что называется «бой-баба», но не в плохом, а в хорошем смысле этого слова. Насколько ее братец был бесцветен и ничтожен, настолько она была энергична, толкова и находчива. Колоритная фигура Анны Федоровны как живая стоит передо мной, а ее чисто русские словечки мне до сих пор кажутся очень интересными. Так, заметив, что работник расходует слишком много дров, она могла сказать: «Хорошо тебе, дядя Андрей, за чужим каноном родителей поминать!» Когда же

ей показалось однажды, что я вздохнула, она заметила: «Ах! Татьяна Александровна об одном вспомнила — всех пожалела!» Еще мне нравилось ее выражение: «Брось грязное дело, иди лучше трубы чистить!»

Муж Анны Федоровны, очень дельный человек средних лет в дымчатых очках, был заведующим племхоза Оптиной пустыни. Он рано уезжал и поздно возвращался, так что все хозяйство было на руках Анны Федоровны, а семья была большая: четверо детей и двое стариков: отец Телегин и мамаша Косникова.

Мои отношения с хозяевами сложились вполне благополучно. Единственное событие, которое могло бы нарушить эти добрые отношения, но не нарушило их, носит такой комический характер, что о нем стоит рассказать. Однажды попелевский кузнец Василий привез мне заднюю ножку жеребенка. Время было голодное; я очень обрадовалась и поспешила зажарить эту ножку, взяв для этого у Косниковых большую чугунную сковородку. По всей вероятности, в доме пошли от бабушки разговоры о том, что я «опоганила» их сковородку, но каков был мой ужас, когда под окном я увидела детей Косниковых, прыгающими на одной ножке и кричащими на всю улицу: «Татьяна Александровна ест кобылятину!» Кровь моя вскипела, и я бросилась вон из дому искать на них управу. Анну Федоровну я нашла на молотьбе. Услышав мою жалобу, она схватила кнут, которым погоняют лошадей, и побежала домой.

Дети уже поняли, что дело принимает плохой оборот, и спрятались на чердак, но это их не спасло. Через несколько минут они были оттуда извлечены и как горох катились по лестнице. На верхней площадке стояла Анна Федоровна и награждала их ударами кнута, приговаривая: «О! Псы стылые!» Я была отомщена, а дети на следующий день уже забыли об этом инциденте и не затаили против меня никаких злых чувств.

Они были значительно старше Димы, но охотно включали его в свою компанию. Особенно Володяй-Молодяй часто подкрадывался к нашей двери и шепотом вызывал: «Дима! Дима! Иди играть. Возьми "гулек" и "гирек"!» «Гульки» — это были два венецианских бронзовых голубка,

всегда стоявшие на письменном столе у мамы, «гирьками» же назывались грузы от шнуров, которыми задергивались портьеры. Сами портьеры представляли собой материальную базу нашего существования, так как легко превращались в масло, яйца и картофель, а никому не нужные шнуры с грузами скапливались на дне пустеющего сундука. Дима забирал эти предметы, и на полу соседней комнаты начиналась игра, причем до меня доносился приглушенный голос Володи Косникова: «Гульки будут баранья, а гирьки будут лошадья!»

Анна Федоровна хорошо знала обычаи и вкусы местного населения, и по ее совету я занялась необыкновенным ремеслом: шитьем повойников. Повойником называется род шапочки, которую носят под платком калужские замужние женщины. Передняя налобная часть обычно украшается блестками, позументом или «гитанами» (зигзагообразной тесьмой). Особенно богатым должен быть свадебный повойник, так как существует ритуал заплетать перед венцом невесте волосы в две косы и в первый раз надевать на нее повойник. Каждая деревня придерживалась своего покроя. Так, Прыски носили повойники со сборами, а Березичи и Дешовки требовали бантовых складок, что было сложнее для производства.

Должна сказать, что мои повойники не имели себе равных: я на них изрезала все свои бальные платья, а налобники украшала по правилам Строгановского училища. К сожалению, за всю эту красоту цены не надбавлялись — больше 10-12 яиц за повойник получить не удавалось, а когда я заикалась о масле, мне отвечали: «Что ты, матушка, мы теперь молоко шильцем хлебаем!»

Зато я приобрела известность. В базарный день перед домом Косниковых останавливались подводы и бабы спрашивали: «Где здесь живет повойница?»

Фронт Гражданской войны между тем приближался. Центральная Россия оказалась отрезанной от соли и нефти — соль ценилась на вес золота. Несмотря на заградительные отряды, врывавшиеся в поезда через каждые три-четыре станции и безжалостно отбиравшие продукты

под флагом борьбы со спекуляцией, мешочничество принимало широчайшие размеры*.

В Козельске шла напряженная борьба с дезертирством. На заборах появился плакат под заголовком «Митька-Бегунец», в котором в стихах изливалась печальная судьба этого Митьки. Вспоминаю это потому, что Димка в честь этого плаката получил уличное прозвище Митька-Бегунец. «А его Митькой звали» употреблялось вместо «А его поминай, как звали!», и я подумала, что это может быть связано с плакатом 1919 года.

С наступлением темных осенних ночей мы стали страдать от отсутствия керосина. В фарфоровую мыльницу я наливала темно-зеленое конопляное масло, которое мерцающим светом горело через укрепленный на краю мыльницы фитиль. Вечера при таком освещении имели свою прелесть — они сближали меня с Димой. Нельзя было ни читать, ни работать, и мы часами сидели, обнявшись, на диване — я рассказывала сказки или мы вместе пели. В нашем репертуаре видное место занимала песня «Аллаверды» на известные слова Соллогуба. Возникали образы Кавказа, и однажды, когда я увидела, что Дима, стоя на табуретке, вытаскивает из буфета лепешки для пришедших к нему ребятишек, он пояснил: «Мамочка, не сердись! Я гостеприимен, как черкес».

В сказках, особенно арабских, встречались незнакомые Диме образы, например, «павлины». Происходил такой разговор:

Дима: Мамочка, а какие из себя эти павлины?

Я: Ах, это необычайно красивые птицы с радужным хвостом, которые кричат противным голосом.

Дима: Значит, сами-то павлины красивые, но на душе у них неприятное!

Как-то раз мы с ним собрались идти за выдаваемой в кооперативе овсянкой. Я стояла перед зеркалом, надевая шляпу и завязывая по старой привычке вуалетку. Дима терпеливо смотрел на эти приготовления и наконец произнес: «Ах, мама, как ты долго! Впрочем, я понимаю:

---

* В каждом доме находился человек, который, движимый голодом, собирал последние манатки и с риском для жизни, на крыше вагона, на буферах и подножках ехал куда-то менять эти манатки на соль и пшено. — *Прим. автора.*

ты хочешь иметь для них приличный вид». В этих словах звучало классовое самосознание, и поэтому они были очень забавны.

От времени до времени мимо нашего окна проходила женщина лет пятидесяти в белой косынке с лицом редкой красоты. Она останавливалась у домов и просила «Христовым Именем». Ей подавали кусок хлеба или пару вареных картошек, она кланялась и шла дальше. Это была Екатерина Александровна Львова, урожденная Завалишина, внучка декабриста. Жила она в маленькой избушке на окраине Козельска, не имея никого из близких, кроме двух верных собак. Все вещи, привезенные из Петрограда, были проданы, остался только бинокль. Придя раз к Екатерине Александровне, я увидела, как она, будучи близорукой, в этот бинокль рассматривает внутренность топящейся русской печи, чтобы не опрокинуть горшочка с кашей. С Козельском ее связывала близость Оптиной пустыни, этого центра православной духовной жизни, привлекавшего в свое время и Гоголя, и Достоевского, и Толстого.

В описываемое время в Оптиной еще сохранилось «старчество», в скиту жил отец Нектарий, в стенах монастыря — отец Анатолий, бывший келейником описанного Достоевским под именем Зосимы и почитаемого всей Россией отца Амвросия*. Сущность старчества заключалась в том, что верующий, избравший себе духовным руководителем того или иного схимника, отрешался от своей воли и ничего не предпринимал без его благословения. Екатерина Александровна жила под руководством отца Нектария, который, по-видимому, направил ее на подвиг смирения и нищеты и лишь через год благословил уехать из Козельска.

Но возвращаюсь к «мирским» делам. Во второй половине лета в Козельск на побывку к родителям приехал Николай Россет — двоюродный брат уже появлявшегося на страницах моих воспоминаний Левушки Кавелина. Он, кроме того, был внучатым племянником известной фрейлины Александры Осиповны Россет, той самой,

---

* Действие «Братьев Карамазовых» происходит в Козельске. Дмитрий Карамазов ездит кутить за 25 верст в торговое село Мокрое (Сухиничи). — *Прим. автора.*

о которой Пушкин писал «Черноокая Россети в самовластной красоте...» и т.п.

Такое интересное родство обязывает меня совершить небольшой генеалогический экскурс. Насколько я знаю, Россети, выходцы из Франции, прибыли вместе с Ришелье на юг России в конце XVIII века. Отец столь известной в придворных и литературных кругах Александры Осиповны служил в военной службе, сама же она, окончив с шифром* Смольный институт, попала во дворец в качестве фрейлины обеих императриц. Ее дружеские отношения с Пушкиным, Жуковским и впоследствии с Гоголем общеизвестны.

Братья Александры Осиповны были военными. Николай I им покровительствовал, но, любя русифицировать фамилии окружавших его людей, отчеркнул последнее «и», и из Россети они превратились в Россетов. Один из братьев, Александр Осипович, женатый на Офросимовой, был отцом Николая Александровича Россета, владельца небольшого имения при деревне Верхние Прыски и, в свою очередь, отца приехавшего в Козельск офицера.

В начале XX века Россеты были совершенно разорены. Мать Николая Александровича умерла игуменьей Белевского монастыря, сам же он, человек благородной души и хороших традиций, страдал запоем. Две дочери его вышли замуж и уехали, старший сын Петя оказался каким-то недорослем, и утешением родителей оставался младший — Николай, который по своим душевным качествам и мягкости натуры вполне подходил для этой роли.

По окончании Калужской гимназии Коля Россет поступил в Александровское военное училище, вышел в офицеры и всю войну провел на фронте. На Стоходе он попал в газовую атаку и сильно пострадал**. Мобилизованный в Красную Армию в 1919 году, он находился на Украине, в части, оперирующей против Петлюры, в середине лета по состоянию здоровья получил отпуск и приехал в Козельск.

* То есть с отличием. Шифр — золотой, усыпанный бриллиантами вензель, выдавался выпускницам за отличное поведение и успехи в учебе.

** Речь идет о роковых сражениях на реке Стоход Особой армии Безобразова с австро-немецкими войсками в июле 1916 года.

Не знаю, можно ли это объяснить «семейным предрасположением», но Николай Николаевич вскоре вступил на тот же путь рыцарского служения мне, что и его двоюродный брат Лев Михайлович Кавелин, причем в данном случае имелось *le physique de l'emploi*, то есть не было разрыва между внешним видом и родом деятельности. Как у его *grande-tante* (судя по ее портретам), у Коли Россета были красивые темные глаза, тонко очерченные брови, вьющиеся каштановые волосы, он был высок, строен и мог бы считаться красавцем, если бы не слишком удлиненный, унаследованный от матери, овал лица. В обращении он был прост, весел и приветлив.

Осень в 1919 году стояла чудесная, но надвигающаяся зима ничего хорошего в экономическом отношении не сулила. Надо было запасать продукты, пока в деревне молотили хлеб, копали картошку, пока коровы еще паслись в поле, куры клевали зерно на токах, а крестьянки подумывали о нарядах к осенним престольным праздникам. Осознав это, Коля Россет, заботившийся о своих родителях, и я решили проявить энергию.

Ранним утром, забрав с собою вещи, предназначенные для обмена, мы отправлялись в поход по знакомым деревням. Принимали нас радушно, частенько обманывали, но мы не унывали и шли дальше, тем более что ходить по дорогам, залитым ослепительным осенним солнцем, ведя разговоры на самые разнообразные темы, было не так уж тяжко!

Теперь я представляю себе ту осеннюю пору как короткую передышку между постоянным нервным напряжением предшествовавшего ей времени и теми тяжелыми событиями зимы 1919—1920 годов, которые последовали затем.

Возвращаясь под вечер в город, я заходила ненадолго в маленький домик у церкви Богоявления, к родителям Россет. (С ними на правах члена семьи жила кормилица Коли, прысковская крестьянка.) В трех маленьких и довольно убогих комнатах царил образцовый порядок. По стенам висели семейные миниатюры и два больших портрета Александры Осиповны и ее матери. На столе тотчас же появлялся небольшой медный самовар восьмигранной формы, старинные разрозненные чашки, морковный чай и лепешки из «свойской» пшеничной муки.

Я наскоро пила чай, рассказывала о результатах меновой торговли и спешила домой, где меня ждала нетопленая комната и перспектива разжигать печь сырыми дровами. Николай Николаевич это знал и, отправляясь меня провожать, незаметно забирал у кормилицы с печи половину ее запаса лучины. Через полчаса печь в моей комнате пылала без всякого моего участия в этом деле. Димка, возвращенный от Косниковых, сидел на подушке перед огнем, и в комнате становилось уютно.

Тем временем я собралась в Москву, и вот как это случилось. В жизни Нины Сергеевны, сестры Бориса, которая, как я уже говорила, жила с родителями и давала уроки музыки, произошли большие изменения: она вышла замуж за крупного партийного работника Николая Ивановича Смирнова и поселилась в Москве, в многоэтажном и многоквартирном доме Нирензее, заселенном преимущественно членами партии.

Николай Иванович, которого я видела раза два в Калуге во время войны, носил тужурку какого-то технического ВУЗа и, как я слышала, был связан с подпольными революционными организациями, за что сидел даже в Шлиссельбургской крепости. Это был коренастый человек небольшого роста с резкими и волевыми чертами лица. Своих «левых» мыслей он не скрывал, заводил подчас споры на политические темы с Сергеем Николаевичем Аксаковым и, слушая бетховенские сонаты в исполнении Нины Сергеевны, постепенно подчинил эту замкнутую молчаливую девушку своему влиянию.

В 1919 году Смирнов был редактором газеты «Беднота», а Нина Сергеевна — кандидатом партии, и я вполне понимала, что мой сундук в их квартире совсем неуместен, и решила срочно ехать в Москву.

В продолжение недели я готовилась к «экспедиции» — все было тщательно обдумано. Димку я отвезла в Оптину пустынь к тетушке Марии Михайловне Аксаковой. В день отъезда мой чемодан набили съестными припасами — центральное место среди них занимали три жареные курицы. Под зимнее пальто я надела взятую у Бориса Блохина спортивную толстую фуфайку и в сопровождении Коли Россета, который ехал со мной до Сухиничей,

и случайной попутчицы, служившей в Попелеве прислугой, польки-беженки Мани Валентукевич, направилась на вокзал.

После нескольких часов ожидания нам удалось погрузиться в пустой вагон товарного поезда, шедшего без всякого расписания в нужном направлении, но то, что мы увидели в Сухиничах, было ужасно. В зал ожидания войти было невозможно: не только скамейки, но и пол покрывали тела больных сыпным тифом. Многие из них бредили, просили пить. Сердобольные люди приносили им комки снега, которые они с жадностью глотали. На скорую посадку рассчитывать было нельзя — поезда шли, со всех сторон увешанные людьми.

Некоторую надежду я возлагала на Мишу Барсукова, приятеля моих юношеских лет по Радождеву, который числился комендантом сумасшедшего дома, именуемого «станция Сухиничи Узловые». Найдя его, еле стоявшего на ногах от усталости, я узнала, что он сдает смену и до ночи поездов на Москву не будет. Единственное, что мог сделать Миша, это пригласить нас к себе на квартиру и увести с вокзала. Там мы отогрелись и дождались вечера. Ночью наши атаки поездов возобновились, и наконец под утро Мише и Николаю удалось впихнуть меня и Маню на площадку разбитого вагона и передать нам наши вещи.

Мы стояли, стиснутые со всех сторон, в полнейшей темноте. У меня была в руках корзиночка с хлебом, у Мани мой чемодан. Тут я допустила большую неосторожность. Я окликнула Маню и сказала: «Главное — держите чемодан». Этим я, по-видимому, привлекла к чемодану внимание соседей, потому что как только поезд тронулся, но еще не набрал полной скорости, Маня получила удар в спину, какая-то мужская фигура вырвала у нее из рук чемодан с пирогами, курами и моими лучшими нарядами, которые я имела глупость забрать с собой, и спрыгнула в морозную темноту.

Наши крики и протесты остались гласом вопиющего в пустыне; из темноты раздался даже голос, выражавший удовлетворение тем, что без чемодана на площадке стало больше места. Поезд шел дальше, и мне предстояло появиться в Москве, имея в качестве одежды фуфайку

Бориса Блохина, а в качестве пропитания два килограмма хлеба, уцелевших в моей корзиночке. В таком «облегченном состоянии» я высадилась на Киевском вокзале и отправилась искать пристанище.

Выйдя на Арбат, я заметила, что люди ходят по середине улицы, как в траншее, между возвышающимися справа и слева сугробами и всякий прохожий тащит за собой салазки с какой-нибудь поклажей. Никакого транспорта я не встречала. Окна магазинов были забиты досками, зато шумел и бурлил Смоленский рынок, куда устремлялись горожане с салазками и крестьяне с котомками за плечами.

Придя в Левшинский переулок, я узнала, что Наточка Оболенская заперла квартиру и уехала на зиму к своим друзьям Матвеевым в Ахтырку, а тетя Лина Штер «уплотняет» Зинаиду Григорьевну Рейнбот в Староконюшенном переулке. Туда я и направилась. Тетя Лина жила в довольно большой нетопленой комнате, заваленной наподобие склада всякими ненужными вещами, по стенам стекала сырость. На тете Лине было несколько платков и теплые перчатки.

Встреченная очень приветливо, я терзалась мыслью, что, вместо того чтобы угощать москвичей козельскими курами и пирогами, принуждена съедать их паек. Не теряя времени и запасшись салазками, я отправилась в Гнездиковский переулок к Нине, разгружать свой сундук. К чести ответственных работников, населявших дом Нирензее, я могу засвидетельствовать, что в ту пору они не пользовались никакими преимуществами «в быту». То, что я увидела в квартире Смирновых, нисколько не вызывало зависти: трубы в доме лопнули, и квартиранты отапливались железными печками. В качестве топлива у Смирновых лежали кипы газет «Беднота», и среди этих кип я с грустью увидела позолоченную резную ножку маленького, знакомого мне с детства диванчика, который я оставила у Нины, уезжая из Кремля. Предъявлять претензии было невозможно: в ту пору замерзающие люди бросали в печь все, что им попадалось под руку. Свою мебель Смирновы, по-видимому, тоже сожгли — в комнате было пусто, и единственное украшение жилища составляла висевшая на стене гипсовая маска Бетховена.

Нина, которая всегда была милым человеком, сожалела, что доставила мне беспокойство, и объясняла, что не могла поступить иначе (но это я и без нее хорошо понимала). В несколько салазочных рейсов я разгрузила сундук; часть вещей куда-то рассовала, часть решила увезти в Козельск в купленной на Смоленском рынке корзинке.

Покончив с этим делом, я принялась разыскивать дядю Колю Сиверса, и, к своему большому огорчению, узнала, что незадолго до моего приезда он демобилизовался и уехал к своей семье в Ташкент. (До Ташкента бедный дядя Коля не доехал — заболев по дороге сыпным тифом, он был снят с поезда в Казалинске и там умер. Но об этом я узнала много позднее.)

После моего фиаско с молочной фермой я потеряла лицо «трудящейся». Кажется, моя принадлежность к Строгановскому училищу давала мне право вступить в профсоюз работников искусств. И по этому вопросу я стала разыскивать Настю Солдаткину, игравшую видную роль в этом профсоюзе.

От Сони Балашовой, жившей в одном доме с Натой Оболенской и вышедшей к тому времени замуж за литератора Ильинского, принимавшего участие вместе с Маяковским в издании «Новый ЛЕФ», я узнала, что Настя снимает комнату в квартире Дерюжинских в Скатертном переулке. Константин Федорович Дерюжинский до революции был известным московским нотариусом и имел сына-студента Митю, некрасивого, но умного молодого человека, стяжавшего почему-то у московских мамаш плохую репутацию. Знаю это потому, что когда этот Митя вздумал за мной ухаживать, Вера Николаевна Обухова предубедила против него маму, и мне категорически запретили иметь с ним какое-либо общение. Но это дело относилось к 1912 году, и, отправляясь на розыски Насти в декабре 1919-го, я совсем не думала о Мите Дерюжинском.

Когда я поднялась на третий этаж указанного мне Соней дома в Скатертном переулке и постучала в дверь, мне долго не открывали. Наконец я услышала шаги, и в дверях показалась не Настя, а ее тень с остановившимися полубезумными глазами. Увидав меня, Настя

замахала руками и быстро заговорила: «Не заходи сюда! Из квартиры все уехали, только Митя умирает от тифа на кухне! Уходи! Ты можешь заразиться!»

Я, конечно, вошла. Квартира была пуста; со стен свешивались оборванные провода от телефона и освещения. Сев на подоконник, я заставила Настю объяснить, в чем дело. Оказалось, что родители Дерюжинские уехали на юг. Митя должен был тоже куда-то уезжать, но задержался, заболел тифом, потерял сознание и лежит теперь в единственно отопляемом месте — на кухне, а она не может его бросить и уже три дня не выходила из квартиры и почти ничего не ела.

Я предложила сменить ее на два-три часа, чтобы она могла пойти в столовую и дозвониться до скорой помощи. Закрыв за Настей дверь, я вошла на кухню. На матраце, на полу, покрытый всем, что осталось в доме теплого, лежал Митя Дерюжинский. Я села рядом с ним на стул. Трудно себе представить, что произошло в сознании бредящего больного, когда он раскрыл глаза и увидел меня. Вероятно, я сначала показалась ему фантомом из далекого прошлого, потом он как будто убедился в моей реальности, и его доминирующей мыслью стала неловкость за то, что я вижу его в столь неприглядном виде.

Через три часа вернулась Настя, а вечером карета скорой помощи увезла Дерюжинского в Сущевскую больницу. В первых числах января, уже в Козельске, я получила телеграмму: «Митя скончался. Настя».

Ни о каком профсоюзе я, конечно, не поговорила. Под впечатлением всего увиденного по дороге и в Москве, измученная и голодная, я мечтала только об одном: поскорее вернуться в Козельск, который стал казаться мне каким-то Эльдорадо. Но выехать из Москвы оказалось не так просто. Два дня мы с тетей Линой безрезультатно ходили на Киевский вокзал (тетя Лина меня героически сопровождала, чтобы вернуть домой салазки, на которых я везла свои вещи). Насквозь промерзшая громада вокзала была полна людьми, сидевшими на мешках и не могущими выехать. На платформу выпускали только по особым разрешениям или командировкам. У меня ни того, ни другого не было.

Наконец, 24 декабря — в Сочельник (из чего я заключаю, что жила еще по старому стилю) — надо мной сжалился какой-то начальник гомельской водно-транспортной конторы и погрузил меня в товарную теплушку под видом своей сотрудницы. До Сухиничей ехали мучительно долго, но все-таки ехали. В Сухиничах же я узнала, что движение по Рязано-Уральской железной дороге прекращено из-за снежных заносов. Уже три дня ни один поезд не прошел со стороны Смоленска. Вокзал был переполнен, а на запасных путях скопилась вереница вагонов, ожидающих прицепки.

Я совершенно пала духом — тридцать верст, отделяющих меня от Козельска, казались мне непреодолимой преградой, на дворе стоял лютый мороз. Помощь пришла совершенно неожиданным образом. Я попросила проходящего мимо по платформе солдата занести мою корзину в помещение станции. Увидев, что сделать это невозможно и мне придется сидеть в холодном коридоре, этот милый человек пожалел меня и, посоветовавшись с товарищами, приютил в вагоне, в котором они везли для своей части пшено и сахарный песок. Путь их лежал из Брянска на Белев, но в Сухиничах они застряли. Два дня я жила у этих солдат, ничем не обиженная. Мои хозяева провернули в лежащих грудами мешках дырки, топили на печке снег и варили в котелке сладкую пшенную кашу, которой щедро меня угощали. Я сидела на корзинке и читала взятую у тети Лины книгу Золя — помню, что это был «Docteur Pasqual».

Тридцатого декабря вечером распространился слух, что на Козельск идет паровоз с несколькими платформами. Прицепить теплушку не удалось, но мои благодетели и тут меня не покинули и подсадили вместе с моей корзинкой на груженную бревнами платформу. Рядом со мной примостилась закутанная женская фигура. Когда поезд тронулся, я узнала тетку Вадима Влодзимирского, Варвару Николаевну Данибек, и сразу поняла, что у нее какое-то горе. Сжав мою руку, Варвара Николаевна сказала: «Еду из Калуги. Похоронила Зину, которая в несколько дней умерла от тифа». (Зина была ее 20-летняя и очень красивая дочь.) После этого Варвара Николаевна всю

дорогу молчала, да и говорить было невозможно — ледяной ветер захватывал дыхание.

В полночь, при последнем издыхании, я наконец добралась до дома Косниковых и постучала в ворота. Много лет прошло с тех пор, но я с необычайной ясностью вспоминаю блаженное чувство, которое охватило меня, когда я переступила порог своей комнаты. Печь была жарко натоплена. На столе лежала записка от Николая Николаевича, в которой он извещал меня, что Дима в Оптиной здоров и весел, что молоко и хлеб на окне и что наутро он придет узнать (как это делал ежедневно), не приехала ли я. Эта записка в тот момент, когда весь мир был для меня холодным и враждебным океаном, показалась мне трогательной и умилительной.

На другой день мы встречали Новый год в семье Россет. Когда часы били полночь, Николай Николаевич незаметно передал мне овальный сердолик в старинной тонкой оправе, прося сохранить его на память. Далее были сказаны слова, на которые он в ту пору не просил ответа, но которые могли в будущем поставить передо мной дилемму. О том, каким образом эта дилемма из моей жизни была устранена — речь будет немного позднее.

В первых числах января Дима возвратился из Оптиной в Козельск. Мария Михайловна Аксакова, у которой он гостил, была от него в восторге и очень его избаловала. Развязность этого ребенка дошла до того, что, стоя с тетушкой у обедни перед фресками, изображающими святых Лаврентия Калужского и Пафнутия Боровского, он на всю церковь возгласил: «Тетя Маруся! А какой тебе больше нравится — с черной бородой или с рыжей?»

Морозы тем временем не спадали, с продовольствием было плохо. Мимо моего окна беспрерывно провозили умирающих в больницу и умерших из больницы. В числе последних был Петр Владимирович Блохин, бедный «ротмистр государя», который скончался от рака. На следующий день человек десять, среди которых были Коля Россет и я, собрались на панихиду в больничной «усыпалке» и проводили всеобщего дядю Петю до кладбища. Таков был печальный конец его веселой жизни!

Должна сказать, что в процессе писания я удивляюсь четкости, с которой вспоминаю всё — вплоть до чисел, — что касается того, давно прошедшего периода моей жизни. Не знаю, что тому причиной: моя хорошая память или «страшные годы России», которые не подлежат забвению*.

Итак, продолжаю: 6 января, зайдя под вечер, Николай Николаевич сообщил, что его вызывают в Калугу, по всей вероятности, для отправки на фронт, так как никакой бумаги из Москвы нет. Потом он добавил, что чувствует себя плохо — «Как бы серьезно не заболеть!» Пришедшей Евгении Моисеевне, кутаясь в полушубок, он сказал: «А я вот умирать собрался!»

На следующий день он лежал с температурой под 40, а через три дня доктор Арсеньев определил сыпной тиф с осложнением на легкие. Восемнадцатого января, в день своих именин, я утро пришла к Россетам и увидела на столике около Колиной постели старинный белый фарфоровый поднос со скульптурными ручками. Это был его подарок. Поздравив меня, он пожаловался на головную боль и сказал: «А я сегодня мучился всю ночь. Мне казалось, что вы дали мне решето и деревянную ложку и попросили протереть картошку для пюре, потому что у вас сегодня будут гости. Я старался это сделать, но у меня ничего не выходило, потому что картошка была сырая. А вас я предупреждаю: если вы заразитесь тифом, я этого не переживу!» По словам матери, он бредил всю ночь, а на следующий день, потеряв сознание, был перевезен в больницу.

Каждое утро я привозила на салазках дрова, чтобы хоть немного протопить палату, дежурила по ночам и видела, что очень мало делается для спасения больного. Доктор Арсеньев, по-видимому, сразу решил, что дело безнадежное, и только Евгения Моисеевна изо всех сил старалась достать необходимые лекарства. Старики Россет представляли собою самое горестное зрелище, кормилица причитала по всем прысковским ритуалам.

---

* *Рожденные в года глухие*
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
(Александр Блок)

Восемнадцатого января в Военный комиссариат пришла из Москвы ошеломившая всех бумага о том, что Россет Н.Н. назначается начальником учебной команды и остается в Козельске, а 20-го утром Россета Н.Н. не стало. Он скончался на рассвете от двустороннего воспаления легких.

Передо мной не было теперь никакой «дилеммы» — была только глубокая душевная травма, первая в целом ряде последующих! Если бы я писала не мемуары, а повесть и говорила бы не «я», а «она», было бы гораздо легче описать мое настроение в двадцатых числах января 1920 года и то, насколько оно мало подходило для «гулянья» на свадьбе.

Однако дело касалось моих близких друзей — Евгении Моисеевны Рожковой и Владимира Алексеевича Глебова, — и я должна была быть у них посаженной матерью.

Венчались в 12 верстах от Козельска в селе Ивановском. Я добросовестно выполнила все, что от меня требовалось, но во время ужина почувствовала себя плохо. На следующий день выяснилось, что я больна тифом. Будучи религиозно и даже несколько мистически настроенной, я решила подготовиться к смерти, вызвала соборного настоятеля отца Сергея, который не побоялся ко мне прийти, исповедалась и причастилась.

Докторам, однако, мое состояние больших опасений не доставляло. В начале болезни ко мне приехал сам заведующий больницей, известный своей толщиной и неподвижностью Михаил Митрофанович Поповкин. Он осмотрел меня и сказал: «Ну, такой организм и без нашей помощи справится». Ничего не назначив, он уехал, а я начала самостоятельно справляться с болезнью.

Впервые видя меня нездоровой, Дима был со мной очень нежен, говорил: «Ах ты, моя душка! Ах ты, моя бедняжка!» и целовал в «маргаритки» — так он называл ресницы, потому что они моргают. Но через несколько дней и он слег под действием какого-то заболевания, протекавшего сравнительно легко, а выздоровев, заявил, что у него был «детский тиф».

Ухаживать за нами было некому, так как Косниковы явно избегали слишком близкого контакта с тифозными больными. В это время в нашей комнате появилось

новое лицо: Анна Александровна Исакова. Услышав от Марии Михайловны Аксаковой о нашем болезненном состоянии и не будучи связана ни службой, ни семьей, Анна Александровна пришла из Оптиной, чтобы за нами ухаживать. Такой поступок был вполне созвучен ее настроению — Анна Александровна, как и Екатерина Александровна Львова, жила под духовным руководством отца Нектария, но была менее фанатична и более практична.

Прошлая жизнь ее, о которой я узнала из ее рассказов в дни моего выздоровления, оказалась весьма интересной. Дочь известного русского портретиста Александра Соколова, она также была в родстве с Брюлловым. От первого брака с архитектором Бруни (внуком знаменитого академика) у Анны Александровны осталось два взрослых сына — Николай и Лев, которые в ту пору находились в местах, откуда не приходило известий. Большая часть жизни Анны Александровны протекала в художественных и литературных кругах Петербурга, весьма далеких от церковных влияний. Поворотным пунктом в мировоззрении явился тот день во время войны, когда она, находясь в подавленном состоянии по поводу серьезного конфликта со своим вторым мужем, Исаковым, оказалась случайно в Оптиной и отец Нектарий, видевший ее в первый раз, под видом рассказа о ком-то другом поведал ей все подробности ее жизни. Анна Александровна не вернулась в Петроград и поселилась в селе Стенине, недалеко от Оптиной пустыни, где ее и застал 1919 год.

Я была еще в полном сознании, когда незнакомая мне дама лет пятидесяти, небольшого роста, с живыми темными глазами — это была Анна Александровна — вошла в комнату и стала наводить в ней порядок. Вечером эта дама прочитала мне вслух газетную заметку о том, что Пулковская обсерватория почему-то не находит планету Марс и выражает недоумение, что он изменил свою орбиту. Было ли исчезновение Марса из поля зрения наблюдателей следствием витаминного голода последних — я не знаю. Но, во всяком случае, такая заметка появилась в печати и на меня произвела впечатление. Ничто не может быть более жалким, чем попытки словами воспроизвести сон. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал Тютчев. Тем более это касается явлений

подсознательных. Поэтому я воздержусь от описания бредовых ощущений кружения по небесным сферам, которые я испытала, когда температура перешла за 40. Вполне реальным их отражением явилось то, что, по словам Анны Александровны, я поднялась с подушки, села и заявила: «Ну вот! "Они", пользуясь моим бессознательным состоянием, посылают меня наверх, узнать, куда девался Марс. Я им всё узнаю, а они будут извлекать из этого выгоды! Как нечестно!» Кто были эти «они», осталось невыясненным.

Мое тяжелое состояние продолжалось недолго. На двенадцатый день температура стала постепенно снижаться — это был не кризис, а лизис* — и я перешла на положение выздоравливающей. Все говорили, что мне необходимо остричь волосы. Парикмахеры не шли к тифозной больной, и поэтому в тот день, когда я перешла с постели на кресло, с ножницами и машинкой появился брат Евгении Моисеевны, Матвей Сагалович, студент-юрист (он же следователь по особо важным делам). Причиной его появления в роли Фигаро было не его искусство в этом деле, а то, что он незадолго до того переболел тифом и не боялся ко мне приблизиться. Со своей задачей Мотя Сагалович справился прекрасно, и вскоре мои косы-русы лежали на ковре, а Дима, успевший уже поправиться от своего «детского тифа», ласково гладил меня по щеточке волос, приговаривая: «Ах ты, мой бедный стриженый солдатик».

Говорят, что организм людей, переболевших сыпным тифом, очищается от всяких других болезнетворных микробов. Примерно то же самое случилось и с моей психикой: я вдруг почувствовала, что мучения кончились, осталась только опустошенность. Вероятно, потому, что природа не терпит пустоты, я охотно заполняла свой ум чужими, не имевшими ко мне отношения образами и с удовольствием слушала рассказы Анны Александровны о ее жизни. А Анна Александровна рассказывала мне, как ее сыновья учились в Тенишевском училище, как впоследствии Коля стал летчиком, потерпел аварию в Одессе,

---

* Лизис — медленное падение температуры и ослабление явлений болезни в течение нескольких суток.

превратился, как она говорила, в «мешок с костями», но остался жить, ушел в религию и стал священником; как Лева, в жилах которого текла кровь стольких знаменитых художников, последовал по их пути и учился живописи в Париже и был (добавляла Анна Александровна) очень талантлив...

И Лева, и Коля Бруни в момент, когда велись о них разговоры, были где-то «в пространстве», вне поля досягаемости и представлялись мне какими-то абстрактными личностями. Анна Александровна рассказывала подробности их детства, отрочества и юности и даже вводила меня в курс их романов в полной уверенности, что я ее сыновей никогда не увижу. Не прошло, однако, и года, как они оба оказались в Козельске. Но об этом позднее.

Анна Александровна была талантливой писательницей. В конце 90-х или в начале 1900-х годов она принимала участие в издательстве «Журнала для всех», где между прочими печатались и ее рассказы. В том же журнале сотрудничала ее близкая приятельница, жена известного в то время капитана Кладо. Я отчетливо помню, как в эпоху 1904—1905 годов этот считавшийся немного «красным» моряк выступал с публичными лекциями о необходимости реорганизации русского флота и как эти выступления обсуждались и в Аладине, и у Шереметевых. В 1920 году капитана Кладо давно не было в живых. Между Анной Александровной и ее приятельницей, по-видимому, пробежала какая-то черная кошка, однако в 1920 году или в 1921-м мадам Кладо приезжала в Оптину, и я ее там видела. Мне она показалась не очень приятной, довольно желчной особой.

Все это я рассказываю потому, что хочу вывести из забвения один эпизод, который заставляет меня нарушить правила единства времени и уйти на несколько лет вперед. В 1924 или 1925 году, когда я жила в Калуге, появились в продаже два выпуска весьма небрежно изданного журнала под названием «Последние новости». Помню, что на обложке одного из выпусков был воспроизведен момент, когда раненого Пушкина вносят в подъезд его квартиры. Что было изображено на второй обложке, я припомнить не могу, да это и не важно, так как основной приманкой этого бульварного издания были «чудесным образом уцелевшие фрагменты дневника

фрейлины Вырубовой». В предисловии к этим «фрагментам» весьма туманно рассказывалось, как листки дневника были обнаружены лицом, их опубликовывающим, в бидоне царскосельской молочницы.

Жившая в то время в Финляндии на острове Валаам Анна Александровна Вырубова опубликовала протест, и разразился международный скандал. Журнал «Последние новости» быстро прекратил свое существование и началось расследование. Во время моего летнего пребывания у отца в Ленинграде я завела разговор о странном дневнике и услышала от Юрия Александровича Нелидова, что авторами этой подделки оказались проживавшие в Царском Селе m-me Кладо и подруга ее дочери, особа еврейского происхождения, фамилии которой я не запомнила. По-видимому, эти дамы решили поживиться за счет императорской фамилии.

Самое же удивительное — это то, что в 1937 году в Саратовской тюрьме я встретила и m-me Кладо, в состоянии дряхлости и немощности, и подругу ее дочери, фамилии которой я снова не запомнила. Они обе были высланы из Ленинграда в 1935-м. Последняя была в расцвете сил и, обладая прекрасной памятью, развлекала камеру подробными пересказами шекспировских пьес и диккенсовских романов. О случае с мемуарами Вырубовой я разговора не заводила: место и время были неподходящие для таких реминисценций.

Но возвращаюсь к Козельску. В 1920 году Пасха была ранняя — Благовещение приходилось на среду Страстной недели. Я уже настолько поправилась, что решила в этот день причащаться в Оптиной. Снег бурно таял, Жиздра разлилась, на лошади проезда не было, и я отправилась пешком. Миновав Казачью слободу, я вышла в луга, покрытые сверкающими на солнце водяными озерами, которые я до поры до времени благополучно обходила, размышляя о том, что Алеша Карамазов, которого Достоевский поселил в Козельске, ходил в монастырь той же дорогой — через Слободу и заливные луга — и что это все подробно описано в романе. Образ Алеши был мне мил с детства, то есть с тех пор, как в мои руки попала оставившая неизгладимое впечатление книга «Русским детям» с отрывками из Достоевского и Толстого.

Думая и вспоминая, я шла вперед, но вдруг передо мной оказалась довольно глубокая, заполненная водой канава, обойти которую было невозможно. Я остановилась в нерешительности. В это время раздался удар колокола. Я осмотрелась. Удостоверившись, что нет свидетелей моего безрассудства, я разулась, перешла канаву с плавающими льдинами вброд, снова надела чулки и башмаки, переехала Жиздру на лодке и поспела к обедне в полной уверенности, что Алеша Карамазов поступил бы именно так. Должна заметить, что я осталась вполне здорова и даже не получила насморка.

Поскольку глава о Козельске подходит к концу, мне кажется уместным поместить отрывок из неоконченного стихотворения, посвященного Диминому детству, которое я начала писать на берегах Вычегды.

...Страх ходил по городам и селам.
Прошлое сметалось без следа.
Все ж он рос здоровым и веселым
В те необычайные года.

Он сроднился с окруженьем сельским,
Полюбил тех мест простор и ширь,
Где стоит под городом Козельском
Знаменитый Оптин монастырь.

Целым рядом русских поколений
Та земля считалася святой.
Шли туда для высших откровений
Гоголь, Достоевский и Толстой.

Но теперь там было тихо, тихо.
Та земля считалася в плену.
Звон ключей музейной сторожихи
Изредка тревожил тишину.

Лишь природа оставалась та же.
Доходя до башни угловой,
Лес стоял теперь ненужной стражей
В красоте одежды снеговой.

И весной так радостно-знакомо
Раскрывались клейкие листы,
И плескалась рыба у парома,
И цвели шиповника кусты...

И ночное небо, всё в алмазах,
Говорило тихой глади вод:
«Неужель Алеша Карамазов
По траве росистой не пройдет?» *

На Пасхальной неделе я получила письмо, следствием которого стал мой срочный выезд в Москву. Пришла первая весть о Борисе. Писала незнакомая дама, которая осталась в Ростове после отступления оттуда Добровольческой армии и затем вернулась в Москву. Борис, товарищ ее мужа, дал ей мой адрес и просил сообщить о нем. Придя в указанный мне дом, недалеко от Новинского бульвара, я увидела трех сестер Некрасовых, из которых старшая, замужняя, и была автором полученного мною письма.

Из ее слов я поняла, что Борис был жив и здоров примерно полтора месяца назад, при отступлении войск из Ростова, но что случилось с ним дальше — никто не знал, а дальше было самое страшное — Новороссийск.

Раза два я заходила к Некрасовым. На фоне старшей сестры Екатерины Дмитриевны — разговорчивой, веселой и даже несколько разбитной — средняя сестра Лидия казалась особенно строгой и сдержанной. Она в то время училась в Медицинском институте и, как и я, только что перенесла сыпной тиф. Все сестры Некрасовы были высоки, стройны, младшая же, Елена, которую я видела лишь мельком, к тому же очень красива.

Проведя несколько дней в Москве, я вернулась в Козельск и с тревогой стала ждать событий. И вот в конце апреля или начале мая совершилось самое неожиданное, самое невероятное из событий — в 7 часов утра в дверь нашей с Димой комнаты постучал Борис, измученный, усталый, в фуражке железнодорожника.

Приехав на рассвете со стороны Горбачева, он вышел на главную улицу Козельска, встретил священника, идущего к ранней обедне, и спросил обо мне. Тот ответил, что такая особа имеется и живет в доме Косниковых. Туда Борис и направился.

---

* Описание Оптиной пустыни относится к несколько более позднему времени (к 1922 году), когда все церкви были закрыты, монахи выселены и на территории создали музей (тоже недолго просуществовавший). — *Прим. автора.*

Только хорошо помня обстановку и настроения весны 1920 года, можно понять, какому риску подвергал себя Борис, возвращаясь к нам, и какое мужество надо было иметь, чтобы не пойти по линии наименьшего сопротивления: сесть в Новороссийске на пароход и уехать за границу. Для этого были все возможности. Знаю, что в момент эвакуации Борис держал себя доблестно, погрузил на пароход всех друзей, а сам остался на родной земле. Его понятия в этом отношении были четко сформулированы: впереди всего шли обязательства перед родиной. Когда эти обязательства в той форме, как он их понимал, отпали, на первое место стали обязательства перед семьей. Может быть, за такой образ мыслей судьба его и хранила. Путь до Козельска, несмотря на страшные моменты, он совершил благополучно, а затем, направившись в Калугу, сразу поступил в Управление Сызрано-Вяземской железной дороги, где только что открылась новая «агрономическая» служба; требовались люди, знакомые с сельским хозяйством и, главным образом, хорошие организаторы. Борис был как раз и тем и другим.

Бабушка Аксакова за время его отсутствия умерла. Дом на Нижней Садовой был национализирован, но в нижнем этаже хозяевам оставили одну комнату, где жили тетя Оля и тетя Саша, с восторгом встретившие племянника. В верхнем (деревянном) этаже поместилось какое-то учреждение. Зимой 1919—1920 годов в этом учреждении возник пожар. Уцелел только нижний, каменный этаж. Спалив половину дома, учреждение не стало заниматься ремонтом и уехало. Вот на этом «прогорелом верху», без окон и дверей, и жил Борис лето 1920 года, пока осенью не нашел квартиру из двух комнат на той же Садовой улице, совсем близко от берега Оки.

Косниковскую квартиру мы решили до поры до времени не ликвидировать, и поэтому зиму 1920—1921 годов мы с Димой провели в путешествиях между Козельском и Калугой, совершаемых иногда по железной дороге, иногда на лошадях. Воспоминания о калужском периоде моей жизни составят содержание следующей главы.

Тут мне следует упомянуть об одном из весьма странных с точки зрения обычной логики явлений, каких было очень много в первые годы революции.

Начиная с 90-х годов прошлого века, в Оптину пустынь приезжал и даже подолгу там живал Сергей Александрович Нилус, автор книги о таинственных «протоколах сионских мудрецов». Впервые эти протоколы были опубликованы Нилусом в 1902 году. Книга, снабженная предисловием, называлась «Великое в малом».

В 1911 году Нилус ее переиздал под заглавием «Близ есть, при дверях». Целью автора было предупредить христианский мир о надвигающейся «еврейской опасности». По его словам, в Базеле (Швейцария) в конце XIX века состоялся таинственный съезд сионских мудрецов. На этом съезде были выработаны протоколы — дьявольский и тщательно продуманный план порабощения «гоев».

Самым слабым местом книги Нилуса являлась версия о том, каким образом эти протоколы попали в руки автора. В этой версии было много неубедительных мест, однако своей таинственностью, изображением масонских знаков, изречениями из Апокалипсиса книга производила сильное впечатление на простых людей и, несмотря на опасность ее хранения, с жадностью читалась и передавалась. Люди находили аналогию между планами протоколов и действительностью. Наибольшее впечатление производил протокол: «Для того, чтобы противящиеся нам не имели в глазах населения ореола геройства, мы будем их смешивать с уголовными преступниками».

В том, что книга Нилуса была издана в 1911 году, конечно, ничего нет странного. Странное заключалось в том, что в 1919 году, когда в наших краях при обнаружении книги расстреливали на месте, сам автор благополучно жил около станции Линовицы у бывшего обер-прокурора Синода князя Жевахова и переписывался с Екатериной Александровной. Впоследствии он переехал в Троице-Сергиеву лавру, где, как я слышала, мирно умер в конце 20-х годов.

В Калуге

Как и многие другие крупные города царской России, Калуга была обойдена при постройке железной дороги и оказалась в стороне от станции Тихонова Пустынь Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Поездка в Калугу всегда осложнялась пересадкой на 17-километровую ветку.

Однако калужане знали, что есть место — разъезд Сергиев Скит, — в котором полотно подходит к городу более близко, и те, кого не пугало расстояние в восемь километров, сходили на разъезде и шли пешком по тропинке, вьющейся между опушкой леса и берегом Оки. Такой путь я избрала, когда в июне 1920 года собралась посмотреть, как Борис устроился на «прогорелом верху» аксаковского дома.

Я легко шла с рюкзаком за плечами и остановилась только тогда, когда передо мной открылась залитая лучами заходящего солнца панорама города, с золотыми крестами церквей и темно-зеленым квадратом Загородного сада, отделенного от меня речкой Яченкой и расстилающимися по ее течению заливными лугами.

Я смотрела на этот столь чудесный издали город и думала о том, что ждет меня в его стенах. И вдруг мне показалось, что все события уже давно предназначены и мне надлежит только вслепую разматывать нить моей жизни. С такими мыслями о предопределении я вошла в город с запада и увидела, что вблизи он совсем не так хорош, как издали. Всюду было заметно оскудение и запустение.

Дима, которого я отправила из Козельска с подводами, посланными из аптеки за спиртом, тем временем подъезжал к Калуге с другой стороны. Привожу отрывок моих стихов, посвященных этому моменту (из неоконченной поэмы о Димкином детстве):

Время шло, тревожа ряд вопросов,
Дни текли, меняя жизни лик —
На возу, совсем как Ломоносов,
Ехал в город юный ученик.

И в тот час, когда багровым кругом
Солнце пряталось за край земли,
«Бесприданная красавица» Калуга
Перед ним раскинулась вдали.

По мосту, пристроенному к лодкам,
Прогремел колесами обоз,
Въехал на гору, и в дом к отцовским теткам
Провожатый мальчика привез.

Тетки гостя встретили радушно,
Но в их доме, так же, как везде,
Помышляли только о насущном,
Говорили только о еде.

Город был без света и без хлеба;
Как задуманный неверно механизм,
Дни свои жестоко и нелепо
Доживал военный коммунизм.

Целый день измученные люди
Осаждали коммунальный клуб,
Чтоб в убогой глиняной посуде
Унести бесплатный пшенный суп.

По ночам безвестные фигуры
Отрывали доски от оград,
И текло сквозь эти амбразуры
Запустенье в каждый дом и сад.

Не щадя ни липы, ни березы
И губя цветущие кусты,
Толпами бродили чьи-то козы,
Жалкие коровы нищеты.

В этих стихах видна столь неприглядная картина Калуги того времени, что я воздержусь от дальнейших описаний. Упомяну только о поразившей меня в первый же день

по приезде инструкции. Инструкция эта была опубликована в газете «Коммуна» и расклеена на всех углах. Касалась она библиотечных работников: после списка авторов, подлежащих изъятию, шла директива «Аксакова и Достоевского давать с оговоркой».

Какова должна была быть «оговорка», для меня осталось неясным. Вместе с тем широкое хождение имела книга тов. Коллонтай «Любовь пчел трудовых» — произведение более чем странное и с точки зрения этики и с точки зрения эстетики*.

Вообще же газета «Коммуна» не в меру усердствовала (это было характерным для прессы «на местах»), и на ее страницах встречались иногда курьезные статьи. Так, в декабре газета обратилась к заведующим детдомами по поводу устройства елок. (Елки в то время считались вредным пережитком, но еще не вполне были искоренены.) Передовая статья «Коммуны» рекомендовала изъять из елочных украшений все рождественские эмблемы и заменить их маленькими виселицами с висящими на них фигурками классовых врагов.

В согласии с общими веяниями, драматическое искусство и самодеятельные выступления стали весьма модными и в Калуге. На эстраде городского сада ежедневно выступал способный, но опустившийся халтурщик Солодов, молодой человек с одутловатым лицом, вызывающий рукоплескания невзыскательной публики частушками о том, как чья-то «милка» приходит на базар и... «всё глазами хлопает, лопает и лопает...»

Когда тема голода была обыграна, Солодов переходил к другим темам. Так, в его репертуаре имелась злободневная частушка:

Я своею красотой очень уверена,
Если Троцкий не возьмет — выйду за Чичерина.

---

* Попутно вспоминаю ходившие в то время рассказы о выступлении московских клоунов Бима и Бома. Первый из них несет петуха. Второй его спрашивает: «Чем замечателен твой петух?» — «А тем, что он встает на дыбенки, подымает крыленки и кричит "Кол-лонтай!"». Имена матроса Балтфлота Дыбенко и командарма Крыленко гремели в то время рядом с именем тов. Коллонтай — этой эффектной дамы, дочери генерала Мравинского и младшей сестры известной певицы Мариинской оперы Мравинской. — *Прим. автора.*

Но это было «малое» искусство. «Большое» можно было видеть в Театре сатиры, причем самой эффектной постановкой стали «Мыши»: старое, классическое искусство под видом мышей еще гнездится в сознании людей, но вот приходит квалифицированный крысолов (таинственная фигура в черном плаще и маске), разгоняет мышей, скидывает с себя черные одежды (тут на него направляется луч прожектора) и предстает в виде «красного арлекина». Под занавес этот арлекин торжественно (и с прекрасной дикцией) произносит «футуристический марш» Маяковского.

После представления на авансцену выходил руководитель театра Борис Бедлинский (сын владельца небольшого имения, куда дядя Коля и Николай Александрович Запольский ездили на охоту) и читал лекцию о старом и новом искусстве. Особенно жестоко он бичевал обывателей, сочувствующих страданиям Раневской из «Вишневого сада» (ведь она не имела права владеть землей!!!).

Чтобы понять ту неразбериху, которая существовала в воззрениях на искусство, надо припомнить, что в 1920—1921 годах футуристические тенденции (по существу своему обреченные на гибель) были еще сильны и считались «революционными». На плакатах рабочие изображались в виде каких-то схематизированных автоматов, ткани украшались узорами из геометрических фигур, и дома строились в коробочном стиле Корбюзье.

Просветление умов наступило несколько позднее и по указанию свыше.

Но, несмотря на все, Калуга была очень хороша! Над перекинутым через глубокий овраг каменным мостом по-прежнему стоял известный своей прекрасной архитектурой дом Кологривовых. Оттого, что ограда тянувшегося за домом сада была растащена, а ворота — всегда раскрыты, мы могли наблюдать эту прекрасную постройку со всех сторон, и она в состоянии запустения стала нам ближе, вошла в наш быт и радовала нас своими прекрасными линиями.

Тут же рядом, в одном из спускающихся к Оке переулков стоял заколоченный дом Марины Мнишек — небольшое каменное здание начала XVII века с шатровым

крыльцом и решетчатыми окнами. Тут жила, как полагали, Марина несколько времени после своей авантюры с Тушинским вором.

Жители западной части города, куда входила и Нижняя Садовая, гордились своим Загородным садом. Это был прямоугольный участок земли, усаженный старыми деревьями. В месте пересечения двух проходящих по диагонали аллей стоял цоколь с белой вазой в виде чаши. Своим дальним концом Загородный сад упирался в площадку, откуда открывался прекрасный вид и где стояли развалины деревянной дачи «губернаторши Смирновой» — А.О.Россет, муж которой в прошлом веке занимал пост калужского губернатора. Тут же, на территории сада, находился небольшой домик, в котором останавливался Гоголь, гостя у Смирновых. У меня долгое время сохранялась карточка Димы, снятого на фоне этого домика, который никем не охранялся и сгорел вскоре после нашего отъезда из Калуги.

Но если строения у дальнего конца Загородного сада имели исторический интерес, то домик, стоявший у его входа, представлял для меня интерес не умозрительный, а вполне реальный. Он принадлежал Запольским. После продажи Радождева полковнику Кирьякову Николай Александрович купил (в конце Пушкинской улицы) усадьбу, состоявшую из двух небольших домов. Один из них был вскоре национализирован и заселен чужими людьми, а маленький флигель, выходящий окнами на Загородный сад, — оставлен в пользовании бывших владельцев.

Ко времени моего переселения в Калугу в 1921 году там жили Николай Александрович и Мария Аркадьевна (причем Николай Александрович плохо владел рукой и ногой после кровоизлияния в мозг), Валя с мужем, Евгением Григорьевичем — инвалидом, лишившимся на войне двух ног, — и обе «девочки Запольские» — мои подруги детских лет, Ляля и Катя. Катя работала машинисткой в каком-то учреждении, а Ляля преподавала немецкий язык и физкультуру в школе 2-й ступени.

Попав в дружеское окружение, я очень быстро освоилась на новом месте и стала чувствовать себя стопроцентной калужанкой. Часто бывая у Запольских, я встретила однажды в их доме высокого, элегантного молодого

человека — Владимира Платоновича Базилевского, который оказался не кем иным... как крысоловом и «красным арлекином» из постановки «Мыши».

До войны — артист Московского Художественного театра, во время войны — офицер Дикой дивизии, Базилевский был явно человеком не губернского, а более крупного масштаба и в Калуге производил впечатление залетной птицы. Очень способный ко всем видам искусства, он играл на сцене, режиссировал, хорошо рисовал, был прекрасным фотографом. Может быть, во всех его талантах ощущался некоторый оттенок дилетантизма, но это был, во всяком случае, дилетантизм первого сорта. Базилевский преподавал «выразительное» чтение в Лялиной школе — и ухаживал за Лялей.

Поблизости от Запольских, на сходящей к Оке Коровинской улице жил теперь знаменитый, а тогда еще мало известный Циолковский. Базилевский, имевший, кроме своих артистических специальностей, некоторое отношение к техническим наукам, часто заходил к нему и знакомился с его чертежами. Однако наиболее рьяным пропагандистом принципа ракеты Циолковского в то время был молодой человек по фамилии Чижевский, сын жившего в Калуге отставного генерала, несколько раз заходивший ко мне с просьбой перевести касающиеся Циолковского заметки из американских журналов.

Летом 1921 года Базилевского почему-то арестовали — в ту пору это было делом обыкновенным и никого не удивлявшим. Помню, что Ляля носила ему передачи и что арест в конце концов признали «ошибкой». Осенью мы повенчали Лялю и Владимира Платоновича в церкви на Никольской улице, и молодые Базилевские уехали сначала в Минск, а потом в Москву. Однако моя связь с Лялей не прервалась — каждое лето она приезжала в Калугу, теперь уже вместе со своим круглолицым сыном Андрюшей.

Борис, между тем, как говорят теперь, «завоевал авторитет» на своей агрослужбе, ведавшей сельскохозяйственными мероприятиями в полосе отчуждения от Сызрани до Вязьмы, и был назначен сначала помощником, а затем и начальником службы. Большим преимуществом

железнодорожников была возможность дарового проезда — и я поспешила воспользоваться бесплатным билетом, чтобы в декабре 1920 года навестить папу в холодном и голодном Петрограде.

Квартира на Миллионной представляла собою ледник, отопляемый маленькой железной печуркой, но отец стоически переносил все лишения ради сохранения библиотеки. Спал он в меховом мешке, но не менял квартиры, а все книги стояли в незыблемом порядке на предназначенных им местах.

Зимой 1920—1921 годов в Петрограде пародировали приведенное мной выше стихотворение Мятлева:

Сижу я в одиночестве,
Сижу без электричества,
И нет Его Высочества,
И нет Его Величества.

Александра Ивановна проявляла чудеса преданности и изворотливости. Летом она развела огород на выделенном ей домкомбедом участке Марсова поля и кормила отца редиской, выращенной на этом историческом, воспетом Пушкиным месте. Зимой она продавала вещи на Сенной площади, ездила в деревню за продуктами — и отец, таким образом, не очень голодал. Большую помощь оказывали продовольственные посылки, направляемые в то время петроградским ученым шведским Красным Крестом.

Отец уже перешел на службу из Главархива в Эрмитаж и в Академию истории материальной культуры. Последняя помещалась в Мраморном дворце, и делами там заправлял Николай Яковлевич Марр.

Я прогостила у отца около десяти дней. Встреча наша была очень трогательной: и приезд, и отъезд мой сопровождались с трудом сдерживаемыми слезами с обеих сторон, — что мы тут же, улыбаясь, объясняли истощенностью нервной системы.

Следующая моя поездка по бесплатному проезду состоялась летом 1921 года и носила более веселый характер. Из агрономической службы шел в Москву пустой



Карандашный портрет заключенной Пезмоглага Татьяны Александровны Аксаковой, нарисованный ленинградским художником Коноплевым в исправительно-трудовом лагере в 1942 году

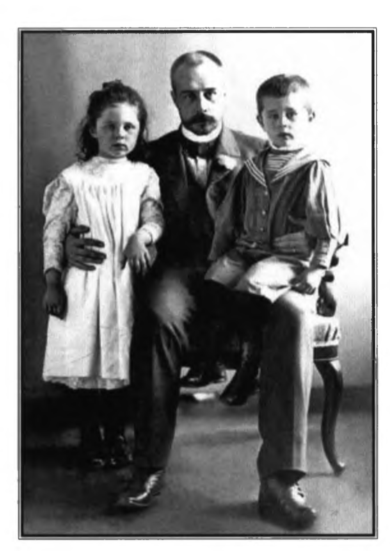
Разыскивая фотографии для этого издания, мы обратились к людям, у которых могли быть авторские права на них. Отправили письмо Михаилу Сабсаю, воспитаннику Татьяны Александровны в Вятских Полянах. Ответа не было. Связались с госпожой Г.М.Дуловой, которая живет в Вятских Полянах и много общалась с Аксаковой. Сначала она согласилась предоставить фотографии из своего альбома, но через несколько дней, переговорив, по ее же собственным словам, с Т.М.Кулешовой (урожденной Аксаковой), отказала нам. Поэтому фотографий, к сожалению, не так много, как хотелось бы.



Слева направо: друг семьи Н.Н.Муханов, Александра Гастоновна и Александр Александрович Сиверс, маленькая Таня в коляске. 1893



Таня Сиверс



На обратной стороне фотографии рукой Татьяны Александровны написано: «Лето 1898 года. На Петергофской удельной гранильной фабрике. Александр Александрович Сиверс с детьми Татьяной и Александром»



1903



Гастон Александрович Эшен



Александра Петровна Чебышёва (Эшен)



Александра Гастоновна Эшен



Татьяна Александровна Сиверс и Борис Сергеевич Аксаков. Москва, октябрь 1913



В период НЭПа в Калуге Анной Ильиничной Толстой и Татьяной Александровной Аксаковой была создана артель по производству дамских шляп «Кустари». Сидят справа налево: Татьяна Александровна Аксакова, Анна Ильинична Толстая (внучка Л.Н.Толстого), Римма Алексеевна Местергази (Лосева) и Любовь Павловна Леонутова, 1923—1924



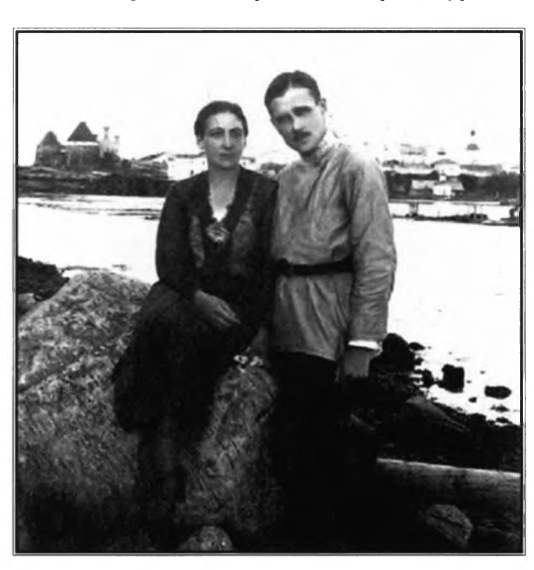
Татьяна Александровна Аксакова. Калуга, 1923 год.
Фотография сделана для оформления разрешения
на первый выезд за границу с сыном



Сын Татьяны Александровны Дмитрий



Александр Александрович Сиверс (Шурик)



*Последнее фото брата Татьяны Александровны с женой Татьяной Николаевной (ур. Юматовой) в советском лагере на Соловках. На обратной стороне фотографии рукой Аксаковой написано: «УСЛОН лето 1929 г.
З/к 10-й роты А.А.Сиверс и Т.Н.Сиверс»*



Борис Сергеевич Аксаков, 1930-е



Татьяна Александровна



Александра Гастоновна Эшен и ее второй муж
Николай Борисович Шереметев, 1898

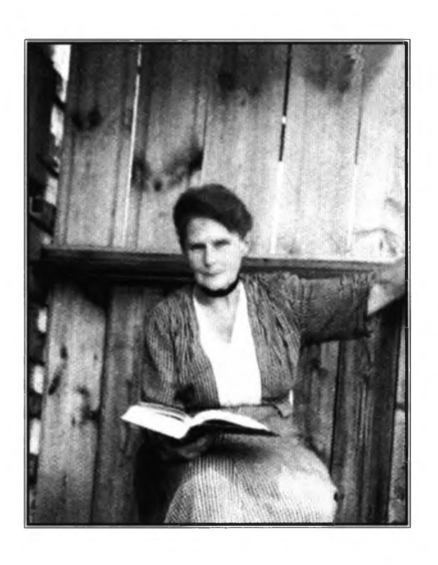


Александра Гастоновна и ее третий муж
князь Владимир Алексеевич Вяземский, 1916



Татьяна Александровна (крайняя слева) с коллегами в операционной районной больницы в Вятских Полянах, 1947

С отцом Александром Александровичем Сиверсом



На обратной стороне одного из этих снимков рукой Татьяны Александровны написано: «У стены своей хижины. Вятские Поляны. Середина 60-х годов»





На дружеском банкете по случаю издания книги «Легенда о Сан-Микеле», 1970. Татьяна Александровна и поэт Сергей Васильевич Шервинский



Опубликованные фотографии находятся в собрании Отдела рукописей РГБ, сектора генеалогии государственного музея А.С.Пушкина, личных собраниях В.И.Рожкова, М.М.Аксакова, М.И.Сабсая, Н.К.Телетовой.

вагон, и мы в полном составе, то есть Борис, Дима и я, отправились с этим вагоном, чтобы собрать и привезти в Калугу кое-какие наши разбросанные по московским знакомым вещи.

Наиболее яркое впечатление, полученное мною от этой поездки, я описала в юмористических, посвященных Борису стихах, которые решаюсь поместить в качестве приложения к своим мемуарам только потому, что впоследствии из этого легкого «балагана» вытекли крупные события.

Тут следует сказать несколько предварительных слов. Вскоре после своего переселения в Калугу Борис, будучи по делам в Москве, зашел к Некрасовым, чтобы сообщить Екатерине Дмитриевне о ее муже и *beau frère*'е, с которыми расстался в Новороссийске, и познакомился с ее сестрами. После этого между ним и Лидией Дмитриевной установилась шутливая переписка слегка флиртующего характера. В большинстве случаев Лидия Дмитриевна писала стихами (и очень хорошими!). Борис, не желая ударить в грязь лицом, иногда призывал меня на помощь для подыскания той или иной рифмы. В ответах он изображал себя «закаленным судьбой бойцом», если не с седою головою, то во всяком случае без юношеских иллюзий — словом, подпускал немного байронизма.

И вот однажды из Москвы пришло очередное стихотворное письмо, которое начиналось словами «Я сфинкс прелестный...». Я пришла в восторг от этого вступления; Борис же был несколько озадачен, но тоже смеялся. Димка, в общем ажиотаже бегая по комнате, безуспешно старался произнести слово «сфинкс» и требовал, чтобы я тут же нарисовала ему это страшное существо.

Во время нашей поездки в Москву Борис часто бывал у Некрасовых и как-то раз даже исчез куда-то на целый день. Оказалось, Лидия Дмитриевна выразила желание подняться на аэроплане (в ту пору это было чем-то необыкновенным) и просила Бориса сопроводить ее на аэродром. Вот это событие и описано мною в следующих строках:

По неведомой причине
Иль с избытка юных сил,
Как-то раз в своей пустыне
Сфинкс о небе загрустил.

Жизнь доверив агроному,
(Стаж его никто не весть!)
Сфинкс спешит к аэродрому
На трамвае номер шесть.

Там, подобен богу Фебу,
Закрутив могучий хвост,
Сфинкс катается по небу
И величествен, и прост.

Агроном в тоске мятется
От сознанья пустоты.
Сфинкса голос раздается
С поднебесной высоты:

«Был и я в своей пустыне
Искушаем духом зла!
Мысль отдаться медицине
Мне навеяна была.

Но примером Эскулапа
Не пленился я — о нет!
Моя царственная лапа
Не склонна держать пинцет!

Новый путь теперь приемлю!
Жалок раб мирских забот.
Агроном — ты роешь землю!
Я — орел, а ты... ты — крот!»

(Никто, кажется, не дал этому произведению столь высокой оценки, как мама, которая над ним впоследствии много смеялась.)

Но я еще ничего не сказала о том, где мы поселились, когда осень 1920 года положила предел нашему пребыванию на аксаковском «прогорелом верху». На правой стороне Нижней Садовой, в том месте, где она круто спускается к Оке, стоял двухэтажный дом, незадолго до революции построенный архитектором Меньшовым для себя. Нижний этаж этого национализированного дома занимали две инженерские семьи — Волошины и Бургучевы. Во втором этаже жила семья Леонутовых. Им грозило

уплотнение, и они, предпочитая иметь нас, чем кого-нибудь другого, предложили Борису через тетушку Ольгу Николаевну (которая служила вместе с Любовью Павловной Леонутовой в губпродкоме), занять две комнаты, что и было осуществлено. Окна одной комнаты выходили в большой, тянувшийся за домом сад, окна другой — на просторные горизонты правого берега Оки с их деревнями, перелесками и селом Ромодановским на первом плане.

Семья наших хозяев состояла из Ивана Дмитриевича Леонутова (находившегося в отсутствии), его жены Любови Павловны, сестры Марии Дмитриевны и детей: двух высоких юношей Вити и Павлика и двух девочек-подростков близнецов Оли и Тани.

Любовь Павловна была дочерью весьма уважаемого ряжского священника, родственника Ивана Петровича Павлова. Старший из сыновей Леонутовых готовился к поступлению в Петроградский институт путей сообщения и вскоре туда уехал; второй, показавшийся мне очень красивым, кончал 2-ю ступень. Девочки бегали в школу и учились музыке.

Замечательным человеком в этой семье была незамужняя, уже пожилая тетушка Мария Дмитриевна, крестная всех своих племянников, отдававшая им свою душу и безропотно принимавшая на себя все тяготы жизни. Покрытая по-крестьянски вязаным платком, в мужских ботинках, немного сутуловатая, она часами простаивала на базаре, чтобы продать выстеганное ею же на продажу одеяло и купить: «Вите — пирожочек, Павлику — биточек, Тане с Олей — два яйца»...

У Марии Дмитриевны было хорошее, немного обветренное лицо с крупными чертами и приятной, застенчивой улыбкой. Все в ней было просто, чистосердечно и очень «по-русски». Я никогда не видела, чтобы крестная унизилась до какой-нибудь сплетни или мещанского суждения. Из всех племянников она, пожалуй, больше всех любила Павлика за нежность его натуры. Чтобы заставить кого-нибудь из детей выполнить ее просьбу — надеть теплое пальто или галоши, — она иногда прибегала к крайнему средству, проникновенным голосом говоря: «Сделай это! Я загадала!» Витя уходил, махнув рукой, девочки со смехом убегали, но Павлик сразу

останавливался, глядел в ее просящие глаза и выполнял требуемое. Кроме того, он был ее постоянным помощником по саду, огороду, уходу за птицей. У него с детства была какая-то болезненная любовь к природе и животным; он доходил до слез, когда напрасно ломали ветки или рвали цветы. Со своим приятелем Петей Милютиным он уходил на целый день на Яченку и возвращался вечером «с дарами леса» — грибами, ягодами, шишками и, как говорила крестная, «безумными глазами», наслушавшись пенья птиц и лягушек, надышавшись смолистым воздухом и наглядевшись на заокские дали.

Впоследствии, под влиянием прекрасного, известного всем калужанам учителя литературы (фамилии сейчас не помню), он стал много читать и вместе с другим своим товарищем Ченцовым написал ученическое сочинение, в котором, при помощи произвольно выбранных цитат, доказывал, что лирика Блока тоньше лирики Пушкина. Я видела это сочинение и, помнится, даже расставляла знаки препинания в нем. Преподаватель рядом с хорошей оценкой написал: «Смелая и остроумная попытка защитить неправильный тезис».

После Блока Павлик, под влиянием того же преподавателя и, отчасти, следуя моде, немного увлекался Есениным, но потом (не без моего содействия) первое место в его душе прочно и незыблемо заняла поэзия Тютчева. Но я непростительно отклонилась от поступательного хода моего повествования! Осознав это и принимая во внимание, что до конца 1921 года я еще не порвала с Козельском и проводила там добрую половину времени, я хочу посвятить несколько прощальных слов этому милому городу и его обитателям.

В конце 1920 года оба сына Анны Александровны оказались в Оптиной. Николай Александрович Бруни с прелестной женой и ребенком прибыл в священническом облике откуда-то с юга и вскоре получил сельский приход недалеко от Козельска. С нетерпимостью неофита он принялся бичевать пороки своей паствы, не ужился с населением и после нескольких лет взаимного недовольства уехал в Москву. Там, как я слышала, он снял рясу и поступил в министерство авиации.

Николая Александровича я знала очень мало, но с его братом у меня установились прочные дружеские отношения. В первый раз я увидела Леву Бруни в освещенном ярким солнцем Оптинском соборе. Был какой-то большой праздник. В переполненном храме среди крестьян к причастию подходил молодой человек в белой шелковой блузе с расстегнутым воротом. Руки у него по обычаю первых веков христианства были крестообразно сложены на груди, взгляд темных, чуть косящих глаз был пристален и внимателен — такое лицо не могло остаться незамеченным. Это и был тот самый Лева Бруни, о котором я так много слышала во время болезни. Теперь он был женат на Нине Константиновне Бальмонт (дочери поэта), но, оставив ее временно в Миасе — месте их последнего жительства, — приехал повидаться с матерью.

Говорить о том, что Лев Александрович был очень талантливым художником, не стоит — это мне кажется всеми признано. Мне только остается сожалеть об утрате небольших карандашных набросков, которые он делал, часто заходя к нам в дом Косниковых. На одном из рисунков Дима был изображен спящим с откинутым одеялом под раскрытой форточкой, и тут же стояла надпись художника: «Вот как спят дети зимой в благословенном Козельске, когда в других местах нет топлива!»

Оптина пустынь просуществовала до конца 1923 года. Ликвидация ее почему-то сопровождалась сложными операциями военного характера. Монастырь оцепил какой-то отряд и брал его приступом, хотя никто не думал сопротивляться. Молодые монахи давно ушли в армию, оставались только старики, работающие на лесопилке и в племхозе, да схимники: отец Нектарий и отец Анатолий. После обыска в их кельях им предписали в двадцать четыре часа покинуть не только стены монастыря, но и пределы Калужской губернии. К 9 часам на следующее утро они должны были явиться в комендатуру за документами.

Отец Нектарий выехал и поселился в Болховском уезде Орловской губернии, в деревне Холмищи, в 40 верстах от Козельска. Отца Анатолия эта чаша миновала — он молился всю ночь, а когда утром пришли, чтобы вести его к коменданту, он лежал мертвый в своей келье, из которой

на протяжении стольких лет исходили слова утешения и умиротворения. Похоронили его в ногах у отца Амвросия, келейником которого он был долгие годы.

На территории Оптиной был учрежден музей, которым ведала одна из приверженных к этому месту дам по фамилии, если я не ошибаюсь, Зорич. Затем музей тоже ликвидировали. Остались детский дом с нашим разбитым роялем и племхоз под управлением Косникова. Что там теперь — я не знаю.

В 1921 году страна перенесла тяжелый голод. Особенно грозные размеры он принял в Поволжье из-за недорода 1920 года. Но и у нас жилось несладко! В привилегированном положении находились мельники, огородники, владельцы ульев с пчелами и пригородные крестьяне, в руки которых текли ценные вещи горожан. Рядовое крестьянство варило мох и лебеду, пекло хлеб с различными примесями, вплоть до древесных опилок. Под лозунгом помощи голодающим началось изъятие церковных ценностей, на металлолом снимались колокола. Делалось это со ссылкой на Петра I, который совершил нечто подобное во время войны со шведами.

В голодающее Поволжье выехала из Америки благотворительная организация квакеров, большую помощь оказали стандартные посылки АРА, но все это не спасало положения. Настоящая разрядка наступила только после объявления Указа о новой экономической политике. Как только жгут сняли, живая кровь сразу потекла по артериям страны и все облегченно вздохнули. Демьяну Бедному это мероприятие, по-видимому, не очень нравилось. На новогодней елке (1 января 1922 года) Володя Косников (Володяй-Молодяй) декламировал в своей школе стихотворение, написанное этим поэтом на «злобу дня»:

Кряхтя уходит старый год,
Под тяжкой ношей изнывая.
Как много он скопил забот,
День ото дня вперед шагая.

Как много горя, сколько слез
С собою в вечность он унес.
«Эй, старый! Уходи с дороги», —
Смеясь, кричит уж Новый год.

Веселый, юный, он идет,
А старый часть своих забот
Ему с усмешкой отдает.
«Вот на! Неси-ка осторожно!»

«Что ты такое тут мне дал?»
Но старый год уже пропал,
А новый с сумкою остался
И заглянуть в нее старался.

«А! Экономическая политика свободной России.
Вот что вручил мне старина —
Ну, этот груз снести мы сможем,
Лишь только на спину положим.
Моя спина уж не согнется!
Авось, недолго нести придется!»

Последняя строка внушала некоторое беспокойство, и все с особым удовольствием услышали слова Ленина о том, что НЭП дается «всерьез и надолго»*.

Весною 1922 года моя козельская база была ликвидирована, вещи перевезены в Калугу и жизнь вновь «приведена к одному знаменателю». Дима к этому времени

---

* Упомянув о Демьяне Бедном, имя которого вряд ли скоро вновь появится на страницах моих воспоминаний, я хочу привести эпиграммы, которыми обменялись два деятеля советской литературы того времени.

Демьян Бедный — Луначарскому, по поводу его пьесы «Бархат и лохмотья»:

Нарком, сбирая рублики,
Стреляет прямо в цель:
Дает лохмотья публике,
А бархат — Розанель.

Луначарский — Демьяну Бедному:

Ты хочешь быть российским Беранже.
Ты «б», ты, может быть, и «ж»,
Но уж никак не Беранже.

уже прекрасно читал, и я начала обучать его несложным французским фразам. При этом я как-то сказала: «Произношение должно тебе даваться легко, потому что в тебе есть французская кровь!» Мои слова, по-видимому, произвели впечатление, потому что спустя некоторое время, когда после перенесенной свинки у Димки нагноилась подчелюстная железа и хирургу Миленушкину пришлось произвести разрез, последовала забавная сцена. Как только хлынула кровь, Дима заплакал, приговаривая: «Ну вот, теперь вся французская кровь вытечет!»

Между Борисом и Димой (которого он почему-то называл «Дудышкиным») установились очень милые отношения. К пяти часам Дима накрывал на стол, а когда приходил Борис, неизменно спрашивал: «Папочка, что у тебя делается на службе?» — на что Борис так же неизменно отвечал: «Кавардак». На этом разговоры о служебных делах кончались. Борис обладал прекрасной, я бы сказала западноевропейской, чертой — умением оставлять служебные дрязги и передряги за порогом своего дома. Как только кончался обед, из соседней комнаты раздавались призывные звуки аккомпанемента к песне Чайковского «Уж тает снег», и Дима бежал исполнять свой коронный вокальный номер (у рояля Таня и Оля Леонутовы).

Церковное влияние на него оказывала тетя Оля Аксакова, состоявшая старостой нашего прихода Божьей Матери Одигитрии (Смоленской). В начале 20-х годов православную церковь раздирали распри между сторонниками патриарха Тихона и живоцерковниками. Во главе последних стоял петроградский священник Введенский. Страсти кипели главным образом в Ленинграде и Москве, в Калуге процесс проходил менее остро, лишь три церкви стали «живыми», в других продолжали поминать патриарха Тихона и все осталось по-прежнему.

Тетя Оля неизменно стояла за свечным ящиком в черной бархатной мантилье, с кружевным жабо и гладко зачесанными волосами, зорко следя за благолепием храма. Единственное новаторство, которое она допустила, — это букеты и гирлянды живых цветов у икон (раньше это, кажется, считалось принадлежностью католической церкви).

Когда Диме исполнилось семь лет и он вступил в отроческий возраст, тетя Оля решила, что благолепие храма

умножится, если ее внучатый племянник будет прислуживать в алтаре. Для этой цели ему был сшит маленький стихарь из зеленой парчи, который надевался поверх зимнего пальто с кенгуровым воротником. В этом стихаре, из-под которого в виде ожерелья выступал пушистый мех, Дима имел вид марабу и был очень смешон, однако никакого благолепия из всего этого не получилось. На второй же день он подрался с другим прислуживающим мальчишкой и оба были изгнаны из алтаря.

Через некоторое время в церковь Одигитрии должен был приехать архиерей, не наш, какой-то чужой, и готовилась торжественная служба. Димка вспомнил, что у него есть парчовый стихарь, и решил участвовать в параде. Не прошло и получаса, как он вернулся из церкви с дрожащими губами и стихарем под мышкой. Оказалось, что архиерей приехал со своими собственными мальчишками — парнями лет по 12-14, — и Дима остался за флагом. Я сочувственно спросила: «А что же тебе сказали эти мальчишки?» У Димки тут задрожал подбородок, и он прошептал: «Они на меня посмотрели и сказали — а это что еще за дерьмо пришло?» Я сочла, что такие разговоры ничуть не умножают благолепия храма, и Димкина церковная карьера на этом закончилась.

У нашего калужского архиерея, преосвященного Феофана, имевшего репутацию аскета и подвижника, прислуживали мальчики более благовоспитанные. Это были Борис Столпаков и Лева Волков. Им было лет по 14-15, и на их облике сказывались детские годы, проведенные в Петрограде. Леву я знала мало, но упоминание о Борисе Столпакове, который за годы моего пребывания в Калуге превратился в юношу с красивым, несколько холодным лицом чисто «арийского» типа*, служит толчком для введения в мое повествование новых лиц.

На берегу Оки, в пределах Тарусского уезда, находилось небольшое имение Трубецкое, принадлежавшее семье Суворовых. Братья были военными и служили в Петербурге (старший Андрей Николаевич, как оказалось, часто танцевал с Наточкой Штер на петербургских балах).

* За такую внешность и в связи с легендой, окружавшей его происхождение (не подлежащей опубликованию), он был прозван в Калуге «кронпринцем». — *Прим. автора.*

Сестра Екатерина Николаевна, высокая блондинка, немного напоминающая императрицу Александру Федоровну, окончила Смольный институт и осталась в девицах. Сестра Софья Николаевна, темноглазая, хорошенькая и веселая, вышла замуж за бывшего лицеиста Столпакова (мужчину довольно красивого, но, по словам моего отца, очень недалекого), который перед революцией занимал пост одесского градоначальника.

У Софьи Николаевны было пятеро сыновей, из которых второй — Борис — совсем не походил на черноглазых «итальянистых» братьев. С малых лет его взяла на воспитание незамужняя тетя Тата (Екатерина Николаевна), посвятившая ему всю свою жизнь, в результате чего Борис был воспитан значительно лучше, чем его братья.

Летом 1918 года Софья Николаевна с мальчиками приехала в Трубецкое. Случилось так, что сначала она была отрезана от Одессы фронтами Гражданской войны, потом ее выселили из Трубецкого и она очутилась в Калуге с четырьмя молодцами от 16 до 7 лет, и без всяких средств к существованию. Позднее Софья Николаевна узнала, что ее муж умер в эмиграции.

Когда я с ней познакомилась, она жила в довольно большой, пустой и неприветливой комнате, напротив бывшего женского монастыря. Немногочисленные золотые вещи быстро таяли, и, ложась спать, никто из семейства Столпаковых не знал, что они будут есть завтра. Такое положение не было удивительным для первых лет революции, интерес представляло другое — взаимоотношения между матерью и сыновьями. Если обычно на долю матерей выпадают заботы о хлебе насущном, которые к тому же в конце концов мало ценятся, то в данном случае было наоборот. Софью Николаевну часто можно было застать лежащей на кровати с французским романом в руках, в то время, как Алеша стирал белье, Миша мыл пол, а Коля силками ловил голубей, ощипывал их, жарил и на тарелке преподносил матери. И все это делалось по собственному почину, не из-под палки; мать не теряла своего обаяния, и между членами семьи сохранялся полный мир.

Когда из голодного Петрограда приехала Екатерина Николаевна с Борисом, своей подругой и ее сыном,

и все они поселились в том же доме, жизнь Столпаковых приняла несколько более организованный характер. Софья Николаевна с еще большим спокойствием могла ходить по гостям, зная, что ее пять сыновей позаботятся о хозяйстве. (Останавливаюсь столь подробно на Столпаковых потому, что они еще раз, и очень трагически, появятся на страницах моих воспоминаний, относящихся к 1934 году — то есть двенадцатью годами позднее.)

В один из летних дней мы с Софьей Николаевной предприняли кратковременную поездку в тарусско-алексинские края к сестрам Ртищевым, с которыми она была дружна с ранней юности и о которых я сохранила воспоминания со времен Спешиловки. Татьяна и Елизавета Дмитриевны не могли заставить себя покинуть Жуково. Когда их выселили из дома, они ушли на деревню, где, несмотря на угрозы властей, их приняли с распростертыми объятиями. В описываемое мною время Елизавета Дмитриевна учительствовала в одной из ближайших деревень, а Татьяна Дмитриевна организовала на антресолях своего бывшего полуразрушенного дома метеорологическую станцию и жила в каморке под крышей рядом со своими приборами. Тут же поблизости находился и их верный друг Митя Гомулецкий (которому в то время было уже сильно за сорок). Он поступил на должность сборщика страховых или каких-то иных взносов, только чтобы не покидать сестер и родных мест.

Доехав поездом до станции Средняя, мы с Софьей Николаевной пешком прошли 10 верст, отделяющих Жуково от железной дороги, были встречены весьма приветливо, накормлены жареной свининой, напоены морковным чаем с картофельными лепешками и уложены спать на антресолях. Часа через два я проснулась от звуков музыки, доносившейся с нижнего этажа. Спустившись по лестнице, я тихо вошла в пустынную, залитую лунным светом залу. Зимой в этом помещении находилась школа, но теперь парты были вынесены и стоял один рояль. За ним сидела Татьяна Дмитриевна и играла Бетховена. Никто и никогда не мог заставить ее играть при людях, несмотря на то, что она экстерном окончила Московскую консерваторию — это была одна из ее

небольших странностей. Стоя в углу, куда не падал лунный свет, я слушала, смотрела и думала: «Вот это надо обязательно запомнить!»

Так жили в деревне.

Как жили в Петрограде после объявления НЭПа, я увидела летом 1922 года, когда вместе с Димой приехала на свидание не только с отцом, но и с вернувшимся из приволжских краев Шуриком.

Начну с внешнего вида города. На Марсовом поле уже не было овощных грядок, и на их месте, вокруг могилы жертв революции, намечался сквер. Многие здания, освободившись от скрывавших их фасады вывесок, предстали во всей красоте своих линий, хотя и казались непривычно оголенными. Жители Петрограда, после нескольких лет «эстетического голодания», вдруг влюбились в свой город, ревностно изучали его историю, любовались его архитектурой. Из уст людей, от которых этого никак нельзя было раньше ожидать, звучали имена Растрелли, Росси, Камерона.

Со сказочной быстротой в еще так недавно забитых досками торговых помещениях открывались частные предприятия, главным образом продовольственные. Так, на Пантелеймоновской улице, на месте с детства мне знакомой булочной Бетца работала пекарня и кондитерская «Лор» — с пирожными, марципановыми рогульками и прочими соблазнительными вещами. У подъездов вновь открывшихся ресторанов стояли откуда-то появившиеся извозчики-лихачи. На эстрадах звучала модная песня «О бубликах», своей тематикой напоминавшая «продовольственные» частушки калужского Солодова:

Ночь надвигается, фонарь качается
на рысаке.
А я несчастная, торговка частная,
Стою на улице в одном платке.
В корзинке бублики
Почтенной публике.
Гоните рублики
и поскорей!

Были также куплеты на другую тему:

Пускай же совесть того замучит,
Кто мово Петьку загепеучит!

Прорывавшаяся жажда жизни принимала подчас уродливые формы — на Владимирской открылся игорный дом, где новоявленные дельцы — нэпманы — швырялись деньгами, а затем за бесценок скупали в мрачных квартирах коренных ленинградцев фамильные, неповторяемые вещи. Очень много предметов искусства по невидимым каналам уплывало за границу.

Получить квартиру в Петрограде в ту пору было довольно просто. Я застала Шурика, Татьянку и Алика живущими во втором этаже нового дома на Большой Дворянской, в двух шагах от так называемого «дворца Кшесинской» (в котором, кстати говоря, ничего дворцового не было — это была вилла в стиле модерн). Квартира молодых Сиверсов состояла из трех комнат, красиво обставленных частью уцелевших (благодаря Александре Ивановне) их вещей.

Я была удивлена, увидев две незнакомые мне бронзово-хрустальные люстры. Одна из них, с «бутылкой» рубинового стекла и крупными гранеными подвесками в виде дубовых листьев, была, несомненно, елизаветинской. Вторая представляла собой кружево из хрустальных цепей и фонтанчиков вокруг центральной вазы из бирюзового фарфора (павловский период). Оказалось, что эти люстры создал сам Шурик и их история такова: на углу Миллионной и Зимней Канавки стоял дом, до революции принадлежавший семье его товарища по лицею Ферзена. Проходя однажды мимо этого дома, Шурик заметил, что на улице дети играют хрустальными подвесками. Он зашел в ворота, побеседовал с дворником, и тот провел его на чердак, где лежала груда ломаной бронзы и хрусталя. Брат купил все эти жалкие остатки и, вооружившись паяльником и плоскогубцами, собрал из них две люстры, которые с успехом могли висеть в любом музее.

Но я слишком долго говорила о вещах — пора перейти к людям.

За шесть лет, что я его не видела, Шурик, несомненно, утратил свою «юношескую свежесть», но не утратил присущего ему обаяния. Не будучи «красивым» по всем канонам этого понятия, он был более чем красив: он был очарователен. Говорю я это вполне беспристрастно, и вряд ли найдется человек, знавший его, который мог бы это оспаривать.

Поскольку, однако, я вступила на путь объективных суждений, то должна признать, что, может быть, в силу этой самой обаятельности, Шурик не был преисполнен семейных добродетелей. К Татьянке и Алику он относился с шутливой ласковостью, но ограничивать свою жизнь домашним кругом не имел охоты. В описываемое мною время отец был им недоволен. Шурик увлекся одной дамой: молодой женой старого морского офицера, участника Цусимского боя, причем выбор его оказался неудачен. Я познакомилась с m-me С., и мы друг другу не понравились — она нашла, что у меня слишком «общедворянский», недостаточно модный вид; я же нашла, что она похожа на продавщицу из модной лавки с примесью того, что в семье Толстых (в Ясной Поляне) называли «Фамбра де Шамбра» (от *femme de chambre*).

Татьянка, несомненно, страдала от этого ухаживанья, но держала себя с удивительным и даже чрезмерным благородством. Много внимания она уделяла Алику, которого я тут впервые увидела. Это был худенький мальчик с прелестным личиком. Крепкий, хорошо сложенный Димка, с его трезвым, слегка насмешливым умом, представлял собою реалистическое начало, тогда как нервный, впечатлительный Алик был созданием трогательным и поэтическим. Живя в мире фантастики, он мог иногда погрешить против правды, и в таких случаях Димка впивался в него прищуренными глазами — Алик замолкал и краснел до слез, а Димка презрительно цедил сквозь зубы: «Альчик-мальчик — врет — краснеет — и плачет!» Тут Алик, подверженный приступам гнева, самозабвенно кидался на него с кулаками, и их разводили по углам.

В петроградском периоде его жизни у Алика был верный друг — один из новых приятелей моего отца, молодой профессор университета Александр Николаевич Макаров. Не имея еще своей семьи и обладая нежной

душой, он очень полюбил Алика и стал для него примерно тем, чем для нас когда-то был дядя Кока Муханов. Он мог проводить с Аликом целые часы и всячески старался его побаловать.

Александр Николаевич был ярым поклонником и пропагандистом поэзии Анны Ахматовой. С ним соглашалась вся наша семья, за исключением отца, который не воспринимал новых стихов и, смеясь, предлагал изменить известные ахматовские стихи о перепутанных перчатках более современными образами:

Я на правую ногу одела
Валенок с левой ноги.

В ходе разговоров выяснилось, что Александр Николаевич — двоюродный брат Льва Александровича Бруни; тут же я узнала, что мой козельский приятель в Петрограде и его можно найти в Мозаичном павильоне Академии художеств. Я отправилась на Васильевский остров и разыскала Мозаичный павильон. Поднимаясь на второй этаж, я заметила, что на каждом пролете лестницы висит указующая таблица со стрелкой и надписью «к памятнику».

Леву Бруни я нашла среди рисунков, эскизов и набросков в помещении, где он, по-видимому, и работал, и жил. После первых радостных приветствий я спросила, к какому памятнику ведет его лестница. Оказалось, что в центре Мозаичного павильона находится мастерская его приятеля Татлина, работающего над футуристическим проектом памятника 3-му Интернационалу. Это гигантское сооружение должно было представлять собою комбинацию куба, цилиндра и шара. В кубе предполагалось поместить магазины, гаражи, склады и прочее, в цилиндре — просветительные учреждения — библиотеки, лекционные залы; что собирались устроить в шаре, я не помню. Все части этого монумента должны были медленно вращаться вокруг своей оси — каждая в свою сторону.

Мне удалось увидеть и автора проекта — это был высокий светловолосый человек с грубоватым лицом и решительным видом. Вокруг татлинского проекта возникло много шумихи, но до осуществления он, к счастью, не добрался.

Во время визита в Мозаичный павильон я познакомилась с женой Льва Александровича и вспомнила слова ее *beau frére*'а: «Нина Бальмонт похожа на 12-летнюю девочку, рассматриваемую под микроскопом». И хотя это было довольно метко, но я сравнила бы ее, пожалуй, с высоким, хорошеньким пареньком. В ее лице с большим, красиво очерченным ртом, нежной кожей и озорными глазами, в ее закинутых назад коротких волосах было что-то мальчишеское, резкое и вместе с тем привлекательное. Во всяком случае, она не была похожа на мать двоих детей — Вани и Насти, — оставшихся в козельских краях с бабушкой. Свой домик около Оптиной пустыни Бруни еще долго не ликвидировали. Это была основная база их жизни, куда они с восторгом возвращались при всякой возможности.

В конце 20-х годов я вновь увидела Льва Александровича в Москве. Он уже был всеми признанным крупным художником, преподавал во ВХУТЕИНе и жил в бывшем Училище живописи и ваяния на Мясницкой в непосредственном соседстве со своим старшим коллегой и другом Фаворским, прекрасным человеком и автором столь же прекрасных гравюр по дереву.

Но я замечаю, что, говоря о чужих делах, ничего не сказала о «трудоустройстве» Шурика. По приезде в Петроград он поступил в Управление ГУМа, а когда в 1923 году наступила кратковременная эра иностранных концессий, перешел на должность управделами большой немецкой концессии «Мологолес», занимавшейся эксплуатацией больших лесных массивов по рекам Волхову и Мологе. Концессионерами были регенсбургские немцы, правление помещалось в здании бывшего германского посольства на Исаакиевской площади. Немецкие бюргеры, у которых, вероятно, раньше не было такого управделами, сразу оценили брата и были с ним весьма любезны. Сын одного из главных пайщиков Химмельсбах, которого Алик называл «Небесный Ручей», искал его дружбы и окружал знаками внимания.

Чтобы покончить с петроградскими впечатлениями и вернуться к Калуге, я должна упомянуть о том, что нам троим — папе, Шурику и мне — пришлось летом 1922 года похоронить на Полюстровском кладбище дядю

Коку Муханова. Похороны были самые скромные, как и последние годы его жизни на Выборгской стороне, среди простых людей. Стоя у его могилы, я испытывала горечь от сознания, что осталась в долгу перед дядей Кокой и не расквиталась за все хорошее, полученное от него в детстве. Правда, я ему писала из Козельска и даже собиралась послать посылку, но... только собиралась.

Возвращаясь из Петрограда домой, я остановилась в Москве и пошла посмотреть Первую сельскохозяйственную выставку, устроенную на пустыре за Крымским мостом, там, где теперь находится парк с претенциозным названием «культуры и отдыха». Выставка была довольно убогая. Часть ее занимали образцы жилищ народов нашей страны, в том числе и крестьянская изба, топящаяся по-черному. Этот отдел выставки осматривал детский сад под руководством молодой воспитательницы. Кто-то из детей, остановившись перед курной избой, спросил: «И такие дома по всей России?» Возмущенная воспитательница прервала его: «Что такое Россия? Чтоб я никогда не слышала этого слова! Надо говорить не "по всей России", а "по всему Союзу"». Мне стало тошно. Вспомнилось, как мы с Шуриком в возрасте пяти лет декламировали, а иногда и распевали «Воздушный корабль» Лермонтова. Когда мы доходили до слов «под снегом холодной России», наши голоса дрожали от умиления. И вот это слово под запретом!

Столь ретивая воспитательница кажется теперь явлением неправдоподобным, однако все это было, и я допускаю, что многие словесные формулировки того времени, по существу даже безобидные, могли вызывать внутренний протест и влиять на умонастроение людей моего поколения.

Итак, возвращаюсь к Калуге. Наиболее интересным событием зимы 1922—1923 годов было стало знакомство с Анной Ильиничной Толстой, старшей внучкой Льва Николаевича.

В один прекрасный день к нам на Нижнюю Садовую явилась высокая, плотная женщина (по ее сходству с Толстым я сразу поняла, кто она) и сказала: «Ну знаете, Татьяна Александровна, совершенно невозможно терпеть,

чтобы мы с вами, живя в одном городе, не знали друг друга. Имеются все предпосылки к тому, чтобы мы были не только знакомы, но и гораздо больше!» С этих слов началась моя 32-летняя дружба с Анночкой, закончившаяся лишь недавно с ее смертью.

Непосредственным толчком для Анны Ильиничны послужило ее желание организовать (при моем участии) артель для производства и сбыта различных женских рукоделий (нечто вроде дореволюционных кустарных артелей земства). По словам Анны Ильиничны, совнархоз очень заинтересовался этим проектом и обещал поддержку.

Анна Ильинична обладала кипучей энергией, а тут ею двигала мысль дать калужским женщинам возможность приспособить к делу свои «золотые руки» и вместе с тем, путем внедрения хороших образцов, постепенно исправить их вкус. Последняя миссия возлагалась на меня, так как я со времени Строгановского училища сохранила тетради с зарисовками русских орнаментов и, кроме того, горела желанием вступить в борьбу с «виньетками» на платьях и рыночными стенными ковриками, среди которых особенным успехом пользовался мохнатый пудель с пуговицами вместо глаз.

Воодушевленные такими широкими и благородными планами, мы с Анной Ильиничной пошли подыскивать помещение. Нам нужна была красивая витрина на главной магистрали города — Никитской улице. Первые шаги наши оказались неудачны. Как только мы, в сопровождении представителя горкомхоза, переступили порог одного долго пустовавшего торгового помещения, под нами обрушился пол и мы оказались лежащими в подвале (к счастью, не очень глубоком), откуда были с трудом вытащены нашим спутником (отделались синяками и ссадинами).

Несмотря на столь неудачное начало, нам все же удалось найти помещение в верхнем конце Никитской улицы — без красивой витрины, но с крепким полом. Над входной дверью мы поместили белую вывеску с голубыми полосками, посреди которой в овальном медальоне красовалась надпись «Кустари». По этому поводу мною немедленно были написаны стихи, начинавшиеся словами:

Сообщают все друг другу
От зари и до зари,
Что гремит на всю Калугу
Мастерская «Кустари».

Кустари? Такое слово
Для Калуги очень ново.
Заключаются пари:
«Кто такие "Кустари"?»

В артель, кроме Анны Ильиничны и меня, вошли Любовь Павловна Леонутова, калужская дама Римма Алексеевна Местергази, жившая на покое шляпочница от Ламановой Зиночка и две портнихи-профессионалки.

Просуществовали мы очень недолго. Наш корабль разбился о подводный риф финотдела, который мы, по своей неопытности, не учли. По прошествии трех месяцев наша неокрепшая артель была столь жестоко обложена фининспектором, что мы не знали, как унести ноги. Совнархоз, обещавший взять нас под свое покровительство, ничем не помог; мы быстро сдали патент, закрыли лавочку и долго еще находились под страхом описи личного имущества.

Моя дружба с Анной Ильиничной тем временем крепла, и я с удовольствием согласилась поехать с ней на лошадях в Суходрев для приискания дачи Сереже Сухотину, тому самому, имя которого встречается в главе «Гимназические годы». Как сейчас помню яркий весенний день, таратайку, мягко катящуюся по еще не просохшей земле, и сидящую рядом со мной Анночку в синей мужской поддевке и черной, бархатной, похожей на скуфью, шапочке. Вот что она мне рассказала по дороге.

Как только разразилась революция, все Толстые устремились под охранительный кров Ясной Поляны. Среди «устремившихся» был и пасынок Татьяны Львовны Сергей Михайлович Сухотин. В ранней юности он был женат на известной пианистке Ирине Энери (Горяиновой), с двенадцати лет выступавшей на концертной эстраде в качестве вундеркинда, и имел от нее дочь Наташу. Через год Ирина Энери покинула семью и уехала за границу, Сухотин же в Ясной Поляне женился на совсем юной дочери Андрея Львовича Соне.

Далее произошло нечто неожиданное: вскоре после свадьбы Сухотина разбил паралич. В состоянии полного рамолисмента* он жил теперь на квартире матери Сони в одном из пречистенских переулков и требовал немалого ухода. И вот, чтобы дать своей тетке некоторую передышку, Анна Ильинична решила снять у знакомого мельника комнату, куда бы можно было перевезти Сухотина на лето. Наша поездка увенчалась успехом. Анночка договорилась с мельником, и мы благополучно вернулись в Калугу.

Так как Сухотин больше не встретится на моем пути, я хочу, несколько нарушая хронологию, рассказать о его дальнейшей судьбе.

Когда теткам Анны Ильиничны — Татьяне Львовне и Ольге Константиновне стало совсем невмоготу, они написали в Париж Феликсу Юсупову, прося забрать своего приятеля и «сотрудника» (Сухотин вел машину с телом Распутина на острова, где тело спустили под лед). Юсупов ответил: «Давайте его сюда», и Толстые попросили одного из дипкурьеров (кажется, чехословацкого) довезти больного до Парижа. В Варшаве дипкурьер на час отлучился из вагона. Когда он вернулся, Сухотина в купе не оказалось. Поезд не ждал, и курьер поехал дальше. Сухотин тем временем отправился бродить по Варшаве и в конце концов упал на улице. Его подобрали, приняв за пьяного, потом разобрались, направили в больницу, полечили некоторое время и в состоянии улучшения доставили в Париж, где он все же вскоре умер.

Такова печальная судьба Сережи Сухотина, того самого, которого мартыновская англичанка называла «Sir Roger».

Я не собираюсь пересказывать всего того, что слышала от Анны Ильиничны о ее детстве и юности в Ясной Поляне; все, что касается семьи Толстых, хорошо известно по первоисточникам, но мне следует объяснить, почему Анночка оказалась в Калуге.

На Никольской улице много десятилетий стоял длинный, солидно построенный дом княжон Горчаковых (теток предпоследнего губернатора). Одна из них, Мария Сергеевна,

---

* Размягчение некоторых органов (*мед.*).

уже будучи немолодой, вышла замуж за горчаковского управляющего, финна по национальности, господина Хольмберга, и имела двух сыновей. Старший из них, Николай Андреевич, будучи студентом Московского университета, женился на Анне Ильиничне Толстой.

В описываемое мною время дом на Никольской национализировали, но владельцам оставили полуподвальный этаж. Там жила очень милая Мария Сергеевна Хольмберг, находящаяся в преклонном возрасте, ее *belle-fille* Анна Ильинична с двумя сыновьями двенадцати и восьми лет и старинная знакомая семьи Ольга Владимировна Храповицкая. Муж Анны Ильиничны часто находился в отъезде, занимая ответственную должность в службе лесных разработок Сызрано-Вяземской железной дороги, начальником которой был все тот же «оборотистый» Борис Бедлинский, сменивший Театр сатиры на нечто более солидное.

Очень интересной фигурой в обстановке 1923 года была Ольга Владимировна Храповицкая, дама, попавшая туда как бы непосредственно из XVIII века, со всеми чертами этой легкомысленной и прелестной эпохи. Подвижная, веселая, добродушно-лукавая, она с мудрой беспечностью воспринимала свое незавидное положение. Две ее замужние, приятельницы Анны Ильиничны, находились за границей и не подавали о себе вестей. Как лист, гонимый ветром, Ольга Владимировна прибилась к семье Хольмберг, умея в то же время никому не быть в тягость. Она не жаловалась на судьбу и лишь иногда, вздыхая, говорила: «День на день не приходится».

Ольга Владимировна пользовалась когда-то большим успехом в обществе, о чем свидетельствуют романсы, посвященные ей соседом по имению Сорохотиным, и надпись, сделанная родственником Храповицких князем Урусовым на своей карточке: «Самой очаровательной кузине от самого преданного кузена». С чисто французским лукавством она могла прошептать, глядя на Римму Алексеевну Местергази: «Добродельная женщина всегда скучна», или в отдельных случаях проявить удивительную энергию: услышав, что в Дольском (имении Храповицких около станции Суходрев) в беспризорном состоянии находится большой красивый портрет одной из Храповицких

работы Митуара, она частью по железной дороге, частью пешком, отправилась туда, выручила портрет, собственноручно привезла его в Калугу и пожертвовала в местный музей, где он, может быть, находится и по сей день.

Мне никогда не было скучно с Ольгой Владимировной, она же не только относилась ко мне хорошо, но и называла «жемчужиной Калуги» (эпитет этот понравился Борису, и он его распространил, как будто даже без кавычек).

По мере писания в моей памяти всплыл один, уже почти забытый, трагический эпизод. Я вспомнила, что наши имена (Ольги Владимировны и мое) были объединены в совершенно необычайном документе — предсмертном письме человека, покончившего жизнь самоубийством. Вот как это случилось.

В один из моих наездов в Козельск в 1922 году я увидела, что часть косниковской кухни, граничащей с моей комнатой, занята незнакомым пожилым господином далеко не «стандартного» обличия. Проходя по кухне, я заметила два сундука с этикетками заграничных отелей и вскоре узнала, что сундуки эти содержат предметы мужского туалета, достойные лондонского денди начала века (вплоть до цилиндра). Обладатель этих вещей — Николай Константинович Полтев — имел вид петербургского чиновника и доказал свою принадлежность к бюрократическому слою тем, что при первом знакомстве со мною упомянул своего дядю Ивана Николаевича Дурново и тетку Леокадию Николаевну Куровскую. Вид у него был немощный: совершенно лысый череп, слезящиеся глаза, немного отвислая нижняя губа и высокая сутуловатая фигура. Обращали на себя внимание кольца с драгоценными камнями, которые он не снимал с пальцев, по-видимому, боясь с ними расстаться.

История его появления в Козельске такова: по приглашению своей дальней родственницы он покинул голодный Петроград, приехал на хутор к этой кузине, вскоре с ней поссорился и переселился к Косниковым, которые его приняли в надежде, что он будет обучать их детей. По вечерам я слышала, как за моей стеной Федя-Редя, Коляй-Валяй и Володяй-Молодяй до одурения повторяют вслед за Полтевым: «Мон-бон-пер».

Несмотря на то, что мое появление внесло в его жизнь некоторое разнообразие, Полтев скучал у Косниковых и решил переехать в Калугу к своему бывшему лакею, который женился на калужанке с маленьким домиком и звал его к себе. (Несомненно, во всех этих приглашениях магнитом являлись кольца, запонки и палка с золотым набалдашником.)

Вспоминая свои заграничные путешествия, жалуясь на одиночество, признавая свою неприспособленность к современным условиям, Полтев не раз говорил мне, что на крайний случай имеет последнее средство — морфий, при помощи которого в любое время может покончить счеты с жизнью. Я видела в его руках довольно большую склянку с белым порошком, которая доставляла мне одни неприятности: в больнице работал врач по фамилии Парембский, отъявленный морфинист, который каким-то образом узнал о полтевском морфии и периодически умолял меня со слезами на глазах о содействии в его получении.

В 1923 году Николай Константинович уже жил в Калуге. По торжественным дням он надевал цилиндр и приходил с визитом ко мне и к Ольге Владимировне, с которой был знаком раньше. На Верхней Садовой, в собственном доме, жила его двоюродная сестра, Ася Гралевская, врач, известная в городе своей некрасивой внешностью и увлечением теософией. С ней, однако, отношения установились холодные.

Жизнь Полтева текла сравнительно благополучно, пока был жив его хозяин. Когда же последний умер, хозяйка, желая, по-видимому, поскорее завладеть вещами своего квартиранта, написала на него донос в ГПУ. Полтева арестовали, но перед уходом из дома он успел незаметно захватить с собой морфий и лист почтовой бумаги с широкой траурной каймой.

Через день доктор Гралевская получила извещение, что ее родственник скоропостижно умер в тюрьме. Ей также вручили траурный конверт с предсмертным письмом Николая Константиновича, в котором он говорил, что дальнейшая жизнь будет для него рядом унижений и он предпочитает с ней расстаться. Он дает далее указания насчет своих похорон и просит переслать

оставшиеся вещи сыну его друга Яновскому, живущему в Рязани. Письмо заканчивалось словами: «Благодарю О.В.Храповицкую и Т.А.Аксакову, скрасивших последние дни моей жизни. Прошу их прийти на мою могилу».

Воля покойного была исполнена. Мы похоронили его на Пятницком кладбище, вещи переслали Яновскому. Когда я слышу сейчас слова о том, что люди кончают с собой исключительно «из малодушия», мне хочется сказать: «Попробуйте, как это легко сделать», и вспоминаю Николая Константиновича Полтева, сумевшего так мужественно, красиво и своевременно умереть!

На этом я заканчиваю главу о первых годах моей жизни в Калуге. Мне предстоит теперь рассказать о заграничной поездке 1923—1924 годов, чтобы затем снова мысленно вернуться в калужские края, ввести в свое повествование новые лица, проследить, как развивались чувства и события, давно канувшие в вечность и вызываемые из небытия неуловимой и непонятной силой человеческой памяти.

В послевоенной Европе (1923 год)

В предыдущей главе я не сказала о самом важном, самом для меня значительном: после четырех лет полного неведения я в конце 1922 года получила первые известия о маме.

По ее просьбе, ехавший в Петроград университетский товарищ отца Окрент сообщил, что мама жива, здорова и находится в Висбадене. Между нами наладилась переписка, но этого было мало, и мы — то есть мама и я, — каждая со своей стороны, принялись подготавливать мою поездку в Висбаден.

Дело представлялось небезнадежным, так как между советской Россией и Германией существовали нормальные дипломатические отношения. Мама выслала мне въездную визу, а я без особых трудностей получила в калужском губисполкоме шестимесячный заграничный паспорт. На одной его стороне были записаны все данные по-русски, а на другой, не без орфографических ошибок, значилось, что в Германию на свидание с матерью едет *m-me Aksakova avec son fils Demetrius.*

Паспорт стоил только 10 рублей. Для покрытия дорожных расходов я имела право, по предъявлении заграничного паспорта, обменять в московском отделении Государственного банка 450 рублей (300 рублей на себя и 150 рублей на Диму) на доллары по официальному курсу — 2 рубля за доллар.

Все советовали ехать морским путем — это было проще и дешевле. Борис, который и раньше был в дружбе с мамой, всячески содействовал нашей поездке, доставал деньги и теперь поехал провожать нас до Петрограда. Там мы задержались на несколько дней, живя у молодых Сиверсов.

Дело в том, что тетя Лина де Герн настоятельно просила привезти портрет матери ее мужа, оставшийся на квартире покойных бабушки и дедушки. Чтобы получить

разрешение на его вывоз, мне пришлось пойти в Комитет по делам искусств (Шереметевский дом на Фонтанке), где удостоверились, что портрет не представляет собою уникальной ценности, взяли пошлину и дали пропуск. Занимавшие квартиру *grands-parents* Мещеряковы передали мне бабушкино кольцо с довольно крупным бриллиантом и соболью накидку. Я должна была вручить эти две вещи наследницам — маме и тете Лине.

Главная же моя забота заключалась в том, чтобы провезти Вяземскому его штатское пальто, которое мне удалось сохранить и о котором он сокрушался. Пальто было хорошее («довоенного качества»), и мне совсем не хотелось, чтобы его задержали на границе, обнаружив в моем чемодане мужскую вещь. Поэтому я подшила рукава, надела пальто на себя, подпоясалась замшевым пояском, а на плечи накинула бабушкины соболя. В таком виде я вместе со своим сыном Деметриусом села 13 ноября 1923 года на Балтийском вокзале в вагон с надписью «Петроград — Таллин» и отбыла в направлении эстонской границы. Провожали нас Борис и Шурик.

На границу, проходившую через город Ямбург, незадолго до того переименованный в Кингисепп, мы прибыли ночью. Для проверки багажа и документов нас высадили из вагона и препроводили в плохо освещенный и довольно грязный дощатый барак. Документы оказались в порядке, а на мою странную одежду никто внимания не обратил, хотя мы с Димой были почти единственными пассажирами.

Очутившись в Эстонии, я сразу вынула свое пальто и приняла обычный вид. Пятнадцатого ноября утром мы прибыли в Таллин и в открытой коляске направились с вокзала на пристань, где уже стоял, готовый к отплытию, пароход «Обербюргермейстер Хакен» линии Таллин — Штеттин.

День был солнечный, но ветреный. Мы с Димкой стояли на палубе в ожидании отплытия. С одной стороны виднелись очертания Ревельской крепости с ее крытыми черепицей башнями, с другой — расстилалось синее, сверкающее море, испещренное белыми пенистыми гребешками волн.

Как только отзвучал последний гудок и пароход отчалил, пассажиров пригласили к утреннему завтраку. По тому, что я увидела на столе — эрзац-кофе и маргарин вместо масла, — я сразу поняла, что это не прежняя, а «послевоенная» Европа. Не успела я, однако, как следует предаться размышлениям на эту тему, как почувствовала резкое головокружение. Пароход выходил в то место Балтийского моря, где круто направо отходит Финский залив и всегда бывает качка. Тут же, при «свежем» ветре описываемого мною утра не только я, но и другие пассажиры быстро удалились в свои каюты.

Двое суток я лежала на койке в жестоких мучениях. Сейчас, когда я нахожусь на твердой земле, мне очень трудно передать ощущение морской болезни. Помню только, что минутами в голове проносилась мысль: «Скорее бы ко дну, чтобы был конец!»

На второй день, открыв глаза, я увидела, как побледневший Димка самоотверженно нагромождает чемоданы, чтобы, став на них, дотянуться до закрепленного под потолком каюты графина и полить меня водой. Его заботы напомнили мне козельскую эпоху сыпного тифа.

Как потом оказалось, мы попали в жестокий шторм и наш пароход несколько раз перехватывал сигналы SOS с других судов. Когда под вечер третьего дня ветер стих и чуть живые пассажиры выползли на палубу — по свинцовой поверхности моря, и справа и слева, плавали бревна разбитых плотов.

Наконец, в 5 часов утра 18 ноября наш «Обербюргермейстер» бросил якорь в Свинемюнде. Это уже была Германия, вернее, ее форпост. По каютам прошел врач, измерил всем температуру и, удостоверившись, что мы не везем с собою инфекционных болезней, разрешил пароходу войти в устье Одера.

Несмотря на то, что Штеттин находится в 50-60 км от берега моря, он является морским портом. Несколько часов мы тихо шли широчайшим при своем впадении Одером, и этот путь, совершаемый туманным ноябрьским утром, произвел на меня очень сильное впечатление. По обеим сторонам спокойной, глубокой реки из мглы выступали безжизненные громады законсервированных (по условиям

Версальского мира) заводов. На пасмурном небе вырисовывались силуэты неподвижных подъемных кранов. Среди полной тишины раздавался только плеск воды. Это было царство теней.

Переезд наш из Штеттина до Франкфурта-на-Майне, с пересадкой в Берлине, совершился без всяких приключений. Добраться же из Франкфурта до Висбадена было непросто. Прирейнская область находилась во французской оккупации, и немецкие поезда туда доступа не имели. Помню, что мы проходили через заградительные посты, ехали по узкоколейке и, наконец, под большим стеклянным куполом Висбаденского вокзала увидели маму, совсем прежнюю, совсем не изменившуюся. Тут же стоял Вяземский в штатском и, по своему обыкновению, застенчиво улыбался с высоты своего громадного роста.

Не буду описывать маминой и моей радости при встрече — это дело само собой разумеющееся. Не имеет также смысла передавать то, что я рассказывала маме. Я только более подробно и образно излагала всё содержащееся в трех предшествующих главах моих воспоминаний.

Гораздо больший интерес представляет услышанное мною от мамы, но, прежде чем приступить к изложению ее рассказов, я хочу посвятить несколько слов моим впечатлениям от оккупированного французами Висбадена.

Этот тихий курортный городок был перенаселен. Ввиду того, что немецкая марка катастрофически падала (в 1923 году уже ходили бумажные биллионы) и экономическая жизнь вращалась вокруг незыблемого доллара, в Прирейнскую область стекались люди, у которых имелись хотя бы незначительные, но не немецкие деньги. Для них жизнь была не дорогой и, кроме того, открывалась возможность спекуляции.

Городское самоуправление оставалось в руках немцев, но высшая власть принадлежала французским военным. Мама быстро сумела с ними познакомиться, получила пропуск в закрытый кооператив и «трудоустроила» по крайней мере десятерых русских безработных — в их числе двух кабардинцев, о которых я когда-то рассказывала.

Каждый день в 4 часа на площади перед ратушей, в том самом месте, где виднелся выложенный мозаикой

германский одноглавый орел, происходил развод французского караула. По улицам дефилировали марокканские части, и перед каждой колонной, под звуки дудок и барабанов, жонглировал булавой рослый темнокожий тамбурмажор. Иностранцы смотрели на это с интересом, а коренные жители, стиснув зубы, отворачивались. Однажды Дима, не пропускавший ни одного парада, пригласил с собой девочку из соседней квартиры, но та, покачав головой, сказала: «Мы на это не смотрим». Потом я узнала, что два брата ее матери были летчиками и погибли.

При первом беглом знакомстве с Висбаденом я обратила внимание на красивую беломраморную русскую церковь на вершине доминирующей над городом горы — Нероберга. Эта церковь была когда-то построена одной из русских великих княжон, вышедших замуж в Германию. В 1923 году при церкви организовали прекрасный хор под управлением офицера Афонского. Однажды, в день, посвященный памяти защитников Вердена, французское командование пригласило Афонского исполнить в католическом соборе патриотическую кантату. Текст кантаты был роздан участникам хора. Никогда не забуду растерянного выражения лица Афонского, когда он, забежав к маме, сообщил, что начальство просит петь кантату на мотив «Стеньки Разина». «Эта песнь, оказывается, производит на французов неотразимое впечатление, — говорил Афонский, — и теперь, убедившись в том, что размер стихов кантаты прекрасно подходит к полюбившемуся им напеву, генералы ни о чем другом и слышать не хотят!» Для русского хора спеть «Стеньку Разина» с патетическими словами на французском никаких трудностей не представляло, и в день памяти Вердена под сводами собора раздались совсем не подходящие к месту и случаю звуки. Французы, однако, были довольны.

За шесть месяцев моего пребывания в Висбадене мне часто приходилось наблюдать, как попытки оккупационных властей «офранцузить» Прирейнскую область разбиваются о молчаливое, но упорное сопротивление населения. Так, в начале 1924 года я стала свидетельницей явно инспирированного французами выступления «сепаратистов», то есть сторонников отделения Рейнланда

от Германии. Население Висбадена и окрестных поселков в одну ночь с этим делом покончило. Клуб сепаратистов был разгромлен, и об этом движении никто больше не заикался.

Несмотря на то, что Германия нуждалась в иностранцах, ввозивших валюту, их имущественные права неуклонно сужались. Мама это испытала на себе. Еще в Калуге мы знали, что мама живет на Emserstrasse, 17 в собственном доме. Я никак не могла себе представить, что это за владение, и была крайне удивлена, когда мы с вокзала подъехали к очень приличному, узкому, но высокому дому из серого камня, отделенному от улицы красивой чугунной решеткой. Позади дома имелся небольшой садик с тремя абрикосовыми деревьями и мраморным водоемом для фонтана.

Я была поражена таким великолепием, но вскоре оказалось, что это «фикция» — нечто вроде предприятия «Кустари». Хотя мама и числилась владелицей дома («Hausbesitzerin»), но, как иностранка («Auslanderin»), имела право полностью платить налоги, но не имела права распоряжаться жилплощадью.

В доме было три квартиры (в разных этажах). В одной из них жили бесплатно (по условиям продажи) две немки, бывшие владелицы дома. Вторую занимала семья банковского служащего Пуасилли, дочь которого, Анита, не желала смотреть на марокканцев. Пуасилли — как местные жители — платили маме за площадь очень мало, по твердым ставкам. В пользовании новой владелицы остались, таким образом, две комнаты в первом этаже, две мансарды под крышей и урожай с трех абрикосовых деревьев.

Выгода была небольшая, но мама утешала себя мыслью, что на покупку дома затрачена весьма скромная сумма долларов, которую она получила от дяди Альфреда, а после того, как тот узнал о смерти дедушки (в счет каких-то старых расчетов). В переводе на немецкие деньги эти доллары превратились в бумажные миллионы, на которые можно было купить целый дом, оказавшийся в конце концов тоже «фикцией». Таковы были «мыльные пузыри» послевоенной Европы.

Наш с Димой приезд из далекой, недосягаемой России произвел некоторую сенсацию среди русских висбаденцев, лейтмотивом настроения которых оставалась тоска по родине. На второй день моего пребывания к маме забежала ее знакомая, обладательница прекрасной виллы m-me Ferrot, урожденная Старицкая, чтобы пригласить нас на обед. При этом она с жаром добавила: «Вы подумайте, какая удача! Мне удалось достать пшена, и у нас будет борщ с пшенной кашей!» Под общий смех я заявила, что лучше приду после обеда, так как пшенной кашей, которая пять лет не сходила у меня со стола, меня никак соблазнить нельзя.

Как только я приехала, мама принялась меня «одевать». Сначала я получила все, что мне понравилось из ее гардероба, а потом пришла посылка с вещами от парижских родственниц. Тут мне хочется поговорить о модах 1923 года, которые, кстати говоря, совсем не подходили ни к маминому, ни к моему стилю и которым мы следовали лишь очень отдаленно. Моды 1923 года интересны не столько сами по себе, сколько своими истоками. Касаясь этой темы, надо прежде всего рассказать об очень интересных вещах, ничего общего с дамскими модами не имеющих, но, несомненно, на них отразившихся.

В начале 20-х годов на берегу Нила, в результате долгих (с 1923 по 1937 год) исканий английского египтолога лорда Карнарвона и Томаса Картера, было обнаружено место захоронения молодого фараона Тутанхамона. Руководствуясь какими-то указующими надписями, члены экспедиции в составе семи человек неутомимо производили раскопки и, в момент, когда последние деньги иссякли и контракт с египетским правительством истек, наткнулись на гробницу, содержавшую несметные сокровища — главным образом предметы из золота — большой художественной ценности. Мумия была заключена в золотой саркофаг, а в виде подушки под головой фараона — как нечто особенно ценное — лежал кусок самородного железа, по-видимому, осколок метеорита.

Первым следствием этой прогремевшей на весь мир находки стал процесс между лордом-египтологом и египетским правительством, вторым — то, что Западная Европа

и Америка помешались на всем египетском. Женщины стремились придать себе контуры фигур с египетских фресок: квадратные острые плечи, плоская грудь, узкий таз, прямые, подстриженные по ровной линии, волосы. Отсюда — узкие платья с длинной талией и короткой юбкой, светлые чулки, туфли на низком каблуке, цветные бусы на шее, подбритые затылки, египетский орнамент на тканях и, уж совсем не египетский, коротенький и толстый зонтик под мышкой.

Шумиха вокруг наследия Тутанхамона еще не замерла к моменту моего приезда в Висбаден, и газеты постоянно сообщали ту или иную сенсацию на эту тему. Достоверным было то, что лорд-египтолог и его жена скоропостижно умерли, не дождавшись окончания процесса. Вместо них — и более успешно — выступило английское правительство, после чего большая часть сокровища Тутанхамона из Египта направилась в Британский музей. Наряду с этой официальной версией существовала и другая, более сенсационная: над входом в помещение, где стоял саркофаг, члены экспедиции прочли надпись, согласно которой вход в усыпальницу запрещался под страхом смерти. Как известно, запрет этот был нарушен, и теперь все семь человек умирали самым таинственным образом по очереди: кто-то погиб от укуса ядовитой мухи, кто-то утонул, и при мне газета «Le Matin» под заголовком «La septieme victime de Toutan-khamon» сообщала о смерти последнего члена экспедиции.

Сознавая, что я достаточно уклонилась в сторону (вплоть до египетских фараонов!) и давно пора приступить к изложению маминых рассказов, я все же хочу упомянуть о том, что по приезде в Висбаден я познакомилась с семьей Нахичеванских, жившей через два дома от нас по Emserstrasse и состоявшей из старой княгини Софьи Николаевны, ее сына Юрия и его жены Марии Михайловны. Делаю я это потому, что как раз этой молодой княгине Нахичеванской будет уделено видное место в маминых рассказах. Чтобы необычайная судьба этой женщины, неожиданно встретившейся на маминой пути, не вызвала у читателя улыбки недоверия, я напомню, что дело происходило в 1918—1922 годах, в то время, когда жизнь, выйдя из привычных берегов, создавала самые причудливые комбинации.

Итак, вот что мне рассказала мама. В начале 1919 года она ехала морским путем из Англии на Дальний Восток, на поиски своего мужа. Задача была трудная. Мама не знала, где Вяземский (она могла лишь предполагать, что он «где-то в Сибири»), и все же, продав оставшиеся у нее более или менее ценные вещи и (как я говорила выше) прибегнув к займам, она пустилась в путь.

Морской переход был долгим — особенно нудно оказалось плыть по Красному морю. В Индийском океане она, с чувством гнетущего одиночества, часами смотрела на незнакомые южные звезды, спрашивая себя: «Зачем, собственно, я здесь?!» Но все же ехала вперед, веря, что преодолеет все препятствия на пути к намеченной цели.

В Японии мама попала в железнодорожную катастрофу и спаслась только благодаря тому, что ехала в одном из задних вагонов. Все передние вагоны, в том числе багажный, превратились в щепки. Пострадал мамин чемодан, но убытки были немедленно и беспрекословно возмещены управлением железной дороги. По прибытии в Шанхай мама зашла в магазин, чтобы заменить пришедшую в негодность во время крушения шляпу новой, и была удивлена высокой ценой. «Почему же эта шляпа так дорога?» — спросила она. На это продавщица с гордостью сказала: «А вы посмотрите, что здесь написано!» — и перевернула шляпу вверх дном. На этикетке значилось: «Au Bon Marche. Paris». Мама улыбнулась — в Париже шляпы из универсальных магазинов особой славой не пользуются — и предпочла шанхайскую продукцию.

Впечатления о Японии были мимолетны. В память только врезалась громадная фигура Будды, стоящая на берегу моря в городе Кобе. Мама никогда не могла забыть этого спокойного, проникновенного, как бы знающего все истоки и все концы взгляда, устремленного в безбрежные морские просторы.

Во Владивостоке начались те самые «случайности», которые породили английскую пословицу: «Life is stranger than fiction». На улице, на второй день по приезде, мама встретила того самого железнодорожника (господина Нахтмана), который провез Вяземского через чехословацкий фронт где-то около Самары. Но этот человек знал не более того, что мама уже подозревала, то есть что Владимир Алексеевич «где-то в Сибири».

И вот мама поехала по Сибирскому пути с востока на запад, останавливаясь на крупных станциях для наведения справок и встречая сочувствие и помощь со стороны самых разнообразных лиц. Чита находилась во владении атамана Семенова. Когда мама, продолжая розыски, направилась в его штаб, то перед входом в резиденцию атамана (бывший губернаторский дом) увидела с одной стороны сидящего на цепи медведя, а с другой — орла. Эта азиатская экзотика была в духе того, что происходило в Забайкалье во время «семеновщины».

Атаман принял маму весьма любезно, и сразу же во все концы по прямому проводу полетели депеши с вопросами о местонахождении Вяземского. Во время маминого разговора с Семеновым дверь его кабинета отворилась и появилась молодая хорошенькая женщина, повязанная на русский манер платочком. Это была «атаманша», Мария Михайловна, по-видимому, сгоравшая от любопытства и желавшая посмотреть, что за дама приехала в Читу из Западной Европы. С подкупающим простодушием она повела маму к себе обедать и стала уговаривать поселиться у них в ожидании ответа на депеши.

Атаманша находилась в зените своей «славы» и имела в то время большое влияние на Семенова. Увешанная жемчугами и соболями, она разъезжала в собственном поезде, выкрашенном в желтый цвет забайкальского казачества. Китайские газеты называли ее «божественным цветком» и «небесным лотосом», и, что замечательнее всего, она была очень популярна среди простых людей и считалась заступницей угнетенных. В городе сложилось убеждение, что она открывает атаману глаза на окружающие его безобразия, а окружающие атамана безобразники планомерно вели против нее интриги.

Все это мама узнала за несколько дней пребывания в Чите, узнала она также, от самой Маши, предшествовавшие события ее жизни и еще о том, что в Чите живет молодой человек Юрий Каратыгин, бывший катковский лицеист, который Маше очень нравится.

Полученные по прямому проводу ответы о Вяземском были сбивчивы, и мама решила ехать в Омск. В пути она размышляла о том, насколько «свет мал». Из рассказов атаманши Маши выяснилось, что она, уроженка

города Козлова Тамбовской губернии, в ранней юности служила прислугой у Кашкаровой, нашей соседки по Козельскому уезду. После революции она какими-то судьбами очутилась в одном из сибирских городов (каком — не помню), где выступала на открытой сцене небольшого ресторанчика. Особенный успех имела в ее исполнении залихватская песня «Ах шарабан мой, шарабан», отчего и исполнительница стала называться среди своей буйной аудитории «Машка-Шарабан».

Ресторан посещали главным образом офицеры — бывал там и Семенов. При Машке велись разговоры о возникновении среди уссурийского казачества Белого движения, которое она, будучи очень набожной, воспринимала как «святое дело». Однажды, услышав, что из-за полного отсутствия средств (не было денег на корм лошадям), отряды придется распустить, она завязала в платок свои золотые колечки и сережки, пришла к Семенову и попросила принять ее пожертвование. С этого времени в истории Семеновского движения наступил перелом: со всех сторон потекли деньги, и движение окрепло. Полубурят Семенов, будучи весьма суеверным, не сомневался, что всем этим он обязан «легкой руке» Маши, сошелся с ней и, постепенно возвышаясь сам, возвел ее в сан «атаманши», в котором и застала ее мама.

В Омске подвиг моей матери увенчался успехом: она напала на след Вяземского, который, хотя и находился где-то на несколько сот верст севернее, но мог быть вызван по телеграфу. Несколько дней прошло в обмене депешами. Узнав, что приехала его жена, Вяземский принял это за мистификацию и ответил: «Моей жены здесь быть не может — прошу меня не беспокоить». Лишь после настойчивых разъяснений он примчался в Омск. Мама обрела его примерно в таком же виде и в таком же окружении, как некогда в Москве, и ей пришлось применить всю силу своей любви, чтобы вывести его из состояния одичания. Великого князя он не нашел.

Колчаковский фронт между тем упорно откатывался на восток. Вяземские откатывались вместе с ним, стараясь, по мере возможности, не разлучаться, и в конце концов докатились до Читы, где были встречены как старые знакомые. Внешне в окружении Семенова все

осталось по-старому — он даже получил на хранение золотой фонд Российской империи, — но, по мере приближения фронта, исчезала уверенность в завтрашнем дне. Атаман ездил советоваться с шаманами, вокруг Марии Михайловны плелись интриги, имевшие целью свергнуть ее, а сама она смело и весело бегала на свидания к Юрию Каратыгину.

В результате длительных стараний интригующей партии удалось, с одной стороны, разжечь ревность Семенова, а с другой — уговорить Машу поехать в Циндао лечиться от какой-то несуществующей болезни желудка. Во время ее отсутствия Семенова на ком-то женили, и Машина атаманская карьера закончилась, о чем она, кстати говоря, ничуть не жалела. В Шанхайском банке на ее имя лежала некоторая сумма денег, дававшая ей возможность вызвать Юрия Каратыгина и жить с ним в каком-нибудь тихом месте. Маша приступила к осуществлению этого плана, но судьба решила иначе.

За несколько дней до свадьбы, которая должна была состояться в Шанхае, Юрий встретил на улице знакомую даму и зашел к ней в гости. Маша устроила ему сцену ревности. Каратыгин в запальчивости бросил фразу: «Если до свадьбы начинаются такие скандалы, что же будет потом?! Мне лучше сразу застрелиться!» Обезумевшая Маша крикнула: «Такие подлецы не стреляются, а вот от меня — получай!» И выстрелила в него из револьвера.

Юрий Каратыгин не был убит, но случилось нечто худшее: пуля пробила позвоночник, а такое ранение ведет за собой необратимый паралич нижней половины тела. Когда на выстрел сбежались люди и вызвали полицию (дело происходило в гостинице международного сеттльмента), Каратыгин твердо заявил, что стрелялся сам и просит никого не винить. Маша рвала на себе волосы и клялась всю жизнь посвятить уходу за больным и замаливанию греха. Пострадавшего отправили в больницу.

Вскоре пошли слухи, что врачи сомневаются в наличии попытки к самоубийству. Характер ранения указывал на то, что выстрел был произведен с некоторого расстояния.

Маше посоветовали скрыться из Шанхая и ехать с первым пароходом в Европу. Каратыгин должен был последовать за ней, как только немного поправится и станет

транспортабельным. Примерно в то же время, но на другом пароходе, в Европу ехали и Вяземские.

Появление бывшей атаманши на борту океанского пакетбота произвело сенсацию. Длительное морское путешествие всегда вызывает в пассажирах интерес друг к другу, тут же общительность «русской леди», непринужденность ее манер, ее хорошенькое личико, жемчуга и соболя, широкие траты, вывезенные ею из Шанхая, ходившие за ней по пятам китайчата Митька и Витька, а главное, окружавшая ее легенда — привлекли к ней всеобщее внимание. Англосаксы находили всё это «very curious» (очень забавным), а французы задумывались над тайной непонятной им славянской души.

Известно, что ничто так не успокаивает нервы, как пребывание на воде. Вероятно, потому впечатления шанхайской драмы стали бледнеть в сознании Маши. Через некоторое время она утерла слезы, и это позволило ей разглядеть прелестного молодого шведа, который, изучив по воле родителей банковское дело в Японии, возвращался домой. Фамилия (или имя?) этого шведа была Аллан. Он тоже не остался равнодушным и, когда вся компания (Маша, Аллан, два китайчонка и какие-то приставшие в пути прихлебатели) появилась в Париже, куда мама прибыла несколько раньше, состоял уже на правах жениха.

На весьма естественный вопрос моей матери: «А как же Юрий Каратыгин?», Маша с жаром ответила: «Ах, это ничто не значит! Юрочка будет жить с нами. Я его искалечила — теперь я всю жизнь буду о нем заботиться и возить его в колясочке!»

Разрешив так просто эту дилемму, Маша озаботилась другим, а именно тем, что из-за незнания французского языка не могла себя чувствовать свободно в очаровавшем ее Париже. Ей нужен был не только постоянный переводчик, но и ментор. Тут мама вспомнила, что в Париже в стесненном (как и все эмигранты) материальном положении живет Таня Вострякова.

Трудно представить себе людей более разных, чем Маша и Таня, однако на данном этапе жизни мамина мысль устроить Таню в качестве *dame de compagnie* к Марии Михайловне оказалась очень удачной. По воспитанию

и характеру Таня не принадлежала к тому сорту легких в общежитии, но беспринципных людей, которые до той поры окружали Марию Михайловну. Совместная жизнь пошла не совсем гладко, но Таня сумела поставить себя на должную высоту. Впоследствии Мария Михайловна рассказывала, насколько она была поражена Таниной пунктуальностью в денежных делах (добродетель эту она, по-видимому, видела впервые!): имея на руках крупные суммы и производя покупки в момент, когда весь мир был заражен духом наживы и спекуляции, Таня оставалась безупречной.

День проходил так: вставали поздно, Маша в халате, непричесанная, долго вела с Таней задушевные беседы, гадала на картах, потом ехали по магазинам заказывать туалеты. Когда наступал вечер, Маша заискивающе говорила: «Танечка! Поедем на Пигаль!» И тут возрождалась восточная экзотика: Маша в умопомрачительном платье, в соболях и жемчугах, сопутствуемая китайчатами в национальных костюмах, Алланом и многими другими, составлявшими ее свиту, появлялась в каком-нибудь шикарном кафешантане, и весь зал приходил в движение. Бывали случаи, когда после полуночи она сама стояла на эстраде и, под гром аплодисментов столь падких на всякие новинки парижан, исполняла песни из своего прежнего репертуара.

Так шло время. Однажды Маша прибежала к маме взволнованная и растроганная, чтобы сообщить важные новости: во-первых, у нее скоро будет ребенок, чему она очень рада, так как Аллан на ней обязательно женится, а иметь ребенка — эту ангельскую душеньку — великое счастье. Во-вторых, получена телеграмма: Юрий Каратыгин выехал из Шанхая, и она едет его встречать в Марсель. («Юрочка непременно будет жить с нами»).

Каратыгину, однако, не пришлось испытать этого счастья. Не выдержав морского перехода, он умер в пути и, согласно морской традиции, был спущен в воды Индийского океана. Маша поплакала, но ее ждали другие, еще более тяжелые удары: в один прекрасный день газеты сообщили о крахе Шанхайского банка. Аллан, вспомнив, что он давно не видел своих почтенных родителей, отбыл в Швецию и никогда оттуда не вернулся.

Наступил период упадка. Маша и Таня переехали в дешевые меблированные комнаты. Вокруг остатков Машиного имущества стали увиваться всякие дельцы, предлагая помощь в предъявлении претензий к Шанхайскому банку. (Банк, по слухам, собирался выплатить по 10 копеек за рубль, но это было гадательно.) В числе посетителей Марии Михайловны состояли: кавалерийский офицер Евгений Яковлевич Сумцов, сыгравший впоследствии трагическую роль в жизни Тани (но об этом потом), и тот самый московский прожигатель жизни Прасолов, который в 1912 году убил свою жену в ресторане «Стрельна» и против которого с обвинительной речью выступил на суде дядя Никс Чебышёв. В Париже репутация Прасолова тоже была неблаговидна. Таня не подала ему руки и на этой почве поссорилась с Марией Михайловной и покинула ее.

После этого судьба Маши на некоторое время выпала из маминого поля зрения. Вяземский заболел печенью, и мама решила уехать с ним в Карлсбад, где, кстати, и жизнь была значительно дешевле, чем в Париже.

Теперь, чтобы связать концы в рассказе об атаманше Маше, я должна вернуться к лицам, упомянутым мною в начале этого повествования. Младший сын весьма уважаемого и погибшего в начале революции генерала, князя Нахичеванского, учился в Пажеском корпусе и являл собою тип избалованного маменькиного сынка, со всеми вытекающими из этого недостатками. Во всяком случае, такое впечатление он производил, когда мама видела его еще в дореволюционные годы среди лиц, окружавших Михаила Александровича. (Муж дочери князя Нахичеванского, Керим Эриванский, был, как и Вяземский, ординарцем великого князя.)

Когда мама жила в Карлсбаде, до нее дошел слух, что Юрий Нахичеванский в Париже женился на «богатой казачке», взялся за ум, стал добродетельным семьянином и погрузился в коммерческие дела. Самым же неожиданным для мамы стала весть, что «богатая казачка» — это не кто иная, как Маша.

Прослушав, по приезде в Висбаден, рассказ о маминой сибирской эпопее, в которую тесно вплелась новелла о Машке-Шарабан, я испытала естественное желание

увидеть героиню столь необычайного романа. Исполнить это желание оказалось нетрудно — она жила поблизости и сама прибежала выразить свою радость по поводу того, что «приехала Танечка, которую все так ждали!». Я с удивлением смотрела на миловидную, скромно одетую мать семейства (с Машей был ее трехлетний мальчик-швед, и она ждала второго ребенка) и никак не могла связать этот образ с образами «новеллы».

Как я уже говорила, момент брака Маши с Нахичеванским выпал из маминого поля зрения. Она лишь *post factum* узнала, что Юрий твердо взял в свои руки и Машу, и ее претензии к Шанхайскому банку. Под его воздействием Маша превратилась в преданную жену, а претензии — в некоторую вполне реальную сумму долларов, которые он, перебравшись в Германию, старательно приумножал покупкой и продажей берлинских домов.

Познакомившись со мной, Маша много расспрашивала о России, о которой, несомненно, тосковала. Меня же, только потому, что я приехала с родины, окружила каким-то пиететом. Уезжая за границу, я захватила с собой альбом с зарисовками русских орнаментов и в Висбадене принялась за вышивание, зарабатывая этим иногда биллион-другой марок. Мария Михайловна попросила меня сделать сумочку с русским узором и, получая заказ, уверяла маму: «А сумочку, которую Танечка своими рученьками вышивала, я только в церковь брать буду — и никуда больше!» В этом была какая-то трогательная достоевщина.

Юрия Нахичеванского я видела лишь два-три раза. Это был молодой человек невысокого роста с очень красивым, но холодным лицом наполеоновского типа. Поглощенный своими спекуляциями, он находился в постоянных разъездах, но с Машей у них было, по-видимому, полное единение.

Старая княгиня терпела Машу как неизбежное зло. Не могу удержаться от соблазна привести одну забавную и, как мне кажется, характерную сценку.

Незадолго до моего приезда в Висбаден (осенью 1923 года) в Японии случилось землетрясение и газеты писали, что в числе жертв был атаман Семенов. Однако уже при мне мама получила письмо от своего знакомого,

бывшего советника русского посольства в Токио, Дмитрия Дмитриевича Абрикосова, в котором тот говорил, что слух этот неверен и что Семенов жив.

Вечером мы пошли к Нахичеванским, и за чайным столом мама прочла вслух письмо Абрикосова. Маша широко перекрестилась и сказала: «Слава тебе, Господи! Ведь на его же деньги живем!» Старая княгиня зашипела: «Мой Бог! Что она несет!», но мне кажется, что эта фраза достойна того, чтобы быть сказанной под опустившийся занавес, который скрыл от меня дальнейшую жизнь этой милой женщины.

На праздник Рождества мы с мамой решили проехать в Париж, оставив Димку на попечение Володи Вяземского и дав ему слово непременно вернуться к русскому Рождеству. Советский паспорт французы не визировали, но мама выхлопотала мне временный пропуск, и в половине декабря 1923 года мы с ней через Саарбрюккен (это вечное яблоко раздора между Францией и Германией) прибыли в окутанный туманом Париж, находившийся к тому же в совершенно необычайном для него состоянии наводнения. Вышедшая из берегов Сена затопила низменные места, кое-где нарушились коммуникации, но картин из «Медного всадника» не наблюдалось, и парижане воспринимали залитые водою улицы как нечто «забавное».

Остановились мы в Сен-Клу у тети Лины, которая жила со своим мужем, графом де Герном, в прекрасной вилле, на воротах которой красовалась надпись: «Fondation Anna Pavlova». Это обстоятельство, несомненно, требует пояснения.

В одной из предшествующих глав я упоминала о том, что еще в Петербурге у тети Лины наладилось знакомство с Анной Павловной Павловой 2-й, танцовщицей, которая составила гордость не только русского, но и мирового балетного искусства. Знакомству содействовало то, что мужем Павловой был Виктор Эмильевич Дандре, с которым мою тетку связывала старая и, как гласила пословица, «нержавеющая» любовь. В 1918—1920 годах Павлова совершила триумфальную поездку по Южной Америке, была осыпана лаврами и золотом и, вернувшись

в Париж, решила учредить за свой счет интернат для двадцати пяти русских девочек в возрасте от 10 до 18 лет. Эти подростки должны были жить на всем готовом и учиться в общеобразовательных французских или русских школах (по желанию). Единственное условие, которое им ставилось, — приобретать любую специальность, но не идти на сцену, особенно в балет.

Для своей *fondation* Павлова купила прекрасную двухэтажную виллу в Сен-Клу и, находясь сама в постоянных разъездах, попросила мою тетку стать во главе учреждения.

Этим и объясняется, что в 1923 году тетя Лина занимала прекрасную квартиру в нижнем этаже стоявшего среди сада дома. (Интернат помещался в бельэтаже.) Ее гостиная была обставлена красивыми семейными вещами де Гернов, а стены столовой украшены портретами предков, и привезенный мною портрет матери графа не замедлил занять среди них надлежащее место.

На время рождественских каникул часть девочек уехала к родным, и мы с мамой могли остановиться в одном из пустующих и, кстати говоря, прекрасно оборудованных дортуаров. Двадцать четвертого декабря для оставшихся устроили богатую елку, но мне показалось, что тетя Лина держит своих подопечных в страхе и трепете. Так, я заметила, что, возвращаясь из школы, девочки бросаются сменять свои ботинки на войлочные туфли, так как графиня не позволяет топотать у нее над головой.

Теперь мне кажется необходимым упомянуть о том, что в 1918 году тетя Лина понесла тяжелейшую утрату: лишилась своего младшего и любимого сына Николая. Обстоятельства смерти моего двоюродного брата мне доподлинно не известны, и потому я буду говорить о них кратко, в той форме, как я о них слышала. Ника был выпущен из Морского корпуса весной 1917 года в чине мичмана и получил назначение на крейсер «Богатырь». Желая уберечь сына от всех опасностей, которым мог подвергнуться молодой морской офицер в революционные годы, тетя Лина через морского министра Григоровича добилась того, что через два месяца он был назначен в состав комиссии, которая осенью 1917 года направилась в Америку по делу о заказе новых судов.

Можно было думать, что Ника вне всякой опасности, однако случилось совсем иное. В Нью-Йорке он влюбился в какую-то артистку и решил на ней жениться. В назначенный день он с букетом явился в гостиницу, где жила эта дама, чтобы идти венчаться, но застал там веселую компанию. Хозяйка встретила его словами: «Милый мой мальчик! Неужели же вы думали, что я всерьез собралась за вас замуж выходить! Все это была шутка!» Ника сказал: «Так не шутят!», повернулся к двери и выстрелил себе в висок.

Думая об этой никому не нужной смерти на чужбине, я вспоминаю хорошенького восьмилетнего мальчика, глухое село Орловской губернии под названием Спас-Чекряк и прозорливого отца Георгия, усмотревшего в судьбе этого ребенка что-то очень тяжелое!

Что касается старшего сына тети Лины, Сергея, то послевоенный Париж ему не понравился. В 1920 году он поехал искать счастья в Америку, был некоторое время секретарем Павловой во время ее гастролей, потом в качестве бизнес-менеджера устраивал поездки другим артистам (в том числе ездил и с Шаляпиным), сотрудничал в журналах, был тренером по верховой езде, женился — словом, в Европе больше не появлялся.

Очутившись в Париже, мы с мамой были неразлучны и, как и в прежние годы, сразу поддались обаянию этого замечательного города. Только у меня, как у «провинциалки», восторг проявлялся в более наивной и бурной форме. Помню, я никак не могла оторваться от витрины универсального магазина «Galleries Lafayette», затмившего в послевоенные годы все прежние магазины этого типа. Широкая витрина представляла собою панораму последнего достижения Франции — железнодорожной линии через Сахару. С большим вкусом и остроумием была изображена пустыня с ее оазисами, удивленными жителями, испуганными верблюдами, убегающими львами и страусами, и среди всего этого смятения — пересекающий песчаные просторы первый поезд. У этой витрины я пожалела, что со мною нет Димы.

В том же магазине я познакомилась с удивившими меня методами французской торговли: по субботам продают «остатки» (*jour des soldes*). Из дверей универсального

магазина, который занимает целый квартал, выносятся на улицу столы, заваленные кусками материи, лент, кружев, сотнями пар туфель, дамскими сумочками, зонтиками, парфюмерией. К каждой вещи приколота этикетка с ценой. Публике предоставляется право рыться во всех этих грудах, выбирать подходящие предметы, подходить к кассе, платить деньги и уходить. Никаких контролеров не видно. Говорят, что в толпе есть все же неофициальные наблюдатели и к особе, пытающейся унести неоплаченную вещь, может подойти молодой человек и вежливо указать, как пройти к кассе. Если особа вздумает поднять крик, ее отпускают без скандала; полицию вызывают лишь в крайних случаях — это не соответствует «духу коммерции».

Качество товаров в послевоенный период, несомненно, снизилось (недаром над отдельными предметами можно было видеть табличку с надписью «Qualite d'avant-guerre»*), но оставалось французское уменье преподать все в самом красивом и соблазнительном виде. В начале 1924 года в продовольственных магазинах страны-победительницы глаза уже разбегались от всяких майонезов, шофруа, паштетов, причем каждая маленькая порция преподносилась на картонном подносике, украшенная пучком салата. Попутно я заметила, что шоколад во Франции не является чем-то необычайным и входит в рацион каждого школьника. На завтрак детям дают плитку шоколада, которую они едят с хлебом.

В мясных лавках Парижа товар продается уже очищенным от всяких «соединительных тканей» — пленок и жил; отбивные котлеты украшены бумажными апильотками, а баранье жиго часто выглядывает из пергаментной штанины с зубчатыми краями. Птица во Франции дорога: индюки, утка и даже цыпленок являются в некотором роде предметом роскоши.

Большой интерес представляет центральный рынок Парижа «Les Halles», где можно увидеть съестную продукцию из всех частей Франции. Ночные поезда подвозят с океанского побережья корзины с рыбой, ракушками,

* «Довоенное качество» (*франц.*).

креветками. Все эти «дары моря» вываливаются ранним утром на широчайшие мраморные прилавки рынка и к полудню исчезают в «чреве Парижа». Круги сыра всевозможных сортов из центральных провинций Франции покоятся на плетеных циновках. Немного дальше — овощи: артишоки, спаржа, земляная груша, фасоль, горошек, кресс-салат, сельдерей, ревень, шпинат — всё то, что почти неизвестно в России, но без чего не может обойтись ни один француз, — образуют громадный натюрморт, среди зеленоватых тонов которой белеют плетеные корзиночки с шампиньонами.

Особый павильон рынка занимают цветы — розы, фиалки, мимоза, еще накануне срезанные «на Лазурном берегу». Они прибывают в особых вагонах совершенно свежими и ослепительно контрастируют с парижскими зимними туманами, такими мягкими, нежными и слегка пропитанными запахом бензина.

Но не дай бог приехать в этот прекрасный Париж с малым количеством денег или совсем без них, постоянно входить в искушение и испытывать муки Тантала! Французы, несмотря на свою любезность, даром ничего не дают, и эту печальную истину узнали, за малым исключением, все мои русские друзья и знакомые.

Главная масса русских эмигрантов, то есть те, у кого были только руки и голова на плечах, осела в Париже. В тихие заводи, подобные Висбадену, просочились только те, у кого были какие-то средства к существованию. Во Франции почти все русские прибегли к физическому труду — единственному, который мог прокормить: стали шоферами, малярами, рабочими на заводах.

«По специальности» занимал место Владимир Николаевич Коковцов, но это объяснялось тем, что еще со времени заключения франко-русских займов французы высоко ценили его знания и личную честность и теперь предоставили ему место директора «Международного банка». Коковцовы довольно замкнуто жили на авеню Марсо. Анна Федоровна состояла в церковном совете на rue Daru*, Владимир Николаевич писал свои мемуары и на

---

* По-видимому, речь идет о соборе Александра Невского, который располагается на улице Дарю.

вещи смотрел очень мрачно, что породило следующую эпиграмму, написанную на него его бывшим коллегой Кривошеиным:

Всеобщей панихидою свой разум освежив,
Коковцов счел обидою, что кто-то где-то жив!

В числе лиц, работающих по специальности, был также «евразиец» Николай Сергеевич Трубецкой, женатый на Верочке Базилевской. Будучи не только прирожденным, но и наследственным профессором, он занимал, как я слышала, кафедру в Вене.

Среди хождений по мукам, выпавшим на долю русским эмигрантам, особенно хорошо держали себя женщины. С большим мужеством и достоинством они брались за всевозможные работы — шили, вышивали, рисовали, ухаживали за больными, служили в магазинах, и все это у них выходило лучше, чем у других. Французы с удивлением, смешанным с восхищением, наблюдали их «широкий диапазон» (которым, кстати говоря, французские женщины не обладают) и говорили: «Мы преклоняемся перед русской женщиной! Но что касается ваших мужчин, то они слишком много пьют!..» К сожалению, последнее было правдой, но если женщины под ударами материальной нужды инстинктивно подтягивались и входили в извечно уготовленную им роль охранительниц жизни, то мужчины, потерпев моральное крушение, оказывались гораздо более несчастными, и многие «шли по линии наименьшего сопротивления».

Таковы мои общие наблюдения. В качестве же частного случая расскажу о Тане Востряковой, с которой я поспешила увидеться, как только приехала в Париж. После того как рассталась с Марией Михайловной, Таня стала брать заказы на ручную вязку дамских кофточек и настолько преуспела в этом искусстве, что создала несколько моделей, получивших приз на конкурсе. Заказов было достаточно, но, для того чтобы обеспечить себе мало-мальски сносное существование, надо было работать беспрерывно. Я застала Таню с кожаными бандажами на лучезапястных суставах, которые распухли и болели от постоянного движения спицами.

Несколько выше я упомянула о том, что в бытность свою у Марии Михайловны Таня познакомилась с кавалерийским полковником Сумцовым, человеком «видавшим виды», компанейским и, вероятно, более приятным в обществе, чем в семейной жизни. Не знаю, как возник их роман, но в 1923 году они жили вместе в небольшом меблированном домике под Парижем.

Внешне Таня мало изменилась за те шесть лет, что я ее не видела, — только вокруг ее красивых глаз легли темные круги. Внутренне же ничего не осталось от избалованной барышни из Трубниковского переулка. Передо мной была исстрадавшаяся и глубоко любящая женщина, тяготящаяся своим неоформленным положением (жена Сумцова не давала развода) и не совсем уверенная в прочности своего счастья. С утра Евгений Яковлевич уезжал в Париж, где у него были комиссионные дела. Таня оставалась одна на холодной даче, где дуло изо всех щелей, — сидела и вязала. В пять часов наступало напряженное ожидание. Не сводя глаз с калитки, Таня отгоняла от себя мысль, что может наступить время, когда эта калитка не откроется и «Сумочка» из Парижа не вернется.

В один из последних дней 1923 года, когда я приехала в Медон спозаранку и уже вдоволь наговорилась с Таней о прошлом и настоящем (будущее было слишком туманно), ровно в пять часов хлопнула калитка и появился хозяин дома с двумя приятелями, двумя бутылками вина и съестными припасами. Сумцов оказался мужчиной лет сорока, с довольно видной, но грубоватой внешностью, радушным и, по-видимому, неглупым. Он и оживившаяся при его появлении Таня принялись готовить ужин. Мы очень приятно провели вечер, и я даже осталась ночевать в Медоне.

Два года спустя, в Москве, я услышала хорошие вести: Сумцову удалось получить развод и он обвенчался с Таней в церкви на rue Daru. Таня, судя по ее письмам к матери, была наверху блаженства, которое, однако, длилось недолго. Не более чем через полгода Евгений Яковлевич домой не вернулся. После двух дней поисков Таня нашла его в морге с простреленным черепом: он взял на продажу чьи-то бриллианты, проиграл их в карты и застрелился на скамейке Булонского леса.

Таня была близка к помешательству, однако жизнь требовала своего, и она поступила лектрисой к пожилому слепому господину, который, по счастью, оказался милым и приятным. Чем завершилась ее жизнь, я буду говорить позднее, но, чтобы не ставить точку на столь мрачных событиях, скажу, что это был тот самый *happy end*, который так любят англичане.

Еще одна встреча с друзьями гимназических лет: в первоклассном заведении *haute couture* на улице де ля Пэ (не помню точно, в каком) в качестве *dame receveuse** работала Ольга Кампанари, сестра моего приятеля Вовки Матвеева, того самого, который перед экзаменом ходил «не к Иверской, а к Сиверской». Ольга была замужем за отпрыском давно обрусевшей семьи маркизов Кампанари, Левой, которого я, в бытность его катковским лицеистом, встречала на московских балах. Я знала также, что у Левы Кампанари, совместно с его сестрами, есть небольшое имение около Тарусы, но дальнейшее мне было неизвестно, даже то, что он женился на Ольге Матвеевой и, как будто, с ней разошелся; во всяком случае, за границей я его не видела, так же, как (к сожалению!) и Вовку Матвеева — последнего потому, что в 1923 году он работал водителем трамвая в Лилле.

Зато в Висбадене жила его мать, Екатерина Владимировна, на попечении которой остался ребенок Кампанари. Я часто к ней заходила и помню, как, провожая меня в Париж, она говорила: «Когда вы, Таня, зайдете к Ольге на службу, ради бога, не называйте ее *madame Campanari* или — еще хуже — *la marquise Campanari*. Там она *m-me Olga*. Свои фамилии мы оставляем дома и не таскаем их с собой на работу!»

В обязанности *dame receveuse*, которая должна была знать языки, входило принимать иностранок (главным образом, американок) и сопровождать их по отделам магазина в качестве переводчицы. Это было утомительно, но менее противно, чем многое другое. В худшем положении находились манекенщицы. В ателье, где работала Ольга, русских на этих должностях не было, но манекенщицы-парижанки представляли собой любопытное

* Дам ресевёз (*эмигр.*) — приемщица.

зрелище. С неподвижными кукольными лицами они чинно проходили по анфиладе комнат, демонстрируя новые модели, а потом в задних помещениях, сбросив эти модели, спешили вознаградить себя за свое вынужденное безмолвие и каменное спокойствие. В предназначенной для них комнате царила полная (говоря мягко!) «непринужденность». Полураздетые девицы катались друг на друге верхом, порою дрались или сводили счеты в самых отборных выражениях, не замечая того, как какая-нибудь пожилая американка, приоткрыв дверь, смотрит на них через лорнет совершенно так, как она смотрела бы на клетку с обезьянами, а потом говорит сопровождающей ее Ольге Кампанари: «Oh! how funny!»*

Перед моим отъездом за границу Татьянка, жена Шурика, дала мне строгий наказ найти и повидать в Париже Лизу. Сестры расстались в 1918 году в Царевщине, когда Лиза, надев брюки и гимнастерку, пешком ушла вместе со своим мужем Колей Муравьевым (Муркой) на юг. Потом доходили слухи, что в Константинополе Лиза и Мурка разошлись, что Лиза очень бедствовала, но ее спасли если не крупные, то многочисленные ее таланты. Она пела, танцевала, снималась в кино и неизбежно соприкоснулась с богемой.

В Париже я нашла Лизу Юматову в далеко не первоклассном отеле на rue Blanche — жила она, по-видимому, случайными ангажементами (выступала с песнями на эстраде, начиная уже входить в моду) и тосковала по России и по родным, с которыми я оказалась первой живой связью. В ее больших темных глазах отражалось нечто большее, чем грусть: в них была трагичность. В двадцатилетнем возрасте эта поистине «бедная Лиза» попала в мясорубку истории, познала оборотную сторону жизни, пережила неудачный роман на чужбине и была принуждена своими силами выбиваться из чудовищных трудностей того времени. Шалопай Мурка не стал ей, конечно, ни защитником, ни поддержкой, к тому же они вскоре разошлись, по чьей вине — не знаю.

Беседуя со мной, Лиза рассказала об одном вечере в Константинополе, когда она, выступив с песнями в небольшом

* «Как забавно!» (*англ.*).

ресторанчике, по обычаю уличных певиц, пошла в обход с тарелкой и наткнулась на Мурку, беспечно ужинающего с какой-то дамой. Он положил на тарелку небольшую монету, а Лиза пошла дальше*.

Слушая этот печальный рассказ, я вспомнила веселый предвоенный Петербург, веселую Лизу Юматову на крыше четырехэтажного дома, веселого румяного лицеиста Мурку и любимую пословицу Ольги Владимировны Храповицкой: «День на день не приходится».

Такими были мои впечатления от поездки в послевоенный Париж. Большего я увидеть за десять дней не смогла. К русскому Рождеству мы с мамой вернулись в Висбаден, выполняя тем самым обещание, данное Диме и везя ему подарки от тети Лины — прекрасный матросский костюм с длинными штанами и свистком на шнурке. В этом костюме Димка фигурировал на трех елках и на одной из них имел большой успех.

Как мне потом рассказывали (Димка был в гостях без меня, но с «дядей Володей Вяземским»), когда дети закончили выступать поочередно с «самодеятельностью» — петь, декламировать, — встал Димка и, угадывая настроение аудитории, сказал: «Ну а я, если хотите, расскажу вам о России». Это предложение было встречено с восторгом. Димка дал самое настоящее интервью, в ходе которого не поскупился на теплые слова о милых калужских краях.

На одной из елок он получил в подарок костюм индейца: головной убор из разноцветных перьев, такой же широкий пояс в виде юбочки, браслеты, наколенники и амулеты. К костюму прилагались лук со стрелами

---

* Упоминание о Муравьеве наводит меня на мысль о том, что его имя в нашей семье стало нарицательным, и вот по какой причине: Шурик и я обнаружили, что наш отец, Александр Александрович, несмотря на свою серьезность, непоколебимые устои своих взглядов и довольно большую строгость к людям, имел своих «любимчиков», которым подчас прощал то, что другим никогда не простил бы. Классическим примером такой «слабинки» был Мурка. Припертый к стене нашими доводами, отец со смехом сказал: «Ну что же я могу сделать — у него физиономия симпатичная!» Вот почему все люди, к которым отец проявлял, по нашему мнению, излишнюю снисходительность, стали называться «Мурками». — *Прим. автора.*

и топорик-томагавк. Все это не могло соперничать с тем костюмом индейца, который я видела в дни своей юности на сыне художника Серова, но, будучи привезен в Калугу, этот наряд имел большой успех у Диминых сверстников.

Во избежание того, чтобы он не «разболтался», мама определила Димку на обучение французскому языку к старушкам Татариновым, тетушкам Вовки и Ольги Матвеевых. В ходе этих уроков он твердо выучил басню «Le Corbeau et le Renard»*, но других результатов не замечалось. Зато с городом Висбаденом Дима освоился очень быстро; на урок он ходил один, ловко лавируя между прохожими, раскатываясь на замерзших лужах и примыкая к толпе зевак при прохождении марокканских частей.

Двадцать второго января в Висбадене распространилась весть о смерти В.И.Ленина. В последующие дни газеты подробно описывали внушительность похорон, толпы плохо одетых людей, стоявших денно и нощно на улицах при 30-градусном морозе, костры на перекрестках, рыдания и траурные мелодии. Даже мне, «советской гражданке», трудно было представить себе в тихом Висбадене эту «потрясенную» Москву — иностранцы же совсем ничего не понимали.

В начале 1924 года, еще в бытность мою за границей, немцы сделали попытку вывести из тупика свои финансы. Была введена якобы обеспеченная золотом и иностранной валютой «гольдмарка» — на которую обменивались бумажные биллионы. По тому же образцу и у нас вскоре Государственный банк выпустил червонцы, поглотившие обесцененные «лимоны». (Эту реформу провел бывший управляющий Казенной палатой Кутлер.)

Моя переписка с Калугой шла регулярно (Борис даже раза три перевел нам деньги), и потому я была очень удивлена, когда в конце февраля к маме пришла m-me Терещенко (тетка министра Временного правительства Михаила Ивановича Терещенко) и с большим жаром стала доказывать, что мое возвращение в Россию небезопасно. «В Москве, — говорила она, — идут повальные аресты». Я выразила предположение, что аресты касаются

* «Ворона и лисица».

«спекулянтов» в связи с денежной реформой и поэтому мне страшны быть не могут, на что m-me Терещенко воскликнула: «Да что вы, что вы! В Москве идет разгром дворянской молодежи. На днях на Остоженке арестованы три мальчика Львовы. Я это хорошо знаю, потому что их сестра, находящаяся в Париже, выходит замуж за моего сына!»

Я никак не могла предполагать, что эти «мальчики Львовы» будут иметь ко мне отношение, но постаралась выяснить, кто они такие, и поняла, что это двоюродные братья тех княжон Львовых, с которыми я в ранней юности танцевала на Знаменке у Трубецких. Отец этих девочек (как я уже говорила) был директором Училища живописи и ваяния, в Москве он назывался «князь А.Е.Львов, художник». У него были братья: князь Георгий Львов — политик (сначала друг Дмитрия Николаевича Шипова и «мирнообновленец», а потом глава Временного правительства), князь Владимир Евгеньевич Львов — дипломат (в мое время — директор Архива иностранных дел на Воздвиженке) и, наконец, князь Сергей Евгеньевич Львов — делец, который сначала управлял делами Всеволожских на Урале, а потом сам прочно обосновался где-то недалеко от Соликамска, ворочая крупными лесными и металлургическими делами. Попавшие в беду на Остоженке «мальчики» были «Сергеевичами», то есть сыновьями «Львова-дельца».

Всё же сообщенные m-me Терещенко тревожные вести не поколебали моего решения в конце апреля ехать обратно в Калугу. Допускаю, что отдельным лицам мое возвращение казалось странным и даже подозрительным. Во всяком случае, одна из этих заметных фигур русской колонии в Висбадене, адмиральша Макарова, при встрече со мной покровительственным тоном изрекла: «Советую вам говорить, что ваш муж будет расстрелян, если вы не вернетесь. Иначе ваше возвращение к большевикам произведет неприятное впечатление». Это была та самая Капочка Макарова, которая, с присущим ей глупым снобизмом, доставляла в свое время много неприятных минут своему умному и скромному мужу. Петербургская серия анекдотов об этой даме пополнилась в Висбадене рассказом о том, как она, желая проникнуть в военный

кооператив, с царственным видом бросила проверяющему пропуска французскому солдату: «Я — адмирал Макаров!» Когда это не произвело ожидаемого действия, адмиральша, окинув солдата презрительным взглядом, сказала: «Молодой человек, вы не знаете истории!»

За недолгий срок моего общения с русской эмиграцией я поняла, что как раз такие «пустоцветы», как Макарова, находясь постоянно на виду, и определяют общественное мнение, заслоняя собою людей более скромных и более достойных, которые остаются в тени, несмотря на то, что их значительно больше.

В связи с этим, подходя к концу главы, посвященной моим впечатлениям о поездке в послевоенную Европу, я хочу сказать несколько слов о семье Ниродов. В Петербурге граф Михаил Евстафьевич был предшественником моего отца на должности помощника начальника Главного управления Уделов — отец всегда отзывался о нем с большой теплотой и уважением. Двое сыновей Нирода погибли в Цусимском бою. Как сейчас помню окруженные траурной рамкой портреты двух красивых морских офицеров на страницах газет и журналов того времени.

В Висбадене жили их родители и младший брат. Средств, видимо, не было никаких, потому что старый граф разгружал багажные вагоны на вокзале, и можно было видеть, как он в брезентовом фартуке проходит по платформе, толкая перед собой тележку с чемоданами, не только не теряя при этом своего достоинства, а вызывая какое-то умиленное уважение. Молодого Нирода мама старалась устроить через нашего соседа Пуасилли на какую-нибудь конторскую должность, и он несколько раз заходил к нам узнать о результатах, а потом — поблагодарить маму, когда ее хлопоты увенчались успехом. Это был болезненный и молчаливый молодой человек, внешне, быть может, ничем особенным не отличавшийся, но производивший впечатление исключительной душевной тонкости. Казалось, что Михаил Михайлович Нирод по самой своей сущности не может сделать чего-либо некорректного или неделикатного — таким, по крайней мере, он остался в моих воспоминаниях.

(Написав эти строки, я подумала: «Как был бы удивлен Миша Нирод (если он жив!), если б узнал, что какая-то женщина, видевшая его три-четыре раза в жизни и обменявшаяся с ним лишь несколькими незначительными словами, пишет о нем так хорошо, причем ее отзыв совершенно бескорыстен!»)

В конце апреля мы с Димой стали собираться домой — на этот раз уже не морским путем, а по железной дороге. Прощание с мамой не было надрывным — мы словно чувствовали, что увидимся снова, но уже не в Германии, а во Франции, куда маму все время тянуло.

Путешествие наше совершилось без приключений: мы пересекли границу в Себеже и на таможне к нам отнеслись милостиво. Я беспрепятственно перевезла кое-что из одежды Борису, все наши вещи и небольшие подарки.

О том, какие изменения произошли в Калуге за мое полугодовое отсутствие и как там потекла моя дальнейшая жизнь, речь пойдет в следующей главе.

Снова в Калуге

Дошедший до меня за границей слух о том, что из Москвы в феврале 1924 года выслали много дворянской молодежи, оказался верным. Это мероприятие получило название «дела фокстрота».

За семь лет революции в семьях Шереметевых, Голицыных, Львовых и других им подобных, подросло молодое поколение. Эти дети, видевшие лишь тревогу и лишения, но слышавшие о балах, на которых блистали их родители, захотели, как только жизнь с введением НЭПа стала легче, во что бы то ни стало танцевать и веселиться. Молодежь была в большинстве своем талантливая и красивая, причем самым красивым, самым талантливым, но самым причудливым, был Борис Сабуров. (В ту пору он, как ни странно, увлекался футуризмом.)

Центром сборищ стали антресоли шереметевского дома на Воздвиженке — там танцевали, пели под гитару, читали стихи Есенина и Северянина, завязывали юношеские романы — до тех пор, пока все «мальчики» и некоторые из «девочек» не оказались сначала в тюрьме, а затем в ссылке.

Так как я знаю обо всем этом деле лишь понаслышке, то считаю необходимым в качестве «первоисточника» привести стихотворение, написанное дочерью генерала Данилова в Тюменской тюрьме. К моему собственному удивлению, память моя сохранила его дословно. Вот оно:

Москва вся трепетом объята,
И слух перегоняет слух —
Вчера в окрестностях Арбата
Арестовали всех старух.

Потом — хоть это баснословно,
Был на Остоженке скандал:
Грудных младенцев поголовно
Сослали в лагерь на Урал.

Забыв кадетов и эсеров
И неизвестно почему,
Двенадцать дюжих фокстерьеров
Арестовало Ге-пе-у.

И мы, с веселостью беспечной
Дотанцевавшись до тюрьмы,
Должны признать с тоской сердечной,
Что фокстерьеры — это мы!

Нас было двести — возраст жуткий:
От десяти до двадцати.
Мы все любили смех и шутки,
Любили песни и цветы.

Друг друга мы почти не знали,
Но это, впрочем, все равно.
Мы, как один, сюда попали,
И обвиненье нам одно!

Ах, фокстрот, фокстрот:
Всяк тебя клянет.
Ты — причина наших злоключений.
Доплясались мы до сырой тюрьмы
И до самых страшных подозрений.

Ах, фокстрот, фокстрот,
Темных сил оплот!
Ты залог реакции суровой,
Ты гнездо КР в РСФСР,
Ты — ее надежда и основа!

Наш печальный рок всем дает урок,
Как беречь республику родную —
Если вас зовут танцевать фокстрот,
Говорите: «Pardon, я не танцую!»

Наиболее мягкой мерой репрессии стала высылка из Москвы с ограничением «-6»*.

Калуга находилась в числе дозволенных городов, и потому по приезде я увидела много новых лиц и прежде всего — у Марии Сергеевны Хольмберг — Анну Сергеевну Сабурову. Это была уже не та прекрасная дама

* Запрет на проживание в шести центральных городах.

в белом кружевном платье и черной шляпе с перьями, которую я в детские годы видела у Сухаревой и для которой, по моим тогдашним понятиям, должно было «литься много крови, много песней». Но следы этого обаяния и, главное, привычка видеть вокруг себя людей, поддавшихся этому обаянию, — остались. С Анной Сергеевной в Калугу приехали ее дочь (уже взрослая) Ксения и младший сын, юноша лет двадцати, Юрий. Старший сын Борис был в ссылке, где-то под Ирбитом.

Сабуровы поселились в маленьком домике на Горшечной улице — два привезенных с Воздвиженки золоченых кресла резко контрастировали с довольно убогим видом этого жилища. Денег было мало. Наиболее практичная из всех членов семьи Ксения Александровна (на которую «-6» не распространялся) от времени до времени ездила в Москву, что-то продавала, и жизнь на некоторое время оказывалась обеспечена.

Недалеко от нас, на Нижней Садовой, поселилась баронесса Нолькен с дочерью Натой, барышней миловидной, но малосодержательной, примыкавшей к компании веселящейся московской молодежи и за то пострадавшей. Квартира Нолькен на Патриарших прудах была еще известна тем, что во времена НЭПа там можно было покупать пирожные и торты довоенного качества. Этим производством занималась бонна Наты Нолькен.

Из «мальчиков» Львовых в Калуге оказался Юрий Сергеевич. Младший, Сергей, был сослан в Тобольск, а среднему, Владимиру, удалось выскочить в окно во время ареста братьев. Он сразу уехал из Москвы и потому остался на свободе. Юрий Львов был стройным молодым человеком лет двадцати шести, с темными глазами, узким лицом и румянцем на смуглых щеках. Его можно было назвать смазливым, но не более, тогда как сам он был преувеличенно высокого мнения о собственной внешности. Помню, как Анна Сергеевна Сабурова говорила: «Вчера Юрий все время приставал ко мне с вопросом, кого из братьев Львовых я считаю наиболее красивым, явно напрашиваясь на комплимент. Я ответила "Вас", потому что другие совсем некрасивы, но сказала это без всякого аппетита».

Юрий Львов был не очень умен, вернее, мало образован и не имел никакой склонности расширять свой кругозор. Он был вполне доволен *status quo*, так как обладал целым рядом практически удобных качеств: житейской смекалкой и, главное, золотыми руками. Это было то, что называется «ловкий мастеровой»: он мог прекрасно провести электричество, переложить печку и не гнушался никакой работой.

В обществе Юрий был забавен, играл на гитаре, не заставляя себя просить, петушиным голосом пел цыганские романсы и быстро приобрел в Калуге популярность. Поселился он на квартире сестер Каннинг в Никитском переулке. Эти сестры — вдова и старая девица — до революции владели аптекарским магазином в том же переулке. Брат их дружил с Циолковским; последний часто приходил к Каннингам домой и в заднее помещение магазина, где производил всевозможные опыты. Однажды, во время войны, в результате его манипуляций произошел взрыв, при котором очень пострадал (и вскоре умер) Каннинг и было разрушено помещение магазина. Хозяйки Львова, которых продолжал навещать Циолковский, сетовали на то, что, принеся такие жертвы, они ничем не участвуют в славе создателя ракетного двигателя и подвергаются ущемлениям как представители калужской буржуазии.

Обе дамы были в восторге от Юрия и, когда он тяжело заболел стрептококковой ангиной, ухаживали за ним не за страх, а за совесть. Когда больной выздоровел, я не заметила в нем естественных признаков благодарности, и высказала это, на что он ответил: «Ах, Татьяна Александровна, как вы наивны! Тут не было никакого подвига с их стороны — Каннинг просто имела в виду женить меня на своей сестрице!» Такие слова были очень характерны для Юрия Львова.

На этом я прерываю рассказ о калужских «ссыльных», чтобы вернуться к ним несколько позднее, когда их число с приездом старшего Сабурова, Сергея Львова, Дмитрия Гудовича и Коти Штера увеличилось, и перехожу к своим личным делам.

В момент моего возвращения из-за границы Калуга, начавшая выходить из состояния запустения, была очень хороша: цвели сады и покрытая свежей зеленью березка олицетворяла среднюю Россию у моего окна. Борис по-прежнему заведовал агрослужбой, тетя Оля Аксакова возглавляла церковный совет в Одигитриевской церкви. Ляля Базилевская приехала на все лето со своим сыном, дети Леонутовы выросли. Павлик стал совсем взрослым, и, увидев его после возвращения, я подумала: «Вот как раз таким представлялся мне "Божьей рати лучший воин с безоблачным челом", когда я в детстве учила Лермонтова "Ветку Палестины"».

Я поняла, что, не будучи болезненным с виду, Павлик не может похвастаться крепким здоровьем: он легко утомлялся и на военной призывной комиссии был забракован по сердечной статье. Живший рядом с нами старый доктор Дмитрий Андреевич Муриков, бывший домашний врач семьи великого князя Константина Константиновича, говорил: «В данном случае сердце не поспело за общим быстрым ростом. Через несколько лет эта аномалия сгладится, но пока надо следить за здоровьем и, главное, остерегаться ангины». Павлик это всегда помнил, тем более, что от времени до времени получал сигналы в виде резких болей в области сердца.

Девочки Леонутовы, из которых Оля была очень хорошенькой, учились в школе 2-й ступени, занимались в балетной студии и, главное, преуспевали в музыке. В связи с этим мне следует ввести в свое повествование лицо, известное всем калужанам моего времени и очень ими любимое — учительницу музыки Ольгу Николаевну Юртаеву, которая по существу была чем-то гораздо более значительным для окружающей ее молодежи, чем просто «учительницей музыки». Обладая организаторскими способностями и неутомимой энергией, Ольга Николаевна руководила вкусом и устремлениями своих учеников во всех видах искусства. В одной из школ, а иногда и в городском театре она устраивала спектакли, в которых музыка чередовалась с балетом и пантомимой.

Димка, по возвращении из заграницы включившийся в число учеников Ольги Николаевны, зимой 1924—1925 годов участвовал в инсценировке сказки «Царевна-Лягушка»

(под музыку Шопена) причем изображал лягушку. Затянутый в зеленый сатин, с перепончатыми лапами (из-под лягушиной маски все же выглядывала его мордочка), он своими ловкими прыжками и непринужденностью разговоров с царевной (Таней Леонутовой) заслужил всеобщее одобрение. Постановка имела такой успех, что из городского театра к Ольге Николаевне пришли люди с просьбой отрядить учеников для участия в спектакле «Потонувший колокол» Гауптмана.

После костюма лягушки мне пришлось шить костюм гнома — Димка особенно настаивал на красных туфлях с загнутыми кверху носками. Я ругалась, но шила, и за это получила право из зрительного зала смотреть, как мой сын под музыку Грига сначала шествует с фонарем, а потом, вместе с другими гномами, отплясывает на сцене городского театра.

С девочками Леонутовыми, которые были на пять лет старше, у Димки сложились забавные отношения. С Олей он мог при случае подраться, но вместе с тем чувствовал, что она проявляет к его персоне гораздо больше интереса, чем Таня, которая, с высоты величия будущей знаменитой балерины, смотрела на него как на «пустое место». Димка отвечал ей тем же, тогда как Олино мнение имело для него некоторый вес.

Помню такой случай: еще до нашей поездки за границу, когда с одеждой и обувью было очень туго, я купила Димке по случаю прекрасные туфли, которые он, к моему ужасу, отказался носить потому, что они «девчоночные». Никакие мои убеждения не помогали — и я решила позвать на суд Олю. Она посмотрела туфли, затем властно взглянула на Димку и сказала: «Поносишь!» Димка покорно надел туфли и благополучно доносил их до дыр.

В эпоху НЭПа, когда повсюду зазвучали «интимные» песенки, героини которых назывались «Нинон» или «Лолита», к девочкам Леонутовым, уже прекрасно игравшим на фортепьяно, стали приходить калужские девицы, прося аккомпанировать их пению. Таким образом я через стенку знакомилась с некоторыми «шедеврами» того времени. Особенное впечатление на меня произвела песня о том, как «Нинон, знаменитость Парижа, в восхищеньи вперед подалась», следя за тем, как на эстраде «в красном фраке танцует мулат».

Его смуглая кожа, как бронза,
Нестерпим его огненный взгляд!

Последние слова юные певицы произносили с особым чувством и с закрытыми глазами, вероятно, чтобы не ослепнуть от взгляда мулата.

Павлик говорил, что «ненавидит» и эту «пошлятину», и поющих девчонок. В отместку за это одна из калужских барышень задала ему ехидный вопрос: «Почему это вы проводите время не с нами, а в обществе дам бальзаковского возраста?» (Намек на меня и Лялю Базилевскую.) На что Павлик ответил: «Потому что это — общество довоенного качества!» Ответ, к сожалению, был не только не оценен, но и не понят.

Возвращаюсь к Димке. Если по приезде из-за границы он начал учиться музыке у Юртаевой, то его общее образование было поручено бывшему генералу-артиллеристу Николаю Николаевичу Фиалковскому. Семья Фиалковских, после постановления об уплотнении жилплощади, поселилась в домике Запольских. Отставной генерал Николай Николаевич был почтенным, «не мудрствующим лукаво» военспецом, который, преподавая Димке начальные основы математики, сумел пробудить в своем ученике интерес к этой науке, так что Дима ходил на уроки с охотой и без принуждения.

Ближайшими его друзьями того времени были племянник Ляли Базилевской Евгений Бунескул и живший рядом с нами на Нижней Садовой внук доктора Муринова — Патя Ренне. С этими мальчиками Дима проводил все свободное время.

Что касается меня, то мои занятия вращались вокруг хозяйства и рукоделия. Я как-то упомянула, что в Калуге ко мне явились «две барышни» и попросили вышить «винивьетку» на платье. С их легкой руки я стала получать заказы, которые — особенно после того как я привезла из-за границы красивые нитки, кусочки парчи и бисер, — оказывали существенное подспорье нашему бюджету.

Теперь настало время сказать несколько слов о судьбе отдельных лиц, о которых упоминалось в первой части моих записок, но уже давно не шла речь.

Благодаря бесплатному проезду довольно часто бывая в Москве, я обрела на антресолях полуразрушенного домика в Никольском переулке, в комнате ее двоюродного брата Сережи Попова, Таточку Воейкову с двумя сыновьями девяти и пяти лет. Тут я узнала, что ее отец, Александр Александрович Дрентельн, живет в качестве работника на мельнице в Вологодской губернии и что Андрюша Гравес вернулся из германского плена, где провел четыре года в тяжелейших условиях. В Москве он остаться не захотел, уехал на Урал и там женился.

Николай Сергеевич Воейков эмигрировал, и у Таточки имелись все основания полагать, что он всерьез порвал с ней отношения. Она мне поручила отыскать его в Париже и выяснить этот вопрос. Я ее просьбу исполнила, видела Воейкова и ничего утешительного сообщить ей не могла. Через некоторое время, когда ее отец умер, Таточка выхлопотала разрешение уехать за границу. По слухам, она поселилась в Брюсселе, но с Воейковым не сошлась.

Очень тяжелое впечатление производил в начале 20-х годов дядя Коля Шереметев. Ликвидировав квартиру на Собачьей площадке и распродав все вещи, он переселился в дом Найденовых на берегу Яузы, где жил за каким-то шкафом — только для того, чтобы находится под одной кровлей с обожаемой им Елизаветой Ивановной. Последняя не только не баловала его своим вниманием, но подчас даже третировала. Гораздо лучше относились к нему дети Найденовы, в ту пору уже взрослые.

Приезжая в Москву, я с грустью замечала, что прежнего Николая Борисовича уже нет — я видела лишь несчастного человека, одержимого навязчивой идеей. Помню, как однажды, встретив меня с обычной радостью и сердечностью, он стал вдруг смотреть на часы и куда-то торопиться (дело было в холодной и голодной Москве 1921 года). Я предложила выйти вместе. Перед выходом дядя Коля положил в чемодан веник и тряпку, а заметив мой удивленный взгляд, таинственно сообщил, что Елизавета Ивановна «разрешила» ему ежедневно приводить в порядок ее театральную уборную и теперь он спешит в Малый театр, чтобы осуществить данное ему право. Это была уже подлинная достоевщина!

Через некоторое время после того, как его частично разбил паралич на сцене Харьковского театра, в роли князя Тугоуховского, Николай Борисович был помещен в дом для престарелых актеров Государственного театра в Измайлове. У него там была отдельная комната, и на тумбочке возле кровати стояла фаянсовая пепельница из ресторанчика «Bella Venezia» — единственное, что осталось от прошлой жизни. Его навещали Ольга Геннадиевна Шереметева и ее дети (я была далеко). Все же закат его жизни был если не столь трагичным, как у многих других, то одиноким и скучным. Умер Николай Борисович 27 октября 1935 года. Хоронил его... мой отец. Каким образом это случилось, будет сказано позднее.

Волна ссылок, прокатившаяся по Москве в 1924 году, коснулась также и Коти Штера, который, проводив семью (жену, сына и родителей жены) за границу, тихо и мирно проживал на Большой Дмитровке, «уплотняя» квартиру знаменитой кузины своей жены Надежды Андреевны Обуховой. В выезде за границу ему, как бывшему офицеру, было отказано. Это нисколько его не удивило и казалось логичным, но никто не мог понять, почему безобидный Котя оказался через год в Нарымской ссылке в местечке Парабель, где кроме него было несколько нэпмановских семей и никакого заработка, особенно для столь неприспособленного к жизни человека, как Котя. Его ссылка тяжело легла на тетю Лину и Нату, которые продавали вещи и снабжали его деньгами и посылками.

Тревожные вести, доходившие летом 1924 года до нашей цитадели над Окой, невольно заставляли думать о непрочности этой «цитадели»: становилось ясно, что каждого из нас в любой момент может постигнуть любая неприятность, и появлялось желание уйти в мир каких-то других образов. На помощь приходило чтение — и на почве чтения укреплялась моя дружба с Павликом Леонутовым.

Зимою 1924—1925 годов он занимался (не слишком усердно!) на вечерних бухгалтерских курсах. Днем он оставался свободен и, пока я сидела за пяльцами, усаживался около меня с книгой. Мы прочитали тогда очень много: тут были и Лесков, и Анатоль Франс, и Ренье, и Бунин, и, конечно, Тютчев. Разногласий по поводу прочитанного у нас, как будто, никогда не возникало.

Вспоминаю, что Павлик не любил проводить аналогии между собою и кем-нибудь другим. Когда перед ним пытались ставить готовые примеры поведения и образа мыслей, он говорил: «Там так, а у меня совсем иначе!» Но однажды он допустил аналогию. Мы рассматривали книгу, посвященную Дмитрию Владимировичу Веневитинову, в которой были и стихи, и портрет поэта, и очерк о его краткой жизни. Я сказала, что нахожу некоторое внешнее сходство между Павликом и Веневитиновым, а он добавил: «А для меня вы — то, чем была для него Зинаида Волконская!» О самой главной аналогии — смерти в двадцать четыре года мы тогда не знали!

С беседы о Веневитинове началось, пожалуй, то «лазурное царство», хрупкость и бесперспективность которого я все время сознавала, но за которое не поскупилась изломать свою жизнь. Теперь я вижу, что конец этой неомраченной лазури был, несмотря на всю его трагичность, наиболее красивым из всех возможных, но высказать такую мысль можно только по прошествии многих, многих лет — раньше она показалась бы чудовищной.

Теперь, приоткрыв завесу над внутренними движущими силами, могущими объяснить те или иные поступки действующих лиц и главным образом мои, перехожу к изложению дальнейших событий.

Весною 1925 года в Ленинграде начался так называемый «лицейский процесс». Говорить об этом деле, инициатором которого, как я слышала, был Зиновьев, я буду очень кратко, так как по существу знаю очень мало, а именно: в апреле-мае все бывшие лицеисты, оставшиеся в СССР, были арестованы, около сорока человек лицеистов и их знакомых — расстреляны, а Шурик получил десять лет Соловков с конфискацией имущества. Из участников процесса он изредка виделся до ареста с Мишей Шильдером, сыном бывшего директора лицея, и своим однокурсником Грумом-Гржимайло, сыном известного путешественника-географа*. Ни с кем другим он не общался.

После объявления приговора папа и Татьянка получили разрешение на прощальное свидание в тюрьме на

---

* Шильдер погиб в 1925 году, Грум-Гржимайло оказался в числе немногих выпущенных на свободу. — *Прим. автора.*

Шпалерной, а через два дня скорбные группы родных и друзей, стоя вдоль Знаменской улицы, молча провожали глазами грузовики, везшие осужденных на бывший Николаевский вокзал.

Я сознательно говорю так сдержанно об этой трагедии, проходившей к тому же не у меня перед глазами, так как уверена, что найдутся люди, которые с должной силой опишут то, о чем я лишь упоминаю. Верю также, что памяти моего брата, оставившего неизгладимый след в Соловецкой эпопее, будут посвящены слова, могущие показаться недостаточно беспристрастными, исходя от меня*.

Упомяну только об одной встрече, которая состоялась у меня в 1939 году. В лагере на Вычегде кладовщиком работал маленький худенький человек еврейского происхождения по имени Адольф Шор. Узнав, что он был когда-то в Соловках, я спросила, помнит ли он моего брата. Шор заплакал и сказал: «Поймите, Татьяна Александровна, что он был нашей гордостью. Мы любовались его внешним и внутренним обликом, считали его образцом выдержки и благородства. Нас трудно было удивить чем-либо осенью 1929 года, и все же весь лагерь содрогнулся, узнав о его смерти!»

Это были подлинные слова человека, не состоявшего в числе друзей брата, человека, ничем с ним не связанного, слова, которые можно считать голосом народа.

Но возвращаюсь к 1925 году, когда будущее было от нас скрыто, когда ничего непоправимого еще не свершилось, когда срок в десять лет казался какой-то нереальной несообразностью, сохранялась надежда на то, что кто-то в чем-то разберется, и жизнь не позволяла опускать руки.

Татьянка, на долю которой выпали главные трудности, и моральные, и материальные, доблестно билась как рыба об лед, ходила за справками, носила передачи, снаряжала посылки и, в конце концов, оказалась в пустой квартире, откуда вывезли все вещи, описанные по постановлению о конфискации имущества. Сохранить удалось очень мало.

---

* 29 октября 1929 года в Соловках были расстреляны триста заключенных, по всей видимости, по обвинению в «заговоре», достоверность которого не получила подтверждения. — *Прим. автора.*

Алик, все лето находившийся в заброшенном состоянии, был бледен и издерган — ему было восемь лет, он все видел, все слышал и все понимал. Осенью, когда квартира на Сергиевской была ликвидирована и Татьянка переехала в комнату к папиным друзьям Нелидовым, собираясь поступить на работу, я предложила взять Алика в Калугу. Мое предложение приняли, и в начале ноября, по первому снегу, я встречала Татьянку и Алика на Калужском вокзале. Когда мы сходили со ступенек, чтобы сесть в санки, произошел странный случай: к Татьянке приблизился известный всей Калуге калека с большой головой и почти без ног, поклонился ей до земли и громко сказал: «Здравствуйте, Татьяна Николаевна!» Мы все вздрогнули — он не мог знать ее имени, и нам показалось, что он поклонился ее страданию.

Татьянка провела у нас месяц и, оставив Алика, возвратилась в Ленинград. Тут начались осложнения на детском фронте. Димка стал невыносим. Он не мог смириться с тем, что я, по его выражению, «ублажаю» Алика. Все мои слова о том, что Алик — наш гость, что я должна заменить ему мать, не имели никакого воздействия, и Димкина глупая детская ревность очень осложняла нам жизнь. Если добавить, что жизнь эта протекала в двух небольших комнатах и не летом, когда враждующие стороны можно было бы выпроводить в сад или на улицу, а зимой, а также то, что и характер Бориса был не из самых покладистых, можно представить картину моего беспокойного существования зимой 1925—1926 годов.

И тут пришло письмо от мамы: «Вези обоих мальчиков сюда». «Сюда» было — на Лазурное побережье Средиземного моря, в Ниццу, где мама обосновалась в 1925 году, продав за бесценок свой висбаденский дом и купив на вырученные деньги небольшой ресторан-столовую на перекрестке двух прекрасных улиц (avenue des Fleurs и rue Gambetta) в двух шагах от набережной.

Я всегда знала, что можно купить участок земли или постройку, но то, что и предприятие может явиться предметом купли и продажи, показалось мне очень странным. Однако во Франции это широко практикуется. Покупающий получает патент, ему передается контракт на съем

помещения, оборудование и уже завербованная его предшественником клиентура. И вот мама стала хозяйкой небольшого ресторанчика, расположенного в одной из прекраснейших точек земного шара, предприятия, дававшего очень скромный доход, но требовавшего от нее очень большого труда. Говорю «от нее», потому что Вяземский, никогда не отличавшийся трудолюбием и разболтанный военными походами и постоянными переездами, тяготился систематическим трудом и был ей плохим помощником.

Обо всем этом я узнала по прибытии в Ниццу. В Калуге же я только почувствовала, что мама протягивает мне руку помощи, помощи, как всегда, действенной и реальной. После того, как проект переезда Димы и Алика во Францию одобрили папа, Борис и Татьянка, я стала готовиться к отъезду. В ту пору я не сомневалась в правильности принятого решения: перед мальчиками стояло неизбежное хождение по мукам, их надо было от этих мук избавить — и я одна могла это сделать. Димка к тому же стал подвержен влиянию улицы. Еще так недавно, когда Борис посылал его с каким-нибудь поручением к Сабуровым, Ксения Александровна отзывалась о нем как о мальчике из хорошего дома, теперь же, подойдя однажды незаметно к горке, с которой он катался на салазках с соседними мальчишками, я услышала из его уст такие слова, что сказала себе: «Увозить, и возможно скорее!»

Может быть, потому, что в 1924 году я проявила полную лояльность и вернулась в указанный срок, а вернее всего потому, что международная обстановка продолжала оставаться более или менее спокойной, в апреле 1926 года я вновь, и за те же 10 рублей, получила заграничный паспорт. Только теперь в нем кроме *fils Demetrius* значилось еще *neveu Alexandre*. Были мобилизованы все денежные ресурсы, папа оказал материальную помощь —

И молебном в церкви Одигитрии
На его десятую весну
Провожали отрока Димитрия
В отдаленную прекрасную страну.

Мы двинулись в путь на этот раз не морем, а по суше, с двухдневными остановками в Риге у Шлиппе, в Берлине у Александра Николаевича Макарова и в Париже. Выехав из Калуги, Димка и Алик как будто взбесились — иначе я не могу назвать их состояние. В Москве они купили модные в то время у всех уличных мальчишек пищалки, издающие звук «уйди-уйди», не расставались с этой гадостью всю дорогу, пищали, выбегали из вагона, словом, вели себя плохо. Пребывание в поезде и у чужих людей делало невозможным применение репрессивных мер, и я чувствовала себя беспомощной. Единственно, что можно было сделать — это, улучив удобный момент, выкинуть пищалки из окна вагона.

Поэтому велико было мое облегчение, когда я довезла этих милых детей целыми и невредимыми до Парижа. На Северном вокзале нас встретил Сережа Аксаков, извещенный мамой о нашем приезде. Он забрал Диму и повез его смотреть на Эйфелеву башню и другие достопримечательности Парижа, тогда как я отправилась с Аликом в Пасси к Юматовым.

Я не сказала в надлежащем месте, что тяжелое душевное состояние Татьянки во время катастрофы с Шуриком усугублялось тем, что около нее не было никого из родных. Первые годы революции Лидия Анатолиевна Юматова с невесткой Зиной и внучкой Танечкой жили в деревне, в отведенной царевщинскими крестьянами избе, и на полном иждивении «общества» (своеобразной разновидности отношения между помещиками и крестьянами). В 1924 году приехавшему с Дальнего Востока в Париж Коле Юматову удалось вызвать мать, жену и родившуюся без него дочку к себе.

Нежные родственные чувства были свойственны всем членам юматовской семьи, и потому появление Алика на rue de la Pompe вызвало вперемежку слезы радости и слезы печали. Были даже поползновения отобрать его у меня и оставить в Париже. Но я, ссылаясь на полученные инструкции, была тверда, не поддавалась ни на какие увещевания и только оставила вверенного мне младенца у его родственников до следующего вечера (сама я остановилась на улице Ришелье, в гостинице того же названия, куда вечером Сережа Аксаков доставил мне Диму).

Когда я пришла за Аликом на следующий день, то застала странную картину — он сидел на коленях у своей тетушки Лизы и занимался тем, что вешал на ее длинные черные ресницы металлический лорнет — лорнет прекрасно держался, из чего я заключила, что ресницы парижских знаменитостей имеют упругость проволоки. А Лиза была «знаменитостью»: на Монмартре появлялись иногда афиши «Lisa Mouravieff» и когда она с открытой сцены пела надрывную песню «A la Butte Chaumont» — народ, как я слышала, плакал (может быть, с «пьяных глаз» — не знаю!).

Лизина профессия эстрадной певицы не нравилась ее брату. На этой почве впоследствии и произошел раскол в дружной семье Юматовых, и маленькой Танечке, как будто, даже запретили посещать тетку. Попутно вспоминаю, что Шурик говорил: «Коля Юматов ограничен и напыщен», но в данном случае судить, кто был прав и кто нет, — очень трудно.

Прежде чем перейти к следующей главе, в которой будет описано мое пребывание на берегах Средиземного моря, я скажу несколько слов о Сереже Аксакове, которого не видела с 1914 года, когда он, 15-летним мальчиком, провел две недели в Спешиловке, мечтая перевестись из Калужской гимназии в Морской корпус. Кадетом и гардемарином я его не видела, но слышала, что он плавал в Тихом океане на учебном судне «Орел», что в 1918 году командир повернул корабль к берегам Европы и «Орел» был разоружен французами в Бизерте. В 1923—1924 годах Сережа находился в Северной Африке, и я получила от него письмо из тех краев во время моего пребывания в Висбадене.

Узнав из маминых писем, что он перебрался в Париж, Борис и тетя Оля просили меня обязательно повидать Сережу. На вокзале я увидела плотного молодого человека среднего роста с очень темными глазами, в котором все же узнала без труда мальчика, виденного мною двенадцать лет назад в калужских краях. В петлице у него был Галлиполийский значок. Образ жизни он, по-видимому, вел весьма скромный, зарабатывая на жизнь малярными работами.

Не от него, а от кого-то другого я слышала, что у моряков за границей образовалась хорошо организованная касса взаимопомощи и материально они находились в несколько лучшем положении, чем офицеры других родов оружия. Кроме того, французы, считая русских моряков широко образованными людьми, охотно приглашали их на должности, требующие технических знаний. Но все это не касается Сережи, который занимался как раз физическим трудом и, как будто, меньше всего заботился о личном благополучии. Во всяком случае, таково было мое впечатление от нашей мимолетной встречи по пути в Ниццу.

Проведя двое суток в Париже, я забрала Алика у Юматовых и вместе с ним и Димкой в поезде Paris — Lyon — Mediterranee направилась к конечной цели нашей поездки. Через сутки перед окнами нашего вагона сверкнуло лазурное море. Вечером того же дня я обняла ожидавшую нас на платформе маму, и мне, как всегда, показалось, что она лучше всех!

На Лазурном побережье

О, этот юг! О, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит!
Тютчев

Франко-итальянский берег Средиземного моря всегда привлекал русских, приезжавших сюда залечивать свои раны, душевные и телесные.

В Ницце, в ту пору еще итальянской, с 1848 по 1852 год жили Герцены. Тут протекала их семейная драма, тут они узнали о гибели парохода, везшего их мать и сына; сюда же, на Лазурный берег, приехал умирать Александр Иванович, и на холме, возвышающемся над Ниццей, находится его могила.

В одном из своих писем ко мне летом 1926 года отец рекомендовал сходить на эту могилу с мальчиками. Находившийся в эмиграции его петербургский знакомый Бурнашев (тот самый, который в 1918 году открыл комиссионный магазин на Караванной улице!), узнав об этом, возмущенно сказал: «Александр Александрович там совсем с ума сошел! Посылает внуков поклониться могиле какого-то революционера!» Отец, которому я по возвращении передала эти слова, со свойственною ему категоричностью отчеканил: «Старый дурак».

Он высоко ценил Герцена и как человека, и как писателя, я же и вовсе постоянно ставлю себе «Былое и думы» за образец и вижу в их авторе редкое сочетание ума и сердечности. Обычно в людях преобладает одно из этих качеств в ущерб другому. Меня также поражает та подкупающая правдивость, с которой Герцен открывает свой внутренний мир в наиболее критические моменты жизни. Он не щадит самого себя, не допускает никакой рисовки и от этого только выигрывает в глазах читателя. Однако для «исповеди», которой местами являются «Былое и думы», нужна еще и смелость. Писать от первого лица с «поднятым забралом» не всегда легко, и я подчас чувствую эту трудность в ходе моего повествования.

Что касается моего пребывания на Лазурном побережье, то оно было подчинено решению проблемы «Оставаться или возвращаться?». Этот вопрос доминировал над всем остальным и как бы заслонял прелести обстановки, которые я ощущала в приглушенном виде. Сидя на берегу сверкающего синего моря, я ловила себя на мысли: «Что пользы туда смотреть?! Ведь там не Россия, а никому не нужная Африка!», а глядя на столь же сверкающее небо, я думала: «Боже мой! Если бы хоть часть этого света и тепла можно было бы перенести на Соловецкие острова!»

Таков был лейтмотив моего настроения, которое, кстати говоря, совсем не интересовало окружающих и огорчало маму. Поэтому и тут я перехожу к более занимательным и вполне конкретным темам.

Мамин ресторанчик, носивший название «Cafe des Fleurs» и среди русских в шутку называемый «Вяземская лавра»*, находился, как я уже говорила, очень близко от Английской набережной. Состоял он из двух небольших зал, буфетной, кухни и двух жилых комнат. Вдоль фасада, под полотняным навесом стояли столики. На противоположном углу находился городской сад, получивший после войны патриотическое название «Эльзас-Лоррен».

В этом саду вскоре после нашего приезда произошел маленький инцидент, повергший меня в смущение. Димка, по калужской манере, «наподдал» там какой-то девчонке, и старый господин, сидевший на скамейке, сказал: «Слушай, мальчик! Во Франции женщин не бьют!» Надо признать, что Дима после этого быстро европеизировался. С девчонками он больше не связывался, а задевая мальчишек, уже не показывал им кулак, издавая угрожающее рычание, как это делалось на берегах Оки. Проходя мимо врагов легким, пружинистым шагом, он подносил ладонь к своей щеке и говорил: «Attention, eh!»

Если в Москве Димка и Алик, на мое несчастье, купили себе дудки «уйди-уйди!», то теперь они добились того, что мама подарила им игрушку, не менее неприятную для окружающих: я говорю о «третинетках» — каталках, на

* В Петербурге около Сенной под таким названием известен был притон нищих и бродяг. — *Прим. автора.*

которых все мальчишки Ниццы с грохотом носились по тротуарам, подбивая прохожих. Наши от них не отставали до тех пор, пока Дима не нашел себе более благородное развлечение, принесшее ему даже некоторую славу.

Он подружился с владельцем соседнего гаража, который пожертвовал ему бракованную шину и даже сделал небольшое деревянное весло. На этой шине Димка уплывал в море, и каково же было наше удивление, когда мы увидели его фотографию в рекламной витрине самого фешенебельного купального павильона «La Grande Bleue»! За лето Дима научился хорошо плавать и даже бросаться в воду с вышки. Алик был менее спортивным.

Однажды, когда я пошла с детьми купаться в отдаленное место пляжа (который в Ницце, к сожалению, не песчаный, а каменистый), мы увидели на горизонте силуэты нескольких военных кораблей. Это шла в один из итальянских портов французская эскадра из Тулона. Примерно через полчаса, когда мы уже забыли о кораблях, на нас накатилась волна, поднятая этими судами. Мы были сбиты с ног и брошены на берег с такою силою, что вернулись домой в синяках и ссадинах.

Летом 1926 года в Ницце еще была свежа память об Айседоре Дункан, погибшей незадолго до того на набережной. Мне показывали место, где это произошло: Айседора ехала в открытой машине. Конец шарфа, обмотанного вокруг ее шеи, на большой скорости попал в колесо, Айседору выбросило из машины, и она разбилась об асфальт. Недалеко от нас жил ее брат — это был высокий, бритый человек лет пятидесяти, привлекавший всеобщее внимание тем, что ходил по улицам в одежде древнего римлянина: в хитоне и плаще из грубой ткани и сандалиях на босу ногу.

В середине лета во Франции разразилась описанная в «Саге о Форсайтах» всеобщая забастовка. На Лазурное побережье прибывали экспрессы с необычным для этого времени года количеством леди и джентльменов, предпочитавших пережить это время трудностей и неудобств в более спокойном месте. Газеты сообщали о том, как изысканные денди в белых перчатках выходят на вокзалы в качестве носильщиков и предоставляют свои автомобили для развоза приезжающих по домам. Но самое

удивительное (что могло происходить только в Англии) заключалось в том, что принц Уэльский (впоследствии отрекшийся от престола король Эдуард VIII) ездил по рабочим кварталам, раздавая деньги семьям бастующих.

Теперь, как мне кажется, пора рассказать о трагикомическом инциденте, происшедшем с мамой незадолго до нашего приезда. С радостью ожидая меня и детей, она приготовила небольшую сумму денег для того, чтобы мы могли провести лето, не отказывая себе в поездке за город или порции мороженого. На наше несчастье, к ней зашел Александр Александрович Мосолов, довольно неприятный господин, служивший когда-то в министерстве двора, и уговорил купить у его знакомого, некоего Массиса, акции, которые, по его словам, должны были вот-вот удвоиться в цене. Мама, которая всегда была немного азартна, отдала деньги Массису и получила взамен какие-то бумаги. Когда она через некоторое время зашла с этими бумагами в банк, ей сказали, что они ничего не стоят и ими можно с успехом оклеить стены.

Мама направила к Массису Вяземского, того не оказалось дома. Дело было передано в суд, но когда явилась полиция, чтобы призвать мерзавца к ответу, оказалось, что он уже покинул пределы Франции. Мамины деньги пропали, а Мосолов в недоумении разводил руками.

Это была печальная сторона инцидента. Смешная же часть началась тогда, когда в местной газете появилась заметка: «La Princesse confiante et le Client indelicat»*. Корреспондент изобразил дело так, как будто «к доброй княгине явился бедный Массис и попросил денег, а княгиня, всегда готовая оказать услугу соотечественнику, дала просимую сумму, после чего произошло злоупотребление доверием (*abus de confiance*)». Мы все, и в том числе мама, посмеялись над этой глупостью, а я приобрела станочек для плетения бисера и принялась за рукоделие.

Летом 1926 года еще держалась мода коротких и длинных нитей искусственного жемчуга, но чувствовалась тенденция к чему-то другому, новому. Появились украшения,

* «Доверчивая княгиня и нечестный клиент».

в которых жемчуг сочетался с бисером. Я быстро освоила производство нового вида цепочек, браслетов и ожерелий, которые плелись на приспособлении, напоминающем маленький ткацкий станок, при помощи очень тонкой иглы. Рисунки и сочетания цветов можно было варьировать. Мое производство возымело некоторый успех, и стали поступать заказы.

Времени для работы у меня было достаточно, так как курортные развлечения — пляжи и дансинги — меня не прельщали. Самый шикарный пляж — «La Grande Bleue» — был заполнен американцами и австрийцами. Среди них иногда появлялся Вяземский, и я краем уха слышала, как он разводил перед дамами всякие «турусы на колесах» о своих воинских подвигах и калужских латифундиях. Надо заметить, что в такие рассказы он пускался только в отсутствии мамы, которая ненавидела вранье, укоризненно качала головой и «портила ему всю музыку». Мама объясняла Володину «бескорыстную ложь» из любви к искусству плохой наследственностью по материнской линии (покойная Мария Владимировна Вяземская порою сильно напоминала барона Мюнхгаузена).

Хвастовство на пляже было, в конце концов, только ни к чему не обязывающими пустыми словами. Гораздо хуже было то, что Вяземский очень мало помогал маме в ресторанных делах. Все его обязанности ограничивались тем, что в два часа ночи он опускал железный занавес (в прямом значении этого слова) на стеклянную дверь. В остальное время он разгуливал, заложив руки в карманы, подсаживался к столикам своих приятелей и ни за какую работу не брался. Маме приходилось улаживать конфликты с персоналом (повар был каким-то Неистовым Роландом), следить за обслуживанием и даже, в отдельных случаях, нести провизию с рынка. Она никогда не могла лечь спать раньше двух часов ночи, и постоянное стояние на ногах не годилось для ее здоровья.

Случались дни, когда мама не выдерживала и просила Володю взять, наконец, на себя какие-нибудь обязанности. Начиналась не то драма, не то комедия. Обиженный Вяземский заявлял, что поскольку он «в тягость» и ему скучно жить без всякой романтики, он немедленно завербуется в войска, сражающиеся в Сирии. Тут же

он укладывал в ручной саквояж зубную щетку и полотенце и уходил на вокзал, откуда мама его в слезах возвращала. В таких случаях к ее утомительному дню присоединялась и бессонная ночь. Других результатов от переговоров не было.

Чтобы быть справедливой, я должна сказать, что в своих личных тратах и образе жизни Вяземский был скромен, пил он мало. В светло-сером костюме, который шел ему больше, чем черкеска, он не имел вида переодетого в штатское военного и был довольно элегантен.

Из числа его приятелей наиболее симпатичным мне казался немолодой полковник Нижегородского драгунского полка Теймур Наврузов, который часто проходил мимо нашего дома в брезентовом фартуке и с ведром краски в руках — он работал маляром.

«Дядя Володя Вяземский» тут же рассказал мальчикам, что род Наврузовых знаменит на Кавказе своей воинской доблестью, и научил их песне времен покорения Кавказа, согласно которой:

Майоры Кусов и Наврузов,
Как львы, кидались на врага.

Димка и Алик после этого часто оглашали берега Средиземного моря понравившимся им куплетом о майорах Кусове и Наврузове.

В одной из предыдущих глав, говоря о печальной судьбе моей подруги Тани Востряковой, я обещала «хороший конец». Он заключается в том, что, к всеобщему удовлетворению, она вышла замуж за Теймура Наврузова, и через несколько лет экономии и труда они оказались владельцами небольшой фермы около Рабата в Марокко. (Эти краткие сведения я получила из маминых писем.)

Но возвращаюсь к себе. Когда я сказала, что курортные развлечения меня не прельщают, я немного погрешила против истины. Один вид развлечений — и довольно опасный — имел для меня притягательную силу. Я говорю о рулетке Монте-Карло. Яд этот проник в мою душу в 1913 году, когда я в первый раз подошла к зеленому столу, поставила пять франков на № 30 и получила в тридцать раз больше. Летом 1926 года моим компаньоном

по поездкам в Монте-Карло стал мой новый знакомый Гвоздаво-Голенко, который от времени до времени подъезжал в 12 часов дня к маминому ресторанчику на камьонетке, принадлежавшей заводу трансформаторов электрического тока «Феррико»*.

Это был мужчина лет тридцати пяти, с энергичным лицом, мало разговорчивый и даже немного резкий в манерах. Однажды, быстро позавтракав, он предложил мне сесть в кабину его камьонетки с тем, чтобы за 1 час 45 минут успеть съездить за 45 км в Монте-Карло, поставить там несколько скромных ставок на «красное и черное» и к двум часам быть дома. Я согласилась, и такие молниеносные поездки повторялись еще несколько раз.

Счастье в игре на этот раз мне не благоприятствовало: я полностью отдала 145 франков, вывезенные из Монте-Карло в 1913 году, но все же с удовольствием вспоминаю быструю езду по залитым солнцем склонам Приморских Альп и интересные разговоры, которые я вела с водителем машины.

Со мною Гвоздаво-Голенко почему-то не вел себя так замкнуто, как с другими, и темы наших разговоров бывали очень разнообразны. Первой из них, как ни странно, оказалась Комиссаржевская. В юности, еще находясь в училище правоведения, мой спутник как тень ходил за этой прекрасной артисткой и даже сопровождал ее в роковой поездке по Средней Азии, где она умерла, заразившись оспой.

Потом, переходя от времен давно прошедших к сравнительно недавнему прошлому, Голенко поведал мне свою судьбу в эмиграции и то, каким образом он стал одним из трех директоров завода «Феррико». Рассказ этот представляет некоторый интерес, и я позволю себе его привести. Бывший товарищ прокурора в Финляндии, Голенко в начале 20-х годов, после мытарств в Константинополе, очутился без всяких средств к существованию на Лазурном побережье Франции и поступил рабочим на вновь открывшееся возле Ниццы предприятие по изготовлению трансформаторов, где он наматывал проволоку

---

* Камьонетка, от франц. *camionnette* (эмигр.) — легкий грузовой автомобиль, грузовичок.

на катушки. По прошествии некоторого времени на заводе стало известно, что кто-то перехватил их патент. Предстоял судебный процесс. Голенко явился в дирекцию, предложил безвозмездно заняться этим делом и выиграл процесс. Этим он уже выдвинулся из общей массы рабочих.

Когда предприятие окрепло, он же вызвался организовать контору по сбыту трансформаторов в Стокгольме, что блестяще удалось благодаря связям финского периода его жизни. В 1926 году, к которому относится наше знакомство, он уже занимал руководящий пост на «Феррико», я же, слушая его рассказ, думала: «А, может быть, правда, что люди до известной степени являются кузнецами своего счастья?»

Как о непоправимо упущенной возможности, относящейся к лету 1926 года, я вспоминаю о том, что могла увидеть Ивана Алексеевича Бунина и не увидела. Однажды, когда я вернулась откуда-то домой, мне «между прочим» сказали, что тут же, за столом, в мамином ресторане завтракал Бунин. Я была поражена, что мне об этом сообщают «между прочим», но было уже поздно, Бунин уехал. Допускаю, что и он пожалел бы об упущенной возможности увидеть женщину, только что приехавшую с его любимой Оки, и узнать от нее, как его на этой Оке любят и ценят.

В главе «Гимназические годы», когда я не вполне была уверена, что мне удастся довести свои воспоминания до 1926 года (не говорю уже «до конца»), я, нарушив правило единства времени, забежала вперед и описала, как встретила на Лазурном побережье своих московских сверстниц: Марину Шереметеву (Гагарину) и Эллу Клейнмихель (Трубецкую). Поэтому я не буду повторять сказанное, несмотря на то, что эти встречи, и особенно неожиданное появление в моей жизни Марины Шереметевой, которую я очень любила, и ее столь же неожиданная смерть, затронули глубины моей души.

Переходя к впечатлениям внешним и не затронувшим глубин моей души, скажу, что 11 мая, в день святого Кирилла, я наглядно убедилась в том, что русская эмиграция разделяется на две группировки: сторонников «Мюнхенского двора», то есть Кирилла Владимировича

и его семьи, и «николаевцев», образующих офицерские союзы, возглавляемые жившим около Парижа (кажется, в Фонтенбло) бывшим Верховным главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем. Группировки эти находились друг с другом в некотором антагонизме. Так, когда в день именин Кирилла Владимировича обедня назначили в сравнительно небольшой русской церкви, а не в соборе, где шла обедня в Николин день, ярый «кириллист» Фермор чуть было не вызвал на дуэль председателя церковного совета.

Недалеко от Ниццы (кажется, на Cap-d'Ail) жил великий князь Андрей Владимирович, женившийся в эмиграции на Кшесинской, получившей после этого от Кирилла Владимировича титул княгини Красинской. (Дать титул графини было неудобно, так как могли протестовать польские графы Красинские.) Семейство это, включая 22-летнего сына Владимира, жило на вилле «Алам» (перевернутое «Мала», уменьшительное от Матильды).

После упомянутого мною богослужения 11 мая произошло небольшое замешательство при подходе к кресту: первым подошел Андрей Владимирович (этого права у него никто не оспаривал), за ним было потянулась Кшесинская, но была решительно отодвинута адмиральшей Макаровой. Тут голоса разделились: одни считали, что идти надо было Кшесинской как морганатической жене великого князя, а другие присуждали это право Макаровой — как кавалерственной даме ордена Святой Екатерины. Мне казалось, что я нахожусь в каком-то кукольном театре!

Тем более я ценила знакомство, которое произошло вскоре после моего приезда и до сих пор занимает особое место в моих воспоминаниях.

Наискосок от нас по avenue des Fleurs жила баронесса Варвара Ивановна Икскуль, та самая дама, портрет которой находится в Репинском зале Третьяковской галереи. Портрет этот, написанный в 80-х годах прошлого века, изображающий очень красивую женщину с темными глазами, в ярко-красном платье и красной остроконечной шапочке, с которой до половины лица спускается черная вуалетка, достаточно хорошо известен, но не всем, может быть, известна жизнь этой замечательной

женщины. Варвара Ивановна была не только красива, но и очень умна. То сердечное внимание, которое она проявляла в отношении меня летом 1926 года, я считаю большой честью.

Опираясь на трость, одетая во все черное, с белой камелией в петлице, Варвара Ивановна часто стучала мне в окно, приглашая пойти с ней к морю. Сидя на набережной, мы говорили о России, и я читала по ее просьбе есенинские стихи. При этом я замечала, что она с болезненным интересом слушает подробности о жизни холодного и голодного Петрограда начала 20-х годов. Чем это объяснялось, я узнала гораздо позднее. В 1926 году я только могла вспоминать престиж, окружавший имя Варвары Ивановны во время войны 1914 года, когда она стала во главе Кауфмановской общины сестер милосердия, установив там образцовую дисциплину.

Но это был уже закат ее жизни. О том, что происходило раньше, я узнала от посещавшего мамин ресторанчик сына бывшего премьера Горемыкина, который был хорошо осведомлен о прошлом Варвары Ивановны, друга его старшей сестры, баронессы Медем. Горемыкин-сын отнюдь не блистал красотою, но был общителен и остроумен. Вот что он мне рассказал.

Дочь генерала Лутковского*, Варвара Ивановна в возрасте шестнадцати лет была выдана замуж за очень богатого и немолодого человека Глинку-Маврина. Прожив несколько лет в Петербурге и родив двух сыновей, она, по словам Горемыкина, в один прекрасный день решила, что «с нее хватит», и уехала в Париж. Скандал был огромный, тем более что Варвара Ивановна стала писать романы, предисловия к которым писал Мопассан.

Через несколько лет после развода с Глинкой-Мавриным Варвара Ивановна вышла замуж за дипломата барона Икскуль фон Гильдебрандта и, в качестве жены русского посланника, очутилась в Риме. Король Умберто

* Мать Варвары Ивановны была Шевич. В конце XVIII века, в эпоху колонизации юга России, три семьи из Сербии — Шевичи, Штеричи и Депрерадовичи — были наделены обширными землями и возник Славяно-Сербский уезд Екатеринославской губернии. Тут же, в Ницце, Варвара Ивановна установила, что у нас с ней есть несомненное и даже близкое родство — через Калагеорги. — *Прим. автора.*

был настолько пленен ее красотой, что однажды на Корсо появилась коляска, в которой барон и баронесса Икскуль занимали приличествующие им места, а король примостился на скамеечке у ног баронессы. (Рассказано тем же Горемыкиным.)

Об этом стало известно в Петербурге, и шокированная императрица Мария Федоровна на очередном выходе во дворце выказала Варваре Ивановне свою немилость. Посланник Икскуль подал в отставку и вскоре умер, а его красивая и умная жена перешла во «фронду». Купив дом у Аларчина моста на Екатерининском канале, она открыла оппозиционный правительству салон. К этому времени, по-видимому, и относится репинский портрет, а также деятельность Варвары Ивановны по организации петербургских Высших женских курсов.

В 1914 году к Варваре Ивановне, которая к тому времени переехала с Аларчина моста на Кирочную улицу (она занимала бельэтаж дома, в который упирается Надеждинская улица, — в первом этаже жил ее друг профессор-хирург Вельяминов) пришел тот же Горемыкин и, к своему удивлению, увидел на столе портрет императрицы Марии Федоровны с любезной надписью. На его вопрос: «Что это значит?» — Варвара Ивановна ответила: «Мы помирились! Я согласилась стать во главе Кауфмановской общины. Теперь война и не время для мелких ссор!» Обязанности хирурга взял на себя Николай Александрович Вельяминов.

Теперь я, нарушая законы единства времени, ухожу на тридцать лет вперед, чтобы поведать печальную историю, услышанную мною случайно в глубине России, на берегах реки Вятки; историю, до известной степени объяснившую мне тот болезненный интерес, который Варвара Ивановна проявляла к условиям жизни в Петрограде в первые годы революции.

Не буду здесь объяснять, какими судьбами я оказалась в поселке, именуемом Вятские Поляны (речь об этом пойдет в последующих главах), скажу только, что работала в районной больнице и хирург Павел Андрианович Скочилов, вернувшись в 1950 году из Института усовершенствования врачей в Ленинграде, рассказал мне следующее: «Профессор Самарин, который руководил нашими

занятиями, читая историю русской хирургии, упомянул о председателе Пироговского общества профессоре Вельяминове и о том большом вкладе, который он внес в развитие хирургии на основании своего опыта во время войны 1914—1918 годов. "Советской власти Вельяминов не принял, — говорил Самарин, по-видимому, его ученик. — Председательствуя в последний раз на собрании хирургического общества, он, обратившись к портрету Пирогова, сказал: «Ave Caesar, morituri te salutant», — тут голос Самарина дрогнул, но он продолжал: — Вскоре Вельяминова выселили из квартиры вместе с собакой — единственным оставшимся с ним близким существом. Он нашел пристанище в холодном, пустом помещении за Невой (в подсобном здании Института Вредена) и очень нуждался. Когда последнее кресло было расколото на дрова и сожжено, Николай Александрович умер. На другой день нашли мертвой его собаку". После этих слов, — рассказывал Скочилов, — Самарин, к нашему удивлению, закрыл лицо руками и быстро вышел, почти выбежал из аудитории. Через минуту появилась его ассистентка, спрашивая: "В чем дело? Чем вы расстроили профессора? Он плачет!"».

Этот рассказ, дошедший до меня «неисповедимыми путями», сейчас, когда никого из действующих лиц — ни Вельяминова, ни Самарина, ни даже Скочилова — нет в живых, я считаю достойным того, чтобы ради него нарушить хронологическую последовательность повествования.

Но возвращаюсь к лету 1926 года и Варваре Ивановне Икскуль. В ее салоне у Аларчина моста среди других бывал и молодой Горький. Впоследствии он вспомнил старую «хлеб-соль» и помог ей выехать за границу. А Вельяминов остался в холодном и голодном Петрограде.

С именем Горького связан также один инцидент, поставивший меня летом 1926 года в неловкое положение. Варвара Ивановна пила у меня чай. Мамы при этом не было, но вошла мамина знакомая Анна Игнатьевна Кочубей, урожденная Закревская, дама, занимавшаяся переводом советских писателей — и в частности Зощенко — на французский язык. Завязался общий разговор на литературные темы и, в том числе, о Горьком. Варвара Ивановна спросила: «А что, эта ужасная женщина

Бенкендорф все еще при нем?» — Кочубей вспыхнула и сказала: «Это моя сестра!» — на что последовала спокойная реплика: «Я вас очень жалею!» Анна Игнатьевна стала доказывать, что про ее сестру распущены всякие неблаговидные слухи, что все это — клевета, и т.п. Когда она ушла, я спросила Варвару Ивановну, действительно ли она думает то, что сказала? И получила ответ: «Я не думаю — я знаю!»

Через год после описанной сцены Варвара Ивановна умерла в Париже, а еще позднее, весною 1928 года, в Ленинграде, я особенно четко вспомнила разговор за чайным столом. Под заголовком «Бесчинства фашистских молодчиков» центральная «Правда» сообщала, что на вилле Горького в Сорренто произведен обыск и секретарь Алексея Максимовича Бенкендорф «подвергся домашнему аресту» (в редакции, по-видимому, не знали, что Бенкендорф не «он», а «она»). Горький после этого вернулся в Россию, но Бенкендорф с ним не поехала. Эти и еще некоторые подробности я узнала совершенно случайно, в лагерях на Вычегде, но об этом — в своем месте. Со времени разговора за чайным столом я заинтересовалась личностью Марии Игнатьевны Бенкендорф (во всяком случае, незаурядной) и обращала внимание на то, что хотя бы вскользь появлялось о ней в печати.

Возвращаюсь к 1926 году. В июне мама получила письмо с лондонской печатью, написанное полудетским почерком. Писал ей Георгий Брасов, сын Михаила Александровича: «Дорогая тетя Саша! (Так он называл маму с гатчинских времен.) Позволь мне приехать к тебе на летние каникулы. Я терпеть не могу Англии и этот Итон, куда меня отдали. У здешних лордов масса денег, а мама мне их не дает, и я чувствую себя очень плохо. Кроме того, прошу тебя воздействовать на маму, чтобы меня перевели в какой-нибудь французский коллеж». Таково было содержание письма.

Мама тотчас же ответила приглашением приехать в Ниццу, и через некоторое время у нас появился 16-летний юноша, немного нескладный от быстрого роста, милый, застенчивый и по своим интересам недалеко ушедший от наших мальчиков. У Джорджи Брасова было

нежное личико со светлыми глазами, и своей внешностью он мне напомнил Колю Львова моих давно прошедших гимназических лет. На правах гувернера при нем состоял бывший офицер Семеновского полка (человек, по мнению моего отца, мало подходящий к этой роли).

Приехавшие поселились в соседнем пансионе, но обедали у нас. Из разговоров с Джорджи я поняла, что его мечтой является мотоцикл, а главной претензией к жизни — то, что мать не дает ему денег на эту покупку. Эта страсть к быстрой езде оказалась для него роковой. Девять лет спустя, будучи в ссылке в Саратове, я получила письмо от мамы с описанием трагической смерти Георгия Брасова. В своем завещании императрица Мария Федоровна оставила ему 200 тысяч франков, которые он мог получить по достижении двадцати пяти лет. Сумма эта, по тому времени, была невелика, но достаточна для того, чтобы наследник, достигнув указанного возраста, мог купить себе гоночную машину, сесть за руль, развить большую скорость и разбиться насмерть. Маме сумела похоронить его в Париже на давно закрытом кладбище в Пасси. Сделать это удалось потому, что там имеется семейное место Эшенов. Теперь там и мама.

В середине лета в Ниццу приехали из Парижа тетя Лина и ее муж, и мы совершили автомобильную поездку в небольшой провансальский городок Ванс. Меня поразило то, что стоит только выехать за пределы узкой полосы побережья, с ее богатейшими искусственными насаждениями, как ландшафт резко меняется. Взору открываются бедные водой возвышенности, кое-где поросшие оливковыми деревьями с узловатыми стволами и блеклой зеленью. Невольно думаешь: такой была эта земля сотни лет назад, так же опаляло ее сверкающее с синего неба солнце и так же искрилась на горизонте полоска синего моря.

По мере продвижения вглубь страны архаичность пейзажа дополнилась очертаниями небольшой средневековой крепости. Это был Сен-Поль-де-Ванс, оплот христианского побережья от набегов сарацин. Ничто не может быть любопытнее и вместе с тем печальнее этого городка, заключенного в массивные стены древней кладки, с лабиринтом узких, поднимающихся уступами улочек.

Постройки беспорядочно лепятся вокруг центра маленькой цитадели — собора с древними католическими реликвиями. И вдруг все это — и средневековая крепость, и окружающий ее пустынный ландшафт — показалось мне чем-то мертвым и очень грустным. Вспомнились приокские края, и тут, как мне кажется, окончательно созрело мое решение возвращаться. Я тешила себя надеждою, что разлука с мамой и Димой только временна, что через год я снова вернусь на Лазурный берег. Будущее показало, насколько мои надежды были необоснованны!

Я стала готовиться к отъезду. Мама всячески противилась моему решению, зато тетя Лина, со свойственным ей апломбом, изрекала: «Каждый должен сидеть у себя в стране! И так уж наша бедная Франция задыхается от наплыва русских!» Для меня, конечно, теткино мнение значения не имело, но было противно видеть, сколь основательно она забыла время, когда, выйдя замуж за Курнакова, считала себя донской казачкой.

С половины лета мама начала думать об устройстве Димы и Алика в школу. В Ницце имелось учебное заведение для русских детей, возглавляемое господином Яхонтовым, но оно носило чисто эмигрантский характер. Разумнее было, чтобы мальчики получили образование на языке той страны, в которую они приехали, и мы решили, что они будут помещены во французскую школу в городе Канны, будут жить там в русском общежитии и по воскресеньям приезжать к маме в Ниццу (от Канн до Ниццы час езды дачным поездом).

В начале сентября мальчики переселились на новое место. Несколько раз мы с мамой там их навещали. Несомненно, первые дни в интернате были болезненными, но, привыкнув, они полюбили Лазурный берег. Впоследствии я с радостью узнавала, что, став взрослым, Дима при каждой возможности устремлялся в те места, где протекали его школьные годы. Алик же так полюбил Канны, что живет там, насколько я знаю, и в настоящее время.

Но есть одно воспоминание, вызывающее во мне неослабевающую боль. Во время поездки в Канны мама сделала последнюю попытку удержать меня во Франции. Дачный поезд медленно тащился по берегу сверкающего моря.

На остановке Биот из маминых глаз покатились слезы. Я же сидела как истукан и только в глубине души сознавала, как трудно маме было отговаривать меня от «безрассудных поступков», способность совершать которые я, может быть, унаследовала от нее. Но в описываемое время я «закусила удила» и глушила боль разлуки уверенностью, что вернусь через год. Воспоминание о Биоте до сих пор жжет меня, как каленое железо, и наиболее трагические события моей жизни я неизменно воспринимала как «возмездие за Биот».

Перед отъездом я зашла проститься с милыми Ниродами, которые, как и мама, переселились из Висбадена в Ниццу. Михаил Евстафьевич уже не работал на вокзале, как это было в 1923 году, так как его сын получил место в одном из туристических бюро. Нироды посылали горячий привет моему отцу и очень просили навещать в Калуге их родственницу Сухотину, жившую там у своей бывшей прислуги.

Они предложили мне следующую комбинацию: если я смогу ежемесячно выдавать этой старушке определенную сумму денег, ее племянники, желающие ей помогать, будут компенсировать эту сумму маме на Димины мелкие расходы. Такой перевод денег продолжался до самой смерти госпожи Сухотиной, с которой у меня установилась большая дружба. Уже живя в Ленинграде, я ежемесячно посылала небольшую сумму Шереметевскому, высланному в Гжатск, а его дочь, Брасова, расплачивалась с мамой.

Это, конечно, было «каплей в море», и главные заботы о мальчиках пали на маму.

Уехав из Ниццы в конце сентября, я должна была задержаться в Париже, чтобы в советском консульстве выписать детей из своего заграничного паспорта. Генеральный консул Ауссен потребовал гарантии, что кто-то из французов берет на себя содержание юных советских граждан. Такую бумагу подписала тетя Лина, и документ на оставление Димы и Алика во Франции был оформлен.

На душе у меня еще лежало обещание, данное родителям Юрия Львова, — посетить их дочерей в Бельвью под Парижем и взять у них памятные вещи незадолго до того скончавшегося дяди Георгия Евгеньевича (семейные связи в семье Львовых были очень крепки). Одна

из дочерей, Елизавета Сергеевна, была замужем за Сергеем Константиновичем Терещенко, сыном той дамы, которую я видела в Висбадене.

Мое появление в Бельвью было встречено с радостью, как первая живая связь с родными, и мне мигом вручили Евангелие и очки дяди Георгия, которые я передала по назначению. Обе сестры особенно интересовались братом Владимиром, но я в ту пору о нем еще ничего не могла рассказать, так как его не видела.

Последний вечер в Париже я провела с Сережей Аксаковым (вечер этот мне потом дорого обошелся!) и двинулась в путь на Калугу. Таможенные чиновники на этот раз были свирепы. На границе в Себеже костюм, который я везла Борису, не пропустили, и я отправила его в Ригу Шлиппе. Подтверждения, что он дошел, я никогда не получила.

Борис встретил меня на Виндавском вокзале*. В его служебном положении произошли некоторые изменения: он теперь являлся представителем своего отдела Сызрано-Вяземской железной дороги в Москве, имел постоянный номер в гостинице около Киевского вокзала и приезжал в Калугу лишь на воскресные дни.

То, как закончилась моя жизнь в этом милом городе на Оке, будет рассказано в следующей главе.

---

* Ныне Рижский вокзал.

Последние годы в Калуге

Мой приезд внес некоторое оживление в жизнь калужан: все с интересом выслушивали мои рассказы, рассматривали привезенные мелочи и в душе, наверное, удивлялись моему возвращению из «земного рая». Внешне, если не считать отсутствия Димы, на Нижней Садовой все осталось по-старому. Борис приезжал из Москвы в конце недели, уезжал в понедельник и очень дорожил днями пребывания дома, хотя Москва имела для него теперь некоторую притягательную силу: его шутливый флирт с Лидией Дмитриевной Некрасовой, ставшей теперь врачом-невропатологом, превратился в нечто более значительное и прочное.

По субботам возобновились, как говорили Львовы, «аксаковские балишки», на которых, кроме их прежних посетителей, присутствовали теперь вновь приехавшие: Котя Штер из Нарыма, Борис Сабуров из Ирбита, Сергей Львов из Тобольска, Дмитрий Гудович — тоже из каких-то дальних краев, и завсегдатай московских салонов начала века — старый холостяк Николай Петрович Коновалов.

Насколько я помню, на этих «балишках» бывало довольно весело: братья Сабуровы — очень музыкальные — играли на гитаре, братья Львовы если не безукоризненно, то безотказно пели цыганские романсы, а Коновалов с невозмутимым видом рассказывал самые смешные истории. Однако и в самом разгаре веселья меня подчас охватывало щемящее чувство. Я понимала, что вся эта молодежь — обречена, что это только маленькая передышка, нечто вроде «пира во время чумы». Помню, как мне стало жутко, когда милый Дмитрий Гудович вдруг вскочил из-за стола с цыганским припевом: «Пить будем и гулять будем, а смерть придет — помирать будем».

Через десять лет никого из здесь поименованных не было в живых. Павлик Леонутов, тоже принимавший участие в «балишках», всех опередил — его не было в живых уже через два года.

Анна Ильинична Толстая, которая благодаря своему чудесному пению под гитару бывала украшением любых «балишек», в Калуге уже не жила. Она переехала в Москву и там, после развода с Хольмбергом, вышла замуж за бывшего «поливановца» моего времени, профессора МГУ Павла Сергеевича Попова. Навещая ее во время моих довольно частых поездок в Москву, я однажды стала свидетельницей забавной сцены: ее двоюродная сестра Софья Андреевна, бывшая сначала замужем за Сергеем Сухотиным, а потом короткое время за Сергеем Есениным, при мне разговаривала от Анны Ильиничны по телефону с Цявловским (это происходило тогда, когда между двоюродными сестрами еще поддерживались какие-то приемлемые отношения). Цявловский незадолго до того опубликовал статью о Есенине, в которой Софья Андреевна Толстая называлась его пятой женой. Это ее настолько возмутило, что она топала ногами и кричала в трубку: «Я не пятая, я — четвертая!»

Вернувшись из-за границы, я решила, что мне необходимо приобрести «гражданское лицо» и стать членом профсоюза. Поскольку за мной имелись три года ученья в Строгановском училище, я считала подходящим для себя союз РАБИС. Помочь мне взялся Борис Александрович Сабуров, который, будучи законченным художником, стал брать в калужском отделе РАБИСа заказы на плакаты, диаграммы и т.п. Через него я получила предложение вышить знамя, на котором, кроме надписей должны были быть все эмблемы искусства: театральная маска, палитра, кисти и еще что-то. Борис Александрович сделал рисунок, и я принялась за работу в надежде, что, увидев мое мастерство, меня сразу же проведут в члены союза. Ничего подобного не случилось — я просидела над этим знаменем два месяца, затратила много своего материала, и всё зря! Мне довольно скудно заплатили и в члены союза не провели (вероятно, из-за происхождения).

Старшего Сабурова я раньше мельком видела у Мики Морозова. Тогда это был очень элегантный молодой человек. Теперь вид у него был изможденный и ходил он в подчеркнуто обтрепанной одежде (особый вид рисовки!). Я не могу сейчас точно представить себе его лица,

но знаю, что ни у кого я не видела таких «бездонных» глаз — никакой другой эпитет к глазам Сабурова не подходит.

Я уже говорила, насколько своеобразной была его мать. Ее речи подчас были ошеломляющими. Помню, как за чаем у Марии Сергеевны Хольмберг (урожденной Горчаковой), ее отдаленная тетка Анна Сергеевна совершенно серьезно рассказывала, как «путем напряжения духовных сил» она создавала облик своих детей. «Когда я была в ожидании своего старшего сына, умершего в возрасте четырех лет, — говорила Анна Сергеевна, — я в первый раз прочитала "Бедные люди" Достоевского и находилась под глубоким впечатлением этой повести. Родившийся ребенок был олицетворением милосердия: он всё раздавал. Перед тем как родиться Борису, я часто смотрела на море. Это отразилось в его глазах и на его характере. Создавая Ксению, я думала о женщине как о хранительнице жизни, о ее роли в домашнем уюте...» Тут раздался голос Ксении Александровны: «Ах, мама, неужели ты не могла подумать о чем-нибудь более красивом!»

Если стать на путь литературных аналогий, можно сказать, что (за исключением разумной Ксении Александровны) все Сабуровы в какой-то мере шли по линии Дон Кихота: благородство побуждений, фантазерство, непрактичность (ограничительное «в какой-то мере» я добавляю потому, что в них присутствовало не свойственное Дон Кихоту желание «произвести впечатление»).

Зато в Львовых не было и тени донкихотства — они твердо стояли на земле. Приехавший из Тобольска Сергей Сергеевич был значительно умнее Юрия. Кроме того, как баловень родителей и по природе склонный к интригам, Сергей там, где Юрий действовал напрямик, прибегал к хитрости и всегда оказывался в более выгодном положении.

В описываемое мною время благосостояние семьи держалось на брате Владимире, которого мне приходится ввести в рассказ, несмотря на то, что я его до весны 1930 года никогда не видела и он для меня был той мифической личностью, от которой исходит денежная благодать. Братья его в шутку называли «гжельский магнат». История этого магнатства такова: выскочив из

окна во время ареста братьев в Москве, Владимир Львов решил немедленно уехать из города. Не знаю, что его туда привело, но он очутился в Гжельском районе — крае, издавна славящемся гончарным производством. При царе Алексее Михайловиче там уже изготовлялся гжельский кирпич и те своеобразные кувшины, жбаны и подсвечники, которые продавались на московском Грибном рынке.

С введением НЭПа кустарное производство оживилось и в Гжели вновь завертелись гончарные круги и запылали горны. Владимир Львов, у которого были золотые руки и неиссякаемый задор в работе, быстро освоил тайны гончарного производства. Через год напряженного труда он в компании с жившей в Гжели художницей и специалисткой по керамике Марией Николаевной Чибисовой открыл собственную мастерскую электротехнического фарфора. Эта мастерская и была источником «гжельской благодати».

Много позднее и из самых достоверных источников я узнала некоторые подробности. Сказать, что семейные устои были крепки в семье Львовых, было бы слишком мало. Сергей Евгеньевич (так называемый Львов-делец) жил по Домострою. По субботам он приезжал из Москвы в Гжель, выворачивал карманы у сына, забирал все деньги и распределял по своему усмотрению: часть брал на московскую жизнь, другую — Юрочке, третью — Сереженьке. Несчастный «магнат», которому в понедельник предстояло платить за дрова и материалы, оказывался в безвыходном положении, но возражать не смел.

Из разговоров молодежи, имевшей ограничение «-6», я поняла, что в эпоху московских фокстротов Владимир Львов ухаживал за Ксенией Сабуровой. Однако с отъездом в Гжель их отношения как будто прервались и, несмотря на старания братьев влить в эти отношение жизненные силы, уже не возобновлялись.

Поскольку уж я вступила на путь «сования носа в чужие дела» (этим невольно грешат все мемуаристы!), добавлю, что, вернувшись из Тобольска, Сергей Львов переживал крушение своих надежд. По-видимому, у него было тайное намерение жениться на очаровательной Мариньке Гудович (двоюродной сестре Сабуровых), но на этом пути встретились серьезные препятствия. Сергей Львов был уязвлен

и даже допускал высказывания, напоминавшие лису перед виноградником из басни Крылова, о которых ему впоследствии, вероятно, было стыдно вспоминать. (Мария Александровна Гудович в конце концов стала его женой.)

Очень симпатичным человеком оказался приехавший в Калугу Дмитрий Гудович (брат вышеупомянутой Мариньки). Простодушный, общительный, красивый, он сразу располагал в свою пользу. Один только Борис, никогда не ценивший простоты и непосредственности, находил его слишком демократичным и «деклассированным».

Летом наша квартира «уплотнилась». Борис привез из Москвы шестимесячного щенка-боксера Кэди. Это было удивительно милое существо, которое заняло в моем сердце еще большее место, чем когда-то дядиколина Альфа. Кэди была коричневой тигровой масти, глаза у нее были большие, доверчивые, а рот служил только для того, чтобы есть, а отнюдь не для того, чтобы кусаться.

В Калуге такие собаки были редкостью, и, когда Павлик Леонутов в первый раз повел ее гулять — он очень любил животных и, в частности, Кэди, — мальчишки из подворотни кричали ему вслед: «У, дэнди-лонди!» Мать же его, Любовь Павловна, глядя в окно, говорила: «Ну вот, нашел себе дело — бульдогов прогуливать! Делал бы что-нибудь более полезное!»

Единственный упрек, который Павлик слышал в семье, заключался в том, что он «не добытчик». Он не умел, да и не хотел куда-то поехать, что-то привезти, как это делали «добытчики» того времени. Закончив свои бухгалтерские курсы, он отсиживал без энтузиазма положенные часы в каком-нибудь совучреждении, вернувшись домой, раскалывал необходимую порцию дров и переходил к «созерцательному образу жизни». Мы с Лялей Базилевской в шутку называли его «Лодере», производя это слово от «лодырь». Вместе с тем это было имя героя из «Вампуки», который поет: «Ужасная погоня, бежим, спешим!» — и не двигается с места. Мы, конечно, понимали, что инертность происходит от слабости здоровья. Мы по-прежнему много вместе читали, и наша дружба процветала.

Так прошла зима 1926—1927 годов. В июне я, как обычно, поехала в Ленинград к отцу. Татьянка только что вернулась из Соловков, где ей удалось получить свидание с Шуриком. Думаю, что это свидание оказалось очень тягостным для обоих. Шурик благодарил меня за вывоз Алика, но говорил, что ему было бы спокойнее чувствовать во Франции и меня.

На политическом горизонте между тем стали сгущаться тучи. Через несколько дней после моего возвращения в Калугу, на Мойке, около Невского взорвалась бомба в помещении комитета партии. Кто был виновником этого взрыва, широкой публике осталось неизвестным, но в стране создалось тревожное настроение, которое нарастало всю следующую зиму и достигло наибольшего напряжения весною 1928 года, во время «шахтинского дела».

О поездке за границу не могло быть и речи. Еще зимою и у нас, и у Леонутовых назрело убеждение, что калужские возможности исчерпаны. Таня и Оля делали успехи в музыке (рулады Листа и Грига не смолкали весь день), и желательно было учиться дальше. К тому же их отец, Иван Дмитриевич, благодаря помощи Татьянки получил место в концессии «Мологолес», перешедшей к тому времени в ведение государства, и жил под Ленинградом на станции Мга. Виктор Леонутов, после пяти лет мучительных усилий и труда, оканчивал Институт путей сообщения и мечтал дать возможность учиться брату. Найти квартиру в Ленинграде в 1928 году было трудновато, но возможно.

В середине зимы я снова сделала попытку пройти в профсоюз. Я взялась организовывать мастерскую художественной вышивки, съездила в Москву, взяла у Сони Балашовой, которая вела такую же деятельность в широком масштабе, рисунки, запаслась материалами, заказала пяльцы и принялась прививать хороший вкус молодым калужанкам. Ученицы выражали мне свою преданность, толпами ходили провожать меня с занятий, и это не понравилось начальству, которое меня при первой возможности «съело».

Ближе к весне выяснилось, что агрослужба при Сызрано-Вяземской железной дороге ликвидируется. Борису предстояло думать о новой работе, и наш переезд в Ленинград был окончательно решен.

В середине апреля, воспользовавшись тем, что курсы, на которых я еще преподавала, закрылись на десять дней по случаю Пасхи, я отправилась к отцу. Одновременно со мной поехал в Ленинград Павлик, чтобы в Калугу больше не возвращаться.

Отца я застала очень опечаленным: только что скончался его ближайший друг послевоенных лет, хранитель Пушкинского дома Академии наук, Борис Львович Модзалевский. Мы часто потом говорили с отцом, что своей смертью Борис Львович как бы открыл серию всевозможных утрат и несчастий в нашей семье.

К пасхальной заутрене мы — то есть Татьянка, Павлик и я — собрались в Греческой церкви. К нам присоединился только что приехавший из Соловков за окончанием трехлетнего срока Тимоша Прохоров, сын владельца «Трехгорной мануфактуры» в Москве, очень добродушный человек. В последующие дни он рассказывал много интересного о соловецкой жизни (Прохоров был в Шуриковой 10-й роте) и цитировал шуточные стихи их друга Мартынова. Помню строки, касающиеся самого рассказчика. Описав, как один из жителей барака, Аккерман, плещется водою по утрам, Мартынов добавляет:

Но аккермановских затей
Не одобряет Тимофей.
Не вертопрах он, не кокетка
И шею моет очень редко.

Других куплетов я, к сожалению, не запомнила.

В четверг на пасхальной неделе я должна была выехать, чтобы завершить выпускные экзамены на курсах и получить, как я надеялась, профбилет. Татьянка и Павлик провожали меня на вокзале. Через оконное стекло я увидела на глазах Павлика едва сдерживаемые слезы. Выйдя на Знаменскую площадь, он сказал Татьянке: «Не знаю, что со мной делается. Нервы у меня, видимо, расшатались! Мне кажется, что мы никогда больше не увидимся!»

Вернувшись в Калугу, я узнала, что в мое отсутствие меня «сняли с работы» как «лицо непролетарского происхождения». Надежда на профбилет снова рухнула.

Протестовать было бессмысленно, так как мероприятие вполне соответствовало духу времени. «Шахтинское дело» призывало к «бдительности».

Начались наши приготовления к отъезду. Вещи зашили в рогожу для отправки в Ленинград, Борис уже рассчитался с Сызрано-Вяземской железной дорогой, и вдруг на имя Леонутовых приходит телеграмма — первая от 2 мая: «Павлик тяжело болен. Выезжать не следует», и от 3 мая: «Павлик скончался стрептококковой ангины».

Произошло следующее: Виктор Леонутов готовил дипломный проект. Комната его была завалена чертежами, и, чтобы не мешать брату, Павлик временно переехал к его товарищу. В соседней комнате лежал матрос, больной тяжелой формой ангины. Вскоре Павлик почувствовал боль в горле, 1 мая приехавший из Мги на праздник отец перевез его в больницу на 2-й Советской улице. Там ему сделали трахеотомию. Наступило некоторое улучшение, но на следующий день случилось то, чего всегда опасался доктор Муринов, предостерегавший Павлика от ангины, — не выдержало сердце.

Похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря. За гробом шли отец, брат и Татьянка. Все другие оплакали его на берегах Оки.

Могилы его больше не существует, но я вспоминаю Павлика, приходя на могилу Веневитинова на Новодевичьем кладбище. Ведь мы с ним когда-то играли в «Веневитинова и Зинаиду Волконскую» — сохраняя, конечно, все «пропорции и дистанции», как говорят французы.

Теперь мне кажется уместным, поскольку было упомянуто его имя, привести подробности переноса праха Веневитинова из Донского монастыря на Новодевичье кладбище. Дело это поручили сотруднице Исторического музея и приятельнице моего отца, Марии Юрьевне Барановской, от которой я узнала следующее. Веневитинов всегда носил на руке кольцо, подаренное ему Зинаидой Волконской, и завещал не снимать этого кольца и после его смерти. При перенесении останков гроб был вскрыт — кольцо оказалось на месте, но, по распоряжению свыше, было изъято и помещено в Литературный музей. Когда Мария Юрьевна вернулась после этой операции, папа с полугрустной, полусаркастической улыбкой

сказал: «Ну что же, Мария Юрьевна, вы точно выполнили волю покойного!»

Но возвращаюсь к прошлому. Жизнь шла своим чередом. Татьянка нашла квартиру на Мойке близ Синего моста (знакомство молодых Сиверсов с Давыдовыми, владельцами квартиры, желавшими «уплотниться», относится ко времени НЭПа, когда Татьянка и Шурик бывали на Морской, в обществе Куинджи. Там собирались люди, имевшие отношение к искусству). Борис выехал в Ленинград, договорился с Давыдовыми, перевез вещи, все расставил и развесил, так что мне оставалось только взять Кэди на цепочку и ехать на все готовое. Леонутовы должны были ехать позднее, и я обещала подыскать для них квартиру.

Устроив меня на новом месте жительства, Борис обошел несколько учреждений и увидел, что подходящего места ему в Ленинграде не найти, а так как политическая обстановка отнюдь не разряжалась, он решился на весьма разумный по тому времени шаг: подписал контракт на три года и уехал в тогдашнюю столицу Казахстана Кзыл-Орду (бывший Казалинск) в качестве заведующего сельскохозяйственным снабжением Казахской республики.

Я осталась на берегах Невы или, вернее, на берегах ее рукава — Мойки.

Приложения к главе «Последние годы в Калуге»

Читая много лет спустя воспоминания герцогини д'Абрантес о временах Директории*, я нашла некоторую аналогию в поведении молодежной «элиты» в 1798 году во Франции и в начале 20-х годов у нас. Это еще раз убедило меня в том, что история повторяется (с некоторыми видоизменениями, конечно), потому что человеческие характеры, склонности и потребности в конечном счете остаются теми же. К сожалению, молодежь, веселившаяся под куполом шереметевского дома на Воздвиженке, заплатила за это, как потом оказалось, не только ссылкой, но и жизнью.

---

* «Записки о Наполеоне» герцогини д'Абрантес издавались в «Захарове» в 2013 году.

Выписка из воспоминаний герцогини д'Абрантес (мадам Жюно, урожденной Пермон)

Глава «Во времена Директории»

Мы — французы — легкомысленны в серьезных вещах и серьезны в пустяках, причем все это у нас сопровождается полнейшей самоуверенностью. Произнеся такое суждение, я отнюдь не хочу сказать что-либо неблагоприятное для французской нации. Я только утверждаю, что она легкомысленна и неосмотрительна в крупных вопросах. Мы жаждем перемен, и, когда то или иное положение вещей изменяется, нам нужно во что бы то ни стало шутить и остроумничать над тем, что было. Но мы, по крайней мере, этого не скрываем, и когда будет признано, что мы легкомысленны, — этим будет исчерпано все плохое, что можно о нас сказать!

В 1795 году самые «модные» девицы среди «невероятных» (*incroyables*) и самые элегантные женщины среди «чудесниц» (*merveilleuses*) решили, что так как, по-видимому, еще долгое время не будет частных домов, где можно было бы собираться и танцевать, то нужно веселиться в общественных местах. Если ходить в такие залы «своей компанией», то можно не рисковать встретиться с «чужими людьми». Первым для этих целей был избран особняк Ришелье, но вскоре сборища в этом зале получили весьма странное наименование «балов жертв». Вот происхождение этого названия.

Две матери, которых я не называю, так как они еще живы, явились на один такой бал с детьми. Дочери первой дамы было 13 лет, сыну второй — 16. Эти дамы впервые встретились в особняке Ришелье после длительного перерыва — в последний раз они виделись в Тюильрийском дворце. Одна дама эмигрировала. Ее муж не пожелал этого сделать и заплатил за это головою. (Это был отец молодого человека.) Отец девочки был расстрелян на мысе Киберон (Вандея).

При звуках первой кадрили девочку по имени Адель пригласил к танцу незнакомый юноша.

Ее мать сказала:

— Я очень сожалею, но моя дочь уже приглашена.

— Мама! Что ты! Ведь меня еще никто не приглашал!

— Я это прекрасно знаю, немного терпения! — И, обращаясь к приятельнице, m-me X., дама спросила: — Эрнест с кем-нибудь танцует эту кадриль?

— Нет, но почему это вас интересует? Он, кажется, вообще не любит танцевать.

— Но может быть он не откажется танцевать с моей дочерью?

— Эрнест, пригласи мадемуазель X.!

Эрнест не заставил повторять дважды, так как Адель была хорошенькой, и увлек ее в круг танцующих.

— Вы понимаете, почему я заставила их танцевать друг с другом? — спросила m-me X. — Потому что их отцы оба умерли за короля. Я считаю, что моя дочь не должна танцевать с кем-либо иным, кроме сына такого же мученика, каким был ее отец.

— Ах какая прекрасная мысль! — воскликнула вторая дама. — Берите меня под руку, мы пойдем рассказывать об этой идее.

Каким бы странным это ни казалось, но их предложение было немедленно подхвачено и, пройдя некоторые исправления и уточнения, вошло в жизнь.

Я видела такие «контрдансы жертв», причем матери, по-видимому, не отдавали себе отчета в том, что делают нечто несообразное с законами — как моральными, так и светскими. Эти матери были по существу хорошими женщинами, тогда как дети, разумеется, «не ведали, что творят».

Мадам де Сталь открыто возмущалась этими «балами жертв», где дочь и сын казненных (и столь недавно казненных) встречались на балу, среди безудержного веселья времен Директории.

Свидетель некоторых дней нашей революции, оказавшийся на подобных сатурналиях, мог бы сказать о нашей нации: «это плохая нация», — но это было бы в корне неверно!

На Мойке

Как это видно из предыдущей главы, в Ленинград я приехала в подавленном состоянии духа и жизнь воспринимала *a contre coeur**. Эта апатия продолжалась до ноября месяца, когда по методу «клин клином» ее сбили события, о которых я буду говорить ниже.

Проводив в середине лета Бориса в Казахстан, я могла часами сидеть у окна, смотреть на медленно текущую перед моими глазами Мойку, на узор ее чугунной ограды и не сознавать ничего, кроме своей опустошенности.

Отец, не вдаваясь в подробности, видел, что у меня скверно на душе. Он часто заходил ко мне и был со мной очень, очень нежен. Вечером мы с Кэди обычно шли его провожать домой на Миллионную. Шли мы всегда набережной Мойки, мимо квартиры Пушкина, и Мошковым переулком. Надо сказать, что в 1928 году я все свои маршруты по городу планировала так, чтобы не выходить на Неву; у меня была какая-то неврастеническая причуда, в которой я никому не сознавалась: я не могла видеть Невы, казавшейся мне страшной, глубокой и холодной. Впоследствии это бесследно прошло.

Однажды (кажется, это было в сентябре) я увидела громадную толпу народа на площади перед Мариинским дворцом. Это было шествие рабочих и служащих Ленинграда с плакатами, на которых было написано: «Смерть Рамзину и его сообщникам по шахтинскому делу!», «Требуем высшей меры наказания!» и т.д. Этой демонстрации предшествовали собрания во всех учреждениях, где предлагалось вынести соответствующие резолюции. И вот, к всеобщему удивлению, нашлось одно место, где предложенная резолюция встретила возражения. Это была Военно-медицинская академия. Там поднялся профессор Михаил Иванович Аствацатуров и сказал: «Напоминаю, что мы все принимали медицинскую присягу охранять жизнь.

* Неохотно, против воли (*франц.*).

Поэтому мы не можем и не будем выносить смертных приговоров». Впоследствии оказалось, что Рамзин не только не был расстрелян, но через несколько лет даже награжден орденом, и все же демонстрации 1928 года производили очень тяжелое впечатление, отбрасывающее ко времени Понтия Пилата!

Внешне моя жизнь была обставлена хорошо. Квартира состояла из большой комнаты в 40 квадратных метров с двумя широкими окнами, выходившими на набережную Мойки, и светлой, но холодной кухни (впрочем, вся квартира была холодная, так как помещалась над неотапливаемым и полуразрушенным подвалом). Район был чудесный: дом находился в двух шагах от Исаакиевской площади — задний фасад его выходил на Большую Морскую, так что все красоты города располагались в непосредственной близости от моего жилища.

Теперь надо сказать несколько слов о моих соседях — Владимире Александровиче и Евгении Назарьевне Давыдовых, людях совершенно разных, но довольно интересных, каждый в своем роде.

Владимир Александрович, очень худой, бледный и как бы невесомый человек с большими темными глазами, был сыном известного в конце XIX века певца Александра Константиновича Давыдова, автора популярного романса «Пара гнедых»*. Болезненный, избалованный, приятный в обращении, Владимир Александрович обладал большим художественным чутьем и знал толк во всех видах искусств настолько, что когда в Эрмитаже возникали сомнения при определении той или иной картины, к Владимиру Александровичу приходил «эрмитажник» Яремич и призывал его на совет.

Евгения Назарьевна была полной противоположностью своему мужу и относилась к нему как к капризному, но очаровательному ребенку, которого надо, с одной стороны, баловать, а с другой — ни на минуту не выпускать из-под власти. Лицо ее, хотя и напоминало полный диск луны, но не было лишено известной приятности или, вернее, «забавности», так как на нем отражались все

---

* Армянина по национальности, настоящая фамилия которого была Карапетов. — *Прим. автора.*

движения ее бурной души. Незлая по натуре, Евгения Назарьевна была способна на самые невероятные выходки, за что я с полным основанием называла ее «Неистовый Роланд».

Пустить в свою квартиру с целью «уплотнения» чужих людей (то есть нас) для Евгении Назарьевны стало целой проблемой, и кандидатуры подверглись всестороннему изучению. Наконец, после вынесения положительного решения, наше переселение было обставлено рядом условий: 1. Самим в ЖАКТ не ходить, 2. С жильцами дома знакомств не заводить (?!), 3. Платить кроме взносов за площадь в ЖАКТ 10 руб. в месяц (институт «квартирохозяев» в Ленинграде был еще не отменен).

С течением времени (особенно после отъезда Бориса), видя, что я не только строго выполняю ее условия, но и нахожусь в «сомнамбулическом» состоянии, Евгения Назарьевна прониклась ко мне благожелательными и покровительственными чувствами — стала проводить меня в какие-то закрытые кооперативы и столовые, познакомила с портнихами, у которых я смогла получать заказы на вышивки... Вместе с тем она рассматривала меня как некоего «несмышленыша», которого можно всецело подчинить своей воле.

По мере выхода из своего сомнамбулического состояния я стала протестовать против уж слишком явного вмешательства в мои дела — возникали конфликты, после которых мы с Евгенией Назарьевной два-три дня не разговаривали. Разрядка происходила самым неожиданным образом. Помню такой случай: между нами и Давыдовыми была так называемая «нейтральная зона» — узкая длинная комната, где находился телефон. Выйдя на телефонный звонок в момент «перерыва дипотношений», я увидела, как давыдовская дверь приотворилась и из нее высунулась палка с привязанным к ней носовым платком (белый флаг). Я, конечно, рассмеялась, и инцидент был исчерпан.

С Евгенией Назарьевной нас еще связывал «собачий вопрос»: она полюбила Кэди, которая, кстати говоря, ласковым нравом располагала в свою пользу. Не таков был живший у Давыдовых на правах члена семьи Тигрик — это был старый, злой и малопородистый фокстерьер, который

имел склонность незаметно подкрадываться к людям и кусать их за ноги.

Евгения Назарьевна с необычайной находчивостью умела парировать неприятности, вызывавшиеся во дворе этим его свойством. Так, когда Тигрик набрасывался на какую-нибудь простую женщину и та поднимала крик, Евгения Назарьевна вразумительно говорила ей: «Матушка, никогда не бойся собак. Людей бойся!» Пострадавшая сначала обалдевала, потом вспоминала обиду, нанесенную ей какой-нибудь соседкой, вздыхала, говорила: «И ведь правда, оно так!» — и спокойно уходила с разорванным чулком. Если Тигрик порывался вцепиться в мои чулки, Евгения Назарьевна вспоминала, что мой брат Александр Александрович держал его на руках, когда тот был маленьким щенком, и раз даже положил себе в карман. Я умилялась, и Тигрик оказывался прощен.

Такова была внешняя обстановка первых месяцев моей ленинградской жизни. Борис часто писал из в Кзыл-Орды и аккуратно высылал деньги на мое прожитье.

Но вот в начале октября ко мне пришел отец, чтобы посоветоваться относительно предложения, сделанного ему ученым секретарем Академии наук Ольденбургом, — баллотироваться на должность заведующего русским отделом библиотеки Академии. Отец был в нерешительности — ему не хотелось расставаться с Эрмитажем, — но Ольденбург всячески настаивал. В ответ на слова отца, что его кандидатура может оказаться неподходящей из-за «непролетарского» происхождения, Сергей Федорович с жаром воскликнул: «Имейте в виду, Александр Александрович, что за вас мы все, как один, умрем!» Таковы были подлинные слова, о которых отец потом не раз вспоминал с саркастической улыбкой.

Дело кончилось тем, что отец дал согласие баллотироваться и был единогласно избран. Однако, вступив в новую должность, он с Эрмитажем сразу не расстался и решил использовать причитающийся ему отпуск в качестве «испытательного срока». Все, как будто, было обдумано, но никто не знал, что в это время на Академию уже готовился удар, первой жертвой которого и оказался мой отец. В середине ноября ранним утром ко мне

прибежала Александра Ивановна и сообщила, что ночью папа был арестован и увезен в ДПЗ; одновременно был взят заведующий Публичной библиотекой Бенешевич. Кабинет отца с его многочисленными картотеками, папками и книжными шкафами обычному обыску не поддавался и потому был опечатан. В течение недели приходили какие-то эксперты, всё пересматривали и, наконец, видимо, ничего интересного для себя не найдя, сняли печать и больше не появлялись.

Арест отца и стал тем событием, которое стряхнуло с меня всякую апатию. Началась зима передач, хлопот о свидании и напряженного ожидания. Никто из Академии, конечно, и не подумал «умирать за Александра Александровича», но это было отчасти понятно: готовился второй — и еще более тяжелый — удар, о котором я скажу ниже.

Не в пример академикам, «эрмитажники» отнеслись с полным сочувствием, и я получила из недр этого учреждения большую моральную поддержку в лице сотрудницы отца Ольги Васильевны Тепленко. С этой очень приятной дамой отец познакомил меня еще летом в вегетарианской столовой на Морской. Теперь же она, заходя справляться о вестях со Шпалерной, возымела чудесную мысль пригласить меня посещать вместе с ней лекции по истории искусств в Эрмитажном театре. Доступ туда был ограничен, и, хотя лекции проводились под флагом «Рабочего университета», аудиторию составляла интеллигенция, имеющая отношение к искусству, на что и была рассчитана тематика.

Очаровательный круглый зал екатерининских времен с его стоящими в мраморных нишах скульптурами уже сам по себе доставлял удовольствие. Лекции также были в большинстве случаев интересными, уводя в прошлые времена, и оказались хорошим средством возвращения меня к современной жизни. С благодарностью вспоминаю лекции по средневековому искусству сотрудника Эрмитажа Голованя и, в частности, тот случай, когда, увидев на световом экране изображение горельефа на тему Страшного Суда, я с замиранием сердца задала себе вопрос: «Ну как сейчас лектор назовет находящегося в центре группы Христа?» А потом успокоилась, услышав:

«Направо от Судящего...» и т.д. Такая формулировка меня вполне удовлетворила.

Интересны были также лекции Сапожниковой о Венеции XVII века и художника Пунина о новой французской живописи.

Другим «подарком судьбы» того времени стало знакомство с Ниночкой Иваненко, доброй душой, чья жизнь состояла в том, чтобы наподобие плюща обвивать чьи-то страдания. Семья Иваненко — из небогатых помещиков Курской губернии — жила на набережной Невы, в доме, непосредственно примыкающем к Эрмитажному театру. Отец Ниночки, Александр Сергеевич, уже появлялся на страницах моих записок, когда я рассказывала, как он, будучи шлиссельбургским исправником, озадачил своего начальника губернатора Сабурова, доказав ему свое родство с Шереметевыми через Тютчевых. Теперь Александр Сергеевич ездил в качестве проводника по Мурманской железной дороге. Ниночка работала машинисткой в «Судотресте», другая сестра, Галя, кончала медицинский институт, и вся семья была очень радушна и гостеприимна.

Через Ниночку Иваненко я познакомилась с Екатериной Павловной Султановой-Летковой, в прошлом писательницей, патронессой либерального толка и приятельницей Варвары Ивановны Икскуль. Ныне она жила на Миллионной в общежитии Дома ученых рядом с m-me Менделеевой. У Екатерины Павловны были широкие знакомства в академических и артистических кругах, так что она постоянно снабжала Ниночку билетами на закрытые лекции и концерты в Доме ученых, а та всячески старалась втянуть меня в круг этих развлечений.

В начале 1929 года, в связи с приездом в Ленинград Луначарского, был объявлен его доклад о международном философском конгрессе в Оксфорде, с которого он незадолго до того возвратился. Мы с Ниночкой заблаговременно явились в Юсуповский дом, где должен был состояться доклад, и уселись в первом ряду. Зал был переполнен, но время шло, а лектор не появлялся. Наконец кто-то с эстрады объявил, что Анатолий Васильевич задержался по весьма срочному и важному делу в Академии, но все же обещает, хотя и с опозданием, прибыть. Никто не стал расходиться.

Наконец около 11 часов появился явно взволнованный Луначарский и сказал: «Прошу меня извинить. Я задержался на экстренном заседании совета Академии наук. На нас пала тяжелая обязанность лишить звания академиков Платонова, Лихачева, Любавского и Тарле». В потрясенном зале воцарилось молчание. Овладев собой, Луначарский перешел к докладу. Излагая свои впечатления о поездке в Оксфорд, он ни на минуту не присаживался и нервно ходил из конца в конец эстрады, изредка взглядывая на молчаливого человека с черными пронизывающими глазами, сидящего тут же за небольшим столиком в качестве секретаря. Не знаю, насколько это так, но я слышала, что этот «секретарь» с черными глазами был приставлен к нему в качестве сдерживающего начала, так как Анатолий Васильевич в ходе своих речей мог увлекаться и говорить лишнее.

Из всего сказанного на этом докладе я поняла, что съезд в Оксфорде оказался очень интересным и на Западе появились новые философские течения, из которых одно (сущность его не была изложена) легко может вступить в борьбу с материализмом (тут взгляд на «секретаря» и оговорка: «кроме диалектического, конечно!»).

Перехожу к делам семейным. Моей *belle-soeur* Татьяне Николаевне ради хлеба насущного и «гражданского лица» пришлось поступить работницей на слюдовую фабрику, находившуюся на Екатерингофском проспекте, недалеко от Мойки. Восемь часов подряд она тоненьким лезвием расщепляла пластинки слюды, потом, усталая, иногда заходила ко мне, но чаще спешила домой.

Жила Татьянка в Озерном переулке близ Знаменской, занимая небольшую комнату в семье папиных друзей Нелидовых. Юрий Александрович Нелидов был сыном бывшего русского посла в Париже и братом того Нелидова, который, служа чиновником особых поручений при управляющем Императорскими театрами Теляковском, не пользовался любовью актеров Малого театра и в том числе дяди Коли Шереметева.

Юрий Александрович в описываемое мною время работал в библиотеке Александринского театра. Через его жену Марию Ивановну Татьянка подыскала для Леонутовых

две большие комнаты в квартире Ольги Ивановны Звегинцевой, элегантной дамы из высшего петербургского общества, и осенью 1928 года Любовь Павловна, крестная, Таня и Оля переселились из Калуги на угол Знаменской и Бассейной улиц. Я часто проводила у них вечера и возвращалась домой с последним, громыхающим по пустынным улицам трамваем.

Музыку девочки забросили. Таня поступила на конструкторские курсы, Оля — в дорожный институт. Иван Дмитриевич продолжал работать на лесозаготовках близ станции Мга, Виктор получил место инженера на ближайшем к Ленинграду участке бывшей Николаевской дороги.

Жизнь как будто вошла в нормальную колею, но радость со смерти Павлика в эту семью уже не возвращалась. К тому же Оля стала кашлять кровью. Ей все же удалось окончить институт, но в 1933 году, во время накладывания пневмоторакса в Обуховской больнице, она мгновенно умерла тут же в процедурной. (Видимо, была допущена какая-то ошибка.) Отпевали Олю в Греческой церкви, где за пять лет до этого мы с ее братом и Татьяной Николаевной стояли у Пасхальной заутрени, а похоронили на Охтенском кладбище. Вскоре умерла и крестная. Других членов семьи я, с моим отъездом из Ленинграда, потеряла из виду.

Но возвращаюсь к 1929 году. Два или три раза мне удалось получить свидание с отцом в ДПЗ через две решетки, но эти свидания радости не доставляли, и папа обычно прерывал их ранее назначенного срока. Зато в апреле, когда отца, больного воспалением легких, привезли со Шпалерной домой, мы возликовали и вообразили, что все муки кончены. За пять месяцев пребывания в тюрьме папа ясно понял причину своего ареста: «снять» его с работы во время «чистки» Академии было неудобно, так как должность была выборная — следовало действовать иначе и более радикально. Первое время его обвиняли в похищении из Государственного архива дневника короля Станислава Понятовского, над которым он одно время работал. Потом, когда отец указал точно, в каком отделе архива этот дневник должен находиться и сотрудники архива удостоверили, что рукопись на месте,

о Станиславе Понятовском никто больше не вспоминал. Других обвинений не предъявлялось, разве что камергерство в прошлом, которого отец никогда не скрывал!

По прибытии домой папа был уложен в постель, и благодаря заботам его старой знакомой врача Дитерихс силы его стали восстанавливаться. Не знаю, кому он был обязан этой временной передышкой. «Временной» потому, что через месяц с небольшим мы увидели, что муки далеко не кончены. Все радужные надежды разлетелись в прах, когда отца снова забрали на Шпалерную и там объявили, что, по постановлению «тройки» НКВД, он высылается на три года в Туруханск, причем следовать туда будет по этапу. Я помчалась в Москву, надеясь через Красный Крест и Екатерину Павловну Пешкову выхлопотать право ехать в ссылку за свой счет, но пока шла переписка, отца погрузили в товарный вагон, и Александра Ивановна еле поспела передать ему рюкзак и корзинку с продуктами.

До 1937 года я бережно хранила пачку писем отца из сибирской ссылки. Письма эти представляли большой интерес — как по своему стилю, так и по содержанию. С большой наблюдательностью и объективностью отец описывал этап и четыре зимы, проведенные на берегах Енисея (в Туруханске и селах Верхнеимбатск и Ворогово). Четвертая зима досталась отцу сверх нормы, потому что необходимые для выезда бумаги не поспели до закрытия навигации. И все эти невосстановимые документы были у меня отобраны совершенно бессмысленно в Саратове.

Всем известно, что «этап» — это самая тяжелая часть хождения по мукам, именуемого «ссылка». И страшен этап главным образом из-за непосредственной близости с уголовниками, которые обычно осуществляют свою деятельность при полном невмешательстве конвоя и начальства. Комендант Новосибирской тюрьмы был в этом отношении приятным исключением. При следовании этапа с вокзала в тюрьму (людей гнали пешком, а вещи везли на телеге) папина корзинка оказалась прорезанной ножом и опустошенной. Узнав об этом, комендант запер ворота, указал на большой камень и заявил, что никого не впустит во двор, пока все украденное не будет собрано и положено на этот камень. Люди стояли перед

воротами больше часу. Наконец, это, по-видимому, всем надоело, и вещи отца (за исключением всего съестного) стали появляться на камне. Съестных продуктов уже не существовало — они были мгновенно поделены и «использованы по назначению». Отцу, таким образом, предстоял путь до Красноярска и бесконечное следование вниз по Енисею в трюме парохода «Спартак» на казенном пайке черного хлеба. Но я об этом узнала лишь впоследствии.

Когда я вернулась из Москвы после бесплодных хлопот и уже не застала отца дома, нам с Александрой Ивановной пришлось срочно ликвидировать папину квартиру, которую после его осуждения отбирали в ЖАКТ. (Александре Ивановне предоставили небольшую комнату на Песках.) Часть мебели пришлось продать. Некоторые вещи я перевезла к себе на Мойку, но главной заботой стала библиотека, представлявшая большую научную и художественную ценность.

В этот критический момент ко мне пришел председатель Археографической комиссии Академии наук Александр Игнатьевич Андреев и сказал, что Академия покупает все папины книги сразу за 3000 рублей, которые будут выплачиваться с рассрочкой на три года по 100 руб. в месяц. Выбора у меня не было, и я с радостью согласилась, думая, что таким образом трехлетнее пребывание отца в Туруханске будет материально обеспечено. К тому же я помнила, насколько неприятна отцу была мысль, что его книги могут когда-нибудь разойтись по букинистам. Еще в дореволюционные времена он говорил: «На Шуру я меньше надеюсь, но ты, Танюша, после моей смерти пожертвуй мою библиотеку в какое-нибудь учреждение». Жертвовать я теперь не могла, но была рада, что книги единым блоком войдут в Академию наук.

Александр Игнатьевич Андреев, который был с папой в хороших отношениях, приехал с транспортом — книги погрузили и отвезли в помещение Археографической комиссии, в старинное здание, находящееся на Васильевском острове, в непосредственной близости от Ростральных колонн. Никакой расписки я не попросила, так как сдавала библиотеку в надежные руки, а первый

взнос мне обещали сделать осенью, когда покупка будет оформлена через бухгалтерию. В середине лета квартира на Миллионной, 17 перестала существовать — вернее, в ней поселились чужие люди.

Тем временем Борис, проведя зиму в Кзыл-Орде, приехал в отпуск на Мойку и сообщил, что столица Казахстана переносится в Алма-Ату и ему придется туда переселиться. Увидев, что я измучена и утомлена событиями предшествующего периода, и думая, что перемена места будет мне полезна, он предложил совершить с ним поездку в Алма-Ату по только что построенному и даже еще не введенному в эксплуатацию Турксибу.

Побуждения у Бориса были самые прекрасные, но практически путешествие в Среднюю Азию летом не дало ожидаемых результатов и не оставило приятного впечатления. В поезде было пыльно и душно. Взятая нами с собою Кэди в изнеможении лежала под лавкой вагона. Борис, которому, может быть, надоело «возиться» со мной или по какой-нибудь другой причине, был не в духе. Он довольно много пил на станциях и от этого становился еще более раздражительным.

В довершение всех бед ночью близ станции Ак-Булак какие-то жулики, взобравшись на крышу вагона, крючком зацепили и похитили через окно подаренное мне мамой дорожное пальто *Burbery*. Я услышала легкий треск порванной вешалки и увидела, как пальто мелькнуло перед глазами и исчезло в темноте. Проводник потом сказал, что такой метод характерен для перегона Оренбург — Ак-Булак.

На станции Луговой мы пересели в товарный вагон (пассажирское движение еще не было установлено), и наш поезд с осторожностью двинулся по еще не вполне достроенной линии. По обеим сторонам пути расстилалась выжженная июльским солнцем степь, которую кое-где пересекали пустынные возвышенности. Продвигались мы не «мелкой рысью», а черепашьим шагом и лишь на третьи сутки достигли Алма-Аты, города, лишенного какой бы то ни было восточной экзотики (которой, по существу, и нельзя было ожидать от поселения, возникшего во второй половине XIX века вокруг русской крепости).

Но отсутствие памятников материальной культуры Востока компенсировалось чудесным видом на горную цепь Заилийского Алатау, которая на закате окрашивалась в феерические цвета и казалась очень близкой.

В описываемое мною время новое строительство в городе едва только начиналось и Алма-Ата представляла собою большую деревню, раскинувшуюся на границе пустынной степи и богатых растительностью предгорий. Вдоль улиц шли примитивные арыки с питьевой водой сомнительного качества. Снабжение товарами было скудное, квартиры — плохие. Видно было, что город совсем не подготовился к приему свалившихся на него республиканских учреждений, с прибытием которых цены на базаре резко поднялись и продукты стали разбираться нарасхват. Особенно трудно было доставать керосин, что я узнала на своем опыте. Вскипятить чай и приготовить еду можно было только на примусе или керосинке. Дровами в Средней Азии служит дефицитный саксаул, тонкие змеевидные стволы которого стелются по бесплодной земле. Это топливо берегут для зимы и летом в печах не жгут.

Слово «саксаул» я впервые услышала в Алма-Ате, так же как и слово «аксакал». В связи с этим Борис рассказал мне слышанный им еще в Кзыл-Орде анекдот об одном из русских генералов эпохи покорения Туркменистана, который, решив созвать наиболее уважаемых представителей народа «аксакалов» и «обласкать» их, перепутал слова и начал приветственную речь обращением «Почтенные саксаулы». Надо отметить, что фамилия Бориса производила очень приятное впечатление на коренных жителей Казахстана — они широко улыбались, понимающе кивали головами и повторяли «аксакал».

Но возвращаюсь к керосину. Когда Борис уходил на работу, я брала жестяную банку и отправлялась на окраину города в Дунганскую слободу (дунгане — китайцы-магометане), где была база нефтепродуктов, долго стояла там в очереди с представительницами самых разнообразных национальностей и в середине дня возвращалась полумертвой от усталости с 3-4 литрами керосина, в глубине души ожидая похвал за совершенный мною подвиг. Однако никаких похвал от Бориса я не получала — его,

наоборот, злило, что я себя переутомляю. К концу моего пребывания в Алма-Ате он с некоторым сарказмом сообщил мне, что где-то недалеко от нашего жилища стояла автоколонна, где «по блату» можно было доставать керосин, не утруждая себя (чего я, конечно, не могла знать!). И с тех пор слово «Дунгановка» стало для него символом непроизводительной и глупой затраты энергии.

Проведя в Алма-Ате полтора месяца и не получив от этой поездки особого удовольствия, я уехала обратно в Ленинград, оставив Борису для развлечения Кэди, которую, как я уже говорила, мы оба очень любили.

Вернувшись на Мойку, я прежде всего поспешила в Академию, чтобы оформить продажу папиной библиотеки и получить первый взнос. То, что я там нашла, оказалось поистине трагичным. Александра Игнатьевича Андреева за время моего отсутствия арестовали, и его имя в Археографической комиссии уже не произносилось. Возглавлял это учреждение человек весьма неприятный по фамилии Томсинский, который даже не удостоил меня аудиенции, а велел передать через кого-то из своих подчиненных, что считает покупку библиотеки совершенно ненужной и платить ничего не собирается. Он добавил, что я могла бы взять книги обратно, но это затрудняется тем, что библиотека свалена в общее книгохранилище и смешана с ранее купленной библиотекой Дружинина. Заниматься отбором книг сотрудникам некогда, и он просит его не беспокоить, тем более что у меня на руках нет никаких списков и документов, по которым я сдавала книги в Археографическую комиссию.

После столь наглого ответа начались мои хождения по кабинетам руководителей Академии. Конечно, у Ольденбурга, Комарова и Волгина я встречала более любезный прием, чем у Томсинского — от факта покупки библиотеки, которая считалась одной из лучших частных библиотек Ленинграда, они отказаться не могли, так как покупка были официально санкционирована Президиумом Академии, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Однажды во время своих хождений по лестницам Академии я увидела дверь с надписью «Яфетический институт» и решила перешагнуть порог учреждения со столь

странным названием, душою которого был находящийся в зените славы ученик Марра академик Иван Иванович Мещанинов. Последний, давно знавший моего отца (и, кажется, даже мою мать), был весьма учтив, соболезновал, возмущался, но чисто платонически. Из разговора с ним да и со всеми другими я поняла, что «страшнее Томсинского зверя нет» и никто с ним в единоборство вступать не собирается. (Так было в 1929 году, что не помешало Томсинскому несколькими годами позже очутиться в дальней ссылке.)

Наконец, после упорных хлопот, я получила разрешение проникнуть в помещение, где хранились отцовские книги, и забрать ряд художественных изданий, которые сразу же могли быть превращены в деньги. Так комплекты журнала «Старые годы», «Русские портреты» издания великого князя Николая Михайловича и многие французские книги XVIII века все же не миновали букинистов. Зато отец аккуратно получал денежные переводы и посылки. Вместе с художественными изданиями я вернула к пенатам «Малого Ларусса», старый французский энциклопедический словарик, который всегда лежал у отца на письменном столе и по его просьбе был выслан ему в Туруханск. Теперь этот потрепанный «Petit Larousse» всегда со мной, как дорогая реликвия.

Спор из-за библиотеки длился несколько лет. В конце концов, насколько я помню, часть книг Академия все же выкупила, а разделы генеалогии и геральдики — были отданы обратно. Так как меня в ту пору в Ленинграде уже не было, труд по получению книг взял на себя папин приятель и сотрудник по Эрмитажу Николай Павлович Бауер. Он же препроводил их в Москву к Шереметевым, где они занимали всю стену в столовой, а уже после смерти отца их купил Исторический музей. Эпопея с папиными книгами была возмутительна, доставила мне много хлопот, но это были только «неприятности», тогда как надвигалось настоящее неизбывное горе.

С конца лета 1929 года в Ленинград начали поступать плохие вести из Соловков — настроение стало тревожным: всю 58-ю статью перевели на общие работы.

Татьянка, насколько мне помнится, в начале октября уехала в Москву к Екатерине Павловне Пешковой, этому

прибежищу всех «униженных и оскорбленных». Много сделать возглавляемый ею комитет «Политического Красного Креста» на Кузнецком, 24 не мог, но приходящие встречали там сочувствие и хватались за эту соломинку.

В начале ноября я получила открытку со штампом УСЛОНа, датированную 24 октября. Брат мелко и убористо писал, что с нетерпением ждет наступления морозов: «Очень неприятно в осенней сырости с утра до вечера быть в лесу на работе, когда дождь льется за воротник». И эта открытка — его последняя открытка, прошедшая, несомненно, через цензуру, — была подписана так, как я его называла в далекие годы нашего детства, — «Твой пёсик-братик»! Пятого ноября ко мне пришел Юрий Александрович Нелидов и сразу задал вопрос: «От какого числа было письмо от Александра Александровича?» Я ответила: «От 24-го». Юрий Александрович закрыл рукой глаза и сказал: «Я шел с надеждой, что оно было написано позднее. В ночь с 28 на 29 октября в Соловках произошел массовый расстрел. Есть основание думать самое худшее, хотя это еще только слухи. Не будем отчаиваться, пока не узнаем достоверно».

Месяц понадобился для получения этой «достоверности» — месяц переходов от надежды к безнадежности. Я никак не могла себя заставить поверить, что открытка брата пришла тогда, когда его уже не было на свете. Для того чтобы осознать это, мне надо было в начале декабря прочитать письмо, написанное из Соловков Наталией Михайловной Путиловой к ее сестре. Тут уже не оставалось никаких сомнений, никакой надежды. Отцу я решила не сообщать.

Ни в одном официальном источнике нельзя было ничего почерпнуть о Соловецкой трагедии 1929 года. По-видимому, решили сначала обойти это дело молчанием, а потом объявить его самодеятельностью местных властей. В 1930 году в Соловки была направлена комиссия по расследованию. Расстрельщики, как я слышала, были расстреляны, но это никакого утешения не принесло.

Татьяна Николаевна узнала о гибели Шурика в Москве, и тут Екатерина Павловна Пешкова проявила исключительную сердечность и энергию: видя, что Соловецкий расстрел вызвал даже в правительственных кругах

некоторое смущение, она сумела добиться разрешения вывезти Татьянку во Францию к сыну и прочим ее родным. Как раз в это время Пешкова сама должна была ехать за границу и — по правилу ковать железо, пока оно горячо, — за несколько часов до отхода поезда прислала за Татьянкой машину, усадила ее в свое купе (без всяких вещей) и перевезла через границу. Все мои дальнейшие сообщения о Татьяне Николаевне, Алике и Диме будут почерпнуты из маминых писем.

Между тем отец доплыл в трюме парохода «Спартак» до Туруханска и высадился в этом унылом месте. Неизвестно, чем руководствовались власти, считая полезным почаще переводить ссыльных с места на место в пределах «вверенного им края», но не успел отец обжиться в Туруханске, как ему было предписано срочно переселиться в село Верхнеимбатское. Описание этого зимнего переезда в 250 верст, которому было посвящено одно из папиных писем, глубоко врезалось в мою память. Отец ехал на крестьянских санях от села к селу, причем возницей оказалась девочка лет пятнадцати. По ночам она свертывалась клубочком в передке саней и мирно спала, пока лошадь трусила среди бескрайней снежной равнины и под бескрайним куполом звездного неба.

Могла ли я в эту туруханскую пустыню написать о Соловецкой трагедии?! У меня на это не хватило духу. Сначала я отмалчивалась, потом на вопросы отца о Шурике стала давать какие-то невразумительные ответы, порождавшие тревогу. Впоследствии папа меня за это порицал, говорил, что не следовало скрывать, но я в ту пору иначе поступить не могла.

Так закончился 1929 год, наступил 1930-й, прошли его первые месяцы. Когда я думаю о своей выносливости, которая мне самой не нравится как чрезмерная, я отчасти объясняю ее теми «передышками», которые от времени до времени давала мне судьба. Одна из таких передышек (окончившаяся в конце концов весьма печально) была мне ниспослана весною 1930 года.

В двадцатых числах февраля днем, когда я сидела за бисерной вышивкой (заказов в ту пору было уже достаточно), раздался стук в парадную дверь. На мой вопрос

«Кто там?» послышалось: «Можно видеть Татьяну Александровну?» Отпирая засов, я радостно воскликнула: «По голосу узнаю, что это кто-то из Львовых — не то Юрий, не то Сергей». Когда дверь открылась, я увидела высокого молодого человека в куртке и шапке-ушанке, он поклонился и сказал: «Не Юрий, не Сергей, а Владимир!» Передо мной стоял «гжельский магнат», который незадолго до того перестал быть «магнатом», был вдребезги «раскулачен», но, что самое удивительное, говорил об этом со смехом, без всякого надрыва.

Вскоре я поняла, что Владимир Сергеевич уже давно привык к раскулачиванию — если не агентами правительства, то собственными родными. Кроме того, он очень верил в свои силы и горел желанием начать все сначала. Через пять минут разговора я была посвящена в проект создания керамической мастерской где-нибудь на окраине Ленинграда, например, на Охте, а через несколько дней я же показывала гостю всю красоту города, которую в продолжение двух лет старалась не замечать. Началось мое выздоровление.

Владимир Львов и я так много слышали друг о друге, что между нами быстро перекинулся мостик простых и веселых отношений. Красивым его назвать было нельзя, но он был высок, строен и в его внешности читалось несомненное благородство. Густые каштановые волосы были зачесаны назад, в продолговатом лице с серыми глазами, правильным носом, небольшим ртом и несколько тяжеловатым подбородком не было смазливости его брата Юрия и хитрости брата Сергея, что мне нравилось.

В нашем паломничестве по достопримечательностям Ленинграда мы даже рискнули подняться на купол Исаакиевского собора. Этому восхождению я посвятила пять лет спустя несколько рифмованных строк, но в них *post factum* высказывались чувства, которые весной 1930 года я еще не испытывала, и потому эти строки приведены будут не здесь, а в соответствующем месте.

Остановился Владимир Сергеевич у знакомого его братьев по Калуге, работавшего в техническом бюро по ремонту лифтов. Утром и днем он устраивал свои «керамические дела», а вечера проводил на Мойке. Так прошел месяц. В двадцатых числах марта Владимир Сергеевич

появился у меня в неурочное время, то есть утром. Вид у него был не совсем обычный. В руках он держал газету «Известия», а в газете была напечатана заметка из Алма-Аты о том, что «сорвана посевкампания в Казахстане», целому ряду начальствующих лиц объявлен выговор, многие сняты с работы — «специалисты Аксаков и Зенкевич преданы суду». Тут сомнения быть не могло — мне следовало срочно ехать в Алма-Ату. Владимир Сергеевич проводил меня до Москвы. Прощаясь с ним на Казанском вокзале, я обещала, если все окончится благополучно, вернуться к дню его именин — 15 июля.

Путь до Алма-Аты я совершила быстрее, чем предыдущей осенью (по Турксибу стали ходить регулярные поезда), и казахские степи уже не представляли собою выжженную солнцем пустыню, а были покрыты ковром из красных и желтых тюльпанов. Зато то, что я увидела по приезде, оказалось совсем не утешительно. Борис уже три недели сидел в тюрьме, причем эта тюрьма находилась на каком-то каменистом пустыре в четырех километрах от города. На квартире меня радостно встретила Кэдинька, которая благодаря честности хозяйки, по-видимому, не голодала. Тут же эта хозяйка Настенька — семиреченская казачка — сообщила мне, что их домик в ближайшие дни подлежит сносу и мне надо искать другую квартиру. Это было очень печально, так как домик находился в верхнем конце Узунагачской улицы у самого головного арыка — и воздух, и вода там были хороши, да и найти другое помещение было очень трудно.

Хозяева перебрались в Малую Станицу к родственникам, я же осталась одна в пустом доме и сказала, что уйду только тогда, когда его начнут ломать. В положенные дни я носила передачи Борису, наводила справки в местном ГПУ, ходила за керосином на Дунгановку — одним словом, вела очень печальный образ жизни. Предвидя всевозможные осложнения, я была очень озабочена судьбой Кэди — ее следовало определить на всякий случай в хорошие руки. И, для того чтобы выявить эти «хорошие руки», я дала в местную газету объявление: «Английский бульдог (самка), премированная, продается по такому-то адресу» — и стала ждать любителей,

которым отдала бы Кэди без денег, лишь бы они действительно были «любителями».

Около 20 апреля на Алма-Ату налетела снежная буря — местные жители привыкли к таким капризам природы, но я была поражена, когда среди солнечной весны моя хибарка вдруг оказалась заваленной хлопьями снега. На улице делалось что-то невообразимое, перед окнами крутилась серая мгла, завывал ветер, и мы с Кэди сидели на кровати, прижавшись друг к другу. И вдруг среди этого хаоса к домику подъехал экипаж с поднятым верхом, из него вышел человек в форме ГПУ, решительным шагом вошел в комнату и грозно спросил: «Это вы Аксакова?» На мой утвердительный ответ он спросил еще более грозно: «Что это вы здесь продаете?» Я с болью в сердце указала на Кэди и сказала: «Да вот ее». Представитель власти вынул из кармана газету с объявлением и свирепо закричал: «Что вы мне голову морочите! Вы тут револьвер продаете — как будто я не знаю, что такое "бульдог"!» Тут уж я не выдержала — вырвала у него из рук газету и закричала: «А при чем тут слово "самка", если это револьвер?!» Мой собеседник с обалдевшим видом посмотрел на объявление, потом на меня, потом на Кэди, быстро повернулся к двери, залез под поднятый верх своей пролетки и укатил.

Борис впоследствии рассказал своему следователю о случае с бульдогом и об их сотруднике. Смех был на все управление — но мне в хибарке, заваленной снегом, было не до смеха!

К счастью, через два-три дня солнце снова засияло. Девочки, с которыми я успела подружиться, принесли мне букет необычайно красивых горных цветов, а проходя через соседний запущенный сад, я увидела не куст, а целое дерево, покрытое шарообразными белыми цветами... Это стало как бы последним напоминанием о пронесшейся над нами снежной буре.

В это время почта уведомила меня о пришедшей на мое имя из Ленинграда посылке, содержащей шестнадцать (я твердо помню это число!) плиток шоколада. Посылка была от Владимира Сергеевича. От него приходили также и письма — некоторые даже со стихами. Помню, что одно

стихотворение начиналось стилизованным описанием тех неприступных скал на краю света, где я якобы нахожусь и куда бы он хотел пройти «тропами талыми» (рифмовалось со «скалами»), чтобы меня опоясать лиловыми тенями, закидать цветами весенними. Далее (как теперь говорят) «звучала тема труда»:

А пока... словно в латы закованный
И единой мечтой очарованный,
Буду делать работу бессменную,
Память в сердце храня неизменную.

Из последних строк я поняла, что керамическая мастерская на Охте начала действовать.

А на Узунагачской улице между тем появились рабочие и стали ломать наш домик. Узнав об этом, хозяйка Настя приехала за мной и Кэди на телеге и перевезла нас в Малую Казачью станицу, поселение, находящееся в стороне, диаметрально противоположной тюрьме. Уже не говоря о том, что мой путь с передачами удлинился на четыре километра, в новом месте я стала страдать от отсутствия пригодной для питья воды. Та жидкость, которую добывали в колодцах станицы, имела мутно-желтый цвет, и приготовленный из нее чай покрывался коричневым и как будто жирным налетом. Пить такой «солончаковый» чай было очень противно.

Все эти мелкие неприятности, однако, с избытком компенсировались тем, что по неуловимым путям, связующим заключенных с их родными, стали поступать обнадеживающие слухи: «процесс виновников срыва посевной кампании» как будто принимал благоприятный оборот. Кроме того, в Алма-Ате появились дружественные связи: в очереди перед керосиновой лавкой в Дунгановке я познакомилась с очень приятной дамой лет на десять старше меня, m-me Жихаревой.

Павел Павлович Жихарев, бывший калужский помещик, после различных мытарств очутился в Алма-Ате на должности бракера (насколько я помню, он отбирал породистых лошадей для коннозаводства), и с ним была его жена, Наталия Владимировна, та дама, которую я впервые увидела на Дунгановке и потом, в День Петра и Павла,

встретила в церкви. После обедни и заупокойной службы мы вместе вышли на базарную площадь. Моя спутница была в черном. В порыве откровенности она сказала, что это — день памяти человека, который ей был очень дорог. Тут в моей голове мелькнул ряд ассоциаций и я не слишком неделикатно воскликнула: «Вы, наверное, говорите о Петре Владимировиче — я его очень хорошо помню». К счастью, мое вторжение в чужое прошлое встретило удивление, но не протест. Мне кажется, что возникла даже какая-то теплая волна от того, что случайная встреча где-то на краю земли вызвала из прошлого один и тот же образ, для меня — чисто зрительный из времен моей юности, для моей новой знакомой — более близкий и реальный. (Моя неделикатность все же не доходит до того, чтобы называть фамилии!)

Вторая приятная алма-атинская встреча произошла в комиссионном магазине, где мне пришлось продавать кое-что из привезенных из Ленинграда вещей. Спиною ко мне у прилавка стояла маленькая дама с темными волосами и смуглой шеей, лица же я не видела. Дама рассматривала вывешенные для продажи цветные, затканные восточными узорами халаты и, обратившись к своему спутнику, сказала: «Как хорошо было бы переплести этой тканью некоторые из наших книг!» Такое высказывание заставило меня заглянуть в лицо говорившей, и я узнала мою подругу по гимназии Соню Келлер. Мы бросились друг другу в объятия. Произойди эта встреча раньше — не было бы моих мытарств по землянкам и станицам. Муж Сони заведовал Пастеровской станцией, где я могла бы жить со всеми удобствами. Переезжать в половине июня уже не имело смысла, так как я со дня на день ждала благоприятного завершения алма-атинской эпопеи, но несколько приятных вечеров я все же провела у Сони в воспоминаниях о гимназических годах.

Жители дореволюционной Москвы хорошо были знакомы с домом светло-зеленого цвета, стоявшим посреди Арбатской площади. В этом доме помещался большой аптекарский магазин с вывеской «Р.Келлер и К°», а над вывеской был укреплен макет фабричной марки — колесо с двумя крыльями. В одном окне магазина стояла

гипсовая фигура Гиппократа, в другом — Меркурия*. Наследницей этой фирмы была поступившая в 8-й класс нашей гимназии София Романовна Келлер, девочка лет шестнадцати с лицом хорошенькой китаянки, черным пушком над верхней губой и очень милым характером.

Отец и мать у нее умерли, Соня жила с мачехой, отношения в семье были сложные, вследствие чего она прямо со школьной скамьи вышла замуж за человека старше себя и, вероятно, умнее себя, Владимира Александровича Филиппова — искусствоведа и театрального критика, статьи которого я и поныне встречаю в газетах и журналах. Брак этот оказался, видимо, непрочным, потому что в Алма-Ате Соня была уже со своим вторым мужем. С нею жил и ее сын от первого брака — милый юноша, только что ставший студентом.

Соня, по-видимому, была искренне рада встрече со мной. Она даже назвала ее «подарком судьбы», а я потом включила это выражение в свой лексикон.

Мои надежды на благоприятный исход дела, приведшего меня в Алма-Ату, оправдались. В один прекрасный день Борис подкатил к Малой Станице на таратайке, радостный и веселый. Он сумел доказать, что не может быть ответственным за срыв посевной кампании в Казахстане, и дело было прекращено. Мой приезд он называл «подвигом» и был за него очень благодарен.

Проведя в Алма-Ате еще дней десять и убедившись, что Борис пришел в себя и немного «отъелся» после тюрьмы, я сочла, что моя миссия выполнена, и стала собираться в Ленинград. Не могу скрыть, что, с одной стороны, я помнила о своем обещании вернуться к 15 июля, а с другой — мой отъезд был облегчен одним обстоятельством: уходя в тюрьму, Борис снял и оставил у хозяйки золотой медальон — романтический предмет, который спокон века служил для разоблачения всяких тайн!

---

* По поводу этого Меркурия я недавно слышала забавный рассказ Николая Геннадиевича Лермонтова. Его двоюродный брат, Владимир Трубецкой (сын князя Сергея Николаевича), известный своими шалостями, в возрасте 10-11 лет гуляя с гувернанткой, часто проходил мимо магазина Келлера и засматривался на Меркурия. В один прекрасный день он упал перед ним на колени, а потом на исповеди озадачил священника, сказав, что он «поклонялся идолам». — *Прим. автора.*

При виде его я лишний раз убедилась, что отношения Бориса с Лидией Дмитриевной Некрасовой установлены «всерьез и надолго» — и это лишний раз предоставило мне свободу действий.

Двадцатого июля я выехала в Ленинград, где меня ждали новые горести — но пока это была «передышка». Я вернулась к именинам Владимира Сергеевича, и этот день мы с ним провели в Павловске. Гуляя по аллеям парка, сидя в беседках с сентиментальными названиями и возвращаясь вечером пригородным поездом, мы оба были преисполнены той «веселой ласковости», которая с тех пор укрепилась в наших отношениях и составляла их «внешнее оформление». Внутренней сущностью наших отношений вскоре стало то, что французы называют *intimite*... Понятие, которое никак нельзя перевести словом «интимность» и которое заключалось в том, что мы стали понимать друг друга с полслова. Между нами установился даже особый язык, составленный из выражений, почерпнутых нами из книг, читаемых совместно, особенно французских.

Как я и предполагала, мастерская технического фарфора на Большой Охте уже открылась и требовала к себе много внимания. Сидя на Мойке, Владимир Сергеевич вдруг о чем-нибудь вспоминал, срывался с места, воскликнув со смехом: «Это ужасно! Я вижу, что любовь и дела — вещи несовместимые!». И предлагал мне ехать с ним на завод «Электросила» или «Красная нить», где он должен был получить заказ на какое-нибудь изделие. Я обычно соглашалась и терпеливо ждала его у ворот завода, пока он вел деловые разговоры, потом быстрым шагом выходил из проходной, подхватывал меня под руку — и мы ехали в какое-нибудь другое место.

Для моих заказчиц, которые уже справлялись по телефону о моем возвращении, Владимир Сергеевич написал шуточный плакат «Мадам Тата вернулась из Алма-Ата» и предлагал вывесить его на окне, выходящем на Мойку.

Очень много он мне рассказывал о своем детстве, протекавшем в уральских краях в поселке Пожва, в бывшем владении Всеволожских, перешедшем впоследствии

к его отцу. Из этих рассказов я поняла, что дети Львовы (четыре дочери, четыре сына) росли в большом доме (чуть ли не в сорок комнат), обставленном старинной мебелью времен Всеволожских. Кругом стояла вековая тайга, где-то поблизости протекала Кама.

Как-то ранее я упоминала о том, что в Москве отца Владимира Сергеевича называли «Львов-делец». Это было обусловлено следующим: небольшое родовое имение Львовых Поповка, находящееся в Алексинском уезде Тульской губернии, в конце XIX века имело лишь моральную, но не материальную ценность. Дедушка Владимира Сергеевича пользовался репутацией человека приятного, просвещенного, но небогатого. Между Поповкой и Ясной Поляной поддерживались дружественные отношения.

Отец Владимира Сергеевича Сергей Евгеньевич в свои молодые годы, то есть тогда, когда в русском дворянстве появилась тяга к «бизнесу», задался мыслью создать себе состояние. Желая подготовиться к практической деятельности, он пешком исходил всю Францию, изучая сельское хозяйство и промышленную жизнь этой страны. Вернувшись на родину, женился на дочери священника* и уехал на Урал в качестве управляющего владениями холостяка Всеволожского. Владения эти включали обширные леса по Каме и Вишере и металлургический завод. Обосновав свою с каждым годом увеличивающуюся семью в центре этих латифундий — поселке Пожва, — он бóльшую часть времени проводил в разъездах и вскоре приобрел репутацию энергичного дельца, которому палец в рот не клади.

В результате этой неутомимой деятельности после смерти Всеволожского (которая произошла, кажется, незадолго до революции) оказалось, что Пожва со всеми ее лесами и заводами принадлежит князю Сергею Евгеньевичу Львову. Это вызвало недовольство наследников и дало пищу для злословия. Но к этому вопросу я еще вернусь, так как — хотя он меня совершенно не касался — он сыграл некоторую роль в моих отношениях с Львовыми.

* Ксения Александровна Сабурова рассказывала, что когда Сергей и Юрий Львовы показывали ей однажды портреты предков, она не смогла удержаться от ехидного вопроса: «А это предки со стороны вашего отца или матери?» — *Прим. автора.*

Семьянин Сергей Евгеньевич был прекрасный и в этом отношении доходил до (может быть, показной?) утрировки. Так, когда Анна Сергеевна Сабурова спросила, находит ли он красивой какую-то знакомую даму, он ответил: «Не знаю. Она замужняя, я на нее не смотрю и о ее красоте судить не могу».

Насколько я могу судить из рассказов Владимира Сергеевича, воспитанию его сестер уделялось много внимания. При них была постоянная гувернантка-француженка, они учились музыке, на зиму переселялись в Пермь и посещали гимназию. Старшая сестра Елена, которую я видела в Париже и которую Владимир Сергеевич особенно любил, была, по его словам, хорошей художницей и вообще очень одаренной натурой. Зоя Сергеевна прекрасно играла на рояле.

С воспитанием (вернее, образованием) мальчиков дело обстояло хуже. Учителями их были какие-то семинаристы, и, за исключением часов церковной службы, которые они должны были аккуратно посещать, мальчишки представляли собой довольно буйную ватагу, бегающую по лесам, плавающую на лодках и не страдающую отсутствием аппетита. Владимир Сергеевич вспоминал, что кухарка, выкидывая какое-нибудь испорченное блюдо, говорила: «Уж на что князья — и то кушать не стали!»

Так как Владимир Львов, начиная с этой главы, становится центральной фигурой моего повествования, то мне следует упомянуть, что в детстве он страдал какими-то припадками, похожими на эпилептические. Потом эти припадки бесследно прошли, но мне кажется, что где-то в глубине души у него сохранилось ощущение небольшой доли достоевщины, которую он инстинктивно старался заглушить напряженным трудом.

Много раз он мне говорил, что его поражает «западная» ясность и «структурность» моего мышления, моей психики, что эти качества имеют для него особенно притягательную силу потому, что в нем самом еще много неясного и хаотичного. Эти слова мне часто приходят на ум и многое мне объясняют теперь, когда моя «ясная мысль» развертывает весь ход наших отношений на протяжении семи лет и когда я стараюсь дать им верную оценку.

Незадолго до войны 1914 года Львовы переехали в Москву, в район Пречистенки и Остоженки. Старшие сыновья поступили в Шелапутинскую гимназию, младший — Сергей — был отдан в Кадетский корпус. По окончании гимназии Владимир, как будто, недолгое время состоял студентом Коммерческой академии. Дальнейшая его судьба до момента переезда в Ленинград кратко описана мною ранее, и потому я возвращаюсь к тому, что происходило в 1930 году на Мойке, 91, кв. 27.

Пока я была в Алма-Ате, в жизни моей соседки Евгении Назарьевны произошла катастрофа: от нее ушел муж (если еще не совсем, то наполовину). Дело в том, что благосостояние Давыдовых, как я вскоре поняла, зиждилось на том, что они покупали или брали на комиссию антикварные вещи в Ленинграде, где такие предметы были сравнительно дешевы, а затем Владимир Александрович отвозил их в Москву и продавал со значительной выгодой. (В Москве благодаря присутствию посольств цены на предметы искусства были выше ленинградских.) Беда пришла к Евгении Назарьевне с неожиданной стороны: она, сначала поощрявшая спекулятивные поездки мужа, стала вдруг подозревать, что его привлекают в Москву не одни коммерческие соображения. Наведенные справки подтвердили наличие «московского романа».

Тут в Евгении Назарьевне проснулся Неистовый Роланд. Как ни старалась я удержать ее от этого шага, все же она поехала «бить московскую девку» (которая, кстати говоря, была совсем не «девка», а очень милая особа). Последняя избежала этой участи только благодаря тому, что, увидев у себя на службе агрессивно настроенную женщину, скрылась в заднем помещении.

Пишу об этом потому, что реакция Евгении Назарьевны на измену мужа протекала столь бурно, что в нее была вовлечена не только вся квартира, а следовательно, и я, но и весь дом. Владимир Александрович, то есть «виновная сторона», относился к делу спокойно, некоторое время продолжал курсировать между Москвой в Ленинградом, а уезжая окончательно, со свойственной ему тонкой улыбкой заметил: «Мне кажется, что когда

Толстой ушел из Ясной Поляны, было меньше шума, чем когда я решил покинуть Мойку».

У Давыдовых, особенно когда был дома Владимир Александрович, я встречала интересных людей, и среди них, пожалуй, самым интересным был Михаил Михайлович Севастьянов, человек лет 42—45, внешностью своей напоминающий Дон Кихота среднего возраста. Отец его был директором Управления почт и телеграфа. Сам он окончил Александровский лицей, младший брат его, Юрий, был одного выпуска с Шуриком и погиб в начале революции. В описываемое время Михаил Михайлович жил вместе со своей матерью, весьма скудно, где-то в районе Покрова и только что пережил «жизненный конфликт», в котором выказал себя Дон Кихотом не только внешне, но и внутренне. Самое же интересное заключается в том, что он описал всю свою жизнь (включая и последний конфликт) в поэме «Михаил Бастьянов» — очень талантливой пародии на «Евгения Онегина».

Поэма начинается с описания блестящего предвоенного Петербурга. Затем появляется Петроград первых лет революции. Михаил Бастьянов женится на красивой итальянке, балерине труппы Мариинского театра, которая получает возможность уехать за границу, уезжает, но из любви к герою поэмы возвращается в холодный и голодный город. Бастьянов поражен такой доблестью. С годами любовь проходит, но супруги, связанные «жилплощадью», живут в одной квартире. У героини завязывается роман с известным певцом Мариинской сцены, однако, последний, по существу будучи человеком добродетельным, возвращается в свой «семейный очаг» и, по мнению Бастьянова, слишком резко и некорректно порывает с его бывшей женой. Бастьянов считает своим долгом вступиться и вызвать оскорбителя на дуэль. Эту мысль ему внушают портреты предков, с которыми он, однако, в решительный момент вступает в дискуссию:

Ах, предки, предки! Вы неправы,
У нас теперь другие нравы.
Лепажи отданы в музей,
Для секундантов нет друзей,
И коль дерется кто порой,
То разве только у пивной!..

К сожалению, я не помню других выдержек из этой весьма интересной поэмы, а также не могу сказать, чем она кончается. В действительной же жизни вызов был сделан, но «стараниями друзей дуэль была предотвращена».

На Покровском рынке часто можно было видеть пожилую даму в черном, сидящую на скамеечке и продающую всякую домашнюю мелочь из своего хозяйства. Это была мать Михаила Михайловича Севастьянова, всегда поражавшая меня своей выдержкой и немногословием. Когда я однажды выразила удивление, что никогда не слышу от нее жалоб на судьбу, она коротко спросила: «А это что, помогает?..»

Как я недавно узнала, Михаил Михайлович Севастьянов умер во время блокады Ленинграда. Не знаю, сохранилась ли у кого-нибудь рукопись его автобиографической поэмы — я же могу только сказать, что такая поэма существовала, и говорю это с чувством симпатии к «последнему из Дон Кихотов».

Но возвращаюсь к себе. Мое материальное положение на Мойке значительно скрасилось тем, что с открытием «Торгсина» мама стала ежемесячно высылать мне пять—восемь долларов, которые я тратила на съестное. Одеждой я еще со времен заграничной поездки себя обеспечила.

Вечера я преимущественно проводила дома — развлечения же заключались в том, что изредка я ходила с Владимиром Сергеевичем пить чай в находившуюся поблизости «Асторию». Изредка потому, что, во-первых, это было дорого, а во-вторых — я никогда не любила ресторанов и ходила туда только ради чудесных тортов, которые там подавались. Впоследствии я нашла способ получать этих торты «на вынос» благодаря знакомству с метрдотелем «Астории»... бароном Николаем Платоновичем Врангелем, пожилым человеком очень приятной наружности, всю свою жизнь служившим по министерству иностранных дел.

Находившийся в стесненном материальном положении старик Врангель принял эту не соответствующую его сущности должность, что в свою очередь повлекло за собою ряд парадоксальных и комических положений. В описываемое мною время «Астория» из рабочей столовой

превратилась в фешенебельную гостиницу, служившую резиденцией для высокопоставленных иностранных гостей; единственным человеком, умевшим с ними разговаривать, был метрдотель Врангель. Гости ни на минуту его от себя не отпускали, были от него в восторге, а какой-то восточный принц даже категорически отказался ехать без него на торжественный спектакль в Мариинский театр. Таким образом, в правительственной ложе, рядом с принцем и его свитой, в безукоризненном фраке и с безукоризненными манерами сидел... метрдотель из ресторана.

Я, кажется, решила говорить о себе, а течение моих мыслей снова отнесло меня в сторону. Хотя это, может быть, и лучше: объективные наблюдения всегда интереснее анализа собственных настроений (конечно, если только автор не задается целью, подобно Марселю Прусту, анатомировать человеческую душу). В моих воспоминаниях, уже превратившихся в автобиографический роман, следует, однако, хотя бы схематично сказать, что осень и весь конец 1930 года были «золотым веком» моих отношений с Владимиром Львовым. Впоследствии любовь (а это была подлинная любовь!) не прошла, но осложнилась. Приехавшие по следам брата в Ленинград Юрий и Сергей, как два Яго, стали постепенно, но неуклонно работать, чтобы вырвать Владимира из-под моего влияния. Временами им это как будто удавалось, но затем вся их кропотливая деятельность, как выпущенная из рук пружина, шла насмарку. Это было нечто вроде «шаг вперед и два назад», но все же получалась мучительная и никому не нужная достоевщина.

По свойственной мне доверчивости, я долгое время не подозревала о роли братьев и принимала их любезные слова за чистую монету. Многое дошло до моего сознания лишь *post factum*.

Теперь, определив «расположение сил», возвращаюсь к последовательному повествованию. Летом 1930 года Владимир Сергеевич сообщил мне о радостном для семьи Львовых событии: у Сергея Сергеевича родился сын — продолжатель рода.

Возвращаясь из Калужской высылки, Сергей Львов все же женился на прелестной Мариньке Гудович, у которой в ту пору был мальчик от Истомина, тот самый,

которому Сергей Сергеевич в Калуге в порыве ревности предлагал дать фамилию Гуди-Гуди-Гудович. Потом эта глупую выходку, конечно, предали забвению, и в семье, состоявшей из молодых супругов, Саши и Сережи, царили совет да любовь.

В 1931 году у Сергея Сергеевича возникло естественное желание переселиться из московских краев на Охту, поближе к мастерской брата, но первой ласточкой на берегах Невы все же оказался Юрий. По приезде он сразу включился в работу по ремонту лифтов своего калужского приятеля Егорова и благодаря своей ловкости и трудоспособности сразу стал преуспевать в этом деле. Со мною он внешне был очень любезен и часто предлагал брату поехать вечером на Мойку, тут же добавляя: «Хотя это, конечно, не Мойка, а Твойка».

Узнав об этой игре слов, я подумала, что Юрий прогрессирует в смысле остроумия, и решила не остаться в долгу. Егоров и Юрий Львов приняли заказ на ремонт лифтов в здании Главного почтамта, который, как известно, находится поблизости от Мойки. Это соседство дало мне возможность видеть, как Юрий Сергеевич в час окончания занятий часто ожидает у подъезда выхода какой-то молодой особы. (Владимир Сергеевич сообщил, что ее зовут Антонина.)

Дело это завязалось «крепко», продолжалось долго и закончилось самым неожиданным образом. После того как на Охту переселилась семья Сергея Сергеевича, поступившего слесарем на один из заводов, родители Львовы пожелали жить поближе к сыновьям, и Владимир Сергеевич нанял для них довольно большую дачу в Тайцах, по дороге в Гатчину. Переезд состоялся. На судьбе Юрия это отразилось следующим образом: поразмыслив, папа и мама решили его женить и в ультимативной форме предложили немедленно ехать в Тифлис и делать предложение княжне Ратиевой, которая была им давно знакома и, как невеста, отвечала всем их требованиям. Юрий Сергеевич встретил этот ультиматум без всякого энтузиазма, однако, воспитанный в рамках Домостроя, «поспешно в путь потёк» и через месяц вернулся женатым.

Я посмотрела на все это с юмористической точки зрения и не могла удержаться от некоторого «зубоскальства».

Под видом того, что желаю облегчить Юрию объяснение с Антониной, я перевела на русский язык модную в то время французскую песенку «Adieu Loulou», представлявшую собой письмо, написанное молодым человеком при подобном случае. Перевод значительно хуже остроумного французского текста, но, примененный к обстоятельствам, он звучал довольно хлестко.

Партия Юрия должна была начинаться словами:

Только минет пост и на Красной Горке
Обвенчаюсь я, как велит закон;
Но мне не жена Тоня от конторки,
И ей не видать княжеских корон!

Далее он переходил на лирический тон:

Я ее любил, и она любила,
Но в душе я враг сомнительных оков...
Говорят, любовь есть большая сила,
Но расчет сильней... я недаром Львов.

Поскольку эти кощунственные слова исходили из моих уст, Владимир Сергеевич воспринял их миролюбиво и даже весело над ними посмеялся. Но, выйдя за пределы Мойки, попав на Охту или (еще хуже!) в Тайцы, эти слова могли мне сильно повредить, упрочив за мной репутацию «потрясательницы основ».

В дальнейшем я совершила еще более опрометчивый шаг. Вместе с родителями Львовыми на правах друга семьи в Ленинград приехала компаньонка «гжельского магната» — незамужняя особа средних лет Мария Николаевна Чибисова. По-видимому, ей было интересно со мной познакомиться, и, мотивируя тем, что мы обе когда-то имели отношение к Строгановскому училищу, она появилась на Мойке. В ходе воспоминаний о гжельском житье, она принялась столь резко критиковать Сергея Евгеньевича Львова, называя его «сутягой», что я поддалась на провокацию и сказала: «Вероятно, это так, потому что барышни Татариновы не желают знакомиться с молодым Львовым, утверждая, что их отец обобрал их мать, урожденную Всеволожскую». Такие слова свидетельствовали об отсутствии у меня дипломатических

способностей, но были вполне обоснованы: переехавшая из Калуги в Москву Анна Ильинична Толстая поселилась в небольшом домике близ Арбата, где ее соседками по комнате были упомянутые мною барышни Татариновы, ее старые друзья. Эти «барышни Татариновы» принадлежали к тому сорту людей, словам которых нельзя не верить, и я только отрапортовала Чибисовой в смягченном виде то, что слышала из их уст.

Последствия будут описаны в дальнейшем, теперь же я перехожу к более общим темам.

В 1931 году, после статьи «Головокружение от успехов», репрессии из деревни перешли на город: началась чистка соваппарата. Люди (главным образом по признакам социального происхождения) «вычищались» двояким способом: по III категории они изгонялись только из данного учреждения, по II же категории они изгонялись без права поступления куда бы то ни было. Положение «вычищенных» было поистине трагичным — они лишались заработка, хлебной карточки и вообще всех гражданских прав. Тут впервые русский язык обогатился словом «лишенец».

Рвение на местах доходило подчас до абсурда: в Эрмитаже, например, был «вычищен» заведующий нумизматическим отделом Алексей Алексеевич Ильин, человек высокой эрудиции, только потому, что его отец был основателем и владельцем известного на всю Россию картографического издательства. В Москве «лишенцем» был Константин Сергеевич Станиславский — до тех пор, пока Луначарский, поняв всю глупость положения, не привез ему с извинениями хлебную карточку — символ реабилитации. На краю «лишенства» оказалась Наточка Оболенская — ее, как «бывшую княгиню», должны были не только лишить карточки, но выселить из квартиры в Левшинском переулке. Шла уже переписка о том, что она, распродав вещи, приедет на Мойку — однако в последний момент ей удалось доказать, что и до революции она была «трудящейся». Очень помогли фотографии, где она была изображена среди приютских детей, которыми она занималась, и раненых в лазаретах, где она работала. Таким объективным доказательствам члены комиссии

не могли ничего противопоставить, и Наточку оставили в покое (ее матери в то время уже не было на свете — она среди полного здоровья умерла от случайного воспаления легких).

В Казахстане, так же как и по всей стране, проводилась «чистка», но Борис относился к этому вопросу спокойно — он не дорожил своим местом и ждал только истечения трехлетнего срока, на который завербовался, чтобы ехать в Ленинград: комната на Мойке была такой просторной, что посредством большого попелевского трюмо и ширмы можно было отделить для него удобное помещение.

В начале лета 1931 года я получила телеграмму о том, что Борис и Кэди выехали из Алма-Аты; через неделю они приехали живыми и здоровыми, но с ног до головы перепачканными угольной пылью. Я сразу поняла, что в пути с ними что-то случилось, и вот что рассказал Борис. Посадка в Алма-Ате совершилась благополучно, и вскоре Кэди стала любимицей всего вагона. Когда поезд подходил к станции Маймак, два пассажира попросили разрешения погулять с ней по платформе. На Турксибе еще не было строгого расписания движения, неожиданно раздался гудок и поезд тронулся. Пассажиры стали спешно поднимать Кэди на площадку вагона, но так как она была довольно увесиста, они ее не удержали, она упала, испугалась и бросилась бежать в степь. К счастью, Борис это увидел — не раздумывая ни минуту, он, как был, без пальто и шапки, спрыгнул с площадки вагона, успев только крикнуть своим спутникам: «Сдайте мои вещи начальнику станции в Арыси».

Кэди нигде не было. Тогда Борис созвал местных джигитов, дал им 25 рублей, и они со свистом и улюлюканьем помчались на розыски. Через два часа они вернулись с пустыми руками. Наступал вечер. Борис с безнадежностью смотрел вдаль, представляя себе, как бедная Кэди мечется по пустыне, разыскивая его, и как, в конце концов, попадает в руки жестоких людей, которые, никогда не видев таких собак, принимают ее за шайтана и подвергают всяким мучениям.

И вдруг, уже собираясь садиться на идущий по направлению к Арыси паровоз, он увидел, как Кэдинька

мелкими усталыми шажками приближается к станции. Схватив ее в охапку, Борис вскочил на готовящийся к отходу паровоз, и так, на куче угля, они доехали до Арыси, получили свои вещи и пересели на магистраль Ташкент — Москва.

Услышав этот рассказ, я поняла, почему Борис и Кэди приехали похожими на трубочистов; с тех пор так же, как слово «Дунгановка» было у нас синонимом непроизводительных усилий, слово «Маймак» стало символом тех благородных порывов, на которые Борис был способен в исключительные моменты жизни и которые были щедрой компенсацией за его скверный характер в моменты неисключительные.

Осенью 1931 года мы узнали, что кроме «-6» бывает (правда, очень редко!) высылка «-1». Столь мягкому виду репрессий был подвергнут муж Анны Ильиничны Толстой Павел Сергеевич Попов (после долгого пребывания на Лубянке, совершенно расшатавшего его нервную систему). В один прекрасный день перед домом № 91 на Мойке остановился извозчик, на котором сидели «Толстопоповы», держа на коленях пишущую машинку, свое орудие производства (они оба работали по заданиям Толстовской юбилейной комиссии). Оказавшаяся растяжимой, наша комната вместила и приехавших ссыльных москвичей (хотя Анночка была в добровольной ссылке — «минус» ее не коснулся). В тесноте, но не в обиде провели мы полтора месяца, пока гости не подыскали себе хорошую комнату на даче в Тярлеве — поселке, непосредственно примыкающем к Павловску.

Пребывание у нас Поповых совпало с днем моих именин, по поводу чего был устроен «балишка». Пришли трое Львовых с гитарами, и Анночка пела все то, что когда-то пелось в Ясной Поляне и в Удельном доме на Пречистенском бульваре. Из новых знакомых была жена профессора Аствацатурова Надежда Платоновна, желавшая послушать пение Анны Ильиничны. Этот очень милый вечер несколько нарушился тем, что подсевшего к столу Владимира Александровича Давыдова за шиворот вытащила супруга, пребывавшая почему-то в «бурном» настроении. Владимир Александрович, наоборот, был

настроен очень миролюбиво, слабо оборонялся и только повторял: «Ну зачем так грубо!» Вскоре после этого он окончательно покинул Мойку.

Следующая зима ознаменовалась арестом Владимира Сергеевича Львова — арестом непродолжительным, но очень мучительным. Это мероприятие было (мягко говоря!) своеобразным: оно преследовало не политическую, а политико-экономическую цель — изъятие ценностей и валюты у людей, которые подозревались в обладании таковыми (кустари, врачи с широкой практикой и т.п.). Владимир Сергеевич попал в эту компанию как кур во щи — у него кроме одного костюма, который он за это время сумел заказать, и сложенного на Охте своими руками горна для обжига фарфора, ничего не было. Однако те две недели на Нижегородской улице, которые понадобились, чтобы этому поверили, стоили ему здоровья: он вышел с воспалением легких и изводившим его потом долгое время фурункулезом.

Много хуже это дело закончилось для известного доктора-гинеколога Бориса Ивановича Ашхарумова, человека весьма немолодого, женатого на моей знакомой калужских времен Татьяне Александровне Киндиновой. Ашхарумовы жили в Гусевом переулке и были в числе моих немногочисленных ленинградских друзей. Удрученная сначала арестом, а потом болезнью Владимира Сергеевича, я некоторое время не заходила в Гусев переулок и не знала, что Борис Иванович подвергся тем же испытаниям. Поэтому была крайне удивлена, когда в 7 часов утра раздался телефонный звонок и Татьяна Александровна прерывающимся голосом сообщила мне, что ее муж только что покончил с собой. Я сразу поехала к ней и вот что узнала: после двухдневного пребывания на Нижегородской улице Борис Иванович пришел домой в сопровождении двух агентов и указал им на закрытую на зиму балконную дверь. Агенты эту дверь распечатали, взяли находившуюся замурованной на балконе шкатулку с ценными вещами и ушли.

Ранее общительный и даже веселый, Борис Иванович после этого стал неузнаваем. Два дня он молчал, а потом сказал: «После того, что мне пришлось перенести, я жить

больше не могу!» — и ночью отравился морфием. На этот раз его удалось спасти, немедленно доставив в Мариинскую больницу, но неделю спустя, воспользовавшись кратковременной отлучкой жены, он бросился вниз со злополучного балкона. Балкон этот, выходивший на Лиговскую улицу, находился на четвертом этаже, и смерть оказалась мгновенной. Похоронили Бориса Ивановича на Малой Охте.

Что касается Владимира Сергеевича, то он сохранил не только здравый рассудок, но и несломленную энергию. Как только было ликвидировано его воспаление легких, он снова принялся за свой фарфор. Иногда я, совершив долгое трамвайное путешествие, приезжала к нему в мастерскую, и он с гордостью показывал мне готовую продукцию: стеллажи, уставленные рядами белых маленьких деталей для ткацких машин и электрических установок. В ответственные дни, когда эти изделия обжигались в горне, он без сна дежурил у печи по двое суток, поддерживая нужную температуру, при этом хвалился тем, что в мастерской всегда чисто, только немного белой пыли — нет ни ржавчины, ни смазочных масел, ни тряпок, как у металлистов. «Кроме того, — добавлял он, — в возне с глиной есть что-то уходящее в глубь веков».

Когда я представляю себе Владимира Сергеевича в спецовке за работой, то вспоминаю, что в Саратове его называли «балетным рабочим». Это слово пустила Варвара Владимировна Анненкова, находившая, что Владимир Сергеевич в блузе и с инструментами в руках напоминает статиста, выступающего в «производственном» балете.

Как-то раз, когда в мастерской было много дела и нельзя было уехать в город, Владимир Сергеевич повел меня обедать в рабочую столовую на Охте. Едва мы уселись за столиком, как к нам подошел какой-то человек и таинственно попросил В.С. выйти с ним из зала. Такие вызовы производят неприятное впечатление, и я с тревогой смотрела на дверь — через минуту Владимир Сергеевич вернулся и со смехом рассказал, что на улице человек спросил: «Вы случайно не штукатур?» По-видимому, ему требовался рабочий этой специальности, но почему нельзя было задать этого вопроса в зале,

осталось непонятным. Мне же особенно понравилось слово «случайно».

Непосредственно к запущенному участку земли, где находилась мастерская Владимира Сергеевича, примыкало Охтинское кладбище. Однажды на закате мы зашли в его ворота и долго сидели на краю прорезающего кладбище оврага. Разговор коснулся смерти, и нам обоим, сидевшим плечо к плечу, в ту пору казалась нестерпимой и даже невероятной мысль, что наши могилы будут когда-нибудь раскинуты по белу свету. И все же в глубине души каждый из нас знал, что так и будет. Но довольно лирики! Перехожу к прозе.

В 1932 году сначала Борис, а потом и я подверглись вызову на Гороховую. Причиною стал брат Бориса Сергей, который, как мы поняли, нелегально перешел границу. Никаких сведений о нем с 1926 года, когда я видела его в Париже, мы не имели, и это, по-видимому, было известно. Поэтому в центре внимания находились мои разговоры с ним при встрече, то есть семь лет назад. Я сказала, что он расспрашивал меня о жизни в СССР (что было вполне естественно) и что я отвечала на его вопросы в общих чертах — никаких сведений, выходящих за круг обывательских, я не давала и давать не могла, так как ими не обладала. Когда я увидела, что в протоколе мои слова сформулированы: «Я информировала его о жизни в СССР» — я восстала против глагола «информировала» и настояла, чтобы он был заменен глаголом «рассказывала ему». На этом аудиенция закончилась, но, по всей вероятности, меня взяли на заметку.

В эти тревожные дни заболела Кэди — она стала скучной, перестала есть, и там, где они сидела, оставался небольшой след крови. Это, по-видимому, был рак, которым часто болеют собаки этой породы. Спала она в ногах моей постели. Среди ночи я услышала, как Кэдинька спрыгнула, чтобы попить, но, вероятно, не имела силы подняться и легла рядом с кроватью на коврике. Утром я увидела, что она лежит тихо, положив голову на вытянутые лапы, и не сразу поняла, что она мертва. И Борис, и я были в отчаянии — но потом поняли, насколько ее смерть была своевременна. Что бы я стала с ней делать во время катастрофы 1935 года!

Похоронили мы Кэди на берегу маленького пруда на Охте. При этом нам помогал вернувшийся из очередной ссылки и гостивший у сестры Дмитрий Гудович, дав лишний раз убедиться в его сердечности. Он искренне мне сочувствовал и говорил, что сам с большой грустью хоронил любимых собак в парке Введенского, где протекали его детские годы.

Приезд *beau-frere*'а заставил Сергея Львова сначала насторожиться, а потом мобилизовать свои, говоря мягко, «дипломатические» способности. Как только Дмитрий Гудович упомянул, что в Ленинград вскоре должна прибыть какая-то молодая особа, бывшая с ним в ссылке, Сергей усмотрел возможность мезальянса и решил противодействовать. Первый его шаг заключался в том, что, когда это особа появилась на Охте, ей сказали, что Дмитрий уехал в Москву. Во второй ее приход Сергей разыграл роль Жермона из «Травиаты». Не пригласив ее зайти в дом, он среди двора стал взывать к ее благородным чувствам, умоляя не губить жизнь Дмитрия неравным браком, выражал уверенность, что последний ее не любит, а если и любит, то это ненадолго. Проповедь, по-видимому, упала на благодарную почву, потому что посетительница заплакала и ушла. А Сергей, рассказывая на Мойке, как ему удалось отвести от семьи опасность мезальянса, все же добавил: «Вы знаете, мне даже ее стало немного жаль!» (Само собой разумеется, что Дмитрий Гудович оставался в полном неведении об этих демаршах.)

Поскольку в отношении меня тактика Жермона явно не подходила, тут Сергей продолжал вести линию Яго и упорно старался убедить брата Владимира в «ненадежности» моего к нему чувства. По присущей ему деликатности, а может быть и скрытности, Владимир Сергеевич ничего не говорил о коварных наветах братьев. Только раз он полушутливо воскликнул: «Ах, Таточка! Ты просто сбиваешь людей с толку — не знаешь, что о тебе и думать. Для обыкновенной женщины ты слишком добра, а для святой ты слишком женщина, и вообще в святые не годишься». Я в том же тоне возразила, что святости можно достигнуть не только путем аскетизма, но и путем мученичества, следовательно, для меня еще не все потеряно.

Пока на берегах Невы разыгрывалась эта драма «коварства и любви», время шло, истекли три зимы папиной ссылки на Енисее и еще одна, доставшаяся ему дополнительно из-за нерасторопности Красноярского ОГПУ. Летом 1933 года, по открытии навигации, он смог, имея документ с ограничением «-6», наконец выехать из села Ворогова, расположенного между двумя рукавами Енисея. Решили, что он поселится в городе Владимире, и его сестра Елизавета Александровна, у которой были там знакомства, встретила его и устроила на квартиру.

Переезд и обоснование на новом месте, насколько мне помнится, длились довольно долго, потому что мой первый приезд во Владимир состоялся в начале зимы. Город был покрыт свежевыпавшим снегом, и папа встретил меня на вокзале одетым в коротенький, подпоясанный ремнем полушубок. Я никогда не видела отца в такой одежде, но осталась вполне довольна его видом. Он похудел, его прекрасные глубоко сидящие глаза стали как будто еще глубже, но он был бодр и абсолютно ничего не утратил из своей сущности — душевной, умственной и физической, а это, говоря современным жаргоном, «надо было суметь».

Благодаря переписке с друзьями, присылавшими интересующие его журналы и издания, отец все время был в курсе происходящего не только на белом свете, но и в научном мире. На обратном пути, в Енисейске, папа видел Александра Игнатьевича Андреева, отбывавшего там ссылку и работавшего заведующим местным музеем.

Стараясь проникнуть во все подробности туруханской жизни, я выяснила, что отец питался исключительно молоком и хлебом. Подобный режим, как самый простой и необременительный, он пытался продолжать и во Владимире, однако какой-то благоразумный врач посоветовал не нагружать сердца большим количеством жидкости, и отец перешел с молочного на обычное питание.

В 1932 году Владимир стал средоточием большого количества лиц, имевших «-6». Калуга вскоре после нашего отъезда в Ленинград и в связи с каким-то новым административным делением перестала быть разрешенным городом, и многим моим знакомым, в том числе Сабуровым и Коте Штеру, пришлось ее покинуть. Сабуровых

я встретила во Владимире, а для Коти переезд в этот город оказался роковым. Он погиб в 1931 году во время какого-то непонятного и оставшегося необъяснимым процесса. Нате пришлось лишь *post factum* приехать за его вещами и порадоваться, что их матери уже нет в живых.

Память о расстреле группы ничем не связанных между собою людей еще была жива среди владимирцев и разговоры об этом событии наложили грустный отпечаток на мое первое пребывание у отца, прошедшее в нескончаемых беседах: днем во время прогулок по городу и вечером при свете керосиновой лампы в небольшом и довольно убогом домике за рекой Лыбедью.

Ко времени моего второго приезда следующей весной у отца уже появились знакомые, и мы с ним вели светский образ жизни, принимая приглашения то туда то сюда. Наиболее дружественные отношения у отца сложились с Ровинскими, окружавшими его трогательным вниманием. Константин Ипполитович Ровинский, племянник известного собирателя русских народных картинок и орнаментов, был и сам по себе человеком замечательным. Прослужив долгие годы на государственной службе в прибалтийских краях, он во время революции пошел в священники и, будучи настоятелем одной из московских церквей, имел очень большое число почитателей и приверженцев. (Об этом я слышала еще в 20-х годах.)

Во время моего знакомства с ним во Владимире Константин Ипполитович был живым, приветливым человеком лет шестидесяти, небольшого роста, с добрым лицом русского склада. Жил он на правах гражданина, имеющего «-6», ходил в штатской одежде и лишь изредка служил обедню в одной из владимирских церквей. Его жена, Юлия Павловна, была дамой с несколько капризным характером, но это не отражалось на ее отношении к моему отцу, которое всегда было более чем любезным. Потерявшие и сына, и дочь, Ровинские обратились ко мне с просьбой разыскать их внучку, находившуюся, по их предположениям, в Ленинграде. Мне удалось через адресный стол найти указанную девицу и направить ее во Владимир. К сожалению, эта встреча старикам особой радости как будто не принесла.

Несколькими годами позднее отец снова встретился с уже овдовевшим Ровинским в Тарусе, где они вместе переносили тягости военного времени. Почувствовав приближение смерти, Константин Ипполитович передал отцу разрозненные тетради дневников и воспоминаний. Отец похоронил своего приятеля на берегах Оки, а накануне своей смерти, будучи в полусознательном состоянии, вдруг совершенно твердо сказал мне: «Танюша, на верхней полке лежат тетради Ровинского — если будет время, приведи их в порядок».

Но возвращаюсь к весне 1933 года. Борис и Юрий Сабуровы нанесли моему отцу визит, и мы раза два вместе с ним побывали у Анны Сергеевны. Жизнь этой семьи, несмотря на старания Ксении Александровны ввести ее в какие-то разумные рамки, продолжала оставаться безалаберной. Анна Сергеевна пыталась давать уроки английского языка, Борис Александрович пытался рисовать, но все это носило какой-то эпизодический характер. «Мальчики» были очень бледны — по-видимому, плохо питались.

Перед отъездом из Владимира я дала Борису Александровичу письмо к Левушке Бруни, который был в то время профессором ВХУТЕИН'а и работал по иллюстрации книг. Насколько я помню, Борис Александрович получил через Бруни какие-то заказы.

В числе папиных владимирских знакомых были также Пазухины, родственники Шиповых. Ольгу Александровну Пазухину я знала в годы моей ранней юности: с ее братом отец встречался в Петербурге. Это были, по существу, не новые, а старые знакомые, и я, проведя с отцом две недели, уезжала с сознанием, что он «прижился» на владимирской почве.

Последние дни моего пребывания во Владимире все же были до известной степени отравлены загадочным письмом, полученным из Ленинграда. Владимир Сергеевич начинал «за здравие», а кончал «за упокой». На двух страницах описывались все новости, включая погоду, а на третьей — выражалось удивление, что моя поездка «для свидания с отцом» вызвана другими причинами. Я была совершенно озадачена, и мне стоило больших трудов по приезде в Ленинград выяснить, что

Яго в образе Сергея Львова связал отъезд в Москву Дмитрия Гудовича (который никогда не имел ко мне никакого отношения) с моим отъездом во Владимир через Москву. Доказать нелепость этого построения было легко, но сама возможность подобных размолвок создавала то, что Владимир Сергеевич называл в моменты «отлива» «рваными отношениями».

В данном случае мир был довольно быстро восстановлен, и в одно из ближайших воскресений мы совершили поездку в Тярлево к Толстопоповым. Весна, которую я застала в полном разгаре в Москве и Владимире, только наступала в окрестностях Ленинграда и, как всегда на севере, имела особую выразительность и поэтичность. Сойдя с поезда в Павловске, мы шли мимо плантаций цветущей клубники, потом попали в зеленую чащу, где под каждым кустом белели колокольчики крупных ландышей.

Собирая цветы, Владимир Сергеевич вспоминал неизвестное мне стихотворение Игоря Северянина, в котором говорится, что ландыш «раскрыл свой чепчик для птичек певчих». И так, с цветами и стихами, мы подошли к даче, где нас ждали с обедом и где потом весь вечер Анночка пела под гитару нам старинные романсы.

Я остановилась на описании этого по существу ничем не замечательного дня потому, что сейчас он мне представляется очень светлым и радостным, а таких дней в дальнейшем у меня будет все меньше и меньше!

Упомянув о том, что вскоре с Павла Сергеевича Попова была снята «-1» и они с Анночкой благополучно вернулись в Москву, перехожу к более существенным событиям моей жизни, чем прогулки по окрестностям Ленинграда (хотя тут, может быть, и была некоторая внутренняя связь!).

Две зимы, проведенные Борисом на Мойке (после его возвращения из Казахстана), доказали, что наши жизни, хотя и идут параллельно, но уже не соприкасаются. Летом 1933 года в Ленинград приехала Лидия Дмитриевна Некрасова (она даже один раз посетила меня на Мойке), и между нею и Борисом было решено, что в недалеком будущем он переедет к ней в Москву (решение весьма

удачное, так как, даже не касаясь дел личных, оно спасло Бориса от катастрофы 1935 года, носившей территориально-ленинградский характер).

Осенью 1933 года произошел раздел имущества, Борис уволился из треста на Морской, где работал экономистом, и уехал в Москву. Официальный развод (который в ту пору стоил по три рубля с персоны) был оформлен в ЗАГСе годом позднее. Подробности этого юридического момента и рыцарские слова Бориса, столь удивившие барышню-регистраторшу, приведены мною выше.

Итак, я снова осталась на Мойке одна, в несколько опустевшей комнате, которую сразу перевели на мое имя, и стала подумывать о службе. (Мои вышивки меня кормили, но не давали мне гражданского лица.) Помню, как ходила наниматься переводчицей в какой-то металлургический трест на Фурштадтской, где меня встретили очень любезно. Однако, взяв на просмотр немецкий журнал «Die Gieberei» и увидев там кучу незнакомых технических терминов, я испугалась и решила пойти по линии наименьшего сопротивления.

Я попросила Татьяну Александровну Киндинову определить меня в качестве статистика в 5-й пункт Охраны материнства и младенчества, находившийся в районе Старо-Невского, в бывшем особняке мукомолов Полежаевых, и с половины зимы 1933—1934 годов стала совслужащей. В половине девятого часов я садилась у Адмиралтейства на трамвай, который вез меня вдоль Невского, и до четырех часов терпеливо регистрировала новорожденных Эрастов (один раз даже попался Эверест!), Эльвир и Нинелей.

Наше учреждение было показательным — его часто посещали иностранные экскурсии, — и несколько раз я имела случай удивить американцев и французов (а еще более своих коллег!), заговорив с ними на их языке.

В конце лета 1934 года в моей служебной карьере произошло изменение. Сестра Ниночки Иваненко, с семьей которой я продолжала быть в тесной дружбе, вернулась из Донбасса, где она отбывала трехлетний врачебный стаж на периферии, и поступила ординатором в больницу имени Софьи Перовской. При этой больнице, находящейся, как известно, на Большой Конюшенной,

в десяти минутах ходьбы от моей квартиры, находилось Эпидемическое бюро, на должность статистика которого я и перешла при содействии Гали Иваненко.

Работа здесь была менее нудной, чем в «Матьимладе», а кроме того, я не была связана с трамвайными переездами; занята я была лишь четыре часа и считала свое служебное устройство вполне удовлетворительным, хотя Нина Адрианова-Шуберт, с которой меня связывали гимназия, Строгановское училище и московские балы и которую я неожиданно обрела в Ленинграде, находила, что я могу делать что-нибудь более путное, чем быть медстатистиком. Сама Нина работала переводчицей в «Электротресте» на улице Гоголя и, по-видимому, была там на прекрасном счету.

Много лет мы жили в Ленинграде и не знали о существовании друг друга. Надо было, чтобы мои алма-атинские знакомые Жихаревы, придя на Мойку, случайно упомянули об Адриановых (матери и дочери) и дали мне их адрес на Жуковской, чтобы наши отношения восстановились.

Глава «На Мойке» подходит к концу. Осенью 1934 года Мойка уходит из моей жизни и в ней на очень короткое время появляется улица Красных Зорь (бывший Каменноостровский). О том, как это случилось и какие «зори» надвигались на Ленинград, а следовательно и на меня, будет сказано в следующей главе.

На улице Красных Зорь

Как ни бурно переживала моя соседка Евгения Назарьевна Давыдова измену мужа, в конце концов она успокоилась и даже решила соединить свою судьбу с другим. Это и явилось причиной моего отъезда с Мойки. По просьбе заинтересованных лиц я обменялась комнатами с Михаилом Федоровичем Васильевым, приятным и благовоспитанным «сухопутным моряком» лет тридцати пяти, специальностью которого было чтение лекций на географические и морские темы. Предоставленная мне комната на углу улицы Мира и улицы Красных Зорь была меньше моей — в ней было лишь 24 кв. метра, но она, находясь на втором этаже, была значительно теплее, к тому же с отъездом Бориса мне приходилось дорого платить за излишки жилплощади — количество мебели после раздела сократилось, и я считала, что ничего не теряю при таком обмене. С материальной точки зрения это так и было, но, переехав на Петроградскую сторону, в квартиру, населенную совершенно чуждыми мне людьми (среди которых был ответственный сотрудник НКВД), я вдруг почувствовала себя несчастной и одинокой. Даже улицы, окружавшие мое новое жилище, были мне неизвестны; создалось впечатление, что я переехала в новый город.

Однажды, знакомясь с районом, я остановилась перед какой-то оградой и поняла, что это нижний конец Лицейского сада. Я медленно и с грустью обошла владение, в стенах которого когда-то «безмятежно процветал» Шурик. Памятника Александру II перед фасадом здания, конечно, не было. Сохранился ли в саду бюст с надписью «Genio loci», я узнать не могла — вероятно, нет, так как до конца 30-х годов культ Пушкина был не в моде.

Вспоминая полугодовой период моей жизни, связанный с улицей Красных Зорь, я вижу, насколько для меня ценна была в ту пору неизменная, умная и сердечная поддержка со стороны моей матери. Я чувствовала, что мама

никогда меня не забывает и пользуется малейшей возможностью, чтобы меня приласкать, ободрить и побаловать.

Возможность такая представилась тогда, когда французским послом в Москву был назначен Charles Alphand, племянник той самой m-me Bariquand, на вилле которой в Ментоне мы гостили в дни моего детства. Через него мама прислала мне свое пальто, отделанное котиком (не «электрическим», а настоящим), два теплых шерстяных платья — черное с белым и светло-серое, — коричневый вязаный шарф и другие мелочи. Пишу об этом потому, что эти вещи верой и правдой служили мне в моих дальнейших «хождениях по мукам» и составляли мой основной гардероб в тюремных камерах и лагерных бараках. Но не буду «предвосхищать события», а лучше кратко расскажу о том, что произошло с мамой, Димой и Аликом за годы, отделяющие осень 1926 года, когда я их покинула в Ницце, от описываемого мною времени.

Когда мальчики окончили среднюю школу в Каннах, возник вопрос об их дальнейшем образовании — вопрос сложный, так как высшая школа во Франции очень дорого оплачивается. Для Димы эта проблема разрешилась самым неожиданным образом: в одной из предыдущих глав я говорила, что моя тетка Валентина Гастоновна заведовала в Сен-Клу под Парижем общежитием для девочек-подростков, содержащимся за счет Анны Павловой. В начале 30-х годов эта знаменитая балерина ехала на гастроли в Гаагу, ночью произошло крушение поезда и пассажиры выскочили из вагонов, не успев одеться. Анна Павлова простудилась и в несколько дней умерла от воспаления легких, после чего все ее благотворительные *fondations* подверглись ликвидации. Вместо них была учреждена стипендия для русской молодежи, поступающей в высшие французские школы. Одну из таких стипендий получил Дима, и это дало ему возможность учиться в парижской *Ecole Violet.*

Что касается Алика, то с ним произошла совершенно необычайная история. Будучи на полтора года младше Димы, он окончил среднюю школу позднее, и здоровье его в ту пору внушало серьезные опасения. Насколько я слышала, у него начиналось какое-то заболевание

коленного сустава и опасались более страшной вещи — белокровия. Его мать, Татьяна Николаевна, в то время была уже во Франции. Жилось ей трудно, и в один из летних сезонов она приняла предложение сопровождать в качестве воспитательницы группу девочек, ехавших на побережье Атлантического океана. Ее условием было, чтобы Алик, которому тогда было лет 15-16, ехал с ней.

В один прекрасный день мать и сын, проходя по пустынной набережной, заметили, что в море тонет человек. Татьяна опытным глазом определила, что бурное течение несет обессилевшего купальщика прямо на скалы, и, вспомнив, что она волжанка, бросилась в воду на его спасение. Алик последовал за матерью, и после больших трудов им удалось вытащить на берег утопающего, оказавшегося нотариусом из Бордо.

В это время набережная уже не была пустынной. Как из-под земли появились фотографы, корреспонденты газет и множество зрителей. Все они приветствовали спасителей, брали интервью, щелкали аппаратами. Нотариус был вытащен из воды живым, но через несколько часов скончался от сердечной слабости. Это было прискорбно, но не уменьшило славы Татьянки и Алика. На следующий день американское «Общество спасения на водах» прислало им медали и все дальнейшее образование Алика приняло на свой счет. Кроме того, Алик был отправлен той же организацией в один из швейцарских санаториев, где провел шесть месяцев и откуда вернулся здоровым. Впоследствии он, как и Дима, окончил инженерную школу *Ecole Violet* в Париже.

Что касается самой мамы, то через два года после моего отъезда из Ниццы она срочно ликвидировала свой ресторанчик и переселилась в Париж, в район Булонского леса. Эта поспешная ломка жизни была вызвана не совсем красивым поступком Вяземского, который, увлекшись какой-то бельгийкой, уехал в Париж, где наделал ряд глупостей, но, к счастью, скоро в них раскаялся и вернулся к пенатам. Пока вся эта драма «утрясалась» и приходила к счастливому концу, мама, верная своей неизреченной и непонятной привязанности, пережила много горьких дней, а я, зная об этом из писем и не имея возможности помочь, терзалась угрызениями совести.

Но все это в 1934 году уже относилось к области прошлого. Мир у Вяземских был восстановлен и никогда больше не нарушался. С удовлетворением засвидетельствовав это, я могу перейти к другим темам.

В главе, посвященной Калуге, я говорила о Софии Николаевне Столпаковой, о ее сыне Борисе, который воспитывался теткой Екатериной Николаевной Суворовой и в шутку назывался «кронпринцем», а также о других ее сыновьях, верой и правдой служивших матери, кто чем мог. Прерывая рассказ, относящийся к началу 20-х годов, я обещала еще раз вернуться к этой семье.

И вот, через двенадцать лет Столпаковы, переехавшие за это время в Ленинград, снова появляются на страницах моих воспоминаний и вместе с ними врывается повесть столь мрачная и столь таинственная, что несколько лет назад я бы не решилась заводить о ней речь из боязни, что мне не поверят. Теперь — другое дело.

Брат матери Софии Николаевны, Бобрищев-Пушкин, был известным в Петербурге присяжным поверенным, сестра матери вела курсы французского языка. И вот, к этой тете Соне Бобрищевой-Пушкиной, имевшей большую квартиру на Литейном, недалеко от Фурштадтской, и переехали все Столпаковы. Я изредка с ними виделась, знала, что Борис окончил университет и поступил на «Ленфильм» — в качестве не то сценариста, не то постановщика (его братья до таких высот не дошли — работали монтерами и слесарями).

Как-то раз я увидела Бориса Столпакова, выходящим из «Астории» в сопровождении двух молодых людей — один из них был его троюродный брат Бобрищев-Пушкин, другой — сын профессора, фамилии которого я сейчас не помню, — и подумала: «Если в Калуге Бориса называли "кронпринцем", то и теперь эти юноши своим внешним видом выделяются из общей массы». Произошло это, по всей вероятности, в 1933 году, а весной 1934 года я узнала, что Борис Столпаков и его три товарища арестованы.

Родные терялись в догадках и ничего не могли узнать, так как заключенных сразу отправили в Москву. Наконец, ближе к осени, Софии Николаевне удалось получить

свидание с сыном (кажется, в Бутырках). Через две решетки Борис ей сказал: «Мамочка! Не удивляйся и не осуждай — я должен был подписать, что собирался убить Кирова. Я не мог поступить иначе. Но это ничего — мне обещали: за то, что я подписал, мне дадут только три года, и все!» Через день всех четверых расстреляли. Надо добавить, что в ту пору Киров был жив и здоров и потому вся эта инсценировка казалась чем-то выходящим за грани человеческого разумения.

Ошеломленная горем София Николаевна пришла мне поведать обо всем этом, когда я уже переехала на новую квартиру, и потому я включаю ее рассказ в главу «На улице Красных Зорь». (Весною 1935 года, насколько я слышала, София Николаевна, ее сыновья и сестра были высланы в Западный Казахстан, но я с ними связь потеряла.)

Увязывая в своей памяти все относящееся к этому столь тревожному для Ленинграда периоду, я вижу, что трагедия Бориса Столпакова и его друзей была таинственной прелюдией к еще большей, по ее последствиям, трагедии — убийству Кирова.

Вечером 1 декабря Владимир Сергеевич и я были на Дворцовой набережной у Иваненко. Часов в девять кто-то из их знакомых по телефону сообщил, что в Смольном выстрелом из револьвера убит Киров. Всех охватило то нервное возбуждение, которое сопровождает весть о катастрофе. Должна сознаться, что меня очень волновал вопрос, кто стрелял, — если бы это был какой-нибудь безумный офицер-эмигрант, можно было ждать нового удара по и без того истерзанным остаткам дворянского класса. Узнав, что Николаев не офицер, не эмигрант и не дворянин, а партиец-оппозиционер, я несколько успокоилась, хотя в комментариях к покушению чувствовалась какая-то неясность и недоговоренность.

Вернувшись домой, я услышала крики и рыдания — вся квартира, кроме сотрудника НКВД, который отсутствовал, была в движении. Особенно горестно оплакивала Кирова жившая против меня работница одной из фабрик, и, видя эту реакцию, я поняла, что Сергей Миронович был очень популярен среди ленинградских рабочих.

Через два дня мы с содроганием прочли в газетах, что «в ответ на злодейское убийство Кирова в ДПЗ расстреляно 120 "заложников"» — людей, к покушению никакого отношения не имевших, но арестованных по 58-й статье. Побуждения и роль убийцы Николаева, стрелявшего в себя, но неудачно, так и остались для широкой публики непонятными.

Под впечатлением всех этих грозных событий мы прожили декабрь месяц. Приближался Новый год. Уже давно, со времени распада нашей семьи, праздники стали для меня нестерпимы — в такие дни мучительно тоскуешь по отсутствующим, вспоминаешь прошлое и подводишь нерадостные итоги. Я привыкла к тому, что Пасху, Рождество и Новый год Владимир Сергеевич проводит у родителей. Это было одно из незыблемых правил их семейного уклада, и потому я была приятно удивлена, когда в конце декабря он сказал, что в Тайцы не поедет, а останется на Новый год со мной.

Думаю, что эта «бравада» далась ему не легко, так как со времени отъезда Бориса в Москву старания Львовых «вырвать дурака Владимира из-под власти этой женщины, столь крепко взявшей его в свои руки», усилились. Хотя «дурак Владимир» мне об этом прямо не говорил, но, зная действующих лиц, я не сомневалась, что его родные выражались именно так. С переездом моим с Мойки ни Сергей, ни Юрий, ни их жены у меня не были, а встречая на улице, демонстративно справлялись о здоровье Бориса Сергеевича.

Обрушившаяся на нас всех в феврале катастрофа временно отодвинула эти мелкие и недостойные интриги на задний план, с тем, чтобы при первом удобном случае они возобновились в еще больших масштабах.

Но возвращаюсь к началу 1935 года. Новый год мы встретили с Володей вдвоем в моей тихой, красиво обставленной комнате. Сидя за столом, я смотрела на его осунувшееся лицо и чувствовала, что он страшно переутомлен. Незадолго до того Владимир Сергеевич перевел свою мастерскую на производство точильно-шлифовальных кругов, на которые имелся спрос; он работал сверх сил, питался как попало, ходил в трескучий мороз в курточке

и потертой шапке гжельских времен — все деньги уходили в Тайцы, на оборудование мастерской и уплату колоссальных налогов. Володя никогда не жаловался, но я его любила и понимала все без слов. Теперь мне кажется, что я одна из всего его окружения никогда ничего от него не требовала и применяла к нему то, что называется в медицине «щадящий режим». В этом, может быть, была моя ошибка!

Январь прошел тревожно: стали доходить слухи о начавшихся повальных арестах, а 1 февраля я встретила на Невском Марию Александровну (Мариньку), которая сообщила, что ночью взяты Сергей и Юрий. Владимир пока уцелел. Примчавшись ко мне вечером, он сообщил о своем решении немедленно, пока не поздно, ехать в Москву. Этот проект встретил мое полное одобрение — поскольку аресты носили чисто территориальный характер и не были связаны ни с каким «делом», важно было выиграть время и не попасть в общую кашу. Владимир Сергеевич уехал, и можно было надеяться, что он избегнет участи своих братьев, как избежал в 1924 году, выскочив в окно.

Но тут случилось нечто невероятное: незадолго до описываемых мною событий Сергей Евгеньевич Львов затеял тяжбу с хозяйкой занимаемой им в Тайцах дачи по вопросу квартирной платы (дело касалось суммы в 100 или 200 рублей) и передал дело в суд. Разбор назначили на начало февраля, но поскольку дача была нанята на имя Владимира Сергеевича, а не Сергея Евгеньевича, личное присутствие первого оказалось нужным, чтобы судопроизводство состоялось в назначенный срок. Отец не нашел ничего умнее, как вызвать Владимира из Москвы телеграммой. Тот, воспитанный в рамках Домостроя, немедленно явился, но на суде фигурировать уже не смог, так как сразу по приезде в Ленинград очутился в ДПЗ по линии НКВД.

Десятого февраля, то есть двумя днями позднее, я получила повестку, приглашавшую меня явиться туда же на следующий день, к 12 часам дня (номер комнаты был указан). Утром я успела съездить к нашей верной Александре Ивановне, сказать ей, куда иду, отдать кое-какие распоряжения, попросить не оставлять меня в беде

и сообщить отцу, если я в эту беду попаду. (Александра Ивановна точнейшим образом выполнила все мои просьбы.)

В 12 часов дня 11 февраля я вошла в двери того дома на углу Литейного и Шпалерной, по поводу которого существовала загадка: «Какое самое высокое здание в Ленинграде?»*.

И уже больше из этих дверей не вышла...

На этом я кончаю не только короткую главу «На улице Красных Зорь», но и вторую часть моих воспоминаний. В следующей части (обнимающей период в двадцать два года) я буду уже фигурировать как «заключенная», «ссыльная» и «репрессированная».

Приложения к главе «На улице Красных Зорь»

ОПТИНСКАЯ НОВЕЛЛА

Вместо предисловия

Самым неожиданным образом ко мне в руки попали рукописные воспоминания умершей в 1944 году близ Загорска монахини матери Амвросии, в миру врача Анастасии Дмитриевны Очерцовой.

В первых главах она рассказывает о своем детстве в имении родителей (Ельнинский уезд Смоленской губернии), о своих занятиях в 1-м Петербургском медицинском институте под руководством профессоров Манасеина, Бехтерева и Вельяминова (выпуск 1891 года, в который впервые были допущены женщины) и о своей работе в земстве.

Будучи религиозно-экзальтированной, с юных лет мечтая о монастыре, она часто бывала в Оптиной пустыни и в конце концов постриглась в Шамординем монастыре, живя «в послушании» у оптинского старца отца Анатолия.

Привожу отрывки из этих воспоминаний — как документ того страшного и порой непонятного периода русской

---

* На это обычно следовал ответ: «Исаакиевский собор» и затем поправка: «Нет. Дом НКВД. С собора видно Ладожское озеро, а из дома на Шпалерной — Соловки» — *Прим. автора.*

жизни, в котором так трудно будет разобраться историкам будущего.

Воспоминания матери Амвросии, написанные с предельной правдивостью и такой же наивностью, дают яркую картину жизни в первые годы крушения Российской империи и открывают несколько озадаченному читателю сущность подвига «послушания и молчания».

Т.Аксакова.
Ленинград, 1969 год

Выписка из воспоминаний м. Амвросии (Анастасии Дмитриевны Очерцовой)

(1909 год) В течение поста мы с матерью ездили в Оптину и Шамордин*. Нам было письмо, что игуменья, мать Екатерина, больна и надо ее навестить. Поговев в Оптиной, мы отправились в Шамордин. Я осмотрела матушку: по-видимому, начинался рак печени. Навестила я и схимонахиню Марию, сестру Л.Н.Толстого. Она радушно приняла меня. После того как я осмотрела ее, она дала мне некоторые советы и оставила пить кофе.

У нее был домик, построенный на ее средства и состоящий из нескольких комнат, с маленьким садом и огородом, и две келейницы: младшая готовила и подавала ей, а старшая, мать София, интеллигентная, была сестрой игуменьи Екатерины.

За столом разговор коснулся ее брата, Льва Николаевича. Видно было, что она любила его, и много огорчений доставляло ей его настроение. Она сказала: «Я не люблю, когда Лева, говоря о Боге, выражается так запанибратски!»

На следующий год, уже после смерти Толстого, мне пришлось снова быть в Шамордине. Здоровье м. Марии ослабело, требовался медицинский совет. Меня проводили к схимонахине. Она встретила меня так же радушно, была на ногах, но здоровье ее заметно пошатнулось, и душевная перемена в ней была большая. Она как-то завяла от глубокой скорби по брате.

---

* В то время матушка Амвросия была еще земским врачом. — *Прим. автора.*

Я боялась затронуть больное место, но как-то само собой вышло, что мы заговорили о Льве Николаевиче. Говорила она и ее сожительница м. София. Рассказала она мне, как Л.Н. 28 октября 1910 года приехал в Оптину пустынь, остановился в монастырской гостинице и при этом дал понять гостиннику, о. Михаилу, кто он. При этом выразился: «Не бойтесь меня принимать! Я хотел бы пойти к старцу, да он меня не примет». Отец Михаил успокаивал его: «Батюшка старец примет, никак нельзя сомневаться!»

Лев Николаевич пошел, но побывал только на крыльце хибарки, внутрь не зашел. С тем и уехал 29 октября к сестре в Шамордино. Остановился тоже в гостинице, а оттуда пошел к сестре. Он обнял ее и несколько минут рыдал на ее плече. Потом заговорил: «Как ты хороша, Машенька, в этой одежде! Как у тебя хорошо! Хотел бы я так жить!» — «А что же? Это легко сделать! Сейчас келейница сходит, возьмет подходящую комнату на деревне, и ты останешься тут жить».

Потом они остались одни и долго говорили.

— Сестра, я был в Оптиной. Как там хорошо! С радостью надел бы я подрясник и исполнял самые низкие послушания и трудные дела, но поставил бы условием, чтобы не принуждали меня молиться — этого я не могу!

— Хорошо, — ответила сестра, — но и с тебя взяли бы условие, ничего не проповедовать и не учить.

— Чему учить?! Там надо учиться. В каждом встречном жителе я видел учителя. Да, сестра, тяжело мне теперь! А у вас что, как не Эдем! Я здесь затворился бы в своей хижине и готовился бы к смерти. Ведь восемьдесят лет, и умирать надо, — сказал граф, наклонил голову и оставался так, пока ему не напомнили, что обед кончен.

— Ну, и видал ли ты наших старцев? — спросила сестра.

— Нет.

— А почему же?

— Да разве они меня примут?! Не забудь, что исконно православные отходят от меня, что я отлучен, что я «тот Толстой»... Да что, сестра, — оборвал он свою речь, — я взад не говорю... Завтра же иду в скит к отцам, только надеюсь, что они, как ты говоришь, меня примут.

Келейница возвратилась сказать, что комната найдена, и вечером проводила его на новую квартиру.

В ночь приехала к нему дочь Александра с Чертковым и Феоктистовым, нашли его на квартире и насильно увезли. Утром келейница пришла пригласить его пить чай, но его уже не было. С великой скорбью все узнали о внезапном отъезде.

Из Оптиной запросили Синод, как им поступить. Ответ был, чтобы старец выехал на ст. Астапово, для увещевания больного писателя. Отец Иосиф был уже очень слаб. Отец Варсонофий с казначеем о. Пантелеймоном тотчас же выехали на ст. Астапово. Они застали Толстого лежащим в больнице, окруженным вражеской силой в лице Черткова и компании. Они читали умирающему газетные панегирики и всячески поддерживали его в гордыне. Не впускали к нему даже жену его, которая в великой скорби жаловалось на это приехавшему старцу, которого, конечно, тоже не допустили.

Л.Н.Толстой скончался 7 ноября 1910 года.

После того как закрыли Шамордин монастырь, превращенный в совхоз, Оптина пустынь еще в какой-то мере существовала, и автор воспоминаний пришла к отцу Анатолию за советом, куда ей направиться.

Т.А.

— Мне не хочется в мир! Вы, батюшка, благословите меня идти по направлению к Иерусалиму. Я буду останавливаться для ночлега у добрых людей и буду идти все дальше и дальше, пока не умру, и все буду представлять себе Иерусалим.

— Какой тебе Иерусалим?! — сказал старец. — Иди, молись, и я буду молиться.

Я пошла в церковь, а оттуда опять к о. Анатолию и сказала ему свою новую мысль: не пойти ли мне в пустыньку Иерусалимской иконы Божьей Матери? (Я слышала от духовной дочери о. Герасима, Веры Адамовны, что он назначил ее туда.)

Батюшка обрадовался:

— Да, туда, туда и благословляю!

Я узнала у монаха родом из-под Брянска, как туда ехать, и записала. Пришла Даша, служащая Шамординской больницы, принесла мне теплую кофточку, булочку хлеба, маленькую баночку варенья и паспорт умершей схимницы Екатерины, неграмотной (на всякий случай). Я взяла маленькую рясу, Евангелие, крест кипарисовый и белье.

Отец Анатолий сказал:

— В пустыньке недавно освящен храм. Вот ты и читай там псалтырь, а в свободное время помогай Параскеве, которая там живет. Делай, что она скажет!

Я вышла с Дашей на Козельский вокзал, а денег у меня пять тысяч руб., то есть несколько копеек. Тогда проезд был возможен только по каким-то бумагам, и мы пошли «на случай». На вокзале я увидала группу наших сестер. Они получили пропуска и сейчас сядут на поезд. (Про мои обстоятельства они не знали.) Они задумали попросить проходившего мимо военного посадить их сестру. Он сказал: «Пусть сядет в служебный вагон». Я села в маленькое отделение для служащих, и мы двинулись.

Через несколько минут входит какой-то человек, еврей, и, вместо того чтобы сесть на пустое место, хочет сесть на мое. Я так испугалась, встала, прижалась к окну и стала молиться, боясь обернуться. Вскоре вошел кондуктор, и еврей молча вышел. Я села на свое место и заговорила с кондуктором, прося, чтобы он дал мне хоть немножко проехать. Он отнесся доброжелательно, и я отдала ему баночку варенья, которую принесла мне Даша.

Прошло не очень много времени, кондуктор вышел. Вбегает в отделение молодой человек и кричит: «Как ты могла сюда войти?!» Схватил мои вещи и потащил на площадку. «Я тебя выкину отсюда». Стал на площадке вагона, вещи тут же валяются, смотрит на дорогу. По фигуре видно — нервничает. Поезд замедляет ход. Вот он меня сейчас вытолкнет.

Я окликаю его:

— Прошу Вас, дайте мне еще немного проехать!

Он молчит.

— Прошу Вас.

Молчит. Поезд сейчас остановится, медлить нельзя.

— Разрешите, прошу Вас! — И тронула его за рукав.

Он резко обернулся:

— Надоела ты мне. Иди, садись!

Я взяла вещи и пошла обратно в свое отделение. Никто ко мне не входил, пока мне не надо было сходить.

Здесь поездов не было и в тот день не предвиделось. На другой день утром поезда еще нет. Мне очень захотелось есть. Я подошла к маленькому домику и увидела женщину в слезах. Когда я объяснила, что очень проголодалась, она радушно пригласила меня и сказала, что даже рада моему приходу, так как сегодня помин ее мужу.

Потом я сколько-то проехала на поезде благодаря доброму начальнику станции. Далее мне надо было сходить и пройти пешком до узкоколейки. Пошла пешком. День склонялся к вечеру. Встретила около пустой постройки симпатичных крестьян, которые посоветовали мне переночевать здесь и идти утром. Я так и сделала. Потом, Господь дал, меня посадили на узкоколейку, и я доехала до села Дедлова. Со мной высадились молодые женщины. Я просила их не оставлять меня, а взять, куда идут сами. Сначала они согласились, а потом сказали: «Нет, лучше иди к кузнецу!» — и подвели к какому-то домику.

Страх был ужасный. Я осталась одна в темноте. Вошла в дверь. Маленькая комната. Много икон и лампад. Около стола сидит женщина и рядом с ней мальчик — читает Евангелие. Тут я успокоилась. Женщина радушно меня приняла, засуетилась с самоваром, а я думала, как я расплачусь, когда я свои пять тысяч уже отдала за кружку молока. Я предупредила, чтобы она не хлопотала, но она все же угостила меня чаем с сахаром. (Надо помнить, что тогда был голод.)

Она рассказывала, как к ним заезжал о. Герасим на пути в Иерусалимскую пустыньку. Когда я сказала, что иду по благословению о. Анатолия, она еще более расположилась ко мне. Вскоре пришел ее муж, тоже благочестивый человек. Мне намостили на сундуке мягкую постель, и я легла спать. Только мы успокоились, вбегает кто-то и кричит: «Нет ли у вас ночлежников?!»

Мне сделалось страшно. Оказалось, что их знакомый парень хотел подшутить и напугать.

Это была суббота. Я подумала: «Пойду завтра рано, чтобы до жары побольше пройти и не ослабеть». С такой мыслью и заснула. Проснулась, когда начали звонить к обедне. Мне стало стыдно: как это я накануне хотела идти без обедни?.. Я попрощалась с доброй хозяйкой и пошла в церковь. На площади увидела кондукторов (узнала по костюму) и попросила: «Не посадите ли вы меня на узкоколейку?» Мне сказали: «Приходи к часу».

Внутренность храма меня поразила. Потолок из матового стекла, через которое просвечивает свет. Вид величественный и изящный. Ведь здесь мальцевские заводы, и это — дар владельца.

Ко мне подходит монахиня и говорит:

— Останьтесь на панихиду по моей матери! Ей сегодня сорок дней. А потом идите с нами на помин.

Я сказала, что к часу должна быть на станции.

— Успеете, — сказала монахиня.

Они напоили меня чаем и накормили.

Я пришла на станцию, и кондуктор посадил меня в вагон. Тут пошел по вагонам человек в военной форме и стал выпроваживать всех, не имеющих пропуска. В вагоне поднялось волнение. Думаю — сейчас меня выгонят! Но, дойдя до меня, кондуктор тихо сказал: «У нее есть!» Слава Богу! Я еду!

Утром вышла в какое-то село. Увидела угольщиков, которые уже опорожнили свои телеги. Спрашиваю: «Где тут Иерусалимская пустынь?» Они не знают. Я вспомнила, что это место еще называется Печи. Тогда они меня поняли и согласились меня немного подвезти. Я отдала им булочку, которую берегла на крайний случай.

Проехав не очень много, угольщики указали на горизонт и сказали: «Это Печи!» Я увидела отдаленную группу деревьев, куда и направилась. Ко мне подбежали девочки, которые угостили меня земляникой на листочках и довели до оврага, сказав: «Вот и Иерусалимская пустынь». Я пошла по лестнице вниз, на дно оврага, и очутилась у мостика через ручей. Пройдя мостик, я увидела деревянную постройку с крестом — церковь. С правой стороны дорожки был как бы вход в погреб — стол и дверь.

Дальше все было покрыто дерном. Потом я узнала, что это — пещера, в которой живет мать Параскева, в настоящее время — единственная обитательница этой пустыньки.

Она встретила меня сурово, спросила, зачем я пришла. Я объяснила, что о. Анатолий благословил меня читать псалтырь в церкви, сказав: «Нехорошо, что церковь освящена, а службы нет». «Он еще повелел Вам помогать и делать то, что Вы мне скажете». Недовольным тоном она объяснила мне, что Вера Адамовна поехала хлопотать насчет священника в Петербург или в Москву.

Среди деревьев стояла избушка, куда она меня повела. Указала на скамейку у самой двери и сказала, что тут я буду спать, а за печкой будет жить мальчик-сирота, «которого сюда привели». Вскоре прибежал и он. Я повесила свои вещи и спросила, в чем я должна ей помогать. Она сказала, что утром я должна приносить дрова из леса, носить воду и ставить самовар, а пока благословила меня идти в храм. Обстановка была там очень простая. У левого клироса, на столике стояла икона Иерусалимской Божьей Матери. Подсвечник состоял из бронзового столба с деревянным кружком для свечей.

Мать Параскева сказала: «Когда будут давать деньги за чтение, пусть кладут на столик возле иконы». Приложившись, я начала читать на левом клиросе, и у меня было хорошо на душе.

Под вечер мать Параскева дала мне что-то поесть. Она была глуховата и очень раздражительна.

Как только забрезжил свет, я пошла в лес за дровами. Я взяла с собой самодельные туфли на веревочной подошве, но берегла их и потому ходила босиком. Набрав сухих сучьев, я складывала их в сенях и шла за водой. Так как воду надо было поднимать из ручья в гору, то я могла носить только по полведра. Потом я поставила самовар и м. Параскева послала меня за чем-то в огород.

Когда я обдумывала свое поведение, я вспомнила поучения отцов, когда они отправляли кого-либо на послушание: «Веди себя как последний нищий». Это было мне на пользу. Когда к м. Параскеве кто-нибудь приходил, я прислуживала им стоя. Как-то мать Параскева с подозрением посмотрела на мои руки, а потом грубо обратилась ко мне:

— У тебя не крестьянские руки, ты все молчишь, от тебя слова не добьешься!

Однажды из соседнего медпункта пришли муж и жена с просьбой прочесть канон и кого-то помянуть, а деньги не положили на стол, а отдали мне, сказав:

— Нам не хочется, чтоб их брала одержимая Параскева. Отдайте деньги настоятельнице Вере Адамовне.

Я вписала деньги в тетрадь и оставила их там. Тетрадь лежала на аналое, под псалтырью. Пришли монахини из закрытого Белокопытова монастыря. Они что-то сказали м. Параскеве, видимо, про меня, а она им шепотом: «Она — воровка!» Она, видимо, увидела деньги в тетради. Я молчала, так как не хотела ее оскорбить.

Однажды, уходя куда-то, она сказала: «Сегодня топить печь не будем. Там есть картошка, — и указала на черепок, в котором кормились куры. — Можешь съесть ее». На мое счастье, пришла женщина с поминаньем и принесла мягкую булку и чашку овсяного киселя. Я поела, накормила мальчика Митю и еще оставила м. Параскеве. С Митей она обращалась сурово: била его и привязывала к ножке стола, а когда скажешь ему ласковое слово, еще более сердилась на него и на меня.

Однажды мы пошли собирать по деревням картошку. Она входила в хату, а я, помня наставления старцев, стояла у двери. Давали нам понемногу, но все же в мешке набралось столько, что мне стало тяжело его нести. Грудь стало ломить, и во рту появилась сладость. Я почувствовала тошноту от переутомления сердца и предложила оставить где-нибудь картошку, чтобы потом за ней прийти, и идти собирать дальше с пустым мешком. Мать Параскева расстроилась и закричала: «Вот тебя потому нигде и не держат, что ты ленивая!» Я все же оставила картошку под кустом и пришла за ней потом.

Как-то раз м. Параскева сказала мне: «Не называй меня "матушкой". Не надо, чтобы знали, что я — постриженная монахиня. Я веду не монашескую жизнь!»

А настоятельницы, которую я так ждала, все нет и нет! Я много о ней слышала, знала, как она относится к о. Герасиму и как он ее ценил. А м. Параскева отзывалась о ней весьма неодобрительно. Однажды днем приходит седой

иеромонах. Я стала просить его отслужить обедню. Мать Параскева говорит:

— Я не против, но ты приглашаешь, а ему надо дать поужинать. Иди в деревню, собери хлеба!

Я взяла мешок, а у самой на душе тяжело: как я пойду просить?!

В первой избе меня ласково встретила женщина и рассказала, что у нее недавно умерла дочь: поехала за хлебом, спрыгнула с поезда на ходу и разбилась.

— Не бойся, не бойся, тебе всякий даст! — говорит она.

Только в одном доме хозяин начал укорять, и я от него быстро ушла.

Через несколько дней батюшка стал говорить, что ему хотелось бы приготовить запасные дары. Нужна мука, которую можно достать у его знакомых в селе за 12 верст. Наутро я туда отправилась, конечно, босиком. Хозяева, видимо, купцы, приняли меня хорошо и дали в пакете фунта два белой муки. После этого они направили меня к бывшему казначею, который получает посылки и, наверное, поделится мукой. Там мне отсыпали в бумажный мешочек с условием, что я сама буду печь просфоры и не дам этим заниматься «одержимой Параскеве». Я сказала, что сама не могу распоряжаться. Тогда они просили передать муку настоятельнице Вере по ее приезде. По приходе я об этом сказала батюшке, думая, что он, как духовник, будет держать тайну, и успокоилась.

Батюшка о. Анатолий велел мне возвращаться в Оптину к Успению. Наступили первые дни августа. Мать Параскева обращалась со мной все хуже и хуже. Но на меня это не ложилось тяжестью. Я как бы вошла в древнюю отшельническую жизнь и сознавала, сколь это полезно.

Перед уходом я подумала, что нехорошо уйти не примирившись. Я стала на колени и сказала:

— Прости меня, матушка! Ради Господа, скажи мне, за что ты на меня сердишься?

— Ты лжива, непокорна и к тому же воровка! Я заметила, как ты носила воду по полведра. Получила пшеничную муку и мешок отправила в деревню, а мне дала пакетик.

— Не мешок, а пакетик фунта в два.

— Нет, ты скрываешь!

— Кто вам сказал?

— Батюшка.

— Так пойдемте к нему, и я покажу вам тот пакетик, который мне велено было передать настоятельнице! Я не могу уйти, не выяснив этого недоразумения. Я ведь ухожу отсюда и не должна больше молчать!

— Нет! Не пойду выяснять. Я верю тебе. Прости ты меня. Оставайся здесь. Мы хорошо будем жить. Ты меня будешь учить молитвам, я ведь неграмотная и скрываю, что я пострижена, потому, что веду такую жизнь.

Мы простили друг другу и расцеловались.

На другой день я чуть свет вышла в дорогу. За несколько дней до Успения я была в Оптиной пустыни, и о. Анатолий благословил меня готовиться к причастию.

После мать Амвросия долгие годы прожила в Козельске в уединенном домике с несколькими сестрами.

Наконец (по-видимому, в 1937 году), она пишет:

Нам уже видно было, что дело идет к концу и нас всех скоро возьмут. Поспешив послать посылки нашим ссыльным, я поехала в Белев, чтобы нанять там комнату, но туда мне пришла телеграмма, что «меня ждут», и я поехала обратно. На платформе ст. Козельск ко мне подошли два военных и сказали: «Идите за нами». Меня посадили в вагон и повезли в Сухиничи, где находилось ГПУ. С поезда меня повезли на машине в помещение, где были только нары во всю стену и где я была встречена толпою наших уже арестованных сестер. Меня стали обнимать и так весело заговорили, что мой провожатый стоял в недоумении, глядя на эту картину. Он даже сказал что-то ласковое, запирая нас.

В день св. Воздвижения нас перевели в тюрьму. Там были такие же нары, но народу было столько, что лежать можно было только на боку. Некоторые лежали под нарами. Предложение ходить на кухню чистить картошку было большим утешением. К октябрьским дням принесли ленточек, чтобы мы делали бантики и флаги. К тому времени я так ослабела, что ходила в уборную, держась

за стенку. Во время обеда нас выпускали из камеры брать суп в миску. Если в супе было мясо, мы его не брали.

Поодиночке нас вызывали к следователю. Я обвинялась «в привлечении девушек к монашеству». «На вас жалуется мать, что вы отняли у нее дочь, уговаривая идти в монастырь», — прочел следователь и остановился. Я решила: так Богу угодно, чтобы я страдала, и я буду молчать. Но следователь заговорил хорошим тоном: «А вы сами скажите, как это было». Тогда я объяснила, что мать просила принять на квартиру ее больную дочь, которая не выносила шуму в их доме. Следователь сказал: «Ну, это другое дело. Вас тогда можно обвинить только в немой агитации. Я знаю вашу уединенную жизнь, а вот врач и верующая, это немая агитация, особенно, когда вас уважают. Вины у вас нет, и вернее всего вас освободят или дадут вам недалекую ссылку, — все это он говорил неуверенным тоном, выбирая необидные выражения, — если бы вам только изменить внешность!» — «Я уже на краю могилы, могу ли я менять свои убеждения!» — сказала я. Мы попрощались, и я видела, что он мне сочувствует.

Тем не менее по этапу я была переведена в Смоленскую тюрьму. Вещи везли на телеге, а мы шли пешком до вокзала. По сторонам ехали конвойные верхом и шли пешие с ружьями. Я не поспевала за идущими, и конвойный несколько раз тихонько ударял меня ружьем. Видя, что это не помогает, он взял меня под руку и повел.

В вагоне теснота была страшная, дышать было трудно. Среди ночи закричали, что пойман какой-то известный разбойник с шайкой и что его хотят поместить к нам. Мы запротестовали, и, после долгих переговоров, его решили оставить на станции до следующего поезда.

В Смоленской тюрьме, как и везде, камеры были переполнены, но мне все же предоставили отдельный топчан. Через неделю я получила посылку — батон белого хлеба, сахару и бутылку молока (у этой женщины я лечила когда-то дочь, и она меня вспомнила).

Однажды к нам в камеру вошла женщина — настоящая красавица. Она была тоже заключенная и заведовала одеяльной мастерской. На ее предложение у них работать — я согласилась. Так приятно было после

душной камеры сидеть в тишине и стегать одеяло! Заведующая наша в какой-нибудь праздник или в субботу, бывало, скажет нам: «Останьтесь здесь! Когда другие разойдутся, вы сможете помолиться». А сама стояла у дверей за сторожа.

Какая удивительная это была женщина! Она закручивала на голове косынку в виде тюрбана и напоминала величественную восточную красавицу. У нее было двое детей, и мне помнится, что она имела какое-то отношение к Блоку: вероятно, родственница. Она была верующая, но своеобразно, и принадлежала к теософам (у них несколько толков, враждебных друг другу). При разговорах с начальством она позволяла себе многое из-за своей значительной наружности, которая действовала на людей. Ей прощалось то, что не потерпелось бы от других. Ее имя было, кажется, Ольга. Фамилии я не помню.

По ночам заключенных часто вызывали на допрос, и все ждали этапа в дальние ссылки. Наша красавица дала нам по большому куску ваты, чтобы мы сшили себе наколенники. У меня получилось даже тонкое одеяло. Ко мне на свидание приехала сестра М. и привезла мне деньги, вырученные за мои хирургические инструменты.

В Смоленской тюрьме мы пробыли до 22 декабря, когда надзирательница сообщила нам, что мы можем собирать вещи и уходить, с условием назавтра явиться в ГПУ за документами. При выходе из тюрьмы я увидела отцов Макария, Федота и Мелетия с вещами на плечах, отправляющихся в архангельскую ссылку.

На следующее утро я пришла в ГПУ и узнала там, что к 1 января я должна явиться в Архангельское ГПУ и узнать место ссылки. Это меня удивило, но не очень огорчило, так как и раньше мы жили под постоянным страхом, что куда-то придется ехать. Заехав в Козельск за вещами, я поехала, не останавливаясь в Москве, в Архангельск. Приехала утром, оставила вещи на вокзале и отправилась в ГПУ. Стоял сильный мороз. Для приема ссыльных был отведен сарай. Народу было очень много, но в ворота из скважины очень дуло. Из окошечка мне дали бумажку ссыльной с правом проживания в Архангельском районе и обязательством являться три раза в месяц на проверку в ГПУ.

Надо было искать квартиру, но нас нигде не принимали. Проходив весь день, мы снова вернулись на вокзал. Сторож сжалился и позволил нам переночевать, хотя это было запрещено.

Проскитавшись десять дней по городу, мы пошли за 6-7 верст в деревню, где недавно поселились отцы Никон и Агапит, приехавшие из Соловков, отбыв там свой срок. В той же деревне жил бывший в Соловках владыка Тихон Гомельский, который встретил нас приветливо, и мы устроились на квартиру во втором этаже крестьянского дома. (Первые этажи на севере заняты хозяйственными помещениями.)

Через несколько дней мы узнали, что владыка Агапит снова арестован и куда-то отправлен. Вскоре нас ожидала та же участь. Пришла бумага, чтобы 6 мая мы были на берегах Северной Двины. Туда были поданы большие лодки-«карбасы». Доехали мы до какого-то острова-карантина. Потом повезли дальше, куда — мы не знали, но понимали, что мы едем по Сев. Двине.

Остановились наконец у крутого берега. Был еще день, яркое солнце. Взяв на плечи свой мешок, я пошла по крутой тропинке туда, где, по-видимому, был колхоз. Села на бревно отдохнуть. Со мной заговорила женщина, но тут же подошел какой-то человек с портфелем и резко ей заметил: «Ну вот, достукаешься и сама попадешь туда же!» Можно было понять, что им запрещено разговаривать со ссыльными.

Я пошла по дороге. Нас поместили в большом сарае. Крыша была плохая, и во время дождя защиты не было. Недалеко находилось озерцо или, вернее, болотце. Воду из него пить было нельзя — попадались головастики. Среди ссыльных были магометане, которые ходили туда для омовения. За водою мы ходили далеко в овраг, где был ключ.

Как ни строг был приказ, к нам все же ходили люди менять продукты на наши вещи. Однажды принесли топоры и велели всем идти в лес на работу. Пошли все, за исключением нескольких слепых, людей с отмороженными руками и совсем больных. Я боялась идти по страшно крутым тропинкам и легла на свой сундук.

Человек с ружьем ударил меня и сказал: «Если ты не пойдешь, тебя запрут в погреб».

На следующий день пришел начальник и сказал: «Вас назначили на дачу». В 4 часа утра, когда мы еще не успели поесть, подали двое саней-розвальней, по две лошади, запряженных гуськом. На них уложили вещи, а мы пошли пешком. Нам было удивительно: кругом трава и цветы, и вдруг — сани! Но когда мы дошли до дремучего леса, где была прорублена лишь одна тропинка, мы увидели жидкую грязь с торчащими из нее пнями. По такой дороге только и можно пробраться на санях. Сани иногда переворачивались, и вещи падали в грязь.

Пешком тоже очень трудно было идти — срубленные деревья и сучья загораживали путь, ноги вязли в болотистой почве. Я сказала начальнику: «Я за вами не поспеваю!», на что он ответил: «Ничего, здесь одна дорога. Не заблудишься!» На этом я успокоилась.

Чем дальше мы углублялись в лес, тем становилось мрачнее. Лучи солнца сюда не проникали, не было даже певчих птиц. Шли несколько часов. Наконец деревья поредели — лужайка и солнышко.

С утра я ничего не ела, и с собой ничего нет. Что будет дальше? Навстречу крестьянин с кожаной сумкой через плечо. Поклонился мне и сказал: «Я таких люблю!» Мы сели на бревно. Он достал пшеничную лепешку и дал мне. Господи! Откуда это могло быть при такой голодовке! От умиления я расплакалась. Не помню, что мы говорили. Я съела лепешку и подкрепилась.

Начало темнеть. В стороне показалось мне что-то похожее на медведя с поднятыми лапами, и я шла как на смерть. Пошел дождь, лес становился реже. Я вижу вдруг, что на дороге валяются некоторые из моих вещей. И тут же я встретила едущего обратно возчика. У меня было 5 руб., и я стала его просить отвезти потерянные вещи обратно. Тут же оказался священник, вещи которого тоже валялись по дороге, и возчик за деньги согласился отвезти вещи. Я в изнеможении села на сани, а священник шел рядом.

Наконец показались огни, и по топкой грязи мы подъехали к крыльцу. В постройке еще не было ни окон, ни дверей. Вместо печки лежала груда кирпичей. В ней мы

развели огонь и стали греться. Мужчин было 48 человек, женщин — 6. Начальства не было, а за старшего поставлен хромой еврей, видимо, очень жестокий. Он говорил, что если будет голоден, то сможет убить человека, с подозрением смотрел на мои вещи и был мне очень страшен. Некоторые подставляли жестянки под крышу, чтобы собрать воду, но она пахла скипидаром. Наутро две слабые монашки пошли искать воду. Вокруг барака была такая грязь, что пройти можно было только по бревну. Все было покрыто навозом от находившихся здесь раньше ссыльных.

Среди наших ссыльных были несчастные с отмороженными руками и ногами, уже омертвевшими и издающими ужасный запах. Я развела марганцовку и стала делать перевязки. В это время с тракторной базы появился человек, привез инструменты и приказал идти чистить лес, обещал тогда привезти хлеба. Я показала ему хромых и безруких, чтобы он понял, кого он посылает на работу, и просила сообщить, кому следует, чтобы их отсюда забрали, иначе они умрут. Он уехал, увозя обратно инструменты.

Через два часа появились наши сестры, ушедшие за водой. Одна так устала, что слова не могла вымолвить. Другая все же принесла полведра воды. Первая сестра столько раз падала среди валежника, что разлила свою воду. Мы стали кипятить чай.

Было уже светло, когда приехал фельдшер с базы. Я показала ему больных, и он отнесся довольно дружелюбно. Смотря на мою корзину, он спросил: «Что это у вас?» Я показала хирургические инструменты и перевязочный материал, и он полюбовался английскими инструментами. Я просила его выручить нас из этого ужасного места, и он исполнил эту просьбу. Наутро снова приехали сани за нашими вещами, подождали, пока мы напьемся чаю, и мы направились обратно к тому сараю, который недавно оставили. Многие оттуда разбрелись по деревням.

Батюшка, отец Макарий, который был необыкновенно добр и со всеми всем делился, прислал за мной, и я поселилась на сеновале в той деревне, где жил он. Мне там было очень хорошо. Но однажды я услышала

внизу голос: «Ах, вот вы где! Сейчас же переселяйтесь в барак!» — Это был комендант.

Бараки были расположены на берегу Северной Двины, и в них вели земляные ступени. Там я встретила того хромого человека, которого так боялась. Он указал мне на нары для трех человек. По краям сидели мужчины грубого вида, кажется, пьяные. Было очень душно, накурено, много мух. Мне потом удалось поменяться местами с какой-то женщиной.

Однажды один из начальников поймал рыбку и предложил ее купить. Я купила эту рыбку, но не знала, как с ней поступить. Один господин, находившийся рядом, показал, как ее очистить и сварить. Это был профессор из Ленинграда (Космическая академия), который не пошел в барак, а поселился с одним священником в бане. Когда эту баню топили, они должны были оттуда выбираться. Этот профессор приехал из Соловков, отбыв срок и получив ссылку. Когда он болел сыпным тифом, за ним самоотверженно ухаживал его друг Сперанский, а теперь он, как обещал, взял на свое попечение его отца — священника, тоже ссыльного и болевшего параличом (он уже еле передвигал ноги).

Я иногда сидела у входа в баню со своими новыми знакомыми. Профессор часто касался восточных верований, употребляя выражения теософов, что меня огорчало.

Потом нас перевели в другие бараки, где было больше места, и соединили с батюшками, с которыми мы расстались в деревне. Бараки эти находились в лесу, на краю оврага, где протекал ручей. Туда же были переведены профессор с батюшкой. Этот о. Евгений рассказал мне, что с ними однажды по берегу шел грузинский князь. Видя, что батюшке трудно идти, он отбрасывал с его пути сучья и камни, всячески ему помогал. Потом мы познакомились с этим князем — это была замечательная личность: пожилой, с седыми волосами и бородой, очень красивый, с военной выправкой. Фамилии его я не помню, но слово «атава» мне ее напоминает.

Наступило время отправки дальше, но нас повезли «ближе», в Котлас, откуда мы пешком отправились за две-три версты в Макариху. Здесь были бараки, более или менее приспособленные для зимы. Это был целый

городок. Ссыльных было 18 тысяч. Многие были из казачьих станиц.

Режим в Макарихе был не очень строгий. Гуляя, можно было даже проникнуть и за границы городка. Я даже как-то пошла в церковь в Котлас и увидела диакона Кузьму, который после службы подвел меня к владыке-хирургу, епископу Луке*, обитавшему в тех краях. Он не старый, лет 50-60 на вид, в темно-синем подряснике с монашеским кожаным поясом. Лицо приятное, благостное. На мой вопрос, благословит ли он меня, если предстанет необходимость работать по медицине, он радостно сказал: «Благословляю, благословляю! Ведь я тоже работаю!»

Небольшое послесловие:

Считая вышеприведенные выписки из воспоминаний матушки Амвросии очень интересными с тех точек зрения, о которых я говорила в начале, добавляю некоторые ее высказывания и заметки, разбросанные по ее мемуарам и характерные для тех ортодоксально-православных кругов, к которым она принадлежала.

«Начальница Псковской общины сестер милосердия княжна Дундукова-Корсакова была широких взглядов. Ее увлек еретик Ф. (?) и митрополит Антоний. Она говорила: "Все эти перегородки, которые люди понастроили, не доходят до неба!" В душе ее уживались еретические понятия и исполнение православных обрядов. Ее преемница была более стойкая, но сестрам было обидно за их любимую основательницу, и они не оценили новую начальницу».

Привожу другой отрывок, интересный по иной причине:

«Монахиня М. воспитывала племянника. Потом его определили в Пажеский корпус. Когда он закончил там свое образование, тетка сказала, благословляя его: "Служи, исполняй честно свой долг!"" Тот ответил: "В том-то и несчастье, что я не знаю, в чем состоит теперь мой долг!"»

---

* Знаменитый профессор Войно-Ясенецкий, книга которого по гнойной хирургии до сих пор является ведущим руководством в этой области. — *Прим. автора.*

В воспоминаниях имеется также запись, относящаяся к 1917 году:

«Будучи в Оптиной пустыни, между многими другими я увидела в высшей степени благоговейную чету М-вых. Батюшка Феодосий при мне давал книжку только что пришедшей к нему после причастия Марии Федоровне и, когда она ушла, мне сказал: "Вот райский цветок!"»

Это была та самая Маня Самарина (потом Мансурова), с которой я бывала на детских танцклассах у Трубецких (в доме Бутурлиных на Знаменке) и которую в 1918 году встретила на дороге между Козельском и Оптиной.

Приводя в порядок и переписывая (по завещанию моего отца) интереснейшие записки его приятеля Ровинского, я напала на одну запись, относящуюся к княжне Марии Михайловне Дундуковой-Корсаковой, которую и решила включить в воспоминания матери Амвросии как наглядное доказательство того, сколь различны бывают суждения современников об одном и том же лице.

«В 1902 году в доме Илиодора Александровича Яновича, человека недальнего ума, но добряка и идеалиста, который был женат на сестре князя Дундукова-Корсакова, занимавшего в то время пост начальника Гражданской части на Кавказе, я познакомился с его невесткой, княжной Марией Михайловной Дундуковой-Корсаковой. Пожилая (ей было более шестидесяти лет), выше среднего роста, худощавая, с большими и умными серыми глазами, приветливо смотревшими на собеседника, с доброй улыбкой, М.М. одевалась очень просто, даже бедно, и носила на голове простой платок, завязанный под подбородком. Всю свою жизнь она посвящала служению людям. Она была сестрой милосердия и не только ухаживала за больными, но устроила на свои средства в родовом имении в Псковской губернии сельскую больницу для крестьян.

Живя в Петербурге, М.М. посещала бедных и оказывала им помощь во всех видах, не жалея ни сил, ни средств. При встречах с особо нуждающимися женщинами, не имевшими ни одежды, ни белья, она (бывали неоднократные случаи) снимала с себя одежду, чулки или обувь и отдавала их, а потом заходила по пути к своим

друзьям или родным, которые в ужасе обнаруживали, что она или в одних галошах на босу ногу, или осенью без пальто.

Она была глубоко верующей, и ее очень волновало то, что наша высшая церковная иерархия утратила древнее право "печаловаться" перед монархом за заключенных. Когда один из главных организаторов партии соц.-рев. Г.А.Гершуни, арестованный в 1903 году, был затем приговорен военно-полевым судом к смертной казни, М.М. явилась к митрополиту Антонию и стала убеждать его ехать к императору и "печаловаться". Она действовала так энергично, что тот поехал к императору и вымолил замену смертной казни бессрочным заключением в Шлиссельбургской крепости. (Оттуда Гершуни был переведен в Акатуевскую тюрьму, откуда бежал в Америку. Умер за границей в 1908 году.)

После этого М.М. обратила особое внимание на политических заключенных в Шлиссельбурге и просила министра Плеве дать ей разрешение посещать их, беседовать с ними, читать им Евангелие и вообще облегчать их душевное состояние. По каким-то соображениям Плеве счел возможным удовлетворить ее просьбу, и с 1904 года М.М. стала, к неудовольствию коменданта тюрьмы, появляться в Шлиссельбургской крепости. После убийства Плеве разрешение было аннулировано, но М.М. с этим не примирилась и, с благословения митрополита Антония, написала императору Николаю II письмо с просьбой о разрешении возобновить ее деятельность. Оно было дано, и М.М. опять пошла посещать и утешать заключенных.

Все сидевшие в Шлиссельбургской тюрьме (Попов, Фигнер, Фроленко, Николай Морозов) отдают полную дань самоотверженности княжны Дундуковой-Корсаковой, о которой отзываются с большим уважением. Она действовала умно и тактично, не навязывая своих убеждений, но своим участием и энергией очень хорошо воздействовала на заключенных, которые в большинстве случаев мужественно выносили одиночное заключение.

О жизни и деятельности Марии Михайловны Дундуковой-Корсаковой было помещено немало заметок в газетах и журналах. В Москве Сергеем Махаевым была издана довольно содержательная брошюра, в которой нашла отражение ее обаятельная личность».

В Ленинградском ДПЗ

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.

Анна Ахматова

«13/IV-1957 г. № 4-V-057

Постановлением Президиума Ленинградского Городского Суда от 19/III-1957 г. постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 31/III-1935 г. в отношении Аксаковой Т.А. отменено за отсутствием состава преступления. Аксакова Т.А. считается по этому делу реабилитированной.

Зам. пред. Ленгорсуда — (Барканов)».

Справку, полученную мною с опозданием на 22 года, я ставлю в виде эпиграфа, чтобы помочь людям, не верящим на слово, рассматривать события, описываемые в этой главе, под надлежащим углом зрения. Итак, начинаю.

Когда я 11 февраля 1935 года, имея в руках повестку, паспорт и чемоданчик с бутербродами, плиткой шоколада и сменой белья, вошла в двери дома НКВД на углу Литейного и Шпалерной, меня провели в один из верхних этажей и предложили подождать в коридоре. Через полтора часа я увидела, как из дверей ближайшего кабинета вышла и молча проследовала мимо меня жена Юрия Львова, Ольга Ивановна. Вскоре я была приглашена в тот же кабинет.

После обычных вопросов о месте жительства, работе и т.п. следователь (по-видимому, не из самых важных) задал мне странный вопрос: «Скажите, кого Вы знаете из князей?» На это я ответила, что в мое время «князья»

не составляли какой-то особой касты. Они были рассеяны по всей массе моих знакомых и перечислить их мне очень трудно. «Но чтобы не тратить даром времени, — добавила я, — скажите прямо, что вас интересуют Львовы!» — «Почему вы так думаете?» — «Это очень просто, — продолжала я, — я только что видела Ольгу Ивановну Львову выходящей из вашего кабинета». — «Ну, расскажите, какие отношения у вас со Львовыми». — «Вопрос слишком общий. К разным представителям этой семьи я отношусь по-разному, да и они ко мне, надо думать, тоже».

Я вкратце осветила «львовский вопрос», и разговор перешел на другие темы: мои поездки за границу, Сережа Аксаков, все то, что уже, по-видимому, было зафиксировано ранее в моем личном деле и интереса не представляло. Следователь, уходя с протоколом, чтобы показать его высшему начальству, даже сказал: «Ну, вот, если вы работаете в вечернюю смену, вы еще поспеете на занятия».

Вернулся он менее любезным: по-видимому, в высших сферах он узнал, что моя участь — вне зависимости от протокола — уже предрешена, и объявил, что для «выяснения некоторых обстоятельств» я должна быть задержана. Внутренними переходами меня провели в тюремный корпус и, претерпев процедуры обыска, фотографирования *en face* и в профиль, а также снятия отпечатков пальцев, я очутилась в небольшом полутемном помещении с деревянными нарами, где должна была провести ночь. (Распределение по камерам производилось утром.)

Кроме меня, там находились три женщины, из которых одна, молодая еврейка, металась из угла в угол и, видимо, переживала тяжелую внутреннюю драму. На меня, наоборот, нашло какое-то торжественное спокойствие. Когда я думала, что по тем самым коридорам, по которым вели меня, проходили и Шурик, и папа, что где-то поблизости находится Володя Львов, мое пребывание в ДПЗ казалось мне вполне логичным и закономерным.

Среди ночи засов загремел, дверь приоткрылась и надзирательница, возгласив: «Аксакова! Возьмите свой перстень» — вручила мне отобранное во время обыска кольцо, которое я неизменно носила с 14-летнего возраста (оно было подарено бабушкой Александрой Петровной

«за операцию аппендицита»). Мои соседи соскочили с нар и закричали: «Почему ей отдают кольцо, а нам нет?» — Надзирательница буркнула в ответ: «А вам какое дело? Может быть, Аксакову завтра выпустят. Вас это не касается!» — и захлопнула дверь. Тут пошло что-то невообразимое: поверив, что я действительно накануне освобождения, все наперебой начали давать мне адреса родных и поручения, которые смешивались в моей голове в общую путаницу. Энергичнее всех меня атаковала та молодая особа, которая металась, как пантера в клетке: она оказалась аспиранткой какого-то литературоведческого института, комсомолкой, недавно вышедшей замуж за ответственного партийного работника. Арест ломал не только ее карьеру, но и личную жизнь.

Как и следовало ожидать, надежда на мое быстрое освобождение оказалась пустой. Кольцо мне отдали, насколько я понимаю, потому, что люди, не видевшие алмазов старинной шлифовки, не знали, как оформить квитанцию. (В Саратовской тюрьме оно впоследствии шло под упрощенным названием «кольцо с белым камнем».)

Наутро нервную аспирантку (я, к сожалению, не помню ее фамилии) и меня повели по довольно странным переходам, чтобы водворить в уплотненную до отказа камеру № 35. Первым преимуществом этой камеры было то, что она отделялась от коридора не дверью, а решеткой, благодаря чему не было той духоты, которой следовало ожидать при большом скоплении народа. Вторым преимуществом камеры было отсутствие в ней уголовного элемента. Вместо нар на всей «жилплощади» стояли почти вплотную железные койки, однако их не хватало и вновь прибывшие ложились на пол.

У стены я увидела несколько деревянных щитов — первоначальное назначение этих предметов было неизвестно, но теперь, положенные на ночь между койками, они служили добавочной площадью для сна. В «Словаре камеры № 35», составленном при некотором моем участии, под буквой «Щ» значилось: «щит» — в древности оборонительное военное снаряжение, теперь — этап в переходе заключенных с пола на кровать.

Появившись в качестве новеньких, мы были очень приветливо встречены старостой Виндельбандт, девицей

лет тридцати, о которой я сохранила самое светлое воспоминание. Причиной ареста ее и ее матери, находившейся в соседней камере, была их принадлежность к теософическому обществу. Передачи носила старая няня, причем я замечала, что наша староста оставляла себе самую незначительную часть получаемых продуктов, тихонько раздавая большую часть неимущим. Она также никогда не пользовалась правом перехода с пола на койку, предоставляя это более слабым. (Будучи впоследствии старостой в Саратовской тюрьме, я ставила себе Виндельбандт за прекрасный, но недосягаемый образец.)

Значительное число заключенных в камере № 35 составляли интеллигентные женщины. Исключением были толстая торговка, получившая у нас прозвание Silver Lady (она была арестована за то, что собирала или скупала выпущенные в 1926 году и вскоре исчезнувшие советские серебряные рубли и полтинники, переплавляла их в слитки и относила в Торгсин), и жена рыбака с северного озера Имандра, обвинявшаяся в том, что возила в лодке каких-то иностранных туристов, оказавшихся (или показавшихся) подозрительными.

Все держались бодро, только пришедшая одновременно со мною в камеру молодая женщина, к тому же беременная, лежала на уступленной ей кем-то койке или стояла у решетки, заменявшей нам дверь, судорожно ухватившись за ее переплеты, в ожидании записки или передачи от мужа. В один прекрасный день к решетке подошел начальник отделения и четким голосом произнес: «Ваш муж от вас отказывается и просит его письмами больше не беспокоить!» Несчастная повисла на переплетах решетки, и мы еле успели подхватить ее на руки.

Однако, несмотря на серьезные моменты и суровость обстановки, безмолвие и отчаяние не были в духе нашей камеры. Главными заводилами были Елена Яковлевна Мордовина и я. Может быть, это являлось следствием перенапряжения нервной системы, но я никогда так много не смеялась, как в камере № 35. Большим успехом пользовалась игра в шарады. Помню, что лучше всего удалось слово «караван». Первая часть «кара» изображалась нашей же камерой, для второй части был представлен

светский разговор между голландскими дамами Ван Гутен (я) и Ван Тизен (Мордовина). Для «целого» три женщины с привязанными горбами из подушек, под видом верблюдов, двигались на четвереньках по проходу между койками.

Постепенно аспирантка, от которой отказался муж, стала выходить из шока и примкнула к нашей развлекательной компании. Она знала много стихов, и я с ее слов выучила наизусть «Капитанов» и «Озеро Чад» Гумилева — «гения нашего места». Экзотика этих произведений уводила меня от мрачной действительности не только в ДПЗ, но и много раз потом.

Но если говорить о мрачном впечатлении, надо упомянуть о таком, казалось бы, безобидном месте, как тюремная баня. Через известный промежуток времени наступал со страхом ожидаемый день, когда нас заставляли собирать вещи и, нагруженных всем своим имуществом наподобие улиток, — вели в баню. В каком-то очень мало уютном помещении, где температура была либо слишком жаркой, либо слишком холодной, нам предлагали раздеваться и все наши вещи, вплоть до рубашки, закладывали в парильные котлы. Так как мы находились под замком, то чувствовали себя весьма беспомощными.

Однажды с трубы, проходящей по потолку, закапала горячая вода и попала на одну из заключенных, бурят-монголку, особу довольно неуравновешенную, которая истошным голосом закричала: «Ну вот, начинается!» Ничего, к счастью, не «начиналось», но всякий легко поверит, что баня в таких условиях не доставляла удовольствия.

Банные дни компенсировались днями передач, когда настроение в камере заметно повышалось*. Верная Александра Ивановна, получив от отца деньги, аккуратно снабжала меня продуктами, выстаивая по много часов в очередях перед окном, где принимали передачи. Моя комната оказалась опечатанной — взять оттуда нельзя было ничего. Поэтому Александра Ивановна купила мне

* В «Словаре камеры № 35» под буквою «П» значилось: «Передача — овеществленное отношение оставшихся на свободе к заключенным». — *Прим. автора.*

белье и полосатый фланелевый халат, в котором я и пребывала, надевая серое парижское платье лишь в торжественных случаях, например, когда представляла мадам Ван Гутен или когда меня вызывали на допрос.

Должна отдать справедливость, допросы, которых было два или три, велись вполне корректно. Следователь по фамилии Семеняго, рыжеватый белорус средних лет, по существу ни в чем меня не обвинял, а вел со мною собеседование на темы, затронутые при моем аресте, и в конце концов, по-видимому, убедился, что ни под какую статью меня подвести нельзя. С допросов я всегда приходила в спокойном состоянии духа, если не считать тяжелого впечатления от вида главного двора тюрьмы. Мы гуляли в сравнительно небольшом дворе, но по дороге к следователю в одном месте можно было увидеть широкое квадратное пространство, ограниченное четырьмя мрачными стенами с бесчисленным количеством висящих на окнах, наподобие осиных гнезд, наличников. Вид был неприятный!

Допросы Елены Яковлевны Мордовиной, с которой я наиболее близко сошлась, протекали более тяжело — она возвращалась в камеру очень подавленной; один раз ее даже принесли в обморочном состоянии. Елена Яковлевна, живая, остроумная женщина лет сорока пяти, по первому браку Дворжецкая, по второму Мордовина, была привлечена по так называемому «Уструговскому делу», представители которого были разбросаны по всем камерам, как мужским, так и женским.

Вот что я слышала по этому поводу. Семья Уструговых занимала большую квартиру на Таврической улице. Не знаю, были ли живы родители, но Елена Яковлевна называла хозяевами квартиры, которую она и ее муж «уплотняли», инженера Митю Устругова и его замужнюю сестру Алю Устругову. По-видимому, Уструговы вели открытый образ жизни — у них бывало много народа, — ели, пили, пели, непринужденно беседовали, читали стихи Мятлева (у Елены Яковлевны в тюрьме я узнала и выучила слова «Августейшей невидимки»). На допросах Елене Яковлевне ставилось в вину, что она вместе с Уструговыми пела песенки, сочиненные великими князьями (!).

Осенью 1934 года Дмитрий Устругов, имевший, по-видимому, большое влияние на своих друзей, был арестован и, так как находился в тюрьме во время убийства Кирова, погиб в числе заложников. Все, посещавшие их квартиру, были арестованы. В камерах нашего коридора находились Аля Устругова, высокая красивая дама, и ее знакомая m-me Филипп. По словам Елены Яковлевны, в мужском корпусе сидел приятель Дмитрия Устругова Успенский, который был не только внуком Глеба Успенского (сыном его дочери), но и сыном Бориса Савинкова. (Ввиду громкой фамилии отца, Успенский предпочитал носить литературную фамилию своей матери.)

Но я вижу, что мне пора оторваться от людей, хотя и значительных, но о которых я знаю только понаслышке, и перейти к описанию своих непосредственных впечатлений.

Недели через три после того, как я обосновалась в камере № 35, к нам привели молодую женщину, своим внешним видом и манерой себя держать отличавшуюся от всех нас. На ней было прекрасное кожаное пальто и шлем летчика, из-под которого свешивались две белокурые косы (по-видимому, при обыске у нее отобрали все шпильки, как это обычно делали). Вновь прибывшая с брезгливым выражением лица села на край скамейки, закурила хорошие папиросы и стала рассказывать, что она начальник управления северной авиации, попала к нам по недоразумению, но уже звонила прокурору и через полчаса вся эта глупая история выяснится. К нам она относилась с явным пренебрежением, но время шло, а «недоразумение не выяснялось», и я могла наблюдать, как постепенно вся эта спесь сходит на нет и на месте «ответственного работника» остается обыкновенная страдающая женщина.

Товарищ Преображенская (ее звали, кажется, Марина) кроме своей работы в авиации была членом обкома и ведала женским сектором. Если комсомолка-литературовед могла допускать какие-нибудь «лукавые мудрствования», то тут был сплошной «монолит» и полное отсутствие всяких мудрствований. Поэтому у нас Марина Преображенская получила название «дочери Иеффая». (Библейский старец Иеффай из каких-то высших побуждений

принес в жертву свою любимую дочь.) Насколько мы могли понять, Преображенская действительно страдала за чужие грехи — находившийся в ее подчинении летчик Голубев перемахнул за границу, и, хотя он вряд ли заранее сообщал о своем намерении по начальству, все его начальники, и большие и малые, попали за решетку. Чем кончилось дело «дочери Иеффая», я не знаю, потому что покинула камеру тогда, когда она, объявив голодовку, не ела уже восемь дней и не склонялась ни на какие увещевания.

В самом начале апреля (числа я не помню, но знаю, что эта была суббота 3-й недели Великого поста) я уже улеглась спать. Покрывшись маминым пальто и сунув нос в котиковый воротник, еще немного сохранивший запах парижских духов, я думала о том, что во всех церквах сейчас идет торжественная Всенощная с выносом креста, и вдруг услышала: «Аксакова! С вещами!» Вся камера пришла в движение. Вызов с вещами вечером был хорошим симптомом — на этап вызывали днем. Пока я собиралась, меня целовали, поздравляли, заваливали поручениями, но в коридоре уже стоял конвоир и кричал: «Давай, давай!» За пределами камеры ко мне присоединились еще несколько женщин; мы долго шли по каким-то переходам и наконец очутились в подвальном сводчатом помещении, где было много народа. Из толпы вышел очень милый старичок и сказал: «Прежде всего надо успокоить дам! — И, обращаясь к нам: — Не тревожьтесь, мы все сейчас выйдем на свободу!»

Когда я немного освоилась, в толпе увидела всех трех Львовых, приведенных из разных камер. Мы еще не знали, на каких правах мы здесь находимся и можем ли разговаривать, но Владимир ловким маневром сразу очутился возле меня.

Через некоторое время всех нас, и мужчин и женщин, стали вызывать к столу, где брали подписку о невыезде и обязывали явиться к 12 часам дня на следующий день за дальнейшими директивами. Это значило, что какое-то «продолжение будет следовать», но думать об этом не хотелось. Когда после всех формальностей нас выпустили наконец на Шпалерную улицу, Володя, предоставив

своим братьям идти, куда они хотят, подхватил меня под руку, забрал мой чемоданчик с вещами, и мы пошли по направлению к Неве.

Погода была тихая, туманная. Первое время мы ничего не говорили, мы только дышали этим свежим, влажным воздухом, от которого немного кружилась голова. Подойдя к Литейному мосту, мы сели на скамейку. Кругом была полнейшая тишина, фонари тускло мерцали сквозь туман. Володя обнял меня за плечи и сказал: «Ну что же, Таточка, давай поцелуемся!» Потом мы перешли мост, у Финляндского вокзала еще был открыт продовольственный магазин. Мы сосчитали, сколько у нас — у того и у другого — денег. Хватило на плитку шоколада, которую мы тут же разломили пополам и съели, после чего направились на улицу Красных Зорь. Тут оказалось, что на двери моей комнаты висит печать, войти нельзя, и мне пришлось ехать ночевать к Леонутовым на Бассейную. Володя отправился на Охту с тем, чтобы на следующее утро вместе со мною идти узнавать о нашей дальнейшей судьбе.

Придя на следующее утро уже с некоторым количеством денег в кармане, он решил, что перед Шпалерной нам надо хорошенько поесть. Мы направились в гостиницу «Северную» против Московского вокзала, заказали какой-то суп, мою любимую курицу с рисом, мороженое и бутылку вина и, подкрепившись, пошли в канцелярию ДПЗ, где узнали следующее: I. Львовы в числе одиннадцати человек — родители Сергей Евгеньевич и Зинаида Петровна, тетушка Мария Евгеньевна, Сергей Сергеевич с женой и двумя детьми, Юрий Сергеевич с женой и ребенком и Владимир Сергеевич — высылаются в город Куйбышев сроком на пять лет. II. Аксакова Татьяна Александровна высылается на тот же срок в город Саратов. На сборы дается три дня, после чего жилплощадь высланных поступает в распоряжение НКВД.

Паспортов нам не возвратили, а дали предписание явиться по месту высылки к такому-то (весьма близкому) числу. Ехать можно было за свой счет — неимущим предлагали передвижение по этапу. Мы были ошеломлены, но в окружающей нас толпе говорили, что мы можем считать себя счастливыми. Пока мы сидели в тюрьме,

первые партии высылаемых ленинградцев отправились в Северный Казахстан, Тургай, Челкар, Актюбинск — нам же досталось Поволжье.

Говорят, что Леонид Утесов отозвался на это мероприятие вариантом своей песни: «Сердце»:

Сердце, тебе не хочется Тургая,
Сердце, тебя не тянет на вокзал.
Мама! Как хорошо, что ты простая,
Спасибо, папа, что ты не генерал!

Но это был юмор, тогда как ликвидировать свою квартиру, то есть обставляющие ее вещи, в трехдневный срок — было драмой. При общей панике никто ничего не покупал, рояли «Бехштейн» шли по 250-300 рублей. Все знакомые находились — или могли находиться — в таком же положении.

Меня осенила мысль попросить одну мою заказчицу по вышивкам, бывшую замужем за литератором Стеничем (Сметаничем) и имевшую большую и довольно пустую квартиру в Чебоксарском переулке, против Перовской больницы, поставить к себе главную часть вещей. Она согласилась, и мебель была перевезена к Стеничам. Более мелкие вещи — картины, гравюры, фарфор и книги — взяла к себе Нина Адриановна.

Вспоминаю, что не проявляла в ту пору должной активности. После тюремного напряжения наступила реакция. Я лежала на кровати, а потом, когда ее унесли — на полу, в какой-то прострации. Укладывали, упаковывали, нанимали транспорт сплотившиеся вокруг меня дружественные силы в лице Александры Ивановны, Леонутовых, Иваненко и, конечно, Владимира Сергеевича, который не покидал меня во время разгрома. Только в день моего отъезда, когда комната опустела и вещи, идущие со мной в Саратов, были отправлены на вокзал, он переключился на ликвидацию жизни в Тайцах. Помню, что мы с ним расстались на Ситном рынке, где ему нужно было купить веревки и другой упаковочный материал. Простившись, он крикнул мне вслед: «Скоро увидимся!» Надежд на это было мало.

Но я забыла рассказать, каким образом с моей двери сняли печать и я вошла в свою комнату. Получив в ДПЗ путевку в Саратов, я заявила о желании попасть к себе домой, и тут увидела моего соседа по квартире, сотрудника НКВД, который предложил мне сесть с ним в машину и ехать на улицу Красных Зорь, где он своей правомочной рукой сорвал печать. Потом он исхлопотал мне один лишний день пребывания в Ленинграде. (В виде компенсации за эти любезности он сразу занял мою комнату, предоставив в фонд своего учреждения свою, которая была меньше и хуже.)

Когда дверь открыли и я вошла к себе, то увидела следы произведенного в мое отсутствие обыска. Книги лежали в беспорядке, из письменного стола исчезла вся переписка, многие альбомы и фотографии (в том числе прекрасный и единственный портрет Павлика Леонутова). То, что оставалось в 1935 году, столь же нелепо пропало в 1937-м, и теперь я принуждена писать свои воспоминания, надеясь только на свою память, правда, довольно хорошую.

Глава, в которой описывается, как и почему я покинула свой родимый город, подходит к концу, но прежде, чем приступить к изложению того, что меня ожидало в Саратове, я скажу несколько слов о моем кратковременном пребывании в Москве. Путевка НКВД давала мне возможность задержаться там на три дня, и я решила (поскольку мне уже нечего было терять!) совершить смелый поступок и зайти к старинным знакомым моей семьи Альфанам*. Посол Франции занимал особняк в Померанцевском переулке и, когда я вручила швейцару карточку с моим именем, встретил меня на площадке лестницы с распростертыми объятиями и возгласом: «Enfin, vous voila!» Я предполагала, что мама засыпает его тревожными письмами и теперь будет рада узнать от очевидцев о моем здравии и бодром настроении.

У месье Альфана была высокая, представительная фигура, умное лицо и истинно французская любезность. Его жены во время моего первого визита не было дома,

---

* По существу, особой «смелости» для этого не требовалось. Charles Alphand был сторонником франко-советской дружбы и пользовался престижем в правительственных кругах. — *Прим. автора.*

и мне пришлось дать слово, что на следующий день я приду к обеду. Сидя за столом, украшенном севрскими вазами с живыми цветами (меня поразило, что, согласно новой моде, на отполированном до блеска столе не было скатерти, а под каждой тарелкой лежала отдельная кружевная салфеточка), я вспоминала поговорку: «День на день не приходится». Меню обеда тоже значительно отличалось от того, что нам подавали в ДПЗ, — суп «Joie du prisonnier» на первое и «Petits poissons vierges» на второе*. Рыбки были *vierges* потому, что ни одна рука к ним не прикасалась, чтобы их выпотрошить.

За столом я оказалась в центре всеобщего внимания: пили за мое здоровье, выражали надежду, что я недолго пробуду в Саратове, вспоминали тетку хозяина дома m-me Barriquand, у которой я гостила в Ментоне, будучи девочкой, и его кузин — барышень де Жерюс.

Прощаясь с Альфанами, я попросила передать Диме кольцо с аксаковским гербом, которое я давно перестала носить, а маме и Татьянке — последнюю открытку Шурика, несколько сохранившихся его фотографий и лицейскую портупею с написанными на ней именами его товарищей по 71-му курсу.

На следующий день Борис усадил меня на Павелецком вокзале в вагон с надписью «Москва — Саратов». Открылась новая страница моей жизни, речь о которой пойдет в следующей главе.

---

* «Радость заключенного» и «Маленькие девственные рыбки».

В Саратове

Дворяне шумною толпой
По Эсэсэрии кочуют...

Весною 1935 года на улицах Саратова можно было видеть группу прилично одетых людей, с мужеством отчаяния стучавшихся во все ворота в поисках квартиры. Это были высланные ленинградцы. Так как селиться в коммунальных домах им, не имеющим обычных паспортов, было запрещено, они искали пристанища на окраинах, в поселках с маленькими, частновладельческими домами.

Бывали случаи, когда на стук выходили хозяева, говорили, что квартиры не сдают, но, видя огорченные лица, добавляли: «Спросите у шабров!» Неопытные ленинградцы усердно искали по улице дом Шабровых, пока не узнавали, что слово «шабры» на местном наречии означает «соседи».

В конце концов, платя безумные цены за жалкие лачуги, все как-то разместились и многие перезнакомились. Знакомства происходили главным образом в трех местах: в комендатуре НКВД, где ленинградцы обменивали путевки на карточки желтоватого цвета и потом три раза в месяц эти карточки регистрировали; на главном почтамте, где получали письма и денежные переводы «до востребования», и в столовой Дома ученых — где они питались (пока были деньги). Дом ученых помещался на главной улице, в доме дедушки моей *belle-soeur* Татьяны Николаевны — Нессельроде. Столовую, ввиду наплыва приезжей публики и наступления тепла, устроили в одном из дворовых помещений, не то в сарае, не то в гараже.

Устроиться на службу ленинградцам (за исключением специалистов высшей марки, как, например, профессора Скобельцын и Орлов) было очень трудно. Встречали их любезно, но как только узнавали, что они «репрессированные», им столь же любезно отказывали. В лучшем

положении находились люди, у которых в руках было какое-нибудь «ремесло».

В Саратове оказался известный ленинградский или, вернее, петербургский зубной врач Юргенс (медная дощечка с его именем долгие годы красовалась на улице Гоголя). В ДПЗ я познакомилась с женой его старшего сына, впоследствии высланной в Архангельск; старик же Юргенс попал в Саратов со своим вторым сыном и его многочисленной семьей.

Усольцева, умевшая шить модные мягкие корсеты, открыла мастерскую под смехотворным названием «Ленинградская мастерская художественного оформления женской фигуры» и имела несомненный успех. Дочь m-me Рындиной, учившаяся в хореографической школе при Мариинском театре, поступила в балетную труппу театра Чернышевского, а обретенные мною в Саратове брат и сестра Ланские (Варенька училась в Дворянском институте вместе с Лялей Запольской, а ее брата Николая Михайловича я встречала на московских вечерах) рисовали прелестные миниатюры с видами Ленинграда. Окантованные под стеклом, эти рисунки охотно раскупались.

В качестве лиц, обладавших скорее ремеслом, чем специальностью, я назову двух барменш — Музу из «Астории» и Марго из гостиницы «Европейской». Эти молодые особы, по-видимому, попали в ссылку за «связь с иностранцами», которым они готовили коктейли. Марго была грузной двадцатилетней армянкой, добродушной и очень глупой. Муза представляла полную ей противоположность: довольно элегантная блондинка, она обладала красивыми голубыми глазами, выдающимся вперед носом (за что была прозвана «стерлядкой») и привлекала взоры мужчин, обедавших в столовой Дома ученых. Это было очень кстати: в Саратове не было ни баров, ни коктейлей и Муза и Марго стремились заручиться «мужской поддержкой».

Теперь, кратко обрисовав общие условия, в которые попали высланные ленинградцы, я могу перейти к себе лично.

Первую по приезде в Саратов ночь мне пришлось просидеть на вокзале. На второй день в комендатуре НКВД

я встретила пожилую ленинградку пани Адамович, особу словоохотливую и отзывчивую, которая приняла во мне участие. Живя в железнодорожном поселке, отделенном от вокзала висящим над путями мостом, эта дама устроила меня по соседству с собой у преисполненной претензий польки пани Виктории, коренной жительницы Саратова. Имея крышу над головой, я уже могла искать что-нибудь более подходящее, и в середине лета мне удалось занять более приятную комнату в том же поселке, на углу улиц Ленина и Большой Садовой, у людей, с которыми я делила и горе, и радость в течение двух лет моего пребывания в Саратове.

Хозяин дома Дмитрий Никитич Спирин был слесарем железнодорожных мастерских и внешне напоминал рабочего с плаката: высокий, жилистый, с несколько изможденным и перепачканным угольной пылью лицом. Характер соответствовал внешнему виду и был довольно мрачный, но меня это не затрагивало, во-первых, потому что лично ко мне хозяин относился очень хорошо, а, во-вторых, потому что главную роль в доме играла его жена Надежда Прокофьевна, полная добродушная женщина лет пятидесяти. За Спирина она вышла (на свое несчастье) сравнительно недавно, но у нее были взрослые дети от первого мужа по фамилии Михайловские, и среди них старший сын-хирург.

Я часто задавала себе вопрос, из какой семьи происходит Надежда Прокофьевна, у которой в добавление к природной доброте имелась несвойственная мещанской среде широта взглядов. И вот, в ходе разговоров, выяснилось, что дед Надежды Прокофьевны по фамилии Ольшанский служил фельдфебелем в одном из гвардейских полков, так что детство моей хозяйки протекало в казармах, «на одной из прилегающих к Неве улиц». Ей также были хорошо известны окрестности Петербурга, о которых она с восторгом вспоминала.

Мои догадки о не совсем обычных истоках семьи Надежды Прокофьевны уже получили некоторое обоснование, как вдруг я снова была сбита с толку, услышав, как Спирин в пылу ссоры попрекает жену «еврейским происхождением». Я, может быть, и до сих пор была бы в недоумении, стараясь «совместить несовместимое», но,

читая «Пятьдесят лет в строю» Игнатьева, напала на место, имеющее прямое отношение к интересовавшему меня в Саратове вопросу.

Вот что пишет Алексей Алексеевич: «На одном из моих дежурств по полку ко мне прибежал дежурный унтер-офицер и с волнением в голосе доложил: “Александр Иванович померли!” Александром Ивановичем все, от рядового до командира полка, величали старого бородатого фельдфебеля, что стоял часами у ворот, исправно отдавая честь всем проходящим. Откуда же пришел к нам Александр Иванович? Оказалось, что в начале 70-х годов печи в полку неимоверно дымили и никто не мог с ними справиться. Как-то Военный округ прислал печника, специалиста из еврейских кантонистов, Ольшанского. При нем печи исправно горели. Все это твердо знали и, в обход всех правил и законов, задерживали Ольшанского в полку, дав ему мундир, звания и отличия за сверхсрочную "беспорочную" службу.

И вот его не стало. Унтер-офицер привел меня в один из жилых корпусов еще елизаветинской постройки, где в светлом подвальном помещении под сводами оказалась квартира Александра Ивановича. Он лежал в полковом мундире на составленных столах. Его сыновья, служившие уже на сверхсрочной службе — один трубачом, другой писарем, третий портным, — горько плакали.

Я никак не мог предполагать того, что произошло в ближайшие часы. К полковым воротам подъезжали роскошные сани и кареты, из которых выходили нарядные дамы в мехах и солидные господа в цилиндрах. Все они пробирались к подвалу, где лежало тело А.И. Оказалось — и это никому из нас не могло прийти в голову, — что фельдфебель Ольшанский много лет стоял во главе петербургской еврейской общины.

На следующее утро состоялся вынос тела, и мне поручили организовать церемонию в большом полковом манеже. Кроме всего еврейского Петербурга к полудню сюда съехались не только все наличные офицеры полка, но и многие старые кавалергарды во главе со всеми бывшими командирами полка. В числе последних был и мой отец, состоявший тогда уже членом Государственного совета.

Воинский устав требовал, чтобы на похоронах всякого военнослужащего, независимо от чина и звания, все военные присутствовали в полной парадной форме, и поэтому всем пришлось надеть белые колеты, ленты, ордена и каски с орлами. У гроба Александра Ивановича аристократический военный мир смешался с еврейским торгово-финансовым, а гвардейские солдаты — со скромными ремесленниками-евреями. После речи раввина гроб старого кантониста подняли шесть бывших командиров полка, а на улицах отдавал воинские почести взвод под командою вахмистра — как равного по званию — при хоре полковых трубачей».

Случай, описанный Игнатьевым, настолько интересен сам по себе, что никто, я надеюсь, не поставит мне в вину этот экскурс в генеалогическое прошлое моей хозяйки Надежды Прокофьевны Спириной, урожденной Ольшанской, по-видимому, внучки Александра Ивановича.

Но возвращаюсь к Саратову и от предков моей хозяйки перехожу к ее потомкам. Старший сын, как я уже говорила, был хирургом и работал на станции Шарья Северной железной дороги, затем шла дочь Женя (замужем за председателем Балашевского горсовета) и 16-летний Валя, рослый, тихий и не очень способный мальчик, часто приносивший из школы двойки. В таких случаях его мать, обладавшая, несмотря на природное добродушие, вспыльчивым характером, набрасывалась на него со словами «У, арестант несчастный!».

Желая разрядить обстановку, как-то раз я, сохраняя самый серьезный вид, сказала: «Надежда Прокофьевна, из всех присутствующих я одна имею право на это название, так как прибыла к вам прямо из тюрьмы, а к Вале оно совсем не подходит!» Надежда Прокофьевна остолбенела. Как сейчас вижу ее выпученные глаза: по-видимому, я никак не подходила под ее представление об «арестантах». Тут я рассмеялась и предложила заниматься с Валей немецким языком.

От времени до времени «к теще на блины» на собственной (вернее, казенной) машине приезжал председатель Балашевского горсовета с женой и пятилетним ребенком. Это был еще молодой, но уже отяжелевший «ответственный работник», относящийся к окружающим

благосклонно, но давая чувствовать свое превосходство. В такие дни Надежда Прокофьевна сбивалась с ног, стараясь всех обслужить, накормить и предотвратить возможные конфликты между «ответственным» Костей и не признающим никаких «ответственных» Дмитрием Степановичем. Обычно ей это удавалось.

Тонкая стена отделяла меня от моих хозяев, и потому я невольно принимала участие в их жизни, а они — в моей. Поскольку между нами сразу установились хорошие отношения, это участие было не назойливым, а приятным.

Занимаемая мною комната в 10 кв.м. имела два окна. Одно из них выходило на улицу, упирающуюся в вокзал, из другого открывался вид на голые возвышенности, дугообразно охватывающие Саратов. На вершине одного из холмов вырисовывалась старая заброшенная каменоломня. Мебель вся была хозяйская и состояла из широкой кровати, шкафа, большого зеркала и двух столов. Перед одним из них в виде дивана стоял покрытый ковром сундук, на другом столе находилось мое орудие производства — привезенная из Ленинграда швейная машинка. Убожество обстановки скрашивалось занавесками из маминого кабинета в Попелеве, диванными подушками, портретами (среди которых была миниатюра работы Боровиковского) и целым рядом памятных мне мелочей. (В Саратов, между прочим, приехали два венецианских бронзовых голубя и так называемая «львиная мордочка» — бронзовый барельеф в 20 кв. см, в давние времена отпавший от одного из малахитовых обелисков, стоявших на Моховой в комнате Шурика. Теперь эти обелиски находятся в Русском музее, и одного барельефа с львиной головой на них не хватает.)

Острой материальной нужды в Саратове я не испытывала и этим обязана, главным образом, маме, от которой снова потянулась помощь в виде переводов на Торгсин и двух посылок с вещами и материалами для вышивок через Альфана. В письмах, которые приходили довольно регулярно, она присылала мне выкройки, рисунки и чертежи платьев, и я, конечно, не сидела сложа руки, стараясь свести концы с концами.

В одной из предыдущих глав я рассказывала о жене профессора Попова, пришедшей ко мне с заказом на вышивку и таинственно сообщившей, что среди высланных есть особо важные люди, имевшие свои станции. «Вы знаете станцию Сиверскую под Ленинградом? Так вот, я слышала, что Сиверская сама здесь!» Профессорша не очень поверила, когда я сказала, что молва, по-видимому, имеет в виду меня. А я добавила, что Ланские, у которых она покупает акварельные виды Ленинграда, тоже — «станция»*.

В Куйбышеве, насколько я могла судить по письмам Владимира Сергеевича, происходило то же, что и в Саратове: поиски квартир, поиски работы, отметки в НКВД и знакомства на этой почве с товарищами по несчастью. Я должна, однако, признать, что в письмах, приходивших не реже двух раз в неделю, было больше лирики, чем описания окружающей обстановки, и по содержанию они напоминали те, которые я получала пять лет назад в Алма-Ате.

В середине лета я поняла, что Володя собирается сделать рискованный шаг и приехать ко мне на несколько дней. Писать об этом открыто было нельзя — наши письма, несомненно, читались, а выезд за пределы назначенного города карался пятью годами заключения. Надо было соблюдать строгую конспирацию и никак не писать о предполагаемой дате приезда.

И вот однажды на рассвете стукнула калитка и я проснулась от чьих-то поспешных шагов. Открыв глаза, я им не поверила: в дверях стоял Володя Львов. Через мгновение он, прижав к груди мою голову, целовал мне лицо, руки, плечи и говорил: «Ну вот, Таточка, мы снова вместе! Какое счастье!» Три дня, проведенные им на нелегальном положении в Саратове, были действительно счастьем, и последним счастьем, так как все, что было потом, оказалось много хуже! Но не буду забегать вперед!

В городе показываться мы не рисковали, а совершали прогулки в окрестностях, ведя долгие беседы о прошлом, настоящем и даже будущем, поскольку мы написали

* Под Ленинградом имеется станция «Ланская». — *Прим. автора.*

официальное заявление в Московское НКВД, в котором «Татьяна Александровна Аксакова и Владимир Сергеевич Львов, ввиду их предполагаемого бракосочетания, ходатайствуют о переводе последнего из Куйбышева в Саратов». Это заявление мы оба подписали и отправили Анне Ильиничне с просьбою передать Екатерине Павловне Пешковой для дальнейшего продвижения. Накануне Володиного отъезда, на закате, мы сидели около той заброшенной каменоломни, которая видна была из моего окна. Под нами расстилался весь город, за ним поблескивала Волга и уходил за горизонт ее левый берег. Постепенно очертания стали неясными, наступили сумерки, какие-то птички с криком стали возвращаться в свои вырытые в земле гнезда, а мы всё сидели, обнявшись, на бревне и опять, как некогда на Охтинском кладбище, нам казалось невозможным, чтобы наши могилы когда-нибудь были разбросаны по белу свету.

Для того чтобы Володя не появлялся лишний раз на пристани, на следующий день я заранее взяла ему билет третьего класса на пароход, идущий вверх по Волге. Стараясь не привлечь внимания, мы пришли за час до отплытия и уселись в самом укромном месте нижней палубы. На реке горели красные и зеленые сигнальные огни, и все «саратовские страдания» не могли бы выразить нашей грусти.

Последующая зима прошла в напряженном ожидании ответа на наше заявление и в самой интенсивной переписке. Кипа писем, курсировавших между Куйбышевым и Саратовом, забранная в 1937 году в НКВД, могла бы послужить материалом к сентиментальному роману в духе «Новой Элоизы». Среди лирической прозы встречались стихотворные фрагменты. Так, Володя написал стихи, посвященные вечеру на развалинах саратовской каменоломни, я же, получив от Ланских в подарок акварель с видом Исаакиевского собора, предалась воспоминаниям о восхождении на его купол весною 1930 года.

Решаюсь привести эти строки, несмотря на их посредственное качество, только потому, что о них шла речь в главе «На Мойке»:

Мы осторожно подымались
По узким кружевным ступеням.
Собора стены озарялись
Закатом розово-весенним.

Все выше, выше шли ступени,
Обвив гранитную колонну;
Внизу, меж царственных строений
Нева катилась к небосклону.

Ты шел за мной, и страх в веселье
Переключался сам собою.
Хоть в небесах, хоть в подземелье,
Но только... только быть с тобою!

(Слово «подземелье» возникло, вероятно, по ассоциации со сводчатыми подвалами ДПЗ!)

Всю зиму Владимир Сергеевич обивал пороги Куйбышевского НКВД, узнавая, не пришел ли его перевод, причем родных не ставил в известность о своих намерениях. Скрыть от них поездки в Саратов он, видимо, не смог, и родственники насторожились. Но, прежде чем перейти к описанию того, чем все это дело кончилось, хочу упомянуть о переменах, происшедших за это время в моей семье — как в России, так и во Франции.

Дима, учась три года в парижской *Ecole Violet*, жил в интернате, а праздничные дни проводил у мамы. В каникулярное время он обычно поступал слесарем по металлу на завод авиационных моторов, предпочитая ночную смену, когда труд оплачивался дороже, а затем на заработанные деньги ездил отдыхать на Ривьеру.

Когда минули студенческие годы, и диплом инженера был уже в руках, пришлось отбывать воинскую повинность во французских войсках — первый год в Алжире. В Саратове я получила фотографию, на которой Дима изображен стоящим в военной форме на балконе высокого здания, по-видимому, казармы: внизу расстилается панорама залитого солнцем города с плоскими крышами. Через год он прекрасно, как писала мама, выдержал экзамен в Версальскую офицерскую школу, прошел туда по конкурсу и перед началом занятий

принял участие в экскурсии на Марну, во время которой преподаватели на месте объясняли курсантам ход знаменитых боев 1914—1918 годов.

Это было последнее известие, которое я получила — наступившие в 1937 году события оторвали меня почти от всего мира.

Не менее значительные перемены произошли за этот период и в жизни моего отца. На новый, 1936 год я получила ошеломившее, но еще более обрадовавшее меня известие, что 25 октября прошлого года он «записался» в ЗАГСе с Ольгой Геннадиевной Шереметевой, вдовой Бориса Борисовича. Это решение возникло на почве дружбы и общности интересов. Работая над разбором пушкинских архивов и декабристским бюллетенем, Ольга Геннадиевна обратилась к отцу в Ворогово за какой-то справкой — и завязалась переписка.

Личное знакомство произошло осенью 1933 года. Живя во Владимире, отец иногда приезжал в Москву по делам журнала «Литературное наследство», сотрудником которого состоял (по договорам), и однажды зашел в Шереметевский переулок. В дверях он встретился с выходившей из дома Ольгой Геннадиевной. В одном из последующих писем отец ей пишет: «Прошел год нашего личного знакомства. Важно то, что мы столкнулись с Вами в дверях. Не застав Вас, я, вероятно, вряд ли зашел бы во второй раз, и мы могли так с Вами и не познакомиться».

Ольга Геннадиевна жила с матерью Натальей Александровной Чубаровой и четырьмя детьми (уже взрослыми) в части своей бывшей квартиры во дворе особняка графа Сергея Дмитриевича. Ее решение связать свою жизнь с жизнью моего отца не встретило никаких препятствий со стороны родных. Отличавшаяся необычайной добротой Наталья Александровна Чубарова (урожденная Хомутова) всю свою жизнь прожила в Нижнем Новгороде и хорошо помнила, как студент Саша Сиверс приезжал на каникулы к родителям. Таким образом, корни отношений терялись в глубине если не веков, то многих десятилетий и покоились на полном взаимоуважении.

Плохо было другое: даже после того, как отец прожил положенные ему три года во Владимире, на его

паспорте оставалась роковая отметка: «выдан на основе § 39». Ни Москва, ни ее 100-километровая зона людей такого рода не прописывали, и отец, даже после того как «зарегистрировался в ЗАГСе», был обречен на кочевой образ жизни между Можайском, где был прописан у своей сестры Елизаветы Александровны, и Шереметевским переулком. Это было тем более нелепо, что многие научные учреждения, как манны с неба, ждали его приезда, чтобы получить консультацию, и мечтали иметь его в качестве постоянного сотрудника. Но шли суровые 30-е годы!

Само собой разумеется, что весть о папиной женитьбе была мною воспринята с радостью. После всех испытаний, после сибирского и владимирского одиночества отец попадал в знакомое мне с детства и предельно «доброкачественное» окружение (если только такой термин может быть применен к понятиям морального плана!).

Теперь несколько слов о моих новых саратовских знакомых. Одновременно со мной из Ленинграда были высланы Степан Александрович Обольянинов и его жена, носившая фамилию Дезор. Это были милые и несколько своеобразные люди; своеобразие их заключалось в том, что они были энтузиасты-собачники. В Ленинграде им принадлежали единственные уцелевшие чистокровные борзые, получившие призы на выставках и игравшие в фильмах с охотничьими кадрами. Так, обольяниновские собаки, во главе с медалистом Армавиром, фигурировали в качестве троекуровской своры в кинокартине «Дубровский». В ленинградском ТЮЗе Армавир преследовал убегающую через окно Элизу в постановке «Хижина дяди Тома».

Оставленные весною 1935 года у ленинградских знакомых, собаки стали мало-помалу появляться в Саратове. Обольяниновы могли себе во всем отказывать, но расстаться с Армавиром или Голубкой было выше их сил.

Такое собаколюбие находило сочувственный отзвук в моей душе. Затем выяснилось, что Степан Александрович, хотя и был моложе моего брата, но помнил его по лицею. Кроме того, ближайшим другом Обольяниновых был Александр Александрович Мезенцев, бывший конно-гренадер, знакомый Шурика и Татьяны. Знаток

лошадей и собак, Мезенцев избежал высылки 1935 года только потому, что воспринял эту чашу ранее и находился вдали от Ленинграда. Вместо него была выслана в Уфу его мать Мария Александровна, милейшая дама, которую я встречала у Аствацатуровых. (Пишу о Мезенцеве потому, что он еще появится, хотя и эпизодически, на страницах моих воспоминаний.)

Пробыв более года без работы, Степан Александрович Обольянинов был принят на работу в отдел краеведения как знаток животного мира и получил задание насадить енотов в лесах восточной части Саратовской области. Не знаю, успел ли он выполнить задание до осени 1937 года; если нет, то можно предполагать, что еноты в саратовских лесах так и не водятся.

Однажды, нуждаясь в деньгах, Обольянинов решил продать принадлежавшие его матери золотые часы *Longines*. Я как раз в это время получила 500 рублей за проданную в Ленинграде аладинскую кровать красного дерева и их купила. Упоминаю об этом потому, что эти часы будут иметь в дальнейшем свою историю.

Чтобы исчерпать список моих саратовских знакомых того времени, назову Евгения Павловича Германова, довольно неказистого с виду, но неглупого и начитанного человека, бывшего правоведа, который находился в одной камере с Владимиром Сергеевичем в Ленинградском ДПЗ. Володя познакомил меня с ним на Шпалерной и, когда выяснилось, что мы с Германовым едем в один город, просил оказывать мне помощь и содействие. Большой помощи Германов оказывать (при всем желании) не мог, так как, будучи высланным со старушкой-матерью, сам находился в трудном положении. Однако, верный данному обещанию, он иногда заходил ко мне, предлагал услуги и забавлял своими суждениями. На положение высланных Германов смотрел мрачно: наняв комнату на улице, которая одним концом упиралась в тюрьму, а другим — в кладбище, он говорил, что живет «на стыке тюремно-трупарных путей», и считал это за плохое предзнаменование.

Зима 1935—1936 годов тянулась для меня бесконечно долго — два раза в месяц я ходила отмечаться в НКВД, в остальные дни вышивала, шила платья, плела бисерные

цепочки, занималась немецким языком с хозяйским сыном, а главное, ждала писем — из Куйбышева, из Парижа, из Москвы. И вот наконец в начале марта пришла телеграмма: «Получил разрешение Верховного Прокурора переселиться в Саратов. Счастлив, поздравляю, целую — Володя». Я, конечно, возликовала, а со мною хозяева, которые были очарованы Владимиром Сергеевичем со времени его приезда осенью. Последующие письма, однако, привели меня в замешательство: я поняла, что в Куйбышеве не все благополучно и несчастный Владимир попал «в переделку».

Случилось же вот что: получив бумагу от прокурора, он объявил родителям о своем отъезде. Поднялось нечто невообразимое. «Ты убиваешь свою мать!» «Львовы на разводках не женятся!» «Никогда нашего благословения не дадим!» и т.п. Выдержав первый натиск, Володя с бумагой от Верховного прокурора в руках бросился в НКВД, чтобы поскорее уехать, но там ему преспокойно ответили, что прокурор им не закон и пока они не получат распоряжения от своего непосредственного начальства, они его не выпустят.

Распоряжение это шло более месяца, и по письмам я могла судить о том воздействии в духе Домостроя, которым подвергался на протяжении этого срока непокорный сын. Первые Володины письма были сравнительно спокойны — он даже не лишился чувства юмора и писал: «Вообрази себе! Мои родители решили "воевать в Лиге Наций" и поручили моим парижским сестрам послать мне увещевательное письмо». Постепенно напряжение росло. Не объясняя толком, в чем дело, Володя мне писал: «Я сейчас скажу страшную вещь. Я не люблю своего отца!» (Последние слова были подчеркнуты). Позднее пошли признания: «Минутами мне бывает впору в Волгу броситься».

Наконец 10 апреля в НКВД получили распоряжение о переводе Львова В.С. из Куйбышева в Саратов, и тут доведенный до неврастении Львов В.С. совершил позорный шаг, о котором я узнала много позднее: под давлением родителей он пошел в НКВД и спросил, нельзя ли ему остаться в Куйбышеве. На это ему вполне резонно ответили: «Вот что, молодой человек! Всю зиму

вы нам покою не давали и просились в Саратов, так будьте любезны, туда и отправляйтесь!»

Повторяю, я ничего не знала о куйбышевском демарше, который нельзя назвать иначе, как предательством, когда 18 апреля, при отвратительной погоде с ветром и мокрым снегом, встречала его на Саратовском вокзале. С первого взгляда я заметила изможденный вид, и мне потребовалось не так много времени, чтобы понять, что и душевное равновесие его нарушено. Бурные приливы нежности чередовались с какой-то странной отчужденностью — началась та достоевщина, которая превратила нашу совместную жизнь в доме Спириных на окраине Саратова в самый мучительный период моей жизни.

Сначала я относилась к рассказам о родительских увещеваниях сравнительно спокойно и даже воспринимала их с комической стороны. Мне приходило на ум, что нечто подобное происходило в Виндзорском замке, когда королевская семья и парламент воспротивились женитьбе Эдуарда VIII на госпоже Симпсон. Но тут были всякие политические причины — когда же обогатившийся за счет Всеволожских Сергей Евгеньевич Львов и его жена-поповна налагали *veto* на брак их сына с дочерью Александра Александровича Сиверса — это было уже просто смешно! Я не высказывала подобных мыслей во всей их резкости, но пример Эдуарда, положившего английскую корону к ногам любимой женщины, был, несомненно, приведен.

Когда же мало-помалу начали выясняться подробности Володиного поведения в Куйбышеве, мне стало не до шуток — возникали другие, более серьезные сопоставления. Мне вспоминалось, как аналогичная «увещевательная машина» разбилась о благородную стойкость Николая Борисовича Шереметева при его женитьбе на маме. И это было во времена незыблемых устоев Российской империи. В 1936 году противостоять натискам Домостроя было гораздо легче; и все же я чувствовала, что Володя о чем-то недоговаривает.

Лишь месяца через два после его приезда мне удалось толком узнать, что произошло в Куйбышеве. Среди горьких рыданий Владимир Сергеевич признался, что дал родителям клятвенное обещание не венчаться со мной

в церкви. Тут для меня помутился белый свет! Если практически это особого значения не имело (церковно я не была разведена с Борисом), то морально поступок его равнялся отречению и предательству.

Моим первым движением было написать отцу. От него я получила краткий, но определенный совет. Привожу его дословно. Отец писал по-французски: «Моя дорогая! В данной ситуации есть только один выход — указать этому господину на дверь!» Последовать этой рекомендации в быстрой и категорической форме мне не пришлось, так как я тут же сильно заболела сначала ангиной, а потом эндокардитом, и «роман с печальным концом» агонизировал еще полгода или, вернее, даже полтора года, то есть до наступления событий, которые стерли обиды и сделали ненужными все счеты. Можно ли признать эти события за «искупление» — я не знаю: вопрос слишком сложный!

Лето 1936 года в Саратове было невероятно жарким — температура днем поднималась до 55 градусов, но я каким-то образом получила ангину. «С горя» заболевают только в книгах, и потому я была очень удивлена, когда, после того как ангина, которой я не придала большого значения, прошла, я почувствовала, что со мной делается что-то неладное. Весь день я лежала в какой-то прострации, не имея сил двинуть ни рукой, ни ногой, в то время как сердце отбивало 120 ударов в минуту. В таком состоянии меня застала местный врач Гордеева, пришедшая по поводу вышивальных дел, забрала меня в больницу, и только длительное применение дигиталиса поставило меня на ноги.

Во время моей болезни я много думала о трещине, столь неожиданно происшедшей в моих отношениях с Владимиром Сергеевичем, и старалась объяснить себе, как это могло случиться. Тут мне стали неизменно приходить на ум слова Бориса Годунова из трилогии А.К.Толстого. Я имею в виду монолог, начинающийся словами: «Высокая гора был царь Иван». Переходя к характеристике Федора Иоанновича, Годунов говорит:

Царь Федор не таков. Его бы мог
Скорей сравнить с провалом в чистом поле.
Расселины и рыхлая окрестность
Цветущею травою скрыты — но
Вблизи от них бродя неосторожно,
Скользит в обрыв и стадо, и пастух.

Трещина между тем не сглаживалась, а расширялась — я стала замечать, что Владимир Сергеевич ходит на почту и получает письма, которых мне не показывает. Однажды, будучи еще совсем больной, я не выдержала и обратилась к нему с самыми оскорбительными словами, которые только можно произнести: «То, что ты задумал сделать, делай скорей»*. Владимир Сергеевич побледнел как полотно, закрыл лицо руками и промолвил: «Татьяна, ты сейчас сказала очень страшную вещь!»

До сих пор мне неясно, какими путями эти люди добились раздвоения его воли, но, так как я своими глазами видела, каких страданий стоило ему это раздвоение, то утверждаю, что «непрошеные благодетели» поступили с ним очень жестоко.

Наконец, в конце октября, когда мы оба были достаточно измучены, обещанный родителям Львовым разрыв осуществился. Владимир Сергеевич ликвидировал мастерскую карборундовых точильных кругов, которую он, по приезде, устроил в спиринском сарае (и которая, кстати говоря, себя не оправдала), поступил на работу в какую-то артель и снял комнату в центре города — где, я не знаю, так как никогда там не бывала.

Это не значило, однако, что он забыл дорогу в дом Спирина. Под тем или иным предлогом он заходил ко мне — я же не всегда имела силу воли «указать этому господину на дверь», так как в глубине души его жалела, а может быть, еще и любила. Но если в Куйбышеве поведение Владимира Сергеевича могло рассматриваться, как возвращение на путь добродетели и повиновение родительской воле, то в Саратове оно вызвало всеобщее возмущение. Вспоминаю такой случай: в конце 1936 года, отбыв ссылку и похоронив в Уфе мать, в Саратов приехал Александр Александрович Мезенцев. По всей

---

* Слова Христа Иуде во время Тайной Вечери. — *Прим. автора.*

вероятности, Обольяниновы поставили его в курс моих дел, потому что, зайдя ко мне и застав там мирно сидящего Владимира Львова, он бросил на меня укоризненный взгляд и ушел, не подав ему руки.

Насколько я могла судить, зимою 1936—1937 годов Владимир Сергеевич стал пить, чего с ним раньше никогда не бывало; несколько раз он приходил ко мне в повышенно-покаянном настроении, и это выводило меня из равновесия. Один раз мой хозяин Спирин даже захлопнул перед ним калитку и сказал: «Нечего Вам у Татьяны Александровны делать!»

В тех сентиментальных романах, в которых героини заболевают с горя, они (если не умирают) отправляются в прекрасные места, на теплые моря и там залечивают свои сердечные раны. Я была лишена такой возможности. Как бабочка, приколотая булавкой к определенному месту, я не имела права переступить черты города Саратова, поехать повидаться с отцом и должна была пережить свой провал в трясину на том самом поле, где шла по цветущей траве!

Большую поддержку в это тяжелое время мне оказали люди, проявившие дружеское внимание. В первую очередь назову живших поблизости от меня Ланских, молодую пианистку Нельговскую и Александру Ивановну Скобельцыну.

Вареньку Ланскую я помню с тех пор, как она в белой пелеринке с рукавчиками вместе с Лялей Запольской проходила по залам Дворянского института. Потом я ее потеряла из виду и, живя в Ленинграде, не подозревала, что тут же, на Фурштадтской, живут Ланские. Варенька за это время вышла замуж за обрусевшего француза Юрия Альфредовича Тьебо. Ее неженатый брат Николай Михайлович жил тут же, и центром этого дружного семейства была Варина дочь — Наденька Тьебо. Когда все четверо оказались в Саратове, волею судеб они поселились недалеко от меня, в полуразвалившейся хибарке, за которую платили очень дорого и которая служила им квартирой и мастерской.

Юрий Альфредович, будучи и художником, и музыкантом, нашел применение своим талантам: днем он

рисовал миниатюры с видами Ленинграда, а вечером играл на фортепьяно в балетных и спортивных кружках. Николай Михайлович, не покладая рук, окантовывал рисунки своего *beau-frere*'а под стекло, а Варенька всех кормила, обшивала и обстирывала. Среди довольно убогой обстановки их жилища выделялось взятое напрокат по очень высокой цене пианино. Инструмент был нужен и Юрию Альфредовичу, и Наденьке, которая проявляла способности к музыке и училась в музыкальной школе. В саратовскую эпоху ей было лет тринадцать, это была высокая, худенькая, темноглазая девочка с умным, замкнутым, унаследованным от отца лицом.

Что же касается брата и сестры Ланских, то их лица и их обращение с людьми были исполнены необычайной доброты и благожелательности — все, кто с ними соприкасался, неизменно говорили: «Какие прекрасные люди!»

Бывали случаи, когда во время моей болезни Владимир Сергеевич, поцеловав мне руку, спокойно уходил играть в теннис, а Варенька сидела у моей постели. Но еще лучше бывали вечера в их хибарке, когда брат и сестра Ланские брали гитары и дуэтом пели цыганские романсы времен нашей юности!

Через Ланских я познакомилась со Скобельцыными, которые принадлежали к привилегированному слою высланных ленинградцев. Юрий Владимирович Скобельцын был сыном известного ректора Ленинградского Политехнического института и братом не менее известного уже тогда профессора Дмитрия Владимировича Скобельцына (ныне академика).

В те дни, когда мы все, не имея твердого пристанища, обедали в Доме ученых (в сарае дедушки Нессельроде), там бывали и Скобельцыны, но я знала их только с виду. Внешность Юрия Владимировича была весьма приметной: высокий, элегантно одетый, с преждевременно поседевшими волосами при моложавом лице. Он производил приятное, хотя несколько холодноватое впечатление. Его жена, не будучи красавицей, отличалась женственностью и хорошо одевалась, чему способствовала ее стройная фигура. Таков был внешний облик. О Юрии Владимировиче я вряд ли смогу в дальнейшем

добавить что-либо существенное, но об Александре Ивановне — Шурише — я еще скажу много хорошего.

Материальное положение Скобельцыных сложилось значительно лучше, чем у других, потому что сразу по приезде в Саратов Юрий Владимирович получил кафедру по электрификации сельского хозяйства в местном институте. В связи с этим Скобельцыны жили не в лачугах, как мы все, а в хорошей квартире из трех комнат на улице Чернышевского.

В один прекрасный день Николай Михайлович Ланской появился у меня с Александрой Ивановной Скобельцыной и сказал: «Вот дама, которая хочет давно с вами познакомиться!» Допускаю, что первопричиной этого желания было любопытство, вызванное полученной мною парижской посылкой со всякими красивыми мелочами, но вскоре между нами возникла самая искренняя и теплая дружба.

Не было впоследствии случая, чтобы у Скобельцыных пекли бисквит или пирог и Александра Ивановна, отрезав от него добрую четверть, не садилась на трамвай у старого собора и не ехала ко мне в железнодорожный поселок «с гостинцами». Владимир Сергеевич ей нравился, и она считала наш разрыв чем-то несерьезным и временным. Ей, как и многим другим, казалось нелепым, чтобы в 1936 году тридцатисемилетнему мужчине родители могли что-то «позволять» или «запрещать». Но это был слишком упрощенный взгляд на вещи — дело обстояло серьезнее!

Тем временем заканчивался 1936 год и наступал роковой для всех нас 1937-й, встречать который я была приглашена к Скобельцыным.

Подробности этого новогоднего вечера неизгладимо врезались в мою память, поскольку много раз я их излагала в устной и письменной форме на допросах в НКВД.

Часов в девять 31 декабря ко мне зашел Владимир Сергеевич: я готовилась идти в гости, он поздравил меня с наступающим Новым годом, одобрил мое светло-серое с черными и белыми цветами (присланное мамой) платье и проводил меня до Скобельцыных. То, что он не присутствовал на этом вмененном нам в вину «сборище», его, к сожалению, ни от чего не спасло!

У Скобельцыных было человек десять-двенадцать. Тут я впервые увидела доктора химии Орлова, который, несмотря на свое положение высланного ленинградца, читал лекции в университете. Это был высокий плотный человек лет сорока пяти, с лицом, несколько напоминавшим Молотова в более красивом варианте. Кроме Орлова, тут был профессор Ленинградского Политехнического Жуве с семьей и еще несколько менее значительных людей.

За столом выражались пожелания быстрейшего возвращения в Ленинград, за что и подымались тосты. После второго бокала шампанского я даже блеснула экспромтом:

Скоро мы под сень пенатов
Возвратившись в Ленинград,
Вспомним, может быть, Саратов,
Обращая взор назад.

И мы скажем: «Слишком долго
Там пришлося прогостить,
Но за солнце и за Волгу
Можно многое простить!

И потом там были встречи
С очень милыми людьми.
Что на свете не залечат
La nature et les amis».

Ни одного слова на политические темы не было сказано, конечно, если не считать того, что в конце ужина Орлов «допустил клевету на советскую молодежь» и пожаловался на низкий уровень развития саратовских студентов. Он даже добавил: «Это какие-то ослы». Эти «ослы» нам потом дорого обошлись! Но если мы в тот вечер о политике действительно не говорили, то теперь волей-неволей мне приходится, отбросив личные дела, ввести эту тему на страницы моих воспоминаний.

В конце 1936 года мы услышали по радио, что недавние вершители судеб: Зиновьев — устроитель «лицейского процесса», Ягода — организатор нашей высылки, а с ними многие другие с головокружительной быстротой

полетели в бездну*. Не могу сказать, чтобы их судьба нас чрезмерно опечалила, но дальнейшие разоблачения невольно приводили в недоумение. Уже несколько лет мы слышали о чудодейственной силе лизатов доктора Казакова — их восхваляли и печатно, и устно. И вдруг оказалось, что лизаты — шарлатанство, а Казаков — отравитель. Потом пришли вести о том, что смерть Максима Горького не была естественной смертью 68-летнего человека, с юности страдавшего туберкулезом, а явилась следствием преступной деятельности шайки врачей и, главным образом, его секретаря Колосова, который якобы нарочно простужал своего патрона. Сообщалось, что все убийцы понесли заслуженную кару.

Ничего не зная о лизатах Казакова, я могу лишь добавить кое-что весьма интересное по поводу обстоятельств, при которых попал к Горькому злосчастный секретарь. Но для этого мне придется перенестись на шесть лет вперед, в огороженный колючей проволокой лагерный барак на берегах Вычегды, и воспроизвести рассказ сидевшей на моей койке врача Клеопатры Демьяновны Губер — очень милой и скромной женщины, по происхождению гречанки, прибывшей с очередным этапом на наш комендантский лагпункт. Рассказ этот поразительно точно смыкается со всем, что я слышала в 1926 году на берегах Средиземного моря от Варвары Ивановны Икскуль.

Уже не в первый раз в ходе моего повествования мне приходится вдаваться в подробности личной жизни незнакомых и мало знакомых людей. Но таков удел всех мемуаристов, которые неизбежно суют свой нос в чужие дела!

Итак, вот что мне рассказала Губер. Ее муж (фамилии не помню, знаю, что это была польская фамилия на букву «З») в конце 20-х годов руководил издательством «Международная книга», в силу чего и он, и моя собеседница часть года жили в Берлине. Полпредом там был Крестинский, а так как его жена — скромная застенчивая

---

* Попутно вспоминаю анекдот, приписываемый Радеку. Когда после убийства Кирова начальник Ленинградского УНКВД Медведев был смещен и вся полнота власти перешла к Ягоде, говорили, что Пулковская обсерватория внесла предложение о переименовании Большой Медведицы в Большую Ягодицу. — *Прим. автора.*

женщина — не любила светской жизни, во всех официальных случаях ее заменяла также жившая в Берлине председательница Советского комитета по делам искусств, вторая жена Горького Мария Федоровна Андреева.

По словам Клеопатра Демьяновны, случилось так, что Андреева не на шутку увлеклась молодым сотрудником полпредства Колосовым (или Колотовым?*), и для нее стало большой драмой, когда этот юноша женился. Думая, что ей будет легче, когда молодожены уедут с ее глаз, Андреева рекомендовала Колосова Горькому, который как раз нуждался в секретаре и тоже «переживал драму». Как я уже говорила, в Сорренто с ним находилась Мария Игнатьевна Бенкендорф, та самая дама, из-за которой я пережила неловкость, когда в Ницце, сидя у меня за чаем, Варвара Ивановна Икскуль весьма нелестно о ней отозвалась в присутствии ее сестры.

Когда Горький, после произведенного у него фашистскими молодчиками обыска, стал собираться в СССР, Бенкендорф с ним не поехала. По словам Губер, она предпочла похитить у своего патрона дневник, в котором он довольно откровенно излагал свои мысли, и продать его за большую сумму в Америку.

Так или иначе, но Горький оказался без секретаря и принял на эту должность рекомендованного ему Андреевой молодого человека. Последний, поселившись у Алексея Максимовича в бывшем доме Рябушинского близ Никитских ворот, чувствовал себя прекрасно и «как сыр в масле катался». Об этом Клеопатра Демьяновна слышала из его собственных уст. Привыкший в Берлине играть с ее мужем в карты, Колосов нередко заезжал к ним на Садово-Триумфальную, чтобы сыграть партию в преферанс. Когда хозяйка дома замечала, что привезшее его такси в продолжение всего вечера стоит у подъезда и нащелкивает часы, она советовала гостю отпустить шофера, но тот с беспечной улыбкой отвечал: «Ничего! Горький заплатит!»

Почему этот молодой человек стал вдруг рубить сук, на котором сидел, и «умерщвлять» своего патрона? Это одна из загадок истории нашей страны того периода,

---

* Имеется в виду, по-видимому, Петр Петрович Крючков.

решать которые будут грядущие поколения. Я же возвращаюсь к Саратову 1937 года.

Удары грома, раздавшиеся в высших сферах, стали докатываться до периферии. По неизвестным мне причинам с поста председателя Балашевского горсовета слетел зять моей хозяйки Надежды Прокофьевны, и его семейству, приехавшему в Саратов, понадобилась моя комната. Во второй половине лета 1937 года мне пришлось переселиться на идущую вдоль берега Волги Покровскую улицу. Хозяйка снятой мной небольшой комнаты была не злая, но ворчливая старуха, так что я чувствовала себя на новом месте не очень уютно. Несколько утешала близость Скобельцыных, живших в той же части города.

Но вот однажды вечером (это было, кажется, в конце сентября) над Волгой поднялось зарево: недалеко от причала загорелось небольшое нефтеналивное судно, и двое рабочих получили тяжелые ожоги. Пошли разговоры о вредительстве, начались многочисленные аресты среди ленинградцев. Первым был арестован профессор Орлов. Никто ничего не понимал, но тревога росла с каждым днем, тем более, что незадолго до того был опубликован указ, предоставлявший право органам НКВД давать 10 лет заключения без судебного процесса.

В такой напряженной обстановке подошел день моего рождения 25 октября. Владимир Сергеевич зашел с работы меня поздравить и уговорил в следующее воскресенье, то есть 30 октября, уехать на целый день в лес. Осень стояла сухая, солнечная. Синее небо и прозрачный воздух резко контрастировали с тем, что было у нас на душе, и вызывали непреодолимое желание вырваться, хотя бы на миг, из круга печали, предчувствий, тяжелых воспоминаний, забыть настоящее и воскресить подобие прошлого.

В назначенное утро мы доехали до 10-й остановки, конечного пункта трамвайных путей, связывавших Саратов с дачными местами, и до сумерек бродили по перелескам, оврагам и пустынным полям. Как и в прежние дни, его правая рука привычным жестом лежала на моем правом плече, а я, несмотря на всю мою хваленую

«структурность мышления», подобно всем женщинам мира, в душе старалась переложить ответственность за его поступки на кого-то другого.

Но практически это уже не имело никакого значения. Наша прогулка была прощальной прогулкой обреченных, и с вечера 30 октября 1937 года нам никогда не суждено было увидеться. Лишь 21 год спустя, после неоднократных запросов, я получила справку о том, что: «Львов В.С. умер в заключении 20 ноября 1943 г. от рака печени».

Не особенно веря дате и причине смерти, я вспоминаю песню первых лет революции, в которой комсомолка желает своему другу: «Если смерти, то мгновенной, / Если раны — небольшой...» Я бы тоже предпочла, чтобы смерть «Львова В.С.» была мгновенной.

Перед тем как закончить главу «В Саратове», мне следует еще сказать о последних трех днях, проведенных мною в этом городе на свободе. (Полгода в Саратовской тюрьме составят содержание следующей главы.)

Первого ноября я собрала все свои более или менее ценные, а главное, памятные вещи и отправилась к Спириным, чтобы отдать их на хранение. Оказалось, что и Надежда Прокофьевна, и ее муж на курорте. Со своим узелком я поехала обратно, но почему-то сошла с трамвая у театра и села на скамейку в садике против областного музея. На город спускались туманные сумерки, а у меня не хватало ни сил, ни желания двинуться с места.

И вдруг на фоне серой мглы передо мной появилась высокая фигура Александра Александровича Мезенцева. Я подумала: «Как он похож на старого рыцаря!» Мы с ним перекинулись несколькими фразами, а потом он вдруг наклонился, перекрестил меня широким крестом, поцеловал мне руку и исчез в тумане. Тут я поняла, что я действительно обречена.

В ночь на 3 ноября появились два сотрудника НКВД, сделали обыск, забрали письма, фотографии, альбомы, словом, все, что было мне дорого, и предложили мне следовать за ними в тюрьму. Принимая во внимание, что дело идет к зиме, я была достаточно разумна, чтобы, оставив красивое мамино пальто с котиком на вешалке, надеть поношенную, но теплую и легкую шубу, служившую

мне со времени выездов на московские балы. Эта шуба получила впоследствии широкую известность: как только на берегах Вычегды кого-нибудь начинала трясти лихорадка, раздавался крик: «Давайте сюда ласковую шубу Татьяны Александровны!» — и больной успокаивался под ее благодетельным теплом.

Но я ставлю точку, замечая, что начинаю вдаваться в литературный материал последующих глав; глав, из которых навсегда уйдут темы «личные», уступив место темам «общечеловеческим» и «бытовым».

P.S.

Перечитав эту главу, я не нашла подходящего места, куда можно было бы вставить небольшое дополнение, и потому прибегаю к постскриптуму.

Летом 1936 года, под предлогом переписи населения, по домам стали ходить люди с не совсем обычными анкетами. Среди многих других был пункт: «Ваше отношение к религии. Являетесь ли вы верующим?» Допускаю, что это было мероприятие саратовских властей, желавших, ввиду намечающихся репрессий, выявить наиболее «несгибаемых». И Владимир Сергеевич, и я твердым почерком написали: «Да».

Как мы верили, во что мы верили и что в религии уже стало для нас пустой формой, было нашим личным делом, но из трусости отрекаться от веры, в которой мы были воспитаны, нам обоим казалось недопустимым.

Я вспомнила об этом, прочитав последний роман Голсуорси «Конец главы». Там есть эпизод: молодой англичанин попадает в плен к кочевникам и, под дулом пистолета, соглашается отречься от своей веры и принять магометанство. Несмотря на его равнодушие к религиозным вопросам, этот поступок навсегда ложится камнем на его душу. Ни Владимир Сергеевич, ни я такого камня себе на душу не положили.

По ассоциации у меня в памяти возникает другой эпизод, на этот раз из времени моего пребывания в Ленинградском ДПЗ. Со мной в камере находилась уже

немолодая женщина из морской семьи Пышновых. Всю свою жизнь она была убежденной теософкой, за что, по-видимому, и попала на Шпалерную. Вернувшись после собеседования со следователем, она заявила, что последнему удалось доказать несостоятельность ее прежнего мировоззрения. За час беседы с ним она поняла, как глубоко всю жизнь заблуждалась, в чем она и подписалась. Неужели кого-нибудь могут удовлетворить такие подписки?! Вряд ли, если только это не африканские кочевники!

«Ежовые рукавицы»

Справка

Решение от 4/XII-1937 г. по делу Аксаковой Т.А., которым она была осуждена к 8 годам ИТЛ определением Военного Трибунала Приволжского Военного Округа от 27.IX.1955 г., отменено с прекращением дела за отсутствием состава преступления.

Вр.И.О. Председ. военного
Трибунала полков. юстиции
Венгерцев

В 1937 году появились и получили широкое распространение плакаты с изображением перчаток, снабженных торчащими во все стороны железными шипами. Ниже стояла подпись: «Ежовые рукавицы» (Ежов сменил Ягоду на посту Наркома внутренних дел.)

Изображенные на плакате странные предметы сильно напоминали экспонаты Нюрнбергской средневековой башни, от вида которых я, в дни своей молодости, упала в обморок (этот случай описан в первой части моих воспоминаний). Сами же плакаты с непревзойденной откровенностью были вывешены на всех заборах. Оттуда и странное название этой главы.

В отличие от других городов, Саратовская тюрьма находится не на окраине, а в центре города, почти напротив здания Университета, и состоит из двух трехэтажных корпусов, обнесенных высоким забором.

В это мрачное место я и была приведена конвоиром на рассвете 2 ноября 1937 года, имея в руках одеяло, подушку и сверток с самыми необходимыми вещами. Обычные процедуры обыска — фотографирование, снятие отпечатков пальцев — были мне уже знакомы и особого впечатления не произвели. С руки у меня сняли часы и алмазное кольцо. Взамен я получила подобие расписки, нацарапанной красным карандашом на обрывке бумаги.

Передо мной большое количество драгоценных вещей сдавала старая баронесса Корф, которая, будучи арестована с двумя дочерьми, сочла более разумным вручить свои бриллианты на хранение НКВД, чем бросить их у чужих людей. Я сделать этого не догадалась и мои хотя и немногочисленные золотые вещи, оставленные у квартирной хозяйки, бесследно пропали, как и все другое имущество.

Вина в этом падает не на старушку Федорову, которая через год после моего ареста умерла, предварительно даже послав мне в лагерь небольшую посылку, а на ее сына, служащего Волжского пароходства. Этот негодяй решил «оформить» присвоение моего имущества письмом, в котором уведомлял меня, что, поскольку мой арест испугал его мать и явился причиной ее болезни и даже смерти, все мои вещи пошли законным образом на ее лечение, и я претендовать ни на что не имею права.

Находясь в заключении, я была бессильна что-либо предпринять против этой наглости — и только жалела, что не смогла пожертвовать миниатюру Боровиковского в Саратовский музей, и она, несомненно, бесславно погибла в руках невежественных людей.

Но возвращаюсь к обстоятельствам моего ареста. Пока я наблюдала, как баронесса Корф вынимает один бархатный футляр за другим и принимающий их сотрудник недоумевает, как оформить расписки на никогда не виданные предметы, дверь отворилась и через нее ввели Александру Ивановну Скобельцыну и Ольгу Александровну Полторацкую. После взаимных приветствий Александра Ивановна спросила: «Татьяна! есть ли у тебя деньги?» Видя, что я замялась с ответом, она распорола воротник своего пальто, достала три сотенных бумажки, одну отдала мне, другую Полторацкой, а третью оставила себе, добавив: «Нас могут разделить. Мне, ленинградке, родственники сразу вышлют деньги, а вам посылать некому, так что будьте добры не отказываться!»

Из тюремной канцелярии нас повели в сводчатые подвалы 1-го корпуса — нечто вроде распределительного пункта, откуда в продолжение двух ночей женщин вызывали на допрос. С этих допросов они возвращались совершенно разбитыми. Жену инженера завода комбайнов Бородулину

внесли на руках в глубоком обмороке. Среди арестованных возникло искусственно созданное паническое настроение, и в центре этой паники стояло имя «Орлов», имя, которое произносили только шепотом, как нечто очень страшное.

После долгого и тяжелого допроса Александру Ивановну Скобельцыну со мной разлучили. Она была переведена в одиночку. Встретив в камере Вареньку Ланскую, я узнала, что на ее мужа ордера не было, и оставалась надежда, что он останется дома и Надя не будет брошена на произвол судьбы. Однако эта надежда не оправдалась: по тюремным каналам мы узнали, что он, хотя и с некоторым опозданием, оказался в одной из камер 1-го корпуса. Такой же слух прошел и о Владимире Львове; это было последнее, что я о нем слышала.

Так как Саратовская тюрьма никак не могла вместить столь быстро возросшее осенью 1937 года население, под женщин приспособили находившееся в глубине двора длинное одноэтажное помещение тюремных мастерских, куда после трехдневного пребывания в подвалах 1-го корпуса и перевели нашу 58-я статью. Новое жилье, в котором нам предстояло пробыть до весны, было менее мрачно, чем обычные камеры, и представляло собой большой светлый сарай, продольно разделенный на две половины. В каждой помещалось по 75 женщин.

Самый неприятный момент тюремной жизни (конечно, если не считать допросов) — это, как я говорила, хождение со всеми вещами в баню. В Саратове этот момент был скрашен надеждою узнать что-нибудь о других заключенных по записям на стенах. Ничего интересного для меня я в этих записях не нашла, но навсегда запомнила нацарапанное над входом изречение: «Кто не был, тот будет, кто был — тот не забудет!»

Однако, прежде чем описать наши тюремные будни, я хочу сказать несколько слов о самой существенной части моего заключения: о следственных мероприятиях.

Насколько я могла судить, следователи 1937 года прошли одни и те же методико-подготовительные курсы, и их приемы были более или менее стандартны. Дело начиналось с вопроса: «Знаете ли вы, что сказал Горький о враге, который не разоружается? Он сказал, что "его уничтожают". Вот вы и будете уничтожены!»

Должна оговориться, что столь «обнадеживающие» вступления делались лишь в помещении НКВД на одной из центральных улиц, куда возили на допрос не всех, а только избранных. Допросы в тюремной канцелярии были гораздо проще и, по существу, сводились к заполнению анкеты. Результаты были одни и те же — 8 или 10 лет, но не было трепки нервов.

Пройдя через допрос в тюрьме, я уже успокоилась, как вдруг, в одну прекрасную ночь, меня разбудили и повезли в НКВД к следователю Дудкину, пользовавшемуся плохой славой и, по-видимому, ведшему дело Скобельцыных. Поскольку я присутствовала на встрече Нового года и сидела за одним столом с легендарным Орловым, от меня желали добиться разоблачения тайн этого «преступного сборища».

За три допроса добились весьма малого: я признала, что Орлов назвал саратовских студентов ослами; под всеми другими обвинениями написала: «отрицаю». Это мне далось нелегко, и потому доставило удовольствие увидеть «пустые» протоколы 17 лет спустя, когда меня вызвали в Кировское НКВД для реабилитации. Тогда же беседовавший со мною полковник Мамаев в виде шутки сказал: «Ах, Татьяна Александровна! Как же это так? Вы, такая благовоспитанная дама, и вдруг говорили, что студенты — ослы?» «Говорить я этого не могла, — возразила я в том же тоне, — так как этих студентов никогда в глаза не видела, но действительно слышала такое мнение и за это получила восемь лет!» Беседа закончилась пословицей: «Лес рубят — щепки летят!»

Но возвращаюсь к 1937 году. По сравнению с другими, Дудкин был ко мне милостив: он заставил меня «думать», сидя на стуле, а не стоя на ногах до потери сознания; отправив в тюремный карцер «для размышления», продержал там не более часа и, бросив в меня мраморное пресс-папье, как мне кажется, нарочно промахнулся.

В ходе допросов были такие разговоры:

Дудкин: — Потрудитесь сообщить, что было на вечере у Скобельцыных.

Я: — Я читала свои стихи.

Дудкин: — А вот это меня совсем не интересует!

Я: — Мне это обидно как поэту, но ничего более интересного я сообщить не могу.

Или:

Дудкин: — Ваш сын, несомненно, занимает высокий пост во французской армии?

Я: — Ему 21 год, и я не думаю, чтобы он успел дослужиться до генерала.

Дудкин: — Ну, во всяком случае, он... сержант.

Эти слова приобрели весьма смешной смысл после того, как я узнала, что сам Дудкин, несмотря на свою громкую славу, носит только этот чин. Как-то раз в кабинет вошел сотрудник очень странной, отталкивающей внешности: он был мал ростом, с большой, лишенной всякой растительности головой. Дудкин указал ему на меня, и из дальнейших разговоров я поняла, что этот дегенерат допрашивал Владимира Львова.

В приведенной мною в виде эпиграфа справке значится, что решение по моему делу было принято 4 декабря, но это — ошибка. Следствие было закончено лишь 24-го числа; тогда же и был вынесен приговор: «восемь лет исправительно-трудовых лагерей по литере КРД».

До апреля месяца я, как и все мои товарищи по несчастью, пребывала в полном неведении о своей судьбе. Постановление тройки нам объявили только весною, и все зимние месяцы, пока мы сидели по камерам, на севере страны срочно готовили исправительно-трудовые лагеря, которые должны были нас исправлять. Но, повторяю, мы об этом ничего не знали и старались, по мере возможности, скрасить «тюремные будни».

Население нашей камеры было весьма разнообразно. Достаточно сказать, что я там встретила мадам Кладо и подругу ее дочери К. — авторов подложных мемуаров Вырубовой, о которых я упоминала в одной из предыдущих глав. Мадам Кладо была стара и немощна, но К. находилась в расцвете сил и к тому обладала прекрасной памятью. В долгие зимние вечера она, прислонившись к печке, с поразительной точностью пересказывала нам пьесы Шекспира. Помню, как, затаив дыхание, мы слушали описание шабаша ведьм из «Макбета». Из полумрака до нас доносились предсказания:

Да здравствует Макбет — тан Гламисский!
Да здравствует Макбет — тан Кавдорский!

— и мы думали: «А кто нам предскажет нашу судьбу?!»

Иногда, прислонившись к той же печке, доктор Ольга Александровна Полторацкая читала популярные лекции о туберкулезе. Как-то раз я выступила с гумилевскими «Капитанами», но главным моим развлечением было раскладывание пасьянсов, что стало возможным после того, что я собственными силами изготовила две колоды карт.

Известный интерес представляла также прогулка, во время которой мы надеялись узнать какие-нибудь новости. Надежда эта появилась после того, как в окне здания, составлявшего продолжение нашего помещения, мы увидели Скобельцына. Узнав, что он гуляет в том же дворе, мы наладили с ним связь. Небольшая записка закатывалась в хлеб и клалась на одну из перекладин забора. На другой день мы таким же образом получали ответ. Но эти ответы, по существу, нам ничего не давали: Скобельцын знал так же мало, как и мы. Хорошим для него симптомом явилось то, что его перевели из основного корпуса в подсобное помещение — мы поняли, что за него хлопочут влиятельные родственники.

Из всех обитательниц нашей камеры наиболее милой моему сердцу стала Наташа Мандрыка — девушка всем своим обликом, и внешним и внутренним, напоминавшая трогательные образы из диккенсовских романов. Наташа была дочерью того Николая Мандрыки, которого Игнатьев описывает в своих воспоминаниях. Привожу выдержку из книги «50 лет в строю». Она должна послужить введением к тому, что я услышала от Наташи (вернее — это обратная сторона той же медали). Итак, Игнатьев пишет:

«В Париже (по-видимому, в начале 30-х годов), выйдя однажды из Торгпредства, я был окликнут шофером такси, бодрым мужчиной с седой бородой, оказавшимся Мандрыкой, моим бывшим фельдфебелем Пажеского корпуса и по этой должности пажом государя. Я редко встречал его в последующей жизни; он был исправным служакой, флигель-адъютантом и нижегородским губернатором. Через несколько месяцев моя мать мне сообщила, что Мандрыка умирает от чахотки в городской

больнице и просит его навестить перед смертью. "Алексей прав! — говорил он обо мне. — Ему одному выпадает счастье увидеть родину". В нетопленом бараке, предназначенном для безнадежных смертников, он обнял меня и сказал: "Прошу тебя, не забудь при переезде границы низко поклониться от меня родной земле"».

Наташа унаследовала болезнь отца, и если для нас пребывание в тюрьме было неприятным, то для нее оно было губительным. Временами она совершенно лишалась голоса; ее на некоторое время клали в тюремную больницу, но потом снова возвращали в камеру, где мы жили с ней рядом в углублении между окном и печкой, так что наше общее хозяйство получило название «колхоз "Запечье"». В долгие зимние вечера Наташа рассказывала мне о своем детстве, протекавшем в Царском Селе (ее отец служил в 4-м Стрелковом полку). Средства были скромные, так же как и образ жизни. Мать Наташи, урожденная графиня Ростовцева, с юных лет дружила с великой княжной Ольгой Александровной, обладавшей, как известно, тоже скромными вкусами.

Незадолго до революции Мандрыка получил назначение на должность нижегородского вице-губернатора и в силу этого в 1919 году попал в тюрьму. Заключенных выводили на земляные работы. В один прекрасный день он с этих работ, незаметно для охраны, ушел и через некоторое время очутился в Париже. Семье, состоявшей из жены, дочери и двух малолетних мальчиков, пришлось дорого расплачиваться за этот побег.

По словам Наташи, их бесконечно долго куда-то возили в товарных вагонах, где они заболели сыпным тифом; чтобы избежать гонений и получить гражданское лицо, мать в конце концов вышла замуж за простого человека по фамилии Лисицын, и семья вернулась в Ленинград. Мальчики стали учиться, а Наташа поступила рабочей на колбасную фабрику при бойнях. Свою болезнь, может быть, не зная обстоятельств смерти отца, она объясняла тем, что ей часами приходилось промывать кишки в ледяной воде.

В 1935 году Наташу, ее совершенно больную мать и одного из братьев выслали в Саратов, а в 1937-м, поскольку клубок несчастий продолжал разворачиваться, брат и сестра снова очутились в тюрьме. Ордер был

также и на мать, но, так как ее надо было бы нести на носилках, от этого предприятия отказались.

Расставаясь со мной весной 1938 года, Наташа дала мне адрес своей тетки Ростовцевой, оставшейся в Ленинграде на Литейном, через которую можно было бы узнать о ее судьбе. Из лагеря я туда написала и получила печальное известие: Наташа скончалась от туберкулеза в первый же год своего пребывания в Унжлаге, близ станции Сухобезводное, на севере Горьковской области. Сообщая о смерти Наташи, тетушка Ростовцева поблагодарила меня за то, что я сумела оценить ее племянницу. Мне кажется, что сделать это было нетрудно. Редко встречаешь людей такой кротости и душевного благородства, как Наташа Мандрыка, и мне хотелось бы, чтобы эти строки легли венком на ее безвестную могилу.

Продолжаю описывать наши тюремные будни и, так как зимой мы еще не знали об уготованных нам бедствиях, снова перехожу в мажорный тон.

На встречу Нового, 1938 года «колхоз “Запечье”» был приглашен в «колхоз “Клумба”», находившийся на противоположном конце камеры и получивший свое красивое название оттого, что состоял из трех цветущих женщин: научной сотрудницы Ленинградского института переливания крови Бурцевой, жены морского офицера Рыкачевой и еще кого-то, кого я не помню. После этого вечера я написала несколько куплетов на злобу дня. Вот они:

Без фокстрота и без румбы,
Вместо гуся — бутерброд —
На кровати милой «Клумбы»
Мы встречаем Новый год.

Лунный лик, сияя кротко,
Удивляется тому,
Что сидим мы за решеткой
Неизвестно почему.

На свободу мало шансов,
Если трезво посмотреть.
И не будь у нас пасьянсов —
Можно было б помереть!

Развлекает нас немножко
(Наша радость так скромна!)
На прогулке сквозь окошко
Увидать Скобельцына.

А в Париже при терроре
Не умели так стеречь,
И в тюремном коридоре
Было много тайных встреч.

Раздавался гневный шепот
И любовные слова.
Но с тех пор получен опыт
В деле опер-мастерства!

От времени до времени в нашей камере раздавалась команда «Встать!» — и группа «опер-мастеров» во главе с начальником УНКВД Саратова С. (фамилии точно не помню) — маленьким толстым человеком, с довольно зверским лицом, проходила по рядам, разделяющим наши койки.

Насколько я слышала, как только закончилась операция 1937—1939 годов и были сняты «ежовые рукавицы», вместе с хозяином этих рукавиц был смещен и С. По-видимому, на нем сбылось предсказание, начертанное на стенах тюремной бани «Кто не был, тот будет!», но дела этих «опер-мастеров» в одних случаях оказывались непоправимы, в других оставались в силе еще восемнадцать лет.

Проходя по камерам, высшие начальники с нами в разговоры не вступали. Непосредственное руководство нашей братией было поручено дежурным надзирателям, которым мы, кстати говоря, никаких хлопот не доставляли; за это они сквозь пальцы смотрели на наши пасьянсы (по правилам, карты в тюрьме не разрешаются).

Разговоры мелких начальников с нами неизменно начинались словами «К вашему сведению» и кончались словом «Учтите!». С тех пор эти выражения стали мне ненавистны.

Еда была отвратительна. Единственно реальное было 500 г черного хлеба и спичечная коробка сахарного песку, да еще винегрет, который нам стали давать после того, как у многих распухли десны. Большим подспорьем

являлось то, что имеющим на счету деньги разрешалось один раз в десять дней делать заказ в тюремный ларек, откуда приносили сладкие сухари, сахар, сыр и колбасу. Перед Новым годом нам даже принесли по одному испанскому апельсину (конечно, за наш счет!). Когда я проела сто рублей Шуриши Скобельцыной, мне стали поступать денежные переводы от папы, так что я за все полгода Саратовской тюрьмы не теряла связи с ларьком. И все же к весне десны у меня распухли и из них шла кровь.

Начиная с февраля, население нашей и соседней камер начало редеть. Женщин небольшими группами перемещали или уводили на этап. Попутно замечу, что гораздо более оскорбительным, чем пресловутое печатание пальцев, мне всегда казалось то, что люди, с которыми мы душевно сближались во время заключения, должны были перестать для нас существовать, как только за ними захлопывалась дверь камеры. Никакими путями мы не могли узнать об их судьбе. Запрет распространялся и на то время, когда мы, будучи на свободе, находились под надзором НКВД. Всякая попытка завязать письменные отношения с товарищами по заключению быстро пресекалась (вероятно, это называлось «борьбой с группировками»). То, что мне удалось узнать в лагере о смерти Наташи Мандрыка, было редким исключением из общего правила.

В конце концов наша камера совсем распалась: остатки ее были соединены с остатками соседней камеры, и при этом меня выбрали старостой вновь образовавшегося коллектива в 60-70 человек. Вспоминая старосту 35-й камеры ДПЗ Виндельбандт, я старалась ей подражать, но мои усилия установить гуманные порядки в камере разбивались о целый ряд препятствий, главным образом, о противодействие небольшой группы жен ответственных работников Китайской Восточной железной дороги (КВЖД), которые, в сознании своей неотразимости и гордясь своими яркими заграничными джемперами, вели себя нахально: занимали лучшие места и не желали ни в чем себя стеснять. Неприятности, доставленные мне этими особами, компенсировались тем, что в новой камере я встретила Анну Васильевну Преображенскую, жену прысковского священника, такую же милую, как

и двадцать лет назад, и эта встреча воскресила во мне воспоминание о козельской эре моей жизни.

Но так или иначе время шло, и наступил момент, когда нас вызвали в тюремную канцелярию и приказали готовиться на этап, потому что каждая из нас осуждена на десять или восемь лет заключения. Других сроков не было. Я оказалась в числе привилегированных и получила восемь лет. Как это ни странно, но мы встретили это известие взрывом смеха, причем это была не бравада, а естественная реакция. Приговор показался нам какой-то нелепой шуткой, в которую никто не верил. Когда мы задали вопрос: «А по какой же статье мы получили эти сроки?», тюремный служащий несколько смущенным тоном ответил: «А какая же у вас может быть статья, когда вас не судили? Впрочем, приедете на место и там узнаете!»

Вскоре после этого (числа я не помню, но это был первый день Пасхи) партию женщин из нашей камеры, в том числе и меня, вывели «с вещами» на тюремный двор. Там нам выдали по 10 рублей с личного счета, про наши «ценности» сказали «будут досланы» и на грузовых машинах повезли на вокзал.

В тупике нас ждал поезд, состоявший из товарных вагонов с плотно забитыми окнами. В эти вагоны нас погрузили и повезли в неизвестном направлении. Только когда сквозь узкую щель мы увидели большую реку и пролеты моста, мы поняли, что пересекаем Волгу под Нижним Новгородом. Колеса неистово скрипели; на стрелках нас кидало из стороны в сторону. Толчки были настолько сильны, что спящие на нарах падали вниз.

Утром конвоиры приносили пайки черного хлеба и кипяток, а в полдень — ведро с несъедобной «баландой». Купить что-либо на имеющиеся у нас 10 рублей было невозможно, так как мы никакого общения с вольным миром не имели. Запасы, взятые из тюрьмы, быстро иссякли, и начался самый настоящий голод. Помню, как хозяйка «Ленинградской мастерской оформления женской фигуры» Усольцева, женщина немного смешная, но очень добрая, разделила со мной последнюю луковицу. При этом мы вспоминали, что у Достоевского есть рассказ

о нищенке, которая проникла в рай только потому, что подала другой нищенке такую же милостыню — луковицу. Бедная Усольцева не знала, что ее ожидает и другой путь в рай: мученическая кончина. Через три года, работая фельдшером на отдаленном лесном участке реки Кузобью, она отказала в амбулаторном освобождении одной особе из преступного мира, за что сожитель той убил ее ударом топора по голове.

Но возвращаюсь к этапу. Мои слова о том, что, путешествуя в забитых досками вагонах, мы были отрезаны от мира, не совсем точны. На тихом ходу, подъезжая к станции, мы умудрялись выбрасывать через щели на полотно записки нашим родным. Начинали мы обращением к населению: «Добрые люди! Отправьте, пожалуйста, это письмо по прилагаемому адресу». Знаменательно, что обе мои записки отцу, выброшенные таким образом, дошли по назначению.

После двух недель езды мы, наконец, достигли Котласа. Нас высадили, построили колонной по четыре человека в ряд, окружили конвоем с собаками и повели на пересыльный пункт. Северная весна была в самом начале: трава еще всходила, дул ветер и на горизонте виднелось широкое водное пространство — слияние Вычегды с Северной Двиной. Перед воротами лагпункта за столом сидела комиссия из пяти человек, после переклички мы проследовали за вахту, и лагерные ворота закрылись за нами на долгие годы.

То, что нас ожидало за колючей проволокой, будет предметом повествования следующей главы.

В исправительно-трудовом лагере

В результате того, что громадные суммы были брошены в 1937 году на устройство новых мест заключения, на всех окраинах страны, как грибы после дождя, росли участки, обнесенные колючей проволокой с несколькими дощатыми бараками или просто палатками посередине. Это были лагпункты, которые весной 1938 года должны были принять заключенных из переполненных до отказа тюрем. Лагеря, организуемые по течению реки Вычегды, снабжались через станцию Мураши железной дороги Киров — Котлас. От этой маленькой станции шел 600-километровый тракт до столицы Коми АССР Сыктывкара (бывший Усть-Сысольск), и по этой дороге зимой 1937 года беспрерывным потоком двигались машины с начальствующими лицами и со всем тем, что создавало для нас «условия». Этапы заключенных впоследствии шли на баржах по Вычегде.

Уготованный мне судьбой Локчимлаг, то есть лагерь, расположенный близ Локчима, притока Вычегды в ее верхнем течении, в первый же год своего существования дал дефицит в 13 миллионов рублей. Этому, вероятно, способствовало то, что столовые и магазины для начальства были снабжены самыми изысканными вещами, от шампанского до свежих фруктов включительно. Все это продавалось по твердым, другими словами, весьма низким ценам. В 1939 году подобную вакханалию прекратило распоряжение свыше, может быть, потому, что контраст между условиями жизни за колючей проволокой и вне ее пределов переходил границы допустимого, но скорее — из соображений экономии. Во всяком случае, местные «калифы на час» должны были сократить свои аппетиты.

Но и при наличии заманчивых материальных условий подобрать начальствующие кадры было, по-видимому, нелегко. Мало кто из лиц с прочным служебным положением соглашался на такую «работенку». В лагеря ехали

люди, чем-либо провинившиеся и стремившиеся себя реабилитировать. Это, конечно, стало большим злом, и тем ярче выделялись на этом фоне авантюристов исключения из общего правила — хорошие люди. Тут я должна оговориться, что в поле моих наблюдений попадали только мелкие начальники — от начальника лагпункта и ниже, а также вольнонаемные сотрудники, имевшие доступ в зону. С крупными начальниками я не встречалась.

Мое первое столкновение с «властью на местах» произошло сразу же после того, как я вступила на территорию Котласского пересыльного пункта, и потому я перехожу к последовательному изложению событий.

В числе лиц, принимавших наш этап, был начальник участка Мельников, человек с совершенно круглым, красным лицом грубого склада. При этом один глаз его не то косил, не то был подернут бельмом. Вид был страшноватый, и вскоре мне пришлось убедиться, что это был не только «вид».

Котласский лагпункт представлял собою огороженную площадь, на которой стоял один дощатый барак в форме буквы «П» и несколько палаток. Два вновь прибывших женских этапа были помещены в левом крыле этого барака — довольно грязном помещении с нарами. Наш этап, старостой которого была я, состоял почти из одной 58-й статьи, другой же этап был «пестрого» состава, в чем я не замедлила убедиться. Едва мы, полумертвые от усталости, сняли с плеч вещевые мешки и расположились на нарах, как в проходе возникла жестокая драка между двумя молодыми особами в кокетливо надвинутых на лоб и приподнятых сзади (по уркацкой манере) косынках. Дрались они за какого-то Сашку-парикмахера, называя друг друга подходящими к случаю именами. С расцарапанными лицами и всклокоченными волосами, они в конце концов были политы водой и растащены в разные стороны.

Наутро начальник лагпункта Мельников в сопровождении коменданта пришел наводить порядок и приказал посадить зачинщиц драки в карцер. Он уже собрался уходить, когда его взор упал на довольно грязный пол нашего помещения. Кинувшись к бочке с водой, он увидел за ней мусор, окончательно рассвирепел и потребовал

к себе старост. Вышли я и одна из представительниц «преступного мира». Мельников на нас долго кричал за то, что мы у него в бараке «змей развели», — по его мнению, прежде чем входить в эту конюшню, мы должны были вымыть и выскоблить пол. Мы этого не сделали, и потому меня, как старосту, посадили в карцер, где я очутилась с одной из ревнивых Кармен.

Помещение было только что построенное, необжитое, напоминавшее каменный мешок. Со стен текла вода. Зато Кармен уже была настроена мирно и посоветовала мне лечь спать. Мы улеглись рядом на дощатых нарах, и я согрелась за ее широкой спиной и под полой бушлата, которым она меня накрыла. К вечеру нас водворили обратно в зону. Таково было мое первое соприкосновение с лагерным начальством.

Тем временем на пересыльный пункт стали прибывать новые этапы, и мы тщетно старались понять, что все это значит, против кого, в конце концов, направлены репрессии. Состав заключенных был крайне разнообразен: тут были врачи, священники, жены крупных партийных работников, немцы Поволжья, кавказцы. Кто-то рассказывал, что ехал с отцом Ягоды, другие утверждали, что сидели с женой Тухачевского и сестрой Радека. Одним словом, понять ничего было нельзя, и я, выкинув на время из головы вопросы общего порядка, занялась собственным устройством. Вспомнив, что когда-то посещала курсы Иверской общины сестер милосердия, я об этом заявила и была включена в штат организованного в одной из палаток стационара. В этом оказалось мое спасение!

Среди безрадостных клочков земли, именуемых лагпунктами, как оазисы в пустыне, располагались медицинские учреждения, в которых шла жизнь, отдаленно напоминавшая человеческую, и тот, кто так или иначе мог зацепиться за спасительный утес санчасти, уже не погружался *in profundis*, а держался на приемлемом уровне. Заплативши за преимущество принадлежать к медработникам ценой своего здоровья и больших физических страданий, я все же с неизменной признательностью смотрела на свой белый халат, выведший меня из общего барака и избавивший от многих других напастей.

Но возвращаюсь к первому времени моего пребывания в лагере. В одно прекрасное утро в добавочной зоне, отделенной от нас колючей проволокой, мы увидели пестрые халаты, белые чалмы и смуглые лица, производившие странное впечатление на фоне северного неба. Это был грандиозный этап, пришедший из Ташкента. Несчастные «дети юга» были в пути очень долго, и этапу, по-видимому, предшествовало длительное тюремное заключение, потому что в больницу стали поступать люди в высшей степени скорбута. Некоторые из них совсем не могли разогнуть коленных суставов и ползали на четвереньках. Кожа их была покрыта красными точками, переходившими местами в багровые пятна, из десен шла кровь.

Трагедия усугублялась тем, что эти узбеки, таджики и туркмены ничего не понимали в случившемся. Вопросы «Где мы?» и «За что все это терпим?» — стояли в их черных широко раскрытых глазах. В палате они хватали первое попавшееся полотенце, окручивали им голову и часами сидели на койке, поджав под себя ноги, слегка покачиваясь и бормоча какие-то слова, по-видимому, молитвы. Гибли они сотнями, как цветы, в жестоких условиях северных лагерей.

В ту пору я еще не обрела профессионально-спокойного отношения к людским страданиям, и мне не нравился разговор врачей (тоже заключенных), расценивавших наших больных как «неповторимый материал для изучения скорбута III». На Пезмогском лагпункте, где я провела последующие четыре года, жителей Средней Азии было немного, но зато там я близко соприкоснулась с судьбой двух братьев-таджиков и сказала себе: «Вот это надо запомнить на всю жизнь!»

В хирургическое отделение поступил с остеомиелитом предплечья таджик лет 35-40 по имени Шабук. Это было кроткое создание с некрасивым лицом, но очень выразительными, грустными глазами. Долгое время его лечили, долбили ему кости, но без хороших результатов. Пришлось отнять руку по локоть. За время пребывания Шабука в отделении я узнала его историю. Жил он на юге Таджикистана, недалеко от афганской границы. У отца была плантация опийного мака, и продукция, по-видимому, сплавлялась контрабандным путем в Афганистан.

В семье было несколько сыновей. Однажды младший, любимец отца по имени Али-Мамед, отправился с опием через границу и не вернулся. Отец послал старшего, наименее любимого сына, Шабука, на его розыски. Тот покорно пошел, попал в руки ГПУ, получил 58-ю статью и очутился на Вычегде, где теперь медленно и мучительно угасал.

Однажды с площадки перед хирургическим отделением раздался крик, мы выбежали и увидели, что Шабук, как безумный, мчится к воротам зоны — он увидел Али-Мамеда, прибывшего с новым этапом. Это было на редкость счастливое стечение обстоятельств — лагерные участки, как песок морской, были рассыпаны по северу. Братья обнялись, но это оказалась была последняя радость. Али-Мамед прибыл с открытой формой туберкулеза легких. Месяца полтора он просидел, поджав ноги и обвязав голову полотенцем, на койке туберкулезной палаты, а потом умер. Через год за ним последовал Шабук, предварительно пережив вторую операцию. Ему пришлось ампутировать руку уже не по локоть, а по плечевой сустав.

Много страшного прошло перед моими глазами, но лица этих братьев — грустный взор Шабука и красивые, изможденные черты Али-Мамеда, увенчанного чалмой из больничного полотенца, с какой-то особой четкостью врезались в мою память. Может быть, потому, что я сказала себе: «Не забудь!» И не забыла.

В начале моей лагерной медицинской карьеры со мной работала расторопная сестра Клава Путинцева. Это была рослая светловолосая молодая девушка со смеющимися глазами, добродушная и веселая, родом из Челябинска; десять лет она получила за то, что, «работая сестрой в детском доме, с целью вредительства, закапала в глаза этим детям ляпис заведомо слишком высокой концентрации» (таково было предъявленное ей обвинение). Ничего подобного на самом деле, конечно, она не делала, а произошло другое. Клава принадлежала к тому типу женщин, о которых Пушкин в дни своей молодости писал:

Как ты прав, оракул Франции,
Говоря, что жены слабые
Против стрел амура юного
Все имеют сердце доброе,
Душу нежно-непритворную.

Когда любимый ею человек был арестован, Клава, в силу своих душевных качеств, от него не отказалась, продолжала носить ему передачи и, требуя свидания, сказала пару резких слов в комендатуре. Этого было достаточно, чтобы получить КРД (контрреволюционную деятельность) и десять лет, а «глазные капли» добавили для большей убедительности. В лагерях Клава, по местному выражению, «не терялась». Сначала она завела легкий романчик с врачом Готлибом — нашим непосредственным начальником, холеным ленинградским сибаритом, да и потом, на других участках, без мужского покровительства не обходилась.

Ко мне Клава относилась трогательно, и я до сих пор берегу коробочку от хороших духов, которые она принесла мне во время моей болезни, затратив, наверное, немало усилий, чтобы их достать. Но заболела я только в Пезмоге. В Котласе же я считала себя здоровой, несмотря на упорный фурункулез и изводившее меня чувство саднения во рту. Желая меня подкормить, доктор Готлиб выхлопотал мне пропуск в столовую для охраны, где я должна была «снимать пробу». Но это счастье продолжалось недолго. Не успела я съесть и трех солдатских обедов, как меня вызвали на этап, двигавшийся на баржах вверх по Вычегде в глубь страны Коми.

Ехали мы долго по тихой, широкой реке, в которую то справа, то слева вливались другие реки меньших размеров, но с такими же низкими, заросшими лесом берегами. Наши плавучие тюрьмы тянули небольшие буксиры, подолгу стоявшие у маленьких пристаней, набирая дрова. Вечером, после переклички, мы спускались в трюм, но днем сидели на палубе и, глядя на теснящуюся в воде зелень, на спокойное течение реки, на солнечные закаты, минутами забывали, как и куда мы едем.

Навстречу нашим баржам плыло громадное количество не связанных в плоты бревен — это шла «моль» (так называется особый, упрощенный вид сплава леса). Тут же я узнала еще два новых для меня местных слова: «дрын» — палка и «дроля» — милый. Тихим вечером мы стояли на причале, и с берега до нас доносился разговор двух женщин, одна из которых говорила: «А ты бы ее дрыном, ее и ее дролю!» Я заинтересовалась этими словами и постаралась узнать их перевод.

Так, сравнительно спокойно, мы плыли на восток, но, прежде чем достигнуть места назначения — Пезмогского комендантского участка, — нам пришлось претерпеть неприятную остановку в Сыктывкаре. По прибытии в столицу Коми АССР нас высадили из барж, как скот, погрузили на автоплатформы с высокими бортами (влезать на них было очень трудно!) и повезли на окраину города, в какой-то загон, где мы должны были провести ночь под открытым небом. При этом, совсем того не желая, мы навлекли на себя гнев двух начальников. На их вопрос: «По какой статье?», мы ответили, что у нас нет статьи. Начальники, будучи не совсем трезвы, приняли истинный факт за насмешку, и мы чуть не подверглись добавочным репрессиям. К счастью, дело ограничилось криком с руганью, и на следующее утро мы на более мелких баржах проследовали дальше.

Пезмогский лагпункт, на котором мне суждено было прожить пять лет, стоял не на самой Вычегде, а в трех километрах от главного течения реки, на ее рукаве. Где-то, по-видимому, недалеко впадала река Локчим (откуда название «Локчимлаг»). Но ее мы никогда не видели, так же как и села Пезмог, в честь которого был назван наш лагпункт.

Вообще о природе и о народе Коми АССР я могу сказать очень мало — в течение пяти лет я за зону не выходила (если не считать одного трагического случая, о котором речь будет ниже) и никаких впечатлений из этого края не вынесла.

Зона лагпункта в августе 1938 года представляла собой небольшой кусок земли, огороженный колючей проволокой и пересеченный бурлящим ручьем, на берегу которого стояли баня и три жилых барака с нарами. Кроме того, в черте зоны находился домик дачного типа, состоявший из трех комнат и чердачного помещения. В этом домике расположилось хирургическое отделение, где я и стала работать. Вид на окрестности был широкий, но унылый: подковообразное русло реки Вычегды, его поросшие мелколесьем берега и зеленая равнина, у дальнего края которой не виднелась, а скорее угадывалась большая река. Налево, среди деревьев, наподобие замка возвышалась дача начальствующего состава.

На этот ландшафт мы могли смотреть с 1938 по 1941 год. С начала войны нашу расширившуюся зону обнесли высоким дощатым забором, и мы перестали что-либо видеть, кроме неба над нашими головами.

Одним этапом с нами прибыл и доктор Готлиб, возглавлявший медучреждения участка. Будучи терапевтом, в сложных хирургических случаях он приглашал на консультацию хирурга Алексея Семеновича Никульцева, имевшего, как и все мы, срок в десять лет, но жившего за зоной, потому что он обслуживал начальствующий и вольнонаемный персонал. Никульцев происходил из самарской купеческой семьи, учился в Ленинграде, последнее время работал в гинекологической клинике профессора Окинчица, готовил научный труд по сепсису и совершенно неожиданно для себя и окружающих очутился в Пезмоге. Это был высокий, широкоплечий человек с приятным лицом русского склада. Впоследствии, начав с ним работать, я пустила в свет и упрочила за ним прозвище Алеша-богатырь, но в 1938 году его фигура (по-видимому, от долгого пребывания в тюрьме) еще имела юношескую стройность.

Состав наших больных с переездом в Пезмог резко изменился. Это не значит, что здесь не было цинги — она была, но превалирующее большинство страдало глубокими флегмонами и рожистым воспалением, протекавшими исключительно тяжело. Это объяснялось тем, что незадолго до нас прибыл этап с Дальнего Востока. В забитых досками вагонах за долгие недели следования развились все виды гноеродных инфекций. По словам очевидцев, многие в дороге умерли, а оставшиеся в живых и попавшие в Пезмог заполнили наше хирургическое отделение. Впоследствии Никульцев говорил, что инфекция 1938 года была как-то особенно вирулентна, и, так как современными мощными антибиотиками мы в то время не обладали, то нам почти никого из наших больных спасти не удалось.

Помню студента из Батума по фамилии Бабишвили. Он был в полубессознательном состоянии; его коленный сустав крест-накрест пронизывали две дренажные трубки, из которых в громадном количестве выделялся гной. Жара в конце августа стояла нестерпимая, и нас буквально

съедали комары. На подъеме левой ноги у меня оказалась царапина. Работали мы в самых примитивных условиях, и в эту царапину во время перевязки, по-видимому, попал гной от Бабишвили или от кого-нибудь другого. Я этого не заметила и была очень удивлена, когда почувствовала озноб, недомогание, а температура у меня поднялась до 39°. Меня начали лечить от малярии. Я глотала хину, но улучшение не наступало. Наконец все сомнения диагностов разрешились: на подъеме появилось багровое пятно и красные полосы наметились по ходу голени и бедра. Началось воспаление лимфатических путей, закончившееся глубоким воспалением бедренных лимфоузлов.

Сначала я не поддавалась болезни, не понимая серьезности положения, пыталась ходить, но с каждым днем мне становилось хуже и хуже. Начались сильные боли в бедре, температура все время держалась около 40°, появилось отвращение к пище, и я впала в полусознательное состояние, в котором пребывала не менее четырех месяцев. Особенно мучительными были ночи с бредовыми кошмарами. Днем же я приходила в себя, и с особой четкостью передо мной возникали образы раннего детства. Так, я часами перебирала в памяти игрушки, украшавшие наши елки: особое удовольствие мне доставляли золотой павлин с радужным хвостом и картонная будочка с сидящим перед ней на цепи мопсиком.

Однажды мне приснился Рим, и я решила, что доктор Готлиб похож на того упитанного кардинала, которого я видела в дни своей юности в соборе Святого Петра. Наутро я почувствовала себя несколько лучше и, вместо того чтобы перебирать в уме елочные игрушки, попросила карандаш и сложила несколько куплетов, свидетельствующих о том, что даже в самые тяжелые минуты меня не покидало чувство юмора (см. главу «Вторая поездка за границу»). Готлиб был весьма польщен.

Однако день, когда я могла писать эпиграммы, явился лишь небольшой передышкой в поступательном ходе моей болезни, которая переходила в общее заражение крови.

Наступил час, когда боли в бедре стали настолько нестерпимы, что я — единственный раз в жизни — кричала на всю палату и просила морфия. (В воспалительный

процесс, по-видимому, включился мощный бедренный нерв.) С тех пор в продолжение четырех месяцев я весь день жила мыслью о кубике морфия, который мне вводили в 9 часов вечера и который давал мне передышку и забвение до 4 часов утра. С рассветом мучения возобновлялись.

Удивительно то, что я совершенно не привыкла к наркотикам и, как только острые боли прошли, никогда больше не вспоминала о морфии.

Месяца через полтора после начала заболевания меня на носилках доставили в больницу для вольнонаемных, где вскрыли флегмону, после чего вновь перенесли на зону. Эта первая операция, как и три последующих, производилась под хлороформом, который в то время был в ходу. Как я теперь вижу, меня резали много, но плохо, вернее, слишком поверхностно, и, за исключением последнего раза, не доходили до главного очага. Никульцев редко бывал в зоне, между операциями я выходила из его поля зрения, так что решение вопроса о смерти или выздоровлении было предоставлено моему организму. Я считалась безнадежной больной, и когда в последний раз меня несли на операцию, окружающие говорили: «Ну зачем эту несчастную женщину напрасно мучают. Все равно она до утра не доживет».

В палате всех поражало мое упорное отвращение к пище (в условиях лагеря это казалось чем-то невероятным). По вечерам меня навещала ехавшая со мной из Саратова моя приятельница Ниночка Гернет, и каждый раз я умоляла ее незаметно унести из тумбочки масло и белый хлеб, которые мне выдавали и заставляли съедать.

Когда от меня остались одни кости и я оказалась, говоря медицинским языком, совершенно «обезвожена», мне стали подкожно вводить большое количество физиологического раствора — как известно, это весьма неприятная процедура. Когда мне всаживали в здоровое бедро толстую и довольно тупую иглу, я говорила: «Это больно, но, конечно, лучше, чем съесть котлету».

К зиме на зоне закончилась постройка большого больничного барака, куда меня и перевели из хирургического отделения. Этот перевод ознаменовался новым мучением: за дощатой перегородкой в небольшой каморке

поместили сошедшего с ума молодого татарина или башкира, который день и ночь без перерыва кричал попеременно две фразы: «Батыра, батыра!» и «Вулю-пулю!». Вуль был начальником лагеря, которого никто из нас не видел, так что фраза «Вулю-пулю», по-видимому, прельстила шизофреника своей рифмой. Никуда нельзя было скрыться от этого несмолкаемого крика, перебивавшего действие морфия и усугублявшего мои страдания.

Дней через десять несчастного малого куда-то увели — и в палате наступила тишина, но не замедлило появиться другое зло — холод. Зима 1938—1939 годов в северных краях была исключительно сурова. Наша палата обогревалась жестяной печкой-времянкой, и ночью температура резко падала. Лежа без сна, я наблюдала, как на рассвете гвозди, вбитые в стену, покрываются белыми снежными шапочками, но до меня холод не доходил — спасала покрывавшая одеяло старенькая меховая шуба, в которой я когда-то ездила на московские балы и которая теперь была известна всему лагпункту под названием «ласковая шуба Татьяны Александровны».

В начале болезни у меня случилась приятная встреча — к моей постели подошла новая сестра, жена сына художника Поленова. Мужа моей новой знакомой в бытность его студентом я встречала у Мартыновых под именем Митя Поленов. Поленовская усадьба на Оке сначала оставалась неприкосновенной, а после смерти художника в ней устроили музей и дом отдыха для артистов Большого театра. Молодые Поленовы продолжали там жить до 1937 года, когда были арестованы Тульским НКВД, привезены в Котлас и там разъединены. Анна Павловна попала в Пезмог и о судьбе мужа ничего не знала.

Так как в системе лагерей любили перебрасывать людей с одного участка на другой, то и Анна Павловна Поленова вскоре была переведена на нашу агробазу, а потом на какой-то дальний лесопункт. Насколько я слышала много лет спустя, и она, и ее муж благополучно вернулись в Поленово.

С нежной благодарностью вспоминаю я санитарку Таню Плешакову, бывшую монашку, терпеливо ухаживавшую за мной во время болезни. Нрава она была

неунывающего и даже происходила из поселка Улыбовка Бяковского района Пензенской области. (По этому адресу я писала письма ее племянникам.) Несмотря на свою расторопность, Таня была плохим грамотеем и говорила, что работает «округ перцьённой», то есть в хирургическом отделении. Мы смеялись, но она не обижалась.

В числе обслуживающего меня персонала была массажистка Анна Ивановна Самохотская, особа лет шестидесяти, эстонка по национальности. В молодости она жила в Петербурге, имела хорошую практику, но, выйдя замуж за бухгалтера, переселилась в Свердловск. Муж работал в банке, она — в Институте травматологии и ортопедии, и жизнь их была бы образцом мелкобуржуазного благополучия, если бы не трагический конец.

В начале 30-х годов в Эстонии умерла мать Анны Ивановны, и последняя, получив официальное разрешение, съездила за оставшимся домашним имуществом. Этот факт, по-видимому, был где-то зафиксирован как «связь с заграницей». В 1937 году Анну Ивановну арестовали и обвинили в том, что, по заданию извне, она испортила всю физиоаппаратуру Института травматологии и ортопедии. Несчастная женщина не верила своим ушам, так как знала, что аппаратура в полном порядке. Видя ее испуг и поняв, что имеют дело с человеком, привыкшим слепо подчиняться приказам свыше, решили пойти обманным путем. Ошеломленную Анну Ивановну уговорили подписать обвинительный акт, так как «это простая формальность, необходимая для блага родины по причинам ей еще непонятным». В случае выполнения этого «патриотического акта» ее обещали немедленно отпустить домой. В результате — признанное вредительство и десять лет заключения.

Справедливости ради я должна отметить, что в конце концов, по ходатайству мужа, дело Анны Ивановны было пересмотрено и она получила реабилитацию еще в лагере, где просидела не десять лет, а четыре года. Анна Ивановна вернулась в Свердловск, но вряд ли это возвращение было радостным — мужа она не застала, он умер, имущество оказалось расхищено, а квартира — занята чужими людьми. Это мы узнали из присланной ею открытки.

Но я возвращаюсь к главной теме моего повествования, в данном случае — моей болезни. Когда зима перевалила за половину и стало чувствоваться приближение весны, случилось то, чего никто не ожидал: я стала есть и перестала просить морфий. Дело пошло на поправку. Хождение сначала при помощи двух костылей, а потом одного, доставляло мне сильные боли, но к этому следовало привыкать. В результате неправильного лечения бедренный нерв попал в спайки, образовалась мышечная контрактура левого тазобедренного сустава, и эти необратимые явления до сих пор напоминают мне при каждом шаге о том, что я побывала в «ежовых рукавицах».

В медицинской жизни участка произошли тем временем перемены. Готлиба куда-то перевели, и на место главного врача прибыл с инвалидного участка Шудога доктор медицины Лев Васильевич Сахаров, прекрасный человек, о котором речь будет ниже.

Для начальников построили новую больницу, и потому их прежнее хирургическое отделение с оборудованной операционной было обнесено колючей проволокой и вошло в состав «зоны». С половины лета 1939 года я, сильно прихрамывая и порой еще прибегая к костылю (с чем упорно боролся Лев Васильевич) стала работать в этом возглавляемом Алексеем Семеновичем Никульцевым «чистом» хирургическом отделении.

Жила я частью в кабинке при больнице, частью в общем бараке, и в течение пяти лет перед моими глазами протекала жизнь этого весьма своеобразного людского объединения — исправительно-трудового лагеря. Мои наблюдения над различными сторонами этой жизни составляют содержание трех отдельных очерков.

А. Лагерные начальники

Написав название, я подумала: «Как правы люди, считающие общие понятия лишенными конкретного смысла». Хотя понятие «лагерные начальники» гораздо более узко, чем «человечество» или «общественность», но оно вмещает в себя столько разновидностей, что требует детального рассмотрения.

Самый значительный вывод, который я сделала от соприкосновения с начальствующими лицами, заключался в том, что даже в таких предельно строгих рамках, как исправительно-трудовые лагеря, у них остается возможность проявить свою индивидуальную сущность.

В начале этой главы я уже сказала несколько слов об общих установках лагерной жизни в 1937—1938 годах и о моем первом столкновении с начальником Котласского пересыльного пункта Мельниковым. Уплывая вверх по Вычегде в середине лета 1938 года, мы освободились от власти этого мелкого сатрапа и попали в Пезмоге под мягкую руку начальника Ромашвили. Последний управлял недолго, но оставил хорошую память. Когда одна из наших женщин была направлена зачем-то на квартиру начальника, хозяйка дома была с ней очень приветлива, напоила кофе — только попросила не очень об этом рассказывать.

После Ромашвили появился начальник Кантемиров, молодой, красивый, откуда-то с Северного Кавказа. Обладая кукольным неподвижным лицом, он, как автомат, проходил по «вверенному ему участку» и на заключенных смотрел так, будто вместо них было пустое место. Кантемиров был очень ограничен в мышлении и предпочитал молчать, чтобы как-нибудь не уронить своего достоинства. Только один раз он вышел из состояния мумификации. Это произошло в то утро, когда выведенный им из равновесия з/к врач Ширяев закричал на весь лагпункт: «Вы надо мной теперь издеваетесь, а я был, есть и буду врачом. Вы же, если вас отсюда уберут, пойдете подметать улицу!» За удовольствие это сказать Ширяев заплатил карцером, от общих работ его спасло отсутствие обеих стоп — он ходил на протезах.

При Кантемирове, на протяжении нескольких лет, суд и расправу вершили комендант Нарсесьян и его помощник Кабакьян. Первый был тупой, самодовольный, но, к счастью, малоактивный человек. Зато Кабакьян, бывший участник бандитской шайки, сверкая красивыми черными глазами и ослепительным оскалом, поспевал всюду. Минутами он бывал беззаботен, весел и даже симпатичен, и тут же, с простодушием дикаря, мог совершать самые отвратительные поступки.

В один прекрасный день в больницу доставили человека преклонного возраста, которого Кабакьян подвесил к верхним нарам за ноги, головой вниз, за то, что тот отказался отдать ему полученные из дому деньги. Доктор Сахаров поднял дело, и царствованию Нарсесьяна и Кабакьяна положили конец. На их пост был, невзирая на его 58-ю статью, назначен ингуш Тунгуев, и годы, прошедшие с тех пор, как я покинула лагерь, не ослабили воспоминания об этом прекрасном коменданте. Всегда спокойный, выдержанный, он выполнял свои обязанности с большим тактом. Когда из женского барака, заселенного монашками, в канун праздников раздавалось слишком громкое церковное пение, на пороге появлялась высокая фигура Тунгуева, который тихо просил женщин «не забывать, где они находятся», и удалялся. Характерно, что порядка при Тунгуеве стало больше, чем было до него.

Когда в 1941 году Кантемиров отправился на фронт, его пост занял Александр Александрович Мосолов, человек добрый, простой, но взбалмошный и пьяница. Благотворное влияние на Мосолова можно было оказывать через его любимую дочь Верочку, которая была милым созданием и служила машинисткой в управлении за зоной. Летом 1943 года, перед моим освобождением, Мосолов выдал мне справку о пятилетнем медицинском стаже в лагере (которую, по уставу, он мог бы и не давать), и эта справка послужила мне путевкой в дальнейшую жизнь. Поэтому я чувствую благодарность к Мосолову, с которым до этого у меня был конфликт. Случилось же вот что.

Всем в лагере было известно, что я почти не ем хлеба и очень страдаю от отсутствия сахара. Поэтому ко мне часто приходили люди из мужского барака менять полученные ими микроскопические дозы сахарного песку на хлеб. Однажды ко мне явился какой-то подозрительный субъект, взял мой хлеб, положил на стол узелочек, в котором было якобы 100 грамм сахарного песку, и убежал. В узелке оказалась зола. Стоявший тут санитар возмутился и побежал за жуликом, крича: «Он нашу сестру обманул». В пылу азарта он чуть не сбил с ног проходившего по мосткам Мосолова. Последний, будучи «не совсем в порядке», не стал разбираться, в чем дело. Услышав, что сестра Аксакова что-то меняла, счел это недопустимым и снял меня с медицинской работы. Весь

лагпункт пришел в движение. Вольнонаемная начальница санчасти целую неделю «вправляла» Мосолову мозги, пока я отсиживалась в бараке. Наконец она решила действовать через Верочку — приказ был отменен и я благополучно приступила к работе.

К числу не прямых, а косвенных начальников принадлежал начальник КВЧ (культурно-воспитательной части). На этом посту в 1940 году оказался молодой человек по фамилии Криштал, который почему-то решил, что я могу быть ему полезна. Пригласив меня в свой кабинет, он конфиденциально сообщил, что пишет стихи и очень желает сотрудничать в газетах. Меня же он просит просмотреть его произведения, подлежащие опубликованию, и навести на них последний лоск. То, что я увидела, было так плохо, что исправлению не поддавалось. Поэтому я заново написала два стихотворения на данные мне Кришталом темы. Он подписал их своим именем, и стихи вскоре появились в Сыктывкарской газете. Криштал был в восторге, под сурдинку благодарил меня и тут же дал на исправление «лирические» стихи, в которых фигурировала какая-то «Клавочка в белоснежном белье». От этого дела я под каким-то предлогом отказалась.

Вскоре положение Криштала пошатнулось. Случилось это так: он выступил с лекцией о Горьком перед многочисленной аудиторией в помещении клуба. Дословно привожу отрывок из этой лекции, которая доставила моей приятельнице Любе Емельяновой и мне много веселых минут. Криштал говорил: «Когда царское правительство узнало образ мыслей Горького... оно стало его презирать; однако рабочие повсюду устраивали манифесты. В конце концов враги народа убили... нет, вернее сказать, умертвили Горького». По несчастному для Криштала стечению обстоятельств, во время лекции вошел неожиданно приехавший начальник северных лагерей Решетников. Послушав минут пять, он сказал коротко и ясно: «Прекратить эту халтуру». С тех пор я видела Криштала лишь один раз: в день объявления войны он снимал со столбов репродукторы.

Криштал был на нашем горизонте явлением комическим, не более. Проделки коменданта Кабакьяна были ужасны, но вполне соответствовали натуре дикаря. Виноват в них был не он, а кто-то другой.

Самое же отвратительное воспоминание я сохранила о вольнонаемном враче Золотухине Сергее Александровиче, которым наградила нас судьба за полгода до того, как я и многие другие подобные мне покинули лагерь. Это был только что выпущенный из института мальчишка, невзрачный на вид, злобный и ограниченный. Может быть, при направлении на работу в лагерь он прошел инструктаж о том, что к заключенным нельзя проявлять мягкосердечия. Если так, то эти рекомендации попали на благодарную почву.

С медперсоналом Золотухин был высокомерен, с больными безжалостен. Приходя в терапевтическое отделение, где я работала в последнее время, он прежде всего брался за учебник Кончаловского, где на ходу черпал сведения, которые ему могли понадобиться на обходе, причем читал он не молча, водя глазами по страницам, а пришепетывал, как это делают малограмотные люди. Затем, отложив книгу, он вызывал больных в дежурку и принимался их обследовать, стараясь это сделать как можно болезненнее для пациента. Как сейчас вижу больного с воспалением плечевого нерва и слышу окрик Золотухина: «Стои, стои, не сгинай!» (Молодой врач происходил из крестьян Воронежской губернии и сохранил обороты речи родного села, где, по-видимому, не признают «и» краткого.)

Атмосфера разрядилась самым неожиданным образом: в один прекрасный день Золотухин сел за Кончаловского, склонился на бок и упал на пол. Он был мертвецки пьян. Мы бережно положили врача на кушетку, где он прохрапел до вечера. Этот случай внес разрядку в наши отношения, и Золотухин стал нас замечать.

Я пишу эти строки вполне беспристрастно. Мне лично Золотухин не сделал ничего плохого, но я считаю, что такие врачи не должны уходить от суда людского, так как они не джигиты-головорезы, а, хотя и плохие, но медики.

Приведенный мною образец вольнонаемного сотрудника был наиболее неприглядным. Другие, не будучи по существу злыми или жестокими, все же наподобие пиявок, присосавшихся к обессиленному организму, старались высосать из заключенных возможно больше.

Женщин, главным образом монашек, они заставляли вышивать и вязать, расплачиваясь несколькими кусками сахару или небольшими порциями масла.

Со мной был такой случай: ко мне подошла вольнонаемная сотрудница финансовой части и сказала: «В несгораемом шкафу управления лагеря лежат ваши пересланные из Саратова золотые часы. Вам вряд ли когда-нибудь придется их носить, и потому я предлагаю продать их мне. Я вам принесу килограмм сливочного масла, а вы дадите мне доверенность, по которой я получу часы. Я сумею это устроить, а вам, в том положении, в котором вы находитесь, гораздо важнее улучшить свое питание, чем иметь часы, лежащие в сейфе управления». Я отказалась от этой сделки.

Но есть и приятные воспоминания о вольнонаемных начальниках. За год до войны в хирургическом отделении появилась молодая докторша родом из Серпухова. Фамилии ее я не помню, но знаю, что она была Ольга Дмитриевна. Вероятно, она прошла через такой же инструктаж, что и Золотухин. По натуре она была замкнута и даже сурова и потому вначале относилась к нам с заметным холодком. Интересно было наблюдать, как по мере общения с нами это предубеждение исчезает. Лед стал особенно быстро таять, когда Ольгу Дмитриевну начал провожать из столовой инженер Александр Александрович, только что отбывший срок по 58-й статье. В ходе частных бесед он, по-видимому, объяснил ей, что «не так страшен черт, как его малюют» (то есть мы!). В результате в пасхальную ночь 1941 года сестры хирургического отделения получили корзиночку с пирожными и записку «от Ольги Дмитриевны и Александра Александровича».

Б. 58-я статья

Хотя, как я уже писала, состав людей, заполнявших в 1938 году исправительно-трудовые лагеря, был необычайно разнообразен, все же напрашивается деление: 1) 58-я статья, 2) преступный мир, 3) прочие, то есть заключенные за бытовые проступки.

В свою очередь, 58-ю статью, на мой взгляд, можно подразделить на три группы: а) интеллигенция, б) церковники и евангелисты, в) нацмены (кавказцы, немцы Поволжья, жители Средней Азии). Настоящий очерк включает главным образом воспоминания о лицах первой подгруппы.

Однажды (это было осенью 1940 года) я зашла в помещение санчасти, где велся амбулаторный прием, и за дощатой перегородкой услышала разговор, привлекший мое внимание не словами, а интонацией. Человек говорил очень быстро, глотая окончания слов, но манера говорить мне понравилась, и я подумала, что эти интонации подходят для моего «салона». («Салоном» в шутку называли дежурку, где я жила и где имела возможность иногда предложить кружку чаю — чашек у нас не было — двум-трем своим друзьям.) На дворе лил дождь. Двери комнаты, где я находилась, отворились, и на пороге показался очень высокий, немного сутуловатый человек лет пятидесяти, в бушлате, с сумкой Красного Креста через плечо. К его ногам, обутым в бахилы, были привязаны подобия галош. Собственно, это были не галоши, а громадные раковины из кордовых пластов. Вокруг пришедшего сразу образовалась лужа, так как одежда его была пропитана водой. Он беспомощно остановился на пороге, развел руками, посмотрел на свою обувь и сказал: «Одним кораблем я когда-то умел управлять, а двумя сразу — не могу!»

Так произошло мое знакомство с бывшим деканом Военно-морской академии, ныне фельдшером санчасти Василием Ивановичем Рязановым. Благодаря его остроумию и познаниям в самых разнообразных областях мой «салон» был блестяще украшен.

Зимой 1940 года санчасть организовала курсы повышения квалификации медперсонала, и Василия Ивановича избрали деканом этого «университета имени Бобриной»*. Он же преподавал медицинскую латынь. Упомянув, что медикаменты выписываются в родительном падеже, Василий Иванович переходил на более интересные темы,

* Заведующая санчастью Бобрина, фельдшерица по образованию, была в достаточной мере груба и не отличалась строгостью нравов. — *Прим. автора.*

так или иначе связанные с латынью. Зона беспредельно расширялась, и очарованные слушатели присутствовали на посвящении епископа Кентерберийского, умилялись эпитафией Элоизы на гробнице Абеляра, расшифровывали надписи, вычеканенные на средневековых колоколах, и заучивали латинские пословицы, цикл которых завершался назидательной: «Tace, jace in furnace» («Молчи и грейся на печке»).

Те «крутые горки», по которым пришлось пройти Василию Ивановичу, крайне расшатали его здоровье. Он был истощен, а для поддержания его крупного тела требовалось много пищи. На помощь пришла спасительная санчасть. Василий Иванович вспомнил, что до того как закончить юридический факультет Одесского университета, он проучился два года на медицинском факультете, следовательно, имеет звание фельдшера. Будучи человеком оборотистым, он взял на себя инспекцию сектора питания и проводил большую часть дня на кухне. Помимо того, что он снимал «пробу» на месте, несколько порций «баланды» сливались «на вынос» в специальную плоскую флягу, которая бесследно исчезала во внутреннем кармане его обширной черной шинели морского образца.

Застраховав себя таким образом от голода, Василий Иванович не смог застраховать себя от холода, в первую же зиму заболел воспалением легких, и «салон» перенесли из дежурки к его койке в больничной палате. Рядом с ним лежал молодой врач Лев Васильевич Заглухинский, сын известного патологоанатома (учился в гимназии Шелапутина с кем-то из Львовых). Он был, безусловно, умен, но обладал плохим характером и склонностью к алкоголю. Зимой 1940 года Заглухинский страдал тяжелой формой радикулита, кряхтел, но все же иногда принимал участие в наших разговорах.

С другой стороны от Василия Ивановича лежал некий московский юрист (фамилии не помню), который был покрыт «рыбьей чешуей» — особый вид пеллагры, при котором с поверхности кожи отделяются сухие, прозрачные пластинки.

Хотя зима 1940—1941 годов не была исключительно холодна, но все же морозы вполне соответствовали тем

высоким широтам, в которых мы находились. Из окон дуло, и Василий Иванович еще до своей болезни попросил меня соорудить ему какое-нибудь прикрытие для лысины. Вязанье и вышиванье занимают почетное место в жизни женщин, находящихся в заключении, и потому я сразу принялась за дело. Распустив свою темно-синюю шерстяную шапочку, я связала тюбетейку, которую и возложила на главу Василия Ивановича.

В одно из моих посещений разговор зашел о Леониде Андрееве. Василий Иванович вспомнил о неприятном впечатлении, произведенном на русское общество рассказом Андреева «Бездна». Софья Андреевна Толстая якобы писала своим знакомым: «Будьте любезны, не читайте "Бездны"». В моем мозгу мгновенно возникли ассоциации: я уставилась на тюбетейку Василия Ивановича и воскликнула: «А знаете ли вы, что та самая шерсть, из которой связана эта вещь, лежала на столе в Ясной Поляне и к ней, может быть, прикасался Лев Николаевич?!»

Далее я пояснила, что гостившая у меня в Ленинграде в 1931 году старшая внучка Толстых, Анна Ильинична, задумала распустить детское одеяло, связанное ей много лет назад бабушкой Софьей Андреевной. Из этой шерсти Анна Ильинична связала две шапочки — себе и мне. Моя шапочка превратилась теперь в тюбетейку.

Выслушав мой рассказ, Заглухинский высунул свой острый нос из-под одеяла и сказал: «Ну, спасибо, Татьяна Александровна! Теперь я понимаю, откуда у Василия Ивановича такое непротивление злу, когда он обследует наше питание!»

Василий Иванович был, между прочим, и литератором. Писал он авантюрные романы под псевдонимом Капитан Кид, и я видела напечатанный в одном из военных журналов рассказ «Гиена Тихого океана» на тему о японском шпионаже. Соприкоснувшись в свое время с писательскими кругами, Василий Иванович был в курсе всех сплетен литературного мира. Помню его рассказ о том, как на заседание Союза писателей в начале 30-х годов явилась Вера Инбер с целью отмежеваться от компрометирующего ее родственника (Троцкого) и начала речь словами: «Мой дядя самых подлых правил...» Собранию подобная развязность весьма не понравилась и оратора освистали.

Не знаю, горели ли у Веры Инбер уши, когда мы на дальнем севере «перемывали ее косточки». В это время она на дальнем юге, в Колхиде, замаливала грехи и писала восторженные стихи о своем посещении Гори.

Главным врачом больницы участка, как я уже говорила, был доктор медицины Лев Васильевич Сахаров, человек, к которому я всегда относилась с большим уважением и которого теперь, в перспективе лет, еще более оценила. Лев Васильевич был благороден и благовоспитан. Поставленный в тяжелейшие условия работы и быта, он на моей памяти не совершил ни одного некорректного поступка.

Несмотря на свой почтенный возраст, Лев Васильевич обладал хорошим здоровьем, вел спартанский образ жизни и был неутомим. Во всех углах зоны можно было видеть его прямую фигуру и развевающиеся от быстрой ходьбы полы белого халата. Занятый своими мыслями, Лев Васильевич легко мог по дороге два раза поздороваться с одним и тем же человеком, чем часто вызывал насмешки местных зулусов. Некоторые обитатели лагпункта, законченные образцы невоспитанности, возмущались нарушением ритуала взаимного приветствия и считали, что «доктор выживает из ума».

К чести начальствующих лиц, я должна сказать, что, несмотря на свой независимый тон, доктор Сахаров пользовался их уважением. Только одна Бобрина позволяла себе с ним иногда «хамить», но это был ее стиль.

По натуре чуждый всяких интриг, Лев Васильевич не замечал их в других, был доверчив и иногда попадал впросак. Одной из его «ошибок» стала прибывшая в наши края летом 1939 года Елена Михайловна Андреева, жена секретаря ЦК комсомола Смородина. Эта дама принадлежала к привилегированным слоям Ленинграда. Ее лицо, носившее отдаленные следы монгольского типа, нельзя было назвать красивым, но привезенные ею блузки и халаты из магазина Невский, 12 (заведующая Софья Лапидус) сразу вознесли ее на пьедестал.

Елена Михайловна была совсем не глупа (она только что окончила университет по отделу экономической географии) и, кроме того, обладала счастливой способностью

повышать свою ценность в глазах окружающих требовательностью и апломбом.

Прибыв в Пезмог, она сыграла на рыцарских чувствах доктора Сахарова, который нашел у нее какое-то «ченстоховское дыхание», создал ей санаторные условия и называл ее не иначе, как «светлый ум», в то время как завистливые обитатели лагпункта говорили: «Доктор выживает из ума!»

Принимая как должное заботы Льва Васильевича, Елена Михайловна отплатила ему черной неблагодарностью: пустила про него какую-то клевету и устремила благосклонный взгляд на его врага Льва Васильевича Заглухинского. Василий Иванович Рязанов не преминул сострить по этому поводу, предложив включить в программу кружка самодеятельности новый аттракцион: «Два Льва и Елена Бесстрашная».

Доктор Сахаров знал семью Рязановых по Одессе, где отец Василия Ивановича в свое время был председателем суда. Признавая достоинства Василия Ивановича как интересного собеседника, Лев Васильевич в глубине души относился к нему с холодком, считая его карьеру несколько авантюристичной.

Совсем иначе он отзывался о своем знакомом по Шудогскому участку — Василии Павловиче Крюкове, говорил о нем с симпатией и надеялся перетащить его к нам. Однажды, зайдя в кабинет главного врача, я застала там плотного человека средних лет с красивым лицом былинного склада. Перед ним лежала увесистая рукопись, на заглавном листе которой стояло: «"Тимур", поэма в стихах, сочинения В.Крюкова». Лев Васильевич познакомил меня со своим гостем и предложил остаться, чтобы прослушать новую песнь поэмы, которую автор привез на его суд. Зазвучали стихи, посвященные завоевательному походу Тамерлана. В широких экзотических картинах чувствовалась тоска автора по ярким краскам, широким просторам и солнцу, а также его основательное знание природы, быта и исторического прошлого Средней Азии.

Василий Павлович остался у нас на участке, и у нас установились дружеские отношения. Не раз я прослушивала песни из «Тимура» (поэма была монументальной),

но с большим интересом относилась к другому произведению Крюкова — семейной хронике времен завоевания Туркестана, в которой автор описывает три поколения своей собственной семьи. «Семья Скабеевых» — это история промышленников-колонизаторов, пришедших в Среднюю Азию вслед за русскими войсками, трудом и энергией создавших себе состояние, осевших в Самарканде и в третьем поколении не выродившихся, а давших европейски образованных людей.

Крюкову, однако, суждено было прославиться на нашем участке не как литератору, а как живописцу. Он обладал талантом пейзажиста и с невероятной продуктивностью рисовал акварели, которые создавал по памяти (последнее было особенно ценно в наших условиях удаленности от «натуры»).

Начальство, увидев эти рисунки и учтя, что мы перешли на хозрасчет, решило не зарывать крюковский талант в землю. Образцы его продукции были посланы в город Киров, откуда поступил заказ. Организовалась художественная мастерская, а рядом с ней другая — по окантовке акварелей под стекло. Для отбора рисунков по качеству и для оценки их назначили жюри, в состав которого вошли Сахаров, доктор Иванов и я.

Следуя увлечению живописью на участке, Василий Иванович Рязанов поставил в мастерской мольберт и начал писать маслом картину, на которой был изображен морской берег, шхуна, рыбачий костер и женщина в купальном костюме (последняя по рекомендации начальства была в конце концов убрана). Так, еще в одном месте, в дополнение к больничным дежуркам, появилось подобие человеческой жизни.

Тот, кому попадут в руки мои записки (если только они попадут!), вероятно, заметит, с какой легкостью я переключаюсь на юмористический тон. Эта (может быть, французская!) способность видеть смешную сторону вещей очень помогала мне в жизни.

Были, однако, люди и положения, мысль о которых вызывала и вызывает одну сплошную грусть без всякой примеси смеха, даже «смеха сквозь слезы». Таковы воспоминания о двух Федорах Федоровичах, персонажах

эпизодических, но которых я, так же как Шабука и Али-Мамеда, по сие время не забыла.

Федор Федорович Шу прибыл на наш участок с пешеходным этапом поздней осенью 1942 года, то есть в военное время, когда условия жизни в лагерях значительно ухудшились. Я увидела вновь прибывшего в тот момент, когда санитар с трудом стаскивал бахилы с его отекших и покрытых ранами ног. Пульс еле прощупывался. Однако, после того как больного уложили на койку, покрыли чистой простыней и напоили горячим чаем, он стал много и возбужденно говорить, причем эта была смесь вполне разумных слов и фантастики. Выражения благодарности за уход перемешивались с рассказами о себе и перечислением литературных тем, которые теснились в его мозгу и которые он обязательно должен был претворить в рассказы и новеллы. Слушая эти речи, я поняла, что передо мной человек по имени Федор Федорович Шу, ленинградец, живший где-то в районе Старо-Невского, по специальности преподаватель. Несмотря на тяжелейшее состояние — алиментарные отеки и авитаминоз, — лицо его было приятным, серые глаза сохранили блеск и живость.

На следующее утро состояние больного как будто улучшилось — он попросил карандаш и бумагу и стал что-то писать четким, круглым почерком. В конце дня он передал мне на сохранение принесенные с собою тонкие пластинки из лубка, на которых были нацарапаны названия его будущих повестей. (По-видимому, там, где он был раньше, не давали письменных принадлежностей.) Деревянные пластинки я не могла сохранить, так как они вскоре рассыпались, но все нацарапанное на них я тщательно переписала. Вот заглавия задуманных, но не написанных новелл: «Жизнь одного из нас», «Работяги и доходяги», «Современный Иов», «Неувядаемые ценности», «Герои и героини», «Пути мудрости», «Прегрешения и возмездие».

На третий день Федор Федорович уверял меня, что все запроектированное на лубочных пластинках он обязательно напишет, но сейчас он обдумывает историю мальчика Додика и его игрушечных зверей — песенку Додика он уже сложил. Я не уяснила себе, кто был

Додиком — его сын или так называли самого Федора Федоровича в детстве, но вспомнила, что, будучи при смерти, тоже имела тяготение к детской и перебирала елочные украшения. В этом, по-видимому, есть какая-то закономерность.

Вечером, когда я уходила с дежурства, Федор Федорович подарил мне на память кусочек бумаги в 10 кв. см, на котором мельчайшим почерком написал бальмонтовского «Умирающего лебедя». Стихи были воспроизведены с замечательной точностью: ни одна запятая не была пропущена. В конце стояло: К.Бальмонт, инициалы Ш.Ф. и дата — 13 октября 1942 года.

На следующее утро, придя в палату, я увидела, что Федор Федорович накрыт с головой одеялом, и узнала, что ночью он скончался. Через два часа его отнесли «за конпарк» — в место захоронения лагерных «доходяг», — но пронесенный мною через вахту клочок бумаги с «Умирающим лебедем» лежит передо мной как доказательство реальности всего вышеописанного, в которую я подчас и сама не верю. Я перечитываю заключительное четверостишие:

Не живой он пел, а умирающий.
Оттого так пел в последний час,
Что пред смертью, вечно примиряющей,
Видел правду в первый раз.

И мне кажется, что «красивость» бальмонтовских строк, пройдя через больничный барак Пезмогского лагпункта, превратилась в красоту.

Описывать второго Федора Федоровича по фамилии Адоэ мне трудно потому, что он ничем не был замечателен, кроме своей кротости, и оставил, как напоминание о себе, не стихи, а старенький вещевой мешок из домотканого холста, который я тоже пронесла через вахту как лагерную реликвию. Верный образ второго Федора Федоровича мог бы создать лишь певец униженных и оскорбленных — Достоевский.

Происходил этот милый человек из семьи осевших в 1812 году в России французов, и предки его, может быть, назывались когда-то Adoe de... и т.д. (хотя последнее лишь

мое предположение!). До ареста в 1937 году Федор Федорович жил в городе Борисоглебске, где у него в тяжелом материальном положении остались жена и подросток сын.

Наше знакомство началось так: я сидела на куче бревен и что-то шила, когда из инвалидного барака вышел человек лет пятидесяти и вежливо попросил меня отметить инициалами Ф.А. полученное им из дому полотенце. Я, конечно, выполнила его просьбу, причем заметила, что у моего нового знакомого какие-то водянистые, но очень добрые глаза. С тех пор человек с инициалами Ф.А. стал иногда заходить ко мне в дежурку, и, хотя он никогда ничего не просил и ни на что не жаловался, я видела, что он голодает, и старалась приберечь для него какие-нибудь остатки пищи, которые он принимал лишь после моих настояний.

И все же это дело окончилось бедой. Увидев однажды в раздаточной кастрюлю с оставшимся от обеда киселем, я мгновенно опорожнила ее в котелок Федора Федоровича Адоэ, не сделав указаний, что голодающему человеку надо есть кисель «через час по ложке». Придя в барак, Федор Федорович, по-видимому, не удержался, съел весь кисель сразу и ночью в том же бараке умер. Хотя бедный Адоэ принадлежал к «доходягам», причина смерти которых никого особенно не интересовала и точному изучению не подвергалась, я предполагаю, что ему повредил мой кисель, и считаю себя косвенной, хотя и невольной виновницей его смерти.

Переходя к «церковникам», должна сказать, что выдающихся духовных лиц, подобных бывшему с моим братом в Соловках Владимиру Константиновичу Лозина-Лозинскому, я не встречала. На лагпункте было несколько совсем старых священников и много монашек, которые в канун больших праздников пели тропари и кафизмы, по вечерам вязали кружева, а днем сидели в подземных овощехранилищах, чистя картошку. Однако и на этом фронте случилось необычайное происшествие.

В монашеском конце женского барака в отдельной кабинке жила болезненная особа по имени Марфуша. У нее подозревали туберкулез и на работы ее не «гоняли». Марфушина кабина была украшена бумажными цветами,

вязаными салфеточками и прочими принадлежностями мещанского уюта. Впечатления особой «святости» Марфуша не производила, однако у нее случилось видение, во время которого ей была указана дата ее кончины. Наутро Марфуша раздала не только бумажные цветы и салфеточки, но и все остальное имущество и стала ждать смерти, которая наступила в назначенный срок. Не могу забыть той уверенности, с которой Марфуша раздала вещи: остаться в лагере без самого необходимого — плохо, но в данном случае не было никаких колебаний. Марфуша твердо верила в назначенный ей срок смерти и не ошиблась.

Довольно большую группу на нашем лагпункте составляли евангелисты, люди мало интеллигентные, но стойкие в своих убеждениях и стремившиеся проводить их в жизнь. Они собирались иногда на бревнах за бараками или в другом каком-нибудь укромном углу зоны и затягивали заунывные псалмы, возбуждая негодование наших партийцев — я имею в виду не начальников, а таких же заключенных, как мы, только никак не могущих забыть своих прежних прав и обязанностей. О таких людях, несмотря на их малочисленность, следует сказать несколько слов.

В 1939 году со свердловским этапом прибыли фельдшерица Елена Николаевна Дебален, внешность которой совсем не соответствовала фамилии, звучавшей по-французски (хотя оказалась латышской!). Вновь прибывшая напоминала зобастого голубя: ее голова с широким, бледным, всегда недовольным лицом была откинута назад; манеры тоже не отличались мягкостью. Однако мое первое впечатление о будущей коллеге по хирургическому отделению (Елена Николаевна стала операционной сестрой) было не зрительным, а слуховым. Будучи еще больной, я услышала через стенку, как незнакомая особа рассказывает содержание своего сна: «Вообразите! Я вижу, что какие-то враги собираются напасть на товарища Сталина, но я, рискуя своей жизнью, кидаюсь и перегрызаю им горло!»

Несмотря на столь богатые запасы героизма, таящиеся в ее подсознании, Елена Николаевна Дебален — а это была она — прибыла к нам со сроком в 10 лет

по литере КРД. Подобно товарищу Преображенской в Ленинградском ДПЗ, она ни на минуту не забывала, что она член партии, и считала себя много выше других (рассказ о сне, по-видимому, имел целью еще более убедить нас в этом!).

Причиною ареста в данном случае, насколько я понимаю, стала необыкновенная фамилия, которая не понравилась органам свердловского УНКВД и к которой Елена Николаевна имела лишь косвенное отношение. Будучи воспитанницей Льговского детдома, она вышла замуж за старого фельдшера, латыша Дебалена, в надежде, что он поможет ей получить медицинское образование. Окончив фельдшерскую школу, Елена Николаевна покинула мужа, но роковая фамилия осталась у нее в дипломе и в паспорте. Проведя после этого несколько лет в Одессе, она перебралась в Свердловск, вышла замуж за ответственного работника, достигла благополучия и неожиданно очутилась в Локчимлаге. Муж не замедлил от нее отказаться и попросил «письмами его не беспокоить».

Другим представителем того же толка был завхоз больницы Могила, человек, может быть, по-своему и честный, но очень ограниченный. Во всяком случае, доктор Сахаров приходил в отчаяние от его тупоумия. Самым значительным событием своей жизни товарищ Могила считал знакомство с Емельяном Ярославским, о котором он постоянно вспоминал и к которому взывал о помощи, не получая ответа*.

Я завела речь о Дебален и Могиле и объединила эти два образа потому, что они-то и считали себя обязанными, «по долгу членов партии», пресекать пение евангелистов на задворках бараков. Дебален впоследствии кое-чему научилась от жизни, но Могила остался непоколебим.

На этом я заканчиваю очерк о людях 58-й статьи. Более яркие типы с их далеко не обыкновенными нравами, взаимоотношениями и поступками будут выведены в следующем очерке.

---

* Емельян Михайлович Ярославский (1878—1943) — революционер, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР, председатель Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б).

Рискуя навлечь на себя упрек в злоупотреблении эффектами в духе Эдгара По, я все же начинаю с описания случая, имевшего место в Пезмогском лагпункте в 1940 году, причем ничего не преувеличиваю и ничего не искажаю.

То, что увидел вызванный нами по телефону хирург Никульцев, когда он быстрыми шагами, с раскрасневшимся от мороза лицом вошел в хирургическое отделение, было поистине ошеломляющим. Высокий широкоплечий Алексей Семенович побледнел и подался назад, хотя произведенная им незадолго до того операция могла, до известной степени, предварить его к этому зрелищу: перед ним в коридоре стоял на одной ноге совершенно голый человек. Через плечо у этого человека шел широкий ремень, поддерживающий протез другой, отнятой по бедро ноги. Откинутая назад голова с выпученными глазами держалась на одном позвоночном столбе. Дыхательное горло и пищевод были перерублены, и только каким-то чудом уцелевшие сонные артерии питали мозг этого страшного существа, которое издавало хриплые звуки и било кулаками в дверь операционной, требуя наркотиков. Видя, что дверь не подается, этот фантом бросился на пол и стал кататься, издавая жуткие, напоминающие крик попугая, звуки. Повязку с горла и всю одежду он сорвал с себя заранее, когда отправился из палаты в экспедицию за эфиром.

Этим страшным видением, заставившим содрогнуться даже нашего Алешу-богатыря, был главный Дон Жуан «преступного мира» участка, «жулик» Жора Полянцев. До пребывания в лагере я не знала, что «жулик» есть почетное звание, нечто вроде генеральского чина. Мелкого вора в его среде никогда не назовут жуликом — этот ранг нужно заслужить квалифицированными деяниями. Мелкие воришки называются «крохоборами».

Такой «крохобор» по фамилии Командиров зимою 1940 года стал посещать наше хирургическое отделение. Это был мальчик лет восемнадцати, с туберкулезными свищами, которые мы облучали кварцевой лампой. Держал он себя скромно и даже робко. По примеру своих собратьев рассказывал какую-то фантастическую историю

о том, что происходит из прекрасной семьи и лишь случайно попал в «преступный мир». Что Командиров был новичком в своем ремесле, подтверждалось, с одной стороны, его юным возрастом, а с другой — тем, что у него были целы руки и ноги. «Жулики», как правило, бывают инвалидами. Оперируя в районе железных дорог, они часто попадают под колеса вагонов или же, как поется в «блатной» песне, их «советской пулей крепко бьют». В лагере они не работают или, в лучшем случае, если у них целы руки, сапожничают.

Прибыв на Пезмогский участок незадолго до рокового для него дня, Полянцев быстро приобрел вес в своей среде. Это был «тот парень»! Женщинам нравился его развязный и пренебрежительный тон, а мужчины прислушивались к его голосу, когда сходились «качать права».

Утром рокового дня одна из очарованных женщин, Тося Дедикова, сидела на верхних нарах и, болтая единственной ногой (вторая была утрачена в жизненных битвах), предавалась печальным размышлениям: она в чем-то провинилась перед своим коллективом, и накануне, на собрании, Полянцев предложил применить к ней суровый вид репрессии — полить ее из поганого ведра, после чего она считалась бы опозоренной и никто из ее среды не мог бы иметь с ней ничего общего.

В барак вошел автор проекта с гитарой в руках. Перебирая струны, он пел: «Дитя, торопись, торопись, помни, что летом фиалок уж нет!» Дедикова хриплым голосом спросила с верхних нар: «Жора! Правда ли, что ты хочешь лишить меня звания Тоси?» Продолжая перебирать струны, Полянцев пожал плечами и сказал: «А какое мое дело?!» Потом бравурным речитативом повторил три раза «фиалки, фиалки, фиалки», приглушил струны ладонью и вышел из барака. Это была его последняя песня.

Вечером, когда он спал, к нему подкрался Командиров, которого он оскорбил за карточной игрой, и топором перерубил ему горло. (К Тосе Дедиковой это дело отношения, по-видимому, не имело.)

Когда Полянцева принесли в хирургическое отделение, он истекал кровью. Никульцев принялся перевязывать сосуды, накладывая швы. Было очень трудно разобраться в общем кровавом месиве. Маску с наркозом я держала

не над ртом и носом, которые были отрезаны от дыхательных путей, а над зияющим отверстием дыхательного горла с торчащим осколком перерубленного надгортанного хряща, чем, конечно, мешала оператору.

На первый взгляд, дело казалось безнадежным, однако Полянцева сняли со стола живым. Начались мучительные для персонала дни: кормление производилось через трубку, вводимую в пищевод. Дышал Полянцев также через раневое отверстие. Он все время страдал от жажды. Питье через трубку его не удовлетворяло. Мозговые клетки еще не забыли, что люди пьют через рот. Он хватал чайник, выпивал до дна, вода текла через рану и заливала постель. По вечерам требовал наркотиков, разбивал стекла в дверях, срывал с себя бинты и, конечно, инфицировал рану. Умер Полянцев на двенадцатый день, от сепсиса.

Два раза его навещали товарищи, которым он писал записки, прося отомстить за него. Обсудив дело на собрании и проконсультировавшись со знатоками, товарищи заявили, что Командиров имел право сделать то, что сделал, и мстить они не будут. С этим Полянцев и умер. Органы НКВД аннулировали отбытые Командировым два года, он вернулся к исходному пункту — десяти годам, был переведен на другой участок и исчез из моего поля зрения.

Если к страхам в духе Эдгара По я отношусь сравнительно спокойно, то пребывание в общих камерах и этапных вагонах с уголовниками при полном невмешательстве конвоя в дела своей паствы мне кажется поистине ужасным. Человек, непричастный к преступному миру, буквально предается этому миру на съедение — он беззащитен. Ошеломленный потоком удалых жаргонных слов, он должен бесстрастно наблюдать, как съедают его последние продукты или разыгрывают в карты его вещи. При малейшей попытке протестовать он может быть избит до полусмерти, причем делаться это будет по возможности тихо. Самый удобный способ воздействия — это сжимание горла. Нет крика и очень эффективно.

Когда у «фраера», то есть обывателя, нет ни хороших вещей, ни продуктов, его используют иным образом:

у него выкрадывают какой-нибудь совершенно необходимый ему предмет (например, очки) и потом заставляют этот предмет выкупить, чаще всего хлебным пайком. (Так, мой приятель Александр Петрович Левашев хронически выплачивал полпорции хлеба за свои беспрерывно исчезающие очки.) Надо сказать, что такие дела практиковались, главным образом, на инвалидных участках (где не могло быть отпора) «крохоборами». «Жулики» до этого не унижались.

Меня лично судьба хранила от издевательства «урок». Переезд мы совершили более или менее изолированно. Первые полтора года по прибытии в лагерь я была настолько тяжело больна, что вызывала не зависть — эту мать всех пороков нашего времени, а жалость. Когда же я каким-то чудом осталась жива и снова стала работать в больнице, то превратилась в полезное лицо, с которым лучше было не терять дружбы.

Недели не проходило, чтобы к нам не приносили «резаных». Уголовники резали друг друга, но еще чаще самих себя. Делалось это в виде протеста против какого-нибудь действия начальства. Ранения были в большинстве случаев поверхностными, но очень кровавыми. Обыкновенно лезвием бритвы рассекалась брюшная стенка слева, апоневроз оставался цел. «Самореза» несли товарищи на носилках, сзади шел комендант, и пострадавший при каждом движении стереотипно кричал: «Ах, мама родная!» Операционная сестра Дебален деловито принималась за наложение швов, я же давала «рауш»* или сочувственно держала «самореза» за руку, рассматривая раскрывавшиеся перед моим взором наколки с сентиментальными надписями. Чаще всего встречалось сердце, пронзенное стрелами, похожими на дренажные трубки. Вокруг сердца шла надпись «Не трожь его!».

У хирургического отделения были свои адепты из преступного мира. Среди преданных нам людей была Надя Муравьева, женщина лет тридцати пяти с правильным, умным, поблекшим лицом, тонкими губами и косами, венком заложенными вокруг головы. Муравьева была

* Рауш-наркоз — кратковременный поверхностный наркоз, вызванный вдыханием воздуха с высокой концентрацией паров эфира.

крупной воровкой-рецидивисткой. К больнице она благоволила, и, когда Елена Михайловна Андреева, о которой я рассказывала во втором очерке, попала ей в руки на Шудогском участке, Надя, мстя за козни против доктора Сахарова, устроила ей «то житье». Все вещи из магазина Софьи Лапидус были украдены, а спесь несчастной Елены Михайловны сбивалась планомерными издевательствами.

Конец Нади Муравьевой оказался трагичен. В 1943 году она и ее «лагерный муж» — тихий, маленький человечек Вася — были актированы как туберкулезники. Они собирались предаться тихому счастью где-то около Сыктывкара, но, как поется в «блатной песне», «люди завидовать стали, разбили семейный покой». Перед выходом на вахту Васе сообщили, что Надя изменила ему с монтером Сережей. Помню, как Надя в испуге пряталась по баракам, и я удивлялась, что ревность тихого Васи может вызвать такой ужас. Вася, однако, успокоил ее, сказал, что все прощает, и провел через вахту в широкий, вольный мир. Через несколько дней пришло известие, что, заведя Надю в лес, тихий Вася намотал ее косы на руку и отрубил ей голову.

В том, что уголовники совершают уголовные деяния, в конце концов нет ничего странного. Меня всегда гораздо более поражала та легкость, с которой они после совершения самых варварских поступков переключаются на слащаво-сентиментальный тон. Преступный мир глубоко воспринял пошлую лирику мещанства и крепко за нее держится. «Блатные» песни и «блатные» излияния преисполнены избитых образов: тут и «одинокая могилка», и «старушка-мать», и «возлюбленная пара». Одно время во всех бараках звенела песня:

В стороне у Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток,
Я живу без нужды и без горя,
Строю новый стране городок.

Скоро кончится срок приговора,
Я со сроком своим развяжусь
И на поезде в «мягком» вагоне
Я к тебе, моя крошка, вернусь.

Воровать «завяжу» я на время,
Чтоб с тобой, моя детка, пожить,
Любоваться твоей красотою
И колымскую жизнь позабыть.

Первый куплет, несомненно, вышел из недр какой-нибудь КВЧ, дальше же пошло коллективное творчество. Песня, потеряв всякий логический смысл (положение первого куплета опровергается положением третьего) и украсившись разными «крошками» и «детками», прочно вошла в быт.

Может быть, нигде человеческая приспособляемость не выявляется с такой яркостью, как в лагере. Время делает свое дело, дни идут, и мало-помалу насильственно соединенные, казалось бы, несоединяемые элементы привыкают друг к другу. Дикие звери с яростью накидываются на незнакомое — осмотренный и обнюханный предмет становится менее одиозен. Враждебность между представителями преступного и непреступного мира постепенно заменяется равнодушием, а в отдельных случаях даже благожелательным отношением. Главное яблоко раздора — домашние вещи — мало-помалу исчезают, блекнут, теряют всякую привлекательность, и губительная страсть зависти затихает под общим нивелирующим покровом бушлата второго или третьего срока.

Все здесь написанное характерно для того времени, когда жизнь лагеря протекала «нормальным» порядком. С наступлением войны этот порядок нарушился в сторону, неблагоприятную для заключенных. До 22 июня 1941 года до нас еще доходили известия по радио. Помню, как я удивилась, услышав выступление Алексея Алексеевича Игнатьева, о возвращении которого в Советский Союз я не знала. Дело было в дни финской кампании, и он на чем свет стоит ругал своего сослуживца по Кавалергардскому полку Маннергейма. Но как только началась война с Германией, все репродукторы в зоне были сняты и, что еще более странно, я — по-видимому, как «заложница» — была выведена из зоны и посажена в изолятор.

Произошло это так: в один из вечеров первых чисел июля в хирургическое отделение явился помощник

коменданта и предложил мне «собраться с вещами». По его смущенному виду было ясно, что он выводит меня далеко не на свободу. Я быстро уложила свой чемодан и, как опытная арестантка, знающая, что для сохранения душевного равновесия в одиночке необходимо заниматься рукоделием, не забыла взять с собой полутораметровый кусок полотна, незадолго до того подаренный мне одной из наших дам, женой бывшего директора Коломенского завода Наной Кукс. В него я воткнула две иголки и завернула катушку ниток. За вахтой к нашему кортежу присоединились еще два человека и их конвоир. Несмотря на темноту, я узнала Георгия Николаевича Перакиса, преподавателя физики из Одессы, с которым я была в хороших отношениях, поскольку он незадолго до того лежал в нашем отделении по поводу аппендицита, и его друга Апостолиди. Разговаривать мы не могли, но Перакис молча взял и понес мой чемодан.

Так мы среди ночи подошли к небольшой, хорошо укрепленной цитадели, находящейся в лесу на расстоянии километра от общей зоны, и были разведены по одиночным камерам. «Обдумывать» свое положение было бесполезно — оставалось только ждать, что будет дальше. Поэтому наутро я развернула свой кусок полотна, наметила рисунок и погрузилась в вышивание всевозможными мережками чайной скатерти. Ножницы мне заменял кусочек оконного стекла.

На третий день в качестве тюремного врача нас посетил Никульцев. Соблюдая самую строгую официальность, я заявила, что по состоянию своего здоровья не могу лежать на досках и прошу матраца. Последний мне был немедленно доставлен. Впоследствии Никульцев выражал удивление моей выдержке. (Будучи в некоторой степени эгоистом, Алеша-Богатырь, по-видимому, боялся, что я его встречу слезами, истериками и какими-нибудь просьбами, более существенными, чем просьба о матраце.)

В одной из камер, выходивших в общий коридор, сидел словоохотливый человек, который все время пытался заводить разговоры с надзирателями. Потом я узнала, что это был непримиримый Рахманов, который за свою несгибаемость уже получил лагерный срок. Каждое утро я слышала, как он красноречиво доказывал дежурным,

что находится в заключение не за преступления, а за «инакомыслие». Так как в одиночке у меня было много времени для размышлений, я вспомнила, что в гимназические годы была поражена отзывом Пушкина о «Горе от ума». Он говорил: «В этой комедии один умный человек. Это Грибоедов!» — «А Чацкий?» — думала я. Теперь же я убедилась, что, произнося умные речи, надо учитывать место и аудиторию. Чацкий и Рахманов одинаково в этом грешили.

В силу тюремных правил конвоиры и надзиратели должны были соблюдать в отношении заключенных суровость. Однако один из них, по фамилии Удачин, находил способ быть с нами ласковым без нарушения устава. Принося кипяток, он по очереди отворял наши двери и веселым, домашним голосом произносил одно только слово: «Самоварчик!» И от этого «самоварчика» сразу становилось легче на душе.

В конце июля солнце пекло нестерпимо — в камерах было душно. Став на нары, я могла видеть через решетку окна часть двора со штабелями дров. Мужчин выводили на работы, и со своего наблюдательного пункта я однажды увидела картину, прочно врезавшуюся в мою память. Прислонившись к бревнам, с пилой в руках, стоял обнаженный по пояс красивый, стройный Перакис и рядом с ним — маленький кривоногий солдат-коми, вооруженный винтовкой. «Грек в плену у скифов», — подумала я.

Дней через десять после заключения в одиночку меня вызвали к следователю и озадачили вопросом: «Что у вас спрятано в Саратове в сарае вашей бывшей квартиры?»

Через минуту я уже все сообразила и дала исчерпывающий ответ. Заботясь о своих вещах, брошенных на произвол судьбы у хозяйки Федоровой, я из лагеря написала жившей в Саратове Прасковье Александровне Муравьевой (мачехе товарища моего брата Шурика), прося ее взять наиболее для меня памятное и дорогое к себе. На это Прасковья Александровна ответила, что хозяйка, вернее ее сын, ничего не отдали, отговорившись тем, что мои вещи вынесены в сарай и завалены дровами, которые они из-за меня перекладывать не будут. Это письмо,

по-видимому, навело бдительных начальников на подозрение, что в Саратове у меня спрятано что-то очень страшное.

Думаю, однако, что это была не причина, а лишь предлог моего перевода в изолятор. Причиной было желание устрашить заключенных, и это было вполне достигнуто. В конце допроса мне сказали, что правдивость моих показаний будет проверена, и водворили обратно в камеру.

Вскоре после этого моя камера перестала быть одиночной: ко мне подсадили вольнонаемную кассиршу, произведшую растрату в магазине для начальствующего состава. Появление этой Клавочки имело, как и все в жизни, две стороны: хорошую и плохую. Хорошая заключалась в том, что я стала получать некоторые известия извне, а иногда и нечто более существенное. Клавочка имела свободное хождение по территории изолятора, кухаркой же там работала заключенная из общей зоны, и мои друзья иногда умудрялись посылать мне через нее съедобное подкрепление в виде куска сахара, белой булочки или котлеты. Это было очень ценно, так как казенный паек состоял из черного хлеба, отвратительного супа и небольшой сырой, присоленной рыбки, съесть которую меня не мог заставить никакой голод.

Плохая же сторона сосуществования с Клавочкой заключалась в том, что — как типичная представительница своего мещанского класса — она была опасна для моего душевного равновесия. Приходя из очередного турне по двору изолятора, эта особа вполне спокойно и даже с некоторым сочувствием сообщала, что меня обязательно расстреляют. Сначала ее очень раздражало то, что я не покладая рук вышиваю. Потом, по мере того, как кусок полотна превращался в довольно красивую скатерть, она стала с завистью поглядывать на мою работу. Все эти чувства, теснившие ее грудь, вылились, наконец, в одной незабываемой фразе: «Ах, Татьяна Александровна — я вас не понимаю! Зачем вы так себя утруждаете. Ведь, когда вас расстреляют, ваша скатерть все равно мне достанется». Я имела выдержку ответить: «Ну что же! У вас по крайней мере будет хорошая память обо мне!»

При всем нашем различии, одна тревожная ночь объединила мою соседку и меня в общем чувстве страха и предельной напряженности. В коридоре послышался топот многих ног, крики и ругань. Мимо нашей камеры пробегали люди и овчарки. Из отрывочных возгласов мы поняли, что два бандита с кличками Ручка и Торгсин сделали подкоп и убежали из изолятора. Готовилась погоня.

Наутро стало известно, что беглецов настигли в болоте за 18 километров от лагеря. Одного из них ранили, и обоих, по-видимому, жестоко избили. Во всяком случае, около уборной появилась куча окровавленного белья.

С описанием этого происшествия повесть о моем полуторамесячном пребывании в изоляторе, которое, вопреки пессимистическим прогнозам, окончилось благополучно, приходит к счастливому концу. В одно прекрасное утро пролетевший над нашей крышей самолет привез из управления лагеря распоряжение о моем переводе в общую зону.

Не знаю, были ли произведены раскопки в дровяном сарае на Покровской улице города Саратова, но правдивость моих показаний была, по-видимому, установлена, и мне предложили «собираться с вещами». Я уложила в чемодан не доставшуюся Клавочке скатерть и в сопровождении конвоира направилась к зоне.

От непривычно быстрой ходьбы или от нервного напряжения я почувствовала себя плохо и, не дойдя саженей ста до вахты, упала без чувств на землю. За мной тот же час выслали носилки, и я, торжественно, как «на щите», была внесена в зону под радостные возгласы ее обитателей.

Несмотря на отсутствие репродукторов, снятых, как я уже говорила, на второй день объявления войны, известия из внешнего мира просачивались в зону, вызывая напряженность. Мы слышали о наступлении германской армии, о налетах на Москву. Последнее получило конкретное подтверждение, когда из письма моего отца, находившегося в Можайске, я узнала о постигшем его новом горе: при прямом попадании бомбы во двор шереметевского дома погибла Ольга Геннадиевна. Отец сообщал мне об этом сухим телеграфным стилем, но это

только усиливало впечатление трагичности происшедшего. Когда немцы заняли Смоленск и Вязьму, отец эвакуировался по Сызрано-Вяземской дороге в восточном направлении. Под Ферзиковым их поезд подвергся бомбардировке и лишь чудом папа добрался до Алексина. Там он взял на плечи рюкзак и пешком прошел по берегу Оки сорок верст, отделяющие Алексин от Тарусы. В Тарусе жил овдовевший к тому времени Константин Ипполитович Ровинский. Он встретил отца с распростертыми объятиями и уговорил поселиться поблизости от него. Так вышло, что отец провел в Тарусе несколько лет, до тех пор, пока в 1947 году не получил возможности прописаться и жить в Москве.

Но все это я узнала значительно позднее. Поэтому возвращаюсь в обстановку Пезмогского лагпункта, который со времени войны стал, преимущественно, инвалидным. Василий Павлович Крюков, кладовщик Шор, сидевшие со мной в изоляторе греки и многие другие были назначены на этап и выбыли в неизвестном направлении. К моему большому сожалению, доктора Сахарова перевели от нас на Усть-Вымьский участок. С 1942 года стали поговаривать о том, что предстоит «актировка» инвалидов, отбывших половину срока, с целью выпуска их на волю.

Но прежде чем перейти к описанию того, как это происходило, я хочу ввести еще два персонажа, которые прибыли к нам в качестве инвалидов. С участка, носившего красивое название «Рубикасоль», был доставлен Лев Владимирович Гольденвейзер, двоюродный брат известного музыканта, юрист по образованию и режиссер 2-й студии Московского Художественного театра; из Корткероса — художник-портретист Коноплев. Так как Лев Владимирович Гольденвейзер будет и впоследствии встречаться на страницах моих воспоминаний, я ограничусь пока самым поверхностным его описанием. Начну с упоминания об исключительной остроте его ума, независимости суждений, о богатстве его наблюдений над самыми разнообразными явлениями литературной, музыкальной и театральной жизни Москвы первой четверти XX века. Все это, несмотря на его

истощение и пеллагру, делало Льва Владимировича очень интересным собеседником.

Упрекая его в некотором эгоцентризме, я в шутку говорила, что он лишь из вежливости выслушивает чужие реплики и с нетерпением ждет момента, когда собеседник закроет рот и тем даст ему возможность продолжить изложение своих собственных мыслей. Лев Владимирович это отрицал, но не очень убедительно.

Если Гольденвейзер был критически настроен к окружающему его бытию (не только в лагерном, но и в более широком плане), то мой новый знакомый Коноплев (к сожалению, я не помню его имени и отчества) впадал в другую и гораздо более удивительную крайность: он был «эйфориком» и считал, что «всё к лучшему в лучшем из миров». Поздней осенью, когда земля уже была покрыта снегом, с агробазы — нашего филиала — прибыла телега и с нее бодро, хотя и дрожа от холода, спрыгнул человек лет пятидесяти, одетый в больничное белье и закутанный поверх белья в одеяло. Из этого кокона выглядывало розовое, лишенное растительности личико, озаренное детской улыбкой.

Это и был известный в Ленинграде художник-портретист Коноплев. Ослабевший и страдающий авитаминозом, он сразу попал на койку в мое отделение и был рад всему: тому, что в палате сравнительно тепло, что его включили в добавочное питание, что он попал в окружение людей, с которыми можно поговорить, а главное, что он раздобыл ватманской бумаги.

Сначала я отнеслась к нему как к милому чудаку, но когда я увидела наброски портретов, сделанных им простыми школьными цветными карандашами — то буквально остолбенела. Особенно хорошо Коноплев схватывал выражение глаз и, когда я ему об этом сказала, признался, что в Ленинграде его называли «окулист». Рисовал наш «эйфорик» охотно и не заставлял себя долго упрашивать. Мне удалось сохранить два моих портрета его работы; он сделал также удачный рисунок с моей приятельницы Любы Емельяновой и в двух видах изобразил лежавшего с ним в одной палате Гольденвейзера. Последнего рисовать было легче, чем нас: резко обозначенные правильные черты Льва Владимировича придавали ему,

несмотря на его небольшой рост, вид римского сенатора, и сходство это усиливалось в те моменты, когда он проходил по палате, закинув назад голову и драпируясь в больничный халат.

Но я вижу, что мой рассказ о столь мрачном месте, как «исправительно-трудовой лагерь», затянулся и пора подводить его к концу.

В начале 1943 года я, как и некоторые другие, прошла медицинскую комиссию по «актировке», и наши документы направили на утверждение в высшие инстанции. Должна сказать, что к мысли быть выпущенной за ворота лагеря я относилась равнодушно, и даже более — она внушала некоторый страх. Мне казалось, что за пять с половиной лет заключения я разучилась ходить по улицам, зарабатывать деньги и пользоваться ими, словом, вести обычную человеческую жизнь. К этому надо добавить постоянную боль по ходу бедренного нерва и сознание, что мне, собственно, ехать некуда. Вся часть России, лежащая западнее Волги, а следовательно, и Таруса, где жил отец, была объявлена запретной для таких, как мы, оставалась Сибирь и (что очень странно!) — Кавказ.

Так как в Сибири у меня никого не было, я стала подумывать о Кавказе, и вот по какой причине: на нашем участке было много ингушей и чеченцев. Если жители Средней Азии безропотно гибли в условиях лагерей, то более выносливые кавказцы держались молодцами, не распускались и сохраняли свои традиции — например, почтение к старшим. Я неоднократно имела случай наблюдать этих людей, потому что была в прекрасных отношениях с пожилой и весьма уважаемой чеченкой Хабирой Халиловой, которая хорошо говорила по-русски (ее муж в чине генерала когда-то состоял при наместнике в Тифлисе).

Рассказы этой умной женщины, кровно связанной с Чечней и Дагестаном, вызывали в памяти образы из «Хаджи-Мурата» и скрашивали мне вечера в женском бараке. Среди чеченцев Хабира пользовалась большим почетом — к ней приходили разрешать возникающие недоразумения, и ее слово было законом.

Грузин на нашем лагпункте было мало — лишь в конце моего пребывания в Пезмоге к нам перевели с других

участков молодую Гугуцу Абашидзе из княжеской семьи, владевшей знаменитыми Чиатурами; старика Мдивани, вскоре умершего от спонтанной гангрены, и двух врачей: хирурга Семена Ильича Намгаладзе и терапевта Варвару Ивановну Паркадзе. Гугуца была высокой, стройной женщиной с приятным лицом и длинными темными косами. Врачи находили у нее некоторую слабость легких — по этой причине Гугуца Абашидзе долгое время нигде не работала. Потом врач Паркадзе приняла ее сестрой в свое отделение, а зимою 1942—1943 годов ей, как туберкулезнице, удалось пройти через комиссию по досрочному освобождению.

Полгода наши бумаги ходили на утверждение, и наконец, летом 1943 года, нам объявили, чтобы мы готовились к выходу на свободу. Хабира, которая тоже была включена в первую партию актированных, приложив руку к сердцу, говорила: «Мой дом — ваш дом» и усиленно приглашала меня поехать с ней сначала в Грозный, а потом в любое место ее родной Чечни. (Одна из ее дочерей была замужем за главным врачом высокогорного курорта Шатос.)

Я уже решила принять ее предложение, когда за несколько часов до нашего выхода за ворота зоны вольнонаемная начальница санчасти Хейфец заявила, что не может отпустить сразу двух сестер — меня и Абашидзе — и кто-то из двух должен остаться на месяц, до отправки следующей партии. Ко мне примчались Намгаладзе и Паркадзе и стали умолять пропустить вперед Гугуцу. «Ваше право на выход бесспорно, — говорили они, — а ее туберкулез — до некоторой степени "липа", и ей необходимо поскорее выбраться отсюда!» Я поняла, насколько они правы, уступила место Гугуце (тем более что мне некуда было спешить!) и отстала от партии, едущей на Кавказ. В этом было мое счастье. Едва успела Хабира приехать в Грозный, как ее со всеми детьми и родственниками, вернее, со всем народом, сослали на Алтай. Одно время я получала письма со станции Чернореченской, потом письма прекратились.

Проводив кавказцев, я должна была подготовить себе другое пристанище. С этой целью я написала тете Маше Колосниковой, бывшей санитарке хирургического отделения, которая, имея лишь пять лет заключения, была

отпущена раньше и уехала к себе на родину, на берег реки Вятки. В ответ я получила радушное приглашение приехать в населенный пункт, именуемый Вятскими Полянами, где тетя Маша устроилась работать на хлебопекарне. Я ничего не знала об этом населенном пункте, но название мне понравилось, к тому же для меня «все были жребии равны», и я смело поставила в графе «избираемое местожительство» — «город Вятские Поляны Кировской области».

Выбор оказался удачным. Вполне возможно, что не попади я в это тихое селение, лишь в 1942 году переименованное в город, эти записки никогда не были бы написаны.

Но не буду «предвосхищать событий»! Добраться с верховьев Вычегды до низовья Вятки в условиях военного времени было не так просто. Поэтому описанию этого путешествия, включающего интересные моменты, я посвящаю следующую небольшую главу.

Приложение

В.И.РЯЗАНОВУ

На дальней северной окраине,
Где мы должны так странно жить,
Где между нами не случайно
Легла невидимая нить,

Где мы встречаемся так редко
С людьми, подобными себе,
За встречу с Вами в нашей клетке
Я так признательна судьбе.

Хотя мы разными путями
Пришли на вахту Локчимлаг —
Как Вы, командуя частями,
Я не дралась за красный флаг.

Ко мне входили без доклада,
Я не водила кораблей,
И честолюбия услада
Была чужда душе моей.

Но мы — продукт одной культуры,
Мы можем многое вместить,
Что примитивные натуры
Никак не могут нам простить.

Мы солидарны, осуждая
И грубость слов, и грубость душ,
Одновременно не впадая
В пуританизм святых Нитуш.

В темнице власть живого слова
Мы ощущаем, как Шенье,
Мы оба любим Гумилева
И восхищаемся Ренье.

Не так ли в дни паденья Рима,
Всё потерявши целиком,
Порабощённы и гонимы,
Сходились римляне тайком.

И были нужны эти встречи —
Судьбы жестокой благодать —
Чтоб чистоту латинской речи
Векам грядущим передать.

1940 г.

*

З/К NN, ПРОЯВЛЯВШЕМУ СКЛОННОСТЬ К «ПОДХАЛИМАЖУ»

Великим визирем в Багдаде
Вы были б очень хороши.
И двор султана в Цареграде
Не знал угодливей паши.

Но мы живем не на Востоке,
Здесь не Стамбул и не Багдад.
На север брошенный далеко
Стоит наш бедный каземат.

И здесь, поверьте, неприлична
Способность Ваша падать ниц
Перед сомнительным величьем
Нашивок, кантов и петлиц.

1942 г.

Вниз по Вычегде — вниз по Вятке

При воспоминании о радости, охватившей меня апрельским вечером 1935 года, когда передо мной открылись ворота ленинградской тюрьмы, мои чувства при освобождении из Пезмогского лагпункта казались мне весьма холодными и похожими на равнодушие. Теперь мне некуда было спешить!

К тому же внешнее оформление нашего выхода на относительную свободу было совсем будничным: нас снабдили бумажками с направлением к избранному нами местожительству, дали по три килограмма черного хлеба, по пяти селедок, посадили на баржу и в тех же условиях, как и пять с половиной лет тому назад, повезли вниз по реке к форпосту Вычегодских лагерей, участку Айкино, через который к тому времени трудами заключенных была подведена ветка еще не законченной железной дороги Котлас — Воркута.

Примерно за месяц до освобождения я начала писать в управление лагерей, находящееся где-то севернее нас, в поселке Вожаель, о пересылке мне отобранных в Саратовской тюрьме часов и кольца. На три моих заявления ответа не последовало. Я даже пыталась отказаться выйти за зону до получения вещей, но с конвоирами разговоры были коротки: они закричали «Давай, давай!» и выдворили меня в свободный, вольный мир с пустыми руками, если не считать безнадежной квитанции на золотые часы и «кольцо с белыми камнями».

Начальником над нашей партией освобождаемых, ехавших в трюмах двух баржей, был некто Скородумов, высокий человек лет тридцати с холодным и даже суровым лицом. В разговоры с нами он не вступал.

Через сутки пути, когда уже стемнело, наши баржи остановились в устье реки Выми, правого притока Вычегды. С пристани сошел какой-то человек с фонарем, спустился к нам в трюм, разыскал меня и вручил мне письмо от доктора Сахарова, узнавшего каким-то образом день и час моего проезда мимо его участка. Это письмо

мне удалось сохранить. Оно лежит передо мной, и я не могу удержаться от соблазна привести его дословно, во-первых, потому что письмо интересно само по себе, и, во-вторых, потому что я слишком страдала от отсутствия первоисточников. Это будет первый подлинный документ, приводимый мною на страницах моих воспоминаний, и да не поставится мне в вину обнародование лестных для меня слов моего корреспондента.

«30/VII-1943 г.

Многоуважаемая

Татьяна Александровна!

Получил Ваше письмо и радуюсь, что Вы сбросили с себя цепи свои и покидаете, наконец, эту убогую, забытую Богом, пустынную окраину. Кончились злоключения, обиды и унижения! Вам не придется теперь, как это бывало не раз, вероятно, здесь — затаив в груди чувство досады и огорчения, молчать, когда Вас оскорбляют, когда хочется гневно протестовать против дикости, грубости и невежества, хочется подальше уйти, чтобы не слышать и не видеть того, что творится вокруг, — но вы бессильны сделать это, вы связаны! Слава Богу, что все это осталось позади! И только при воспоминании о пережитых испытаниях защемит у Вас сердце и нежданная морщинка пробежит по лбу! Но как говорит Шекспир: “All is well that ends well”. От души желаю Вам всех благ на Вашем пути! Стыдно сознаться, но географически я смутно представляю себе выбранное Вами место жительства, уверен, однако, что своим присутствием, по пословице, Вы украсите тот уголок этого места, где поселитесь.

Вы пишете, что ждете получения Ваших часов из Вожаеля. То же приблизительно было и со мной, но в несколько иной форме. Перед отправлением из Одессы в этап у меня тоже отняли часы, обещая возвратить их в лагере. Тут их, конечно, не отдали, и я через 3-й отдел отправил в тюрьму заявление с требованием о возвращении часов моей жене. Через сравнительно короткий промежуток времени жена уведомила меня, что ее вызвали и вручили ей часы. Часы должны вернуть и Вам, если кто-нибудь, прикарманив их, не исчез с горизонта. Ведь

в наших местах кража не так одиозна, как какое-нибудь мнимое или просто подозреваемое преступление, которое даже названия не имеет, а просто обозначается тремя буквами. Как бы то ни было, но желаю Вам полной удачи в этом деле. В противном случае, мне кажется, необходимо будет поставить в известность об этом прокурора. Но в обиду себя не давайте!

О моей бедняжке Наде* уже месяцев 5 я не имею никаких сведений, хотя пишу ей часто. Не могу понять, что это значит. Пишу по адресу: Горьковская ж.д., ст. Сухобезводная, почтовый ящик 242/32 5-й сельхоз. Буду весьма Вам признателен, если, уделив свободную минутку, Вы черкнете ей несколько слов! И она будет рада Вашему вниманию. По личному опыту Вы знаете, как тяжела жизнь женщин в лагере. Мысль о дочери ни днем, ни ночью не дает мне покою. Я непрестанно думаю о ней, рисую себе ее жизнь в самых мрачных красках.

Мало радостного могу сказать и о себе. Улыбнулась было мне судьба, когда, как инвалид, я попал в список подлежащих досрочному освобождению. Однако оказалось, что специалистов это не касается — и мой радостный порыв ввиду близкой, казалось, свободы рассеялся как дым! Мало того, пришел наряд об отправке меня в Сангородок для заведования отделением больницы для детей вольнонаемного состава. Эта перспектива совсем уж мне не нравится. И я начинаю сожалеть, почему я не ветеринар. Тогда мне не пришлось бы иметь дело ни с капризными мамашами, ни с требовательными папашами. Находясь на воле, я чувствовал себя на равной ноге с моими пациентами и не боялся ответственности за свою работу, здесь же — на положении какого-то существа низшего порядка (судя по обращению с нами), существа обездоленного и бесправного, я не чувствую под собою твердой почвы. Достаточно вспомнить о случае с А.С.Никульцевым. Он сделал операцию аппендектомии жене уполномоченного. Больная умерла. За это Никульцева сняли с работы в Вожаеле и собирались возбудить судебный процесс. Не знаю, благополучно ли окончилось это дело.

---

* Дочь Сахарова, находившаяся в лагере на реке Унже. — *Прим. автора.*

Ну, крепко, крепко жму Вам руку, искренно желаю Вам всяких успехов в новой жизни. Несказанно буду рад получить от Вас весточку.

Уважающий Вас Л.Сахаров».

Спрятав подальше это глубоко тронувшее меня послание, первое из моего посттюремного архива, я поплыла дальше и наконец достигла Айкина. Начальником этого лагпункта оказался не кто иной, как везший нас Скородумов, и я решила сделать последнюю попытку получить свои вещи. Придя к нему в кабинет, я показала квитанцию и объяснила, в чем дело. Скородумов посмотрел на меня и сказал: «Если вы доверите мне эти расписки, я попытаюсь что-нибудь сделать. Как раз завтра я еду в Вожаель». Я, конечно, «доверила» и стала ждать. Через четыре дня Скородумов вернулся и с торжествующим видом вручил мне часы и кольцо, добавив, что ему стоило больших трудов вырвать эти вещи из рук «шакалов».

Теперь я могу выразить свою благодарность, рассказав об этом красивом поступке лагерного начальника всем, кому попадут в руки мои записки, но тогда я не знала, что найду такой способ. Поэтому я была в замешательстве, из которого меня вывело случайное обстоятельство: один из освобожденных чеченцев продавал прекрасный белый башлык — я его купила, пришла в кабинет к Скородумову и сказала: «Через десять минут я выйду за вахту. Ни вы меня, ни я вас никогда больше не увидим, но мне хочется, чтобы, надевая в мороз и вьюгу этот башлык, вы вспоминали о своем хорошем поступке в отношении незнакомой вам женщины!» Скородумов сначала опешил, потом, подумав немного, улыбнулся, сказал: «Договорились!», взял башлык, пожал мне руку, и мы расстались.

Путешествие до города Кирова (переименованной Вятки) я совершила в товарном вагоне при всех тяжелых условиях военного времени. В Кирове наша партия освобожденных распалась на группы в зависимости от дальнейшего маршрута. Лев Владимирович Гольденвейзер повернул на Сибирь, так как ехал к сестре в Новосибирск; Евгения Александровна Ялтуновская, с которой

я дружески сошлась за последний год моего пребывания в лагере, когда она прибыла к нам с дальнего Усть-Немского участка, села в горьковский поезд и направилась к тетке в село Воскресенское на Ветлуге. Я же должна была спуститься по реке Вятке до избранных мною Вятских Полян.

Попутчиком моим оказался некто Григорий Григорьевич (фамилии не помню), работавший больничным поваром сначала в Усть-Неме, а потом у нас. Этот Григорий Григорьевич не всегда был поваром. Происходя из крестьян Ельненского уезда Смоленской губернии, он занимался тем, что держал карусели и разъезжал с этими каруселями по ярмаркам. Причисленный за это к «нетрудовым элементам», он в 1937 году получил десять лет лагеря.

Хотя Григорий Григорьевич не обладал физической силой (он страдал язвой желудка и лицом походил на больного хорька), его помощь в пути оказалась для меня очень ценной. По приезде в Киров, пока я караулила вещи, он нашел мальчишку с ручной тележкой, погрузил на нее наше имущество и, впрягшись в оглобли, повез это имущество на пристань. Хотя я ничего не везла и даже не несла, а только шла рядом с тележкой, путь показался мне бесконечно длинным. На пристани нас ждало разочарование: мы узнали, что по причине обмеления реки два парохода где-то застряли и на скорую отправку нет надежды. Сама пристань и прилегающие дворы были забиты ожидающими парохода, и никто не мог сказать, когда этот пароход появится.

Такая непредвиденная задержка грозила, в первую очередь, голодом. На пристани ничего не продавали; хлеб можно было достать только по карточкам, которых у нас не было. Выданные мне селедки я уже раньше променяла на крутые яйца. Денег тоже было мало, так как половина денежного фонда ушла на покупку башлыка. На второй день Григорий Григорьевич вынул из вещевого мешка телогрейку первого срока (как лагерный повар, он был материально обеспечен гораздо лучше!), снес ее на базар и щедро поделился со мной принесенными съестными припасами.

На третий день, когда выяснилось, что парохода снова не предвидится, я отправилась в город. У меня было письмо от вольнонаемной сотрудницы лагеря

К.И.Трапезниковой к ее дочери-студентке с наказом оказать мне гостеприимство. Когда я пришла по указанному адресу, девицы Трапезниковой в городе не оказалось. Эту печальную весть сообщила мне ее соседка, как я узнала потом, эвакуированная из осажденного Ленинграда. Обменявшись со мной двумя-тремя фразами и, может быть, помня недавний опыт голодовки, эта женщина сразу поняла, что надо делать: она попросила меня сесть за кухонный стол и подала мне тарелку горячего супа со свежей капустой; я же, принимая это подаяние, прониклась чувством умиленного смирения в духе толстовства.

Потом я долго сидела в сквере на скамейке против гостиницы и под вечер вернулась на пристань, где меня ждало знакомство, неожиданным образом скрасившее мой дальнейший путь до Вятских Полян. В числе пассажиров, возмущавшихся отсутствием

пароходов, я уже давно заметила высокую, красивую женщину, остриженную «под мальчика», с вещевым мешком за плечами. По независимому тону, в котором она обращалась к речному начальству, показывая свои документы, я поняла, что она находится в командировке.

Третью ночь ожидания на пристани мне пришлось сидеть рядом с ней. Мы разговорились, и постепенно стали спадать покровы нашего инкогнито. Во-первых, я узнала, что моя спутница — научный сотрудник ленинградского института «Гипротранс», эвакуированного в город Уржум на реке Вятке. Во-вторых, что ее имя Татьяна Николаевна Оппель, что она племянница известного хирурга и двоюродная сестра Никиты Эллиса, который часто бывал на Мойке у Давыдовых. А в довершение всего — что она помнит, хотя и смутно, мою воспитательницу Юлию Михайловну Гедда, друга дома Оппелей. В результате беседы, длившейся добрую половину ночи, я была приглашена на квартиру-базу сотрудников «Гипротранса», напоена чаем и всячески обласкана.

Под вечер четвертого дня ожидания подошел пароход. Сидя на палубе и плывя вниз по Вятке, мы с Татьяной Николаевной продолжили наши разговоры, причем я жадно ловила сведения о событиях, о которых, будучи в заключении, имела лишь приблизительное понятие. Когда наиболее интересные темы были исчерпаны, мы сошлись

на общей приверженности к поэзии Гумилева и решили взаимно пополнить запас знаемых нами наизусть его стихотворений. При закате солнца, под тихий плеск воды, на борту вятского парохода зазвучала утонченная гумилевская экзотика, уводя от действительности и создавая настроение отрешенности и покоя.

И тут я вспомнила канун наступающего 1943 года в лагерном бараке. Трое заключенных — Люба Емельянова, Катя Зелигсон и я, — желая узнать будущее, достали кусок воска, растопили его и затем, вылив на снег, рассматривали на стене отбрасываемую им тень. Люба увидела могильные холмы с крестом. Через два месяца она узнала, что ее единственный сын десяти лет умер от менингита. Катин кусок воска отбросил на стену силуэт женщины, склоненной к земле — ранней весной ее отправили на сельскохозяйственные работы. Мне досталось изображение лодки с сидящей на ней человеческой фигуркой. И вот я теперь, во исполнение предсказания, мирно плыла к новым берегам.

На пристани Цепочкино, речном «порту» города Уржума, мы расстались с Татьяной Николаевной, чтобы уже никогда больше не встретиться. Но, как воспоминание, передо мной лежит открытка, написанная через десять дней (то есть 30 августа 1943 года) и содержащая небольшое стихотворение, посвященное нашему путешествию по реке Вятке. Этим стихотворением я и заканчиваю главу о том, как я ехала из места заключения к месту жительства под надзором районного отделения министерства внутренних дел.

Документ моего архива № 2

Вятские Поляны, Первомайская улица, д. 25
М.С.Колесниковой для Т.А.Аксаковой
Отправитель: Оппель Т.Н., Уржум «Гипромстрой».

Я вспоминаю в этот тихий вечер,
Мой милый, мой далекий друг,
О нашей промелькнувшей встрече,
О ласке Ваших нежных рук.

Я помню Ваших глаз сиянье голубое
И грустное значенье Ваших фраз —
Я чувствую, как что-то бесконечно дорогое
Окутало меня в последний раз.

Теперь все реже будут встречи,
А, может быть, уж им пришел конец?
Мне хочется хоть в памяти сберечь их
Как на родной могиле вянущий венец.

Т.О.

Двадцать пятого августа 1943 года я, как оказалось потом, на долгие годы высадилась в Вятских Полянах, маленьком городке на правом берегу Вятки, в 60 километрах от ее впадения в Каму.

В поисках работы и жилища. Воспоминания о лагерных друзьях

Вятские Поляны — ранее торговое село Вятской губернии Малмыжского уезда, ныне районный центр Кировской области — были превращены в город в 1941 году в связи с прибытием из Загорска крупного военного завода. На первых порах этот эвакуированный завод разместился в корпусах небольшой шпульной фабрики, единственного промышленного предприятия, имевшегося в Вятских Полянах до войны, и стал выпускать, с одной стороны, граммофоны, а с другой — пулеметы-пистолеты Шпагина (ППШ). Производством последних руководил сам изобретатель Георгий Семенович Шпагин, в доме которого я бывала, занимаясь английским языком с одной из его дочерей. Помню также случай, когда Георгий Семенович любезно отвозил посылку моему отцу и заходил к нему в Исторический музей. Теперь, по прошествии многих послевоенных лет, производство ППШ уже не является военной тайной, но в ту пору мы знали только о граммофонах!

Возвращаюсь к географическому положению Вятских Полян. Этот самый южный район Кировской области, отстоящий на сотни километров от своего центра, зубцом вклинивается в автономные республики: с запада он зажат татарами, с востока — удмуртами. На северо-западе района деревни с оригинальными названиями Дым-Дым-Омга и Казань-Омга населены марийцами, но основное население все же русское.

Во время моего прибытия город представлял собою одну бесконечно длинную улицу Ленина с небольшими от нее ответвлениями. Примерно на половине протяжения этой улицы — с 200-х номеров домов — кончались Вятские Поляны и начинался Усад. Главная улица была частично вымощена камнем, но ее «ответвления» весной и осенью превращались в засасывающие болота. Жители, с трудом отдирая подошвы от липкой грязи,

добродушно шутили: «Есть три города на земле: Париж, Малмыж и Мамадыш*. Разница невелика — дома пониже и асфальт пожиже!» Но в конце августа, когда я ступила на вятскополянскую землю, солнце еще сияло и на улицах было сухо — меня ждали трудности другого характера.

За время моего путешествия из Пезмога в жизни пригласившей меня тети Маши произошли осложнения: во-первых, она уже не работала на пекарне — ее должность была сокращена, а во-вторых, вернулся из заключения ее муж, с которым она не ладила, горький пьяница. Условия жизни тети Маши меня поразили своим убожеством: она снимала угол в стоявшей среди огорода хибарке у довольно грубой и сумасбродной женщины, тети Насти Созиной. Хозяйка, ее две дочери и две козы помещались тут же.

Несмотря на это, я была встречена очень приветливо — тетя Маша меня накормила, напоила чаем и уложила спать на свою кровать, постелив себе на полу. Сопровождавший меня повар-карусельщик пошел ночевать в Усад по данному ему кем-то адресу.

На следующее утро я пошла оформляться в районное отделение НКВД; сдала свою путевку и получила полугодовое удостоверение личности. По внешнему виду это удостоверение не отличалось от тех, которые выдавались незапятнанным гражданам, но в одной из граф стояло: выдано на основании § 39 Положения о паспортах**. Долгое время я не сознавала значения и опасности этого § 39, по которому сведущие лица сразу понимали, с кем имеют дело. Осознала я все это лишь семь лет спустя, когда, получив путевку на лечение в Кисловодск, отправилась туда с § 39 в паспорте. (О том, что за этим последовало, речь будет в свое время.)

В отделении НКВД со мной были вполне корректны и спросили, что я умею делать и как я думаю устроить свою жизнь. Я заявила о своей медицинской специальности, а также о знании трех иностранных языков и, выйдя из НКВД, не теряя времени, стала искать работу.

* Малмыж несколько выше, а Мамадыш несколько ниже Вятских Полян по реке Вятке. — *Прим. автора.*

** Запрет на проживание в режимных городах.

Главный врач военного госпиталя, хирург Зорин, как будто склонялся принять меня, но, узнав, что я была в заключении по 58-й статье (о чем я сразу ставила в известность всех работодателей), вопросительно поглядел на своего политрука и просил зайти через два дня, когда вакансии, конечно, уже не оказалось.

Несколько мучительных дней я провела в коридоре перед кабинетом заведующего кадрами завода. Кабинет этот помещался в грязном бараке с выбитыми окнами и заплеванными полами. Мимо меня, хлопая дверьми и создавая сквозняки, шныряли какие-то в лучшем случае мрачно-сосредоточенные, а в худшем — сквернословящие люди, а я все не могла добиться аудиенции. Когда же я, после нескольких дней хождения на завод, поняла, что получить место в его санчасти при наличии § 39 надежды нет, моя выдержка дрогнула, и я почувствовала себя, по выражению Гумилева, которым в ту пору была полна моя душа, «на дне мирового колодца».

Наибольшей глубины колодца я достигла тогда, когда услышала, как хозяйка конуры, где я нашла пристанище, говорит приютившей меня тете Маше: «А ты, Семеновна, не очень-то свою арестантку привечай. Она меня со своим поваром еще обворует».

После этой кульминационной точки началось мое неуклонное восхождение; не прошло и трех месяцев, как я на вятскополянском горизонте из «Золушки» начала превращаться в «принцессу». Продолжая искать работу, в 20-х числах сентября я пришла в районную больницу, расположенную на окраине города, в наиболее живописной части Вятских Полян, близ оврага, заросшего хвойными деревьями. Не застав никого в конторе, я вышла на широкий двор. Посреди двора стояла молодая особа, показавшаяся мне сначала не живой женщиной, а только что вынутой из коробки нарядной куклой. Ее белокурые волосы были заложены безупречными волнами, крепдешиновое платье в оборочках не имело на себе ни одной морщинки, и даже губы этой дамы почти не двигались, сохраняя намеченные красным карандашом контуры.

Я все же рискнула подойти к этому радужному видению с какими-то вопросами и получила приветливые и обстоятельные ответы. Ободренная таким приемом,

я изложила сущность своего дела, не забыв упомянуть о § 39. Моя новая знакомая посоветовала мне написать заявление на имя главного врача и подойти на следующий день к 10 часам утра в здание, находящееся направо от ворот.

Каково же было мое удивление, когда в кабинете главврача за письменным столом я увидела ту самую женщину-куклу, с которой я беседовала накануне. Вчерашняя незнакомка, Валентина Васильевна Колобова, была не только главным врачом больницы, но и председателем гарнизонной комиссии, лицом весьма значительным в военное время.

Если с первого взгляда я заметила ее склонность к нарядам, то вскоре мне открылась ее другая, более значительная черта — отзывчивость к людскому горю. Валентина Васильевна обладала очень добрым сердцем, и потом, работая с ней, я не раз видела слезы сострадания на ее глазах.

Но возвращаюсь к последовательности событий. На мое заявление была наложена благоприятная резолюция и приказом по больнице я с 1 октября 1943 года назначалась сестрой инфекционного отделения, которым заведовала сама Колобова. Мои отношения с «начальством» сложились несколько своеобразно. После месяца совместной работы Валентина Васильевна, идя со мной на обход больных, уже говорила: «Татьяна Александровна, умоляю вас, следите за моей речью и, если я только что-нибудь не так скажу или сделаю неправильное ударение, сразу дергайте меня за рукав!»

Дергать за рукав приходилось не так уж часто — я только немедленно вступила в борьбу со словом «бюльтни» и выражением «лихорадящее состояние» — и одержала победу. Труднее было внушить жителям берегов Вятки, что существует страдательная форма глаголов с окончанием «ся» и что нельзя говорить «загорел свет» и «наши выдающие ученые».

Вятскополянская больница, постройка первых корпусов которой относится к 1912 году, то есть ко времени земства, имеет «павильонную» систему: состоит из отдельных, довольно примитивных домиков, разбросанных

по широкой территории. По мере надобности к этим домишкам делались пристройки, такие же примитивные, что дало мне повод выступить не так давно в стенгазете с заметкой:

Однажды малый Тришка жил,
Который свой кафтан чинил.
Пусть это даже небылица,
Но так же чинится больница.

Неся заботы и затраты,
Мы строим новые палаты,
Но эти новые палаты
Весьма похожи на заплаты.

И только мысль одна ясна —
Больница новая нужна!

В 1943 году в одном из наиболее ветхих домиков, находившихся на больничной территории, помещалось общежитие для сотрудников, куда я и переехала от тети Маши, избавив ее хозяйку от опасности быть ограбленной мною и «моим поваром». (Кстати, этот последний, не найдя работы в Вятских Полянах, стал продвигаться на родную Смоленщину и после отступления немецких войск воссоединился со своей семьей. Даже дом его уцелел во время вражеского нашествия, о чем он известил меня письмом.)

В комнате, где я поселилась, было три кровати; на одной спала я, на другой — попеременно, в зависимости от ночных дежурств, — сестры Шура Альчикова и Катя Токарева, девушки из окрестных селений. Третья кровать принадлежала санитарке Лизе Зверевой. На печке, кроме того, помещался Лизин 15-летний брат Васятка, работавший на заводе, так что наша жилплощадь была уплотнена до отказа. Но жили мы мирно, по пословице «в тесноте, но не в обиде».

Теперь, пятнадцать лет спустя, когда я, получив две реабилитации, окончательно превратилась из «Золушки» в «принцессу» и живу на том же больничном дворе, но в отдельной квартирке из двух небольших комнат с чуланом и палисадником, я с благодарностью смотрю на

еще более покосившийся домик, принявший меня под свою кровлю, когда я была «на дне мирового колодца».

Придя в первый раз в мою двухкомнатную (вернее, двухкаморочную) квартиру и помня мои мытарства прошлых лет, моя приятельница Этта Исаковна Хейфец (о которой речь будет в дальнейшем) в экстазе воскликнула: «Ах, Татьяна Александровна! Ну могли ли Вы когда-нибудь мечтать, что будете жить в таких чудесных условиях!» Потом мы посмотрели друг на друга и обе рассмеялись. Но возвращаюсь к 1943 году.

Если получение работы в больнице и переселение в общежитие были первой ступенью моего восхождения по социальной лестнице, то второй ступенью стал тот день, когда ко мне пришел директор вновь образуемой Школы рабочей молодежи, эвакуированный из Ленинграда педагог Федор Федорович Поздеев, и предложил занять место преподавательницы немецкого языка. (На этот пост меня любезно рекомендовало РО НКВД, где было зафиксировано мое знание иностранных языков.) Я дала согласие, и началась моя преподавательская деятельность, длившаяся девять лет, если не считать ведения кружка английского языка в Доме техники завода, которое продолжалось дольше.

Теперь, когда люди, сочувственно следящие за моей судьбой, могут облегченно вздохнуть, узнав, что я нашла работу и жилище, я меняю тему «повествования» и скажу несколько слов о людях, с которыми я рассталась в Пезмоге.

Приехав в Поляны, я долго не могла мысленно оторваться от своих лагерных друзей и всячески старалась что-нибудь о них узнать. Привожу те скудные сведения, которые мне удалось получить до момента, когда на наше общение было наложено *veto*.

Больше всех меня интересовала Люба Емельянова, о которой я мельком упоминала в связи с тем, что художник Коноплев рисовал ее портрет. (Она также участвовала в столь неблагоприятном для нее новогоднем гадании.) В моем «архиве» имеются три ее письма. Прежде чем их приводить дословно, как документы очень

сильные и выразительные, я несколько более подробно остановлюсь на их авторе.

Моя дружба с Любовью Ильиничной Емельяновой началась в последние годы моего пребывания в лагере. Толчком к сближению, может быть, послужило то, что Люба на дежурстве в больнице, вспоминая прошлое, случайно рассказала о лунной ночи, когда она сидела на раскрытом окне башни заброшенного помещичьего дома в Ивне, когда-то принадлежавшего Клейнмихелям, и думала о протекавшей там до революции жизни.

К ее большому удивлению, слова «Ивня» и «Клейнмихели» не оказались для меня пустыми звуками, и Люба объяснила, каким образом она попала в те места.

Уроженка Курска, она рано вышла замуж за студента Сашу Бурдина, сына старого инженера, специалиста по сахароварению. Брак оказался неудачным, и после рождения единственного сына Мити супруги разошлись, а Люба с мальчиком переселилась к родителям «беспутного» мужа, обожавшим внука, и стала путешествовать с ними по сахарным заводам Курской и Харьковской областей. Так она попала в Ивню. В начале 30-х годов старики Бурдины переехали в Ленинград и там, кажется, умерли. Люба, вся жизнь которой была сосредоточена на сыне, поселилась со своими сестрами в Курске. Митя учился, она где-то служила, а в 1937 году неожиданно очутилась на десять лет в лагере по литере КРД.

Светлая блондинка с правильными чертами лица и тонкими губами, придававшими ее рту несколько капризное выражение, Люба была на восемь лет моложе меня, но между нами установились прочные дружеские отношения. Мне нравился ее ум, ее интересные суждения, и я с ней никогда не скучала. Помню, что она пустила про меня словечко: «Тантина* проходит по жизни, не замочив лапки», а я требовала объяснения: следует ли это понимать, что с меня «все как с гуся вода», или в более лестном для меня смысле?

Уезжая из Пезмога, я знала, что Люба рано или поздно будет «актирована» по состоянию здоровья и уедет на свободу, и с нетерпением ждала известий.

---

* Так она меня называла. — *Прим. автора.*

И вот, в начале января 1944 года я получила клочок бумаги со словами, которые привожу в их подлинном, неприкрашенном виде, и, по мере того как я переписываю этот документ, к горлу подкатывает тот самый комок, который я ощущаю при чтении некоторых страниц Достоевского.

«23/I-1944 г.

Куйбышевская обл. с. Хворостенка. Район, больница.

Моя родная, любимая Тантиночка!

Не знаю, попадет ли это письмо к Вам, но я так о Вас тоскую, так хочу общения с Вами, что, не зная адреса, пишу наугад. Молю Вас, пишите мне — меня покидает мужество. Напомните мне, что если нечем жить, то осталось еще "пёсику-братику". Я выехала из Пезмога 28/IX-43 года в Архангельск. Архангельск потому, что только в северные области давали самостоятельный проезд, а через Айкино я ехать не хотела. И с тех пор начались мои мытарства. Только через два месяца невыносимо тяжелого пути я попала в это степное село в 70 км от железной дороги. Работаю в больнице патронажной сестрой. Имею угол с отоплением в хорошей комнате. Люди кругом не плохие, но с едой очень плохо. Базаров нет — неурожай. Живу как во сне. Письма из дома получаю. О Мите ничего нет.

Целую много раз. Увидеть Вас — моя дорогая мечта.

Л.Е.».

Через год я получила второе письмо, уже из Курска.

«21/II-1945 г.

Дорогая моя Тантиночка!

Не сердитесь, что я Вам не писала. Митя умер. Говорят, был острый менингит. Еще в июне 1944 года хотела сначала из Хворостинки к Вам ехать, но Ваш вызов не годился, надо было из области и от учреждения. А потом мне знакомая написала, что мне осталась могила сына, и я поехала. Пока живу, но не хочу жить. Не работаю. Жизнью кажется жизнь в Пезмоге, а здесь нет ничего. Там хоть надежда была. Тантиночка, напишите о себе.

Я люблю Вас, но у меня сейчас плохо, и я пишу мало. Но буду писать. Я бесконечно одинока, и навсегда.

Целую вас крепко.

Л.Е.».

Через полгода было еще одно, уже более спокойное письмо. В Курск приехала одна из наших товарищей по несчастью, Таиса Николаевна Донец. Люба уже стала находить интерес в воспоминаниях о Пезмоге. Жизнь взяла свое.

Письмо начинается словами:

«Дорогая моя Тантиночка!

Вы всегда в моем сердце и памяти, но за тысячью дел, которыми я сейчас завалена, Ваш образ где-то вдали и только иногда Вы встаете как живая, и тогда меня обнимает тоска и я хочу быть около Вас».

Далее идет перечисление «тысячи дел»: хождение в лес за топливом, стояние в очереди за хлебом, работа на огороде за 8 км.

В заключение Люба пишет:

«Ну вот, мне и легче. Как будто поговорила с Вами. Здесь у меня своя жизнь. О нашей жизни знать никому не интересно.

Л.Е.».

Летом 1946 или 1947 года на Украине была засуха и голод. Я послала Любе немного денег по адресу: Курск, Валовая, 20. Ее племянница с некоторым запозданием сообщила, что деньги получены. Затем пришла записка:

«Тантина, я Вас люблю, но писать Вам не буду! Л.Е.».

На нашу переписку, по-видимому, было наложено *veto*. Больше о Любе Емельяновой ничего не знаю, но не теряю надежды узнать.

Так как отдел моего архива, хранящий письма от лагерных друзей, очень беден, то мне остается только

привести письмо, написанное медстатистиком Пезмогской больницы, ранее московским присяжным поверенным Перкалем.

«31/XII-43 г.

Милая Татьяна Александровна!

Я причисляю себя к тем знакомым, кому Вы послали привет в письме к Ольге Ивановне, и для меня это достаточный повод, чтобы осуществить свое неизбывное желание побеседовать с Вами, желание, которое тлеет во мне с того моего утра, когда я узнал, что Вы уехали, что Вас с нами уже нет.

Нельзя сказать, чтобы наше общение было многогранным: регистрация, температурные листочки, чернильный карандаш — как будто и всё, — если не считать минутных парений "в облаках"! Но в то памятное утро я почувствовал себя покинутым. В длинные таежные ночи я думал: "А где теперь Татьяна Александровна, что она делает, как устроилась?!" А теперь я искренно рад за Вас, что Вы работаете, преподаете, читаете, живете полной трудовой жизнью. С Новым годом!

Дружески и нежно жму Вашу руку.

Н.Перкаль.

P.S. Егорьев умер вскоре после Вашего отъезда, а художник Коноплев уехал домой вполне благополучно. Семен Ильич* просит Вам передать сердечный привет.

Н.П.».

Приписка в вышеприведенном письме с упоминанием имени Егорьева вызвала в моей памяти еще один образ лагерных лет. Когда Пезмогский участок стал исключительно инвалидным, там появился высокий изможденный человек с черной повязкой на месте отсутствующего левого глаза. Это был Владимир (отчества не помню) Егорьев, младший товарищ моего брата по лицею, человек умный, образованный, но немного чудаковатый. В юношеские годы он проявил свое сумасбродство тем, что, став на Васильевском острове между двумя сфинксами, по какой-то маловажной причине выстрелил себе

* Хирург Намгаладзе. — *Прим. автора.*

из револьвера в висок, после чего каким-то чудом остался жив, но лишился глаза.

В советское время Егорьев работал в Наркоминделе и выезжал с делегацией, возглавляемой Литвиновым, на заседания Лиги Наций в Женеве. Разговоры о выстреле у подножья сфинксов и о Лиге Наций велись у меня в дежурке, куда Егорьев часто заходил. В лагере свое «чудачество» он проявлял в том, что был крайне непрактичен. Получая хорошие посылки из дому, он ничего не умел сохранить: часть продуктов раздавал, часть у него выкрадывали, но владелец не придавал этому значения, так как голова его была занята чем-то более интересным — воспоминаниями, поэзией и философскими размышлениями. Помню, как, сидя на бревнах перед больничным бараком, он декламировал французского поэта-«парнасца» Эредиа.

Из его любимого произведения Максимилиана Волошина «Рождение стиха», которое он часто цитировал, я смутно запомнила последние слова:

И стих расцветает цветком гиацинта
Прекрасный, пушистый и белый.

Нам обоим нравилось упоминание об этом «гиацинте», которого так не хватало в нашей жизни!

За месяц до моего отъезда Егорьев окончательно слег, и все понимали, что с больничной койки он больше не встанет. Когда я зашла с ним проститься, он был в полном сознании и произнес слова, прозвучавшие с несоответствующей убогой действительности торжественностью: «Скажите моей жене, что я умираю добропорядочным христианином, благословляя небеса за счастье, которое мне было даровано».

Мне не удалось увидеть жену Егорьева, но я подробно описала ей сцену в больнице и получила следующий ответ:

«Москва, 28/III-44 г.

Многоуважаемая Татьяна Александровна!

Получила Ваше письмо и Володину записочку к Вам. Я уже знала, что он умер 24 августа, то есть вскоре после Вашего отъезда. Меня об этом известили в конце февраля.

Когда Вы найдете возможным, напишите мне все, все про Володю. Вопросов я задавать не буду, пишите все, что можете вспомнить. Вы, видимо, много для него сделали, и мне было приятно узнать, что около него были люди, облегчавшие ему его дни. Хотя Вам и не нужна, конечно, моя благодарность, но все же от всего сердца спасибо за все, что Вы для него сделали. Судя по его последним письмам, я должна была ждать печального конца, но все-таки известие было неожиданным, невероятным. Я до сих пор не могу поверить, почувствовать нутром, что его нет. Когда будете в Москве, пожалуйста, заезжайте. Так о многом хочется Вас спросить. Напишите, чем я, может быть, смогу Вам быть полезной в Москве.

Е.Егорьева».

Чтобы закончить печальное повествование о людях, деливших со мной заключение, хочу упомянуть, что в 1944 году на мое имя пришла открытка за подписью «В.Рязанов». Эта открытка долго путешествовала (на адресе вместе «Вятские» было написано «Камские Поляны»), но все же попала в мои руки, и я восприняла ее как прощание.

Василий Иванович писал, что в третий раз заболел воспалением легких, которое вряд ли перенесет. Оправдались ли его опасения — я не знаю.

На этом месте поступательное движение моего повествования прервалось на целых два года. Дело в том, что, по счастливой случайности, в мои руки попала книга Акселя Мунте «Повесть о Сан-Микеле» («Das Buch von San-Michele»)*. Произведение это настолько очаровало меня, что я решила перевести его на русский язык. Я делала это с большим увлечением и, лишь когда перевод был закончен и рукопись сдана в «Государственное издательство», почувствовала, что могу заняться чем-либо другим. Вместе с тем работа над переводом этой книги, которая, будучи по существу автобиографией, сочетает в себе широкую эрудицию, поэтичность, остроумие и простоту, являющуюся подчас признаком гениальности,

* Переиздание готовится к выпуску в «Захарове» в январе 2020 года.

заставила меня критически взглянуть на собственные воспоминания. Они показались мне, особенно в первой части, весьма неинтересными, «женской писаниной».

Руки мои опустились и никак уже не доходили до завершения четвертой главы. Но тут произошла другая, на этот раз стимулирующая, случайность: в мои «опустившиеся руки» попала переизданная Т.А.Кузьминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Я помню, какой успех она имела при своем появлении лет сорок назад, хотя с моей теперешней точки зрения это «женская писанина» еще «почище моей»! Тут можно услышать возражение: «Воспоминания Кузьминской интересны, поскольку они касаются Толстого», — на что я, в свою очередь, могу ответить: «Но ведь и я иногда пишу о весьма интересных вещах, которые, вдобавок, вряд ли будут широко отражены в мемуарной литературе».

После всех этих размышлений я решила, что не надо гнаться за недостижимым, и сажусь за продолжение главы. В предисловии к своей книге Мунте говорит, что гораздо спокойнее, сидя в кресле, создавать увлекательные новеллы, чем, пробиваясь через жизнь, собирать для них материал; приятнее создавать мрачные комплоты, чем быть ими захваченным внезапно и без предупреждения. Последнее как раз случилось со мною, но в отношении снабжения сюжетами судьба была ко мне благосклонна, постоянно направляя в поле моего зрения интересный материал и надеясь, по-видимому, на мою память. Не будь этого, я, лишенная творческой фантазии, необходимой для того, что Гёте называл «fabulieren», не написала бы ни одной строчки. В моих воспоминаниях поэтому мало «Dichtung» и гораздо больше «Wahrheit». Для писателя это было бы большим недостатком, а для мемуариста, пожалуй, и не плохо!

Но вот, когда я, покончив с отступлением, принялась искать упущенную нить повествования, меня смутила мысль: «Самые интересные события моей жизни уже описаны, и сравнительно благополучно проведенные годы ссылки на берегах Вятки, может быть, представляют собой нечто однообразное и мало примечательное». Потом я поняла, что мысль эта «от лукавого» и лишь маскирует мою боязнь запутаться в мелких эпизодах и характеристиках этого периода (1943—1955).

Чтобы этого не произошло, я решила держаться двух тем: «Районная больница» и «Школа рабочей молодежи». В эти темы будут неизбежно включаться рассказы о моих личных делах. Многое из сказанного в последующей главе окажется, наверное, типичным не только для Вятских Полян, но и для большинства районных больниц и школ рабочей молодежи того времени. Эти соображения также, говоря языком Кантемира, «понуждают к перу мои руки».

Районная больница

Одной лишь привычкой, как мне кажется, не исчерпывается мое отношение к тому месту, с которым я никак не могу расстаться, хотя давно имею на это право. К вятскополянской больнице я испытываю еще и чувство благодарности. «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», — говорит пословица. Вятскополянская больница полюбила меня «черненькой», и за это я полюбила вятскополянскую больницу.

Две военных зимы (1943—1945) я проработала старшей сестрой инфекционного отделения, переполненного всеми видами тифов и кишечных заболеваний. С наступлением весны появилось еще одно таинственное заболевание, потерявшее свою таинственность и получившее название «септической ангины» после того, как выяснилось, что причиной его является употребление в пищу зерна, пролежавшего зиму под снегом. (Крестьяне собирали «колоски» и варили из перезимовавшего в поле зерна кашу.) Септическая ангина характеризовалась гнойными налетами в горле, сыпью на всем теле, кровотечением из носа, горла и желудка. Поражала она целые семейства и давала смертельные исходы.

Во время войны помощником главного врача по лечебной части был эвакуированный из Риги доктор Семен Лазаревич Ремигольский, врач-универсал, лечивший самые разнообразные болезни. При этом все члены его семьи занимали столь же разнообразные должности: жена заведовала хлебным ларьком, тесть был кладовщиком, брат по имени Макс — дезинфектором, муж сестры, Соломон Яковлевич Вейсман, медстатистиком. Последний, веселый маленький человек, окончивший Школу инженеров в Париже, с удовольствием вспоминал со мною Францию и, уезжая в 1945 году обратно в Ригу, посоветовал мне перейти из инфекционного отделения на его место, что я и сделала.

Теперь, рассказав о том, что я получила работу в двух местах (в больнице и в Школе рабочей молодежи), я могу покончить с темой обоснования в чужом городе и перейти к тому, что более всего занимало мои мысли: стремлению прорваться в Москву на свидание с отцом.

Несмотря на то, что в начале 1944 года фронт уже откатился на запад, Москва была запрещенной зоной, да и вообще для поездок по железной дороге требовался особый пропуск.

Дела моего отца обстояли так: живя в Тарусе, в октябре 1943 года он получил предложение из Исторического музея занять должность заведующего нумизматическим отделом. Однако при наличии системы вызовов и пропусков осуществить это было не так просто.

24/X-1943 года отец пишет мне: «Что касается моих дел, то "ура" кричать, по-видимому, преждевременно. Сижу у моря и жду погоды, ибо с вызовом вышла преглупая история: на нем не оказалось печати и пришлось телеграфировать о высылке нового, надлежаще оформленного вызова. Его до сих пор еще нет».

Когда такой вызов пришел, началась новая волокита: необходим был пропуск в Москву из областного центра. (Таруса принадлежала в ту пору к Тульской области.)

10/XI-1943 года отец пишет: «Со дня на день жду ответа из Тулы. Неприятно, что это замедление совпало с порчей погоды. Сегодня утром все было бело от выпавшего снега. Несомненно, он растает и будет слякоть. Неприятно, если придется следовать до Серпухова по образу пешего хождения. Ну, да довлеет дневи злоба его!»

В январе 1944 года отец наконец достиг Москвы и Исторического музея. В одном из последующих писем он пишет: «Ты интересовалась, как я совершил свое путешествие: вышел пешком с рюкзаком за плечами в половине восьмого утра. Часов в 6 вечера был в Серпухове (30 км). Там переночевал. В половине пятого вышел на вокзал (что-то около 7 км), попал на поезд, и около 10 часов был в Москве». (Напоминаю, что отцу было в тот момент 77 лет.)

В Историческом музее, так же как и в Шереметевском переулке, отца встретили с распростертыми объятиями, но начались мытарства с пропиской, хотя бы временной.

Несмотря на упорные хлопоты музея, дело не двигалось с мертвой точки, превращаясь в сплошное мучительство. 18/II-1944 года отец пишет: «Настроение в общем неважное из-за неизвестности, не придется ли мне опять смываться в Тарусу».

В ноябре 1944 года я наконец не выдержала: отпросилась на своих двух службах, с большим трудом добыла пропуск в город Ржев, куда никак нельзя было попасть иначе, как через Москву, и направилась на станцию. Там я села в поезд, идущий на запад, и благополучно доехала до Арзамаса, где меня ждала неудача. В вагоне появился заградительный отряд. Стали проверять документы и, при виде моего временного удостоверения личности, выданного на основании § 39 о паспортах, предложили мне покинуть вагон и проследовать в помещение охраны, из окон которого я увидела, как мой поезд отошел на Москву, оставляя меня в Арзамасе. До вечера я просидела под неусыпным наблюдением милиции. Наконец меня подвели к отходящему на восток поезду, всадили в вагон и направили к месту жительства.

Прибыв в Поляны, я проявила упорство, граничащее с безрассудством: я вновь села в идущий на Москву поезд и на этот раз благополучно миновала «Сциллу и Харибду» — Арзамас и Куровскую, то есть станции, где оперировали заградительные отряды.

В Москве я остановилась у Наточки Оболенской, которая, связав свою судьбу с уроженцем вятских краев Иваном Викторовичем Захватаевым, взяла свою девичью фамилию — Штер. Наточка писала мне в Поляны: «По приезде из Тарусы твой отец был у меня. Он ничуть не изменился ни физически, ни морально». Придя к Шереметевым, я в этом воочию убедилась. Но когда, в момент нашей встречи, на его глазах блеснули слезы, я поняла, что мера его долготерпения исчерпана и нервы минутами сдают. (В данном случае отец был, кроме всего прочего, взволнован моим, вызванным арзамасской эпопеей, трехдневным опозданием и сомневался в моем благополучии.)

Не буду пересказывать наших разговоров — темой их было все пережитое нами обоими за последние годы и, следовательно, уже описанное мною на предыдущих страницах.

20/XI-1944 года, после того как узнал о моем благополучном возвращении, отец пишет: «Надо признать, что твой приезд удался на славу, но то, что он осуществился, выходит за рамки всяких логических предвидений».

Теперь несколько слов о квартирных условиях на улице Грановского (бывший Шереметевский переулок). Вскоре после трагической гибели Ольги Геннадиевны скончалась и ее мать Наталья Александровна Чубарова. Квартира была уплотнена чужими людьми. Каждый метр площади был на счету. Для отца при помощи двух больших киотов, памятных мне еще с детства, так как они занимали полстены в доме у Сухаревой башни, от одной из комнат была отделена полутемная каморка, в которой поместились походная кровать, письменный стол, кресло и комод, одновременно служивший постаментом для генеалогических карточек.

В этой каморке отец прожил последние десять лет своей жизни с тем благородным стоицизмом, который составлял одну из отличительных черт его характера. Убожество жилплощади, которое вполне соответствовало условиям московской жизни и никого не удивляло, компенсировалось прекрасным отношением детей Шереметевых. Особенно близка отцу была вторая дочь Ольги Геннадиевны Ольга, неослабная забота которой скрашивала последние годы его жизни.

Ольга Борисовна была замужем за человеком значительно старше ее, кадровым военным, племянником известного астронома, Михаилом Дмитриевичем Бредихиным. Детей у Ольги Борисовны не было, и вся ее жизнь оказалась посвященной заботам о населявших квартиру престарелых людях: тут же, в бывшей столовой, жили сестра бабушки Чубаровой тетя Соня Лютер и Ольга Николаевна Чижова, свекровь младшей сестры Лизы. Взоры всей этой «богадельни» были устремлены на Ольгу Борисовну, которая управляла своими подопечными с большим уменьем, никогда не теряя ровного настроения и элегантного вида. Что касается ее отношения к моему отцу, то, как мне кажется, в нем превалировало не чувство долга, а взаимная искренняя привязанность.

«Дети» Шереметевы унаследовали от своего отца Бориса Борисовича высокий рост и благородную осанку.

Младший — Сергей — к великому огорчению своей матери, никак не преуспевал в ученье, но зато стал известным спортсменом и получил звание мастера спорта по гребле. Старшая из дочерей, Наталья, с присущей ей шереметевской музыкальностью, специализировалась в игре на гуслях и вошла в состав известного струнного оркестра.

Наиболее тяжело сложилась жизнь младшей дочери, Лизы. Работая чертежницей, она в юном возрасте вышла замуж за своего сослуживца С.С.Чижова. Наступил 1937 год, и Лиза нежданно-негаданно оказалась арестованной и отправленной на десять лет в дальневосточные лагеря. Естественным образом возникает вопрос: «За что?» — но на него трудно ответить. (В 1955 году, то есть восемнадцать лет спустя, Елизавета Борисовна Чижова получила извещение о том, что дело ее пересмотрено и приговор отменен за отсутствием состава преступления.)

Вскоре после ареста жены Чижов умер от туберкулеза легких. На третьем году пребывания в лагерях Лиза сообщила матери и сестрам, что у нее родился сын. Приведенная этой вестью в некоторое смятение чувств, Ольга Геннадиевна попыталась внушить моему отцу, что Лиза стала жертвой грубого насилия (как будто женщины, поставленные в условия лагеря, нуждаются в каких-то оправданиях!). Откровенно говоря, отец не очень поверил этой версии.

Если я, по причине своей болезни, провела в заключении лишь около шести лет, то Лиза полностью отсидела свои десять, плюс один год «по директиве». В 1948 году, когда все сроки истекли, решили, что она, по пути из Сибири, остановится в Вятских Полянах и попытается там обосноваться. В назначенный день я встретила на станции незнакомую мне высокую женщину (я видела Лизу совсем маленькой) и семилетнего мальчика с белокурыми вьющимися волосами и темными глазами. В то время я была уже обладательницей очень маленькой, но отдельной комнаты при канцелярии больницы и могла привезти туда гостей.

Сначала все складывалось более или менее удачно. Лиза в лагере работала операционной сестрой, и была возможность устроить ее на место. Через неделю нам удалось найти подходящую комнату, куда Лиза и переехала.

Неожиданное и весьма неприятное произошло, когда она пошла прописываться в милицию. Увидев ее паспорт с § 39, ей предложили в течение 24 часов покинуть Вятские Поляны. В связи с индустриальным строительством наш город, якобы, стал «режимным». «Старых репрессированных мы уже знаем и с ними миримся, а новых не прописываем, — сказали ей, — и потому, чтобы завтра вас здесь не было!»

Лиза прибежала ко мне с расширенными от ужаса глазами, но делать было нечего. Оставив у меня вещи, Лиза отвезла мальчика в Москву, к теткам, и поехала искать пристанища в город Крапивну Тульской области. Там тоже ничего не вышло, и только благодаря ее дефицитной специальности чертежника-конструктора Лизе в конце концов удалось получить место в «Гидроэнергопроекте», то есть в ведомстве, строящем гидростанции, и она уехала на периферию. Реабилитация застала ее в Башкирской республике; она работала на постройке плотины через реку Уфу. Теперь она живет со своим сыном в Шереметевском переулке, в той самой каморке, которая освободилась после смерти моего отца.

Но возвращаюсь назад. Поскольку моя первая поездка в Москву сошла благополучно, я стала повторять ее каждую осень. Однако этим моя мятущаяся душа не ограничилась. В 1947 году я, рассматривая в журнале «Огонек» портреты вновь избранных академиков, увидела среди них Дмитрия Владимировича Скобельцына. Я немедленно написала ему письмо на Академию наук с просьбой сообщить что-либо о его брате и его жене. Не прошло и двух недель, как я получила письмо от самой Александры Ивановны, которую родные известили о моем запросе. Скобельцыны были, как и я, досрочно освобождены из лагеря и жили недалеко от меня, в городе Йошкар-Ола (бывший Царевококшайск).

Со свойственной ей сердечностью Александра Ивановна выражала радость по поводу того, что я нашлась, и просила их навестить. «Получив твое письмо, — писала она, — я чуть было не села в поезд, чтобы ехать в Поляны, но, поразмыслив, решила попросить тебя приехать к нам. Я стала очень плохо видеть и не рискую пуститься в путь одна».

Недолго думая, я, совершив пересадку в Казани, в одно прекрасное январское утро очутилась в Йошкар-Оле, где Скобельцын занимал кафедру в Лесотехническом институте. Александра Ивановна, по-видимому, была искренне рада меня видеть, но Юрий Владимирович показался мне каким-то связанным — он упорно избегал разговоров и воспоминаний о местах заключения. Лишь семь лет спустя, прочитав протокол заседания Военного трибунала, реабилитировавшего Скобельцына Ю.В., Скобельцыну А.И. и Аксакову Т.А., я узнала, что «показания Скобельцына были получены недопустимыми советским судопроизводством методами». Допускаю, что ему было не совсем приятно на меня смотреть, хотя я, зная обстановку тех дней, весьма далека от осуждения.

Проведя в Йошкар-Оле два дня, я благополучно вернулась домой, однако вскоре Александра Ивановна дала мне понять, что на наше общение наложено *veto*, которому я подчинилась и с тех пор ничего о Скобельцыных не знаю.

Если не считать этой вылазки и ежегодных нелегальных поездок в Москву во время отпуска, дни мои текли однообразно, делясь между больницей и вечерней школой. Привыкая постепенно к местному населению, я все же невольно сравнивала его с приветливыми калужанами. Сравнение было не в пользу вятскополянцев, которые казались мне очень грубыми и себялюбивыми. Многое из того, что наблюдал Короленко семьдесят пять лет назад в Бисеровском районе Вятской губернии, осталось в силе.

Язык пополнился современными ходовыми словами, но сохранились в неприкосновенности такие понятия, как, например, «дичать». Никого не удивляет, что в том или ином доме Ванька, Колька или Володька периодически «дичает», то есть, напившись до бесчувствия, начинает бить всё, что ни попадается ему под руку. Домашние в таких случаях убегают к соседям или прячутся на чердаке. В особо тяжелых случаях «дичающий» вытаскивает из сундука одежду вызвавшего его неудовольствие лица и, положив на порог (таков ритуал), рубит вещи топором. То же иногда делают ревнивые жены.

Работая несколько лет по совместительству секретарем судмедэкспертизы, я фиксировала последствия этих «дичаний»: резаные и ушибленные раны, кровоподтеки и ссадины, как «с расстройством», так и «без расстройства здоровья». Поэтому я говорю об этой стороне жизни Вятских Полян с полным знанием дела.

Но возвращаюсь к первым годам моего пребывания в Вятских Полянах. Не будучи осведомленной о местных обычаях, я иногда совершала промахи. Так, например, встречая какую-нибудь соседку, я задавала вопрос: «Куда вы идете?» Женщина немедленно поворачивала обратно, считая, что я ей «закудыкала дорогу», что ей теперь «пути не будет». Мне не стоило большого труда исключить слово «куда» из моего лексикона при разговоре с местными жительницами, но их подчас недоброжелательные выпады против нашей больницы, патриотом которой я вскоре стала, вызывали во мне протест. Вместе с тем я не идеализировала свое учреждение и была вполне объективна. Так, на одном из вечеров самодеятельности хор сестер и санитарок с успехом исполнял мои частушки:

«Щи да каша — пища наша» —
Русская пословица,
Но в больнице только каша —
Плохо для здоровьица.

Испугается иной,
Убежит в преддверие —
Разговоры, как в пивной,
В нашей бухгалтерии.

Как у наших у ворот
Лужа непотребная,
Грязи там невпроворот.
А вдруг та грязь целебная?!

Что нам в грязи, у которой
Свойства не доказаны,
А для помощи для скорой
Противопоказаны.

На следующий год я уже отмечала в стенной газете наступившие улучшения:

Время движется вперед,
И у наших у ворот
От двора кнаружи
Нету больше лужи.

В ослепительной красе
Протянулося шоссе
Волей горкомхозной
Вплоть до Перевозной.

Мое появление в Вятских Полянах вызвало несомненный интерес у местных жителей, и до меня доходили забавные версии о моем прошлом. Так, например, кто-то, не зная о § 39 и замечая, что я прихрамываю, пустил слух, что я, наподобие графа Монте-Кристо, с целью побега прыгала из окна тюрьмы и повредила себе ногу. Мне пришлось разочаровать сторонников этой версии и сказать, что дело было гораздо менее романтично. Вспоминаю также, что первое время я, по-видимому, раздражала соседок тем, что ходила в шапочке без платка. Некоторые женщины даже останавливали меня на дороге и говорили: «Что же это ты, матушка, ушей не закрываешь?» Я напоминала им о правиле «держи ноги в тепле, голову в холоде, а живот в голоде» и уверяла, что ему следую, кроме, может быть, голода. Прошло некоторое время, я потеряла в глазах местных жителей интерес новизны, ко мне привыкли и, более того, стали ко мне относиться с явным доброжелательством.

К концу войны я переселилась из общей комнаты в отдельную каморку при конторе больницы. Половину площади занимала громадная русская печь, которая имела вид саркофага, не действовала, а только мешала. За печью у окна оставалась свободная жилплощадь в пять метров, на которой я и разместилась, считая это первой ступенью к квартирному благополучию.

Началось, однако, с неприятности. В один прекрасный день я обнаружила, что чемодан, стоявший под кроватью, пуст. Подозрение пало на уборщицу конторы Тамару Снегиреву, которая уже была замечена в краже.

Она производила уборку конторы по вечерам, а с 7 до 11 часов меня никогда не бывало дома: я находилась в школе. Сначала я не захотела заводить дела, но когда вспомнила, что в чемодане лежала памятная скатерть, которую я вышивала в жутких условиях лагерного изолятора, то отнесла заявление в милицию. У Снегиревой произвели обыск, но ничего не нашли. Прошло месяца два, и ко мне прибежали наши сестры со словами: «Татьяна Александровна! Вчера Снегирева была в клубе на танцах в вашем черном шарфе с золотыми звездами!» Я совершенно забыла, что этот уже рваный шарф тоже лежал на дне чемодана, и не упомянула его в списке. Зато его знала вся больница, потому что он как-то раз фигурировал у одной из сестер в качестве «покрывала ночи», когда она отправлялась на костюмированный вечер.

Не устояв перед соблазном появиться на танцах в шарфе с золотыми звездами, Тамара Снегирева себя погубила. В милиции с ней серьезно поговорили, она во всем созналась и принесла часть вещей, уже рваных и заношенных. Скатерти среди них не оказалось, так как она была заложена за 30 рублей на станции. Узнав адрес, я помчалась туда с тридцатью рублями, выручила скатерть и успокоилась.

Через месяц, однако, меня вызвали повесткой в суд. За день до суда Тамарина мама пришла меня умолять «не губить», и я сделала все возможное, чтобы приговор (пять лет) сочли условным, то есть не вошедшим в силу до следующего проступка. Однако, как я потом узнала, прокурор опротестовал решение суда, и Тамара все же не избежала колонии для правонарушителей.

С житьем в каморке при конторе у меня связано другое, на этот раз приятное воспоминание: однажды я услышала через стенку, что какой-то художник предлагает сотрудницам больницы нарисовать их портреты. Заинтересовавшись этим разговором, я приоткрыла дверь и увидела человека лет сорока пяти в потертой телогрейке и шапке-ушанке. В руках он держал папку с образцами своих рисунков. Заглянув в папку, я увидела совсем не то, что ожидала. Там лежали столь хорошие эскизы и зарисовки, что я не удержалась от вопроса: «Скажите,

пожалуйста, где вы учились рисовать?» Незнакомец с учтивым поклоном ответил: «У академика Лансере».

В результате обмена еще несколькими фразами мой новый знакомый уже пил со мной кофе за печкой-саркофагом. Он оказался Василием Николаевичем Батюшковым, внучатым племянником известного поэта предпушкинской эпохи. Детство свое он провел в Самаре, где служил его отец, причем выяснилось, что в их доме в 1912 году бывал мой отец.

Подивившись тому, насколько свет мал, мы с Василием Николаевичем принялись обсуждать ситуацию. Батюшков жил в городе Кирове на положении высланного из Москвы и работал сдельно в кооперативе художников. Когда в городе подошел срок каких-то очередных выборов, его вызвали в УНКВД и предложили немедленно выехать из областного центра куда-нибудь в район на неопределенное время. Этим объяснялось его нахождение в Вятских Полянах без пристанища и без заработка.

В конце концов все «утряслось»: была найдена квартира, он увековечил образ многих сестер и санитарок, тщательно выписывая брошки на их груди (это было главное пожелание заказчиц), и даже рискнул пойти предложить свои услуги на Сосновский завод в 12 км от Полян. Я пишу «рискнул», потому что появление на военном заводе бродячего художника, да еще с не совсем хорошими документами, могло иметь плохие последствия. Но дело окончилось благополучно. Василий Николаевич получил несколько заказов и даже был приглашен переночевать к одному из инженеров.

Тот, кто будет (и если он будет!) читать мои воспоминания, наверное, заметит, что на их страницах часто появляются люди, временно вошедшие в орбиту моей жизни и, подобно кометам, ушедшие в неизвестность. Так что я ничего не могу сказать об их дальнейшей судьбе. Вина в том не моя, и с тем большим удовольствием я могу сообщить, что Батюшков не ушел бесследно из моей жизни. Вернувшись в Киров, он стал быстро восходить по ступеням лестницы общественного признания и связанного с ним благополучия. Благополучием, не связанным с «восхождением по ступеням», стало то, что, преодолев ряд препятствий, он соединил

свою жизнь с женщиной, уже занимавшей все его помыслы, когда он пил кофе за печкой-саркофагом.

С будущей своей женой, Ириной Эдуардовной Писаревой, насильственно вывезенной из Таллина в 1941 году, он познакомился на принудительных работах где-то около Советска (бывшая пристань Кукарка на Вятке), где всячески старался облегчить ее участь и являл собою пример рыцарского служения даме. Обходя подробности, скажу, что, приезжая в Киров в конце 40-х и начале 50-х с годовым отчетом по больнице, я всегда останавливалась у Батюшковых, которые занимали уютный особнячок на улице Герцена и держали «открытый дом». Из окон раздавались звуки фортепиано (Ирина Эдуардовна заняла место одной из ведущих преподавательниц музыкального училища), а в небольшой мастерской около кухни Василий Николаевич усиленно работал над заказами кооператива художников. Некоторые из его пейзажей я видела выставленными в залах областного музея.

Дом Батюшковых еще более оживился, когда в 1947 году в Киров прямо из Парижа приехали двоюродные братья Николай Геннадиевич Лермонтов и Петр Григорьевич Трубецкой. Это переселение совершилось в связи с тем, что в послевоенные годы советские представительства за границей открыли двери для возвращения эмигрантов на родину. Двери эти особенно широко открывались перед людьми, носящими громкие фамилии. Одновременно с Лермонтовым и Трубецким приехали Волконские, Завадовские, Старки и еще многие другие, которых я не знаю. Неожиданностью явилось то, что, вопреки обещаниям, в Москве никого не оставили.

Волконские поехали в Тамбов, Завадовские — в Ташкент, Старки — в Кострому, а Лермонтову и Трубецкому предоставили право украшать собою Киров, что они и сделали. В этих шутливых словах имеется большая доля правды.

Оба двоюродных брата сначала вызвали в городе интерес, а потом приобрели среди кировчан большую популярность. Даже когда заграничная одежда поистрепалась, а часть ее была продана на насущные нужды, проходя по улице, они выделялись не только прекрасным ростом, но и какой-то элегантной подтянутостью не военного,

а штатского образца. Преждевременно поседевший Лермонтов был к тому же очень красив собою. До сих пор, встречаясь с ним, я жалею, что не вижу на нем рыцарских доспехов.

На поставленном Москвиным в 1912 году у Харитоненко спектакле, описанном в первой части воспоминаний, присутствовала высокая седая дама с двумя мальчиками. Одним из этих мальчиков был Николай Лермонтов. Разница в возрасте исключала в ту пору возможность «непосредственных» контактов между нами (Петруша Трубецкой и совсем не выходил из детской в то время), но теперь эта разница сгладилась, и между нами установились самые дружеские отношения. За столом у Батюшковых я читала им первые главы этих, еще только намечающихся, воспоминаний, за которыми они продолжают внимательно следить. И Лермонтов, и Трубецкой навещали меня в Полянах.

Должна засвидетельствовать: несмотря на то, что их жизнь в Кирове на первых порах отнюдь не была усыпана розами, и Лермонтов, и Трубецкой относились ко всем неполадкам весьма спокойно и постоянно выражали радость, что они на родине. Бывали случаи, когда Лермонтов даже перебарщивал в этом отношении. Так, однажды, в моем присутствии, у себя дома, он принялся доказывать пришедшим к нему кировским литераторам, что в дореволюционной России никакого дворянского класса в идеологическом отношении не существовало, а то были только «патриоты своего отечества». Дословно он, конечно, так безграмотно не выражался, но смысл был как раз этот. Слыша это, я, смеясь, посоветовала ему учитывать свою аудиторию. В данном случае он не учел моего присутствия.

Петр Григорьевич таких деклараций не делал, но в силу своего мягкого характера и широкого образа мыслей был, по существу, более демократичен, чем его двоюродный брат.

Коммунальными квартирами «возвращенцев» обеспечили не сразу, но зато, принимая во внимание прохождение курса во французских школах, признали за ними высшее образование и предложили места экономистов:

Лермонтову — в управлении автотранспортом, а Трубецкому — в учреждении, именуемом «Утильсырье», где, как я уже говорила, они снискали любовь и уважение. Лермонтов, правда, частенько ссорился с начальством, но это шло на пользу дела и в ущерб себе.

В самом начале 50-х годов в Киров приезжала Анночка Толстая, но я ее там, к сожалению, не видела. В ту пору прямых поездов между Вятскими Полянами и Кировым не было, и поездка в наш районный центр представляла большие трудности. В послевоенные годы Анна Ильинична, по наряду «Общества распространения политических и научных знаний», выезжала или, вернее, вылетала в различные города страны с беседами о своем деде и о жизни в Ясной Поляне. С такой беседой она и выступила в Кировском педагогическом институте, остановившись у Трубецкого.

Примерно в то же время, что и новые кировчане, из Югославии вернулись ее два брата: Илья Ильич и Владимир Ильич — с женами, детьми и любимой собакой. Как Толстых, их не послали на периферию, а устроили в Москве и снабдили персональными пенсиями. Лермонтов, находящийся с ними в приятельских отношениях, признает в них «свойственный всем Толстым "шарм"». Увидев однажды у Анночки в Москве Владимира Ильича, я, откровенно говоря, никакого «шарма» не заметила или, может быть, не успела заметить. Что касается Анны Ильиничны, то я в полной мере чувствовала ее своеобразный «шарм», и наша дружба оставалась нерушимой до самой ее смерти 3 апреля 1954 года.

Несмотря на то, что у Толстопоповых была хорошая квартира на Арбате, Анночка, вопреки желанию мужа своего и путем больших усилий, построила дачный дом недалеко от Звенигорода. Делала она это, имея в виду своего сына Сережу, который перенес много тяжелого и составлял предмет ее постоянных забот. Бравируя своим подневольным положением, я умудрилась во время одной из вылазок в Москву провести с Анночкой два дня на этой даче. Было это осенью 1953 года, то есть за полгода до ее смерти. Мы вспоминали Калугу, Мойку, все, что связывало нас на протяжении тридцати лет, и не подозревали, что это наше предпоследнее свидание.

Мне кажется, не будет неуместным привести здесь два последних письма Анны Ильиничны, которые я извлекла из своего архива и с большим волнением перечитала. Эти письма имеют отношение к моему приезду на дачу. Они очень милы по форме и исполнены той шутливой ласковости, которая составляла ее стиль.

«27 октября 1953 года.

Милая моя Татьянушка! Хотела написать тебе в тот самый день, когда мы с тобой расстались. Ты себе представить не можешь, как мне было приятно с тобою, как было интересно и поучительно, моя дорогая подружка. И все же осталось впечатление чего-то недосказанного, недоговоренного. Напиши мне, моя душенька, пока я еще жива. Хотя совсем не хочется помирать, но я часто чувствую последствия инфаркта, чувствую, как сердце обливается кровью в прямом смысле, а не в переносном, хотя достаточно причин ему поливаться и так и сяк. Сейчас сижу совсем одна на даче, куда выехала с Сережей, неожиданно приехавшим повидать нас, еле живых стариков. Брат Владимир вырвался сюда на сутки, и они пошли на Москва-реку со спиннингом, чему я очень рада, т.к. Сережа совсем не выходит из подавленного состояния духа. Пока ответа на мое просительное письмо нет, поэтому на днях он снова отправляется на север, где чувствует себя спокойнее и увереннее, хотя тяготит дальность расстояния (езды четверо суток). Пишу тебе, только чтобы сказать, как я люблю тебя и благодарю за чудесно проведенные с тобой часы. Напиши мне, пожалуйста, какой глагол был поставлен к “поповне”. Я точно не запомнила, а тут нужна точность.

Нежно целую тебя. Твоя Анночка».

Тут речь идет о случае, который мы вспоминали с ней на даче (я уже упоминала о нем). Мой двоюродный дядюшка Николай Петрович Штер дирижировал танцами на балу в Дворянском собрании в мае 1913 года. Присутствовала царская семья. Когда закончился торжественный полонез, государь попросил начинать танцы. Перейдя обширный зал (именуемый теперь «Колонным»), дядюшка склонился передо мной в почтительном

поклоне, приглашая открыть бал первым туром вальса. Не ожидая такой чести, я замялась в нерешительности и вдруг услышала вразумляющий шепот: «Не жеманься, как поповна!», после чего положила руку на плечо своего кавалера и, не помня себя от страха, заскользила по безбрежному паркету. В своем письме Анночка просила восстановить в ее памяти выражение «не жеманься».

Письмо от 29 декабря 1953 года:

«Спасибо, милая Татьянушка, за письмецо. Неизменно радуюсь, когда вижу твой характерный почерк, зная, что всегда найду что-либо остроумное в твоем конверте. Я снова лежу, перенося воспаление среднего уха. Откуда мне сие?! Непонятно. Конечно, машинку с клапаном это подорвало, так что чувствую, что ослабела. Посещает меня брат С.Михалкова, Миша. Он тоже пишет. Сереже хотелось бы иметь твое четверостишие о нем. У меня оно есть в моих недрах, но не найду, так что буду очень благодарна, если ты мне его пришлешь, коли это возможно. Миша очень милый и интересный. Отбыл наказание после войны, вернее, он был на проверке пять лет без обвинения и статьи и теперь попал под амнистию. Сережа вел себя по отношению к нему исключительно. Он был везде — в пяти высоких инстанциях, говорил лично и ничего не мог достичь. Сережа говорит, что не стоит трудиться, не стоит чего-то ждать таким, как Сережа мой. Другого я ничего не слыхала.

Мое занятие состоит в том, что я лежу, вяжу, выпрямляю, вернее, редактирую, то пьесу М., то лекции брата Володи, смотрю телевизор, который Патя купил мне для развлечения. Не могу сказать, чтобы я была в восторге, но все же многое бывает интересно, занятно, не говоря уже о музыке, балетах и операх Большого театра. Досадно, что не цветное, а одноцветное, как в старом кино. Будет лучше смотреть на даче. Но попаду ли я туда и когда, это большой вопрос. С постели спускают только, чтобы помыться и привести себя в порядок. Никогда не ждала от себя такой немощи, хотя надо радоваться, что нет увечья вроде паралича. И за то спасибо!

Пиши, моя милая! Я совсем не удовлетворена свиданием с тобой. Так мало, а, главное, твоего творчества я не знаю. Как здоровье твоего отца? Мы не слыхали о нем.

Целую тебя, мой старый, верный друг. Твоя Анночка».

Привожу упомянутое в письме мое коротенькое стихотворение на Сергея Михалкова, написанное в начале 50-х годов, то есть в разгар «культа личности»:

Джамбула стиль в стране советов
Не есть смешной анахронизм.
И кто, скажите, из поэтов,
Кто не вдается в «джамбулизм»?!

Возьмешь журнал, и станет жалко,
Что, ради премий и венков,
То, что не мог писать Михалков,
Не дрогнув, пишет Михалков.

После того, как я его так «разделала», считаю свои долгом рассказать о Сергее Владимировиче Михалкове то, что слышала от Анны Ильиничны при нашем с ней последнем свидании в марте 1954 года. Она чувствовала себя плохо, но бодрилась, и наши беседы по-прежнему касались самых разнообразных тем. Она вдруг сказала: «А ты знаешь, Татьяна, что сделал Сергей Михалков, когда его брат сидел в лагере? Он получил какую-то премию (несколько десятков тысяч), и всю ее отдал на посылки товарищам брата по заключению. Какой молодец!»

На похоронах Анны Ильиничны мне не пришлось быть, но я все же не теряю надежды приехать когда-нибудь в Ясную Поляну и быть на ее могиле.

Не всегда, однако, игнорирование § 39 сходило мне благополучно. В феврале 1950 года профорганизация медработников предложила мне путевку в одну из санаторий Кисловодска. Сезон был неподходящий (в силу чего я, вероятно, и получила эту путевку), но я все же решила ехать, не подозревая, что это мне «запрещено». Приехав в санаторию «Горняк», куда меня почему-то направило распределительное курортное бюро, я сдала свой паспорт, и на следующий же день меня вызвали

в управление милиции, где объявили, что я не имею права находиться в Кисловодске и они пошлют обо мне запрос по месту жительства. Через два дня, получив, по-видимому, более или менее благоприятные сведения из Вятских Полян, мне сказали, что, поскольку я здесь, мне позволят завершить лечение, но по истечении срока я должна немедленно убираться восвояси.

Я тут же поняла, какой переполох поднят в Полянах, и настроение мое весьма понизилось. Без всякого воодушевления я приняла положенные мне двенадцать нарзанных ванн, объездила окрестности на туристском автобусе, обошла заснеженный парк и с неприятным чувством направилась домой.

Как я и предполагала, вся больница только и говорила, что о запросе милиции из Кисловодска. Меня вызвали к заведующей райздравотделом, маленькой женщине, жене местного прокурора, которая огорошила меня вопросом: «Где Вы были?» «Как где? — ответила я, кладя на стол санаторную книжку. — В Кисловодске, в санатории "Горняк"». «А здесь все говорят, что Вы ездили в свое кавказское поместье и жители вас там встречали с букетами цветов. Так это неправда?» Я уверила ее, что у меня не только не было там поместья, но что я никогда ранее не бывала на Кавказе.

Начальник РО МВД Белозеров мягко пожурил меня за то, что, уезжая, я не «согласовала с ним вопроса», и шумиха кое-как улеглась. Только лечение на курорте не принесло мне никакой пользы.

Хотя я, составляя план этой главы, оставила за собой право отклоняться временами от основной темы «Вятскополянская больница», теперь пора к ней вернуться.

Милая женщина-кукла, Валентина Васильевна Колобова, занимавшая несколько лет подряд должность главного врача, в 1946 году покинула Вятские Поляны по причинам личного характера. Я уже говорила о ее нежном сердце, и это нежное сердце привело ее к тому, что она не на шутку влюбилась в инженера Ивана Ивановича Иванова, который работал от Московского треста, взявшего на себя обязательство проложить по центральным улицам Полян водопроводные трубы. Иван Иванович был человеком средних лет, неглупым, «видавшим виды», но

никак не подходил под образ Ромео, которого, несомненно, хотела в нем видеть Валентина Васильевна.

На больнице появление Ивана Ивановича отразилось благоприятно: как человек опытный, он наладил бухгалтерскую отчетность и разогнал увивавшихся вокруг Колобовой приживалок, пользовавшихся ее мягкостью в корыстных целях. Но, переехав на квартиру главного врача, он отнюдь не собирался менять своих привычек: пропадал на охоте, вваливался в своих болотных сапогах в комнату с тюлевыми занавесками и белоснежными покрывалами, выпивал с товарищами, и не раз Валентина Васильевна лила горькие слезы на моем плече, тщетно ожидая его возвращения в назначенный час.

Когда срок пребывания Иванова в Полянах истек и он получил назначение на работу в Алексин, доктор Колобова покорно последовала за ним, передав свой пост демобилизованному пожилому врачу Шаталову, который возомнил себя хирургом и стал производить операции, кончавшиеся весьма плачевно. Появились серьезные сомнения, имеет ли он вообще врачебный диплом, но прежде, чем этот вопрос получил полное выяснение, пошли слухи, что к нам на должность главного врача едет вернувшийся из плена доктор Александр Владимирович Портных, занимавший этот пост до войны и оставивший по себе очень хорошую память.

Шаталов перевелся в другую область, и в один из летних дней в ворота больницы въехала повозка (машинами больница в ту пору еще не обладала), на которой сидели довольно высокий плотный темноглазый человек в кожаном пальто — новый главврач, — его очень красивая жена Елизавета Ивановна и двое детей — Володя четырнадцати лет и Рита шести.

Хотя я, конечно, не могла этого узнать с первого взгляда, мне тут же хочется сказать, что в Александре Владимировиче Портных, ставшем за три года совместной работы моим большим другом, присутствовало не так уж часто встречающееся сочетание ума с большой, подчас даже чрезмерной добротой. (Мне кажется, что обычно в людях превалирует одно из этих качеств в ущерб другому.) Уроженец города Арзамаса, свою юность он провел где-то недалеко от Саратовской пустыни, окончил

медицинский факультет Нижегородского университета (до того времени, как этот город был переименован в Горький), работал хирургом в Кировской области, потом военным ведомством был направлен в Литву, на самую границу, где их часть окружили и захватили в плен в первые же дни войны. Пережив все тяготы плена, в начале 1945 года он был освобожден, но, на свое несчастье, не советскими, а английскими войсками, и некоторое время работал хирургом в английском госпитале, очень недолго, так как при первой возможности вернулся на родину и, в частности, в Вятские Поляны.

Казалось бы, в его поступках не было ничего предосудительного, однако он, по-видимому, сразу был взят на подозрение, вернее, под него подложили «бомбу замедленного действия», взрыву которой через три года способствовал целый ряд обстоятельств. Местная молва во всем обвиняет его жену. Я смотрю на это дело не так упрощенно, зная, как неласково встречали вообще всех возвращающихся из плена, и думаю, что неразумное поведение Елизаветы Ивановны было лишь звеном в одной общей цепи. Но перехожу к последовательному описанию событий.

Приняв на себя обязательства главврача и заведующего хирургическим отделением, Александр Владимирович быстро восстановил свою прежнюю популярность. Народ его очень любил за ровное отношение ко всем и за полное отсутствие «подхалимажа». Мне было легко с ним работать, так как он умел отличать главное от второстепенного и не имел никакой склонности к бюрократизму. Последующие хирурги ставят ему в упрек, что он не вводил в практику хирургического отделения новые операции, например, резекцию желудка, и работал, как они говорили, «по старинке». Но вряд ли можно было требовать от человека, пережившего то, что пережил он, не отдышавшись, тут же начать овладевать новейшими достижениями медицины!

Я часто бывала на операциях, так как, по примеру лагерных лет, давала ингаляционный наркоз, и не видела ни одной неудачи Александра Владимировича как хирурга. Операционной сестрой при нем работала его жена,

и работала исключительно хорошо. Мне кажется, что в случае необходимости она могла бы с успехом стать на место хирурга, так четко она знала ход любой операции.

Я уже говорила, что Елизавета Ивановна была хороша собой. Стоя у операционного стола, я подчас любовалась ее точеными чертами лица, прекрасными серыми глазами, стройной, высокой фигурой. Притом она была способна на очень хорошие поступки — могла отдать последнюю рубашку, любила животных, но все это тонуло в ее полном неумении владеть собой. Работая всю войну в Горьковском военном госпитале, она имела доступ к спирту и «заливала им свое горе» по поводу отсутствия известий о муже. (Во всяком случае, так она объясняла свою прогрессирующую склонность к алкоголю, которая и была главной причиной достоевщины в семье Портных.) Под конец пребывания в Полянах Елизавету Ивановну уже приходилось вытаскивать в полубессознательном состоянии из пивных и даже из канав. Дома случались скандалы, но потом, наутро, провинившаяся просила прощения и Александр Владимирович ее прощал.

Эти необычные супруги, по-видимому, любили друг друга, но любовь часто переходила в ненависть. Надо думать, что Елизавета Ивановна всегда была ревнива, но постепенно, под действием алкоголя, приступы ревности стали принимать особенно бурный характер. Так как в настоящем ревновать было не к кому, то ее ярость направлялась на прошлое. До нее дошли слухи, что в плену у Александра Владимировича была привязанность к какой-то особе, делившей с ним заключение. Особа эта вернулась в Ленинград, отношения с ней у Александра Владимировича были порваны, но имя ее фигурировало во всех ссорах. Я допускаю, что в виде острастки Александр Владимирович грозил вернуться к ней, если пьянство по пивным не прекратится. Тут начиналось неистовство, и летели слова вроде «Я вас обоих тогда разоблачу!». Разоблачать было не в чем, всё это были «хмельные неразумные слова», но они доходили до тех, кого могли интересовать и кто стремился дать им соответствующую интерпретацию.

Наблюдая отношения между Александром Владимировичем и его женой, я вспоминала стихотворение Гумилева, начинающееся словами:

Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной.
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Однако время для таких «отречений» на почве ревности было выбрано самое неподходящее: шел 1949 год и нес с собой рецидив того, что происходило двенадцать лет назад.

Не знаю, заметил ли Александр Владимирович в вышеприведенных стихах аналогию с собою, но другое стихотворение Гумилева, прочитанное ему мною по памяти, произвело на него сильнейшее впечатление. Это понятно, потому что вряд ли есть в мировой поэзии более мрачное по своей обреченности произведение, чем гумилевский «Выбор»:

Созидающий башню сорвется.
Будет страшен стремительный лет.
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет.

Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит.

А ушедший в лесные пещеры
Или к заводям тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.

Не спасайся от доли кровавой,
Что земным уготовила твердь.
Но молчи! Несравненное право
Самому выбирать свою смерть.

«Наводящие ужас зрачки» Александр Владимирович повстречал не в Полянах, а в Зюдзинском районе, на севере нашей области, но здесь к этой встрече, по-видимому, велась планомерная подготовка. В образе жизни Портных не было ничего замкнутого, тайного. Они жили

до глупости нараспашку, двери их квартиры были открыты для всех, и среди этих «всех», несомненно, встречались люди, осведомленные о том, что у них делается и говорится.

У себя дома Елизавета Ивановна пила умеренно. Александра Владимировича я никогда не видела заметно пьяным. Может быть, у него была в этом отношении крепкая голова, да и я предпочитала бывать у Портных в обычные дни, когда не бывало ни гостей, ни выпивки. Возвращаясь усталая из вечерней школы и видя свет в квартире главного врача, я часто заходила в просторную кухню, где на полатях жила санитарка Лиза Суворова и где меня приветливо встречала добродушная собака Джери. Оттуда я шла в комнату Володи, с которым периодически занималась немецким языком, либо в кабинет к А.В., которого, как я уже говорила, считала своим большим другом.

Елизавета Ивановна тоже относилась ко мне очень хорошо и, в моменты просветления, терпеливо выслушивала мои увещевания, не имевшие никакого практического результата. С благодарностью вспоминаю сердечное отношение их обоих в момент приезда ко мне Лизы Шереметевой, их желание ей помочь. Когда Лизе, как я уже рассказывала, предложили в 24 часа покинуть Поляны, Елизавета Ивановна помчалась ее провожать с пакетом свежеиспеченных пирожков.

По субботам обычно я заходила к Портным, у которых был приемник, чтобы послушать комментатора по вопросам литературы Александра Назарова. Передачи велись из Нью-Йорка и были очень интересны. Вспоминаю забавный случай: Назаров говорил о семье Джеймсов, наиболее знаменитым представителем которой был философ Вильям Джеймс, и упомянул о мемуарах сестры последнего. «Эти мемуары, — говорил он, — очень ценны и вполне могут быть сравнимы с замечательными воспоминаниями Аксаковой, сумевшей верно отразить эпоху и обстановку, в которой она жила». Присутствующие, знавшие, что я пишу мемуары, разинули рты от удивления, но я тут же со смехом поспешила объяснить, что речь идет об Анне Федоровне Аксаковой, дочери Тютчева (поэта), и ее книге «При дворе двух императоров».

Среди заграничных передач того времени мне запомнился рассказ Эйзенхауэра о его взаимоотношениях с маршалом Жуковым на последнем этапе войны. «Различие политических убеждений не мешало нашим добрым отношениям, — говорил он, — но я всегда удивлялся, что Жуков может мириться с полным отсутствием свободы действий. По самым мелким вопросам он должен был сноситься с Кремлем. Я старался доказать ему, что меня сразу прогнали бы с моего поста командующего, если бы я из-за всякого пустяка запрашивал Белый Дом. Но вряд ли такое положение вещей нравилось и самому маршалу Жукову».

Как-то раз завели речь о бесчинствах сына Сталина, Василия, которые очень легко сходили ему с рук. «Однажды, — говорили из Америки, — товарищи летчики, возмущенные его заносчивостью, подкараулили его в каком-то темном закоулке и, накрыв голову мешком, дабы он не мог нажаловаться отцу, хорошенько ему "всыпали"». Это впоследствии официально подтвердилось.

Однако легко все это было говорить, сидя за Атлантическим океаном. Гораздо хуже было нам в 1949 году замечать симптомы рецидива «ежовых рукавиц» (хотя и под каким-нибудь другим названием). Теперь, пожалуй, ожидание было еще страшнее, чем в 1937-м, так как многие знали по опыту, что это значит, и надо было обладать большой долей оптимизма, чтобы, наподобие страуса, зарыть голову в песок и продолжать жить как ни в чем не бывало, стараясь не замечать того, что делается вокруг.

Ходили слухи, что всех репрессированных в 1937 году вновь арестовывают и отправляют в пожизненную ссылку в Красноярский край. Слухи эти, в основном, соответствовали действительности, но ко мне лично судьба оказалась милостива. Дело ограничилось тем, что осенью 1949 года я была «снята с педагогической работы», то есть как политически неблагонадежный элемент уволена из Школы рабочей молодежи. (О том, как это произошло, я расскажу позднее.) *In profundis** мне опять помогло то, что другой рукой я держалась за медицинскую

* Здесь: на самом деле (*лат.*).

работу, на этот раз, за вятскополянскую больницу. У меня самой оставался «кусок хлеба» и сохранялось «гражданское лицо», но пришлось с болью в сердце узнавать о крушении жизни моих уже немногочисленных друзей. Первым из пострадавших в то время оказался доктор Портных.

Летом 1949 года его сняли с должности главного врача, и он оставался лишь хирургом, а осенью перевели на работу в северный район области, сначала в Мураши, а потом в Зюдзино. Понимая, что это замаскированная ссылка, народ вышел из обычного безмолвия. Три сельсовета послали в исполком своих представителей с ходатайством об оставлении Александра Владимировича в Полянах. Это, несомненно, подлило масла в огонь, явившись доказательством популярности «опасного» человека, которого и поспешили удалить.

Проводы были многолюдны и поистине трогательны. Вся больница высыпала на двор, многие плакали. Помню взволнованное лицо Володи Портных, который за три года пребывания в Полянах успел прекрасно закончить десятилетку и превратился в высокого красивого юношу. С отцом его связывала большая душевная близость.

Из Зюдзина я получила одно или два письма, а весной 1950 года до нас дошел слух, что Александр Владимирович арестован и находится в Кировской тюрьме. Вокруг этого факта сразу была создана атмосфера таинственности, и имя его стало произноситься шепотом и со страхом. Приехав в июле с полугодовым отчетом в Киров, я заходила к его родственникам в надежде что-либо узнать, но мне сказали, что ничего не известно. Елизавета Ивановна приезжала из Зюдзина: передачу приняли, а свидания не дали.

Потом передачи перестали принимать, что всегда было плохим признаком. После нескольких месяцев полного неведения мы поняли, что Александра Владимировича нет в живых. Ему не суждено было дождаться того просвета, который наступил для нас три года спустя.

Володе, несмотря на все трудности, удалось окончить медицинский институт, и он работает хирургом в Горьковской области. Елизавета Ивановна живет у своей сестры в Горьком, не имея постоянной работы из-за прежнего

пристрастия к алкоголю. Все это я знаю со слов других людей. Сама же я никого из Портных не видела с того вечера, как проводила их на вокзал, осенью 1949 года.

Теперь мне предстоит рассказ (и довольно длинный) о другом крушении, относящемся к тому же периоду, и я должна вторично ввести на страницы моего повествования Льва Владимировича Гольденвейзера, с которым я встретилась в лагере и рассталась на станции Киров, когда направлялась в Вятские Поляны, а он к сестре в Новосибирск.

В один прекрасный день, к своему удивлению, я получила из Москвы телеграмму, в которой Лев Владимирович просил санкционировать его переселение в Вятские Поляны. Я, конечно, «санкционировала», но продолжала оставаться в полном недоумении. Прошло некоторое время. Я сидела в канцелярии больницы за раздачей продовольственных карточек. (Эту обязанность возложили на меня в порядке общественной нагрузки.) Карточки были разложены по всему столу, а вокруг стояла толпа жаждущих эти карточки получить.

Взглянув случайно в окно, я увидела нечто, заставившее меня быстро вскочить с места и, бросив карточки на произвол судьбы, поспешить к входной двери: по двору шел, едва передвигая ноги и опираясь на палку, Лев Владимирович Гольденвейзер с огромным рюкзаком за спиной. Едва войдя в мою каморку с печкой-саркофагом, он в полуобморочном состоянии опустился на кровать. Освободив его от рюкзака, я поставила варить кофе и вернулась к своим карточкам. Обнаружив, что за короткое время моего отсутствия одна продовольственная карточка исчезла, я вынуждена была принять, что это моя, и таким образом осталась на целый месяц без хлеба и с Гольденвейзером на руках. Он, в свою очередь, был без сил, без пристанища и вдобавок без паспорта (потеряв его в дороге). Положение было сложное. Милый Александр Владимирович, к которому я помчалась за советом, сказал: «Вот что, Татьяна Александровна, устраивайте вашего знакомого временно у себя, а сами переселяйтесь в мой служебный кабинет. Дальше — будет видно».

Появлению Льва Владимировича в Полянах предшествовало, насколько я понимаю, следующее: соскучившись или не ужившись в Новосибирске, он в один прекрасный день приехал в Москву и обрушился как снег на голову к своим детям — сыну Алексею Львовичу, профессору математики в каком-то очень важном учреждении, и дочери Ирине Львовне, жене ответственного работника. Отличительной чертой Льва Владимировича было то, что он, обладая тонким саркастическим умом, никогда не скрывал своих мыслей и называл вещи своими именами. Это делало его весьма «неудобным» родственником в обстановке сороковых годов. На семейном совете, по-видимому, решили отправить его ко мне в Поляны, дав обязательство высылать ежемесячно 400 рублей, сумму, позволяющую не умереть с голоду. Лев Владимирович почему-то поехал водным путем, по дороге потерял паспорт с § 39, как я уже говорила, и добрался до вятскополянской больницы в состоянии полного изнеможения.

В конце концов все кое-как наладилось. Была найдена квартира в убогом домике на Пароходной улице, в милиции, после уплаты штрафа, получили шестимесячное удостоверение личности (город наш еще не стал «режимным», как это произошло позже, в момент приезда Лизы Шереметевой), Лев Владимирович «отдышался» и стал тем блестящим собеседником, каким я знала его в лагере и каким он оставался, вопреки всем невзгодам, до последнего дня своей жизни.

Происходил он из обрусевшей еврейской семьи, занимавшей прочное место среди русской интеллигенции начала XX века. Детство и гимназические годы Льва Владимировича протекали в Киеве. (Отец его служил в правлении «Общества Юго-Западных железных дорог».) Жизнь, по-видимому, была веселая, особенно летом, когда съезжалось много двоюродных братьев и сестер. Старшим из этой компании был Александр Борисович Гольденвейзер, уже известный музыкант, друг Льва Толстого и завсегдатай Ясной Поляны.

К киевским годам относится рассказ Льва Владимировича о похоронах известного присяжного поверенного Куперника, считавшегося «красным», в силу чего его похороны превратились в грандиозную демонстрацию.

Меня этот рассказ особенно заинтересовал, потому что речь шла об отце Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник и моей подруге по гимназии Бумы Куперник. Надо сказать, что последняя всегда импонировала мне своим умом и способностью к наукам. Жила она на территории университета с матерью, по второму браку Крашенинниковой. Но я отвлеклась в сторону!

Учась на юридическом факультете Московского университета, в доме своего двоюродного брата Лев Владимирович встречал многих знаменитостей того времени, главным образом из музыкального мира. Из его рассказов, относившихся к тому периоду, мне запомнился следующий. Среди новаторов музыкального искусства зашел разговор об опере «Кармен», которую предали жестокой критике, называя «шарманкой». Когда все вдоволь накричались, из угла раздался голос Рахманинова: «Что касается меня, я был бы очень счастлив, сочинив такую "шарманку"».

По окончании в 1910 году университета (с запозданием из-за событий 1905 года, в которых он был несколько замешан), Лев Владимирович одно время занимался юридической деятельностью, но вскоре так пристрастился к театру, и в частности, к Художественному театру, что война и революция застали его одним из режиссеров 2-й студии. Принимая его первую режиссерскую работу, Станиславский сказал, пародируя фразу из «Жизни человека» Леонида Андреева: «Тише! Режиссер родился!»

Сколько раз я говорила Льву Владимировичу, что, вместо того чтобы писать роман в семи частях под названием «Выдуманная жизнь», который был не так уж и хорош в литературном отношении, ему следовало заняться своими воспоминаниями. Но он был упрям и считал себя писателем, а не мемуаристом.

То, что Лев Владимирович являлся знатоком театра и прекрасным режиссером, никем не оспаривалось, и, так как в маленьком городке, подобном Вятским Полянам, ничто не остается скрытым, культотдел завода в скором времени пригласил его возглавить их самодеятельность. На протяжении трех лет Лев Владимирович отдавал все силы свои театральной группе молодежи и создал ряд прекрасных спектаклей (среди них наиболее удачными

были «Пушкинский вечер» и «Московский характер» Софронова). Многие из участников этой группы ходили за ним по пятам и слушали его как оракула.

Одним из наиболее способных и приверженных ему учеников был рабочий завода Агалаков. Этот Агалаков решил поступить на Московские заочные курсы режиссеров. Первая же контрольная работа, несомненно, выполненная под руководством Льва Владимировича, произвела в Москве такое впечатление, что представитель курсов приехал познакомиться с Агалаковым, увидев в нем «самородный талант».

Вполне понятно, что популярность репрессированного человека не могла нравиться властям предержащим, а тут наступили тяжелые времена, и, начиная с января 1951 года, стало подготавливаться его «крушение», причем методы были настолько неблаговидны, что стоит остановиться на их подробностях.

Когда Лев Владимирович начал работать в группе самодеятельности, он переехал поближе к заводу, сняв комнатку у веселой, разбитной бабенки Лизы Курочкиной. К Льву Владимировичу она относилась почтительно, испытывая благодарность за то, что он ее 8-летнего сына Юрку из беспризорного мальчишки превратил в отличника. От времени до времени Лев Владимирович поступал к нам в больницу, так как был слаб здоровьем и держался только на нервах. Подчас он злоупотреблял люминалом, который ему «от бессонницы» высылала его кузина, Татьяна Борисовна, жившая в Москве со своим братом Александром Борисовичем. Платоническая привязанность этой кузины, длившаяся со времени киевских каникул в 90-х годах до ее 80-летнего возраста, была поистине трогательной. Отношения с прославленным двоюродным братом, наоборот, были прохладными. Лев Владимирович находил, что жизненный путь Александра Борисовича (включая яснополянский период) не всегда был достаточно прямолинеен.

Наступление на Льва Владимировича началось с того, что в 1949 году он, как «репрессированный», был уволен от руководства самодеятельностью завода; однако некоторые из его учеников продолжали «под покровом ночи» посещать домик Лизы Курочкиной, где перед висящим

на стене портретом Станиславского шли интересные беседы о литературе и театральном искусстве. В числе преданных Льву Владимировичу людей был Саша Ширяев, рабочий завода и мой ученик по Школе рабочей молодежи. Я вернусь еще к этому прекрасному человеку, а здесь, к сожалению, должна дополнить «почитателей» Льва Владимировича новым лицом, сыгравшим в дальнейшем очень низкую роль. Это был довольно красивый человек лет тридцати, Борис Трофимов. Насколько я слышала от Льва Владимировича, он когда-то работал в органах НКВД, но был уволен за какую-то провинность и перешел на завод. Такие люди были особенно опасны, но Лев Владимирович в своей наивности восторгался Борисом Трофимовым и верил в его хорошее отношение.

В 1950 году в одном из толстых журналов появилась переведенная на русский язык пьеса Говарда Фаста «Тридцать сребреников», и многие московские театры включили ее в свой репертуар. Лев Владимирович, который не мог сидеть без дела, составил очень интересный план постановки и предложил группе молодежи из самодеятельности сыграть эту пьесу. Официально режиссировать должен был Трофимов, который подобно Агалакову, уже успел поступить на московские заочные театральные курсы. Репетиции должны были происходить у него на квартире. Одну из ролей Гольденвейзер собирался предложить нашему хирургу Скачилову, я же должна была быть консультантом по внешнему оформлению и «хорошим манерам». К счастью, ни Скачилов, ни я ни на одной репетиции в квартире Трофимова не были.

В разговорах о «Тридцати сребрениках» прошел 1951 год, и наступило 30 января 1952 года, когда к нам в больницу привезли Льва Владимировича в бессознательном состоянии и почти без пульса. Я поняла, что это неумышленное (или, вернее, умышленное) отравление люминалом, но оставила свои догадки при себе. С трудом, за два месяца, нашим врачам удалось привести здоровье Льва Владимировича в удовлетворительное состояние. Трофимов его навешал в больнице и в один прекрасный день предложил покинуть домик Лизы Курочкиной и переселиться к нему на заводскую квартиру, «где ему будет

много спокойнее» и где его, Трофимова, жена Женя Загоскина будет за ним ухаживать «как за родным отцом».

Мне это предложение показалось весьма странным, но, не дав Льву Владимировичу опомниться, Трофимов перевез его имущество, состоявшее из одного чемодана, электрической плитки, двух тарелок, нескольких книг и рукописи романа «Выдуманная жизнь» в семи частях, к себе на квартиру. Лиза Курочкина была обижена, но Трофимов действовал энергично и много с ней не разговаривал.

Подходил апрель, и с ним срок выписки Гольденвейзера из больницы. По поручению Льва Владимировича я сообщила об этом Трофимову, однако ни он, ни его жена не появлялись. После моих неоднократных напоминаний, Загоскина уклончиво сказала, что ее муж в Кирове и они заберут Льва Владимировича лишь после его возвращения. В ее тоне чувствовалось какое-то замешательство, и мне стало ясно, что ничего хорошего ждать нельзя. Началась игра кошки с мышью.

Поняв, наконец, что он попал на провокатора, Лев Владимирович поручил мне просить Лизу взять его обратно на квартиру, но этот путь был отрезан: Лизу уже успели допросить в НКВД, нагнали на нее страху и запретили принимать Гольденвейзера под свой кров, связав обязательством молчать о причине отказа. Мне пришлось присутствовать при тяжелой сцене: в коридоре больницы Лев Владимирович просил Лизу снова приютить его, а Лиза, заливаясь слезами, повторяла одну фразу: «Не могу! Не могу!»

Наконец 23 апреля (я называю точные даты, потому что имею под рукой архив больницы) мне позвонила по телефону Женя Загоскина и сказала, что Борис вернулся из Кирова и через час приедет за Львом Владимировичем. Это было выполнено в точности. Трофимов приехал в больницу на машине, только отвез Льва Владимировича не к себе на квартиру, а прямо в РО МВД, куда уже ранее доставил его рукописи, приложив, кстати, и записную книжку с заметками, предвосхищающими решения XXII съезда КПСС.

Через несколько дней Лев Владимирович был переведен в Кировскую тюрьму и осужден трибуналом на

25 лет заключения. Что, собственно, ему инкриминировалось и как был оформлен этот юридический акт — мне неизвестно. В Полянах имя Гольденвейзера стало внушать мистический страх. Агалаков делал вид, что его почти не знал, а Трофимов быстро исчез с нашего горизонта.

Первое письмо от Льва Владимировича я получила полтора года спустя. Оно было датировано 28 декабря 1954 года. Под датой стояло «Кировская Просница, П/Я 100, бар. 296».

Привожу небольшой отрывок из этого письма:

«В связи с моим выходом из больницы мне еще хочется вспомнить санитарку Клаву. Когда она принесла мое выходное платье, то со слезами на глазах шепнула мне: "Не уезжайте, хоть еще одну ночку переночуете у нас!" Но я уехал. Я весь горел желанием завтра же начать репетиции "Тридцати сребреников", не подозревая, что мои 30 сребреников уже срепетированы и Борис Трофимов уже исполняет свою роль Иуды — предателя».

Далее Л.В. продолжает:

«Как Вы радуете меня тем, что продолжаете писать свои мемуары! Немало было о них со мной мучительных для меня разговоров. Но раз Вы пишете их и сейчас, значит с Вами все "all right". С Новым годом, дорогая моя! Надо и о себе что-нибудь написать. 29 мая медицинская комиссия установила, что мне идет 72-й год и я нахожусь в условиях жизни, для подобных субъектов не показанных. В связи с этим создалась иллюзия, которая месяцев через шесть рассеялась. Юстиция с медициной не нашли общего языка. Из-за этой иллюзии у меня все лето пропало. Вместо того чтобы заниматься делом, как полагается, "по своим способностям", то есть писать, реалистически писать, я занимался фантазиями, от которых избавился только с наступлением холодов и темноты. Писать не могу. Не знаю, дождусь ли. Силы уходят, но, черт его знает, чего только не выдерживают бедные нервы! Вы доставили бы мне большое удовольствие, если бы прислали мне "Русский лес" Леонова и какую-нибудь солидно-популярную книгу о Павлове».

Я когда-то намеревалась еще раз ввести в свое повествование техника завода и моего ученика по ШРМ Сашу Ширяева. Для этого как раз настало время. Незадолго до катастрофы с Львом Владимировичем Саша с женой и детьми переселился в городе Ишим. В один прекрасный день он появился у меня с мешком, наполненным съестными припасами, и сказал, что, узнав о случившемся, едет навестить Льва Владимировича.

Путь до смутнинских лагерей был долог. На вахте Ширяеву долго доказывали, что ему как партийцу не следует поддерживать связь с «врагом народа». Ширяев на это говорил, что не знает никакого «врага народа», а знает только своего старого учителя. В конце концов он добился свидания и передал продукты. Вот всё, что я хотела сказать о Саше Ширяеве.

За колючей проволокой пересыльного пункта «Кировская Просница» Лев Владимирович встретился с бывшим сторожем нашей больницы Гаврилой Соломатовым. Этот Ганя, дежуря ночью, подходил иногда к окну моей каморки с печкой-саркофагом и вел со мной беседы, вспоминая все пережитое во время войны. Рассказывая о своем ранении, он как-то раз снял шапку и попросил убедиться в том, что у него отсутствует большой кусок черепа. Под рукой у меня, действительно, вместо кости оказалось что-то мягкое. И вот с этим Ганей, хорошим слесарем, рыбаком и, конечно, пьяницей, произошло несчастье. Во время его очередного «дичанья» жена спряталась у соседа. Гаврила ворвался в дом и стал требовать у хозяина выдачи жены. Когда последний отказался это сделать, Ганя ударил его ножом в грудь, потом подал хозяину тот же нож, распахнул телогрейку и сказал: «Ну, теперь бей меня!» Однако бедный Салмин, тихий, степенный человек, никак не реагировал на это предложение: нож попал ему в сердце и через несколько минут он скончался. Соломатов тут же побежал в больницу, заявил, что убил человека, получил 10 лет заключения и оказался в одном лагере с Львом Владимировичем.

В письме от 3 марта Лев Владимирович пишет:

«Шлю Вам два поклона от наших общих знакомых: первый — от Вашего ученика Геры Кашина, юного радиста, попавшего на короткий срок за хулиганство.

Второй поклон посылаю Вам с очень серьезным лицом. Он от работника больницы с искусственным черепом (вечно забываю его фамилию). Вы бы сделали доброе дело, если бы написали ему лично или через меня. Он в состоянии тяжелого морального шока. Думаю, что люди с искусственным черепом очень эррективны и в этом лежит причина этого ужасного убийства. Но так или иначе, человечность велит его морально поддержать, и он очень просил меня "что-нибудь Вам про него написать", и даже, кажется, со слезами на глазах. Он очень нуждается материально».

В начале апреля 1955 года Льва Владимировича перевели из Кировской области в Центральную Россию, в колонию для преступников-инвалидов, находившуюся близ города Плавска (между Тулой и Орлом).

В письме от 20 апреля он пишет:

«Накануне моего отъезда ко мне явился наш общий знакомый с проломленным черепом и, заливаясь слезами, уведомил, что им получен от Вас перевод (на 25 руб.). Я связываю этот перевод с моим письмом к Вам об этом человеке. Поэтому я жду Вашего письма, столь мне морально дорогого. Но главное — мне хочется поблагодарить Вас за то, что я увидел живые, человеческие слезы на глазах убийцы. Эти слезы куда убедительнее и исправительнее, чем всякие иные исправительные мероприятия, в каких бы дозах они ни преподносились.

О быте здешнем написать пока ничего не могу, так как приехал лишь два дня тому назад. Живой пейзаж состоит из безногих, безруких, кривых, слепых, припадочных и прочих гвардейцев, вроде меня. Не могу сказать, чтобы это общество очень поднимало мой дух. Очень развита переверапия, что, по Павлову, обозначает болезнь верхней части головного мозга и выражается в безудержном повторении одних и тех же слов, фраз и мыслей».

Чтобы завершить рассказ о Соломатове, с которым у меня установилась более или менее продолжительная переписка, причем его письма начинались обращением: «Дорогая благодетельница и незабываемый шеф!», добавлю,

что, несмотря на рабочие зачеты, он все еще досиживает свой срок в тюрьме.

Соседок с Больничной улицы явно шокировала моя переписка с убийцей, и они очень обиделись, когда я однажды высказала мысль, что он не более виновен, чем их Кольки и Ваньки, которые постоянно пускают в ход ножи. Ему только не повезло — ударь он немного выше или ниже, отделался бы пятнадцатью днями ареста, как их сыновья, и не испытывал бы угрызений совести.

В 1954 году, как известно, наступил «рассвет». Осужденные тройкой (по существу, никем не судимые) стали получать реабилитирующие справки, в которых указывалось, что их дела более чем десятилетней давности «прекращаются за отсутствием состава преступления». В отношении осужденных трибуналом так поступать было неудобно, так как их все-таки судили. Перед ними молча открывали двери мест заключения и предлагали идти на все четыре стороны за исключением Москвы и ее окрестностей.

Так произошло и с Львом Владимировичем. В конце 1955 года он был выпущен за вахту и, так как ехать ему было некуда, поселился тут же в Плавске на частной квартире. Пользуясь тем, что в 1955 году я была реабилитирована и получила свободу передвижения, два раза я навестила его в этом маленьком городе, находящемся в тургеневских местах. (Плавск — это переименованное село Сергиевское, отстоящее в нескольких десятках верст от Спасского-Лутовинова, на его постоялом дворе происходило соревнование певцов из «Записок охотника».)

Работоспособность Льва Владимировича и его жажда умственного труда еще более обострились за годы вынужденного бездействия. Почти все деньги, получаемые от детей, он тратил на книги. Московская кузина Татьяна Борисовна высылала ему периодические издания. Болезненно перенеся утрату черновиков своего романа «Выдуманная жизнь», он настойчиво и безрезультатно ходатайствовал об их возвращении.

От времени до времени он принимался переводить какую-нибудь близкую ему по духу книгу. Так, однажды он предложил мне войти с ним в сотрудничество по переводу

романа Арнольда Цвейга «Спор о деле унтера Гриши». Взглянув на это дело реалистически, я ответила, что сотрудничать на расстоянии 1500 км трудно, и теперь вижу эту книгу в чужом переводе.

Несколько позднее Лев Владимирович, уже без всяких «коллаборационистов», занялся переводом исторической повести немецкого юриста Харкенталя о прогремевшем на весь мир благодаря вмешательству Вольтера «Деле Коласа».

В письме от 27 апреля 1957 года он мне пишет:

«Я работаю, по обыкновению, запоем. Перевожу повесть немецкого адвоката о французском (тулузском) предшественнике людей с судьбой, подобной моей. В 1750 году гугенот Колас был казнен за убийство сына, якобы решившегося перейти в лоно непогрешимого католицизма, на самом же деле не убитого, а покончившего жизнь самоубийством. Поводом ко всему этому послужило то, что Колас-сын написал хвалебную поэму об Игнатии Лойоле и представил ее на соискание премии Академии изящных искусств. Этим он скомпрометировал себя перед гугенотами и вызвал жестокий гнев своего отца. Премии ему (как гугеноту) не дали, и, получив пощечины справа и слева, Колас-сын повесился.

Обвинить в убийстве и убрать Коласа-отца было тем более целесообразно, что он вел агитацию за созыв Генеральных Штатов, предусмотренных законом, но никогда не созывавшихся. По этому поводу Вольтер написал трактат "Tolerance"*, и дело Коласа вошло в историю как пример "законной беззаконности". Под влиянием Вольтера Колас был реабилитирован (как положено, посмертно). Однако его жена и сын были восстановлены в правах на наследство и даже получили то, что уцелело от рук правоверных "патриотов отечества".

В Москве одна милая адвокатесса хлопочет, чтобы Маковский, удельный князь переводов, напечатал. Спасибо ей, но с меня хватит оптимистических надежд и пессимистических воспоминаний о них. Так что адрес перевода — Олимп».

---

* У нас переводят *Tolerance* — веротерпимость. Это не так. *Tolerance* — не только веротерпимость, но и всякая терпимость: к разуму, к чувствам, к политическому инакомыслию. — *Прим. автора.*

Первого февраля 1958 года с Львом Владимировичем произошел первый удар (он очень удивился, когда я назвала его заболевание «инсультом» — он не знал этого слова), однако, через два месяца наступило улучшение, и 27 апреля он пишет:

«Как видите, я уже научился писать. И читать. И ходить. Но как было бы здорово, если бы Вы снова вздумали меня посетить! Мы с Вами так или иначе соприкасаемся уже около 20 лет, и мне кажется, что за эти 20 лет Вам одной говорила душа моя, а не мой распроклятый язык!»

В силу этого, летом 1958 года я вновь предприняла довольно утомительную поездку в Плавск. Ехать надо было по Курской дороге до станции Паточная и со станции идти более двух км пешком. Подъезжая на рассвете к Паточной, я из окна вагона увидела, как бедный Лев Владимирович, спотыкаясь, бежит по склону холма навстречу поезду, и поняла, что мне обязательно надо было приехать.

Проведя в Плавске два дня, я решила возвратиться в Москву автобусом. Прямое, как стрела, шоссе магистрали Москва — Симферополь пересекает Плавск. Сидя на остановке в ожидании машины, и Лев Владимирович, и я, несомненно, думали, что это — заключительный этап нашего не совсем обычного знакомства, хотя старались об этом не говорить. Так оно и вышло: 18 августа 1959 года он скончался быстро и сравнительно безболезненно от второго инсульта.

Еще одной жертвой «бдительности» конца 40-х годов оказался человек мне очень близкий, вошедший в мою жизнь, когда мне было одиннадцать лет и, к счастью, не ушедший из нее до сих пор. Я говорю о подруге моих юных лет Ляле Запольской, ныне Ольге Николаевне Базилевской. В главе «Летние впечатления» этих воспоминаний говорится о постоянной связи детей из Аладина с девочками из Радождева. Потом я рассказывала, как по воскресеньям я приходила на прием к моей подруге Ляле Запольской в торжественный зал московского Дворянского института.

В начале 20-х годов я и Ляля очутились в Калуге, жили очень близко друг от друга в районе Загородного сада и связь между нами была особенно тесной. Мы обе успели стать взрослыми и убедились в общности наших взглядов по всем кардинальным вопросам, включая большую любовь к калужским краям, очарование которых мы одинаково воспринимали. В Калуге Ляля вышла замуж за артиста Художественного театра Владимира Платоновича Базилевского, человека очень интересного и талантливого, и после недолгого пребывания в Минске поселилась с ним и сыном Андрюшей в Москве, на углу Большой Никитской и Скарятинского переулка. Стены их просторной комнаты были увешаны фотографиями артистов Художественного театра с милыми надписями и рисунками Кустодиева (один рисунок изображал Владимира Платоновича в роли Пер Гюнта, другой — его же, в черкеске — память о годах войны в Дагестанском полку).

Ляля преподавала немецкий язык в школе, Владимир Платонович работал в Центральном аэродинамическом институте, Андрюша рос, и все было хорошо, пока Базилевский не заболел туберкулезом легких, к которому имел предрасположение, и не умер в 1932 году в возрасте сорока пяти лет.

Живя в Калуге, а потом в Ленинграде, я довольно часто бывала в Москве и неизменно останавливалась в Скарятинском. Только ссылка в Саратов и потом пребывание в лагере разлучили меня с Лялей.

Приезжая не совсем легально из Вятских Полян, я ночевала у тетки Наталии Петровны, а днем часто бывала у Базилевских, где жизнь текла если не весело, то спокойно. Ляля продолжала преподавать в школе, ее сын Андрюша, который успел побывать на войне и получить два ранения, женился и поступил в Физкультурный институт.

Каково же было удивление, или вернее смятение чувств, когда весною 1948 года я узнала, что Ляля арестована и осуждена Военным трибуналом на двадцать пять лет с конфискацией имущества «по статье 58-8 через 17». Когда я расшифровала эту формулу и узнала, что 58-8 — это терроризм, я уж совсем отказалась что-либо понимать! Добавление «через 17» несколько смягчало

дело, указывало на то, что подготовляемый террористический акт не совершился, однако двадцать пять лет заключения с конфискацией имущества — это не шутка!

Боюсь, что после столь оглушительного вступления, изложение того, что имело место в действительности, вызовет недоверие. Однако всё происходило именно так. В основе лежал квартирный донос. Комната Базилевской выходила в довольно длинный коридор. В этот коридор выходили также другие комнаты, населенные, наподобие Ноева ковчега, и людьми, и скотами. Последние, к счастью, немногочисленные, были представлены жильцом Новоселовым, автором доноса.

В обычное время подобное «сообщение» могло бы только вызвать улыбку и было бы брошено в корзину для бумаг. В 1948 году последовало совсем иное. На письменном столе у Ляли лежал хорошо мне известный разрезательный нож с красивой ручкой из слоновой кости и довольно длинным стальным лезвием. Новоселов в своем доносе писал, что однажды Ольга Николаевна Базилевская вышла на кухню, держа этот нож в руках. На замечание кого-то из соседей, что нож туп, она якобы сказала: «Нет, он достаточно острый, чтобы им убить Сталина!» Далее говорилось, что Базилевская агитировала против Советской армии. Ничего подобного первому пункту, конечно, не было, а поводом ко второму послужило то, что Ляля однажды сказала в той же кухне: «Как я рада, что Андрюша демобилизовался!» На очной ставке Новоселов поддерживал свои обвинения и какой-то вызванный им свидетель, дрожа от страха, невразумительно лепетал, что Базилевская была «критически к советской власти настроена». В результате — приговор, о котором сказано выше.

Семь лет Ляля провела в закрытом женском лагере с особо строгим режимом, находившемся около станции Потьма Мордовской АССР. Заключенным разрешалось писать лишь два письма в год. И так же неожиданно и так же тихо, как перед Гольденвейзером, в конце 1954 года перед ними раскрыли ворота вахты и предложили идти на все четыре стороны. Лялю даже немедленно прописали в Москве. Я получила телеграмму о ее возвращении в канун нового 1955 года. А вот ее письмо от 8 февраля:

«Родная моя Танюша, мой дорогой друг! Вот уже второй месяц, как я в Москве. Ты не сердись, что я не раскачалась до сих пор тебе написать. Я совсем отвыкла и разучилась излагать свои мысли на бумаге. Вот и сейчас не знаю, с чего начать и как выразить свое состояние и настроение. Всё было так неожиданно! Так хочется тебя обнять. Ведь мы не виделись семь лет! Тебя интересует, на каких основаниях я вернулась: меня подвели под амнистию и сняли судимость. Твоя Ляля».

Мои уговоры, направленные к тому, чтобы она сама привела в порядок и изложила свои воспоминания о том, что я лишь схематически набросала, пока что успеха не имели. Не очень надеясь, что мне удастся преодолеть инертность моего друга, и, желая доказать лишний раз, что чувство юмора не замирает в людях при самых тяжелых невзгодах, я решаюсь привести (с ее слов) забавный инцидент из жизни закрытого лагеря при станции Потьма, продукцией которого были военные телогрейки.

Единственным мужчиной в этом женском царстве был вольнонаемный заведующий производством. Он, конечно, старался сдать свою продукцию первым сортом, однако это не всегда удавалось.

Однажды между ним и приехавшим из Москвы майором произошел следующий разговор:

Майор: — Ну вот что, товарищ! Я вас предупреждаю, если и в следующий раз вы попытаетесь сдавать мне столь плохую продукцию, я наложу на нее вето.

Зав. производством: — Вы можете наложить хоть в то, хоть в это, лучше мы работать не можем.

Майор: — Я не знал, что вы такой хулиган!

Услышал это, завпроизводством примчался к Ляле, чтобы выяснить, что такое «вето», и узнав, что это — запрещение, ударил себя по лбу и сказал: «Ах, то-то он на меня обиделся».

Итак, Лялина эпопея, так же как и моя, вопреки всяким логическим предвидениям, закончилась благополучно. Мне остается добавить, что встречу в Москве с людьми, которые клеветали на нее при очной ставке,

Ляля восприняла совершенно спокойно, поздоровалась с ними, как ни в чем не бывало, и потом сказала: «Чтобы поступать иначе в то время, надо было быть героем!»

Замечая, что мое повествование не выдерживает хронологической последовательности и что я начала вторгаться в эпоху «исправления ошибок, вызванных культом личности», не рассказав о моем последнем злоключении — неудачной поездке в Москву весной 1952 года — и не описав своей семилетней деятельности в Школе рабочей молодежи, я возвращаюсь к тем временам, когда надо мною еще тяготел § 39 Положения о паспортах.

Не желая замечать, что за мной пристально следят приставленные для этого люди, в последних числах апреля 1952 года я решила использовать свой отпуск для поездки в Москву, легкомысленно рассчитывая продлить его двумя днями майских праздников. Поезд мой прибыл в Москву в 10 часов вечера. Не заезжая к отцу, я направилась к тетке Наталии Петровне в Неопалимовский переулок.

Едва только мы успели выпить по чашке чаю, как раздался громкий стук в дверь, и появившийся в дверях милиционер спросил: «Кто тут приехал?» Я показала свои документы и была тут же уведена в отделение милиции, находившееся на Остоженке. Там я просидела всю ночь на скамейке в обществе пьяниц, а наутро мне приказали в течение 24 часов убраться из Москвы. Из участка я помчалась с этой печальной вестью к отцу.

Положение осложнялось тем, что накануне 1 мая достать обратный билет было невозможно. Отец прибег к помощи своего доброго знакомого Сергея Петровича Фортинского, работавшего юрисконсультом Казанской железной дороги, которому удалось достать билет на 2 мая. До того времени меня отправили в Измайлово к сотруднице отца по Историческому музею Ольге Александровне Константиновой, оказавшей радушный прием «беглянке». (Это было очень предусмотрительно, так как 30 апреля в Шереметевский переулок пришли из милиции проверять наличие живущих.)

Когда я 3 мая подходила не солоно хлебавши к вятскополянской больнице, в соседних домах еще продолжались первомайские пиршества и я увидела в окне

ухмыляющееся лицо бухгалтера Овчинникова, давшего весьма точные координаты моего нахождения в Москве. (Этот самый Овчинников был косвенно воспет в моих частушках, где упоминалось, что «разговоры как в пивной в нашей бухгалтерии». Впоследствии он получил три года заключения за дела отнюдь не политические, а чисто бухгалтерские.)

Вышеописанным эпизодом заканчивается цепь примененных ко мне репрессий. Признав это и успокоив, таким образом, добросердечных читателей, следящих, может быть, с некоторым соболезнованием за моим хождением по мукам, я могу перейти к теме своего преподавания в Вятских Полянах.

Вятскополянская Школа рабочей молодежи

Организатором и первым директором этого учебного заведения был уже мельком упомянутый мною вырвавшийся из блокированного Ленинграда педагог Федор Федорович Поздеев. Это был человек высокого роста, добродушного вида, заметно похудевший за месяцы голодовки, но все еще грузный. Неизменным атрибутом его внешнего вида была висевшая через плечо на военном ремне сумка, в которую он складывал все, что можно было употребить в пищу. Это было понятно и ничего, кроме сочувствия, не вызывало.

Определенного помещения для ШРМ первое время не выделяли, и два года мы скитались, переходя из одного здания в другое. Директор и его жена (насколько я могу судить, довольно капризная дама) поселились в физическом кабинете одной из обычных школ города. Внутренний вид этого жилища был нам не известен, так как супруга директора никого на порог не пускала. Когда же после окончания войны Поздеевы уехали обратно в Ленинград, в кабинете не оказалось ни одного физического прибора. Молва обвиняла Поздеева в том, что он, в целях улучшения своего питания, распродал имущество чужой школы. Эта версия кажется мне сомнительной. Кто в то время стал бы покупать колбы и реторты?! Я скорее допускаю мысль, что капризная супруга сожгла в печке то, что ей мешало, и выбросила то, что нельзя было сжечь.

После отъезда Поздеева место директора заняла Клавдия Карловна Шульц, о которой я вспоминаю с большой теплотой и уважением. Жизнь ее, протекавшая тоже в Ленинграде, была не из легких. Похоронив мужа, она осталась с двумя сыновьями, которых надо было кормить, одевать и обучать в обстановке всеобщей нищеты военных лет, да еще имея отчество «Карловна». Мальчики — Володя шестнадцати лет, и Миша тринадцати — носили по отцу фамилию Яковлевы.

Признавая, что жизненные невзгоды Клавдия Карловна переносила весьма доблестно и во время ее руководства в нашей учительской царил дух благородства, я все же не могу удержаться от описания одного комического эпизода, как мне кажется, характерного для того времени. Старший сын Клавдии Карловны был очень способен к наукам и считался несомненным кандидатом на золотую медаль. Наступила весна 1946 года, начались выпускные экзамены, и 10-й класс, получив три темы на выбор, принялся писать сочинение. Володя Яковлев избрал тему «Ранние произведения Горького» и приступил к описанию подвига Данко. В это время в раскрытые окна ворвались передаваемые по радио звуки траурного марша: в Москве на Красной площади хоронили М.И.Калинина. Володя решил учесть момент и, увязав два не совсем схожих образа, изобразил Калинина с разверстой грудью, несущим, наподобие Данко, свое пылающее сердце впереди народных масс.

Сочинение получило высшую оценку, золотая медаль была присуждена, и этим следовало ограничиться. Однако бедная Клавдия Карловна в порыве материнской гордости решила прочитать сочинение сына как образцовое с трибуны клуба завода и потом еще где-то. Этого делать не стоило! Несколько лет спустя, когда Клавдии Карловны уже не было в живых, Володя, окончивший Казанский университет, приехал в Поляны и зашел ко мне. Я, смеясь, напомнила ему сочинение о Данко. Володя закрыл лицо руками и сказал: «Ах, Татьяна Александровна, не говорите, это было ужасно!»

Контингент наших учеников состоял, главным образом, из работающих на заводе, и я не могу забыть, какого напряжения им стоило в военные годы, после девяти часов труда за станком, посещать вечерние занятия. Некоторые буквально падали от усталости, но все же примерно половина поступавших осенью добивалась успеха и весною переходила в следующий класс.

Мои отношения с учениками за все годы моей работы в ШРМ оставались прекрасными. В классе я чувствовала себя свободно и уверенно, хотя преподавать было трудно: уровень знаний учащихся был весьма неравномерен. Требовалось проводить какую-то среднюю линию.

Вместе с тем я старалась по возможности избегать скуки на уроках и не упускала случая рассказать что-нибудь интересное, имеющее то или иное отношение к программе. Благоприятная для этого обстановка складывалась тогда, когда в разгар урока выключали свет и мы оставались в полной темноте. Из разных углов погруженного во мрак класса начинали поступать заявки: «Татьяна Александровна, расскажите про Венецию, как там на гондолах плавают!», «Нет! Лучше расскажите про пирамиды!» Какой-то девический голос однажды отважился пропищать: «Расскажите, как вы сами на балы ездили!» Боясь, чтобы мои ученики совсем не заснули в темноте, я начинала рассказывать если не про балы, то про Венецию и пирамиды.

Как-то раз, когда эти темы были исчерпаны, я принялась читать наизусть и комментировать шиллеровскую «Перчатку». При этом я выявила интересный факт: мои ученики сомневались в том, что «рыцарский поступок» — понятие положительное. На уроках истории им говорили, что были какие-то «псы-рыцари», разбитые русскими на льду Чудского озера, и все рыцарское сословие оказалось навеки скомпрометированным в их глазах. С целью реабилитации я напомнила о последнем рыцаре Дон Кихоте, который, хотя и был немного смешным, но трактовался на уроках литературы как «явление положительное».

Из всего вышесказанного можно понять, что я имела дело со старшими классами (8-9-10). Младшие классы сформировали позднее.

Так как основной упор преподавания был направлен на точные науки, знания наших учеников по математике и физике превосходили их знания по словесности и другим гуманитарным наукам. Некоторые из них даже мыслили формулами. Так, однажды, когда я попросила одного из учеников написать на доске *Plusquamperfekt* какого-то глагола, он тщательно вывел слово *Perfekt*, а потом, в замешательстве посмотрел на меня и сказал: «Перфект я написал, а теперь не знаю, куда мне поставить знак "+" — перед этим выражением или после него!»

Был еще другой анекдотический случай. В послевоенные годы, когда наша школа пополнилась демобилизованными военными, один из них, вынув на выпускном экзамене 10-го класса по литературе билет «Биография

Пушкина», весьма непринужденно уложил свой ответ в несколько незабываемых слов: «Пушкин учился в царском сельском лицее. Сначала все шло хорошо, но потом ему не повезло благодаря красоте его жены». (Должна оговориться: этот знаток биографии Пушкина не был нашим основным учеником, и его пример не может служить для дискриминации Вятскополянской ШРМ, которая по существу была хорошей школой.)

Но наиболее ярким эпизодом я считаю общее собрание работников просвещения, состоявшееся в дневной средней школе, если я не ошибаюсь, в 1948 году под председательством заведующего Кировским облотделом народного образования Ходыревым.

При моей склонности видеть смешную сторону вещей я, может быть, опишу это собрание как нечто комическое, чем оно, с внешней стороны, и было. Но только с внешней стороны. По существу же лозунг, во всеуслышание провозглашенный нашим областным шефом, имел трагические последствия. То был пресловутый лозунг: «Нет плохих учеников, есть плохие учителя». Подхваченный учениками, он до сих пор, несмотря на все усилия, прилагаемые свыше, чтобы парализовать его разлагающее действие, расшатывает дисциплину и приводит к тому, что «нет повести печальнее на свете, чем повесть о советском педагоге».

Сурово поговорив с учителями средних школ о недопустимости иметь неуспевающих (следствие этих слов — принудительное завышение оценок!), Ходырев принялся за разгром начальных школ.

Привожу следующий диалог:

Ходырев: — Ну вот вы, учительница усадской школы Логинова, чем вы можете объяснить наличие двух второгодников?

Логинова (чуть живая от страха): — Видите ли, один долго болел скарлатиной, а другой вообще умственно отсталый!

(По залу прокатывается шепот ужаса: «Боже мой! Что она говорит! Ведь теперь нет "умственно отсталых"!»)

Полчаса Логинова стоит, как суслик на меже, под градом угроз и упреков.

Наконец Ходырев переходит к другой жертве: «Ну а вы, товарищ Иванова, что вы скажете о своих трех второгодниках?» Иванова, сложив руки на груди, опускает голову и, как жучок, притворяющийся мертвым, шепчет: «Моя недоработка». Такой ответ созвучен требованиям момента — он самокритичен, и Ходырев ограничивается фразой: «Ну, Вы учтете свои ошибки и, конечно, исправитесь».

В непродолжительном времени Ходырев был снят с работы, но лозунг «нет плохих учеников» — все еще живет в сознании лентяев.

Теперь мне остается рассказать, как была снята с работы я. История эта может служить, в какой-то мере, подтверждением теории о «замедленном возмездии», в которую я, основываясь на личном опыте, твердо верю. Согласно этой теории, возмездие неукоснительно приходит, но не сразу, а тогда, когда пострадавший уже забыл о нанесенной ему обиде и не испытывает никакой злобной радости, узнавая о несчастьях, постигших обидчика. Наоборот, он искренне ужасается, если размеры возмездия превышают размеры нанесенной ему обиды.

Итак, вот что случилось. Учебной частью ШРМ заведовала молодая особа Анна Михайловна Орехова. Происходила она из крестьянской семьи деревни Слудка нашего района, училась в Москве и преподавала географию. Внешность у нее была приятная, хотя красивые серые глаза на чересчур удлиненном лице придавали ей отдаленное сходство с козой.

Первое время Анна Михайловна относилась ко мне хорошо. Может быть, это объяснялось тем, что, страдая малокровием и хроническим гайморитом, она постоянно обращалась ко мне по лечебным делам. Я делала ей уколы мышьяка, доставала какие-то лекарства и под конец оказала ей большую услугу (вернее, моральную поддержку), когда ее сестра попала в весьма неприятную историю. Однако элементарная человеческая благодарность, как это будет видно из последующего, не помешала все это быстро забыть!

Сделавшись директором школы, Анна Михайловна сразу приобрела соответствующую этому высокому посту важность и установила тесную связь с представителями парткома завода по фамилии Лебедь и комсомольской организации по фамилии Шаповалов. (Кстати говоря, это были не очень достойные молодые люди.) Приходя в учительскую, они меня, как «репрессированную», демонстративно не замечали, а на директора Орехову, несомненно, оказывали давление, призывая в отношении меня к «бдительности».

Зимой 1948—1949 года я, кроме основных уроков, была руководителем в 10-м классе, состоявшем сплошь из великовозрастных учеников. Среди них был дежурный по станции Коля Суханов, которому я раза два давала письма к отцу, прося опустить их в московский поезд и не предвидя, что это послужит к моей погибели.

Еще не осознав общей политической напряженности конца 40-х годов, я с удивлением стала замечать перемену в отношении меня Анны Михайловны. На выпускном вечере она была со мной явно груба, и только милые прощальные слова моих учеников сгладили во мне чувство обиды и недоумения.

Прошло лето. Накануне 1 сентября 1949 года я пришла в учительскую, чтобы узнать расписание уроков, и тут-то, без всякой прелюдии и при всем честном народе, Анна Михайловна объявила мне, что я «сокращена» и на занятия могу не приходить. По сие время я хвалю себя за то, что, привыкшая к еще худшим сюрпризам, я не растерялась и осталась совершенно спокойной.

Так как в маленьком городе, подобном Вятским Полянам, все тайное быстро становится явным, мне удалось узнать, что летом 1949 года Анна Михайловна обращалась в вышестоящие органы с просьбой освободить ее от неблагонадежной учительницы, которая не решается отправлять свою корреспонденцию по почте, а пользуется какими-то другими путями.

Моя вынужденная отставка длилась недолго. Через неделю я получила приглашение преподавать в машиностроительном техникуме, так что первая глава этого рассказа имеет сравнительно благополучный конец. Вторая трагическая глава началась года через полтора после

описанных событий, когда в хирургическое отделение вятскополянской больницы поступила директор ШРМ Анна Михайловна Орехова с таинственным, но уже страшным диагнозом «бластома шеи». Опухоль оказалась злокачественной — впереди был мучительный и неотвратимый конец. Сводить мелкие счеты с обреченным человеком было бы по меньшей мере неуместным, и я навещала Анну Михайловну в больничной палате, ничем не напоминая о пробежавшей между нами черной кошке. К тому же, это была уже совсем другая женщина. От ее прежней надменности не осталось и следа. Она глядела на меня полными слез глазами и ждала утешительных слов, на которые я, конечно, не скупилась. Однако опухоль увеличивалась с каждым днем и дыхание становилось затрудненным. Произведенные в Кирове анализы дали самые плачевные результаты, лечение проводилось только «симптоматическое», и тут я стала замечать, что Анну Михайловну охватывает мистическое настроение.

Как раз в это время в хирургическом отделении, где она находилась, провели тяжелую полостную операцию, в ходе которой больному срочно понадобилось переливание крови. Запасной крови не оказалось, и я, зная, что у меня первая, то есть всем пригодная группа, предложила взять у меня. Кто-то заменил меня у наркоза, 250 г взятой у меня крови перелили больному, и операция закончилась благополучно.

Когда Анна Михайловна об этом узнала, ее стала преследовать навязчивая мысль, что если я ей дам своей крови, она будет спасена. (По-видимому, это должно было символизировать мое прощение.) В дальнейшем, в связи с развитием болезни, которая оказалась саркомой, мистическое состояние перешло в деменцию. Анна Михайловна вполне серьезно уверяла, что одна женщина на почве ревности и путем колдовства навлекла на нее болезнь; что эта соперница, произведя какие-то магические ритуалы, закопала ее фотографию в землю и теперь она чувствует, как эти земляные пласты давят ей на грудь и не дают дышать. Попутно я узнала, что яблоком раздора был не кто иной, как мой гонитель Лебедь.

Когда дело стало подходить к концу, мать забрала Анну Михайловну домой в Слудку, где она в скором времени умерла.

Этой печальной новеллой я заканчиваю рассказ не только о Школе рабочей молодежи, но и о моем пребывании в Вятских Полянах на положении ссыльной. О том, как протекала моя реабилитация и о последующих годах в тех же вятских местах, но на общегражданских правах, речь пойдет в следующей главе.

Небольшое дополнение. В связи с вопросом о переливании крови мне вспомнился один случай из далекого прошлого. В 1910 или 1912 году, когда этот вопрос еще не был научно разработан и никто не знал о существовании четырех групп крови, известная эстрадная певица Вяльцева заболела белокровием. Незадолго до того петербургский свет горячо обсуждал женитьбу на ней конногвардейца Бескупского, который в связи с этой женитьбой должен был выйти из полка. Теперь всеобщее восхищение вызвал рыцарский поступок Бескупского, давшего для переливания жене некоторое количество своей крови. В то время с понятием «кровь» связывалось что-то мистическое, и моральная значимость донорства — теперь самого обычного факта — явно преувеличивалась.

Больную переливание крови не спасло (может быть, оно ей даже повредило), и Вяльцева умерла в расцвете своей несколько легковесной популярности. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры над ее могилой построили часовню в древнерусском стиле. В первые годы революции в нее проникли грабители и взломали склеп в поисках драгоценностей, с которыми, якобы, была похоронена Вяльцева. В 30-х годах, бывая на могиле у бабушки и дедушки, находившейся у того же маленького прудика, что и Вяльцева, и видя разгромленную часовню, я предавалась печальным мыслям, выполняя тем самым извечный наказ мертвых живым: «Прохожий! Остановись и поразмышляй о бренности земной жизни».

Я уже как-то раз писала о своей способности быстро переключаться с минорного на мажорный тон и потому я приведу тут одну смешную историю, тоже связанную с темой переливания крови.

Как-то раз (это было в 1952 году) в помещение конторы больницы, служившее при необходимости и приемным покоем, доставили на носилках молодого парня-марийца

из деревни, носящей странное название Дым-Дым-Омга, в полубессознательном состоянии и без пульса. Правая рука его от плеча до кисти была бронзового цвета, отечна и покрыта темными пятнами. Вызванный хирург Скочилов сказал: «Газовая гангрена. Надо немедленно давать наркоз и вскрыть тут же, не занося в палату». Я дала эфирный наркоз, и хирург вскрыл ткани несколькими обширными «лампасными» разрезами. Больному срочно понадобилась кровь, ее не оказалось, у меня взяли 300 г, и, в результате всего этого, к нашему удивлению и удовлетворению, больной через два месяца поправился.

Около года спустя, проходя по главной улице, я неожиданно попала в объятия выбежавшего из пивной человека с круглым, как луна, лицом и румянцем во всю щеку. Я никак не могла узнать в нем нашего бывшего пациента. Видя мое недоумение, он на плохом русском языке воскликнул: «Ну как же ты меня не узнаешь! Твоя кровь во мне течет, а ты от меня отказываешься!»

В 1953 году в нашей больнице организовалась служба крови со штатом постоянных доноров, и моя деятельность на этом поприще окончилась.

Кузи́на Зина

Осенью 1954 года, недели через две после смерти моего отца, в дверь шереметевской квартиры постучались двое людей довольно жалкого вида — мужчина и женщина, в которых легко было узнать возвращающихся из лагерей или из ссылки. Женщина спросила: «Здесь ли живет дядя Саша?» Ей сказали, что она пришла слишком поздно: Александр Александрович скончался — и дали ей мой адрес в Вятских Полянах.

Выяснилось, что это Зина, дочь папиной сестры Елизаветы Александровны, бесследно исчезнувшая в 1937 году. Отец мой знал только, что она была арестована на Алдане, где жила с маленьким сыном и родителями мужа, преподавала английский язык и носила фамилию Осколковой. Место ее нахождения после ареста не было известно ни ему, ни ее матери, которая, будучи эвакуирована из Можайска в Оренбургскую область, вскоре там умерла. (На неоднократные запросы отца о подробностях смерти сестры ответ не последовало.)

Во время моих наездов в Москву мы с ним часто беседовали о безвестной и горестной судьбе тети Лили и Зины — и вот теперь эта Зина появилась. Спутником ее был, по словам Шереметевых, немолодой человек еврейского типа, возвращавшийся, как и она, из пожизненной ссылки в Красноярском крае. (Как потом я узнала, это был доцент-историк Б.М.Фрейдлин.)

Теперь я должна вернуться к годам моего детства и вызвать образ женщины, имевшей некоторое отношение к судьбе «кузины Зины». Я говорю о тете Лиде Рубец, двоюродной сестре отца, которая в 90-х годах, наезжая из Кронштадта в Петербург, вносила в нашу тихую квартиру веселый беспорядок, запах духов и картонки из модных магазинов. Она была очень хороша собой, и, когда до моих ушей доходили обрывки «не касающихся меня разговоров» о том, что кронштадтские моряки во главе с адмиралом Макаровым «без ума от

тети Лиды», я считала такое положение вещей вполне естественным, так как сама была от нее «без ума».

Будучи взрослой, я никогда не видела тети Лиды, но, сохранив свои детские воспоминания, с особым интересом относилась к ее судьбе. Так, много лет спустя я узнала, что, похоронив своего старшего сына Юрия, убитого в 1914 году в Измайловском полку, и выйдя замуж вторым браком за моряка Игнатьева, она уехала на Дальний Восток, где следы ее на некоторое время потерялись.

Между тем у моей тетки Елизаветы Александровны, сестры отца, столь неудачно вышедшей замуж вторым браком за Петра Ивановича Полякова (об этом было говорено раньше), росла дочка Зина, хорошенькая девочка с длинными белокурыми волосами и какими-то странностями в характере — до пятнадцати лет она ходила в мальчишеской одежде, стреляла из рогатки и требовала, чтобы ее звали Володя. Отец ее, Петр Иванович, служивший до революции при штабе Московского военного округа, после революции стал читать лекции во вновь организованной советской Военной академии и жил в Москве отдельно от семьи, которой уделял мало внимания.

Обо всем этом, а также и о том, что Зина, достигнув восемнадцати лет и переодевшись в женское платье, умудрилась поступить на рабфак Московского университета и окончить его, я знала только понаслышке. В дальнейшей судьбе этой девицы сыграло роль то, что ее мать взяла к себе в Можайск оставшуюся беспризорной свою тетку (сестру бабушки Надежды Петровны и мать красивой тети Лиды) и заботилась о ней до самой ее смерти.

На этом кончается повествование о будничных и в большинстве своем печальных событиях и начинается «приключенческая новелла». Примерно в 1925 году в Можайск пришло письмо из Китая. Тетя Лида, благодарная за заботы о ее покойной матери, приглашала к себе Зину и давала инструкции, как совершить переезд. Заморенная полуголодной московской жизнью у родственников скупого отца, Зина с радостью ухватилась за мысль о поездке.

Муж тети Лиды, Игнатьев, служил начальником китайской таможни на правом берегу Амура, как раз напротив Благовещенска. Доехав до этого пункта, Зина, по данной

ей рекомендации, нашла знакомого Игнатьеву матроса. Тот посадил ее в лодку и перевез ее не только на другой берег Амура, но и в другой мир. Тетя Лида всегда умела создать вокруг себя веселую обстановку, а тут в ее доме собралось много молодежи — две ее дочери от первого брака и их окружение. Зина попала в водоворот фокстрота, джаза, пикников и кавалькад, довольно быстро освоилась в новой ситуации и научилась говорить по-английски. (Этому способствовало то, что обе ее кузины вскоре вышли замуж за американцев.)

На свете, однако, нет ничего прочного! Дальний Восток все еще находился в состоянии неустойчивого равновесия, и в результате военных действий в начале 30-х годов правый берег Амура, а следовательно, и то место, где стояла «веселая таможня», отошли к Советскому Союзу.

Надо было эвакуироваться. Игнатьев с женой и дочерью-подростком направился в Шанхай, а американцы с женами и детьми сели на пароход, чтобы отплыть в Америку, захватив с собой Зину в качестве бонны. Они успели лишь недалеко отойти вниз по Амуру, как их судно захватил красный патруль. После проверки документов американцам и их женам предложили продолжать путь, Зину же сняли с парохода и посадили в Благовещенскую тюрьму.

Она уже не была тихой девицей московского периода своей жизни. Вспомнив разбитные замашки своего детства, Зина сумела «найти общий язык» и через несколько дней вышла на свободу. Где-то тут же, кажется, в гостинице, она познакомилась со студентом Володей Осколковым. Пленившись тем, что он носит имя, которое она присвоила еще в детстве, Зина вышла за него замуж и поселилась на Алдане, в прииске Незаметном, где жили родители Осколкова, оказавшиеся очень хорошими людьми.

Сначала все шло как по маслу, Зина преподавала английский язык в школе, хорошо зарабатывала. Родился сын, Володя-младший, и, хотя брак с Осколковым не был особенно счастливым (Володя-старший выпивал), можно было думать, что амурская эскапада закончилась вполне благополучно. Никто не подозревал, что под Зину

заложена бомба замедленного действия. В недрах какого-то стола, по-видимому, лежали в латентном состоянии «компрометирующие материалы». В 1937 году, по мановению волшебной палочки, эти материалы ожили и привели в движение административную машину. Зина была арестована и увезена в неизвестном направлении. Никто из ее близких не знал, что она приговорена к десяти годам заключения и работает на постройке железной дороги Котлас—Воркута. Ей не суждено было, как мне, зацепиться за спасительный утес санчасти. Она погрузилась *in profundis** и узнала, «почем фунт лиха».

Володя-старший тем временем женился на ком-то другом, а Володя-младший рос на попечении дедушки и бабушки Осколковых, учась в школе на прииске Незаметном. Когда он переходил в 9-й класс, старики один за другим умерли, и осиротевший мальчик должен был переехать в город Черкесск на Северном Кавказе, где жил его дядя.

Между тем равнодушное к человеческим страданиям и отдельным судьбам время все же не стояло на месте. В 1947 году Зина, отбыв «от звонка до звонка» свои десять лет и сумев каким-то образом списаться с сыном, приехала в Черкесск. Я не совсем представляю себе, в каком состоянии, физическом и моральном, она вернулась из лагерей, но, во всяком случае, оно не помешало ей устроиться в школу на должность учительницы (почему-то?) географии.

Передышка оказалась короткой. Менее чем через год наступил тот страшный рецидив террора, о котором я упоминала, и Зину вновь арестовали. Этого она перенести уже не смогла и в тюрьме лишилась рассудка. Не поняв, в чем дело, или, вернее, не поверив ее болезни, несчастную Зину, психоз которой из бурного постепенно перешел в стабильную тихую форму, взяли на этап и после бесконечного пути из Черкесской тюрьмы в Красноярский край выпустили на пожизненное поселение в каком-то лесном поселке. Примерно в таком же положении там оказался и кандидат исторических наук Фрейдлин из Москвы. Эти два затерявшихся в сибирской тайге существа

* В глубины (*лат.*).

объединились, построили себе хижину и стали жить как два Робинзона, с той разницей, что Робинзона Дефо окружали пальмы и теплое море, а этих несчастных — сибирская тайга и глубокие снега. Подобно Робинзону, они завели двух коз и принялись возделывать овощи.

Так шли годы. Зина, умственный уровень которой был снижен до примитива, находила полное удовлетворение в подобной жизни. Она вернулась к странностям своего детства и, несмотря на протесты Фрейдлина, привозившего ей из города то кофту, то юбки, упорствовала в ношении рваной мужской одежды.

Насколько я могу судить, Фрейдлин относился к ней хорошо, ценил ее простодушие, ее бескорыстную преданность и выручал ее из всех бед, в которые она, по своей ненормальности, попадала. В продолжение пяти лет Зина жила в ограниченном, примитивном мире, соответствующем ее примитивному сознанию, и была по-своему счастлива. Но наступил тот радостный для всех, кроме нее, день, когда заключенным и ссыльным сказали: «Произошла небольшая ошибка. Вы свободны! Поезжайте домой!» Положение реабилитированного Фрейдлина было значительно лучше Зининого: в Москве у него оставалась семья и квартира. Зина же не нашла даже того дяди Саши, которого не видела с детских лет.

К чести Бориса Мироновича Фрейдлина, я должна сказать, что он не бросил Зину на произвол судьбы, а отвез ее к своей сестре в Астрахань, в надежде, что перемена обстановки благотворно отразится на ее психике. Надежды эти не оправдались, и, когда сестра, начавшая тяготиться присутствием Зины, не совсем нормальной женщины, ему об этом написала, Фрейдлин связался с Володей-младшим, который к тому времени, преодолевая невероятные трудности, сумел с отличием окончить Ленинградский Горный институт, и сообщил, что надо позаботиться о матери. Зине он «позолотил пилюлю», написав, что тяжелое состояние здоровья не позволяет ему покинуть Москву и на него ей рассчитывать нельзя, так как он находится «на пороге смерти». Это известие Зина приняла трагически, и тут у нее появилась навязчивая мысль о самоубийстве, которая ее с тех пор никогда не покидала.

Как раз в это время я получила от нее первое письмо. Оно показалось мне каким-то «инфантильным», несколько странным по построению фраз, как будто переведенных с иностранного языка, но милым и ласковым. Сообщая мне о своем разрыве с человеком, которого она называла «мой муж Борис», Зина говорила, что с горя хочет броситься в Волгу, и в конце просила разрешения приехать в Поляны. Я немедленно написала, что жду ее, но приезд в то время не состоялся: с Алдана примчался Володя, начавший свою карьеру горного инженера в тех местах, и увез мать с собой.

Из последующих рассказов я знаю, что их жизнь первый год протекала в рабочем бараке поселка. Володя весь день был на работе, а Зина топила печку, носила воду и гадала соседям на картах. Дело значительно осложнилось, когда Володя женился; еще более — когда на свет появилась дочка и все семейство, в связи с продвижением Володи по службе, перебралось в город Норильск. (К тому времени Зина уже получила справку, подобную моей, о реабилитации «за отсутствием состава преступления».)

Совместная жизнь в маленькой городской квартире стала невозможной, и опять всплыла мысль о Вятских Полянах. Из Норильска Зина писала мне трогательные письма, жаловалась на невестку и просила ее принять, а я, продолжая не понимать, что она психически больна, начала подыскивать для нее квартиру. Володя, оказавшийся между двух огней — между женой и матерью — обязался ежемесячно высылать необходимые на пропитание деньги.

Присмотренная мною комната должна была освободиться к 1 августа, но за десять дней до назначенного срока (20 июля 1958 года) во дворе больницы появилась странно одетая женщина, спрашивающая всех встречных девчонок: «Вы не Татьяна Александровна?» Поняв, что это Зина, я немедленно забрала ее в свою комнату и после первых приветствий попыталась выяснить, каким образом она столь быстро совершила путь из Норильска — при загруженности железных дорог. «Ах, это очень просто, — ответила Зина, — на станциях я шла к начальству, говорила, что у меня сейчас начнется припадок, и меня отправляли дальше с первым поездом».

Не успев еще подивиться этой «расторопности», я обнаружила, что Зина не понимает значения самых простых слов, и за те десять дней, что она жила у меня в ожидании освобождения предназначенной ей комнаты, я, соблюдая все правила гостеприимства, старалась проникнуть в психологию этого добродушного и очень жалкого существа. Временами Зина поражала меня точностью своей памяти — она во всех подробностях воспроизводила события далекого прошлого, помнила даты, и тут же могла спросить: «А что такое тарелка?» или при виде своего любимого кушанья — манной каши — захлопав в ладоши, закричать «Ура! Ура!».

Мне было приятно кормить ее сладкой манной кашей и видеть, что она с удовольствием гуляет по окрестностям (Зина была очень чувствительна к красоте природы), но ее неряшливость и беспрерывное курение дешевых папирос стали причиной того, что я облегченно вздохнула, когда 1 августа она переселилась в отдельную комнату, к людям, прельстившимся предложенной им высокой квартирной платой. Через два месяца, однако, эти люди не выдержали и, сославшись на какую-то объективную причину, попросили ее уехать. Жалея меня, они все же постарались определить ее на квартиру. Зина попала к полусумасшедшей старухе тете Лизе, имевшей небольшой домик на дне оврага, прилегающего к нашей больнице. Старуха эта — законченный тип ханжи и мегеры, страдала к тому же манией преследования и систематически обвиняла своих квартирантов в попытках ее отравить, чтобы завладеть ее домом.

Но я все это узнала не сразу: жители Вятских Полян, привыкшие к тому, что хозяйки сдаваемых комнат, в сознании своей силы при испытываемом городом квартирном кризисе, терроризируют постояльцев, считали поведение тети Лизы своеобразным, но закономерным и много о нем не распространялись. В описываемый мною момент, комната или, вернее, каморка тети Лизы после очередного скандала с квартирантом-строителем пустовала, и, заломив высокую цену, она решила ее сдать новой жертве.

Если великие испытания, выпавшие на долю Зины, до ее переселения в овраг на берегу Вятки являются

обвинительным актом, направленным против эпохи, в которую могла сложиться подобная судьба, то цепь последующих событий в какой-то мере ложится на мою совесть. Зная, что никто, кроме тети Лизы, не примет ее на квартиру, я проявляла позорное непротивление злу, основанное на чувстве самосохранения. Боясь нарушить *status quo*, я ни разу не спустилась в овраг, чтобы проверить, что там делается, и довольствовалась тем, что два раза в неделю — по понедельникам и четвергам — кормила Зину обедом, заканчивавшимся манной кашей.

С течением времени тетя Лиза наглела, а Зинина ненормальность прогрессировала. Зимой я с ужасом узнала, что каждое утро хозяйка отправляет Зину на поиски дров, угрожая не пустить ее в дом, если та не привезет полные салазки. Идя по линии наименьшего сопротивления, Зина отрывала доски от оград и собирала все плохо лежавшие бревна, рискуя быть избитой их владельцами. На улице она привлекала всеобщее внимание своим странным видом и поведением. Так, однажды, идя по воду с ведрами, Зина вдруг полезла по лесам на крышу строящегося дома. Когда проходившая мимо учительница в ужасе закричала: «Куда вы лезете? Вы сейчас упадете!» — Зина, блаженно озирая окрестности, воскликнула: «Отсюда расстилается такой прекрасный пейзаж!»

Но это были «цветочки». Ягодки начались тогда, когда она, имея более чем достаточно денег, принялась ходить по магазинам, прося дать ей конфетку, печенье или папиросу. Обеды у меня часто сопровождались воплями по поводу того, что я после упорного сопротивления сдирала у нее с шеи грязную тряпку, бросала ее в печку и заменяла чем-нибудь более подходящим.

Все вышесказанное не имеет целью снять с меня ответственность за то, что я стала раздражаться и, главным образом, за то, что не принимала никаких мер для изъятия беззащитной Зины из рук обиравшей и притеснявшей ее тети Лизы. Сознание этого, в связи с дальнейшей трагической судьбой Зины, тяжелым грузом лежит на моей душе. Все то, что я должна была сделать и чего не сделала, привело в движение механизм возмездия — в закономерность которого я твердо верю, и я получила по заслугам! Но об этом — в свое время!

Последние годы в Вятских Полянах

Пора свести последние итоги...
Иван Бунин

Как и полагается делать при сведении итогов, я просмотрела все, написанное мною за двадцать четыре года вятскополянской жизни и постаралась применить высказывания друзей, читавших мои воспоминания. Тем из них, которые упрекали меня в чрезмерной объективности при оценке событий, я в шутку говорила, что принадлежу к французской школе, которая считает, что автор должен настолько уважать своего читателя, чтобы, излагая факты, давать ему право самому в них разбираться, не навязывая готового суждения. Мне действительно кажется, что патетические фразы с восклицательными знаками были бы ни к чему.

Некоторые мелкие подробности, особенно в первой части моих воспоминаний, показались мне излишними, но против моего намерения пройтись по ним вычеркивающим карандашом восстал такой тонкий арбитр, как Кирилл Николаевич Голицын, с которым мы соревнуемся на поприще мемуаристов, и обвинил меня, наоборот, в недостаточно подробном описании событий последующих лет. В результате я ничего не сократила, считая, что это можно будет сделать в любое время.

Труднее обстоит дело с введением новых, приходящих мне на память лиц и событий, но я не складываю оружия и от времени до времени вношу те или иные добавления, которыми и будет изобиловать настоящая глава. В учебнике английского языка мне встретился однажды такой пример на смысловое значение порядка слов в английском предложении: «A man needs to take a pen not just to write something, but when he has something to write». На русский язык, где порядок слов произвольный, это может быть переведено так: «Человек должен браться за перо не тогда, когда ему надо что-нибудь

написать, а когда ему надо что-то написать». Вот я и чувствую себя в положении человека, которому надо написать не «что-нибудь», а «что-то», и этого «чего-то» так много, что мне приходится мириться с некоторой разбросанностью повествования и обилием лиц «не весть откель, не весть куда».

О некоторых из этих «висящих в воздухе лиц» я все же постараюсь напоследок кое-что сказать.

Для определения моего положения на белом свете к моменту «подведения итогов» должна сказать, что со смертью всех моих родных одиночество мое достигло своего апогея. В 1952 году умерла мама и покоится теперь среди своих французских предков на кладбище Пасси, в центре Парижа. Весною 1954 года умер Борис. Осенью того же года на моих руках скончался отец, а несколько позднее — в 1960-м — в возрасте восьмидесяти двух лет умерла моя последняя родственница — веселая, неунывающая Наточка Штер-Оболенская. На мои запросы о Диме моя тетка Валентина Гастоновна, на несколько лет пережившая маму, сказала: «А разве Таня не знает, что Димы нет на свете!»

И вот, когда я осталась совсем одна «в свободном, вольном мире», вновь произошло то, что однажды произошло в моем детстве: вокруг меня сплотились дружественные силы, которые постепенно и незаметно скрасили мою жизнь и сделали ее не только терпимой, но и интересной. В главе о детстве я говорила о том, как трогательно относились к Тане и Шурику в тяжелое время отъезда их матери друзья их отца Николай Николаевич Муханов и Яков Исаевич Элиасберг. Шурик, брат мой, утрату которого я с каждым годом все сильнее чувствую, уже не нуждается ни в чьей поддержке — мне же он был незаменим. Жизненные наблюдения привели меня к мысли, что отношения между братом и сестрой имеют преимущества над другими человеческими отношениями. В любви может не хватать прочности, а в дружбе — нежности. Тут же есть гарантии того и другого.

Хотя я в некоторой мере была подготовлена к вести о маминой смерти, так как знала, что она тяжело больна, однако, когда от тети Лины пришло краткое извещение

о том, что ее нет в живых, горю моему не было границ. Мне казалось, что с ее смертью умерла часть меня самой, да так оно, вероятно, и было! Последние годы мама жила с сестрой, которая переехала к ней на квартиру и, по-видимому, угнетала маму своим деспотическим характером. (Думаю, что тут была некоторая материальная заинтересованность.)

Вяземский умер на несколько лет раньше мамы, причем некоторое время был слепым. В своих кратких письмах мама вспоминала о нем с любовью и жалостью. Дима находился где-то в Ливане и, к моему великому огорчению, не всегда помнил то, чем был обязан «Пафке» (так он звал маму в детстве). Некоторым утешением для меня было узнать, что до последних дней у мамы оставалось много друзей. Ее могила была завалена цветами. (Вскоре, по-видимому, умерла и Наталия Сергеевна Брасова.)

Все эти скудные сведения дошли до меня кружным путем. Мама писала Нате и никогда не узнала слов «Вятские Поляны», где я находилась, так как отец взял с меня торжественное обещание, что я не дам в Париж своего адреса («Неужели ты еще мало пострадала?!» — говорил он, когда находился в хорошем настроении, а когда был не в духе, ворчал: «Видимо, тебя еще мало учили?!»). Все это может показаться, мягко говоря, «странным», но таково было знамение тех лет.

Однако время не стояло на месте; пришла весна, а за нею лето 1953 года. Наступили многообещающие перемены. Живя в маленьком городке, я воспринимала события, потрясающие Москву, в отраженном аспекте и, будучи «ученой», не рисковала делать ежедневных записей, о чем теперь сожалею. После смерти Сталина страна огласилась непрерывающимися звуками траурных мелодий и истерическими воплями осиротевших верноподданных. Допускаю, что часть слез можно было отнести за счет торжественных звуков Моцарта и Шопена. (В последнем я еще более убедилась, когда узнала от Петра Григорьевича Трубецкого, что на траурном митинге в Кирове плакал... Василий Николаевич Батюшков!) Во всяком случае, прочно вбитые рефлексы действовали безотказно!

Что касается меня, то, стоя на собрании в конторе больницы среди рыдающих сестер и санитарок, я упорно смотрела вниз, боясь, что окружающие увидят исходящие из моих глаз лучи радости и надежды!

Вскоре из Москвы стали поступать слухи о невероятной давке с сотнями человеческих жертв, которая произошла на улицах во время прощания со Сталиным. Это было нечто, напоминающее Ходынку 1896 года. Люди давили друг друга и гибли сами, устремляясь к саркофагу.

Летом 1953 года были разоблачены Берия и его ближайшие сподвижники. Стали появляться благоприятные симптомы: так, например, выпустили на свободу группу известных врачей, арестованных по доносу провокаторши Лидии Тимашук, награжденной «за бдительность» орденом Ленина. Врачи Виноградов, Вовси, двое Коганов и другие обвинялись в заговоре (видимо, против Сталина), и им грозил неминуемый расстрел, когда, на их счастье, наступил политический рассвет и все они, за исключением двух, умерших в тюрьме, были реабилитированы и выпущены на свободу. У Лидии Тимашук отобрали орден и вскоре она, судя по газетам, погибла в автомобильной катастрофе.

В нашей семье первой выпущенной на свободу «ласточкой» была Лиза Шереметева-Чижова. Весной 1954 года она примчалась со строительства на реке Уфе, имея на руках никем доселе не виданный документ: справку Военного трибунала о том, что дело ее (семнадцатилетней давности) пересмотрено и прекращено «за отсутствием состава преступления». Лиза тут же получила московский паспорт и была прописана в Шереметевском переулке. Быстрота пересмотра объясняется тем, что Лизу «судила» московская тройка, а разбор дел начался с Москвы. Нам же, провинциалам, пришлось еще долго ждать восстановления своих прав и пессимисты говорили: «Пока солнце взойдет — роса глаза выест».

Не принадлежа к пессимистам и окрыленная надеждами, осенью я вновь рискнула провести свой отпуск в Москве и даже совершила оттуда приятную поездку к Анночке Толстой-Поповой на ее дачу под Звенигородом. На этот раз все прошло гладко, но настроение омрачилось тем, что мой отец уже страдал неизлечимой болезнью,

о которой мы не подозревали, с повышенной нервностью относился к моим «экспериментам» и успокоился только тогда, когда узнал, что я благополучно вернулась и засела за больничный годовой отчет в назначенных мне на жительство Вятских Полянах.

В половине декабря я получила ошеломившее меня письмо от Лидии Дмитриевны Некрасовой, в котором она сообщала, что Борис тяжело болен и помещен на обследование в больницу Склифосовского, в палату Сергея Сергеевича Юдина. Я поняла, что имеется подозрение на рак, от которого умерла его мать, и попросила опровергнуть или подтвердить мои подозрения. На это последовала телеграмма: «Ваши подозрения оправдались».

Наступил 1954 год. В первой половине февраля заведующая райздравом Плавинская, главврач Глушаева и я отправились в Киров для сдачи годового отчета. Пока мы «ходили по мукам», переходя из одного отдела в другой, на мое имя пришла переданная из Вятских Полян телеграмма: «Состояние Бориса безнадежно. Случай неоперабельный». Мои «начальницы», подходя ко мне для ее вручения, боялись, что я брошу все дела и сразу помчусь в Москву. Такой поспешности я не проявила, но, когда обходной лист был подписан, я, вместо того чтобы возвращаться в Поляны, села в московский поезд, считая телеграмму равносильной вызову, на который нельзя не реагировать. В пути я стала сомневаться в правильности принятого решения.

Для начала отец «окатил меня ушатом холодной воды». «Вот как ты заботишься о моем спокойствии! Ты знаешь, как тревожно я воспринимаю твои нелегальные разъезды, а тут ты срываешься по первому зову, без всякой необходимости». На это возразить было нечего. Позвонив по телефону, я узнала, что Борис перевезен из больницы домой и не знает о тяжести своего заболевания, считая, что у него язва желудка. Тут я стала совсем в тупик: чем можно будет объяснить мое появление у него на квартире, которую мы с Лялей Базилевской называли в шутку «цитаделью», так как он туда никого не приглашал. Я поняла, что Лидия Дмитриевна в смятении чувств отправила мне телеграмму, не обдумав, что из

этого выйдет. Чтобы обсудить план действий, мы с ней встретились в зале почтамта на Мясницкой улице.

Несмотря на присущую Лидии Дмитриевне сдержанность, видно было, сколь глубоко она потрясена. Возможно, к ее горю примешивалось мучительное недоумение: как могла она не заметить развития болезни Бориса до тех пор, пока лично знакомый ей Юдин не сказал, что сделать уже ничего нельзя. Наше совещание на почтамте ни к чему толковому не привело, и мои два посещения Бориса «у одра его болезни» были в достаточной мере неоправданными. Он с некоторым раздражением говорил о своей «язвенной болезни», я говорила о каких-то пустяках, удивляясь благообразию и даже красоте его лица, не носившего никаких следов раковой кахексии. Двадцать шестого февраля я уехала в Поляны, а через несколько дней — 3 марта — он скончался и был похоронен на Пятницком кладбище.

В Полянах меня ждало известие, что из управления НКВД несколько раз обо мне справлялись, так как начальник товарищ Белозеров желает меня видеть. «Ну вот! Снова попалась!» — думала я, идя на Советскую улицу. Однако меня ожидало совсем не то, что я думала. Любезно предложив мне сесть, капитан Белозеров сказал: «Я звонил в больницу, но мне сообщили, что Татьяна Александровна в отсутствии. — (Я оценила, что он не сказал «в Москве»). — Так вот! Вы несколько раз подавали заявление о снятии судимости. По этому поводу вам следует срочно выехать в Киров и обратиться в наше областное управление к майору Мамаеву (кабинет такой-то). Он вас ждет».

Я не заставила повторять два раза и через сутки уже поднималась на четвертый этаж мрачного серого дома на Ленинской улице Кирова. Майор Мамаев встретил меня вполне учтиво и для начала знакомства стал расспрашивать, как я чувствовала себя в Вятских Полянах, не очень ли меня там ущемляли. Со всей искренностью я ответила, что никаких претензий к Вятским Полянам не имею. После этого Мамаев открыл увесистый фолиант, заключавший, якобы, мое дело, и сказал: «Ну, а теперь посмотрим, в чем вы, Татьяна Александровна,

обвиняетесь!» Тут я краем глаза увидела подшитый протокол моего последнего допроса в Саратовском УНКВД. Мамаев пробежал глазами текст протокола и сказал: «Поскольку здесь Аксакова отрицает наличие антисоветских разговоров на вечере у Скобельцыных, надо полагать, что так оно и было». Затем, продолжая читать материалы, он с плохо скрываемой улыбкой добавил: «Одного не понимаю, как такая благовоспитанная дама, как Т.А.Аксакова, могла сказать, что саратовские студенты — ослы!» — На что я, уже явно смеясь, воскликнула: «Позвольте, как могла я это говорить, когда я этих студентов никогда не видела?! Я только могла слышать подобные слова от их профессоров и за это так жестоко поплатилась!»

После этого Мамаев захлопнул фолиант и, сделав самое приятное лицо, произнес: «Видите ли, Татьяна Александровна, не мы вас судили и потому не имеем права отменять чужие решения. Мы должны отправить ваше дело в Москву. Однако могу вас заверить, что мы сопроводим его самыми благоприятными для вас отзывами». Тут Мамаев встал и произнес исполненные скромности слова: «Я думаю, что вы, Татьяна Александровна, знаете историю лучше моего — (Я не возражала!). — Вам должно быть известно, что великие социальные сдвиги не совершаются без ненужных жертв. Лес рубят — щепки летят!»

Услышав эту классическую фразу, я поняла, что аудиенция окончена, и удалилась, сопровождаемая наилучшими пожеланиями майора Мамаева. Тон вышеприведенной беседы показался мне настолько обнадеживающим, что я как на крыльях спустилась с четырех этажей страшного дома и совершила очередной легкомысленный шаг — послала отцу телеграмму: «Приехала Киров снятия судимости».

По получении этой телеграммы все обитатели шереметевской квартиры возликовали и, по выражению отца, «в воздух чепчики бросали». Когда же пришло мое письмо с описанием разговора в кабинете Мамаева, отец счел мою радость преждевременной и вновь рассердился на меня за то, что я не щажу его спокойствия, окрыляя несбыточными мечтами. (Он еще не простил мне

приезда по вызову Лидии Дмитриевны.) Даже то, что в Полянах капитан Белозеров выдал мне «чистый» паспорт без § 39, показалось отцу недостаточно убедительным. Ему хотелось видеть в моих руках справку Военного трибунала, подобную той, которая была у Лизы. (По злой иронии судьбы я получила ее через два месяца после его смерти.)

Летом 1954 года здоровье отца настолько сдало, что впервые было произнесено страшное слово «рак желудка». Верный своему стоицизму, он продолжал ходить на работу в Исторический музей. Лишь в последнее время его стала сопровождать туда и оттуда его любимая сотрудница и ученица Светлана Алексеевна Янина. Необходимо все же признать, что если голова моего отца оставалась такой же светлой, как она была в наилучшие годы, характер его под давлением болезни сделался очень раздражительным. Он это сознавал и иногда говорил со своей очаровательной улыбкой: «Я становлюсь брюзгой».

Но вот пришло время, когда отец не смог пойти в музей (1 сентября 1954 года) и когда я была вызвана телеграммой в Москву. Последующие три недели представляются мне одним из наиболее мрачных периодов моей жизни. Отец, находясь в полном сознании, уже ничего не мог проглотить. При его упорном нежелании не только лечиться, но и обследоваться, он умирал со стоической покорностью неотвратимому. За десять дней до смерти он подал заявление о выходе на пенсию (ему минуло 88 лет). Музей его просьбы не принял. Ответ сводился к тому, что: «Мы не представляем себе Исторического музея без Александра Александровича».

Последние дни отца были омрачены еще и отсутствием Ольги Борисовны, к заботам которой он привык. Она находилась в поселке Павловка, на реке Уфе, где до реабилитации работала Лиза, и не могла покинуть Лизиного сына Вадима до приезда матери, которая выясняла в Москве свое служебное положение и откладывала свой выезд за сыном со дня на день. Мне поставили походную кровать у входа в папину каморку. Я подходила к отцу по первому зову, но моя помощь при болезненном состоянии моего бедра и поясничных позвонков была мало эффективной. Положение спасала жена Сергея Шереметева, которая, будучи не только спортсменкой,

но и медсестрой, с большой ловкостью и уменьем ухаживала за отцом до последней минуты.

В ночь на 24 сентября всякий уход стал не нужен. Рядом с могилами дедушки и бабушки Сиверс на Введенских Горах появился новый холмик, а я вернулась в Поляны окончательно осиротевшая.

Все отцовские историко-генеалогические картотеки и тетради, согласно его воле, пошли в Исторический музей и занимают там почетное место, а когда я, бывая в Москве, захожу туда, то слышу от сотрудников: «Поймите, Татьяна Александровна, теперь нам и спросить-то не у кого!»

Из соображений хронологии я должна была бы здесь поместить «новеллу о кузине Зине», но она настолько печальна, что я решила сделать некоторую передышку, дабы не перегружать мой рассказ трагическими элементами, собранными воедино. И все же «новелла» — за мной!

Большой радостью для меня стал приезд ко мне в 1958 году Ляли Базилевской. К этому времени я уже успела приобрести кое-какие вещи домашнего уюта (в том числе приемник «Балтика») и получила в больничном домике более просторную комнату. Однажды, когда я уже легла спать, Ляля настойчиво подозвала меня к приемнику — «Би-Би-Си» передавало (почему-то на немецком языке) разговор «за чайным столом». Беседа велась между двумя дамами и одним мужчиной. Последний задал своим собеседницам вопрос: «Не помните ли вы, какие женщины были награждены Нобелевской премией?» Дамы наперебой стали называть имена Марии Кюри, Сельмы Лагерлёф, писательницы Унсет... «Скажите теперь, — продолжал мужской голос, — кто из Советского Союза недавно получил такую премию?» Дамы разом закричали: «Так это же не женщина!» На этом передача прекратилась, а мы с Лялей в недоумении смотрели друг на друга.

Разгадка вскоре пришла — это был скетч на тему «Пастернак».

Через несколько дней мы у того же приемника слушали, как секретарь комсомола Семичасный на Ленинском стадионе громил того же Пастернака, допуская такие фразы: «Автора "Доктора Живаго" я не могу сравнить

со свиньей, потому что он — хуже. Свинья не гадит там, где она ест, а Пастернак сделал именно это!»

У меня сохранилась карикатура того времени под названием «Нобелевское лицо», помещенная в «Комсомольской правде» от 29 октября 1958 года. Рисунок изображает трех злонамеренных людей (один из них в поварском колпаке), варящих какой-то зловредный суп. Анонимная рука подливает в кастрюлю жидкость из сосуда, имеющего форму книги с надписью «Доктор Живаго». Другая анонимная рука держит чек на Нобелевскую премию. Под карикатурой стихи Михалкова весьма низкого качества.

Почти никто в Советском Союзе не читал романа Пастернака и не мог о нем судить. Те же немногие, которым это удалось, не находили в «Докторе Живаго» ни политически предосудительных мест, ни выдающихся литературных достоинств и объясняли мировую известность этого произведения как раз шумихой, которая вокруг него была поднята.

Теперь, когда страсти вокруг покойного Пастернака, отказавшегося от премии, улеглись, я все же с горечью вспоминаю о методах того времени и о качестве острот Михалкова.

Пока Ляля гостила у меня, до нее дошла весть, что у ее сына Андрея, женатого вторым браком на сотруднице-спортсменке, должен родиться ребенок. Ляля встретила это сообщение без энтузиазма, но когда факт свершился и на свет появился внук, она вся ушла в новую привязанность и морально отошла от всего, что только не Вовочка (за исключением, может быть, книжек).

По моим наблюдениям, развелось за последнее время особенно много «бабушек-фанатичек», что довольно скучно для окружающих, но, возможно, более полезно, чем писание мемуаров, которые никто читать не будет. Таков голос рассудка, но ни один автор в глубине души не хочет верить в бесцельность своего труда, и, на тот случай, если записки мои попадут в руки читателя, интересующегося не только «бытовыми подробностями» тяжелых лет России, но и судьбой упомянутых лиц, я должна закрыть «личный счет» этих лиц, рассказать, что с ними случилось в конце их жизненного пути.

Вспоминая дела давно минувших лет, начинаю с белокурого лицеиста Андрюши Гравеса с лицом Гретхен и душой, страдающей за мировое зло, прошедшего через мою жизнь, далекой, но всегда светлой полосой.

Вернувшись в 1918 году в Россию из трехлетнего пребывания в германском плену, куда он попал со своей артиллерийской бригадой во время окружения 20-го корпуса в Восточной Пруссии, Андрюша Гравес не застал меня в Москве (я жила в Козельске) и, по-видимому, ошеломленный всем тем, что увидел в годы крушения Российской империи, уехал на Урал. Там он кочевал из одного города в другой, женился и поселился в городе Свердловске, где начал быстро преуспевать на поприще экономиста. Когда я, после десятилетнего перерыва, встретилась с ним в Москве в 1924 году, он уже был коммерческим директором какого-то крупного уральского треста и половину времени проводил в столице как представитель своего учреждения.

Встретились мы весьма дружески и во время моих наездов из Калуги старались вместе посмотреть все интересное, что давалось тогда в московских театрах. А интересного было много и у Вахтангова, и в Камерном театре. «Дни Турбиных» я смотрела одна в 1925 году, когда спектакль еще не успел подвергнуться цензурным изменениям, и в лице Алексея Турбина (играл Хмелев) оплакала ту Россию, с которой была связана с детства. Причем я была не одинока в своих чувствах — справа и слева сидели люди, прижимавшие к глазам мокрые от слез платки.

Коснувшись, хотя и мельком, имени Булгакова, человека не только большого таланта, но и великой смелости, хочу напомнить случай с его рассказом «Роковые яйца», напечатанным в журнале «Недра» за 1925 год. Не успели мы вдоволь насмеяться над этим фантастическим и немного озорным памфлетом, как цензура спохватилась и выпуск журнала «Недра», содержащий крамольный рассказ, был конфискован, став библиографической редкостью. В конце 20-х годов я встретила Булгакова у Анночки Толстой. В то время я уже была обладательницей большой и хорошо обставленной комнаты на Мойке, и на следующий день Анночка спросила, не могу ли

я уступить эту комнату на месяц Булгакову, который ищет временное пристанище в Ленинграде. Я уже была склонна это сделать, когда вспомнила о бурном характере моей соседки Евгении Назарьевны, и не рискнула подвергать Булгакова встречам с этим Неистовым Роландом. Так мое более близкое знакомство с Михаилом Афанасьевичем не состоялось.

Поставив точку, я спохватилась, как далеко ушла от основной темы подведения итогов. Возвращаюсь к Гравесу.

Моя высылка из Ленинграда и пребывание в лагере привели к тому, что в течение десяти лет мы ничего друг о друге не знали. Приехав в середине сороковых годов в Москву, я разыскала Сережу Попова и узнала ошеломившую меня своей нелепостью новость. Как человек, носящий немецкую фамилию, Андрюша Гравес был отправлен в пожизненную ссылку на северный Урал, и жил в полном одиночестве в городе Карпинске (бывшем Богословске), преподавал экономические науки в техникуме и не имел никаких надежд на будущее, поскольку ссылка была пожизненной.

Мое неожиданное письмо стало не только (как он выразился) «солнечным лучом в темном царстве», но «видением из потустороннего мира», так как он считал меня погибшей. На моем столе лежит связка его писем, содержащих много верных мыслей и наблюдений. В ответ на мое напоминание о его юношеской сентенции, что «жизнь есть позолоченный орех», бедный поселенец написал: «Жизнь остается орехом, но уже не позолоченным. Во всяком случае, моя!» Во всех письмах сквозило желание уйти от действительности в область воспоминаний о нашей юности, и заканчивались они обычно чем-то вроде бунинских слов «До меня долетает свет от улыбки твоей!».

Но вот наступил 1954 год и с ним оттепель для окоченевших человеческих сердец. С Андрея Федоровича сняли его опалу, и по пути в Москву он заехал ко мне в Вятские Поляны. Встреча наша была затаенно-грустной, и боюсь, он не увидел в моей улыбке «света юношеских дней».

Во время моих приездов в Москву мы с ним виделись всегда. Иногда сидели на скамейке Пречистенского

бульвара, смотря на Удельный дом. Но я замечала, что он серьезно болен. Осенью 1962 года он уже не смог ко мне прийти, и на Бронной у Ляли я получила короткое письмо: «Жалею, что не могу Вас видеть, но хорошо, что не придется говорить о болезни. Сердце ослабело. Ну да так, видно, предназначено! Ваш Андрей Г.!»

Пока я читала это письмо, мне позвонили по телефону и сообщили, что Андрей Федорович скончался. Это было 14 ноября. Я поехала с ним попрощаться и в первый раз увидела его двух сыновей, напоминавших отца в молодости. Похоронили его на Введенских горах, где с каждым годом становится все больше близких мне могил. Среди них могилы Маргариты Кирилловны Морозовой и Елены Кирилловны Востряковой, умерших одна за другой на протяжении трех месяцев.

Подведение итогов неизбежно влечет за собой мысленное возвращение к прошлому, и я, как сейчас, вижу красивых нарядных дам, в домах которых я бывала в юности. Вспоминаю костюмированный бал в морозовском доме на Смоленском бульваре, подростка Юру, одетого тирольцем, Мику — Дмитрием-Самозванцем, Лёлю — боярышней, и с грустью думаю: «И все они умерли, умерли!»

Приезжая в Москву, я навещала Маргариту Кирилловну и Елену Кирилловну в их убогом полуподвале у Покровских ворот. Только, когда эту хибарку снесли, этих дам переселили в новый дом в Черемушках. С ними жил сын Мики от его кратковременного брака с Варенькой Туркестановой, которого Маргарита Кирилловна воспитала, отдав ему всю душу, и который, к сожалению, не отплатил ей добром.

До последних дней Маргарита Кирилловна сохранила ей присущую ясность мысли и оставила очень интересные мемуары, которые лежат в Государственном архиве и ждут своего времени. Воспоминания эти состоят из трех частей: 1. Детство, 2. Замужество, 3. Выдающиеся люди, с которыми она встречалась. Знаю, что написаны главы о Скрябине, Андрее Белом, Н.К. и Э.К. Метнерах, Льве Михайловиче Лопатине, немного о Н.А.Римском-Корсакове и начата была глава о Евгении Николаевиче Трубецком.

Елена Кирилловна последние годы была почти слепа и беспомощна. Истинным ангелом-хранителем этих дам

стала вторая жена Мики, Татьяна Романовна Левицкая, которая трогательно о них заботилась. Раза два я ее видела у Маргариты Кирилловны, но наши подлинно дружеские отношения начались после того, как я, не найдя могил на Введенских горах, пришла к ней, чтобы уточнить их место. С тех пор наша связь, и эпистолярная, и личная, не прерывается. Татьяна Романовна даже преодолела путь в тысячу километров, чтобы навестить меня в Полянах, и я с полным правом могу причислить ее к окружающим меня дружественным силам.

Особое место, однако, среди моих друзей вятскополянской эпохи заняла Наташа Потоцкая — человек исключительного благородства и доброты. Мать ее, Варвара Васильевна, урожденная Воейкова (основательница известной в Москве гимназии), была родной племянницей бабушки Бориса Аксакова, тоже урожденной Воейковой, брату которой, Василию Владимировичу, принадлежало Попелево до того времени, когда оно было куплено князем Вяземским. Таким образом, корни моих отношений с Наташей (Натальей Павловной) Потоцкой уходят в анналы калужско-козельских краев.

Высоко ценя человеческую дружбу с самых серьезных позиций, я все же не могу удержаться, чтобы не привести один исторический анекдот, относящийся к 1852 году и имеющий касательство к этой теме. (Опять сказывается мое отношение к французской находчивости!)

Император Николай I, считая (не без оснований) Наполеона III «проходимцем», не пожелал обратиться к нему с традиционным «Mon frere» а назвал его в официальном документе «Mon ami»*. Необидчивый Наполеон ловко вышел из положения, заметив: «Ну что же?! Я очень польщен! Мы часто принуждены терпеть своих родственников, тогда как друзей своих мы выбираем!»)

Но возвращаюсь к себе. Для восполнения душевного вакуума полезно, кроме хорошо выбранных друзей, иметь и интересную работу. Она мне и была ниспослана неожиданно в конце пятидесятых годов.

---

* «Мой брат» и «Мой друг» (*франц.*).

Во время одной из моих служебных поездок в Киров Николай Геннадьевич Лермонтов познакомил меня со своей сотрудницей по Управлению автотранспортом области Эрикой Александровной Вяренгруб. Это была одна из таллинских дам, высланных на берега Вятки во время войны. (Их мужья считались без вести пропавшими.) После ряда мытарств по совхозам на сельскохозяйственных работах эта женщина с университетским образованием считала большой жизненной удачей возможность сидеть в кировском почтамте за продажей газет.

Познакомившись с Эрикой Александровной за партией бриджа у общих знакомых, Николай Геннадьевич проявил доблестную энергию и устроил ее на работу в возглавляемый им экономический отдел автохозяйства. При этом он «не просчитался». Обладая умом мужского склада, Эрика Александровна стала ему незаменимой помощницей и даже взяла на себя значительную часть его обязанностей.

У меня сразу установились прекрасные отношения с этой милой и интересной женщиной, и однажды она, в виде большой милости, дала мне на прочтение свою любимую книгу, которая каким-то чудом сохранилась при разгроме ее таллинского имущества. Книгой, которую я, с разрешения хозяйки, увезла в Поляны, оказалась «The Story of San-Michele» шведского врача Акселя Мунте. Ни имя автора, ни название произведения мне ничего не говорили, так как, находясь в местах отдаленных, я понятия не имела о том, что эта книга уже тридцать лет победоносно шествует по всему миру, будучи переведена на тридцать языков.

По мере чтения я все более и более поддавалась очарованию книги и в полной мере соглашалась с отзывом о ней комментатора «Манчестер Гардиан»: «Я редко читал что-либо столь тонкое и столь трогательное. Тут стиль, остроумие, юмор, большое знание людей смешаны с той своеобразной простотой, которая часто бывает признаком гениальности» (1929 год).

И тут мне пришла в голову дерзостная мысль: поскольку некоторые ее главы (работы с Пастером, с Шарко, заметки о собственном опыте врача-невропатолога) посвящены вопросам медицинской практики и этики,

я решила перевести фрагменты «Повести о Сан-Микеле» на русский язык для «благого просвещения» вятскополянских докторов. Постепенно, увлекшись этим делом, я перевела главы о студенческой жизни в Париже (80-е годы XIX века), о холере в Неаполе, о Лапландии, раскопках на острове Капри, землетрясении в Мессине — и приехала с рукописью в Москву.

У Наташи Потоцкой я встретила известного переводчика Евгения Анатольевича Гунста, который посоветовал мне обратиться с моим еще не вполне законченным переводом в «Гослитиздат», находившийся на Новой Басманной улице. Заведующий западноевропейским отделом Емельянников встретил мое предложение издать книгу Мунте весьма прохладно, но, по счастливой случайности, в это время в его кабинет вошел кто-то из сотрудников и, увидев заглавие, воскликнул: «Ах, это та книга, о которой мне все уши прожужжал приехавший из-за границы Голенищев-Кутузов! Но он, кажется, сам хочет подать заявку на ее перевод!»

Пока Голенищев-Кутузов раздумывал, я приналегла на работу и через короткий срок положила Емельянникову законченную рукопись, которая и была принята. Редактором назначили молодого человека приятного вида Владимира Сергеевича Финикова, по-видимому, доброго знакомого завотделом, с которым у меня сразу установились самые милые отношения в духе светского салона. Летом 1961 года Фиников вызвал меня телеграммой в Москву для подписания договора и получения 60% гонорара, выражавшегося, за вычетом налога, примерно в девяти тысячах рублей. (Дело происходило до денежной реформы.)

Поблагодарив Финикова и сделав ему некоторый подарок, который он вполне заслужил своей заботой обо мне, я тут же купила небольшую пишущую машинку (которой пользуюсь в настоящую минуту), холодильник «Саратов II» и вернулась в Вятские Поляны, окрыленная самыми радужными надеждами на быстрое появление книги Мунте в печати. Надеждам этим не скоро суждено было сбыться, и мой путь переводчика оказался весьма тернистым!

Через год я получила от Финикова письмо о том, что, ввиду резкой нехватки бумаги, все издания, даже подписные, приостановлены. Причина была объективная, и я с ней легко смирилась. Дальше дело пошло гораздо хуже. В 1963 году началось «смятение чувств» в литературном мире в связи с выступлением Ильичева (нападки на «Новый мир» и Твардовского в связи с напечатанием Солженицына, Некрасова, Эренбурга и др.).

Придя осенью в «Гослитиздат», я увидела новые лица, весьма неодобрительно настроенные к Акселю Мунте и его книге. (Ни Емельянникова, ни Финикова я не видела.) Новая заведующая западноевропейским отделом Миронова огорошила меня словами: «Лицо автора книги о Сан-Микеле нам неясно! Кто он такой?! Родился в Швеции, учился в Париже, жил на Капри и издал свой роман в Лондоне! Это какой-то космополит!» Я поняла, что тут надо переждать, дать людям одуматься, и благоразумно удалилась.

Прошел еще год. В 1964 году я услышала по радио выступление нового заведующего «Гослитиздатом» Косолапова с перечислением «прекрасных» книг, ими выпущенных, и письменно напомнила ему о еще одной «прекрасной» книге, лежащей у них под спудом. Ответ я получила от Мироновой, которая свой гнев переключила с Мунте на меня. Мой перевод якобы «плох и требует переработки». Я снова проявила максимум терпения и, указав на параграф договора, по которому все претензии ко мне должны быть предъявлены в течение четырех месяцев, а не через четыре года, выражала тем не менее согласие пересмотреть рукопись.

Все закончилось самым неожиданным образом: «для ускорения дела» мне было предложено пригласить за счет недополученных мною 40% гонорара «внештатного редактора», который наложит на рукопись последний блеск и исключит то, что следует исключить из текста. Я на это с радостью согласилась.

Дальше пошли уже настоящие чудеса: в 1967 году я была вызвана в издательство для просмотра гранок, а в 1969 году «Легенда о Сан-Микеле» вышла тиражом в 50 тысяч экземпляров, была раскуплена в несколько дней и является уже библиографической редкостью.

Название «Повесть» было предусмотрительно превращено в «Легенду», так как в этом жанре допустимы некоторые идеалистические наслоения.

Отношение ко мне в «Гослитиздате» резко изменилось в лучшую сторону. Когда я поблагодарила Миронову за хорошую вступительную статью Софьи Тархановой, она мне неожиданно сказала: «А знаете ли вы, что вам еще предстоит получить деньги? Приходите на днях». Я этого никак не ожидала, зная, что мои 40 % пошли «внештатному редактору» Гуровой (очень эрудированной женщине, которую я также поблагодарила). Оказалось, что 15 тысяч экземпляров, предусмотренные договором, были утроены. Таков был блистательный конец моей борьбы за книгу Акселя Мунте, за которую я получаю благодарности со всех концов страны, начиная со студентов и кончая людьми моего поколения.

Хотя я уделила теме моей борьбы с «Гослитиздатом» (переименованным теперь в «Издательство Художественной Литературы») слишком много строк, все же, для «разрядки», хочу вспомнить один курьезный случай, связанный, насколько я могу понять, с именем Акселя Мунте.

Находясь в 1965 году на лечении в Нижнем Ивкине (грязевой курорт в 60 верстах от Кирова), я взяла в местной библиотеке 10-й номер журнала «Новый мир» (за 1962 год) и принялась за чтение рассказа Каверина «Косой дождь». В главе, описывающей приезд советских туристов на остров Капри, я напала на абзац, заставивший меня буквально подпрыгнуть на скамейке, на которой я сидела. Привожу его дословно:

«Всем хотелось посмотреть виллу Горького, но гид повел нас в дом какого-то шведского писателя — Валерия Константиновна /героиня рассказа/ немедленно забыла его имя. Гид сказал, что ему принадлежит "Жизнь святого Михаила" — так называется книга, которую он создал, то есть написал».

Если бы мне когда-нибудь пришлось встретиться с Кавериным, писателем, которого я высоко ценю, то на предъявленный ему абзац из «Косого дождя» он, как умный человек, мог бы мне ответить: «Я не несу ответственности за слова каприанского гида, да еще в интерпретации советской туристки!» — и разговор был бы исчерпан.

Переходя снова к своим собственным делам и вместе с тем не удаляясь от темы «курьезы печати», я хочу упомянуть о том, как я была «прославлена» в газете «Кировская правда» от 12 декабря 1964 года.

Надо начать с того, что моя милая и веселая тетушка Наталия Петровна Штер, неожиданно скончалась в 1961 году от, казалось бы, несложной операции по поводу камней желчного пузыря. Сожитель ее последних двадцати лет, Иван Викторович Захватаев, с которым она под конец «записалась в ЗАГСе», находился после кровоизлияния в мозг в психиатрической больнице. (Замечу в скобках, что меня всегда удивляло, как избалованная вниманием мужчин Наточка могла под конец связать свою жизнь с этим непривлекательным внешне и внутренне человеком. — Но она его любила и самоотверженно обслуживала.)

Содержащийся в психиатрической больнице и вскоре умерший Иван Викторович юридически являлся владельцем прекрасной комнаты и всех находящихся в ней вещей. Это учел его брат Захватаев, который немедленно после похорон Наталии Петровны перевез ее имущество к себе на квартиру, оправдав тем самым смысловое значение своей фамилии. Мне были отданы альбомы с семейными фотографиями и письма Андрея Петровича Штера, старшего офицера знаменитого крейсера «Новик», к матери и сестре, написанные с театра военных действий в 1904 году (переданы мною в Морской музей).

Потом, в виде милости, Захватаев выдал мне одну из парных ваз, принадлежавших прадеду Чебышёву, говоря, что вторая очень нравится его жене и жена не может с ней расстаться. Я, конечно, спорить не стала, но у меня от всего этого остался неприятный осадок.

В 1964 году, когда уже в какой-то мере намечался мой переезд в Ленинград, я решила пожертвовать злополучную вазу в Кировский музей, чтобы чем-то отметить мое долголетнее пребывание на берегах Вятки. К дарственной записи я приложила историю даруемого предмета и краткий очерк о его владельце адмирале Чебышёве. В ответ на это в «Кировской правде» появилась статья и моя фотография с вазой. Узнать меня на этом изображении было трудно, но честь мне была оказана.

Мой насмешливый ум обнаружил, однако, в статье забавные места. Например, «изображенная на лицевой стороне вазы Александровская колонна была воздвигнута имп. Николаем I в честь своего предка Александра I» и «Т.А.Аксакова не сидит сложа руки, а пишет мемуары».

Теперь, как мне кажется, можно приступить к рассказу о несчастной судьбе «кузины Зины», неожиданно появившейся на горизонте последних лет моего пребывания в Вятских Полянах. Ранее я уже подробно рассказала ее историю. Здесь же остается рассказать о ее окончании.

В конце второго года пребывания в Полянах Зина уже стала ходить по магазинам, выпрашивая конфетку или булочку, и привлекала внимание прохожих, ежеминутно спрашивая их, «который час». Наконец я не выдержала и написала Володе, что его мать требует присмотра и надо подумать о помещении ее в какое-нибудь соответствующее учреждение. Летом 1960 года он прилетел из Норильска и после длительных уговоров (она не хотела покидать тетю Лизу) ему удалось отвезти мать в Киров на экспертизу. В медицинской комиссии сказали, что, поскольку больная не опасна для окружающих, не бегает с ножом и не поджигает домов, поместить ее в переполненную и без того психбольницу не могут, и посоветовали обратиться в министерство соцобеспечения для определения в инвалидный дом «соответственного профиля».

Зина вернулась в Поляны к тете Лизе, Володя поехал хлопотать в Москву. Оставив заявление в министерстве, он улетел в свое Заполярье. До нового 1961 года никакого движения в этом деле не происходило, но вдруг, в конце января, в самый разгар морозов, меня вызвали в местный отдел собеса и предъявили бумагу, согласно которой З.П.Осколкова должна быть в двухнедельный срок доставлена в инвалидный дом на севере области, в Белхолуницком районе. Услышав, что от нее «улетает курочка, несущая золотые яйца» (Зина, кроме денег, высылаемых сыном, стала после реабилитации «за отсутствием состава преступления» получать и пенсию), тетя Лиза развила бурную агитацию и добилась того, что Зина категорически отказалась ехать из Вятских Полян.

Тут в дело вмешался районный собес, начальник которого, заинтересованный в выполнении данного ему из центра распоряжения, спустился в овраг (куда я, к моему стыду, никогда не спускалась!). Увидев, в каких условиях тетя Лиза держит свою квартирантку, и подсчитав, сколько денег она за это получает, он так припугнул старуху, что она сразу поджала хвост и, повернувшись на 180°, выписала Зину из домовой книги.

Оставался вопрос о путешествии в Белую Холуницу, которое в условиях зимнего времени становилось очень сложным. (Поездом до Кирова, автобусом до Холуницы, попутной машиной до Климовки и там пешком 5 км до инвалидного дома.) С помощью довольно крупной суммы денег, присланной Володей, я уговорила расторопную санитарку тетя Настю взяться за нелегкое дело сопровождения. Тетя Настя благополучно доставила Зину на место, но ее впечатления от инвалидного дома были мало благоприятны: местность красивая, лесистая, но «призреваемые» — и мужчины, и женщины — далеко не так красивы! Посылаемые родными деньги беспощадно отбираются и пропиваются жителями мужского корпуса. То же происходит и с посылками. Это мне напомнило лагеря, и я испытала первые угрызения совести. Еще хуже стало у меня на душе, когда я получила от Зины маловразумительное письмо, в котором была фраза: «Я прошу меня убить, но на это никто не соглашается!» Я утешала себя мыслью, что подобные слова я и раньше слышала от Зины, которая употребляла такие «броские» тирады без достаточных оснований.

На мой запрос заведующий инвалидным домом сообщил мне, что З.П.Осколкова физически здорова, но стала совсем невменяемой. Володя, благородство которого я вполне оценила, два раза навещал мать, прилетая из Норильска. Она его не узнавала и лишь после того, как соседки, жадными глазами смотрящие на привезенные вкусные вещи, говорили: «Как же ты, Зиночка, не узнаешь! Это твой сынок!», проявляла какие-то признаки мысли.

Наконец, в ноябре 1962 года, я получила телеграмму: «Мама умерла. Похороны в Климовке». У меня сохранилась фотография, снятая Володей во время одного из приездов — цветущий луг, небольшая заросшая кувшинками

и водяными лилиями речка, и среди доходящих ей до пояса трав — потерявшая рассудок, «без вины виноватая» Зина — Офелия наших дней! Любовь к природе была ее последним живым чувством.

Я, быть может, слишком долго задержалась на подробностях этой печальной эпопеи, в которой и моя роль «умывания рук» ради собственного спокойствия была не очень красивой, но, как говорится, «из песни слова не выкинешь»! Так как мне на роду написано за все мои прегрешения расплачиваться физическими страданиями, то это и не замедлило воспоследовать!

Седьмого августа 1963 года я после проверки больничных листов в детской консультации стояла на перекрестке двух улиц и, как полагается, смотрела налево, откуда могли идти машины, как вдруг из-за угла с правой, неположенной стороны в нескольких шагах от меня вынырнул громадный грузовик. Увидев меня, шофер почему-то не затормозил. Деваться мне было некуда. Я бросила журнал с больничными листами и инстинктивно подняла руки, как бы прося пощады. Это было последнее, что я помнила.

Очнулась я — лежащей на мостовой с окровавленным лицом и перебитой бедренной костью. Вокруг меня толпился народ. Сознание ко мне вернулось быстро, так как голова — наиболее прочная часть моего организма. Я даже попыталась встать на ноги, чего не следовало делать — надо было ждать носилок.

В хирургическом отделении рентген показал «оскольчатый перелом средней трети первой бедренной кости, со значительным смещением». Это было то самое бедро, которое уже пострадало в лагерях! На лице оказались лишь царапины.

Хирург Скочилов, человек, с которым меня связывали, как говорят теперь, «противоречивые» отношения и о котором я еще буду говорить, посмотрев на рентгеновский снимок, покачал головой и положил меня «на вытяжение». Лежать с грузом, подвешенным к бедру, которое и без того причиняло мне сильные боли с 1938 года, было очень мучительно, но я утешала себя мыслью, что здоровая нога не пострадала и осталась «в резерве».

На второй день моего пребывания в больнице ко мне явился представитель милиции для снятия показаний о несчастном случае. (Шофер и его жена с утра уже стояли на улице под окном и просили «не губить».) Тут я узнала подробности случившегося: молодой шофер вез из деревни Куршино зерно на элеватор. Будучи немного выпивши, он решил для скорости срезать угол на повороте и оказался у меня с правой стороны. Главное же зло состояло в том, что машина шла с неисправными тормозами, и, видя меня, он мог только круто свернуть в канаву, благодаря чему я получила удар буфером, была отброшена в сторону и не попала под колеса. Считая, что мои страдания не могут оцениваться деньгами, я, конечно, «простила», не подала «иска», и шофер отделался взысканием по линии автоинспекции.

Через неделю Скочилов, видя, что обломки кости не сближаются, предложил мне операцию остеосинтеза — то есть заколачивания стального гвоздя в просвет бедренной трубчатой кости. Для вятскополянской больницы этот метод был новым (до войны он практиковался только в одной из берлинских больниц и был засекречен). С первого взгляда, вернее в словесном оформлении, остеосинтез мог показаться страшным для пациента, но в действительности он являлся благодеянием. Получив мое согласие, 16 августа Скочилов благополучно ввел мне в кость гвоздь длиною 44 см, предварительно убрав осколки и сопоставив отломки.

Операция шла под общим наркозом. Вскоре меня сняли с вытяжения, и я стала горячей поклонницей этого метода. Через четыре с половиной месяца кость срослась, но размозженные мягкие ткани, сместившись, увеличили контрактуру сустава и усилили привычные боли по ходу бедренного нерва. Если я раньше, прихрамывая, обходилась без палочки, то теперь она мне стала необходимой.

В момент операции и пребывания на койке хирургического отделения мои когда-то дружеские отношения с Павлом Андриановичем Скочиловым были «на ущербе». Схематически об этих отношениях можно сказать следующее: прибыв в 1951 году в больницу в качестве ведущего хирурга, этот очень талантливый во многих областях,

но неимоверно самолюбивый человек стал часто ко мне заходить, находя в разговорах со мной то, чего он, может быть, не находил в других местах. Надо заметить, что до моей реабилитации и, во всяком случае, до 1954 года, я была *persona non grata*, однако Скочилов, несмотря на свою партийность и получаемые им в этом отношении предупреждения, от меня не отрекался и добрых отношений со мной не прерывал. И я это ценила.

Из его рассказов я знала, что он родился в старинном городе Яранске, издавна славившемся своей приверженностью театральному искусству. (Я помнила, что актеры Малого театра, и в том числе дядя Коля Шереметев, в начале 20-х годов ездили на гастроли в Яранск, где был прекрасный театр.) Окончив с отличием Ижевский мединститут и работая врачом в родном городе, Скочилов во время войны близко столкнулся с группой эвакуированных туда столичных театральных коллективов, с успехом выступал на сцене и многое воспринял из области театральной и общей культуры. В минуты хорошего настроения он прекрасно читал Есенина и был интересным собеседником. К этому периоду относится написанная мною на него эпиграмма:

В нем настроения так зыбки,
Что, не заботясь о конце,
Все ждут пленительной улыбки
На гневно-дерзостном лице.

Но время шло, и на протяжении нескольких лет события стали развиваться в противоположных направлениях: волею судеб, я из Золушки в лагерном бушлате стала превращаться в «принцессу вятскополянского масштаба». Скочилов же, подобно многим талантливым людям, начал катастрофически пить и, в результате этого, опускаться по общественной лестнице. Ущемленный в своей гордыне и не имея сил бороться с причиной своей деградации, он вымещал свое плохое настроение на окружающих, особенно на тех, с кем близко соприкасался на работе (как, например, со мной) и кто имел смелость говорить ему «правду-матку».

Вбив себе в голову, что я «зазналась», он с особым удовольствием начал говорить мне колкости, в которых

потом раскаивался. Окружающие иногда подливали масла в огонь. Так, однажды молодой врач Вологжанин сказал: «Хорошо, работу за вас делает Татьяна Александровна!» Тут последовал взрыв, тем более что это было, конечно, не так. Блестящих знаний Скочилова я никак не могла восполнить, а просто была ему неплохим помощником, выручавшим из всяких неприятностей.

Понимая все скрытые пружины его раздражительности, я не могла долго сердиться на своего бывшего друга и неприятного шефа, а когда в моменты просветления он становился прежним Скочиловым, ему ничего не стоило меня рассмешить и наши добрые отношения восстанавливались. К этому периоду относятся мои стихи:

Служба в экспертизе
Не сплошной восторг.
И эксперт капризен,
И холодный морг.

Я же все мучения
Стойко выношу
И об увольнении
В Киров не пишу.

С судэкспертом стычка
Схлынет, как волна.
Говорят, привычка
Свыше нам дана!

Иллюстрацией наших не совсем обычных отношений может быть случай, когда после очередного моего «увещевания» и двухдневного молчания я нашла у себя на раскрытом окне фотографию, на которой Павел Андрианович изображен в позе Юдина на портрете Нестерова. На обороте надпись: «Татьяне Александровне от человека, потерявшего "уважение к себе". На память до конца наших дней. П.Скочилов, 28 апреля 1956 г.».

В 1965 году Скочилов покинул Вятские Поляны, оставив по себе двоякую память: его либо превозносят до небес, либо беспощадно ругают за поведение последнего времени. Но все сходятся на том, что он был врачом «большого полета» и незаурядным человеком.

Прощаясь со мной, он сказал: «Что бы там ни было, Татьяна Александровна, а вам без меня будет скучно, потому что вы никогда раньше не видели такого, как я, да и в будущем не увидите!» Меньше чем через два года Павел Андрианович умер в возрасте пятидесяти двух лет в поселке Звенигора на Волге от общего истощения (много пил) и похоронен, как он просил, в Яранске.

Поскольку настоящая глава является по существу сведением печальных итогов, я должна сказать о дальнейшей судьбе вернувшихся в СССР в конце сороковых годов русских парижан Николая Лермонтова и Петра Трубецкого. С тех пор как они сошли со страниц моих воспоминаний, в их жизни произошли изменения. Лермонтовед Ираклий Андроников заинтересовался Николаем Геннадиевичем и, в связи с наступившим лермонтовским юбилеем, выхлопотал ему персональную пенсию. Кто такой Андроников, я распространяться не буду, так как он хорошо известен, но небольшой эпизод, предшествовавший получению этой пенсии, все же расскажу.

Николай Геннадиевич обратился к моему отцу, незыблемому авторитету по вопросам генеалогии дворянских родов, с просьбой уточнить его родство с Михаилом Юрьевичем, и отец, в виде особой милости, вручил ему тетрадь с надписью: «Костромские дворяне Лермонтовы». С этой тетрадью Николай Геннадиевич уехал в Киров. Далее произошло вот что. По занятости или, вернее, по небрежности, он не вернул этой тетради в срок и даже не удосужился сделать из нее нужных выписок, удостоверяющих, что ветви рода, давшие, с одной стороны, Михаила Юрьевича, а с другой — его самого, разошлись только за два поколения до поэта.

Мой отец, не терпевший легкомысленного отношения к архивным документам, и к тому же находившийся в состоянии раздражительности от неизлечимой болезни, поручил Василию Николаевичу Батюшкову немедленно изъять тетрадь у Лермонтова и переслать ему, что Батюшков и сделал.

Впоследствии я несколько раз просила отца дать мне возможность сделать необходимую Николаю Геннадьевичу выписку, но отец каждый раз говорил: «Не проси! Не дам!» Только после смерти отца, считая, что срок давности

проступка Лермонтова истек, мы с Ольгой Шереметевой сделали выписку, на основании которой было получено подтверждение из костромского архива.

К сожалению, Лермонтову сравнительно недолго пришлось пользоваться пенсией «за дядю Мишу»! Здоровье его стало резко ухудшаться. Проболев года два тяжелой формой бронхоэктатической болезни, он скончался в московской больнице в октябре 1965 года и похоронен на кладбище Донского монастыря среди своих родственников Трубецких.

Последние годы жизни его были скрашены Эрикой Александровной Вяренгруб, которая никогда не забывала оказанную ей когда-то услугу и окружала его, уже тяжело больного, неизменной заботой. В качестве редкого и счастливого исключения, муж ее, Вернер Мартынович, вернулся из лагерей живым и даже сравнительно здоровым. После реабилитации они получили в Кирове квартиру и мечтают ее когда-нибудь обменять на Таллин.

Двоюродный брат Лермонтова, убежденный холостяк, Петр Григорьевич Трубецкой, говоривший «я — величина неженимая», к огорчению и удивлению всех кировчан, был «похищен» приехавшей туда навестить свою высланную родственницу Тоню Комаровскую Ксенией Петровной Истоминой: он не только на ней женился, но и усыновил ее двух взрослых сыновей, дав им свою фамилию. (Последнее не понравилось его родственникам, как здешним, так и заграничным, которые стали называть этих молодых людей «лже-Трубецкими».) Петр Григорьевич и его жена поселились в местечке Рыбное под Рязанью, куда был переведен Всесоюзный институт пчеловодства, при котором работала Ксения Петровна, доктор биологических наук. Я их там два раза навещала и видела, что «убежденный холостяк» вполне доволен своей жизнью. Но и это оказалось кратковременным — сравнительно молодой, веселый и как будто бы здоровый Петруша Трубецкой неожиданно для всех, проболев два-три месяца, скончался от рака мочевого пузыря.

Заметив, что мои записки превращаются в сплошные некрологи, хочу вспомнить «для разрядки» один забавный эпизод, относящийся к последним годам моего пребывания в Вятских Полянах.

Среди моих учениц по Школе рабочей молодежи была высокая, стройная девица с энергичным профилем и прекрасными, вьющимися белокурыми волосами, Раиса Подрезова. Несмотря на то, что она завершила свое педагогическое образование в Крыму и затем была направлена на работу в Бессарабию, она меня не забывала и между нами велась переписка. Лет через пять Раиса Ивановна вернулась в Поляны, где жили ее родители, и стала одной из выдающихся учительниц города.

Вернувшись из какой-то командировки (дело было в годы первых полетов в космос), она с волнением сообщила мне слух о том, что еще ранее сын известного конструктора Ильюшина — Владимир Сергеевич — разбился, совершая какой-то пробный полет, остался жив, но лежит в гипсе, тогда как о его подвиге никто не знает, так как это дело «засекречено». Раиса Ивановна решила исправить эту несправедливость, и пионерский отряд ее школы был назван именем Владимира Ильюшина.

Подходило 1 мая, и, узнав, что я собираюсь в Москву, Раиса вручила мне 5 рублей, прося купить букет и отвезти его от имени пионеров их шефу. (Адрес дома и номер квартиры на Ленинградском шоссе прилагался.) Я приняла это поручение, но достать букет накануне праздника оказалось трудно. То, что мне удалось купить на рынке, было полузавядшим, и вдобавок, когда я ехала на автобусе, букет оказался настолько стиснутым, что превратился в связку прутьев.

Найдя указанную мне квартиру, я с чувством неловкости робко позвонила. Мне открыла приятная пожилая дама, провела меня в столовую и сказала, что ее сын после двухлетнего лежания в гипсе теперь стал на ноги и сейчас ко мне выйдет. Действительно, минут через десять появился, опираясь на палку, очень милый молодой человек лет тридцати. Протягивая ему то, что когда-то было букетом, я сказала: «Мне очень стыдно вручать вам этот веник! Я плохо справилась с поручением, данным мне пионерами отряда, носящего ваше имя в городе Вятские Поляны, и прошу меня извинить». На это Ильюшин с жаром воскликнул: «Какое значение имеет вид букета, когда это эмблема!»

Тут же я была приглашена к чайному столу, Владимир Сергеевич демонстрировал, как он после двух лет лечения стал хорошо ходить, упирая на то, что попал в автомобильную катастрофу, я смеялась над тем, что мне пришлось выполнять несвойственную мне роль представителя пионеров, и вдруг мой взор упал на висящую на стене картину маслом, изображающую синее море и две хорошо знакомые мне скалы. Я спросила Владимира Сергеевича: «А почему у вас висит изображение острова Капри?» Тут последовало всеобщее удивление — как я могла сразу узнать это место? Мне пришлось рассказать о своем посещении Италии в юные годы и, главным образом, о своем переводе «Сан-Микеле», после чего Владимир Сергеевич сообщил мне следующее. «За несколько месяцев до моей катастрофы я ездил в Италию и посетил Капри. Будучи потом два года прикованным к постели, я пристрастился к живописи и воссоздал то, что меня особенно поразило во время путешествия. Так возникла моя картина "Капризианская бухта" — изображение того места, которое вы так быстро узнали».

Моя дружеская переписка с Ильюшиным продолжалась еще некоторое время — он прислал мне журнал со своими «статьями летчика-испытателя», а когда вышел мой перевод «Сан-Микеле», я ему отправила книгу с соответствующей надписью.

Но возвращаюсь к своим собственным делам.

Получив не только одну, а целых две бумаги о реабилитации — одну по высылке из Ленинграда, а другую по лагерям, — и обе «за отсутствием состава преступления», я, естественно, оказалась в смятении чувств: следует ли мне предпринимать переселение в город, куда меня теперь, в сущности, ничто не влечет?! Я боялась наплыва тягостных воспоминаний, боялась ломки своей убогой, но до известной степени налаженной жизни, и не могла решиться на связанные с переездом трудности.

А трудностей этих было немало! Надо было в течение года после реабилитации приехать в Ленинград, прописаться у кого-нибудь из знакомых, собрать все сведения о занимаемой до высылки квартире, стать на учет для

получения жилплощади и примерно два года ждать этого получения, ежемесячно являясь на регистрацию. Все это я узнала от Вареньки Ланской-Тьебо, с которой рассталась в Саратовской тюрьме и которая оттуда попала в лагеря при станции Сухобезводная на реке Уфе. Пробыв там десять лет, она соединилась с дочерью Надей и внучкой Наташей (брат и муж погибли) и жила с ними в Челябинске. Получив реабилитацию, Варенька, желая, ради своих «девочек», поскорее вернуться в Ленинград, предприняла все вышеупомянутые шаги, но, не имея материальной возможности жить в Ленинграде до подхода очереди на площадь, уехала в Бологое, поступила там на работу и ежемесячно ездила на регистрацию.

Такая перспектива меня пугала, и я уже совсем было решила навеки оставаться в Полянах, когда услышала по радио, что Хрущев и Булганин, празднуя (с некоторым опозданием) 250-летие основания города на Неве, горячо прославляют доблесть его жителей. Основываясь на их речах, я сочла своевременным напомнить, что и мне, невинно пострадавшей ленинградке, следовало бы предоставить без промедления жилплощадь. Вряд ли мое письмо дошло до Хрущева, но оно было переслано в Ленинградское жилищное управление, откуда я получила ответ, что «в настоящее время жилплощадь мне предоставлена быть не может за неимением таковой». Это было как раз то, что мне было нужно. Я положила этот документ в ящик письменного стола, чтобы сказать в случае надобности: «Сроков я не пропустила, заявку на площадь подала, но была так деликатна, что предоставила вам время построиться!»

Такая предусмотрительность объясняется тем, что с тех пор, как я осознала потенциальную возможность возвращения в Ленинград, мой образ мышления стал неустойчивым. Слушая по радио модную в то время ленинградскую песенку: «Мокнут прохожие, мокнет милиция» —

Мокнут прохожие, мокнет милиция,
Дождь на Фонтанке и дождь на Неве.
Вижу я милые мокрые лица —
Голубоглазые в большинстве...

— я ловила себя на мысли: «А почему бы мне, в сущности, к этим лицам не присоединиться?!»

Пораздумав еще три года, я все же в 1967 году переехала в Ленинград, и начался тот сравнительно благополучный, «мелкобуржуазный» период моей жизни, о котором я, перефразируя слова оптимиста Панглоса из «Кандида» Вольтера, говорю: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров».

Тому, как это все произошло, будет посвящена следующая и последняя глава.

Жизненный круг замыкается

И вот я вновь на тех самых берегах Невы, где я хотя и не блистала, но родилась! Моему переселению предшествовало много хлопот и много сомнений. Прожив в Вятских Полянах двадцать четыре года, я привыкла к этому месту, привязалась к некоторым людям и страшилась крутого поворота своей судьбы. И все же я отважилась подать документы о реабилитации в Ленинградский жилотдел для предоставления мне комнаты.

Это произошло в 1965 году. Весь дальнейший ход событий я отдала в руки судьбы, хлопоты о получении жилища — в руки моих друзей, а сама поплыла по течению. Неторопливое течение это, порою задерживаемое бюрократическими преградами, а порою оживляемое стараниями моих друзей, за два года все же принесло меня к берегам родного города, и с весны 1967 года я стала обладательницей небольшой комнатки на бывшей Гулярной улице в тихом районе Петроградской стороны.

Как растение, пересаженное на новую почву, я сначала должна была «переболеть». Научившись до некоторой степени преодолевать смятение чувств при наплыве воспоминаний, я и по сие время не могу, проезжая по Дворцовому мосту, не думать об отце, стоявшем в 1918 году под штормовым ветром на молу Петропавловской крепости в ожидании смертной баржи, которая его каким-то чудом миновала; или у Ростральных колонн не вспоминать (что уже менее трагично!), как в 1930 году с риском возможных неприятностей выносила из здания Археографической комиссии свезенные туда и не оплаченные Академией отцовские книги, и среди них знакомый с детства «Petit Larousse», который, будучи переслан в Туруханск, развлекал отца в продолжение четырех зим на Енисее, а теперь, вернувшись на берега Невы, лежит на моем столе — как реликвия прошлого.

Но кроме плана умозрительного, существует еще и план практический: надо было привыкать к статусу пенсионерки. После необременительной, но живой работы

в больнице я стала ощущать какую-то пустоту от того, что день сводится к самообслуживанию, чтению и разыскиванию старых друзей, с которыми можно было бы поделиться грустной радостью, что мы остались живы. И тут я ухватилась за мысль продолжать свои воспоминания, которые как-то повисли в воздухе из соображений, что «все интересное уже позади». Это, конечно, так, но жизнь не стоит на месте, я еще не потеряла способности быть иногда «взволнованной», и мои писания, вероятно, продолжатся в виде отдельных откликов на происходящее, вернее, до меня доходящее. Пока же я восполняю долг в отношении вятскополянских лет моей жизни, возвращаюсь к 1960 году и перехожу к рассказу о людях и событиях, явившихся двигательной силой в вопросе моего переезда.

Предстоит небольшая новелла, относящаяся к нашей эпохе смешения народных пластов. Сначала небольшое географическое вступление. На левом берегу Вятки, в трех километрах ниже Вятских Полян, в конце 40-х годов возник поселок Красная Поляна и расположенный на его территории домостроительный комбинат. В момент моего появления в тех краях (в 1943 году) никакого поселка там не было. Низкий болотистый берег реки изобиловал комарами, с которыми усердно боролась наша эпидстанция, и где-то притаилась небольшая колония для правонарушителей.

Постепенно все изменилось: болота были осушены, комары более или менее истреблены, колония куда-то переведена и началось строительство комбината, вокруг которого быстро вырос городок. Связь между Вятскими Полянами (районным центром) и этим поселком поддерживалась паромом и маленькими пароходами летом и ледяной дорожкой по реке зимой. Во время распутицы ездили по железной дороге.

Одной из достопримечательностей нашего города был красивый железнодорожный мост через Вятку. И вот зимой 1960 года по ледяной дорожке ко мне пришла прелестная молодая женщина лет тридцати или немногим более, со светлыми глазами, раскрасневшимися от быстрой ходьбы щеками и вещевым мешком за спиной (краснополянцы стремились доставать съестные продукты у нас). Сказав, что она работает бухгалтером на лесокомбинате

и много обо мне слышала, эта дама, оказавшаяся Маргаритой Александровной Карякиной, попросила заняться с ней языками, которые она хорошо знала в детстве, но теперь, в силу обстоятельств, забыла. С первых же уроков выяснилось, что немецкий она знает прекрасно, а английский, знакомый с детства, быстро восстановился в ее памяти. Уроки быстро прекратились, но началась наша дружба. Каждую субботу Маргарита стала приходить ко мне с ночевкой, и тут я узнала обстоятельства, приведшие ее в Красную Поляну, и причину, заставившую ее вспомнить об иностранных языках.

Маргарита была дочерью инженера-судостроителя Александра Федоровича Сабсая и его жены Марии Антоновны, внучки известного астронома Ковальского. Материально обеспеченная семья постоянно жила в Таллине, но родители и дети часто ездили за границу. (Маргарита даже родилась во Франции — в Гавре.) Мария Антоновна, типичная «пани польска», любила светскую жизнь, и дети (Маргарита и ее брат) были сданы на руки гувернанткам. В юном возрасте у Маргариты особой близости с матерью не было. Отец все время отдавал работе, для поддержания нравящегося его жене широкого образа жизни.

К семнадцати годам Маргарита окончила коммерческую школу в Варшаве, освоила там третий иностранный язык — польский, но была, по ее словам, «трудновоспитуемой дочкой». В сочетании с большой добротой и отзывчивостью, ей были свойственны самые сумасбродные поступки. Все это в полной мере проявилось, когда в 1940 году советские войска оккупировали Таллин и ей пришлось поступить на работу в какое-то лесотехническое учреждение. Там она встретила бухгалтера Карякина, человека лет на двадцать старше нее. Последний убедил ее в том, что если она не выйдет за него замуж, он или застрелится, или повесится. (Это был метод воздействия «Пожалей ты меня, дорогая, освети мою темную жизнь», который производит столь сильное впечатление на отзывчивые девичьи души!) Маргарита сбежала из дому и зарегистрировалась с Карякиным, который тут же увез ее в глубь Архангельской области. За беглянкой закрылся железный занавес, и родители, вскоре уехавшие в Стокгольм, двадцать лет ничего о ней не знали. Отец так и умер в неведении.

Не буду описывать все невзгоды, которые вскоре свалились на 18-летнюю беглянку. Скажу только, что Карякин пьянствовал, ревновал, держал взаперти, скрывая «буржуазное происхождение жены», могущее неблагоприятно отразиться на его служебном положении, и всячески подчеркивал ее «неполноценность». На протяжении четырех лет где-то около Архангельска на свет появились два мальчика — Миша и Витя. Их раннее детство совпало с периодом общего недоедания и постоянной нехватки денег в семье. Находясь в состоянии забитости, Маргарита погрузилась в какой-то анабиоз: прошлое казалось ей далеким сном, реальными были только повседневные заботы о поддержании какого-то жизненного уровня.

В конце 40-х годов Карякина перевели по службе и он получил место бухгалтера на домостроительном комбинате. Семейство переехало в Красную Поляну, но обстоятельства остались теми же. Для детей купили козу, и на рынке можно было видеть бедно одетую молодую женщину, продающую литр молока, чтобы купить хлеба. (Это я знаю со слов «старожилов».) В конце концов Карякин, продолжавший пить, был уволен и уехал в Кустанай, бросив семью на произвол судьбы. Тут Маргарита проснулась от своего оцепенения и при содействии дружески настроенной «общественности» (ее все любили!) поступила на работу. Очень быстро она дошла до должности бухгалтера и получила небольшую казенную квартиру. Мальчики росли и учились в школе.

В конце 50-х годов Маргарита решила съездить в Кустанай и оформить развод. На суде Карякин попробовал применить старые методы, рисовал картину ее буржуазного происхождения, но промахнулся, не учтя того, что все течет и все меняется. Судья его прервал и попросил «осветить» его собственное отношение к семье, после чего развод был оформлен и Маргарита приняла свою девичью фамилию.

Поездка в Кустанай и трепка нервов оказались излишними, так как Карякин вскоре умер, а в 1960 году в жизни Маргариты произошел крутой поворот. Пришло известие, что ее мать, узнав местонахождение беглянки, едет с туристической группой в Москву. Маргарита в сопровождении своей «краснополянской вольницы» (Миши и Вити) помчалась туда, и в гостинице «Метрополь» произошла

трогательная встреча матери и дочери. Мальчики в восторге бегали по коридору гостиницы, ели мороженое и пили «газировку», а Маргарите все это казалось сказкой, продолжавшейся две недели.

Мария Антоновна одарила краснополянцев всем необходимым и уехала, наказав Маргарите вспомнить иностранные языки в предвидении дальнейших возможностей.

По прошествии двух лет она снова предприняла туристическую поездку, на этот раз по маршруту Ленинград — Таллин.

Когда Маргарита с мальчиками поехала встречать мать в Ленинградском порту, я дала ей записку к Михаилу Федоровичу Васильеву, все еще проживавшему на Мойке (Евгения Назарьевна умерла вскоре после снятия блокады), в которой просила оказать гостеприимство приезжим с реки Вятки. Он это любезно выполнил и, в качестве знатока, сопровождал всю компанию по достопримечательностям города.

Приехав в Таллин, Мария Антоновна, со свойственной ей широтой натуры, угощала появлявшихся из самых неожиданных мест старых знакомых завтраками и обедами, и настроение у всех было прекрасное. К числу лиц, посещавших ее дом двадцать пять лет назад, принадлежал также дирижер Сергей Александрович Прохоров, превратившийся за это время из студента консерватории в заслуженного артиста Эстонской ССР. Незадолго до встречи с Маргаритой он похоронил мать, к которой был очень привязан, и находился в состоянии моральной депрессии. В результате всего этого, когда Мария Антоновна и Маргарита разъехались по домам, Прохоров, уже подходивший к понятию «старого холостяка», появился в Красных Полянах. К моему большому удовлетворению, Маргарита и он решили соединить свои жизни и с этой целью отправились в ЗАГС. Отпраздновав это событие веселой рождественской елкой, Сергей Александрович увез жену и ее младшего сына Витю в Ленинград, где у него была двухкомнатная квартира в районе Черной Речки, в двух шагах от места дуэли Пушкина. (Все вышеописанное имело большое значение для моего переезда в Ленинград.)

К сожалению, в жизни редко что-либо проходит гладко. В данном случае осложнения возникли со стороны старшего сына Миши, который к тому времени уже

окончил школу, работал на заводе, чувствовал себя взрослым и заявил, что в Ленинград не поедет. С одной стороны, тут могла быть ревность («мама была наша, а теперь она не наша!»), с другой — полное несоответствие характеров. Миша никак не принимал докторального тона и расчетливости Сергея Александровича, а тот считал его грубым юнцом.

Увидев, что назревает драма, грозящая всеобщему равновесию, я оказалась чем-то вроде *deux ex machina* из античной трагедии, предложив взять Мишу к себе в Вятские Поляны, чтобы он у меня готовился к экзаменам в Ижевский медицинский институт. Вся больница приняла деятельное участие в этом плане: хирурги приглашали его на операции, судмедэксперт Скочилов, бывший еще в некотором расцвете, — на вскрытия. Миша проникся интересом к медицине и осенью прекрасно сдал вступительные экзамены. В его студенческие годы наша связь с ним была самой тесной — он приезжал ко мне из Ижевска на праздники и привозил товарищей, чувствуя, что «хижина тети Тани» (так называлась моя квартира на территории больницы) — его дом. Между нами установилось столь ценимое мною веселое дружеское взаимопонимание, и, если за пять лет мне удалось передать ему кое-что из моего умственного и морального багажа, то он за это мне полностью отплатил своим прекрасным ко мне отношением.

В 1969 году Миша Сабсай (он принял фамилию матери) блестяще закончил институт и поступил в аспирантуру.

Когда его мать, живя в Ленинграде, добилась того, что мне предложили комнату в 11 кв. метров в хорошем доме и в хорошем районе, я согласилась, предварительно отказавшись от двух лачуг. Миша взял на себя все хлопоты по моему переезду и устройству*.

Проводы мои из Вятских Полян прошли в весьма торжественной и трогательной обстановке, но вступление во владение комнатой на улице Лизы Чайкиной (бывшей Гулярной) осложнилось конфликтом бытового характера, о котором, может быть, стоит рассказать, поскольку он

---

* Разрешению моего жилищного вопроса отчасти способствовало то, что в жилотделе был получен секретный приказ к юбилею 50-летия советской власти разместить всех реабилитированных ленинградцев и закрыть этот неприятный счет. — *Прим. автора.*

типичен для темы «коммунальные квартиры», и да будут мне прощены подробности в духе рассказов Зощенко!

Пенсионерка М.Д.Ходорова, проживая по ул. Чайкиной, д. 9, кв. 6, будучи в плохих отношениях с соседями (квартира состояла из двух комнат и кухни, без ванной), решила переселиться в равноценную маленькую комнату своей умершей тетки и сдала занимаемую площадь в райжилотдел. Там только этого и ждали, чтобы предложить эту комнату мне и тем «закрыть счет», висевший у них на шее. Как только весть об этой комбинации дошла до соседей, которые сами метили на комнату Ходоровой, желая ее добавить к своей, поднялась целая буря.

Семейство, состоящее из Е.И.Балдашкиной, 53 лет (уборщицы), ее сына Сергея, 22 лет (рентгенотехника), его жены Гали, 22 лет, и дочери Тани, 2 лет, помчалось в жилотдел, крича, что Ходорова за взятку уступила свою площадь какой-то провинциалке. (Предварительно все это, в соответствующих выражениях, было излито на голову Ходоровой.) Вернулись они явно усмиренными. В жилотделе им сказали: «Во-первых, Аксакова в большей мере ленинградка, чем вы, во-вторых, она стоит на "сверхочереди", а в-третьих — на какую добавочную площадь вы претендуете, когда жена Галя и дочь Таня прописаны в другом месте, а для двоих — матери и сына — площадь в 23 кв. м. вполне достаточна?»

Все вышеописанное происходило до моего приезда в Ленинград. Когда я появилась с ордером в руках и постоянной пропиской в паспорте, чтобы разместить купленные мною диван, письменный стол и навесной шкафчик, в квартире стояла мертвая тишина. На душе у меня было неспокойно. Узнав от Ходоровой о настроении соседей, я допускала возможность всяких неприятных выходок с их стороны и решила сделать первые миролюбивые шаги. Выждав, когда соседка Балдашкина выйдет из своей комнаты в кухню, я подошла к ней и с самой милой улыбкой сказала: «Я ваша новая соседка. Надеюсь, что мы будем жить в дружбе и согласии». Она на меня сурово взглянула и ответила одним словом: «Посмотрим!» Наблюдавшие эту сцену из коридора Маргарита и ее муж покатились со смеху: «Ну вот, Татьяна Александровна, вы с вашей вечной любезностью получили ушат

холодной воды на голову! Пора бросить этот тон салона Рекамье — он несовременен!»

Мрачные краски предстоящего сожительства еще сгустились, когда обретенная мною в Ленинграде Таня Леонутова, никогда не отличавшаяся блестящим умом, начала мне передавать ходившие по городу рассказы на тему «коммунальные квартиры». «Никогда не оставляйте еды на кухне без присмотра, — говорила она. — Соседи могут вас отравить. А может случиться другое: к дому подъедет карета скорой помощи и вас по требованию соседей отвезут в сумасшедший дом!» Пока речь шла о яде, подсыпаемом в пищу, я терпеливо молчала, но против версии сумасшедшего дома я пыталась возражать. Тогда Таня решила меня успокоить: «Когда вас обследуют, то, может быть, отпустят, но сколько неприятностей вам придется пережить!»

Со столь мрачными мыслями о предстоящем враждебном окружении я должна была, заперев комнату, уехать в Поляны, чтобы завершить свои служебные дела, выйти на пенсию и забрать остальные вещи. В августе я вернулась и — о чудо! — никакой враждебности не обнаружила. Постепенно я стала привыкать к моим соседям, а они ко мне. Равнодушие потом сменилось благожелательством и взаимным доверием, так что теперь наша двухкомнатная коммунальная квартира может служить примером мирного сосуществования.

Вспоминая, что при переезде в Ленинград я получила от Александра Твардовского книгу с его стихами и надписью: «Татьяне Александровне с добрыми пожеланиями на новоселье», я перехожу к более интересной теме — моему знакомству с редактором «Нового мира».

Вскоре после смерти моего отца, то есть примерно в 1955 году, когда я зачем-то зашла в Исторический музей, папина сотрудница, милая Ольга Александровна Константинова, сказала: «У нас в аспирантуре работает дочь Твардовского, Валя. Она слышала, что вы пишете воспоминания, и просит дать их для прочтения отцу, который очень интересуется мемуарами». Я дала первую, дореволюционную часть, хотя была уверена, что эти главы для Твардовского интереса не представляют.

Через некоторое время в печати появились отрывки из его поэмы «За далью даль» и глава «Так это было» со словами

Не зря, должно быть, сын Востока,
Он до конца являл черты
Своей крутой, своей жестокой
Неправоты... и правоты...

была для того времени большим дерзновением. Встретившись с Валей Твардовской в музее, я в шутку сказала, что «премирую» ее отца, отдавая ему на прочтение главы о лагерях. Валя наивно спросила: «Так Вам понравилось то, что он написал?» На мой утвердительный ответ она сказала: «Отец будет так рад! Его со всех сторон ругают, и он это тяжело переживает!»

С этого началось мое знакомство с Твардовским. Приезжая в Москву, я заходила в редакцию «Нового мира», чтобы пожать ему руку и побеседовать на разные темы. Помню, что однажды у нас зашел разговор о Бунине и Александр Трифонович сказал: «Со стыдом вспоминаю, как в молодые годы мы с товарищами, придя в восторг от прозы Бунина, написали ему письмо, приглашая вернуться в Советский Союз и соблазняя "высокими гонорарами". Нашли кого и чем соблазнять!!! Вполне понятно, что Бунин нас не удостоил ответом».

В ту пору, когда «Новый мир» стал объектом резких нападок, я передала Александру Трифоновичу несколько «поощряющих» слов:

Наших мыслей и чувств отголоски
Мы находим средь умных страниц,
И отважно редактор Твардовский
Рассекает туман небылиц.

Даже если условия жестки,
«Новый мир» не меняет лица.
И какого же нам образца,
Когда есть Александр Твардовский?!

Когда вышла переведенная мною книга Акселя Мунте, к судьбе которой Александр Трифонович проявлял большой интерес, я ему послала один из моих авторских

экземпляров. На этом кончилось наше с ним общение. С 1970 года он уже не редактор «Нового мира» и, по слухам, неизлечимо болен.

За несколько дней до своей смерти отец указал мне на большую связку рукописей и сказал: «Танюша, здесь лежат воспоминания Константина Ипполитовича Ровинского, которого ты должна помнить по Владимиру. После того как умерла его жена, он переселился в Тарусу, где во время войны оказался и я. Некоторое время мы жили вместе, и он умер на моих руках, передав мне свои записки, охватывающие период с 1885 по 1917 годы. Я успел их немного отредактировать, но они в беспорядке, написаны на клочках бумаги, подчас неразборчиво и с помарками. Моя к тебе просьба — приведи всё это в порядок и сдай, куда следует!»

Живя в Полянах, я не могла приступить к выполнению отцовского наказа, и рукопись лежала в Москве у Шереметевых, но, переселившись в Ленинград, я с головой ушла в работу над этим исключительно интересным и ценным трудом. Теперь мемуары, дающие широкую картину государственной и общественной жизни России с позиций либерального земского деятеля и знатока крестьянско-земельного вопроса, перепечатаны мною на машинке и готовы к сдаче в рукописный отдел Ленинской библиотеки. Думаю, что труд этот недолго пролежит под спудом — он весьма актуален и не замедлит стать предметом изучения.

Перечитав последние страницы, я более чем когда-либо поняла, что пора завершать мои мемуары, иначе я их размельчу. Надо уметь вовремя поставить точку, но вместе с тем поменьше перечитывать написанное: слишком велик соблазн пройтись кое-где вычеркивающим карандашом.

Что мне сказать в заключение?!

Желая, как и всякий человек, чем-либо оправдать своё существование на земле, я могу указать на две заслуги: 1. Довела своим переводом книгу Акселя Мунте до русского читателя и 2. Привела в порядок и сдала, «куда следует», записки Ровинского.

Что касается моих собственных записок, являющихся отражением всей моей жизни, то могут ли они считаться «заслугой» — вопрос спорный, и не мне о нем судить...

Воспоминания о гибели брата

Вятские Поляны, 4 ноября 1966 года

Тридцать восемь лет прошло с того дня, когда утром я получила открытку со штампом УСЛОНа, датированную 24 октября 1929 года и подписанную самым милым для меня детским прозвищем «твой пёсик-братик», а вечером ко мне пришел Юрий Александрович Нелидов с роковой вестью о массовом расстреле, происшедшем в Соловках в ночь на 29 октября. Целый месяц я переходила от надежды к отчаянию (никаких официальных сообщений не было), и лишь найдя сестру Наталии Михайловны Путиловой и прочитав письмо последней, я поняла, что надежды нет.

Среди многих утрат и крушений в моей жизни это горе — самое долговечное. Оно не забывается и становится «чем старе, тем сильней», может быть, потому, что обстоятельства гибели брата и его обаятельный образ превратились в поэтический символ, в легенду.

Когда происходит извержение вулкана на дне океана, волны лишь через много часов доносят эту весть в прибрежные края. Так с опозданием на десятилетия до меня стали доходить более или менее достоверные подробности о «действиях местных властей», как скромно именовалось соловецкое злодеяние в официальных кругах.

Первый, показавшийся мне апокрифичным, рассказ, относящийся к этому событию, я услышала в начале 40-х годов на Пезмогском лагпункте, где вместе со мной отбывал вторичный срок сравнительно молодой еврей (фамилии не помню), работавший кладовщиком при больнице. Разговорились с ним, я узнала, что ранее он был в соловецких лагерях, и спросила, не знал ли он моего брата. Мой собеседник пришел в необычайное волнение: «Боже мой! — воскликнул он. — Да кто же у нас не знал Александра Александровича! Он был гордостью Соловков. Когда он проходил, всегда подтянутый и приветливый,

всем становилось приятно на душе». Далее он мне сообщил вещи, которым я не поверила, настолько они были несовместимы с условиями лагерного режима, и сочла, что мой кладовщик фантазирует. Со слезами на глазах он рассказал о том, что Путилова, после расстрела, нашла его тело и похоронила в лесу. Для большей убедительности он упомянул о «беленьких носочках», которые он принес, как кладовщик, для «обряжения».

Все это показалось мне настолько неправдоподобным, что я не решилась включить рассказ кладовщика в главу об исправительно-трудовом лагере. Теперь я могу восполнить это упущение.

Месяц назад я приехала в Ленинград и легла на койку нейрохирургической клиники Военно-медицинской академии в надежде, что профессора прооперируют мой бедренный нерв, который со времени лагерей не дает мне покоя. Профессора, к сожалению, отказались от операции, решили лечить меня консервативно (и безрезультатно), так что в продолжение двадцати дней, обреченная на бездействие, я из окна палаты наблюдала панораму великого города. Свинцовая Нева катила свои воды, из тумана вырисовывался купол Исаакия, виднелась решетка Летнего сада, и прямо передо мною, у Литейного моста, стояло «самое высокое здание Ленинграда, откуда бывало видно не только Ладожское озеро, но и Соловки» и в котором поочередно ломались жизни близких мне людей.

Предаваясь грустным размышлениям, я вспомнила, что в моей записной книжке есть адрес и телефон Дмитрия Сергеевича Лихачева, человека, у которого я могу кое-что узнать о брате. Я неясно представляла себе, кто дал мне его имя, но, выписавшись из больницы, позвонила ему по телефону.

Между нами произошел следующий разговор:

Я: — Вы меня не знаете, но, может быть, вам знакомо имя моего брата Александра Александровича Сиверса?

Л.: — Ах, Боже мой! Конечно! Лично я его не знал, но был на островах в страшное время октября 1929 года и знал Путилову, которая, с величайшим для себя риском,

откопала его тело и похоронила на лесной поляне. На могиле поставили крест, и все мы знали, что тут лежит Сиверс. Недавно я ездил в Соловки, искал эту могилу, но не нашел, так как лес в том месте свели и ориентиры исчезли. Наталия Михайловна потом жила в Архангельске. Теперь ее нет в живых.

Я: — Она умерла своей смертью?

Л.: — Нет.

На этом я поблагодарила и повесила трубку. Разговор велся между незнакомыми людьми, и я не настаивала на подробностях. Я узнала то, что мне было нужно. Надежды на встречу с Наталией Михайловной уже нет.

По странному стечению обстоятельств, вернувшись в свои Вятские Поляны, я снова получила сведения о Соловецкой трагедии, но уже с совсем другой стороны. Здесь меня ждало письмо от моего неизменного, верного друга Наташи Потоцкой, которая записала со слов нашей общей соседки по Козельскому уезду, Елену Борисовну Ялозо, жившей в Малоярославце (убежище людей, имевших ограничения «-6»), то, что рассказывал Валентин Александрович Струков.

Привожу выписку из письма Потоцкой:

«Вчера я видела Лёлю Ялозо. Вот что она сказала: "После долгих сидений и ссылок Струков оказался в Малоярославце, где уже осели его друг Каховская и его знакомая Крашенинникова. Струков учился в Московском лицее, но не успел его кончить (род. в 1902 г.). Его отец, генерал, был начальником Московского военного округа и погиб. Струков рассказывал об ужасных репрессиях в Соловках, свидетелем которых он был. После бегства двух соловчан, глубокой ночью, вывели всех «бывших» и расстреляли каждого десятого. Струков стоял восьмым, а Саша Сиверс, как он его называл, десятым. Он был убит на глазах у Струкова. Про «Сашу» В.А. говорил, что это был человек исключительного обаяния. В Соловках его любили все, без различия ранга и положения в прежнем обществе"».

К этому добавить нечего. Надо только уточнить, действительно ли это был «каждый десятый».

Хотя нет! Следует добавить, что жена брата, Татьяна Николаевна, находится в строгом постриге в монастыре на Луаре. Теперь она «мать Мария», и я получаю от нее по одному письму в год. Наталия Михайловна отмучилась на этом свете, а я не забываю. Значит — всё в порядке!

Теперь о другом, хотя и не совсем другом. Соловки (как и ничем не запятнанные Кижи) стали теперь местом туризма. Авторы газетных статей сожалеют, что не было проявлено достаточно заботы о сохранении этого памятника старины. Милые люди советуют мне прочитать эти благонамеренные строки и удивляются, что я не хочу их читать. Не им, а людям иного толка я бы сказала: «Вообразите, что печи Освенцима были бы поставлены в замке Фридриха Барбароссы и искусствоведы плакали бы теперь над испорченными средневековыми фресками. Вас бы очень тронул их плач?!»

О Соловках надо говорить либо всё, либо ничего (*aut omnia, aut nihil*).

Именной указатель

Содержание

Аксакова-Сиверс Татьяна Александровна
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА



Редактор
Анна Алавердян

Верстка
Валерий Кечкин

Оформление обложки
и обработка иллюстраций
Тимофей Струков

Выпускающий редактор
Вероника Рямова

Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
Серия 77 № 006722212 от 12.10.2004 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(*Рядом с Никитскими Воротами,*
отдельный вход в арке)

Тел.: (495) 691-12-17, 697-12-35
Наш сайт: www.zakharov.ru
E-mail: info@zakharov.ru

Подписано в печать 10.09.2019. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Усл.п.л. 40.32. Тираж 1500 экз.
Заказ № 10189.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в АО «Первая Образцовая типография»
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
www.uldp.ru e-mail: prhouse@mv.ru

Татьяна Александровна Аксакова, урожденная Сиверс (1892—1981) — русская аристократка, дочь статского советника, генеалога и нумизмата Александра Александровича Сиверса. Она прожила тяжелую жизнь, полную лишений и утрат: беззаботное петербургское детство и московская юность сменились арестами, ссылкой, исправительно-трудовым лагерем, поселением.

Ее воспоминания — с конца девятнадцатого века до 60-х годов двадцатого — один из лучших образцов ныне забытого жанра «семейной хроники» и один из лучших мемуаров о том сначала безоблачном, а потом грозовом времени, в котором Татьяне Александровне выпало жить.


9 785815 915756